Ш(Фр)
Б21

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ТОМ 7

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

Этюды о нравах

СЦЕНЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ПЬЕРЕТТА

Мадемуазель Анне Ганской.

Дорогое дитя, вы — радость всей вашей семьи; ваша пелеринка, белая или розовая, порхает в густой зелени Верховни, словно блуждающий огонек, за которым с нежностью следят любящие взоры вашей матери и отца,— так уместно ли посвящать вам эту печальную повесть? Но узнать о горестях, которых никогда не испытает молодая девушка, окруженная, как вы, обожанием, вам все же, быть может, следует — ибо ваши прелестные ручки могут когда-нибудь облегчить эти горести В истории наших нравов столь трудно, Анна, найти случай, достойный вашего внимания, что автор лишен был выбора; но вы, возможно, поймете, как вы счастливы, читая повесть, которую посылает вам

Ваш старый друг
де Бальзак.

Ранним утром в октябре 1827 года на маленькой площади в нижней части города Провена стоял юноша лет шестнадцати, в котором не трудно было сразу же признать пролетария (латинское слово, с недавних пор смело пущенное в обращение). В столь ранний час он мог никем не замеченный рассматривать дома, выходившие на эту продолговатую прямоугольную площадь. Мельницы на речках Провена уже работали. В ярком блеске и свежести утра шум мельничных колес, повторяемый эхом верхнего города, лишь подчеркивал тишину, такую глубокую, что слышно было чуть ли не за милю, как дребезжит и лязгает дилижанс, проезжающий по большой дороге. Дома вдоль площади, обсаженной тенистыми липами, представляли собой два ряда незамысловатых строений, по одному виду которых угадывалась дремотная и размерен-

ная жизнь местных буржуа. Здесь не было и следа торговой суеты. В те времена даже в жилищах богачей роскошно разукрашенные ворота были редкостью, а если где и встречались, то не часто поворачивались на своих петлях — разве что у г-на Мартене: он по необходимости завел собственный кабриолет для своих врачебных разъездов. Фасады домов увиты были виноградной лозой либо вьющимися розами, пышные пучки которых, взбегая по стенам на длинных стеблях, благоухали под окнами второго этажа. Площадь одним концом своим почти соприкасалась с главной улицей нижнего города, а вторым — упиралась в другую, параллельную ей улицу, сады которой спускались к одной из двух речек, орошающих долину Провена.

В этой-то самой тихой части площади молодой рабочий и разыскал нужный ему дом по указанным приметам: фасад из белого камня, в желобках, изображающих мелкую кладку; окна с выступами, обнесенными решеткой из тонких железных прутьев с желтыми розетками; на окнах серые ставни; дом двухэтажный. Крутая шиферная крыша над фасадом прорезана тремя оконцами мансарды и увенчана новеньким модным флюгером—вырезанной из жести фигурой охотника, который прицелился в зайца. Ко входной двери ведут три каменные ступеньки. По одну ее сторону — конец свинцовой трубы, откуда в сточную канавку извергаются помои, что указывает на близость кухни; по другую — два окна, тщательно закрытые серыми ставнями, в ставнях просветы в виде сердечка; молодой рабочий решил, что тут должна быть столовая. Под каждым из окон первого этажа, приподнятого над землей на высоту трех ступеней,—отдушины погреба, прикрытые крашеными железными дверцами с вычурным сквозным узором. Все здесь сверкало новизной. В кричащей роскоши этого заново отделанного дома, резко выделявшейся среди обветшалых фасадов других домов, наблюдатель тотчас же угадал бы пошлый вкус и тупое самодовольство ушедшего на покой лавочника. Юноша смотрел на дом с чувством какого-то грустного удовлетворения; о чем-то, видимо, размышляя, он переводил взгляд с кухни на мансарду. В розовых лучах зари за одним из окон мансарды явственно стали видны коленкоровые занавески,— за двумя другими их не было. Лицо юноши про-

сияло, он отступил на несколько шагов, прислонился к стволу липы и на протяжный лад, как поют обычно жители западной Франции, запел бретонский романс Брюгьера, композитора, одарившего нас чудесными песнями. В Бретани деревенские парни поют эту песню новобрачным в день их свадьбы:

Пришли мы все сюда
поздравить новобрачных:
И вашего супруга
И вас, его подруга!

Покрепче всех цепей
колечкс золотое:
Навек соединило —
Лишь разлучит могила!

Теперь уж не для вас
и пляски и забавы,—
Куда уж вам, соседка!
Теперь вы — домоседка.

Вам больше не плясать,
а быть женой примерной
И, кроме лишь супруга,
Не знать иного друга.

Примите же цветы,
что мы вам преподносим.
Ах, век цветов не боле,
Чем век девичьей воли!

Этот народный напев был полон прелести и не уступал по красоте тому мотиву, на который Шатобриан положил свои стихи: «Скажи, ты помнишь ли, сестрица?» Какая же бретонка, услышав его вдруг в Шампани, маленьком бриарском городке, устояла бы перед властью нахлынувших воспоминаний о родном ей древнем и славном крае, отраженном в этой песне, как в зеркале, со всем своим добродушием, со своими нравами и картинами природы! Песня дышала какой-то глубоко трогательной меланхолией, навеянной мыслями о жизни. Эта способность безыскусственного и зачастую веселого напева пробуждать в душе целый мир серьезных, нежных и грустных образов — особое свойство тех народных песен, которые представляют собой как бы музыкальный пережиток, если под словом «пережиток» понимать все то, что пережило народы и уцелело среди исторических потрясе-

ний. Рабочий не спускал глаз с занавесок мансарды, но после первого куплета не уловил за ними никакого движения. При втором — коленкор заколыхался. А при словах: «Примите же цветы» — в окне показалось девичье личико. Белая ручка осторожно приоткрыла окно, и молодая девушка приветливо кивнула головой — в тот самый миг, когда странник заканчивал песню двустишием, бесхитростно выражавшим меланхолическую мысль:

Ах, век цветов не боле,
Чем век девичьей воли!

Юноша достал вдруг из-под куртки золотистый цветок, цветок дрока, часто встречающийся в Бретани, но сорванный, конечно, на полях Бри, где он большая редкость.

— Неужели это вы, Бриго? — тихо спросила молодая девушка.

— Да, да, Пьеретта. Я живу в Париже, а сейчас брожу по Франции странствующим подмастерьем; но готов обосноваться здесь, раз вы здесь живете.

Тут во втором этаже, под комнатой Пьеретты, щелкнул шпингалет. Бретоночка в смятении бросила одно только слово: «Бегите!» — и юноша, точно вспугнутый лягушонок, отскочил к переулку, который, огибая мельницу, ведет к Большой улице, главной артерии нижнего города; но как он ни был проворен, его башмаки с подковками громко застучали по мелким камням провенской мостовой, и этот звук, легко различимый среди пения мельничных колес, мог быть услышан тем, кто открывал окно.

То была женщина. Ибо нет мужчины, который бы вырвался из сладостных оков утреннего сна, чтобы послушать трубадура в рабочей куртке; только дева просыпается при звуках любовной песни. Это действительно была дева — притом старая дева. Распахнув ставни, точно летучая мышь — крылья, она осмотрелась по сторонам, но до нее лишь смутно донеслись шаги убегавшего Бриго. Что может быть оскорбительней для глаза, чем безобразная старая дева, высунувшаяся утром из окна? Из всех смехотворно-уродливых картин, развлекающих путешественника, который проезжает через провинциальные городки, эта, пожалуй, самая неприятная: так много в ней грустного и отталкивающего, что пропадает всякая охота

смеяться. Старая дева, обладательница столь тонкого слуха, появилась в окне без обычных своих прикрас, без накладных волос и высокого кружевного воротничка.

Из-под ночного чепца, съехавшего набок во время сна, выглядывал у нее тот ужасный колпачок из черной тафты, которым старухи прикрывают макушку головы. Это придавало ей зловещий вид, каким художники любят наделять колдуний. Пергаментные виски, уши и шея оставались почти совсем открытыми; бороздившие их глубокие морщины выделялись уродливыми красными линиями, подчеркнутыми белизной кофты, завязанной у шеи витым шнурком. Сквозь прореху распахнувшейся кофты, как у равнодушной к своей внешности старой крестьянки, виднелась высохшая грудь. Тощая рука походила на обернутую тряпицей палку. В рамке окна старая дева казалась высокой: у нее было крупное, длинное лицо, напоминавшее несоразмерно большие лица швейцарцев. Оно грешило полным отсутствием гармонии, отличалось сухостью черт и неприятным оттенком кожи, а написанная на нем бесчувственность способна была внушить отвращение физиономисту. Бесчувственность проступала теперь явственно, между тем как обычно она прикрывалась торгашеской улыбочкой и слащавой любезностью, столь ловко подделанной под добродушие, что окружающие могли счесть эту особу доброй. Старая дева была владелицей дома совместно с братом. Брат ее так крепко спал в своей комнате, что его не разбудил бы даже мощный оркестр Большой оперы. Выглянув из окна, старая дева подняла к мансарде маленькие бледно-голубые, холодные глаза с вечно припухшими веками и короткими ресницами; она старалась увидеть Пьеретту, но, убедившись в бесплодности своих попыток, скрылась в комнате, подобно тому как черепаха, высунув на мгновение голову, тотчас же прячет ее обратно под свой панцирь. Ставни захлопнулись, и тишину площади нарушали лишь приезжавшие в город крестьяне да ранние пешеходы. Когда в доме есть старая дева — нет надобности в сторожевых псах: ни одно, даже самое незначительное происшествие не пройдет незамеченным ею, каждое будет обсуждено и из каждого будут сделаны все возможные выводы. Вот почему и этот случай дал пищу для серьезных подозрений и послужил началом одной из скрытых семейных

драм, которые, оставаясь тайными, не менее от этого жестоки,— если только позволено, впрочем, назвать драмой случай из домашнего быта.

Пьеретта больше уже не ложилась. Появление Бриго было для нее огромным событием. В течение ночи, этого земного рая для несчастных, она избавлялась от огорчений и придирок, которые ей приходилось сносить днем. Как герою какой-то баллады, не то русской, не то немецкой, сон ей казался счастливой явью, а день — дурным сном. То было первое радостное пробуждение за три года. Поэтические воспоминания детства сладостной мелодией зазвучали у нее в душе. Первый куплет, пропетый Бриго, она слышала сквозь сон, при втором — вскочила с постели, третий же поверг ее в сомнение (все несчастные сродни апостолу Фоме); при четвертом куплете она босиком, в одной рубашке подбежала к окну и узнала друга своего детства Бриго. Да, это ведь та самая широкая куртка с короткими прямоугольными полами и с боковыми карманами, обычная в Бретани синяя суконная куртка; тот самый цветной жилет из грубой бумажной ткани, полотняная рубаха с широким отложным воротником и застежкой в виде золотого сердечка, серьги, тяжелые башмаки, штаны из синего холста с неравномерно окрашенными нитями — словом, все те простые и прочные вещи, из которых состоит костюм бретонского бедняка. Большие роговые пуговицы, белевшие на жилете и куртке, заставили сердце Пьеретты учащенно забиться. Золотистый дрок вызвал на глазах ее слезы; но цветы воспоминаний, едва распустившись в ее душе, были смяты жестоким страхом. У нее мелькнула мысль, что двоюродная сестра могла, пожалуй, слышать, как она вскочила и подбежала к окну; она угадала присутствие старой девы и подала Бриго тревожный сигнал, которому бедный бретонец, ничего не поняв, все же поспешил повиноваться. Нерассуждающая его покорность свидетельствовала о беззаветной и чистой любви, которая извечно существует на нашей планете, но цветет, как алоэ на острове Isola bella [1], лишь два-три раза в столетие. Наивнейшая самоотверженность наивнейшего чувства умилила бы всякого, кто наблюдал бы стремительное бегство Бриго. Жак Бри-

[1] Прекрасный остров *(итал.)*.

го был под стать четырнадцатилетней Пьеретте Лоррен: оба были еще детьми! Видя, как отскочил в сторону Бриго, которому передалось ее смятение, Пьеретта не могла удержаться от слез. Она опустилась в убогое кресло, стоявшее перед столиком, над которым висело зеркало. Облокотившись на этот стол и подперев голову руками, она сидела в задумчивости целый час, воскрешая в памяти Ле Марэ, городок Пан-Гоэль, смелые путешествия по пруду в челноке, отвязанном для нее от старой ивы маленьким Жаком, морщинистые лица бабушки и деда, страдальческий облик матери, красивые черты майора Бриго — словом, все свое беззаботное детство! Это тоже было как сон: мгновения яркой радости на тусклом сереньком фоне. Ее прекрасные пепельно-белокурые волосы растрепались под смявшимся за ночь перкалевым чепчиком с оборочкой, который она сама для себя смастерила. С обеих сторон, у висков, свисали локоны, выбившиеся из бумажных папильоток. Толстая распустившаяся коса упала на спину. Цвет лица указывал на тяжелую болезнь, которой подвержены молодые девушки,— она известна под названием «бледной немочи» и лишает больную естественных красок, убивает аппетит, свидетельствуя о серьезном расстройстве всего организма. Тело Пьеретты было воскового цвета. Стоило взглянуть на шею и плечи, бледные, как исчахшая без света и воздуха травка, чтобы понять, отчего так худы эти вытянутые вперед и скрещенные руки. Тоненькие ноги Пьеретты, казалось, потеряли от болезни всю свою упругость; сорочка, покрывавшая их лишь до половины, позволяла видеть слабые сухожилия и голубоватые вены, проступавшие под бледной кожей. Губы девочки стали от холода совсем лиловыми. Грустная улыбка, приподнимавшая уголки ее тонко обрисованного рта, открывала мелкие зубы цвета слоновой кости, хорошенькие полупрозрачные зубки, так гармонировавшие с нежными ушками, остреньким, изящным носом, со всем складом ее круглого и необыкновенно миловидного личика. Вся жизнь этого прелестного лица сосредоточилась в глазах золотисто-табачного цвета с черными точками, с глубоким зрачком. Веселая резвушка Пьеретта была теперь грустна. Утраченная жизнерадостность сохранилась лишь в живости глаз, в чистой прелести юного лба, в коротком подбородке с ямочкой. Длинные темные ресницы бахром-

ками легли на побледневшие от болезни щеки. Чрезмерная бледность придавала поразительную чистоту всем чертам ее лица. Ухо, словно изваянное из мрамора, казалось маленьким чудом искусства. Пьеретта страдала по множеству причин. Вам, может быть, хочется узнать ее историю? Вот она.

Мать Пьеретты, в девичестве мадемуазель Офре из Провена, была единокровной сестрой г-жи Рогрон, матери нынешних владельцев этого дома.

Женившись в первый раз в восемнадцатилетнем возрасте, г-н Офре вступил вторично в брак уже шестидесяти девяти лет. От первого брака у него была единственная, довольно безобразная дочь, по семнадцатому году выданная замуж за Рогрона, содержателя провенского трактира.

У старика Офре родилась дочь и от второго брака, но на сей раз прелестная. Таким образом, в силу исключительных обстоятельств, между двумя дочерьми г-на Офре была огромная разница в летах: когда на свет появилась вторая дочь, дочери от первого брака было уже за пятьдесят. К тому времени, как старик отец одарил ее сестрой, г-жа Рогрон была уже матерью двух взрослых детей.

На девятнадцатом году младшая дочь пылкого старца вышла замуж по любви за бретонского офицера Лоррена, капитана императорской гвардии. Любовь нередко пробуждает честолюбие. Капитан, желая поскорее получить чин полковника, перешел из гвардии в армию. Батальонный командир Лоррен и его жена безбедно жили на деньги, которые им посылали супруги Офре, блистали в Париже или носились по Германии, в зависимости от того, давал ли император сражения или заключал мир; но вскоре бывший провенский бакалейщик старик Офре скончался восьмидесяти восьми лет от роду, не успев сделать завещания. Трактирщик с женой так ловко прибрали к рукам наследство старика, что вдова получила лишь дом на площади да несколько арпанов земли. Мать молодой г-жи Лоррен осталась вдовой в тридцать восемь лет. Как многим вдовам, ей пришла в голову пагубная мысль вторично выйти замуж. Она продала своей падчерице, старухе Рогрон, дом и землю, доставшиеся ей в силу брачного контракта, и обвенчалась с молодым врачом по фа-

милии Неро, который промотал все ее состояние. Два года спустя она умерла от горя в полной нищете.

Таким образом исчезла большая часть наследства, причитавшегося г-же Лоррен после смерти старика Офре, и все оно свелось приблизительно к восьми тысячам франков. Майор Лоррен геройски пал на поле брани в Монтеро, оставив двадцатилетнюю вдову с годовалой дочерью на руках и без иных средств к существованию, кроме полагавшейся ей пенсии и будущего наследства после свекра и свекрови, мелких торговцев в Пан-Гоэле, городке, расположенном в той части Вандеи, которая называется Ле Марэ. Старики Лоррены — родители погибшего офицера, дед и бабушка Пьеретты Лоррен с отцовской стороны,— торговали строительным лесом, черепицей, шифером, трубами и т. п. То ли им не везло, то ли они не умели торговать, но дело шло плохо, они еле-еле сводили концы с концами. Из-за банкротства известного банкирского дома Коллине в Нанте, вызванного событиями 1814 года, и в связи с ними внезапным падением цен на колониальные товары, старики лишились своего вклада, составлявшего двадцать четыре тысячи франков. Невестку свою они встретили поэтому с радостью. Вдова майора получала восемьсот франков пенсии — огромные деньги в Пан-Гоэле. Восемь тысяч франков, которые после множества формальных проволочек, ввиду дальности расстояния, прислали ей зять и сестра Рогроны, она отдала Лорренам под закладную на их домишко в Нанте, стоивший не более десяти тысяч франков и приносивший сто экю дохода.

Младшая г-жа Лоррен умерла в 1819 году, почти одновременно со своей матерью, через три года после ее рокового замужества. Дочь престарелого Офре и его молодой супруги была маленьким, хрупким и болезненным созданием; сырой воздух Ле Марэ был ей вреден. Но чтобы удержать ее у себя, родители мужа уверили ее, что нигде в мире не найти страны здоровее и приятней, чем их Ле Марэ, арена действий Шаретта. Лоррены так за ней ухаживали, так ее ласкали и лелеяли, что после ее смерти уважение к ним только возросло. Кое-кто утверждал, впрочем, что бывший вандеец Бриго — один из тех упорных людей, которые сражались против республики под началом Шаретта, Мерсье, маркиза де Монторана и

барона дю Геника,— сыграл немалую роль в том, что младшая г-жа Лоррен примирилась со своим местопребыванием. Но будь это даже и так, здесь проявилась его горячо преданная и любящая душа. Весь Пан-Гоэль видел, как Бриго, почтительно называемый майором — чин, полученный им в «католических войсках»,— проводил целые дни и вечера подле вдовы майора императорских войск. Под конец даже кюре Пан-Гоэля позволил себе обратиться с наставлениями к старухе Лоррен: он просил ее уговорить невестку обвенчаться с Бриго, обещая выхлопотать ему при содействии виконта де Кергаруэта место мирового судьи кантона Пан-Гоэль.

Смерть бедной молодой женщины разрушила эти планы. Пьеретта осталась у деда с бабкой, от которых ей причиталось четыреста франков процентов в год,— деньги эти, естественно, расходовались на ее содержание. Торговля стариков шла все хуже и хуже; у них появился деятельный и ловкий конкурент, которого они нещадно бранили, не предпринимая ничего другого, чтобы себя отстоять. Их друг и советчик майор Бриго умер спустя полгода после смерти своей подруги — то ли с горя, то ли от ран: их у него было двадцать семь. Плохой сосед был хорошим коммерсантом и задумал положить конец всякой конкуренции, разорив своих соперников. Его стараниями Лоррены получили взаймы деньги под вексель и, как он и предвидел, расплатиться не могли, так что на старости лет вынуждены были объявить себя несостоятельными. Бабушка предъявила свои законные права — им дано было преимущество перед закладной Пьеретты; старуха настаивала на своих правах, чтобы сохранить на старости лет кусок хлеба для мужа. Дом в Нанте был продан за девять тысяч пятьсот франков, полторы тысячи из них ушло на расходы по продаже. Г-жа Лоррен получила оставшиеся восемь тысяч и отдала их под закладную, чтобы иметь возможность доживать свой век в Сен-Жаке — подобии монастыря, находившемся в Нанте и напоминавшем по своему устройству общину Сент-Перин в Париже; за очень скромную плату оба старика получали там кров и пищу.

Лишившись возможности оставить при себе свою разоренную внучку, старики Лоррены вспомнили о ее дяде и тетке Рогронах и послали им письмо. Провенских Рог-

ронов уже не было в живых. Казалось бы, письмо, посланное им Лорренами, должно было пропасть. Но если есть что-либо на земле, что может заменить провидение, то это, несомненно, почта. Почтовая связь — нечто значительно более реальное, нежели связи общественные, которые не приносят к тому же столько дохода, а по своей изобретательности почта оставляет далеко позади самых искусных сочинителей романов. Если на почту попадает письмо и ей причитается за него от трех до десяти су, адресата же приходится разыскивать, то она проявляет такую деловую настойчивость, какую можно встретить разве только у самых неотвязных кредиторов. Почта мечется и рыщет по восьмидесяти шести департаментам Франции. Трудности возбуждают пыл чиновников, зачастую питающих склонность к литературным занятиям, и они пускаются на поиски Неизвестного со рвением ученых математиков из Парижского научного астрономического общества; они обшаривают всю страну. При малейшем проблеске надежды парижские почтовые отделения развивают необычайную деятельность. Вы бываете иной раз совершенно потрясены, разглядывая конверт, напоминающий зебру: так исполосован он с лицевой и оборотной стороны всякими каракулями — доблестными знаками административной настойчивости почты. Если бы за то, что проделывает почта, взялось частное лицо, оно потеряло бы на переездах, путевых издержках и потраченном времени десять тысяч франков, чтобы получить двенадцать су. Нет, почта, несомненно, куда остроумнее тех писем, которые она доставляет. Письмо Лорренов, адресованное в Провен Рогрону, умершему за год перед тем, было переправлено почтой в Париж г-ну Рогрону-сыну, владельцу галантерейной лавки на улице Сен-Дени. То было блестящим доказательством проницательности почты. Наследника всегда в большей или меньшей степени мучит желание узнать, получил ли он все наследство сполна, не позабыты ли какие-нибудь векселя или тряпье. Казна умеет разгадать все, вплоть до человеческих слабостей. Письмо, адресованное умершему старику Рогрону в Провен, должно было неминуемо возбудить любопытство проживающих в Париже наследников — Рогрона-сына или же сестры его, мадемуазель Рогрон. Так что казна получила-

таки свои шестьдесят сантимов. И Рогроны, к которым старики Лоррены, вынужденные расстаться с внучкой, в отчаянии простирали с мольбою руки, стали, таким образом, вершителями судьбы Пьеретты Лоррен. А потому необходимо описать их характер и рассказать об их прошлом.

Папаша Рогрон, содержатель провенского трактира, за которого старик Офре выдал замуж свою дочь от первого брака, был обладателем воспаленной физиономии, носа в красных жилках и одутловатых щек, разрумяненных Бахусом наподобие осенних листьев виноградной лозы. Приземистый, тучный, толстобрюхий, с жирными ляжками и толстыми руками, он был, однако, хитер, как швейцарский трактирщик, на которого смахивал и внешним своим видом. Его лицо походило чем-то на обширный виноградник, побитый градом. Он не блистал, конечно, красотой, но и жена его была не краше. Они представляли собою прекрасно подобранную супружескую пару. Рогрон любил хорошо поесть, притом любил, чтобы подавали красивые служанки. Он принадлежал к породе эгоистов с грубыми замашками, всенародно и бесстыдно предающихся своим порокам. Алчный, корыстолюбивый и беззастенчивый, вынужденный оплачивать свои удовольствия, он проедал все доходы, пока не съел своих зубов. Но скупость свою он сохранил. На старости лет он продал трактир, почти полностью прикарманил, как мы видели, наследство тестя и, удалившись на покой, поселился в маленьком доме на площади Провена, купленном за бесценок у вдовы папаши Офре, бабки Пьеретты. У Рогрона с женой было около двух тысяч франков дохода, состоявшего из арендной платы за двадцать семь участков земли, разбросанных вокруг Провена, и процентов с двадцати тысяч франков, вырученных ими за их заведение. Дом старика Офре был в очень жалком состоянии; но, расположившись в нем, бывшие владельцы трактира оставили его таким, как он был; они, как чумы, боялись всяких перемен: старым крысам по вкусу трещины и развалины. Бывший трактирщик пристрастился к садоводству и тратил свои доходы на увеличение сада; Рогрон дотянул его до самой реки, и сад представлял собой длинный четырехугольник, втиснутый между двух стен и заканчивавшийся площадкой, усыпанной щебнем. Природа,

предоставленная самой себе, могла развернуть у воды все богатство своей речной флоры.

Через два года после свадьбы у Рогронов родилась дочь, а еще через два года — сын; в детях сказывались все признаки вырождения — и дочь и сын были ужасны. Их отдали в деревню кормилице, и домой они вернулись совсем изуродованные деревенским воспитанием: кормилица, которой платили гроши, уходя в поле, надолго запирала их в темной, низкой и сырой комнате — обычном жилище французских крестьян,— и дети по целым часам кричали, требуя груди. Лица их огрубели, голоса стали хриплыми; они не очень-то льстили материнскому тщеславию; мать пыталась отучить их от дурных привычек и прибегала для этого к строгостям, которые, впрочем, казались лаской по сравнению со строгостями отца. Им позволяли слоняться по двору, конюшням и службам трактира или бегать по улицам; иногда задавали им порку; посылали иной раз в гости к деду Офре, который относился к ним без особой любви. Обидная холодность деда послужила для Рогронов лишним поводом захватить львиную долю наследства «старого греховодника». Когда пришло время, папаша Рогрон отдал сына в школу, потом освободил его от военной службы, купив рекрута — одного из своих возчиков. Как только его дочери Сильвии минуло тринадцать лет, он послал ее в Париж — ученицей в магазин, а через два года отправил в столицу и сына своего, Жерома-Дени. Если приятели и собутыльники Рогрона — возчики или завсегдатаи его питейного заведения — спрашивали, что он намерен делать со своими детьми, трактирщик излагал свою точку зрения с прямотою, выгодно отличавшей его от других отцов.

— Пусть только подрастут и придут в понятие, я дам им пинок куда следует и скажу: «Отправляйтесь-ка добывать себе состояние!» — говорил он, опрокидывая рюмку в рот или утирая губы тыльной стороной руки. Потом, поглядев на собеседника и хитро подмигнув ему, добавлял: — Хе-хе! Они не глупее меня. Отец дал мне когда-то три пинка — а я дам им только по одному; он сунул мне один червонец в руку—а я дам им по десяти. Им, стало быть, больше посчастливится, чем мне. Самый верный способ! Эх! Что после меня останется — то и останется; нотариусы, небось, все для них разыщут. Но

чтобы урезывать себя во всем ради детей — это уж глупо!.. Я их родил, я их кормил — и ничего с них не требую; разве мы с ними не в расчете, а, сосед? Я начал с извоза,— ведь не помешало же мне это жениться на дочери старого греховодника папаши Офре!

Сильвия Рогрон послана была в обучение к землякам — владельцам лавки на улице Сен-Дени, и сперва за ее содержание платили сто экю в год. Спустя два года она уже оправдывала себя: она еще не получала жалованья, но родителям уже не приходилось больше платить за ее стол и комнату. Вот что на улице Сен-Дени называется «оправдывать себя». Еще через два года, в течение которых мать посылала ей по сто франков на одежду, Сильвия начала уже получать сто экю жалованья в год. Таким образом, с девятнадцати лет мадемуазель Сильвия Рогрон добилась самостоятельности. В двадцать лет она была второй продавщицей фирмы «Китайский шелкопряд» у Жюльяра, оптового торговца шелком на улице Сен-Дени.

История брата была точным повторением истории сестры. Юный Жером-Дени Рогрон поступил к одному из крупнейших галантерейщиков улицы Сен-Дени, в торговый дом Гепена «Три прялки». Если Сильвия в двадцать один год была первой продавщицей, с окладом в тысячу франков, то Жерому-Дени повезло еще больше: он уже в восемнадцать лет был первым приказчиком, с жалованьем в тысячу двести франков, у Гепенов, тоже их земляков. Брат и сестра встречались по воскресеньям и прочим праздникам и проводили эти дни в скромных развлечениях: обедали за городом, ездили в Сен-Клу, Медон, Бельвиль, Венсен. Соединив свои капиталы, добытые в поте лица,— около двадцати тысяч франков,— они в конце 1815 года купили у г-жи Гене одно из крупнейших розничных предприятий — пользовавшуюся широкой известностью галантерейную торговлю «Домовитая хозяйка». Сестра взяла на себя заведование кассой и конторой, а также корреспонденцию. Брат был одновременно и хозяином и первым приказчиком, как Сильвия сперва была у себя в лавке еще и первой продавщицей. Проторговав пять лет, брат и сестра в 1821 году лишь с трудом могли расплатиться за свою лавку и сохранить ее коммерческую репутацию,—столь жестокий характер приняла конкурен-

ция в галантерейном деле. Сильвии Рогрон к этому времени было не больше сорока лет, но из-за уродливости и угрюмого вида, объяснявшегося как складом лица, так и постоянными заботами и напряженным трудом, ей можно было дать все пятьдесят. У тридцативосьмилетнего Жерома-Дени была самая глупая физиономия, какую покупатели когда-либо видели за прилавком. Его низкий лоб бороздили три глубокие морщины — следы усталости. Он коротко стриг свои седоватые, редкие волосы и отличался невыразимо тупым видом животного из породы холоднокровных. Белесые голубые глаза глядели тускло и бессмысленно. Плоское круглое лицо не внушало ни малейшей симпатии и не могло даже вызвать усмешку на губах любителя парижских типов: глядя на него, становилось грустно. Он был тучен и приземист, подобно отцу, но вместо могучей толщины трактирщика все его тело отличалось какой-то странной расслабленностью. Багровый румянец отца заменила у него нездоровая бледность, свойственная людям, которые проводят жизнь свою без воздуха, в конурах за лавкой, в заделанных решеткой клетушках, именуемых кассой, день-деньской наматывают и разматывают шпагат, получают деньги и дают сдачу, изводят своих приказчиков и неустанно повторяют покупателям одни и те же слова.

Весь скудный ум брата и сестры целиком поглощала их лавка; они умели вести торговлю, подсчитывать прибыли и убытки, хорошо знали специальные законы и обычаи парижского торгового мира. Иголки, нитки, ленты, булавки, пуговицы, портновский приклад — словом, все бесчисленное множество товаров парижской галантереи полностью забивало их память. Все их способности уходили на составление счетов, коммерческих писем и ответов на них, на учет товаров. Вне своего дела они ни о чем не имели понятия, не знали даже Парижа. Париж для них был чем-то вроде окрестностей улицы Сен-Дени. Узкий круг их деятельности не выходил за пределы их лавки. Они великолепно умели донимать своих приказчиков и продавщиц, уличать их в провинностях. Они только и чувствовали себя счастливыми, когда руки всех их служащих с проворством мышиных лапок сновали по прилавку, раскладывая или убирая товары. Если они слышали, как семь-восемь продавщиц или приказчиков произносят

наперебой фразы на том особом языке, которым полагается беседовать с покупателем,— день казался им чудесным и погода прекрасной. Когда же Париж оживал под лазурью небес и парижане прогуливались, не помышляя ни о какой другой галантерее, кроме той, что была на них надета,— тогда тупица-хозяин говорил: «Вот отвратительная погода для торговли!» Великое искусство Рогрона, вызывавшее восхищение учеников в его лавке, заключалось в завязывании, развязывании, упаковке и завертывании пакетов. Рогрон мог заворачивать покупку и смотреть одновременно на улицу или наблюдать за тем, что делается в другом конце лавки; он все уже успевал приметить, когда, подавая покупательнице сверток, говорил: «Прошу вас, сударыня! Не прикажете ли еще чего?» Если бы не сестра, этот олух, несомненно, разорился бы. Но Сильвия обладала здравым смыслом и торговым нюхом. Она руководила братом при закупках на фабриках и безжалостно гнала его в самую глубь Франции, чтобы купить какой-нибудь товар хотя бы на одно су дешевле. Ввиду отсутствия сердечных дел, всю хитрость, в большей или меньшей степени присущую каждой женщине, Сильвия обратила на погоню за барышом. Оплатить лавку полностью—вот мысль, служившая поршнем для этой машины и заставлявшая ее работать с бешеной энергией. Рогрон, по существу, так и остался старшим приказчиком, он не способен был охватить все дело в целом; даже стремление к выгоде — самый мощный рычаг, управляющий нашими поступками,— не могло заставить его мозги работать. Он бывал совершенно ошеломлен, когда сестра вдруг распоряжалась продавать что-либо себе в убыток, предвидя, что товар этот скоро выйдет из моды; а потом ему оставалось лишь глупо восхищаться Сильвией. Сам он не способен был соображать ни хорошо, ни худо, ибо вообще лишен был всякой сообразительности; но у него хватало ума слушаться во всем сестры, и это послушание он объяснял доводами, ничего общего с торговлей не имеющими. «Она старшая!» — говорил он. Быть может, его постоянное одиночество, безрадостная юность и нужда, жизнь, сводившаяся к удовлетворению лишь самых насущных потребностей, сделают понятными для физиологов и мыслителей животную тупость лица, умственную слабость и весь бессмысленный вид этого торговца га-

лантерейными товарами. Сестра упорно удерживала Рогрона от женитьбы, потому ли, что боялась утратить свое влияние в доме, или же видя в невестке, несомненно более молодой и уже, наверное, менее уродливой, чем она сама, новую статью расхода и опасность разорения.

Глупость бывает двух родов: молчаливая и болтливая. Молчаливая глупость безобидна, но глупость Рогрона была болтливой. У этого лавочника вошло в привычку распекать своих приказчиков, разъяснять им все тонкости оптово-розничной галантерейной торговли, пересыпая свою речь плоскими шуточками, щеголяя торгашеским *балагурством*. Выражение это, обозначавшее когда-то ходячие бойкие словечки, вытеснено было более грубым словом — *зубоскальство*. Рогрон, которого волей-неволей приходилось слушать его домочадцам, преисполнился самодовольства и создал для себя в конце концов собственные обороты речи. Болтун возомнил себя оратором. Нужно уметь объяснить покупателю, чего он собственно хочет, угадать его желание, внушить вкус к тому, чего он вовсе не желал,— вот откуда бойкость языка у лавочников. Они приобретают сноровку произносить бессмысленные, но внушительные фразы. Показывая товар, они объясняют малоизвестные способы его изготовления, и это дает им какой-то минутный перевес над покупателем; но вне круга тысячи и одного объяснения, потребных для тысячи и одного сорта его товаров, лавочник в сфере мысли — точно рыба, выброшенная из воды.

У Рогрона и Сильвии, двух по ошибке окрещенных машин, и в зачатке не было того, что составляет жизнь сердца. Вот почему оба они были до крайности сухи и бесчувственны, зачерствели в работе, лишениях, воспоминаниях о долгих и тяжелых годах ученичества. Сострадание к человеческому горю было им чуждо. Они не знали жалости к людям, попавшим в беду, и были к ним неумолимо жестоки. Все человеческие достоинства — честь, добродетель, порядочность — сводились для них к тому, чтобы в срок уплачивать по векселям. Сварливые, бездушные, скаредные, брат и сестра пользовались отвратительной репутацией среди торговцев улицы Сен-Дени. Если бы не связь с Провеном, куда они ездили трижды в год, когда могли на два-три дня закрыть свою лавку, они бы остались без приказчиков и продавщиц. Но папаша Рог-

рон посылал к ним всех несчастливцев, которых родители хотели пустить по торговой части. Он вербовал в Провене учеников и учениц для галантерейной торговли своих детей и хвастался их достатками. И кто соблазнялся мыслью отдать дочь или сына в ученье под строгий присмотр и увидеть их в один прекрасный день преемниками «сына Рогрона», тот отправлял ребенка, стеснявшего его дома, на выучку в лавку холостяка и старой девы. Но лишь только ученику или ученице, за содержание которых уплачивалось по сто экю в год, удавалось вырваться из этой каторги, они были счастливы удрать оттуда, что усугубляло ужасную славу Рогронов. А неутомимый трактирщик отыскивал для них все новые и новые жертвы. У Сильвии Рогрон, чуть ли не с пятнадцати лет привыкшей лицедействовать в лавке, было два облика: то она сияла приторной улыбкой продавщицы, то хранила кислую мину старой девы. Ее деланно любезное лицо обладало чудесной мимикой: вся она превращалась в улыбку, ее сладенький, вкрадчивый голос опутывал покупательницу коммерческими чарами. Но подлинным ее лицом было то, что выглянуло сейчас между приоткрытых ставней, и оно могло обратить в бегство самого решительного из казаков 1815 года, которым была по вкусу, казалось, любая француженка.

Когда пришло письмо Лорренов, Рогроны были в трауре по отцу, они получили в наследство дом, можно сказать, украденный у бабушки Пьеретты, и землю, приобретенную бывшим трактирщиком, а сверх того кое-какие капиталы,— старый пьянчуга за ростовщический процент давал ссуды под залог земли, покупаемой крестьянами, рассчитывая впоследствии завладеть их участками. Годовая опись товаров была закончена: за фирму «Домовитая хозяйка» уплачено полностью. У Рогронов оставалось тысяч на шестьдесят товаров в лавке, сорок тысяч франков наличными и в бумагах, а также стоимость самой фирмы. Сидя за прилавком, в квадратной нише, на скамье, обитой зеленым полосатым трипом, против такого же прилавка, за коим помещалась старшая продавщица, брат и сестра обсуждали свои планы на будущее. Каждый торговец мечтает стать рантье. Продав свое торговое дело, Рогроны могли выручить около полутораста тысяч франков, не считая отцовского наследства. Поме-

стив же наличный капитал в государственную ренту, каждый из них получал бы три-четыре тысячи франков дохода, а на перестройку родительского дома они потратили бы деньги, вырученные за лавку, которые им должны были, разумеется, выплатить в установленный срок. Им, стало быть, представлялась возможность поселиться вместе в Провене, в собственном доме. Старшей продавщицей у них в лавке служила дочь богатого фермера из Донмари, отца девятерых детей, которых необходимо было обучить какой-нибудь профессии, ибо из его достатков, разделенных на девять частей, на долю каждого пришлось бы немного. Но за пять лет этот фермер потерял семерых детей; первая продавщица стала такой завидной невестой, что Рогрон даже обнаружил было желание на ней жениться, не увенчавшееся, однако, успехом. Продавщица проявляла решительное отвращение к своему хозяину, и все попытки этого рода пресеклись в корне. Мадемуазель Сильвия, впрочем, не только не содействовала брату в его планах, но была против его брака: ей хотелось сделать эту хитроумную девицу своей преемницей. А женитьбу Рогрона она откладывала до их водворения в Провене.

Никому из сторонних наблюдателей не разгадать, какие тайные пружины движут жизнью некоторых лавочников; смотришь на них и думаешь: «Чем и для чего они живут? Откуда они берутся и куда потом деваются?» Но когда пробуешь разобраться в этом, рискуешь запутаться в пустых мелочах. Чтобы докопаться до искорки поэзии, тлеющей в сердцах торгашей и вносящей жизнь в их прозябание, необходимо тщательно изучить этих людей; и тогда обнаруживается, на какой зыбкой почве все у них построено. Парижский лавочник живет надеждой — осуществима она или нет,— но без нее он бы неминуемо погиб. Один мечтает выстроить театр или заведовать им; другой стремится к почестям, сопряженным со званием мэра; у третьего в нескольких лье от Парижа есть загородный домик с подобием парка, где он расставляет раскрашенные гипсовые фигуры и устраивает фонтан с тонкой, как ниточка, струйкой воды — роскошь, стоящая ему бешеных денег; четвертый хочет стать командиром национальной гвардии. Провен — этот рай земной — рождал в обоих галантерейщиках то фанатическое чувство, которое прелестные городки Франции вызывают в сердцах

своих обитателей. И нужно отдать справедливость Шампани: она вполне заслужила такую любовь. Провен — один из самых очаровательных французских городков и может соперничать с Франгистаном и долиной Кашмира; он овеян поэзией персидского Гомера — Саади, но имеет еще заслуги медико-фармацевтического характера. Крестоносцы завезли в эту чудную долину иерихонскую розу, и она, не утратив своих красок, приобрела там случайно новые качества. Провен не только французская Персия — в нем есть источники целебных вод, он мог бы стать Баденом, Эксом, Батом! Вот тот пейзаж, ежегодно подновляемый в памяти двух галантерейщиков, который то и дело возникал в их воображении на грязной мостовой улицы Сен-Дени. Миновав пустынные и однообразные, но плодородные, богатые пшеницей равнины, которые тянутся от Ферте-Гоше до Провена, вы поднимаетесь на холм. И вдруг у самых ваших ног открывается город, орошаемый двумя речками; под скалой раскинулась живописная изумрудная долина с убегающими вдаль горизонтами. Если вы подъехали со стороны Парижа, то Провен разворачивается перед вами в длину; как водится, у подножия холма пролегает большая дорога, где слепец и нищие провожают вас своими жалобными голосами, когда вам вздумается взглянуть поближе на этот живописный уголок, неожиданно открывшийся вашему взору. Если же вы приехали со стороны Труа, вы приближаетесь к Провену по равнине. Замок и старый город с его древними укреплениями громоздятся перед вами по уступам холма. Новый город лежит внизу. Есть верхний и нижний Провен; первый — город, овеваемый свежим ветром, с извилистыми улицами, взбегающими в гору, и с прекрасными видами; вокруг него изрытые дождевыми потоками и обсаженные орешником дороги бороздят широкими колеями крутые склоны холма; это тихий, чистенький, торжественно спокойный город, увенчанный величественными развалинами замка; нижний Провен — город мельниц, орошаемый Вульзи и Дюртеном — двумя бриарскими речками, узкими, глубокими и тихими, город харчевен, город торговцев и удалившихся от дел буржуа, город, где грохочут дилижансы, коляски, возы.

Эти два городка, или, вернее, этот город, его истори-

ческое прошлое, его меланхолические развалины, его окрестности—веселые долины, чудесные ручейки в цветущих берегах, кудрявые живые изгороди, речка в зубчатой рамке садов — рождают такую любовь в сердцах жителей, что они следуют примеру овернцев, савойцев и всех вообще французов: если кто и покидает Провен в поисках счастья, то неизменно туда возвращается. Выражение «умереть в своей норе», которое сложилось о кроликах, но применимо и к человеческому постоянству, может служить девизом для обитателей Провена. Рогрон с сестрой только и мечтали о своем милом Провене. Продавая мотки пряжи, брат внутренним взором видел «верхний город». Складывая стопками картонные листы с нашитыми пуговицами, он созерцал долину. Разворачивая или скатывая падуанскую ленту, он представлял себе блестящие изгибы речек. Окидывая взглядом полки с товарами, он мысленно взбегал по изрытым дорогам на кручу, куда удирал когда-то, скрываясь от отцовского гнева, и лакомился там ежевикой и орехами. Но особенно занимала его мысли маленькая площадь Провена: он все думал, как бы ему украсить свой дом, мечтал о новом фасаде, о гостиной, о бильярдной, столовой, спальнях, об огороде, который превращался в английский сад с лужайками, гротами, фонтанами, статуями и т. п. Спальни брата и сестры были на третьем этаже шестиэтажного дома, шириной в три окна по фасаду и окрашенного в желтый цвет,— таких домов немало на улице Сен-Дени; комнаты были скудно обставлены только самой необходимой мебелью. И все же ни у кого в Париже не было такой роскошной обстановки, как у Рогрона! Проходя по городу, он в каком-то экстазе застывал перед витринами с красивой мебелью, рассматривал драпировки, которыми увешивал свое будущее жилище. А возвратившись домой, говорил сестре: «Какую мебель я видел в одной лавке! Вот подошла бы для нашей гостиной!» Назавтра он мысленно покупал уже другую обстановку, и так до бесконечности. Каждый месяц он выбрасывал всю мебель, купленную в предыдущем. На его архитектурные причуды недостало бы и государственного бюджета: ему хотелось иметь все, что он видел, а нравилось ему только самое модное. Если он любовался балконами новых домов или изучал робкие попытки украсить их фасады, он на-

ходил, что лепные украшения, скульптура и раскраска стен совсем не на месте в Париже. «Эх! — думал он.— Как бы все это выглядело в Провене!» Когда он после завтрака стоял, прислонясь к витрине, у порога своей лавки и, тупо уставясь в одну точку, предавался пищеварению, перед взором его возникал фантастический дом, позлащенный солнцем мечты; он прогуливался в своем саду, слушал журчание своего фонтана, падавшего сверкающими жемчужинами на круглую каменную плиту. Он играл на собственном бильярде, сажал цветы!

Если же сестра его задумывалась с пером в руке, забывая бранить приказчиков,— стало быть, она видела, как принимает у себя провенских буржуа или любуется в зеркалах собственной гостиной своим чудесным чепцом. И брат и сестра стали уже находить, что на улице Сен-Дени нездоровый воздух, а запах рыночных отбросов заставлял их вздыхать по благоуханию провенских роз. Их терзала тоска по родным местам, ими, как мания, овладевала мечта о собственном доме, еще более разжигаемая препятствиями — необходимостью распродать последние мотки ниток, катушки шелка и пуговицы. Обетованная земля долины Провена тем сильнее влекла к себе этих новых израильтян, чем дольше они задыхались и страдали, совершая свой переход по песчаной пустыне галантерейной торговли.

Письмо Лорренов пришло, когда они были целиком захвачены мыслями об этом прекрасном будущем. Галантерейщики почти не знали своей кузины Пьеретты Лоррен. Старый трактирщик прикарманил наследство Офре еще в те времена, когда дети его обзаводились собственной лавкой, распространяться же о своих капиталах он не любил. Брат и сестра, отосланные с юных лет в Париж, едва помнили свою тетку Лоррен. Понадобился чуть ли не целый час генеалогических споров, чтоб они вспомнили эту тетку, дочь их деда Офре от второго брака, единокровную сестру их матери. Они установили, что умершая от горя г-жа Неро была матерью г-жи Лоррен, и пришли тогда к выводу, что второй брак их деда был для них крайне невыгоден, ибо результатом его был раздел наследства между детьми от обоих браков. Они припомнили к тому же кое-какие обвинения своего отца, который, как истый трактирщик, любил позубоскалить.

Брат и сестра рассматривали письмо Лорренов сквозь призму этих воспоминаний, мало благоприятных для Пьеретты. Обременить себя заботами о девочке-сироте, двоюродной сестре, которая как-никак должна стать и наследницей, если никто из них не вступит в брак,— тут было о чем подумать. Вопрос обсуждался со всех сторон. Прежде всего, они и в глаза не видели Пьеретты. Опекать молодую девушку — большая забота. Не свяжут ли они себя обязательствами по отношению к ней? Ведь отправить ее обратно, если она им не понравится, будет невозможно; не придется ли ее к тому же еще и замуж выдавать? А если сам Рогрон подыщет себе богатую невесту в Провене, не лучше ли будет сохранить все их состояние для его потомства? Сильвия считала, что самой подходящей невестой была бы богатая, глупая и некрасивая девушка, которая позволила бы золовке командовать ею. Лавочник и лавочница решили отказать Лорренам. Сильвия взялась ответить на письмо. Но было достаточно текущих дел, и ответ все время откладывался — с ним ведь можно было и повременить; а когда старшая продавщица согласилась начать переговоры о покупке «Домовитой хозяйки», старая дева и думать позабыла о письме. Сильвия Рогрон с братом переехали в Провен за четыре года перед приходом туда Бриго — событием, сыгравшим такую роль в судьбе Пьеретты. Но дела и поступки этих двух лиц в провинции так же нуждаются в описании, как и жизнь их в Париже, ибо Провен для Пьеретты сыграл не менее роковую роль, чем коммерческое прошлое ее кузенов.

Когда мелкий торговец, уехавший из провинции в Париж, возвращается из Парижа в провинцию, он обычно привозит с собой несколько новых замыслов; но день за днем привычный уклад провинциальной жизни засасывает его, и благим начинаниям приходит конец. Вот почему столь незначительны и поверхностны те изменения, которые Париж лишь медленно, постепенно вносит в провинциальную жизнь, что особенно явственно видно при обращении бывшего парижского лавочника в заядлого провинциала. Переход этот переживается как настоящая болезнь. Нет такого розничного торговца, который безнаказанно сменил бы несмолкаемую болтовню на молчание, а парижскую суету—на провинциальное оцепенение. Ско-

лотив капиталец, эти почтенные люди расходуют его на удовлетворение давно лелеемых желаний, охваченные последними порывами энергии, которую не вдруг ведь остановишь. Те, кто не оказался во власти какой-либо мании, путешествуют или с головой уходят в муниципальную политику. Другие увлекаются охотой или рыбной ловлей, донимают своих фермеров или жильцов. Третьи становятся ростовщиками, подобно старику Рогрону, или же, как очень многие,— акционерами. Мечта брата и сестры вам известна: она заключалась в том, чтобы пустить в ход лопатку каменщика — воздвигнуть себе прекрасный дом. Этой навязчивой идее обязаны были своим появлением на площади нижнего Провена тот фасад, который только что рассматривал Бриго, новое расположение комнат в доме и роскошная меблировка. Подрядчик не вбил ни единого гвоздя, не спросив предварительно согласия Рогронов, не давши им подписать план и смету, не объяснив обстоятельно и подробно все свойства предлагаемого усовершенствования, качество и стоимость потребного материала. Если же речь шла о каких-нибудь новшествах во внутренней отделке, то они ведь имелись уже у г-на Гарслана, мэра, или у г-на Тифена, или у молодой г-жи Жюльяр. Ссылка на кого-либо из богатых буржуа Провена неизменно решала спор в пользу предложения подрядчика.

— Если это завел у себя господин Гарслан — ладно, делайте и у нас! — говорила мадемуазель Рогрон.— Верно, уж неплохо, у него есть вкус.

— Сильвия, он предлагает нам карнизы в коридоре украсить овалами.

— Вы называете это овалами?

— Да, мадемуазель.

— А почему? Вот странное название! Никогда не слыхала.

— Но видали?

— Да.

— Знаете ли вы латынь?

— Нет.

— Ну, так вот. По-латыни это значит яйцевидный, ovum — значит яйцо.

— Странные вы люди, архитекторы! — восклицал Рогрон.— Да ведь эти яйцевидные украшения выеденно-

го яйца не стоят, а вы все норовите содрать за них подороже.

— Коридор красить будем? — спрашивал подрядчик.

— Нет уж, не к чему! — возмущалась Сильвия.— Только лишних пятьсот франков!..

— Лестница и гостиная так хороши, что жаль оставлять коридор неокрашенным,— возражал подрядчик.— Молодая госпожа Лесур в прошлом году выкрасила у себя коридор.

— А ведь муж ее прокурор, его могут перевести из Провена.

— О! Он еще будет когда-нибудь председателем суда в Провене! — говорил подрядчик.

— Куда же тогда денется господин Тифен?

— Ну, о господине Тифене можете не беспокоиться. У него красивая жена, его переведут в Париж. Так как же, будем мы красить коридор?

— Да, пусть Лесуры видят, что мы не хуже их! — решал Рогрон.

Весь первый год по водворении Рогронов в Провене был заполнен такого рода обсуждениями, радостью наблюдать за подвигающимися работами, а в связи с ними—усвоением разительных по своей новизне сведений и попытками брата и сестры завязать близкое знакомство с виднейшими семьями города Провена.

Рогроны никогда не вращались в обществе, нигде дальше своей лавки не бывали; в Париже они ни с кем не вели знакомства и теперь жаждали удовольствий светской жизни. Вернувшись в Провен, переселенцы разыскали прежде всего супругов Жюльяр из «Китайского шелкопряда» с их детьми и внуками; потом семью Гепенов, вернее — целый клан Гепенов, внук которых и сейчас еще был владельцем «Трех прялок»; наконец бывшую владелицу «Домовитой хозяйки», г-жу Гене, у которой три дочери были замужем в Провене. Эти три больших рода— Жюльяры, Гепены и Гене — распространились по городу, как сорняки по лугу. Мэр города г-н Гарслан был зятем г-на Гепена. Священник, аббат Перу, был родным братом г-жи Жюльяр, в девичестве Перу. Председатель суда г-н Тифен был братом г-жи Гене, которая подписывалась: «урожденная Тифен».

Царицей города была прекрасная г-жа Тифен-млад-

шая, единственная дочь г-жи Роген, богатой жены бывшего парижского нотариуса, о котором никогда не упоминалось. Красивая, изящная и остроумная, нарочно выданная замуж в провинцию своей матерью, не желавшей иметь ее под боком и взявшей ее из пансиона чуть ли не накануне свадьбы, Мелани Роген смотрела на Провен как на место ссылки и вела себя там удивительно умно. Она получила прекрасное приданое, и у нее были еще лучшие виды на будущее. Что же касается г-на Тифена, то его старик отец почти уже выделил свою старшую дочь, г-жу Гене, дав ей в приданое, в счет наследства, значительную часть своего имущества,— так что отцовское имение, находившееся в пяти лье от Провена и приносившее восемь тысяч франков дохода, целиком должно было отойти к сыну. Таким образом, Тифены, у которых при вступлении в брак было двадцать тысяч ренты, кроме дома и председательского оклада, могли рассчитывать в будущем еще на двадцать тысяч франков в год. «Жалеть их не приходится»,— говорили в Провене. Великой, единственной заботой прекрасной г-жи Тифен было достигнуть того, чтобы мужа избрали в депутаты. Депутат получил бы место судьи в Париже, а тогда уж она живо добилась бы его перевода из трибунала в королевский суд. Вот почему она со всеми ладила и всем старалась понравиться. И что самое удивительное — ей это удавалось! Два раза в неделю она принимала провенскую буржуазию в своем красивом доме в верхнем городе. Эта молодая, двадцатидвухлетняя женщина не сделала еще ни одного ложного шага на столь скользком пути. Она весьма искусно льстила самолюбию каждого, умела играть на слабых струнках, с солидными людьми бывала солидна; с девицами — девически молода; с мамашами — полна материнских забот; с молодыми женщинами — предупредительна и весела и со всеми — очаровательно любезна. Словом, то была жемчужина, сокровище, гордость Провена. Она еще и не заикалась о своем желании, а уже все избиратели Провена только и ждали, чтобы их дорогой председатель суда достиг надлежащего возраста и можно было избрать его в депутаты. Каждый верил в его таланты и, видя в нем для себя заручку, рассчитывал на его покровительство: о, г-н Тифен сделает карьеру, он будет министром юстиции, он не забудет о Провене!

Вот с помощью каких уловок удачливая г-жа Тифен царила в Провене. Г-жа Гене, сестра г-на Тифена, выдав старшую дочь за прокурора Лесура, вторую — за врача, г-на Мартене, и третью — за нотариуса Офре, сама вторично вышла замуж за начальника налогового управления г-на Галардона. Г-жи Лесур, Мартене, Офре и их мать г-жа Галардон считали председателя суда Тифена самым богатым и даровитым человеком в семье. Королевский прокурор, приходившийся по жене племянником г-ну Тифену, был кровно заинтересован в переводе дядюшки в Париж, чтобы место председателя суда в Провене занять самому. Четыре дамы (г-жа Галардон обожала брата) окружили г-жу Тифен подобием придворного штата, и для них ее совет, ее мнение были законом. Старший сын г-на Жюльяра, женатый на единственной дочери богатого фермера, воспылал внезапной страстью, тайной, поэтической и бескорыстной, к жене председателя суда, ангелу, спустившемуся с парижских небес. Хитрая Мелани не собиралась, конечно, усложнять свою жизнь романом с каким-то Жюльяром, но не прочь была превратить его в Амадиса и извлечь пользу из его глупости; она посоветовала ему приступить к изданию газеты, для которой сама стала бы нимфой Эгерией. Два года тому назад Жюльяр, подстегиваемый своей романтической страстью, завел газету и почтовые кареты для Провена. Газета называлась «Улей, орган Провена» и содержала статьи по литературе, археологии и медицине, состряпанные в семейном кругу. Объявлениями со всего округа вполне окупались расходы. Подписка (двести человек подписчиков) была чистой прибылью. В газете печатались совсем непонятные для жителей Бри меланхолические стансы, посвященные *«Ей!!!»* (с тремя восклицательными знаками). Таким образом, чета Жюльяров-младших, восхищавшаяся добродетелями г-жи Тифен, присоединила весь клан Жюльяров к клану Гене. И, разумеется, салон председателя суда стал первым салоном в городе. У горсточки провенской аристократии был свой салон в верхнем городе, собиравшийся у старой графини де Бреоте.

В ближайшие полгода после своего водворения в Провене Рогроны благодаря старым связям с Жюльярами, Гепенами и Гене и родству с нотариусом Офре, внучатым племянником их деда, сперва были приняты г-жой

Жюльяр-старшей и г-жой Галардон; затем — правда, с большим трудом — допущены были в салон прекрасной г-жи Тифен. Принимать у себя Рогронов решались далеко не сразу — надо было хорошенько к ним присмотреться. Неудобно было, конечно, сторониться торговцев с улицы Сен-Дени, уроженцев Провена, вернувшихся в родные места проживать свои доходы. И все же целью любого круга общества всегда будет объединение людей, подходящих друг к другу по своим денежным средствам, нравам, образованию, знаниям и характеру. Но Гепены, Гене и Жюльяры занимали более высокое общественное положение, ибо принадлежали к более старой буржуазии, чем Рогрон, сын трактирщика-ростовщика, не безупречного и в личной жизни и в отношении наследства Офре. Нотариус Офре, зять г-жи Галардон, урожденной Тифен, был хорошо осведомлен на этот счет: дело состряпано было у его предшественника. Все эти бывшие торговцы вернулись в Провен уже лет двенадцать назад; их образование, обходительность, манеры — все было подогнано к тому жизненному уровню, которому г-жа Тифен придала некоторый отпечаток элегантности и парижский светский лоск; все здесь было однородно, все понимали друг друга, каждый умел держаться и вести беседу так, чтобы другим было приятно. Каждый знал характер всех прочих, все друг к другу привыкли. Принятые у мэра, г-на Гарслана, Рогроны надеялись, что будут вскоре на короткой ноге с лучшим обществом Провена. Сильвия поэтому научилась играть в бостон. Рогрон не способен был усвоить ни одной игры; поговорив о своем доме, он складывал на животе руки и вертел большими пальцами, не отваживаясь больше произнести ни слова; но благодетельное молчание было для него горьким лекарством; он то и дело вскакивал, как бы желая что-то сказать, в смущении садился вновь, и губы его при этом смешно дергались. Сильвия за картами откровенно проявляла свой подлинный характер. Сварливая, неизменно сетуя при проигрышах, она нагло торжествовала, когда ей удавалось выиграть; торгуясь, скаредничая, она выводила из себя своих противников и партнеров и стала бичом общества. Под влиянием нескрываемой и глупой зависти Рогрон с сестрой возымели претензию играть роль в городке, который был опутан сетью переплетающихся интере-

сов и тщеславия двенадцати семейств; на этой скользкой почве новичок должен был двигаться с большой осмотрительностью, чтобы не оступиться и ничего не задеть. Если положить на перестройку дома тридцать тысяч франков, у брата с сестрой должно было остаться десять тысяч франков дохода. Они себя считали богачами, всем досаждали рассказами о роскоши своего будущего жилища и в полной мере обнаружили свою мелочность, грубое невежество и глупую зависть. В тот вечер, когда они посетили прекрасную г-жу Тифен, имевшую уже случай наблюдать их у г-жи Гарслан, у своей золовки Галардон и у старой г-жи Жюльяр,— царица города конфиденциально спросила у Жюльяра-сына, оставшегося на несколько минут по уходе других гостей побеседовать с нею и с председателем суда:

— Вы все, как видно, очень увлекаетесь этими Рогронами?

— Что до меня касается,— заявил провенский Амадис,— то они докучают моей матери, изводят жену, а отец мой не выносил мадемуазель Сильвию еще тридцать лет тому назад, когда ее поместили к нему ученицей.

— У меня большое желание,— сказала прелестная председательша, поставив свою хорошенькую ножку на решетку камина,— дать этим людям понять, что моя гостиная отнюдь не трактир.

Жюльяр возвел глаза к небу, как бы желая сказать: «Боже мой! Как остроумно, сколько тонкости!»

— Я хочу видеть у себя избранное общество; если же принимать каких-то Рогронов, оно, конечно, избранным не будет.

— У них ни ума, ни сердца, ни умения держать себя,— сказал председатель суда.— Ежели, проторговав двадцать лет нитками, как моя сестра, например...

— Друг мой, ваша сестра была бы на месте в любом салоне,— вставила г-жа Тифен.

—...имеют глупость и дальше оставаться галантерейщиками,— продолжал председатель суда,— если не стараются избавиться от своего грубого невежества и думают, что высокородные графы Шампанские — это графы счетов на высокосортное шампанское, как нынче вечером случилось с Рогронами,—тогда нужно сидеть у себя дома!

— Они — бахвалы, —сказал Жюльяр.—Точно в Провене имеется один только их дом! Они хотят затмить нас своей роскошью. А на деле у них едва хватает, чтобы свести концы с концами.

— Если бы речь шла об одном лишь брате,— продолжала г-жа Тифен,— куда ни шло, его еще можно было бы вынести, он не слишком обременителен. Сунуть ему китайскую головоломку, и он спокойно просидит весь вечер в уголке гостиной. Чтобы найти решение, ему ведь потребуется целая зима. Но мадемуазель Сильвия... Голос — как у простуженной гиены, руки — словно клешни у омара... Нет, нет, Жюльяр, не возражайте...

Когда Жюльяр ушел, г-жа Тифен сказала мужу:

— Друг мой, хватит с меня туземцев, которых я вынуждена принимать; а уж эти двое меня совсем доконают. Если позволишь, мы обойдемся как-нибудь без них.

— Ты хозяйка в своем доме,— сказал председатель суда,— но только смотри, не нажить бы нам врагов. Рогроны перейдут в оппозицию, которая до сих пор никакого значения в Провене не имела. Рогрон и так уж зачастил к барону Гуро и стряпчему Винэ.

— Ну, тебе это будет лишь на руку,— улыбаясь, сказала Мелани.— Где нет врагов, нет и победы. Какой-нибудь заговор либералов, противозаконное сообщество, какая-нибудь борьба только выдвинут тебя.

Председатель суда с каким-то опасливым восхищением посмотрел на свою молодую супругу.

Назавтра у г-жи Гарслан все на ухо передавали друг другу, что Рогроны не имели успеха у г-жи Тифен, а ее острое словцо насчет трактира вызвало общий восторг. Г-жа Тифен только через месяц собралась с ответным визитом к мадемуазель Сильвии. Такое оскорбительное высокомерие не может остаться в провинции незамеченным. За бостоном у г-жи Тифен Сильвия устроила почтенной г-же Жюльяр-старшей пренеприятную сцену по поводу превосходного мизера, который ее бывшая хозяйка, якобы назло и умышленно, заставила ее потерять. Сильвия, любившая сыграть злую шутку с другими, никак не могла допустить, что и ей могут отплатить той же монетой. Г-жа Тифен подала пример, подбирая партнеров для карточной игры до прихода Рогронов, так что Сильвии оставалось только блуждать от столика к столику и

смотреть, как играют другие, поглядывавшие на нее со скрытой насмешкой. А у г-жи Жюльяр-старшей сели за вист, в который Сильвия играть не умела. Старая дева поняла наконец, что она объявлена вне закона, не поняв только, почему. Она решила, что все ей завидуют. Вскоре никто уже больше не приглашал Рогронов. Но они упорствовали в своем желании проводить вечера в гостях. Остроумцы осторожно, исподтишка вышучивали их, сводя разговор на «овальные» украшения в их доме, на пресловутый поставец для ликеров, равного которому якобы не было в Провене, и Рогроны несли несуразнейший вздор. Дом Рогронов тем временем был закончен. Они задали, конечно, несколько великолепных обедов — для того, чтобы отдать долг вежливости, и для того, чтобы похвастать роскошью. К ним пришли только из любопытства. Первый обед был дан для виднейших особ в городе: для супругов Тифен, у которых, кстати сказать, сами Рогроны ни разу не обедали; для Жюльяров — родителей, сына и невестки; для г-на Лесура, для священника, для г-на и г-жи Галардон. Это был один из тех провинциальных обедов, когда за столом просиживают с пяти до девяти часов вечера. Г-жа Тифен ввела в Провене парижский светский обычай, разрешающий благовоспитанным людям ускользнуть после поданного в гостиную кофе. В этот вечер она ждала к себе гостей и хотела незаметно скрыться; но Рогроны шли за супружеской четой до самой улицы, уговаривая остаться, и, когда вернулись, ошеломленные тем, что им не удалось удержать господина председателя суда и его супругу, прочие гости, в подтверждение того, что г-жа Тифен поступила согласно хорошему тону, последовали ее примеру с жестокой для провинции поспешностью.

— Они не увидят, как красива наша гостиная при вечернем освещении! — сказала Сильвия.

Рогроны приготовили сюрприз своим гостям: никто еще не видел этого прославленного дома до того, как он был закончен. И завсегдатаи салона г-жи Тифен с нетерпением ждали, какой приговор она вынесет чудесам рогроновского дворца.

— Итак,— сказала ей молодая г-жа Мартене,— вы лицезрели Лувр, расскажите же нам обо всем подробно.

— Да ничего особенного, как и сам обед.

— Но каково все это, однако, с виду?

— Ну вот, входная дверь — со знакомым уже вам позолоченным чугунным переплетом,— нас, конечно, заставили полюбоваться им,— начала г-жа Тифен.— Дальше идет большой коридор, он делит дом на две далеко не равные части, так как с правой стороны — одно окно на улицу, а с левой — два. В конце коридора застекленная дверь; она выходит на крыльцо, с которого спускаются в сад, а там, на лужайке, красуется на высоком цоколе гипсовая фигура Спартака «под бронзу». За кухней, под лестницей, подрядчик устроил небольшой чулан для припасов, который, разумеется, тоже пришлось осмотреть. В лестничной клетке, разделанной под черный мрамор с желтыми жилками,— витая лестница наподобие тех, что в кофейнях ведут с нижнего этажа в кабинеты на антресолях. Это нелепое, опасное для жизни сооружение из орехового дерева, с перилами, украшенными медью, было представлено нам как одно из семи новейших чудес света. Под лестницей еще дверь в погреб. По другую сторону коридора — столовая, окнами на улицу, двустворчатая дверь ведет из нее в гостиную такого же размера, но окнами в сад.

— А прихожей разве нет? — спросила г-жа Офре.

— Прихожую заменяет, как видно, этот длинный коридор с вечными сквозняками,— отвечала г-жа Тифен.— Рогроны возымели глубоко национальную, либеральную, конституционную и патриотическую мысль ограничиться в своем доме лишь французской древесиной,— продолжала она.— А посему в столовой — ореховый паркет в елочку. Буфеты, стол и стулья — тоже ореховые. На окнах — белые коленкоровые занавесы с красной каймой, с безвкуснейшими подхватами из толстых красных шнуров; шнуры наброшены на позолоченные матовые розетки, которые торчат, как грибы. Эти великолепные занавесы повешены на палках с вычурными пальметтами по концам, и каждая складка прихвачена вверху штампованной медной львиной лапой. Над буфетом — часы наподобие ресторанных; висят они на чем-то вроде салфетки из позолоченной бронзы — одна из затей, особенно милых сердцу Рогронов. Они предложили мне полюбоваться этим чудом искусства, и я сказала им, не придумав ничего лучшего, что уж если где-либо следует повязывать

часы салфеткой, то, несомненно, в столовой. На буфете водружены две большие лампы, вроде тех, что украшают собою стойки модных ресторанов. А над другим буфетом — богато разукрашенный барометр, который занимает, видимо, немалое место в их жизни: Рогрон поглядывает на него, как на свою суженую. Между двух окон художественный гений подрядчика втиснул в роскошную до ужаса нишу белую изразцовую печь. На стенах сверкают красные с золотом обои, тоже как в ресторане, где ими, вероятно, с первого же взгляда пленился когда-то Рогрон. Обед нам подали на белом с золотом фарфоровом сервизе, а десерт — на васильково-синем в зеленых цветочках; но, открыв для нас дверцы буфета, нам показали еще и фаянсовый сервиз, для будней. Против каждого из буфетов — шкаф с бельем. Все чистенькое, новое, сверкающее глянцем и невероятно кричащих тонов. Со столовой, впрочем, я кое-как бы еще примирилась: в ней все же есть какое-то своеобразие, довольно неприятное, однако в точности отражающее характер хозяев; но эти черные гравюры невыносимы (министерству внутренних дел следовало бы их запретить специальным приказом): тут и Понятовский, прыгающий в Эльстер, и оборона заставы Клиши, и Наполеон, собственноручно наводящий пушку, и двое Мазеп — все это в пошлейших золоченых рамах, вполне под стать самим гравюрам, которые так приелись, что могут внушить отвращение к широкому успеху. О, насколько же мне милей те пастели, что висят в столовой госпожи Жюльяр, чудесные пастели времен Людовика Пятнадцатого с изображением плодов, так гармонирующие с деревянной обшивкой стен, чуть тронутой червоточиной, с тяжелым фамильным серебром, старинным фарфором и всем нашим провинциальным бытом. Провинция должна оставаться провинцией, и она смешна, когда, обезьянничая, подражает Парижу. Вы скажете мне, быть может: «Всяк купец свой товар хвалит». Но великолепию их гостиной я предпочитаю вот эту старую гостиную господина Тифена-отца — шторы из плотного китайского шелка в зеленую и белую полоску, камин в стиле Людовика Пятнадцатого, трюмо на изогнутых ножках и старинные зеркала, окаймленные стеклянным «горошком», почтенные ломберные столики и мои синие вазы старого севрского фарфора в старой оправе из меди, часы

с неправдоподобными цветами, люстру рококо и обитую ручной вышивкой мебель.

— А какова все же эта гостиная? — спросил г-н Мартене, чрезвычайно польщенный похвалой, которую прекрасная парижанка так ловко расточала провинции.

— Гостиная? Великолепного багрового цвета,— цвета лица мадемуазель Сильвии, когда она сердится, проиграв мизер.

— Сильво-багровый цвет,— сказал председатель суда, и это острое словцо так и осталось в словаре Провена.

— Портьеры на окнах?.. Красные. Обивка мебели?.. Красная. Камин — красного мрамора с жилками. Канделябры и часы — красного мрамора с жилками, на аляповатых, безвкуснейших бронзовых подставках римского стиля с гирляндами и листьями стиля греческого. С каминных часов глядит на вас с таким же глупым видом, как и у самих Рогронов, добродушный толстый лев, так называемый декоративный, который еще долго будет подрывать престиж львов настоящих. Он держит лапу на большом шаре — таков уж обычай декоративных львов: точно депутаты левой, они всю жизнь держат наготове черный шар. Кто знает, может статься, это и впрямь образ из какого-нибудь мифа о конституции? Циферблат часов нелепо разукрашен. Зеркало над камином — в гипсовой раме, вульгарной и пошлой, хотя и модной. Обойщик показал всю свою гениальную изобретательность, затянув каминный экран красной тканью,— складки ее веерообразно расходятся от центральной розетки и образуют целую романтическую поэму, как бы специально созданную для Рогронов, так что те не в силах сдержать восторг и всем показывают свой экран. С потолка спускается люстра, ее тщательно обернули зеленым коленкоровым чехлом, и хорошо сделали — так по крайней мере не видно всей этой отвратительной безвкусицы: яркая бронза украшена безобразнейшими полосками полированного золота. Под люстрой — круглый чайный столик с неизбежной мраморной доской в желтых прожилках, а на нем — металлический поднос в каких-то разводах, отражающий расписные — но какие!— чашки, расставленные вокруг хрустальной сахарницы, такой необычайной, что даже наши внучки удивленно

раскроют глаза, любуясь и позолоченными медными ободочками, и боками, граненными наподобие прорезного средневекового рукава, и щипцами для сахара, которые вряд ли когда-нибудь понадобятся. Бумажные обои в гостиной — под красный бархат, в виде панно, заключенных в рамки из медного багета с гигантскими пальметтами по углам. Сверх того, на каждом панно привлекает взоры еще и цветная литография в золоченой раме, отягощенной лепными фестонами,—подделка под нашу прелестную резьбу по дереву. Мебель из корневища вяза обита сукном и состоит, как полагается, из двух диванов, двух бержерок, полдюжины кресел и полдюжины стульев. На консоле гордо высится под стеклянным колпаком алебастровая ваза, якобы в стиле Медичи, рядом с пресловутым поставцом для ликеров. Рогроны нам прожужжали уши, что подобного ему нет во всем Провене! В амбразуре каждого окна с великолепными красными шелковыми портьерами и тюлевыми занавесами — карточный столик. Ковер — обюссоновский. Как же было Рогронам не ухватиться обеими руками за этот ковер с розетками из цветов на красном фоне — самый избитый и пошлейший из рисунков! У гостиной нежилой вид: в ней не найти ни книг, ни гравюр, ни безделушек, загромождающих обычно наши столы,— сказала г-жа Тифен, глядя на свой стол с массой модных пустячков, альбомов и преподнесенных ей красивых вещиц.— Там нет ни цветов, ни всяких новинок, постоянно сменяющих друг друга. Все сухо и холодно, как сама мадемуазель Сильвия. Бюффон прав: «Стиль — это человек», а у каждой гостиной, несомненно, есть свой стиль.

Прекрасная г-жа Тифен продолжала свое насмешливое описание. Уже по его началу можно составить себе понятие об убранстве первого этажа, который брат и сестра показали гостям; но трудно даже вообразить себе, какими нелепыми затеями соблазнил Рогронов ловкий подрядчик: тут были и двери с вычурной отделкой, и внутренние ставни с резьбой, и лепные карнизы, и веселенькая роспись на стенах, золоченые медные скобы, всевозможные звонки, бездымные камины, приспособления, предохраняющие от сырости, раскрашенные под мозаику стены коридора, какие-то необычайные оконные стекла и замки — словом, здесь были представлены в расточи-

тельном изобилии все те безвкусные и нелепые выдумки, которые так удорожают постройку и пленяют буржуа.

Никто не желал бывать на вечерах у Рогронов, все их старания оказались тщетными. За отговорками дело не стало: каждый день обещан был либо г-же Гарслан, либо г-же Галардон, либо дамам Жюльяр, либо г-же Тифен, либо супрефекту и т. п. Рогроны думали, что достаточно давать обеды — и можно составить себе общество; но их посещали лишь насмешливые юнцы и любители пообедать на чужой счет, которые найдутся в любом уголке земного шара, а влиятельные люди — к ним ни ногой. В ужасе от того, что сорок тысяч франков, потраченные на перестройку дома—нашего дорогого дома, как говорила Сильвия,—были брошены на ветер и оказались чистым убытком, она задумала наверстать их строгой экономией. Поэтому она вскоре отказалась от званых обедов, обходившихся в тридцать — сорок франков каждый, не считая вина, и не оправдавших ее надежды создать себе общество, что в провинции ничуть не легче, чем в Париже. Сильвия рассчитала кухарку и взяла для черной работы деревенскую девушку. Готовила же она сама, «из любви к искусству».

Через четырнадцать месяцев после переезда брата и сестры в Провен для них наступила одинокая и ничем не заполненная жизнь. Изгнание из салонов зажгло в сердце Сильвии бешеную злобу против Тифенов, Жюльяров, Офре, Гарсланов — словом, против всего общества Провена, которое она уже называла «шайкой» и с которым была в крайне натянутых отношениях. Ей хотелось в противовес ему создать другой кружок; но мелкая буржуазия состояла исключительно из лавочников, свободных лишь по воскресным и праздничным дням; а кроме них, были только такие люди с подмоченной репутацией, как, например, стряпчий Винэ и врач Неро, или же такие неприемлемые бонапартисты, как полковник барон Гуро, с которым, впрочем, Рогрон очень неосмотрительно сошелся вопреки предостережениям крупной буржуазии Провена. Брату и сестре ничего иного не оставалось, как сидеть по вечерам у камелька в столовой и предаваться воспоминаниям о своей лавке, о лицах покупателей и прочих столь же приятных предметах. К кон-

цу второй зимы ими овладела гнетущая скука. Они совершенно не знали, как убить время в течение дня. Отправляясь спать, они говорили: «Вот и еще один день прошел!» Утром им не хотелось вставать, они долго валялись в постели, медленно одевались. Рогрон сам ежедневно брился, рассматривая в зеркале свою физиономию, в которой ему постоянно чудились болезненные изменения, он обсуждал их с сестрою; бранил служанку за то, что вода для умывания была надостаточно горяча; потом шел в сад взглянуть, распустились ли цветы; доходил до самого берега, где выстроил беседку; смотрел, не рассохлись ли двери и окна, не осел ли дом, не потрескалась ли стенная живопись, не выцвела ли краска. Вернувшись, делился с Сильвией тревогами по поводу заболевшей курицы или же упорных пятен на отсыревшей стене, а сестра создавала себе занятие, хлопотливо накрывая на стол или распекая служанку. Барометр оказался самой полезной частью обстановки: Рогрон без всякой надобности постоянно справлялся по нему о погоде, дружески похлопывая его и заявляя: «Дрянная погода!» — на что сестра отвечала: «Что ж, погода по сезону!» Всем, кто приходил к Рогрону, он расхваливал качества этого прекрасного прибора.

Часть дня занимал еще завтрак. С какой медлительностью братец и сестра пережевывали каждый кусочек! Пищеварение у них было поэтому отличное, и им не приходилось опасаться рака желудка. Кое-как они дотягивали до полудня, читая «Улей» и «Конститюсьонель». На парижскую газету они подписывались вскладчину со стряпчим Винэ и полковником. Рогрон сам относил газету полковнику, квартировавшему на площади в доме г-на Мартене, и с огромным наслаждением слушал его разглагольствования. Он все не мог взять в толк, какую же опасность представляет собой полковник Гуро. По глупости он рассказал ему об остракизме, которому «тифеновская шайка» подвергала Гуро, и передал ему все, что о нем говорили. Полковник, отменно владевший как пистолетами, так и шпагой и никого не боявшийся, бог весть как отделал «Тифеншу с ее Жюльяром», всех этих сторонников правительства, людишек из верхнего города, которые продались иноземным государствам, готовы на все ради теплого местечка, произвольно подменяют

фамилии кандидатов при подсчете голосов после выборов и т. д. Около двух часов дня Рогрон отправлялся на прогулку. Он бывал счастлив, если какой-нибудь торговец окликал его с порога своей лавки: «Как дела, папаша Рогрон?» Он пускался в разговоры, расспрашивал о городских новостях, выслушивал сплетни и россказни, ходившие по Провену, и разносил их дальше. Подымался в верхний город, шел по размытой дождями дороге. Встречал порою стариков, вышедших, как и он, на прогулку. Такие встречи были для него счастливым событием. В Провене попадались люди, разочаровавшиеся в парижской жизни, скромные ученые, живущие среди своих книг. Не трудно представить себе, с каким видом Рогрон слушал заместителя судьи Дефондриля, скорее археолога, нежели юриста, когда тот говорил, обращаясь к г-ну Мартене-отцу, человеку ученому, указывая ему на долину: «Объясните мне, почему все бездельники Европы ездят в Спа, а не в Провен, хотя французской медициной установлено, что провенские воды выше качеством, богаче железом и что их лечебная сила так же несомненна, как целительные свойства наших роз?»

— Что же вы хотите? — отвечал ученый муж.— Это одна из прихотей прихотливого случая, столь же необъяснимая, как и он сам. Сто лет назад бордоское вино не пользовалось ни малейшей известностью; маршал Ришелье, одна из замечательнейших личностей прошлого века, французский Алкивиад, назначается губернатором Гюйенны: он был слабогрудым — ни для кого не тайна почему! — местное вино восстанавливает его силы, излечивает его. Бордо получает стомиллионную ренту, и маршал раздвигает бордоские границы до Ангулема, до Кагора, словом, на сорок лье в окружности. Уж не знаю, где кончаются бордоские виноградники! А маршалу даже памятника в Бордо не поставили!

— О! Если нечто подобное случится в Провене, в нынешнем ли веке, в будущих ли веках,— говорил г-н Дефондриль,— надеюсь, тут будет красоваться — на маленькой площади нижнего города или же у замка в верхнем городе — белый мраморный барельеф с изображением г-на Опуа, возродившего к жизни провенские минеральные воды!

— Сударь, возрождение Провена, по-видимому, уже

невозможно,— возражал старик Мартене.— Ведь город обанкротился.

Тут Рогрон, широко открыв от удивления глаза, воскликнул:

— То есть как это?

— Провен был некогда столицей, которая в двенадцатом веке соперничала с Парижем: у графов Шампани здесь был тогда свой двор, не хуже чем у короля Ренэ в Провансе,— разъяснял ученый муж.— В те времена культура, веселье, изящество, женщины — словом, все великолепие общественной жизни не сосредоточивалось исключительно в Париже. Но города, подобно коммерческим фирмам, оправляются от краха с большим трудом: все, что осталось нам от прежнего Провена,— это аромат нашего славного прошлого, аромат наших роз, а в придачу — супрефектура.

— О, что сталось бы с Францией, сохрани она все свои столицы феодальных времен! — восклицал Дефондриль.— Разве могут супрефекты заменить поэтический, галантный и воинственный род Тибо, превративший Провен в то, чем была когда-то для Италии Феррара, для Германии — Веймар и чем ныне хотел бы стать Мюнхен?

— Неужели Провен был столицей? — удивлялся Рогрон.

— Да вы что — с неба свалились? — спрашивал археолог Дефондриль. Он стучал тростью по тротуару и объяснял: — Разве вы не знаете, что весь верхний город построен на склепах?

— На склепах!

— Ну да, на склепах, необычайно высоких и обширных, как церковные приделы. И даже со столбами.

— Господин Дефондриль занят сейчас большим археологическим трудом, в котором хочет раскрыть тайну этих загадочных сооружений,— говорил старик Мартене, заметив, что судья оседлал своего любимого конька.

Рогрон возвращался к себе в восторге от того, что дом его стоит в долине. Для обсуждения вопроса о провенских склепах требовалось пять-шесть дней, так что на несколько вечеров холостяк и старая дева обеспечены были темами для разговоров. Рогрон постоянно получал таким образом разные сведения — то о старом Провене, то о предполагаемых браках — или же узнавал какие-ни-

будь старые политические новости, и все это пересказывал сестре. Сотни раз во время прогулки, порою многократно обращаясь к одному и тому же лицу, задавал он вопрос: «Ну, что нового? Ну, что слышно?» Вернувшись домой, он бросался на один из диванов в гостиной, как человек замученный усталостью, хотя утомлен бывал лишь весом собственного тела. Он возвращался к обеду и раз двадцать наведывался из гостиной на кухню, поглядывая на часы, открывая и закрывая двери. Пока брат и сестра проводили вечера в гостях, они кое-как дотягивали до того часа, когда нужно было идти спать; но с тех пор как им пришлось коротать время дома, вечера их были подобны томительному пути через пустыню. Порой соседи, возвращаясь из гостей, слышали вопли, доносившиеся из дома Рогронов, словно брат резал сестру,— то зевал изнывавший от скуки галантерейщик. Этим двум механизмам нечего было дробить своими заржавленными колесами, и они скрипели. Брат поговаривал о женитьбе, но только с отчаяния. Он чувствовал себя постаревшим, усталым. Женщины пугали его. Сильвия, поняв необходимость иметь кого-нибудь третьего в доме, вспомнила о бедной кузине; их никто о ней не спрашивал, ибо все в Провене полагали, что и молодая г-жа Лоррен и дочь ее — обе умерли. Сильвия Рогрон никогда ничего не теряла: у нее, как у настоящей старой девы, ничто не могло пропасть; якобы случайно наткнувшись на письмо Лорренов, она естественнейшим образом заговорила с братом о Пьеретте, и тот был почти счастлив, что в доме у них появится маленькая девочка.

Сильвия написала старикам Лорренам полуделовое, полуродственное письмо, оправдывая свой запоздалый ответ ликвидацией дела, переездом в Провен и устройством на новом месте. Она выражала желание взять к себе свою двоюродную сестру, давая понять, что если г-н Рогрон не женится, Пьеретта получит когда-нибудь в наследство двенадцать тысяч франков ренты. Нужно уподобиться, как Навуходоносор, кровожадному дикому зверю, быть запертым в клетке зоологического сада и не иметь другой добычи, кроме конины, доставляемой сторожем, или же лавочнику, удалившемуся от дел и лишенному возможности терзать своих приказчиков, чтобы постигнуть нетерпение, с каким брат и

сестра ждали Пьеретту Лоррен. Через три дня после отправки письма они уже спрашивали себя, когда же приедет их кузина. В своем мнимом благодеянии, оказываемом бедной родственнице, Сильвия увидела способ поднять себя в общественном мнении Провена. Она отправилась к осудившей их г-же Тифен, желавшей создать в Провене салон с избранным обществом наподобие женевского, и раструбила там об ожидаемом приезде их кузины Пьеретты, дочери полковника Лоррена, вздыхая над ее несчастьем и всячески подчеркивая свою радость иметь молодую и хорошенькую наследницу, которую не стыдно будет показать людям.

— Поздновато же вы о ней вспомнили,— иронически заметила г-жа Тифен, восседавшая на софе у камина.

За картами, во время сдачи, г-жа Гарслан, понизив голос, вкратце напомнила историю наследства старика Офре. Нотариус разъяснил жульнические проделки трактирщика.

— Где же она, бедняжка, теперь живет? — вежливо осведомился председатель суда Тифен.

— В Бретани,— отвечал Рогрон.

— Но Бретань велика,— заметил королевский прокурор г-н Лесур.

— Лоррены, ее дед и бабушка, нам писали. Когда это было, милая? — спросил Рогрон.

Сильвия, с увлечением расспрашивавшая г-жу Гарслан, где она брала материю на платье, неосторожно сказала:

— Перед тем, как мы продали лавку.

— И вы только три дня тому назад ответили? — воскликнул нотариус.

Лицо Сильвии запылало, как уголь в камине.

— Мы написали в дом призрения Сен-Жак,— продолжал Рогрон.

— Такая богадельня действительно существует,— заметил судья, бывший прежде заместителем судьи в Нанте,— но девочка там находиться не может,— ведь туда принимают только людей старше шестидесяти лет!

— Она живет при своей бабушке,— сказал Рогрон.

— У нее было маленькое состояние, восемь тысяч франков, которое ваш отец у нее... Гм... ваш дед ей оставил,— сказал нотариус, умышленно обмолвившись.

— А! — с тупым видом протянул Рогрон, не поняв этой язвительной насмешки.

— Вы, стало быть, ничего не знаете о том, как и на какие средства живет ваша двоюродная сестра? — осведомился председатель суда.

— Если бы господин Рогрон знал об этом, он не оставлял бы ее в таком учреждении, как приют для престарелых,— сурово возразил судья.—Я припоминаю теперь, что при мне в Нанте продавался с торгов дом, принадлежавший господину и госпоже Лоррен, а закладная мадемуазель Лоррен потеряла при этом свою силу. Я был тогда комиссаром конкурсного управления.

Нотариус заговорил о полковнике Лоррене: будь тот жив, он бы крайне удивился, узнав, что дочь его находится в убежище, подобном Сен-Жаку. Рогроны ушли домой, решив, что свет очень зол. Сильвия поняла, как мало успеха имел ее шаг: он лишь уронил ее в глазах высшего общества Провена, доступ туда был для нее окончательно закрыт. С тех пор Рогроны уже не скрывали больше своей ненависти к виднейшим буржуазным семьям Провена и их сторонникам. Рогрон стал повторять сестре все, что напевали ему в уши либералы — полковник Гуро и стряпчий Винэ — относительно Тифенов, Гене, Гарсланов, Гепенов и Жюльяров.

— Послушай, Сильвия, не понимаю, с чего бы госпоже Тифен так сторониться купечества улицы Сен-Дени; родством с такими людьми ей бы только гордиться! Ведь ее мать, госпожа Роген,— кузина Гильомов, владельцев «Кошки, играющей в мяч»,— они передали потом лавку своему зятю Жозефу Леба. А отец ее — тот самый нотариус Роген, который обанкротился в тысяча восемьсот девятнадцатом году и разорил торговый дом Бирото. Стало быть, богатство госпожи Тифен — краденое: хороша госпожа Роген, жена нотариуса, которая предоставляет мужу злостно обанкротиться, а сама выходит сухой из воды. Славно, нечего сказать!.. А! Понимаю: она сбыла дочь замуж в провинцию из-за своих шашней с банкиром дю Тийе. И эти люди смеют еще задирать нос! Но... все они таковы!

С того дня как Дени Рогрон и сестра его начали поносить «шайку», они, сами того не подозревая, стали персонами и были на пути к тому, чтобы собрать вокруг се-

бя общество: их гостиной суждено было стать центром сил, искавших для себя поле деятельности. Бывший галантерейщик приобрел некое историческое и политическое значение, ибо он, все так же сам того не подозревая, объединил и укрепил рассеянные до тех пор либеральные элементы Провена. Вот как это случилось. За первыми попытками Рогронов проникнуть в провенское общество с живейшим интересом следили полковник Гуро и стряпчий Винэ, которых сблизила общность убеждений и то, что все их сторонились. Оба они держались одинаковых патриотических взглядов и по одним и тем же соображениям: каждому из них хотелось выдвинуться. Однако, если они и жаждали стать командирами, войска у них не было. Либеральную партию Провена составляли: старый солдат-инвалид, который содержал кофейню, трактирщик, нотариус Курнан — соперник Офре, доктор Неро — конкурент г-на Мартене; несколько лиц, живущих на свои доходы; рассеянные по округу фермеры и владельцы земель, приобретенных из национального имущества. Полковник и стряпчий воспользовались враждебностью Рогронов к провенской аристократии, радуясь возможности привлечь на свою сторону глупца, который послужит источником средств для их махинаций, подпишет любую бумагу и в случае надобности станет козлом отпущения, да и дом свой предоставит их сторонникам в качестве своего рода ратуши. Совместная подписка на газету «Конститюсьонель» уже создавала некоторую связь между полковником, стряпчим и Рогроном, и полковнику Гуро нетрудно было обратить бывшего галантерейщика в либерала, хотя Рогрон мало смыслил в политике и, если при нем говорили о дерзком предприятии сержанта Мерсье, думал, что речь идет о каком-нибудь торговом предприятии. Предстоящий приезд Пьеретты заставил поторопиться с осуществлением корыстных замыслов, взлелеянных в расчете на невежество и тупость холостяка и старой девы. Когда полковник увидал, что рухнули все надежды Сильвии проникнуть в общество Тифенов, у него зародилась тайная мысль. Старые вояки так насмотрелись разных ужасов в разных странах, на стольких полях сражений видели столько обнаженных, изуродованных трупов, что никакая физиономия их уже не испугает. Гуро нацелился на состояние старой девы. Полков-

ник — приземистый толстяк — носил огромные серьги в ушах, и без того уж украшенных целыми кустами волос. Торчащие в стороны бакенбарды, или *плавники*, как они назывались в 1799 году, уже начинали у него седеть. Благодушная, толстая, красная физиономия была словно выдублена, как у всех, кто уцелел после Березины. Большой живот был резко выпячен — особенность, отличающая старых кавалерийских офицеров: Гуро командовал вторым гусарским. Под его седыми усами прятался рот, огромный, точно кисет для табака, если позволительно прибегнуть к такому солдатскому сравнению, единственно могущему дать понятие об этой прорве: Гуро не ел, а пожирал! Нос его был изуродован ударом сабли. Голос приобрел поэтому характерный для монахов глухой и гнусавый звук. Его маленькие, короткие и широкие руки были как раз такие, о которых женщины говорят обычно: «Руки у вас, как у заправского негодяя!» При дородном туловище ноги его казались тощими. В этом грузном, но проворном теле обретался проницательный ум, огромный запас жизненного опыта, прикрытый кажущейся бесшабашностью вояки, и полное пренебрежение к светским условностям. У полковника Гуро был офицерский крест Почетного легиона и две тысячи четыреста франков пенсии, так что все его средства сводились к трем тысячам франков в год.

У стряпчего, долговязого и тощего, либеральными убеждениями заменялись все таланты, а единственным достоянием были довольно скудные доходы от адвокатской практики. В Провене стряпчие сами выступают на суде. Но суд не очень-то благосклонно выслушивал мэтра Винэ из-за его политических взглядов. И потому даже самые либеральные фермеры предпочитали обращаться со своими тяжбами к другому адвокату, пользовавшемуся бóльшим доверием суда. Говорили, что Винэ соблазнил в окрестностях Куломье богатую девушку и родители ее вынуждены были согласиться на их брак. Жена его происходила из старинного дворянского рода в Бри, из семьи Шаржбефов, родоначальник которой был оруженосцем и прославился каким-то подвигом, совершенным во время египетского похода Людовика Святого. Дочь навлекла на себя немилость родителей своим замужеством, и они собирались, как то было известно Винэ,

оставить все свое состояние старшему сыну, с тем чтобы он впоследствии передал часть наследства детям сестры. Так сорвалась первая честолюбивая попытка этого человека.

Преследуемый нищетой, стыдясь того, что не может создать для жены приличные условия жизни, стряпчий направил все свои усилия на то, чтобы сделать карьеру в прокуратуре,— но тщетно: богатые представители семьи Шаржбефов отказали ему в поддержке. Высоконравственная роялистская родня его жены осуждала этот вынужденный брак, к тому же их новоявленный родственник носил фамилию Винэ: неужели оказывать покровительство человеку столь низкого звания? И, ветвь за ветвью, семья Шаржбефов выпроваживала его, когда он пытался с помощью жены добиться поддержки у ее родни. Лишь у одной из Шаржбефов г-жа Винэ нашла сочувствие — у бедной вдовы, проживавшей с дочерью в Труа. И Винэ впоследствии не забыл о приеме, оказанном его жене этой представительницей рода Шаржбефов. Всеми гонимый, полный ненависти к семье своей жены, к правительству, отказывавшему ему в предоставлении места, к обществу Провена, не желавшему его принимать, Винэ примирился с бедностью. Накипевшая желчь дала ему силу для борьбы. Он стал либералом, сообразив, что карьера его связана с победой оппозиции, и в ожидании лучших дней ютился со своей домоседкой женой в жалком домишке верхнего города. Молодая г-жа Винэ, предназначенная для лучшей участи, жила со своим мужем и ребенком в полном уединении. Бывает бедность, которую переносят весело и с достоинством; но Винэ, снедаемый честолюбием, чувствовавший свою вину перед соблазненной им женщиной, был охвачен мрачным бешенством; совесть его стала податливой, и он решил любым способом добиться успеха. Лицо его, еще не старое, осунулось. В суде многие испытывали страх, глядя на его плоскую змеиную голову с тонким большим ртом и сверкающими сквозь очки глазами и слушая его пискливый, резкий, настойчивый голос, раздражавший нервы. Неровный и болезненный цвет лица какого-то желто-зеленого оттенка позволял догадываться о неудовлетворенном тайном честолюбии, о постоянных разочарованиях и тщательно скрываемой бедности. Он обладал красноре-

чием, умел спорить, у него не было недостатка ни в картинных выражениях, ни в остроумии, он был образован, хитер. Жажда преуспеяния научила его во всем разбираться, он мог бы стать политическим деятелем. Человек, который не останавливается ни перед чем, лишь бы это не каралось законом, очень силен,— Винэ отличался именно такого рода силой. Будущий борец на парламентской арене, один из тех, кто впоследствии требовал возведения на трон Орлеанской династии, оказал ужасное влияние на судьбу Пьеретты. В те времена он хотел основать в Провене газету, которая послужила бы орудием для осуществления его планов. Исподтишка, при помощи полковника, наблюдая за холостяком и старой девой, стряпчий пришел к решению сделать на них ставку. На этот раз он не мог, казалось, просчитаться: после семи тяжелых лет, когда дома у него зачастую не было ни крохи, нищете его приходил конец. В тот день, когда Гуро, встретившись с ним на маленькой площади, сообщил ему, что Рогроны порвали с буржуазной аристократией верхнего города, приверженной правительству, стряпчий многозначительно толкнул его в бок.

— Такая или этакая будет у вас жена, красивая или дурнушка — вам ведь безразлично,— сказал он.— Женились бы вы на мадемуазель Рогрон, мы с вами тогда могли бы кое-что здесь предпринять...

— Я и сам об этом подумывал, да они выписали дочь бедного полковника Лоррена, свою наследницу,— сказал Гуро.

— Добейтесь у них завещания в вашу пользу. О! Дом у вас будет полная чаша!

— Да, впрочем, и малютка... Ну, там видно будет!— сказал полковник с таким шутовским и гнусным видом, что человек, подобный Винэ, прекрасно мог понять, как мало значила какая-то девчонка в глазах этого рубаки.

После переезда родных в убежище для престарелых, где они печально доживали свой век, юная и самолюбивая Пьеретта жестоко страдала от сознания, что живет там из милости, и очень обрадовалась, узнав, что у нее есть богатые родственники, готовые ее приютить. Услыхав, что она готовится к отъезду, друг ее детства, сын

майора Бриго, ставший к тому времени подмастерьем у столяра в Нанте, принес ей на дорогу шестьдесят франков — все свое богатство, с трудом собранное им за время ученичества из чаевых; и Пьеретта приняла этот дар с великолепным спокойствием истинной дружбы, доказывавшим, что будь она сама на месте Бриго, ее обидело бы выражение благодарности. Бриго прибегал по воскресеньям в Сен-Жак, чтобы поиграть с Пьереттой и утешить ее. Крепкий и здоровый юноша постиг всю сладость той самоотверженной и преданной заботливости, которой мы окружаем непроизвольно избранный нами предмет нашей любви. Не раз в воскресный день, забравшись в уголок сада, они с Пьереттой расшивали завесу будущего узорами своей ребяческой фантазии: подмастерье столяра, оседлав свой рубанок, отправляется искать по свету удачи и, разбогатев, возвращается к Пьеретте, которая его ждет. Итак, в октябре 1824 года, когда Пьеретте исполнилось одиннадцать лет, двое стариков и молодой рабочий с глубокой грустью поручили ее попечениям кучера, следовавшего со своим дилижансом из Нанта в Париж, и попросили его посадить девочку в Париже в другой дилижанс, отправляющийся в Провен. Бедный Бриго! Он, как собачонка, бежал сколько мог за дилижансом, не спуская глаз со своей милой Пьеретты. Напрасно бретоночка подавала ему знаки, чтобы он остановился. Бриго, выбежав за город, отмахал еще целую милю и, только окончательно выбившись из сил, бросил сквозь слезы прощальный взгляд своей Пьеретте, которая тоже заплакала, когда он скрылся из виду... Высунувшись из окна дилижанса, Пьеретта снова увидала своего друга: он все еще стоял на дороге, глядя вслед неуклюжему экипажу. Лоррены и Бриго были так неопытны в житейских делах, что Пьеретта приехала в Париж без единого су. В Париже возница, которому девочка рассказала о своих богатых родственниках, заплатил за нее в гостинице и в возмещение своих расходов взял деньги с кучера труаского дилижанса, поручив ему доставить Пьеретту к родственникам и истребовать следуемое за провоз, точно она была почтовой посылкой. Спустя четыре дня после отъезда из Нанта, в понедельник, около девяти часов вечера, добродушный старый толстяк, кучер Королевского общества почтовых карет, взял Пье-

ретту за руку и, пока на Большой улице выгружали доставленных в Провен пассажиров и поклажу, повел девочку, весь багаж которой состоял из двух платьиц, двух пар чулок и двух сорочек, к мадемуазель Рогрон, по адресу, указанному ему начальником почтовой конторы.

— Мое почтение, мадемуазель и вся честная компания! — сказал кучер.— Вот вам ваша двоюродная сестрица. Не девочка, а ягодка! С вас сорок семь франков. Хотя у вашей малютки не бог весть сколько багажа, распишитесь все же вот на этом листочке.

Мадемуазель Сильвия с братом шумно выражали свое удивление и радость.

— Прошу прощенья,— сказал кучер,— меня ждет дилижанс, распишитесь на квитанции, дайте мне сорок семь франков шестьдесят сантимов да на водку, сколько не жалко,— и мне и нантскому кучеру. Мы за малюткой глядели, как за родной дочкой, уплатили за ее ночлег, за еду, за место до Провена и еще за кое-какие мелочи.

— Сорок семь франков двенадцать су! — ужаснулась Сильвия.

— Вы никак торговаться собираетесь! — воскликнул кучер.

— Где же счет? — спросил Рогрон.

— Счет? А квитанция на что?

— Хватит болтать,— сказала Сильвия брату,— видишь же, что платить все равно придется.

Рогрон принес сорок семь франков и двенадцать су.

— А нам с товарищем, стало быть, ничего? — спросил кучер.

Из недр своего старого бархатного ридикюля, набитого ключами, Сильвия извлекла сорок су.

— Благодарствуйте, себе оставьте,— сказал кучер.— Пусть уж лучше мы все это просто так, задаром сделали для малютки.

Он взял расписку и вышел, сказав толстой служанке: «Ну и лавочка! Бывают же такие крокодилы, почище египетских!»

— Какой грубиян! — воскликнула Сильвия, услыхав его слова.

— Да ведь им как-никак пришлось повозиться! — упершись кулаками в бока, возразила Адель.

— Ну, нам с ним не детей крестить,—заявил Рогрон.

— Где вы ее спать положите? — спросила служанка.

Так прибыла Пьеретта Лоррен к своим родственникам, так ее приняли двоюродный братец и двоюродная сестрица, тупо разглядывавшие девочку, которую выгрузили у них будто какой-то тюк, переправив из жалкой каморки в Сен-Жаке, где она ютилась подле деда и бабки, прямо в столовую ее кузенов, показавшуюся ей дворцовым залом. Она оробела и растерялась. Бретоночка в синей юбке из простой шерстяной ткани, в розовом коленкоровом передничке, в грубых башмаках, синих чулках, в белой косынке и в натянутых на обветренные руки шерстяных, красных с белыми кантиками митенках, купленных ей в Париже кучером, показалась бы очаровательной всякому, кроме этих бывших лавочников. Бретонский чепчик, который ей выстирали в Париже (он испачкался по пути из Нанта), словно ореолом окружал ее жизнерадостное личико. Этот национальный головной убор из тонкого батиста с накрахмаленными и крупно плоенными кружевами так прост и кокетлив, что заслуживал бы подробного описания. Ткань и кружево, пропуская свет, бросают лишь легкую тень, и она придает лицу ту девственную прелесть, которую многие художники тщетно пытаются передать красками, а Леопольд Робер так удачно запечатлел в прекрасной, как рафаэлева мадонна, женщине с ребенком на картине «Жнецы». В этой пронизанной светом кружевной рамке сияло цветущее здоровьем розово-белое личико. В теплой столовой разгорелись нежные ушки, губы, кончик тонкого носа, отчего все лицо казалось еще белее.

— Что же ты с нами не поздороваешься? — сказала Сильвия.— Я твоя двоюродная сестра, а вот твой двоюродный брат.

— Кушать хочешь? — обратился к Пьеретте Рогрон.

— Когда же ты выехала из Нанта? — спросила Сильвия.

— Она немая,— сказал Рогрон.

— У нее, бедняжки, и одежи-то совсем нет! — воскликнула толстая Адель, развернув небольшой узел, увязанный в платок старика Лоррена.

— Поцелуй же своего двоюродного брата!—сказала Сильвия.

Пьеретта поцеловала Рогрона.

— Поцелуй же свою двоюродную сестру! — сказал Рогрон.

Пьеретта поцеловала Сильвию.

— Девочку совсем разморило дорогой. Ей, верно, нужно отоспаться,— сказала Адель.

Пьеретта почувствовала вдруг к обоим своим родственникам непобедимое отвращение — чувство, которого до той поры еще никогда и ни к кому не испытывала. Сильвия со служанкой пошли укладывать бретоночку спать в ту самую комнату третьего этажа, где Бриго заметил белые коленкоровые занавески. Там стояла узкая, как в пансионе, кровать с коленкоровым пологом и деревянной колонкой, окрашенной в голубой цвет, ореховый комод без мраморной доски, небольшой ореховый стол, простой ночной столик без дверцы, три убогих стула и висело зеркало. Стены мансарды оклеены были дешевенькими голубыми обоями в черных цветочках. Пол был выложен крашеными и навощенными плитками — от него так несло холодом, что стыли ноги. Ковра не было, если не считать плетеного тряпичного половичка у кровати. Простой мраморный камин украшен был зеркалом, двумя позолоченными медными подсвечниками и грубой алебастровой вазой с ручками в виде голубков, красовавшейся некогда в комнате Сильвии в Париже.

— Удобно ли тебе здесь будет, детка? — спросила Сильвия.

— О! Тут так красиво! — серебристым голоском ответила девочка.

— Ну, она не больно прихотлива,— проворчала себе под нос толстая служанка.— Положить ей грелку в постель? — спросила она.

— Да,— сказала Сильвия,— простыни могли отсыреть.

Вместе с грелкой Адель принесла и свою косынку; Пьеретта, привыкшая спать на простынях из грубого бретонского холста, удивилась тонкости и мягкости простынь из бумажной ткани. Когда девочку уложили спать, Адель, не утерпев, сказала, спускаясь по лестнице: «Все ее пожитки, мадемуазель, и трех франков не стоят».

С тех пор как Сильвия перешла на систему строгой экономии, она, чтобы не тратить лишнего на освещение

и топливо, оставляла свою служанку в столовой,— лишь когда являлись Винэ и полковник Гуро, Адель уходила на кухню. Приезд Пьеретты дал пищу для разговоров на весь вечер.

— Придется завтра же купить ей все необходимое,— сказала Сильвия.— У нее ровно ничего нет.

— У нее одна только пара башмаков — та, что на ногах, да и весят они чуть ли не по десять фунтов каждый,— сказала Адель.

— Так уж принято в их краях,— объявил Рогрон.

— Как она осматривала свою комнату! А ведь двоюродная сестрица таких людей, как вы, мадемуазель, могла бы жить в комнате и получше.

— Ладно, помалкивайте,— сказала Сильвия,— вы же видели, что девочка от нее в восторге.

— Боже, какие сорочки, они, небось, ей всю кожу ободрали! Все это никуда не годится,— заявила Адель, разобрав узелок Пьеретты.

Хозяин, хозяйка и служанка до десяти часов вечера обсуждали, какой коленкор и по какой цене купить на сорочки, сколько потребуется пар чулок, из какой ткани и сколько шить нижних юбок, и подсчитывали, во что обойдется весь гардероб Пьеретты.

— Это станет нам по меньшей мере в триста франков,— сказал сестре Рогрон, запоминавший по старой привычке цену каждого предмета и производивший в уме подсчет.

— Триста франков! — воскликнула Сильвия.

— Да, триста франков, подсчитай сама.

Брат и сестра еще раз прикинули, и получилось действительно триста франков, не считая работы.

— Вот так и вышвырнем разом три сотни,—сказала Сильвия, отправляясь спать все еще под впечатлением этой мысли, для которой она нашла столь удачное выражение.

Пьеретта была дитя любви, и любовь одарила ее своей жизнерадостностью, веселостью и нежностью, своим благородством и самоотверженностью; ничто еще не оскорбляло до сих пор, не ранило ее пугливого сердечка, и оно так больно сжалось от приема, оказанного ей богатыми родственниками. Если жизнь в Бретани была полна для нее лишений, то зато полна была также и

нежности. Старики Лоррены были самыми неумелыми торговцами, зато они были самыми любящими, простосердечными и ласковыми людьми на свете, как и все, кто не расчетлив. В Пан-Гоэле их внучка росла на свободе. Она со своим товарищем Жаком Бриго каталась, когда вздумается, на лодке по прудам, носилась по полям и по городу, совсем как Павел и Виргиния. Все баловали и ласкали их, а они, свободные, как ветер, жадно устремлялись за неисчислимыми радостями детства: летом ездили смотреть на рыбную ловлю, ловили жуков и бабочек, собирали букеты, разводили цветы; зимой — то устраивали каток, то строили ледяной дворец, то лепили снежную бабу или играли в снежки. Они везде были желанными гостями, их всюду встречали улыбкой. Беда пришла, когда настало время учиться. Жак остался после смерти отца без всяких средств, и родные отдали его в ученики к столяру, где его кормили из милости. Так позже из милости кормили и Пьеретту в Сен-Жаке. Но даже в этой своеобразной богадельне все баловали, ласкали, лелеяли душеньку Пьеретту. Малютка, привыкшая к любви и нежности, не встретила у своих богатых родственников, к которым так стремилась, ни ласкового взгляда, ни доброго слова, ни привета, а ведь все это находилось для нее у каждого, даже у посторонних, даже у кучеров дилижанса. Она совсем растерялась от новизны впечатлений и особенно от непривычной неприветливой атмосферы, в которую попала. Сердцу, как и телу, может стать вдруг холодно или тепло. Сама не зная почему, бедняжка почувствовала желание заплакать; но она была утомлена и уснула. Приученная рано вставать, как все деревенские дети, Пьеретта проснулась на другой день на два часа раньше кухарки. Одевшись, она потопталась в своей комнате над головой кузины, осмотрела в окно маленькую площадь и начала было спускаться вниз, но остановилась, восхищенная лестницей,— обследовала ее во всех подробностях, осмотрела розетки, медную отделку, украшения, раскраску стен и т. д. Сойдя вниз, она не сумела открыть дверь в сад и поднялась обратно; потом снова спустилась, когда проснулась Адель, и выскочила в сад; обежав его весь, она добралась до самой реки, остолбенела при виде беседки, вошла в нее: ей было что осматривать и чему дивиться до того вре-

мени, когда встала ее кузина Сильвия. За завтраком двоюродная сестра сказала ей:

— Это ты, милочка, ни свет ни заря грохотала по лестнице? Ты разбудила меня, и мне не удалось больше уснуть. Нужно быть умницей, хорошей девочкой и не шуметь, когда играешь. Твой двоюродный братец не любит, когда шумят.

— Да и ноги нужно вытирать,— сказал Рогрон.— Ты вбежала в беседку в грязных башмаках и наследила там на паркете. Твоя двоюродная сестра любит, чтоб было чисто. Такая большая девочка, как ты, должна быть аккуратной. Разве тебя не учили аккуратности в Бретани? Впрочем, когда я ездил туда за пряжей, на этих дикарей смотреть было жалко! Аппетит у нее, однако, хороший,— сказал он, обращаясь к сестре,— можно подумать, что она три дня не ела.

Пьеретту с первых же минут задели замечания кузины и кузена, она и сама не знала почему. Прямая и откровенная по натуре, предоставленная до сих пор самой себе, она не привыкла задумываться. Она не могла бы определить, чего не хватало ее кузине и кузену, и лишь впоследствии, постепенно, через страдания открылось ей это. После завтрака Рогроны, польщенные тем, что все убранство их дома приводит Пьеретту в восторг, и спеша насладиться ее восторгом, показали ей свою гостиную, дабы научить ее с должным почтением относиться ко всему этому великолепию. Испытывая в своем одиночестве внутреннюю потребность чем-либо интересоваться, холостяки и старые девы заменяют естественные привязанности привязанностями искусственными: любят собак, кошек, канареек, своих служанок или духовников. Так и Рогрон с Сильвией воспылали непомерной любовью к своей мебели и дому, столь дорого им стоившим. Сильвия даже стала помогать Адели при утренней уборке, находя, что служанка не умеет как следует чистить мебель щеткой, наводить на нее блеск, чтобы она сияла новизной. Вскоре эта чистка стала для нее важным занятием. И мебель, таким образом, ничуть не теряла своей ценности, а становилась даже лучше! Пользоваться мебелью, не изнашивая и не пачкая ее, не царапая дерева и не стирая глянца,— вот какова была задача. Занятие это обратилось в одну из тех маний, ка-

кие бывают у старых дев. В особом шкафу у Сильвии завелись шерстяные тряпки, воск, политура, щетки, и она не хуже опытного краснодеревца научилась пользоваться ими; у нее были специальные метелки из перьев, специальные тряпки для пыли, и она терла и терла, ничуть не рискуя повредить себе, потому что была крепка. Острый взгляд ее голубых, холодных, как сталь, глаз, беспрестанно все оглядывавших, проникал даже под мебель; и легче было отыскать чувствительную струнку в ее сердце, нежели хлопья пыли под ее креслом.

После всего, что говорилось у г-жи Тифен, Сильвии невозможно было отступить перед расходом в триста франков. Всю первую неделю она поэтому посвятила столь развлекавшему Пьеретту заказыванию платьев, примерке их, выбору сорочек, кройке нижних юбок, которые шились портнихами, ходившими работать поденно. Пьеретта шить не умела.

— Хорошо же ее воспитывали, нечего сказать! — говорил Рогрон.— Ты, стало быть, кошечка, ничего не умеешь делать?

Пьеретта, умевшая только быть нежной и любить, в ответ по-детски пожимала плечами.

— Что же ты делала в Бретани? — спросил ее Рогрон.

— Играла! — простодушно отвечала она.— И все со мной играли. И бабушка и дед, все мне рассказывали сказки. Ах, они меня очень любили!

— Э! Да ты там жила-прохлаждалась, как сыр в масле каталась,— заметил Рогрон.

Пьеретта не поняла этого ходячего шуточного выражения улицы Сен-Дени и только удивленно раскрыла глаза.

— Глупа, как пень,— сказала Сильвия, обращаясь к мадемуазель Борен, искуснейшей швее в Провене.

— Да ведь она еще маленькая! — ответила мастерица, взглянув на Пьеретту, повернувшую к ней свою хорошенькую лукавую мордочку.

Пьеретта льнула больше к швеям, чем к обоим своим родственникам; она охотно смотрела, как они работают, была с ними мило шаловлива, так и сыпала забавными словечками — цветами детства, которые уже успели робко сникнуть в присутствии Рогрона и Сильвии, любив-

ших внушать своим подчиненным спасительный трепет. Мастерицы были от Пьеретты в восторге. Но, заботясь о нарядах своей кузины, Сильвия не обходилась без жестоких попреков.

— Девчонка влетит нам в копеечку,— говорила она брату.

— Да стой же ты, детка, смирно! Ведь это не для меня, а для тебя шьется, черт побери! — твердила она Пьеретте, когда с той снимали мерку.

— Не мешай работать мадемуазель Борен, платить ей придется поденно и не из твоего кармана,— говорила Сильвия, заметив, что девочка о чем-то спрашивает швею.

— Сударыня,— обращалась к Сильвии мадемуазель Борен,— нужно ли здесь прошить стежкой?

— Да, да, шейте покрепче, у меня нет ни малейшей охоты то и дело заказывать такое приданое.

С нарядами кузины повторилась та же история, что и с отделкой дома. Пьеретту решили одеть не хуже девочки г-жи Гарслан. Ей купили модные коричневые башмачки со шнуровкой, как у маленькой Тифен; тончайшие бумажные чулки, корсет из лучшей мастерской, голубое репсовое платье, красивую пелерину, подбитую белой тафтой,— все с той же целью — перещеголять дочь г-жи Жюльяр-младшей. И белье должно было соответствовать платью,— так опасалась Сильвия острого взгляда мамаш и их придирчивого осмотра. Пьеретте сшили хорошенькие мадаполамовые сорочки. Мадемуазель Борен сообщила, что дочки супрефекта носят панталоны из бумажной ткани с вышитыми оборочками — последний крик моды. Пьеретте тоже сделали панталоны с оборочками. Для нее заказали прелестный синий бархатный капор на белом шелку, точно такой же, как у маленькой Мартене. Словом, она стала самой очаровательной девочкой во всем Провене. В воскресенье после обедни, по выходе из церкви, все дамы целовали ее. Госпожи Тифен, Гарслан, Галардон, Офре, Лесур, Мартене, Гепен, Жюльяр без ума были от прелестной бретоночки. Этот успех льстил самолюбию старухи Сильвии, которая благотворительствовала из тщеславия, а вовсе не из добрых чувств к Пьеретте. Но Сильвия должна была в конце концов почувствовать себя задетой успехом кузины, и вот из-за чего: то и дело ее просили от-

пустить Пьеретту в гости, и она отпускала ее из желания похвастать своей воспитанницей перед провенскими дамами. Пьеретту звали на детские обеды или поиграть с детьми. Она пользовалась несравненно бóльшим успехом, чем сами Рогроны. Видя, что все приглашают Пьеретту к себе, а к ним, Рогронам, никто не ходит, Сильвия обиделась. Простодушная девочка не скрывала, как много удовольствия получала она в домах г-жи Тифен, Мартене, Галардон, Жюльяр, Лесур, Офре, Гарслан, которые были так приветливы, так не похожи на ее придирчивых родственников. Мать радовалась бы радости своего дитяти, но Рогроны взяли в свой дом Пьеретту, думая не о ней, а только о себе: ими руководили отнюдь не родительские чувства, а гнусное себялюбие и своего рода эксплуататорский торгашеский расчет.

Прекрасный гардероб, праздничные платья и платья для будней положили начало несчастьям Пьеретты. Как все дети, привыкшие резвиться на воле, неистощимые на всякие выдумки, она с ужасающей быстротой изнашивала башмаки, туфли, платья и модные панталоны с оборочками. Если мать журит своего ребенка, она думает только о нем; слова ее полны мягкости и становятся суровыми лишь тогда, когда она доведена до крайности и ребенок сильно провинился; но для родственников Пьеретты важный вопрос об одежде сводился к вопросу о затратах: суть была в деньгах, а не в Пьеретте. У детей тонкий нюх на недостатки тех, кто их воспитывает; они великолепно чувствуют, любят ли их, или только терпят. Чистые сердца чувствительней к оттенкам, нежели к контрастам: дети, еще не понимая, что такое зло, безошибочно знают, когда оскорбляется чувство прекрасного, заложенное в них самой природой. Все замечания, которые навлекала на себя Пьеретта — о благовоспитанности, необходимой для молодой девицы, о скромности и бережливости,— были лишь перепевом основного мотива: «Пьеретта разоряет нас!» Такое брюзжание, имевшее роковые последствия для Пьеретты, вернуло холостяка и старую деву в прежнюю, привычную для этих лавочников колею, из которой их временно выбило водворение в Провене; и теперь все их свойства должны были распуститься пышным цветом. Привыкнув командовать, распоряжаться, делать замеча-

ния и распекать приказчиков, Рогрон с сестрой тосковали, лишившись своих жертв. Мелкие людишки любят тиранствовать, чтобы пощекотать себе нервы, тогда как великие души жаждут равенства и подвигов человеколюбия. И вот существа ограниченные, стремясь возвысить себя над своими ближними, начинают либо травить их, либо благодетельствовать им; они могут доказать себе свое могущество, проявляя власть над другими — жестокую или милосердную, в зависимости от своих склонностей. Прибавьте к этому рычаг личной выгоды — и вы получите ключ к пониманию большинства социальных явлений. Пьеретта стала чем-то существенно необходимым в жизни своих родственников. Со времени ее приезда Рогроны сперва были очень заняты ее гардеробом, потом развлечены новизной совместной жизни с кем-то посторонним. Все, что ново, будь то чувство или даже власть, лишь постепенно укладывается в соответствующую форму. Сначала Сильвия называла Пьеретту «деточкой», но вскоре «деточку» заменила просто «Пьереттой». Замечания, сперва кисло-сладкие, постепенно становились все более суровыми и резкими. А раз став на этот путь, брат и сестра стремительно двинулись вперед: скуки как не бывало! Тут был не заговор злых и жестоких людей, а безотчетная страсть к тупому мучительству. И брат и сестра считали, что заботятся о Пьеретте, как прежде считали, что заботятся об учениках в своей лавке. Пьеретта, в противоположность черствым Рогронам, была наделена обостренной чувствительностью, подлинной и благородной, и до ужаса боялась упреков; они так болезненно ее задевали, что на ее чистые глазки тотчас же навертывались слезы. Ей стоило неимоверных усилий подавить в себе свою очаровательную резвость, которая так нравилась всем посторонним; она давала ей волю лишь в гостях, при своих маленьких подругах и их маменьках; но дома уже за первый месяц она стала такой вялой, что однажды Рогрон спросил у нее, не больна ли она. При этом неожиданном вопросе она убежала в сад, чтобы выплакаться на берегу реки, уносившей ее слезы, как сама она впоследствии унесена была потоком социальной жизни. В один погожий день, бегая и играя у г-жи Тифен, Пьеретта, как ни остерегалась, зацепила и порвала свое

праздничное репсовое платье. Она разрыдалась, предвидя жестокий выговор, ожидавший ее дома. Ее стали расспрашивать, и у нее скозь рыдания вырвалось несколько слов об ее ужасной двоюродной сестре. Прекрасная г-жа Тифен, найдя у себя кусок такого же репса, собственноручно исправила повреждение. Мадемуазель Рогрон узнала о «подвохе», как она выразилась, который ей «подстроила эта проклятая девчонка», и с той поры больше не отпускала Пьеретту в гости к провенским дамам.

Жизнь в Провене, по-новому сложившаяся для Пьеретты, распалась на три периода, резко отличных друг от друга. Первый период, относительно счастливый, хотя и омрачавшийся постоянно то холодной лаской холостяка или старой девы, то их обидными до боли поучениями, длился три месяца. Только в этот первый период пребывания Пьеретты в Провене жизнь еще не казалась ей невыносимой, но он пришел к концу, когда ей запретили ходить к маленьким подругам, так как якобы необходимо было начать учиться всему, что полагается знать благовоспитанной девице.

Винэ и полковник наблюдали внутреннее брожение, вызванное у Рогронов приездом Пьеретты, следили за ним с настороженностью лисицы, которая, собравшись залезть в курятник, вдруг обнаруживает там чье-то неожиданное присутствие. Чтобы не вызвать подозрений у мадемуазель Сильвии, они являлись лишь изредка, вступали в беседу с Рогроном под разными предлогами и внедрялись в дом при помощи таких тонких и ловких приемов, которым мог бы позавидовать даже великий Тартюф. Полковник и стряпчий были в гостях у Рогронов вечером того самого дня, когда Сильвия резко отказалась отпустить Пьеретту к прекрасной г-же Тифен. Услышав об этом отказе, они переглянулись, как люди, хорошо знающие Провен.

— Тифенша, несомненно, хотела подстроить вам каверзу,— заявил стряпчий.— Мы уж не раз предупреждали Рогрона о том, что это может случиться. От таких людей ничего хорошего не дождешься.

— Чего уж ждать от антинациональной партии!— перебил стряпчего полковник, подкручивая усы.— Мы давно бы открыли вам глаза, да боялись, как бы вы не

подумали, что, отзываясь о них дурно, мы руководствуемся злобой. Но если вы любите перекинуться в картишки, мадемуазель, почему бы вам время от времени не сыграть вечерком партию в бостон у себя дома? Неужели никого нельзя найти вместо этих идиотов Жюльяров? Мы с Винэ играем в бостон, да и четвертый игрок в конце концов найдется. Винэ может познакомить вас со своей женой, она очень приятная особа и к тому же урожденная Шаржбеф. Не будете же вы, как эти кикиморы из верхнего города, требовать роскошных туалетов у милой молодой женщины, которая занята своим хозяйством, вынуждена из-за подлости своей семьи все делать сама и соединяет в себе мужество льва с кротостью ягненка!

Сильвия Рогрон улыбнулась, показав свои длинные желтые зубы, и полковник храбро, даже не без любезности в лице, выдержал это страшное зрелище.

— Если нас будет только четверо, партию в бостон каждый вечер не составишь,— сказала Сильвия.

— Чем может быть занят такой старый ворчун, как я, которому только и остается, что проедать свою пенсию? И стряпчий по вечерам всегда свободен. К тому же у вас начнут бывать и другие, ручаюсь вам,—прибавил Гуро с загадочным видом.

— Стоит вам только открыто выступить против провенских сторонников правительства и дать им отпор,— сказал Винэ,— и вы сразу увидите, как вас полюбят в городе и сколько у вас окажется приверженцев. Тифены будут в бешенстве, когда в противовес их салону вы заведете свой собственный. Ну что ж! Мы посмеемся над теми, кто над нами смеется. «Шайка», кстати сказать, не очень-то стесняется в отношении вас.

— А что такое? — спросила Сильвия.

В провинции имеется несколько клапанов, через которые сплетни просачиваются из одного круга общества в другой. Винэ известно было все, что говорилось о галантерейщиках в салонах, откуда оба они были окончательно изгнаны. Заместитель судьи археолог Дефондриль не принадлежал ни к одной из партий. Он, как и некоторые другие лица, ни к какой партии не принадлежавшие, передавал по провинциальной привычке все, что ему говорили, а Винэ извлекал пользу из этой болт-

ливости. Хитрый стряпчий, повторяя насмешливые замечания г-жи Тифен, еще подбавлял к ним яду. Растолковав Рогрону и Сильвии, как при помощи коварных уловок их превращали во всеобщее посмешище, он возбудил гнев и мстительность в этих двух черствых натурах, искавших пищи для своих мелких страстей.

Спустя несколько дней Винэ привел свою жену — хорошо воспитанную, застенчивую особу, не красавицу, но и не дурнушку, очень кроткую и живо чувствующую свое несчастье. Г-жа Винэ была белокурая, просто одетая женщина, несколько утомленная хлопотами по своему скудному хозяйству. Только такая кроткая женщина и могла прийтись Сильвии по вкусу. Г-жа Винэ стерпела чванный тон старой девы и, привыкнув к покорности, подчинилась и ей. Ее выпуклый лоб, тихий и нежный взгляд, все ее лицо с нежным румянцем отмечено было печатью глубокого раздумья и чуткости, которые у женщины, привыкшей страдать, кроются под ненарушимым молчанием. Вскоре на судьбе Пьеретты сказалось влияние, приобретенное в доме ловким Винэ и полковником, который рассыпался перед Сильвией в любезностях, делая вид, что она победила в нем суровость воина. Пьеретта, резвая, как белочка, жила теперь взаперти, а если выходила из дому, то лишь в сопровождении старой девы; ее ежеминутно одергивали: «Не трогай этого, Пьеретта!»—и изводили наставлениями о том, как нужно себя держать. Пьеретта слегка сутулилась, и Сильвия больно хлопала ее по спине, желая, чтобы девочка держалась так же прямо, как она сама,— точно солдат, вытянувшийся во фрунт перед своим полковником. Жизнерадостная и вольная дочь Бретани научилась сдерживать свои порывы и стала походить на автомат.

Однажды вечером — вечер этот положил начало второму периоду — Пьеретта, которую трое завсегдатаев не видели с самого своего прихода, вошла в гостиную, чтобы поцеловать перед сном своих родственников и пожелать всем спокойной ночи. Сильвия холодно подставила щеку прелестной девочке, словно желая поскорее избавиться от ее поцелуя. Движение это было так недвусмысленно, так оскорбительно, что у Пьеретты брызнули слезы из глаз.

— Ты укололась, милая Пьеретта? — сказал ей безжалостный Винэ.

— Что с вами? — строго спросила Сильвия.

— Ничего,— ответила бедная девочка, направляясь к кузену, чтобы поцеловать его.

— Ничего? — переспросила Сильвия.—Без причины не плачут.

— Что с вами, милая крошка? — сказала ей г-жа Винэ.

— Моя богатая кузина обращается со мной хуже, чем моя бедная бабушка.

— Бабушка лишила вас вашего состояния, а кузина вам оставит свое.

Полковник со стряпчим украдкой переглянулись.

— Пусть бы ничего мне не оставили, а только любили!..

— Ну что ж! Можно вас отправить обратно туда, откуда вы приехали.

— Но в чем же бедняжка провинилась? — спросила г-жа Винэ.

Стряпчий бросил на жену ужасный взгляд — прицельный и холодный взгляд человека, привыкшего к полному господству. И бедная рабыня, вечно преследуемая за то, что не могла дать единственного, чего от нее хотели,— богатства,— снова склонила голову над картами.

— В чем провинилась? — воскликнула Сильвия, так резко вздернув голову, что на чепце ее запрыгали желтофиоли.— Она не знает, что придумать, чтобы досадить нам. Недавно она открыла мои часы — ей, видите ли, хотелось рассмотреть, как они устроены,— задела колесико и сломала пружину. Эта девица никого не желает слушаться. С утра до вечера я твержу ей, чтобы она была осторожней, но все это — как об стену горох.

Пьеретте стало стыдно, что ее бранят при посторонних, и она тихонько вышла.

— Ума не приложу, как нам справиться с этим неугомонным ребенком,— сказал Рогрон.

— Да ведь она уже большая, ее можно отдать в пансион,— заметила г-жа Винэ.

Снова Винэ без слов, одним лишь повелительным взглядом призвал к молчанию свою жену, которую осте-

регался посвящать в планы, составленные им вместе с полковником относительно холостяка и старой девы.

— Вот что значит взвалить на себя заботу о чужих детях! — воскликнул полковник.— А ведь вы могли бы иметь еще и своих собственных — вы сами или ваш брат. Почему бы кому-нибудь из вас не обзавестись семьей?

Сильвия весьма благосклонно взглянула на полковника: впервые за всю свою жизнь она встретила мужчину, которому не показалось нелепым предположение, что она может выйти замуж.

— Но госпожа Винэ права! — сказал Рогрон.— Надо обуздать Пьеретту. Учитель обойдется ведь не слишком дорого.

Сильвия так поглощена была словами полковника, что ничего не ответила брату.

— Если бы вы пожелали только внести залог, чтобы открыть оппозиционную газету, о которой мы с вами толковали, вы получили бы учителя для вашей маленькой кузины в лице ответственного редактора; мы пригласили бы этого несчастного школьного учителя, пострадавшего от церковников. Жена права: Пьеретта — алмаз, но требующий шлифовки,— сказал Винэ Рогрону.

— Я полагала, что вы — барон,— обратилась Сильвия к полковнику во время сдачи карт среди воцарившегося молчания, когда каждый из игроков сидел в задумчивости.

— Да, но титул я получил в тысяча восемьсот четырнадцатом году, после битвы при Нанжи,— там полк мой проявил чудеса храбрости. Где мне было раздобыть в те времена протекцию и деньги, чтобы провести это дело в узаконенной форме через государственную канцелярию? С баронским титулом будет то же, что и с генеральским чином, который мне дали в тысяча восемьсот пятнадцатом году: только революция вернет их мне.

— Если бы вы могли выдать мне закладную,— ответил наконец Рогрон стряпчему,— я бы внес, пожалуй, залог.

— Что ж, это можно устроить с помощью Курнана,— сказал Винэ.— Газета принесет победу полковнику и сделает ваш салон влиятельнее салона Тифенов и их присных.

— Это как же так? — спросила Сильвия.

Стряпчий, пока жена его сдавала карты, принялся объяснять, какой вес приобретут и Рогроны, и полковник, и он сам, издавая «независимую газету» для округа Провена. А в это время Пьеретта плакала горючими слезами; и разумом и сердцем она понимала, что кузина ее гораздо более не права, чем она сама. Дочь Бретани инстинктивно чувствовала, что не должна скудеть рука дающего и милосердие не должно знать границ. Она ненавидела свои красивые платья и все, что для нее делалось. Слишком дорогой ценой приходилось платить за эти благодеяния. Она плакала с досады, что дала повод бранить себя, и твердо решила — бедняжка! — вести себя так, чтобы родственникам не в чем было упрекнуть ее. Она думала о том, как великодушен был Бриго, отдав ей все свои сбережения. Она решила, что достигла пределов своего несчастья, не подозревая, что в этот самый миг в гостиной готовились для нее новые горести. Через несколько дней у Пьеретты действительно появился учитель, обучавший ее грамоте. Она должна была учиться читать, писать и считать. Обучение Пьеретты вызвало настоящий разгром в доме Рогронов. Чернильные пятна на столах, на комодах, на платьях; позабытые, валяющиеся всюду тетради и перья, песок для присыпки чернил — на обивке мебели; книги, растрепанные, разорванные во время приготовления уроков. Ей уже твердили — и в каких словах! — о необходимости самой себе зарабатывать на хлеб и не быть в тягость другим. Выслушивая эти жестокие поучения, Пьеретта чувствовала, как к горлу ее подкатывал клубок и оно болезненно сжималось, а сердце так и колотилось в груди. Она глотала слезы, ибо считалось, что слезами она наносит оскорбление своим добрым, великодушным родственникам. Рогрон зажил своей привычной жизнью: он бранил Пьеретту, как некогда бранил своих приказчиков, отрывал ее от игр, чтобы засадить за учение, заставлял твердить уроки; он стал свирепым гувернером бедного ребенка. Сильвия, с другой стороны, считала своим долгом научить Пьеретту тем немногим женским рукоделиям, которые знала сама.

Ни Рогрон, ни сестра его не могли похвалиться мягкостью характера. Эти ограниченные люди испытывали истинное наслаждение, мучая бедного ребенка. и посте-

пенно перешли от мягкости к самой неумолимой строгости. Строгость их вызывалась якобы злонравием девочки, а та попросту, начав учиться слишком поздно, не отличалась большой понятливостью. Ее учителя не обладали искусством приноравливать свои уроки к пониманию ученицы — в чем и состоит отличие домашнего обучения от школьного. Пьеретта, таким образом, была гораздо менее виновата, чем ее родные. Ей очень туго давались начатки знаний. За каждый пустяк ее обзывали глупой, бестолковой, безмозглой, косолапой. Пьеретту вечно донимали упреками, да и в глазах своих родных она ничего, кроме холода, не видела. В ней появилась какая-то овечья тупость: она шагу не решалась ступить, ибо, что бы она ни сделала, все было плохо, осуждалось, истолковывалось в дурную сторону. Она во всем подчинилась деспотизму своей кузины, ждала ее приказаний и, замкнувшись в пассивной покорности, молчала. Ее румяные щечки стали блекнуть. Временами она жаловалась на боли. Когда кузина спрашивала у нее: «Где болит?»— девочка, чувствуя общее недомогание, отвечала: «Везде!»

— Виданное ли дело, чтобы везде болело? Если бы у вас болело везде, вас бы давно уже в живых не было,— отвечала Сильвия.

— Может болеть грудь,— назидательно говорил Рогрон,— зубы, голова, ноги, живот; но в жизни я не слыхал, чтобы болело все сразу. Что это значит: «Везде!» Если болит «везде», значит не болит нигде и нечего *жалиться*. Хочешь знать, что ты такое? Ты просто пустомеля.

Убедившись, что на свои наивные замечания — плоды пробуждающегося разума — она слышит в ответ одни лишь избитые фразы, которые, как подсказывал ей здравый смысл, были просто нелепы, Пьеретта в конце концов замкнулась в себе.

— Ты все хнычешь, а аппетит у тебя волчий! — говорил ей Рогрон.

Одна только служанка, толстуха Адель, не терзала этот нежный и хрупкий цветок. На ночь она клала в постель девочки грелку, но делала это тайком с тех пор, как за все свои заботы о наследнице хозяев она однажды вечером получила от Сильвии нагоняй.

— Детей надо приучать к лишениям, это закаляет их. Разве у нас с братом здоровье от этого стало хуже? — сказала Сильвия.— Вы сделаете из Пьеретты «нюню». (Любимое словечко рогроновского словаря для обозначения людей болезненных и плаксивых.)

В каждом ласковом слове этого маленького ангела видели только кривлянье. Цветы нежности, наивные и свежие, распускавшиеся в этой юной душе, бежалостно растаптывали. Жестокие удары обрушивались на чувствительное сердце Пьеретты. Если же она ласкалась к этим черствым людям,— ее обвиняли в том, что она это делает с какой-то корыстной целью.

— Лучше прямо скажи, чего ты хочешь? — грубо спрашивал ее Рогрон.— Ведь недаром же ты ко мне так ластишься.

Ни сестра, ни брат не допускали возможности любви и привязанности, а Пьеретта была сама любовь. Полковник Гуро, стремившийся угодить мадемуазель Рогрон, оправдывал ее во всем, что касалось Пьеретты. Винэ тоже поддакивал обоим родственникам, когда они нападали на девочку; он приписывал ее мнимые проступки «бретонскому упрямству» и утверждал, что нет такой силы, которая бы с этим упрямством справилась. С необычайной ловкостью обхаживая Рогрона, оба льстеца добились у него в конце концов залога для газеты «Провенский вестник», а у Сильвии — покупки акций этой газеты на пять тысяч франков. Полковник и стряпчий начали кампанию. Сто акций по пятьсот франков размещены были среди избирателей, которые некогда приобрели землю, национализированную во время революции, а теперь испытывали страх за свою собственность, подогреваемый либеральными газетами; среди фермеров и лиц, ведущих, как говорится, независимое существование. Полковник и Винэ протянули свои щупальца по всему департаменту и проникли даже за его пределы, в некоторые смежные общины. Каждый акционер становился, естественно, и подписчиком. Судебные и прочие объявления разделились между «Ульем» и «Вестником». В первом же номере новой газеты появилась высокопарно-хвалебная статья, посвященная Рогрону. Рогрон изображался в ней провенским Лаффитом. Когда общественные настроения получили какое-то руко-

водство, ясно стало, что на будущих выборах предстоит большая борьба. Прекрасная г-жа Тифен была в отчаянии.

— Я позабыла, к несчастью,— сказала она, читая статью, направленную против нее и Жюльяра,— что подле дурака всегда найдется жулик и что глупость всегда притягивает к себе какого-нибудь умника из породы лисиц.

Как только газета распространилась на двадцать миль в округе, Винэ завел новый фрак, приличные сапоги, новые панталоны и жилет. Он стал носить пресловутую серую шляпу — отличительный признак либералов — и щеголять тонким бельем. Жена его наняла служанку и оделась, как подобает супруге влиятельного лица, у нее появились красивые шляпки. Винэ проявил из расчета благодарность к Рогронам. Стряпчий и его друг Курнан — нотариус либеральной партии и конкурент Офре — стали советчиками Рогронов и оказали им две существеннейшие услуги. Срок арендных договоров, заключенных Рогроном-отцом в 1815 году при очень неблагоприятных условиях, уже истекал. С того времени садоводство и огородничество вокруг Провена чрезвычайно развились. Стряпчий и нотариус приложили старания, чтобы при новых договорах доход Рогронов увеличился на тысячу четыреста франков. Винэ выиграл у двух общин процессы, касавшиеся древесных насаждений — пятисот тополей. Вырученные за них деньги вместе со сбережениями Рогронов, уже в течение трех лет помещавших по шести тысяч франков под большие проценты, были очень ловко употреблены на приобретение участков, вклинившихся в их владения. Наконец Винэ затеял и выиграл тяжбу с несколькими крестьянами, которые получили когда-то ссуду у отца Рогрона и, выбиваясь из сил, удобряли и обрабатывали свою землю, тщетно стараясь расплатиться. Ущерб, нанесенный капиталу Рогронов перестройкой дома, был, таким образом, с избытком возмещен. Их земельные участки, разбросанные вокруг Провена, выбранные стариком Рогроном так, как умеет выбрать только трактирщик, разделенные на небольшие фермы (самая крупная из них не превышала и пяти арпанов), были отданы в аренду людям состоятельным — почти у каждого из них была

также и своя земля; арендная плата, обеспеченная закладной, приносила на ноябрь 1826 года, ко дню св. Мартина, пять тысяч франков дохода. Налоги уплачивали сами фермеры, Рогронам не приходилось расходоваться ни на поддержание строений, ни на их страхование от пожара. У брата с сестрой было на каждого по четыре тысячи шестьсот франков дохода с государственного пятипроцентного займа. И так как курс этих облигаций был выше номинальной их стоимости, стряпчий рекомендовал приобрести на них землю, утверждая, что он с помощью нотариуса не даст Рогронам потерять хотя бы грош на этой сделке.

Жизнь Пьеретты к концу этого второго периода стала так тяжела, полное безразличие к ней всех, кто постоянно бывал в доме, и глупая ворчливость ее родных, отсутствие у них всякой нежности стали для нее так мучительны, она так явственно чувствовала холодное дыхание смерти, что решилась на отчаянный поступок: добраться пешком, без денег, до Бретани и разыскать там деда и бабку Лорренов. Но два события помешали ей в этом. Старик Лоррен умер, и опекунским советом, собравшимся в Провене, Рогрон назначен был в опекуны своей кузине. Если бы бабушка Пьеретты умерла первой, Рогрон, по наущению Винэ, несомненно потребовал бы обратно у ее деда восемь тысяч франков, принадлежавших Пьеретте, и довел бы его до нищеты.

— Вы ведь можете оказаться наследником Пьеретты,— с отвратительной улыбочкой заявил Винэ галантерейщику.— Как знать, кто кого переживет!

Уразумев все значение этих слов, Рогрон не оставлял в покое вдову Лоррен, должницу своей внучки, пока не заставил ее закрепить за Пьереттой в качестве прижизненного дара восемь тысяч франков во владение, без пользования доходами; издержки он взял на себя.

Пьеретта была глубоко потрясена смертью деда. Этот жестокий удар постиг девочку, когда возник вопрос о ее первом причастии — другом событии, удержавшем ее в Провене. Простому и столь обыкновенному обряду этому суждено было вызвать крупные перемены в доме Рогронов. Сильвия узнала, что юных Жюльяров, Лесуров, Гарсланов и других готовил к причастию священник Перу. Для нее стало вопросом чести заполучить для

Пьеретты викария, у которого аббат Перу был под началом,— самого г-на Абера, по слухам — члена конгрегации, человека, рьяно пекущегося об интересах церкви и внушавшего в Провене страх, человека, скрывавшего большое честолюбие под суровой незыблемостью своих принципов. Сестра этого священника, тридцатилетняя дева, держала в городе пансион для девиц. Брат и сестра очень походили друг на друга: оба угрюмые и худые, оба черноволосые, с землистым цветом лица. С малолетства привыкшая, как всякая бретонка, к поэтической обрядности католической религии, Пьеретта открыла свое сердце и слух для поучения этого пастыря, умевшего внушать к себе уважение. Страдания располагают к набожности, а в юном возрасте почти все девушки, со свойственной им бессознательной потребностью в нежности, тянутся к темным глубинам религии — мистицизму. Семена церковных догматов и евангельских поучений, посеянные священником, попали, таким образом, на благодарную почву. Пьеретта сразу отказалась от своих прежних намерений. Она полюбила Иисуса Христа — небесного жениха, с которым обручают молодых девушек во время их первого причастия; ее телесные и душевные страдания приобрели смысл, ее научили видеть во всем перст божий. Душа ее, так жестоко израненная в доме Рогронов,— хотя у девочки и не было прямого повода обвинять своих родных — нашла прибежище там, куда устремляются несчастные, поддерживаемые и окрыляемые тремя главными христианскими добродетелями. И она оставила всякую мысль о побеге. Сильвия, удивленная переменой, которая произошла в Пьеретте под влиянием г-на Абера, преисполнилась любопытства. Так г-н Абер, подготовляя Пьеретту к первому причастию, завербовал для бога и заблудшую душу Сильвии. Она впала в благочестие. Что же касается Дени Рогрона, то предполагаемому иезуиту не удалось уловить его в свои сети, ибо в те времена дух его либерального величества в бозе почившего «Конституционеля I» оказывал на некоторых глупцов большее влияние, нежели дух церкви,— и Дени оставался верен полковнику Гуро, Винэ и либерализму.

Мадемуазель Рогрон познакомилась, конечно, с мадемуазель Абер, и они прекрасно сошлись характерами.

Обе девицы воспылали друг к другу сестринской любовью. Мадемуазель Абер предложила взять Пьеретту к себе, чтобы избавить Сильвию от забот и хлопот по воспитанию девочки, но брат и сестра ответили, что дом их опустеет без Пьеретты. Рогроны; казалось, были чрезвычайно привязаны к своей маленькой кузине. Как только выступила на сцену мадемуазель Абер, полковник и стряпчий решили, что честолюбивый викарий строит брачные планы для своей сестры, подобные планам полковника.

— Ваша сестра хочет вас женить,— сказал стряпчий бывшему галантерейщику.

— На ком же это? — спросил Рогрон.

— Да на этой старой колдунье учительнице! — воскликнул, поглаживая седые усы, старый полковник.

— В первый раз слышу,— ответил простак Рогрон.

Столь непорочная дева, как Сильвия, должна была преуспевать в деле спасения своей души. Влияние священника в этом доме должно было, несомненно, усилиться, ибо шло оно через Сильвию, а брат во всем ее слушался. Оба либерала не на шутку — и не без основания — испугались, сообразив, что если священник решил выдать сестру свою замуж за Рогрона — брак гораздо более приемлемый, чем женитьба полковника на Сильвии,— он направит Сильвию на путь благочестия и внушит ей мысль отдать Пьеретту в монастырь. Полтора года усилий, низостей и лести оказались бы, таким образом, потраченными впустую. Винэ и Гуро охватила глухая, яростная злоба против священника и его сестры; но они понимали, что необходимо жить с ними в ладу, дабы иметь возможность следить за каждым их шагом. Абер и сестра его, игравшие в вист и бостон, являлись к Рогронам каждый вечер. Такое усердие заставило и соперников их участить посещения. Стряпчий и полковник почувствовали, что столкнулись с противником, не уступавшим им в силе; то же почувствовали и мадемуазель Абер с братом. И это было уже началом борьбы. Полковник давал вкусить Сильвии неожиданную радость — сознание того, что кто-то добивается ее руки, и в конце концов она стала видеть в Гуро достойного ее человека; а мадемуазель Абер обволакивала бывшего галантерейщика, словно ватой, своим вни-

манием, речами и взглядами. В данном случае противники не могли задать себе мудрый вопрос высшей политики: «Не поделить ли?» Каждому нужно было целиком завладеть добычей. Впрочем, две хитрые лисицы из провенской оппозиции — оппозиции усиливающейся— допустили ошибку, возомнив себя сильнее церковников: они решились на первый выстрел. Винэ, в котором крючковатые пальцы личного интереса расшевелили забытую было признательность, отправился в Труа за мадемуазель Шаржбеф и ее матерью. У этих женщин было около двух тысяч ливров ренты, и они кое-как перебивались у себя в Труа. Мадемуазель Батильда де Шаржбеф была одним из тех великолепных созданий, которые верят в брак по любви и лишь к двадцати пяти годам, оставаясь в девицах, меняют свои взгляды. Винэ сумел убедить г-жу де Шаржбеф, чтобы она присоединила свои две тысячи франков к тем трем тысячам, которые стал зарабатывать он сам после открытия газеты; тогда они заживут одной семьей в Провене, где Батильда, по его словам, женит на себе некоего глупца, по фамилии Рогрон, и, при своем уме, сможет соперничать с г-жой Тифен. Объединение стряпчего Винэ с матерью и дочерью де Шаржбеф на почве хозяйственных интересов и политических взглядов необычайно укрепило либеральную партию. Но оно повергло в ужас провенскую аристократию и партию Тифенов. Г-жа де Бреоте, в отчаянии от того, что две высокородные дамы впали в такое заблуждение, пригласила их к себе. Она оплакивала ошибку роялистов и негодовала на дворян Труа, узнав, в каком положении были мать и дочь.

— Как! Неужели же не нашлось пожилого дворянина, чтобы жениться на этой милой крошке, словно созданной для того, чтобы быть хозяйкой замка? — говорила она.— Ей дали засидеться в девушках, и вот она готова броситься на шею какому-то Рогрону.

Графиня подняла на ноги весь департамент, но не нашла ни одного дворянина, согласного жениться на девушке, у матери которой было всего лишь две тысячи франков ренты. Поисками этого неизвестного — правда, слишком поздно — занялись также супрефект и партия Тифенов. Г-жа де Бреоте клеймила пагубный для

Франции эгоизм, плод материализма и узаконенной власти денег: знатность уже — ничто! красота — ничто! какие-то Рогроны, Винэ вступают в борьбу с королем Франции!

У Батильды де Шаржбеф над ее соперницей было неоспоримое преимущество и в красоте и в нарядах. Она была ослепительно бела; в двадцать пять лет ее развившиеся плечи, ее прекрасные формы приобрели чудесную округлость. Стройная шея, точеные ноги и руки, роскошные волосы восхитительного белокурого цвета, прелесть улыбки, благородная форма хорошо посаженной головы, овал лица, красивые глаза, красиво изваянный лоб, еще не потерявшая гибкости талия и воспитанность, сквозившая в каждом движении,— все в ней было гармонично. У нее были изящные ручки, узкая ступня. Цветущий вид придавал ей, быть может, сходство с красивой служанкой из харчевни, «но Рогрону это не должно казаться недостатком»,— говорила прекрасная г-жа Тифен. В первый раз мадемуазель де Шаржбеф явилась в очень простом наряде. Коричневое мериносовое платье с зеленой вышивкой фестонами было сильно открыто, но плечи, спину и грудь прикрывала тюлевая косынка, натянутая под корсажем шнурками и, несмотря на аграф, слегка приоткрывавшаяся спереди. Прелести Батильды казались под этой прозрачной сеткой еще соблазнительней и кокетливей. Она сбросила шаль, сняла бархатную шляпу, открыв при этом свои хорошенькие ушки, украшенные золотыми серьгами с подвесками. На шее у нее был маленький крестик, и бархотка выделялась на ней, как черное кольцо, которым причудница природа украшает хвост белой ангорской кошки. Ей знакомы были все уловки девиц на выданье: она поднимала руки, поправляя без всякой нужды свои локоны, просила ослепленного Рогрона пристегнуть ей манжетку, на что несчастный отвечал невежливым отказом, стараясь скрыть свое волнение под видимостью полного равнодушия. Робкая любовь галантерейщика — единственная, которую суждено было испытать ему за всю жизнь,— проявлениями своими походила на ненависть. На этот обман поддались Сильвия и Селеста Абер, но отнюдь не стряпчий, человек выдающийся по своей проницательности среди этого тупого-

лового общества и встретивший единственного соперника в лице священника, ибо полковник давно уже был с ним в союзе.

Полковник, со своей стороны, стал вести себя по отношению к Сильвии точно так же, как Батильда вела себя по отношению к Рогрону. Он менял каждый вечер сорочку, начал носить бархатный галстук, над которым выступали белые уголки воротника, что превосходно оттеняло его воинственную физиономию; завел белый пикейный жилет и заказал себе из синего сукна новый сюртук, на котором выделялась красная розетка ордена,— все это якобы в честь прекрасной Батильды. После двух часов дня он не курил. Он стал зачесывать волнистые пряди своих седеющих волос, прикрывая ими лысину цвета охры. Словом, приобрел внешность и повадки главы партии, человека, собирающегося сурово расправиться с врагами Франции — Бурбонами.

Но дьявольски коварный стряпчий и хитрый полковник устроили викарию и его сестре еще более жестокий сюрприз, чем появление прекрасной мадемуазель де Шаржбеф, которая признана была и либеральной партией и салоном де Бреоте в десять раз красивей прекрасной г-жи Тифен. Полковник и Винэ — два великих политика маленького городка — начали исподволь распускать слухи, что г-н Абер всецело разделяет их убеждения. Вскоре в Провене заговорили о нем как о либеральном священнике. Срочно вызванный в епархию, г-н Абер вынужден был отказаться от вечерних посещений Рогронов; но сестра его продолжала там бывать. С этого времени салон Рогронов мог считаться открытым и приобрел влияние.

Итак, к середине года интриги политические заняли в салоне Рогронов не меньшее место, чем интриги брачные. Если скрываемые в глубине сердец интересы вступали в жестокие, но тайные схватки, то борьба общественная приобретала широкую и роковую огласку. Всем ведомо, что на выборах 1826 года пало министерство Виллеля. В избирательной коллегии Провена кандидат либералов Винэ (нотариус Курнан доставил ему избирательный ценз, приобретя для него поместье, за которое еще не было уплачено) чуть было не одержал победу над г-ном Тифеном: председатель суда получил

лишь на два голоса больше. В салоне Рогронов к г-жам Винэ и де Шаржбеф, к стряпчему и полковнику присоединялись иногда г-н Курнан с женой и врач Неро, человек, проживший бурную молодость, но теперь смотревший на жизнь весьма серьезно и посвятивший себя науке, так что он, по словам либералов, был гораздо более сведущ, нежели г-н Мартене. Рогроны так же мало понимали теперь причины своего триумфа, как прежде — своего изгнания из общества.

Прекрасная Батильда де Шаржбеф, которой Винэ изобразил Пьеретту как врага, была с ней до крайности пренебрежительна. Уничижение бедняжки всем было на руку. Г-жа Винэ бессильна была помочь ребенку, которого — как она это наконец поняла — готовы были беспощадно стереть в порошок сталкивающиеся между собой корыстные интересы. Если бы не категорическое приказание мужа, она бы перестала бывать у Рогронов: ей слишком тяжело было видеть, как травят это прелестное маленькое создание, которое инстинктивно жалось к ней, прося показать тот или иной шов или узор, словно чуя в ней скрытую поддержку. Было ясно, что, если бы к Пьеретте подойти с добротой и лаской, она всему бы легко научилась, все бы усвоила. Г-жа Винэ не нужна была больше, и муж перестал водить ее к Рогронам. Сильвия, все еще лелеявшая мечту о замужестве, стала видеть в Пьеретте помеху: девочке было уже около четырнадцати лет, и ее болезненная бледность — симптом, оставленный без внимания невежественной старой девой,— придавала ей особую прелесть. Сильвию осенила блестящая идея: чтобы покрыть расходы по содержанию Пьеретты, она решила превратить ее в служанку. Винэ, в качестве представителя Шаржбефов, мадемуазель Абер, Гуро — все влиятельные завсегдатаи салона поддерживали Сильвию в ее решении рассчитать толстуху Адель. Неужто Пьеретта не справится со стряпней и уборкой дома? А когда работы окажется слишком много, Сильвия будет брать на время экономку полковника, особу очень умелую, одну из лучших поварих Провена. Пьеретта должна научиться готовить, стирать, мыть полы,—утверждал безжалостный стряпчий,— держать дом в порядке, покупать на рынке провизию; словом, пора ей узнать

цену вещам. Бедняжка Пьеретта, полная самоотверженности и преданности, сама предложила свои услуги и была счастлива, что может как-то расквитаться за тот горький кусок хлеба, который получала в доме своих родственников. Адель рассчитали. Пьеретта лишилась, таким образом, единственной защиты. Несмотря на всю свою душевную силу, она с этого момента была угнетена и физически и морально. Холостяк и старая дева обращались с ней гораздо хуже, чем со служанкой,— ведь она была их собственностью! Ее бранили за всякую малость, распекали за легкий налет пыли на мраморном камине или на стеклянном колпаке. Предметы роскоши, которыми она так восхищалась когда-то, стали ей теперь ненавистны. Несмотря на все старания девочки, ее неумолимая кузина то и дело находила предлог для придирок. За два года Пьеретту ни разу не похвалили, она не слыхала ни единого ласкового слова. Она бывала счастлива, если ее хоть не бранили. Безропотно, терпеливо она сносила мрачное расположение духа холостяка и старой девы, лишенных каких бы то ни было нежных чувств и постоянно напоминавших ей, что ее держат из милости. Пьеретта жила, как в тисках зажатая между двумя галантерейщиками, и это еще усиливало ее болезнь. Жестокое внутреннее волнение, внезапные взрывы затаенного отчаяния непоправимо задерживали ее физическое развитие. Невыносимые, хотя и тщательно скрываемые горести довели постепенно Пьеретту до того состояния, в котором застал ее друг детства, пропевший ей в виде приветствия бретонский романс на маленькой площади Провена.

Прежде чем перейти к домашней драме, вызванной у Рогронов приходом Бриго, необходимо, чтобы потом не отвлекаться в сторону, рассказать, как устроился бретонец в Провене, ибо он был немым участником этой драмы. Торопясь скрыться, Бриго был испуган не только поданным ему Пьереттой знаком, но и переменой, происшедшей в его юной приятельнице: если бы не голос, глаза и движения, напомнившие ему подругу его детских игр, такую резвую, веселую и в то же время нежную, он вряд ли узнал бы ее. Когда, отбежав от дома подальше, он остановился, ноги у него дрожали, спину обдавало жаром. Он увидел в окне не Пьеретту,

а лишь тень Пьеретты! Озабоченный, встревоженный, он поднялся в верхний город, отыскивая место, с которого ему были бы видны площадь и дом Пьеретты; теряясь в мыслях, он горестно смотрел на этот дом, словно видел возникшее на своем пути несчастье, которому нет ни конца ни края. Пьеретта страдала, она не была счастлива, она тосковала по Бретани! Что с ней? Эти вопросы снова и снова вставали перед Бриго, разрывая ему сердце и открыв ему самому, как велика была его привязанность к названой сестричке. Любовь между двумя детьми лишь очень редко бывает прочна. Прелестный роман Павла и Виргинии, как и роман Пьеретты и Бриго, не разрешает вопроса об этом странном психологическом явлении. Новая история знает лишь одно исключение: знаменитую любовь возвышенно прекрасной Виттории Колонна и ее супруга; предназначенные с четырнадцатилетнего возраста друг для друга своими родителями, они обожали друг друга и вступили в брак; в шестнадцатом веке союз их был примером беззаветной, безоблачной супружеской любви. Овдовев в тридцать четыре года, красивая, остроумная, окруженная поклонением маркиза отказала королям, добивавшимся ее руки, и заживо погребла себя в монастыре, где никого не слыхала и не видала, кроме монахинь. Такая безграничная любовь расцвела вдруг и в сердце бедного бретонского подмастерья. Они с Пьереттой постоянно помогали друг другу, и он был так рад, что мог дать ей на дорогу свои деньги, он чуть не умер, когда бежал за увозившим ее дилижансом,— а Пьеретта и не догадывалась ни о чем! Как часто воспоминание это согревало холодное одиночество его нелегкой жизни за последние три года. Ради Пьеретты он совершенствовался, ради Пьеретты обучался своему ремеслу, ради Пьеретты приехал в Париж, надеясь нажить для нее богатство. Пробыв там две недели, он не устоял перед желанием увидеть ее и, отправившись в дорогу в субботу вечером, пропутешествовал пешком до утра понедельника; он рассчитывал вернуться в Париж, но, потрясенный видом своей маленькой подруги, остался в Провене. Сам того не подозревая, он оказался во власти чудесного магнетизма, существование которого все еще оспаривают вопреки стольким доказательствам: на

глаза его навернулись слезы в тот самый миг, как они затуманили взор Пьеретты.

Если для Пьеретты в нем воплощались Бретань и счастливое детство, то для него вся жизнь была в Пьеретте. Бриго было шестнадцать лет, и он еще не умел ни рисовать, ни начертить какой-нибудь карниз в разрезе; он еще очень многого не знал; но, работая сдельно, он зарабатывал уже до четырех — пяти франков в день. Значит, он мог остаться в Провене и поступить в обучение к лучшему местному столяру, чтобы находиться всегда вблизи Пьеретты и охранять ее. Бриго не колеблясь принял это решение. Он поспешил в Париж, взял расчет, забрал свою рабочую книжку, пожитки и инструменты. Спустя три дня он был уже подмастерьем у Фраппье, лучшего столяра в Провене. Работящие, степенные подмастерья, не буяны и не любители кабаков — поистине редкость, и хозяева дорожили таким юношей, как Бриго. Чтобы закончить историю водворения бретонца в Провене, скажем только, что через две недели он был уже старшим подмастерьем, получал стол и квартиру у Фраппье, который обучил его черчению и расчетам. Этот столяр жил на Большой улице, в каких-нибудь ста шагах от продолговатой маленькой площади, в конце которой находился дом Рогронов. Бриго затаил любовь в глубине сердца и не совершил ни малейшей неосторожности. Он выведал у г-жи Фраппье историю Рогронов; она рассказала ему, каким путем старый трактирщик ухитрился завладеть наследством старика Офре. Бриго получил также сведения о характере галантерейщика Рогрона и его сестры. Он встретил как-то утром на рынке Пьеретту с Сильвией и внутренне содрогнулся, заметив, что девочка тащит тяжелую корзину с провизией. В воскресенье, чтобы посмотреть на Пьеретту, он пошел в церковь и увидел там маленькую бретонку в праздничном наряде. Тут только Бриго понял впервые, что Пьеретта была мадемуазель Лоррен. Пьеретта заметила своего друга, но тайком подала ему знак, чтобы он продолжал тщательно скрываться. Ее выразительный жест был не менее красноречив, чем тот, что обратил его в бегство две недели тому назад. Какое же состояние он должен нажить за десять лет, чтобы жениться на своей маленькой подруге,— ведь она получит в наслед-

ство от Рогронов дом, сто арпанов земли и двенадцать тысяч франков ренты, не считая того, что они скопят за эти годы! Упорный бретонец не хотел пытать счастья, не вооружившись сперва недостающими ему знаниями. Пока речь шла только о теории — безразлично было, обучаться ли в Париже или в Провене, и он предпочитал оставаться подле Пьеретты; он хотел к тому же поделиться с ней своими планами и сказать ей, что она всегда может рассчитывать на его защиту. Наконец он просто не в силах был расстаться с ней, не проникнув в тайну ее бледности, не поняв, почему даже в глазах — откуда жизнь уходит обычно позже всего — появилось у нее мертвенное выражение, не узнав причины страданий, придававших ей вид существа, обреченного и готового упасть под косой смерти. Два трогательных жеста Пьеретты, отнюдь не отвергавшей его дружбы, но предписывавшей ему величайшую осторожность, наполнили ужасом сердце бретонца. Пьеретта явно приказывала ему не искать с ней свидания и ждать, иначе ей грозит опасность, гибель. Выходя из церкви, она посмотрела на него украдкой, и он заметил, что глаза ее полны слез. Но бретонцу легче было бы найти квадратуру круга, чем догадаться о том, что происходило в доме Рогронов со времени его появления.

С тревожным предчувствием спустилась из своей комнаты Пьеретта в тот день, когда Бриго разбудил ее от утреннего сна, представ перед ней, как сновидение. Если мадемуазель Рогрон встала с постели и открыла окно, значит, она услышала, конечно, песню, эти слова, столь предосудительные для ушей старой девы; но Пьеретта даже и не подозревала, откуда у ее кузины такое проворство. У Сильвии были серьезные основания вскочить и броситься к окну. Уже с неделю как странные секретные дела и жестокие чувства волновали главных действующих лиц салона Рогронов. Этим необычайным событиям, тщательно скрываемым всеми их участниками, суждено было холодной лавиной обрушиться на Пьеретту. Мир тайных побуждений, заслуживающих, пожалуй, названия скверны человеческого сердца, можно обнаружить иной раз и в основе некоторых переворотов — политических, социальных или семейных; но, говоря о нем, следует пояснить, быть может, что алгебраи-

ческая его формула, в общем правильная, грешит неточностью. Эти тайные расчеты действуют отнюдь не так грубо, как изображает история. Если передавать все иносказания, ораторские уловки, длительные рассуждения, где ум намеренно затемняет то, что он якобы пытается разъяснить, и где под медоточивыми речами скрываются ядовитейшие умыслы,— потребовалась бы не менее объемистая книга, чем великолепная поэма под заглавием «Кларисса Гарлоу».

И мадемуазель Абер и мадемуазель Сильвия одинаково жаждали выйти замуж; но одна из них была на десять лет моложе другой, и Селеста Абер могла надеяться, что все состояние Рогронов достанется ее детям. Сильвии должно было вскоре исполниться сорок два года — возраст, в котором вступление в брак уже не безопасно. Когда, ища друг в друге поддержки, обе девы поделились своими мыслями, Селеста Абер, подученная мстительным аббатом, рассказала Сильвии о смертельном риске, которому та могла подвергнуться. Полковник Гуро, сорокапятилетний холостяк, человек плотный, горячий, здоровый, как закаленный в боях солдат, предназначен был осуществить развязку волшебных сказок: «Они стали жить-поживать, и у них было много детей». Но это счастье повергло Сильвию в трепет, она боялась смерти, ибо мысль о ней внушает непобедимый ужас всякому, кто состарился в одиночестве. А между тем образовалось министерство Мартиньяка — вторая победа палаты депутатов, свергнувшей министерство Виллеля. Партия Винэ ходила по Провену с высоко поднятой головой. Винэ, сделавшись теперь первым адвокатом во всем Бри, по народному выражению, загребал деньги лопатой. Он стал персоной. Либералы предрекали ему блестящую карьеру, прочили его в депутаты, в генеральные прокуроры. Что же касается полковника — тот мог стать мэром Провена. Ах! Царить в Провене подобно г-же Гарслан, быть женою мэра — против такой соблазнительной надежды Сильвия не могла устоять; она решила посоветоваться с врачом, пренебрегая даже риском поставить себя в смешное положение. Две девицы, из коих одна чувствовала себя победительницей и считала, что водит другую за нос, прибегли к хитрости, которой так ловко умеют пользовать-

ся женщины, наставляемые духовниками. Было бы неосторожно обратиться за советом к врачу либералов, г-ну Неро, конкуренту г-на Мартене. И вот Селеста Абер предложила Сильвии спрятаться у нее в туалетной комнате, пока сама она, якобы для себя, будет советоваться с г-ном Мартене, своим пансионским врачом. Сговорился ли г-н Мартене с Селестой или нет, но он заявил своей пациентке, что некоторая — правда, небольшая — опасность существует уже и для тридцатилетней девицы.

— Впрочем, сложение ваше,— заметил он напоследок,— позволяет вам ничего не опасаться.

— А если женщине уже за сорок? — осведомилась мадемуазель Селеста Абер.

— Замужней сорокалетней женщине, имевшей уже детей, бояться нечего.

— А девице, в полном смысле слова девице,— как мадемуазель Рогрон, например?

— Девице в полном смысле слова? Двух мнений тут быть не может,— сказал г-н Мартене.— Благополучные роды были бы одним из тех чудес, которые посылаются иногда господом богом, но весьма редко.

— А почему? — спросила Селеста Абер.

В ответ врач пустился в ужасные патологические описания; он объяснил, что эластичность, которой природа наделяет мускулы и кости, в известном возрасте исчезает, особливо же если женщина в силу своей профессии, подобно мадемуазель Рогрон, вела в течение многих лет сидячий образ жизни.

— Так что если добродетельной девице за сорок, она уже не должна выходить замуж?

— Или же должна повременить,— отвечал врач,— но тогда это уже будет не брак, а союз, основанный на общности интересов,— иначе не назовешь!

Словом, из этого разговора можно было вывести серьезное, научно обоснованное, несомненное и ясное заключение, что, перевалив за сорок лет, добродетельная девица не слишком-то должна стремиться выйти замуж. Когда г-н Мартене ушел, мадемуазель Селеста Абер увидела, что лицо у мадемуазель Рогрон пошло желтыми и зелеными пятнами, зрачки расширились — короче говоря, она была в ужасном состоянии.

— Вы так сильно любите полковника? — спросила ее Селеста.

— Я еще надеялась...— отвечала старая дева.

— Ну так повремените!—по-иезуитски посоветовала мадемуазель Абер, прекрасно зная, что полковник дожидаться не станет.

Возникали сомнения по поводу нравственной стороны подобного брака. Сильвия отправилась испытывать свою совесть в исповедальню. Суровый духовник объяснил ей взгляды церкви, которая видит в браке только продолжение рода человеческого, не одобряет вторичных браков и порицает страсть, не имеющую целью благо общества. Сильвией Рогрон овладела полная растерянность. Под влиянием внутренней борьбы страсть ее достигла необычайной силы и манила ее тем необъяснимым соблазном, которым со времен Евы привлекает женщин запретный плод. Смятение мадемуазель Рогрон не могло ускользнуть от проницательного взора стряпчего.

Однажды вечером, после карт, Винэ подошел к своему дорогому другу Сильвии, взял ее за руку и усадил рядом с собой на диван.

— Вы чем-то встревожены? — тихо спросил он.

В ответ она грустно кивнула головой. Стряпчий дождался ухода Рогрона и, оставшись наедине со старой девой, выпытал у нее всю подноготную.

«Ловко сыграно, аббат! Но ты сыграл мне только на руку»,— подумал он, узнав о тайных совещаниях, устроенных Сильвией, и о беседе с духовником, чреватой опасными последствиями.

Пояснения, данные хитрой судейской лисой, были еще страшнее, чем пояснения врача; Винэ советовал Сильвии выйти замуж, но не раньше, чем через десять лет, чтобы не подвергать себя опасности. Стряпчий дал себе клятву, что все состояние Рогронов достанется Батильде. Потирая руки и хищно вытянув свою мордочку, он побежал догонять мадемуазель де Шаржбеф и ее мать, которые ушли вперед со слугой, несшим фонарь. Влияние целителя душ — аббата Абера — вполне уравновешивалось влиянием целителя карманов — Винэ. Рогрон не отличался особенной набожностью, так что два человека в черном платье — служитель церкви и служитель закона — располагали равными силами. Узнав,

что мадемуазель Абер, надеявшаяся женить на себе Рогрона, одержала победу над Сильвией, колеблющейся между страхом смерти и желанием стать баронессой, стряпчий усмотрел возможность устранить полковника с поля битвы. Он достаточно знал Рогрона, чтобы найти способ женить его на прекрасной Батильде. Рогрон не устоял перед чарами мадемуазель де Шаржбеф. Винэ не сомневался, что в первый же раз, как Рогрон останется наедине с Батильдой и с ним, вопрос об этом браке будет решен. Рогрон дошел до того, что не сводил глаз с мадемуазель Абер, так он боялся взглянуть на Батильду. Винэ только что убедился, до какой степени Сильвия влюблена в полковника. Он понял всю власть подобной страсти над старой девой, снедаемой к тому же благочестием, и нашел вскоре способ погубить одним ударом Пьеретту и полковника, замышляя сделать так, чтобы они устранили один другого с его пути.

На следующее утро он встретил после судебного заседания полковника и Рогрона, с которыми, по установившемуся обыкновению, он ежедневно прогуливался.

Совместная прогулка этих трех человек неизменно вызывала в городе толки. Такой триумвират, внушавший ужас супрефекту, судейским чинам и партии Тифенов, был гордостью провенских либералов. Взять хотя бы Винэ — он редактировал «Вестник», он был главой партии; полковник Гуро — ответственный редактор — был ее рукой; Рогрон со своими деньгами был ее жизненным нервом и считался связующим звеном между комитетами либеральной партии Провена и Парижа. Если послушать Тифенов, эти три человека вечно замышляли что-нибудь против правительства, тогда как либералы называли их с восторгом защитниками народа. Когда стряпчий увидал, что Рогрон направляется к площади, чтобы вовремя попасть к обеду, он задержал полковника, взяв его под руку.

— Ну вот, полковник,— сказал он ему,— я сниму сейчас тяжкое бремя с ваших плеч; вам достанется жена получше Сильвии: взявшись с умом за дело, вы года через два женитесь на маленькой Пьеретте Лоррен.

И он рассказал Гуро, каких результатов добился иезуит своим маневром.

— Удар недурен! Коварный фехтовальщик! — сказал полковник.

— Пьеретта очаровательное создание,— серьезным тоном продолжал Винэ,— и вы, полковник, будете счастливы до конца дней своих; у вас такое цветущее здоровье, что вам не придется испытать неприятностей, обычных при неравных браках; но не воображайте, что так легко сменить тяжелый жребий на завидный. Обратить вашу возлюбленную в наперсницу — операция не менее опасная, чем в вашем военном ремесле форсировать реку под огнем неприятеля. С ловкостью, присущей вам как кавалерийскому полковнику, вы изучите позиции и будете действовать так же искусно, как действовали мы до сих пор, чему и обязаны теперешним нашим положением. Если я буду когда-нибудь генеральным прокурором, почему бы вам в будущем не управлять округом? Ах, если бы вам стать выборщиком, многого бы мы достигли: я купил бы голоса этих двух чиновников, возместив им убытки из-за потери службы, и мы получили бы большинство. Я заседал бы в палате подле Дюпенов, Казимиров Перье и прочих.

Полковник давно уже подумывал о Пьеретте, но тщательно скрывал свои мысли; его грубость с Пьереттой была лишь показной. Девочка не могла понять, почему этот человек, якобы старый товарищ ее отца, так дурно с ней обращался при всех, а встретившись с глазу на глаз, по-отечески ласково брал ее за подбородок. После того как Винэ сообщил ему, какой ужас внушает Сильвии брак, Гуро искал случая застать Пьеретту одну, и грубый полковник проявлял тогда чисто кошачью мягкость: он рассказывал ей, каким храбрецом был Лорен, и жалел бедную девочку, потерявшую такого отца.

За несколько дней до появления Бриго Сильвия застала как-то Гуро и Пьеретту вместе. Исступленная, чисто монашеская ревность овладела ее сердцем. Ревность — страсть в высшей степени легковерная, подозрительная и дает простор фантазии, но разума от нее не прибавляется, наоборот, она отнимает его; ревность должна была породить у такой особы, как Сильвия, самые нелепые подозрения. Старая дева вообразила, что не кто иной, как полковник, пропел Пьеретте песнь о новобрачной. Сильвии казалось, что она не без основа-

ний подозревает в этом Гуро, ведь уже с неделю в его обращении с ней произошла перемена. За всю ее одинокую жизнь Гуро был единственным мужчиной, оказывавшим ей внимание, и она напряженно всматривалась в него, стараясь его понять; то воскресающие, то гибнущие надежды придали ему в ее глазах такую значительность, что он стал для нее каким-то психическим. миражем. По меткому народному выражению, чем больше смотришь, тем меньше видишь. Так было и с нею. Она то и дело преодолевала в себе, гнала от себя прочь мысль об этом мнимом соперничестве. Она сравнивала себя с Пьереттой: ей уже за сорок, у нее седые волосы, а Пьеретта — очаровательная, беленькая девочка с нежными глазами, способными согреть даже сердце мертвеца. Сильвии приходилось слышать. что пятидесятилетние мужчины чувствуют слабость к девочкам вроде Пьеретты. Прежде чем полковник остепенился и зачастил к Рогронам, Сильвии не раз приходилось слышать в салоне Тифенов странные вещи о Гуро и его нравах. У старых дев такие же преувеличенно платонические взгляды на любовь, как и у молоденьких, двадцатилетних девушек; как и все, кто лишен жизненного опыта и не испытал, в какой мере непреодолимая сила общественных условий изменяет, искажает и губит благородные и прекрасные идеи,— они верят в беззаветную и вечную любовь. Мысль, что полковник может обмануть ее, словно обухом по голове ударила Сильвию. В то утро старая дева, проснувшись, пролежала еще некоторое время в постели, подобно всем праздным, одиноким людям; она неотступно думала о себе, о Пьеретте и о романсе, в котором упоминалась свадьба. Вместо того чтобы разглядеть влюбленного сквозь щелку в ставне, она по глупости распахнула окно, не сообразив, что Пьеретта может ее услышать. Если бы она обладала простейшей шпионской сноровкой, она увидела бы Бриго, и начавшаяся в этот миг роковая драма не разыгралась бы.

Несмотря на свою слабость, Пьеретта вытащила деревянные засовы из кухонных ставней, распахнула створки и закрепила их крючками, потом пошла в коридор отворить двери в сад. Она вооружилась разнообразными метелками для чистки ковра, подметания столовой, коридора, лестниц, чтобы всюду прибрать тщательней

любой служанки, будь то даже голландка: девочка так боялась выговоров! Она была счастлива, если видела маленькие бледно-голубые и холодные глазки своей кузины не то чтобы довольными — такими они никогда не бывали,— но хотя бы спокойными, после того как та осмотрит все взглядом собственника, пронзительным взглядом, подмечающим то, что ускользает даже от самых наблюдательных глаз. Пьеретта была вся в испарине, когда вернулась на кухню, чтобы привести там все в порядок, затопить печку и отнести в комнату кузена и кузины жар для растопки камина и теплую воду для умывания, которой на ее долю никогда не оставалось. Она накрыла стол к завтраку и затопила печь в столовой. Выполняя свои разнообразные обязанности, она бегала на погреб за вязанками хвороста, попадая из холодного помещения в теплое, из теплого — в холодное и сырое. Такие стремительные переходы, проделанные с юношеской порывистостью, зачастую для того только, чтобы избежать окрика или выполнить какое-нибудь приказание, подрывали ее здоровье. Пьеретта не знала, что она больна. Но она начинала чувствовать недомогание, у нее появились странные вкусы, она их тщательно скрывала; она полюбила салат и тайком с жадностью ела его даже неприправленным. По детской неопытности она и не подозревала, что это признаки тяжелой болезни, требующей серьезного лечения. Если бы до появления Бриго доктор Неро, который мог считаться виновником смерти ее бабушки, сообщил внучке о грозящей ей смертельной опасности, Пьеретта только улыбнулась бы: жизнь ее была так горька, что смерть она готова была встретить с радостью. К физическим страданиям девочки присоединялась еще и тоска по родной Бретани — болезнь настолько известная, что даже командиры тех полков, где есть бретонцы, с нею считаются,— но теперь Пьеретта полюбила Провен. Золотистый цветок дрока, песня, присутствие друга детства оживили ее,— так оживает и зеленеет после проливного дождя поникшее от засухи растение. Ей захотелось жить, ей показалось даже, что она и не страдала вовсе!

Робко проскользнув к кузине, Пьеретта поставила кувшин с теплой водой, затопила камин, обменялась с Сильвией несколькими словами, пошла будить своего опе-

куна, а потом спустилась вниз за молоком, хлебом и всею провизией, доставляемой на дом. Она постояла некоторое время на пороге, надеясь, что Бриго догадается вернуться; но Бриго шагал уже по пути в Париж. Убрав столовую, она хлопотала на кухне, когда услышала, что кузина ее спускается по лестнице. Мадемуазель Сильвия Рогрон появилась в домашнем платье из светло-коричневой тафты, в тюлевом чепце с бантами, с кое-как приколотыми накладными волосами, в накинутой поверх платья кофте и комнатных туфлях без задников. Она уже произвела осмотр всего дома и пришла к двоюродной сестре, дожидавшейся ее распоряжений относительно завтрака.

— А-а! Вы здесь, влюбленная девица? — спросила Сильвия насмешливо-веселым тоном.

— Что вы сказали, кузина?

— Вы и вошли ко мне и вышли крадучись, а между тем вам бы следовало знать, что у меня есть о чем поговорить с вами.

— Со мной?

— Вам нынче ночью, точно принцессе какой, пропета была серенада.

— Серенада? — воскликнула Пьеретта.

— Серенада? — передразнила ее Сильвия.— У вас есть возлюбленный.

— А что это значит «возлюбленный», кузина?

Уклонившись от прямого ответа, Сильвия сказала:

— Посмейте отрицать, мадемуазель, что под окна к нам приходил какой-то мужчина и говорил с вами о свадьбе!

Вечные преследования научили Пьеретту неизбежным для рабыни хитростям, и она решительно ответила:

— Я не знаю, о чем вы говорите...

— К кому вы обращаетесь? К собаке, что ли?—язвительно спросила старая дева.

— ...о чем вы говорите, кузина,— смиренно поправилась Пьеретта.

— И вы не вскакивали с постели, не подбегали босиком к окну? Этак и простудиться недолго! Ага! Попалась! Не лгите, без вас тут не обошлось. Вы, может статься, и не разговаривали вовсе с вашим возлюбленным?

— Нет, кузина.

— За вами водится немало недостатков, но я не думала, что вы ко всему прочему еще и лгунья. Советую вам хорошо поразмыслить, мадемуазель. Вы должны все рассказать, должны объяснить вашему кузену и мне нынешнюю утреннюю сцену, не то опекуну вашему придется прибегнуть к строгим мерам.

Терзаясь ревностью и любопытством, старая дева пустила в ход запугивания. Пьеретта же, подобно всем невыносимо страдающим людям, замкнулась в молчании. Молчание для преследуемых — единственный способ одолеть противника: оно отбивает лихие атаки завистников, варварские налеты врагов; оно дает полную, всесокрушающую победу. Что может быть совершеннее молчания? Оно абсолютно; не является ли оно одним из способов приобщиться к бесконечности? Сильвия украдкой наблюдала за Пьереттой. Лицо у девочки зарделось, но неровным румянцем: яркие, зловещие пятна выступили у нее на скулах. При виде этих болезненных симптомов всякая мать немедленно переменила бы свое обращение; она посадила бы девочку к себе на колени, расспросила бы ее; она давно бы с восхищением подметила тысячу признаков полнейшей невинности Пьеретты; она догадалась бы о ее болезни и поняла бы, что соки и кровь человеческого тела, отклонившиеся от правильного пути, сперва расстраивают пищеварение, а потом вредят легким. Этот зловещий румянец сказал бы ей о смертельной опасности, которая угрожала Пьеретте. Но чуждая семейных привязанностей, ничего не зная ни об уходе за маленькими детьми, ни о бережном отношении к отроческому возрасту, старая дева лишена была всякой снисходительности и отзывчивости, ибо они вырабатываются лишь в результате супружеской и семейной жизни. От пережитых страданий ее сердце не только не смягчилось, но совсем зачерствело.

«Она покраснела — значит, виновата!» — решила Сильвия. Молчание Пьеретты было истолковано в самую дурную сторону.

— Пьеретта,— сказала она,— нам надо поговорить, прежде чем кузен ваш спустится вниз. Пойдемте же,— прибавила она более мягким тоном.— Закройте дверь на

улицу. Если кто-нибудь придет, то позвонит, и мы услышим.

Несмотря на поднимавшийся над рекою сырой туман, Сильвия повела Пьеретту по посыпанной песком дорожке, извивавшейся между лужайками, к террасе из туфа — живописной маленькой набережной, украшенной ирисами и водяными растениями. Старая кузина изменила свою тактику: она решила попробовать взять Пьеретту лаской. Гиена притворилась кошечкой.

— Пьеретта,— сказала она,— вы уже не ребенок, вам скоро пойдет пятнадцатый год, и нет ничего удивительного, если у вас появится возлюбленный.

— Но, кузина,— сказала Пьеретта, глядя с ангельской кротостью на Сильвию, постаравшуюся придать своему злому, холодному лицу ласковое выражение, словно она стояла за прилавком,— что значит «возлюбленный»?

Сильвия не умела точно и в благопристойной форме разъяснить своей воспитаннице, что такое «возлюбленный». Не оценив очаровательной наивности этого вопроса, она заподозрила в нем притворство.

— Возлюбленный, Пьеретта, это человек, который любит нас и хочет на нас жениться.

— А-а! — сказала Пьеретта.— Когда у нас в Бретани бывает сговор, мы называем молодого человека нареченным!

— Ну так вот! Поймите, что если вы признаетесь в своих чувствах к какому-либо мужчине, в этом не будет ничего дурного, дитя мое. Дурно делать из этого тайну. Не приглянулись ли вы какому-нибудь из тех мужчин, что здесь бывают?

— Не думаю.

— А вам тоже никто из них не нравится?

— Никто.

— Это правда?

— Правда.

— Поглядите на меня, Пьеретта.

Пьеретта посмотрела на двоюродную сестру.

— Но какой-то мужчина окликнул вас с площади нынче утром?

Пьеретта опустила глаза.

— Вы подошли к окну, открыли его и что-то сказали!

— Нет, кузина, я просто хотела посмотреть, какая погода. На площади я заметила какого-то крестьянина.

— Пьеретта, после вашего первого причастия вы очень исправились, вы стали послушной и благочестивой, вы любите бога и своих родных; я довольна вами, а если не говорила вам об этом, то единственно для того, чтобы вы не возгордились...

Приниженность, покорность, безропотное молчание ужасная старая дева считала добродетелями! Одно из сладостнейших утешений для страдальцев, страстотерпцев, художников, обреченных завистью и злобой на жестокие муки,— встретить в самый тягостный час своих страданий похвалу там, где они встречали обычно лишь несправедливость и порицание. Пьеретта с нежностью подняла глаза на кузину, готовая простить ей все, что от нее вытерпела.

— Но если это только притворство, если вы змея, которую я отогрела на своей груди,— тогда вы гнусное, ужасное создание!

— Мне, кажется, не в чем упрекнуть себя,—сказала Пьеретта, почувствовав, как болезненно сжалось у нее сердце, когда вслед за неожиданной похвалой она услышала злобное рычание гиены.

— Знаете ли вы, что ложь — смертный грех?

— Да, кузина.

— Ну, так вот, перед лицом бога,— воскликнула старая дева, торжественно обводя рукою небо и всю окрестность,—поклянитесь мне, что вы не знаете этого крестьянина!

— Я такой клятвы не дам,— сказала Пьеретта.

— А, гадючка, значит, это был не крестьянин!

Спасаясь от нравственной пытки, Пьеретта, как испуганная лань, бросилась в сад. Но кузина исступленным голосом звала ее обратно.

— Звонят! — крикнула девочка.

«У-у, маленькая тихоня,— подумала Сильвия,—она хитра, и теперь я уверена, что этот змееныш обольщает полковника. Мы говорили при ней, что он барон, и она это слышала. Мечтает стать баронессой! Вот дура-то!

Ну, я живо от нее избавлюсь, отдам куда-нибудь в ученье — и дело с концом».

Сильвия так поглощена была своими мыслями, что не заметила брата, который шел к ней по аллее, осматривая георгины, пострадавшие от утренних заморозков.

— О чем ты так задумалась, Сильвия? Мне показалось, что ты смотришь на рыб. Есть ведь такие, что выскакивают иногда из воды.

— Нет...— тихо ответила она.

— Ну, как ты спала? — И он принялся рассказывать ей свои сны.— Погляди, не правда ли, лицо у меня нынче словно *тисканное?* (Еще одно выражение из словаря Рогрона.)

С тех пор как Рогрон питал любовь, или — чтоб не осквернять этого слова — вожделение, к мадемуазель де Шаржбеф, он очень заботился о своей внешности и обо всей своей особе.

Пьеретта спустилась с крыльца и доложила издали, что завтрак подан. При виде двоюродной сестры Сильвия стала желто-зеленой: в ней закипела желчь. Осмотрев коридор, она заявила, что Пьеретта должна была бы натереть там пол.

— Я натру, если вам угодно,—ответил этот ангел, не подозревая даже, как опасна подобная работа для молодых девушек.

Столовая была прибрана так, что не к чему было придраться. Сильвия села за стол и в течение всего завтрака требовала то одно, то другое — о чем в спокойном состоянии она и не вспомнила бы, и все это только затем, чтобы заставить Пьеретту вскакивать в тот момент, когда бедная девочка принималась за еду. Но этого мучительства старой деве было мало, она выискивала повод для нападок и внутренне бесилась, не находя его. Если бы к завтраку были яйца, она, несомненно, сказала бы, что ее яйцо недоварено или переварено. Едва отвечая на глупые вопросы брата, она, однако, только на него и глядела. Пьеретты она словно и не замечала. Этот маневр очень больно задевал девочку. Она принесла кузине и кузену к кофе сливки в большом серебряном кубке, согрев его в кастрюле с кипящей водой. Брат и сестра сами по вкусу наливали себе сливок в сваренный Сильвией черный кофе. Тщательнейшим образом разме-

шивая в своей чашке любимый напиток—одну из услад своей жизни,— Сильвия заметила в нем несколько кофейных порошинок; она с подчеркнутым вниманием выудила коричневую пыльцу и, нагнувшись, стала разглядывать ее. Гроза разразилась.

— Что с тобой? — спросил Рогрон.

— Со мной?.. Не угодно ли? Мадемуазель подсыпала мне в кофей золы! Как приятно пить кофей с золой!.. Впрочем, что тут удивительного: нельзя делать двух дел разом. Много она думала о кофее! Если бы нынче утром у нее на кухне летал скворец, она и его бы не заметила! Где уж было заметить золу? Велика важность: кофей для двоюродной сестры! Очень ее это тревожит!

Тем временем она вылавливала и собирала на краешке тарелки нерастаявший сахар и несколько крупинок кофея, проскользнувших сквозь ситечко.

— Ведь это кофей, кузина,— сказала Пьеретта.

— А-а, значит, я лгу? — крикнула Сильвия, испепеляя Пьеретту своим взглядом, который обладал способностью злобно сверкать в минуты гнева.

Организмы, не испытавшие опустошительного воздействия страстей, сохраняют в себе массу жизненных токов. Способность гневно сверкать глазами тем крепче укоренилась у мадемуазель Рогрон, что в своей лавке она пользовалась могуществом этого взгляда и, вытаращив глаза, наводила спасительный трепет на подчиненных.

— Я бы советовала вам найти для себя какие-нибудь оправдания, вы заслуживаете, чтобы вас выгнали из-за стола и отправили есть на кухню.

— Да что это с вами обеими? — воскликнул Рогрон.— Вы нынче утром точно белены объелись!

— Мадемуазель прекрасно знает, за что я на нее сержусь. Я даю ей время подумать и прийти к какому-либо решению, прежде нежели расскажу обо всем тебе; я слишком добра к ней, она этого не стоит.

Пьеретта смотрела в окно на площадь, чтобы не видеть страшных глаз двоюродной сестры.

— Но она меня не слушает, словно я обращаюсь не к ней, а к этой сахарнице! Однако у нее тонкий слух, недаром же она с верхнего этажа отвечает тому, кто стоит внизу. Она изрядно испорчена, твоя воспитанница! Так

развращена, что и рассказать невозможно, и не жди ты от нее ничего хорошего — слышишь, Рогрон?

— В чем же она так сильно провинилась? — спросил Рогрон у сестры.

— Подумать только! В ее годы! Раненько же она начинает! — крикнула в бешенстве старая дева.

Чтобы овладеть собой, Пьеретта принялась убирать со стола, она не знала, как себя держать. Хотя подобные сцены и не были для нее редкостью, она до сих пор не могла к ним привыкнуть. Она совершила, видимо, какое-то преступление, если кузина так разгневалась. Она все думала, в какое бешенство пришла бы Сильвия, узнав, что она разговаривала с Бриго. Его бы отняли у нее — не иначе! Тысяча тревожных мыслей молнией пронеслась в мозгу этой маленькой рабыни, и она решила хранить упорное молчание о случае, который не вызывал в ней упреков совести. Ей пришлось выслушать так много резких и суровых слов, так много обидных намеков, что, выйдя на кухню, она почувствовала нервные спазмы в желудке, и у нее началась ужасная рвота. Просить о помощи она не посмела, ибо отнюдь не была уверена, что ей чем-либо помогут. Она вернулась смертельно бледная в сто-
ловую, сказала, что плохо себя чувствует и, держась за перила, стала с трудом взбираться к себе по лестнице, чтобы лечь в постель,— ей казалось, что настал ее последний час. «Бедный Бриго!» — думала она.

— Она захворала,— сказал Рогрон.

— Захворала? Она? Это просто фокусы! —умышленно громко, чтобы быть услышанной, ответила Сильвия.— Нынче утром, небось, она не была больна!

Этот последний удар окончательно сразил Пьеретту, она легла в постель, обливаясь слезами и моля бога взять ее из этого мира.

Уже с месяц, как Рогрону не приходилось больше относить Гуро газету «Конститюсьонель»; полковник предупредительнейшим образом сам являлся за нею, беседовал с Рогроном и уводил его гулять, если погода была хороша. Уверенная, что увидит полковника и сможет его расспросить, Сильвия постаралась одеться пококетливее. В представлении старой девы кокетливо одеться — значило нарядиться в зеленое платье, желтую кашемировую шаль с красной каймой и белую шля-

пу с жиденькими серыми перьями. К тому времени, когда должен был явиться полковник, Сильвия засела в гостиной, задержав там брата, которого заставила остаться в халате и домашних туфлях.

— Прекрасная погода, полковник,—сказал Рогрон, заслышав грузную поступь Гуро,— но я еще не одет; сестра хотела было уйти, а я должен был стеречь дом; подождите меня.

Рогрон оставил Сильвию наедине с полковником.

— Куда это вы собрались? Вы так прелестно одеты,— промолвил Гуро, заметив на длинном рябоватом лице старой девы какое-то торжественное выражение.

— Я хотела было выйти из дому, но девочка нездорова, и мне пришлось остаться.

— А что с ней?

— Не знаю, она сказала, что хочет полежать в постели.

В результате своего союза с Винэ Гуро был всегда начеку, во всем осторожен, чтобы не сказать недоверчив. Стряпчий, несомненно, захватил себе львиную долю. Он был полным хозяином в газете, редактировал ее и за это присваивал себе все доходы, тогда как полковник, ответственный редактор, почти ничего не получал. Винэ и Курнан оказали Рогронам огромные услуги, а он, отставной полковник, не мог быть ничем им полезен. Кто будет депутатом? Винэ. Кто был выборщиком? Винэ. К кому обращались за советами? К Винэ! Наконец Гуро по меньшей мере столь же ясно, как сам Винэ, видел, какую сильную и глубокую страсть зажгла в Рогроне прекрасная Батильда де Шаржбеф. Страсть эта — последняя страсть мужчины — доходила до безумия. Трепет охватывал холостяка при звуке голоса Батильды. Весь во власти своих желаний, Рогрон их скрывал, не смея надеяться на возможность такого брака. Чтобы испытать галантерейщика, полковник надумал сказать ему, что собирается просить руки Батильды; Рогрон побледнел, узнав о таком опасном сопернике, он стал холоден, почти враждебен к Гуро. Винэ, таким образом, во всех отношениях господствовал в доме Рогронов, тогда как он, полковник, был связан с этим домом лишь сомнительными узами нежных чувств, с его стороны — фальшивых, со стороны же Сильвии — еще ничем не проявившихся. Ко-

гда стряпчий рассказал ему об уловке священника и посоветовал, порвав с Сильвией, заняться Пьереттой, совет его совпал с тайной склонностью самого полковника. Но, пораздумав над тем, какой умысел мог скрываться за словами стряпчего, и тщательно обследовав все поле действия, полковник заподозрил в своем союзнике надежду рассорить его с Сильвией и, воспользовавшись страхом старой девы, добиться, чтобы все состояние Рогронов попало в руки мадемуазель де Шаржбеф. После ухода Рогрона, оставшись вдвоем с Сильвией, он насторожился, стараясь по малейшим приметам понять, какие мысли волновали ее. Он разгадал, что в ее намерение входило — быть к его приходу во всеоружии и оказаться с ним наедине. Полковник, и без того уже сильно подозревавший Винэ в желании устроить ему подвох, приписал предстоящий разговор тайным наветам этой судейской обезьяны; он весь подобрался, как в былые времена, когда производил разведку на вражеской земле: напрягши ум, не спуская глаз с окрестностей, прислушиваясь к малейшему шороху, он держал оружие наготове. У полковника была одна слабость: он никогда не верил ни одному женскому слову; стоило старой деве упомянуть о Пьеретте и сказать, что она среди бела дня легла в постель, как полковник тотчас же решил, что ревнивая Сильвия наказала девочку, заперев ее в комнате.

— Эта малютка становится премиленькой,— небрежным тоном заметил он.

— Она будет красивой,— ответила мадемуазель Рогрон.

— Вам бы следовало отправить ее теперь в Париж в какую-нибудь лавку,— прибавил полковник.— Там она сделает карьеру. Модисткам требуются сейчас очень красивые девушки.

— Вы это серьезно? — взволнованным голосом спросила Сильвия.

«Ага! Так и есть! — подумал полковник.— Винэ подсказала мне мысль жениться в будущем на Пьеретте, чтобы погубить меня в глазах этой старой ведьмы».

— А что же вы собираетесь с ней делать? — спросил он вслух.— Разве вы не видите, что даже девушка такой несравненной красоты, как Батильда де Шаржбеф, знатная, со связями, остается в девицах: нет желающих

на ней жениться. У Пьеретты ни гроша за душой, она никогда не выйдет замуж. Неужели вы думаете, что красота и молодость имеют хоть какое-нибудь значение, скажем, для меня, кавалерийского капитана, служившего в императорской гвардии со времени ее сформирования императором, для меня, побывавшего во всех столицах и знававшего красивейших женщин этих столиц? Красота и молодость — что может быть заурядней и пошлей! Я и слышать о них не хочу! В сорок восемь лет,— сказал он, прибавляя себе года три,— когда переживешь разгром, и беспорядочное бегство из Москвы, и ужасную кампанию во Франции, силы уже не те, я старый гриб. А женщина вроде вас, например, окружит меня заботами, будет меня лелеять; и состояние жены вместе с моей жалкой пенсией в три тысячи франков позволит мне на старости лет жить в довольстве. Да такая жена во сто раз для меня предпочтительней какой-нибудь жеманницы, которая наделает мне хлопот, ибо ей будет только тридцать лет, когда мне стукнет шестьдесят, и ее одолеют страсти, когда меня одолеет ревматизм. В мои лета действуют осмотрительно. Да к тому же, говоря между нами, если бы я и женился, то ни за что бы не захотел иметь детей.

Лицо Сильвии во время этих разглагольствований было для полковника словно раскрытая книга, а ее восклицание окончательно убедило его в коварстве Винэ.

— Вы, стало быть, не любите Пьеретту!

— Да вы с ума сошли, дорогая Сильвия! — возмегодовал полковник.— Разве беззубый станет грызть орехи? Я, слава богу, еще в здравом уме и твердой памяти.

Сильвия не желала говорить от собственного имени и, полагая, что действует необычайно тонко, сослалась на брата:

— Брат хотел бы женить вас.

— Ну, брату вашему и в голову не придет такая мысль. Чтобы выведать его тайну, я несколько дней назад сказал ему, что люблю Батильду,— он побелел как полотно.

— Он любит Батильду,— сказала Сильвия.

— До безумия! А Батильда, конечно, гонится только за его деньгами! («Получай, Винэ!» — подумал полковник.) Как же он мог говорить о Пьеретте? Нет, Сильвия,— сказал он, многозначительно пожимая ей руку,—

раз уж вы коснулись этого вопроса... (он придвинулся к Сильвии) так вот... (он поцеловал ей руку — ведь недаром он был кавалерийским полковником, неоднократно доказавшим свою храбрость) знайте же, что другой жены, кроме вас, мне не надо. И хотя этот брак может показаться браком по расчету, но, клянусь, я чувствую к вам сердечное влечение.

— Это не брат, а я хотела вас женить на Пьеретте. Ну, а если бы я отдала ей свое состояние... А, полковник?

— Но я вовсе не желаю быть несчастливым в семейной жизни и видеть через десять лет, как какой-нибудь вертопрах вроде Жюльяра увивается вокруг моей жены и посвящает ей стишки в газете. Нет уж, у меня достаточно мужского самолюбия! Никогда я не соглашусь взять жену не по возрасту.

— Хорошо, полковник, мы поговорим об этом серьезно,— сказала Сильвия, устремив на него взгляд влюбленной людоедки, который ей самой казался преисполненным нежности. Ее сухие лиловые губы, изобразив подобие улыбки, обнажили ряд желтых зубов.

— А вот и я,— сказал Рогрон и увел полковника, который рыцарски любезно раскланялся со старою девой.

Гуро решил поскорее жениться на Сильвии и стать хозяином в доме, дав себе слово, что в медовый месяц пустит в ход все свое влияние на жену, дабы избавиться от Батильды и от Селесты Абер. На прогулке он сказал Рогрону, что подшутил над ним и отнюдь не притязает на сердце Батильды, да к тому же недостаточно богат, чтобы жениться без приданого; потом посвятил его в свои планы: он, мол, давно уже остановил свой выбор на сестре Рогрона, оценив все ее достоинства и считая для себя честью стать его шурином.

— Полковник! Барон! Да если дело лишь в моем согласии, то брак может состояться, как только истечет положенный срок! — воскликнул Рогрон, радуясь, что избавился от столь опасного соперника.

Сильвия провела все утро дома, осматривая комнаты и прикидывая, хватит ли там места для семейной пары. Она решила надстроить для брата третий этаж, а второй обставить подобающим образом для себя и мужа;

но все же она дала себе слово (причуда старой девы), прежде чем принять окончательное решение, подвергнуть полковника испытанию, дабы удостовериться в его чувствах и нравственности. Она все еще сомневалась и хотела убедиться, что между Пьереттой и полковником ничего не было.

Пьеретта спустилась вниз, чтобы накрыть стол к обеду. Старой деве пришлось самой готовить обед, и, испачкав платье, она воскликнула: «Проклятая девчонка!» Ведь если бы обед готовила Пьеретта, Сильвия не посадила бы жирного пятна на свое шелковое платье.

— Ага, явилась, красотка, неженка! Вы точно собака кузнеца, которая спит под грохот наковальни, но чуть звякнет кастрюля — мигом просыпается. И вы еще строите из себя больную, лгунья!

«Вы не сказали мне правды о том, что произошло нынче утром на площади,— значит, вам ни в чем нельзя верить!» — эта мысль сквозила в каждом слове Сильвии и, точно молотом, беспрестанно била по мозгу и сердцу Пьеретты.

К великому удивлению Пьеретты, Сильвия после обеда приказала ей одеться к вечеру. Самому богатому воображению не угнаться за изобретательностью старой девы, когда в ум ее закралось подозрение. Старая дева тогда заткнет за пояс всех политиков, адвокатов, нотариусов, ростовщиков и скряг. Сильвия решила сперва сама все расследовать, а затем обратиться за советом к Винэ. Она хотела, чтоб Пьеретта вечером вышла к гостям: тогда по ее поведению станет ясно, сказал ли полковник правду. Дамы де Шаржбеф явились первыми. По совету своего кузена Винэ, Батильда удвоила заботу об элегантности туалета. На ней было прелестное платье из синего бумажного бархата с неизбежной светлой косынкой, в ушах — виноградные гроздья из гранатов в золотой оправе, прическа с локонами, коварная бархотка с крестиком на шее, черные атласные туфельки, серые шелковые чулки и перчатки шведской кожи; при этом — осанка королевы и кокетливость молодой девушки, способные поймать на удочку любого Рогрона. Спокойная и полная достоинства мать ее держалась, как и дочь, с тем кастовым аристократическим высокомерием, которое помогало этим женщинам спасать положение. Батильда

обладала незаурядным умом, что подметил один лишь Винэ, после того как дамы Шаржбеф прожили два месяца у него в доме. Когда стряпчий постиг всю глубину ума этой девушки, оскорбленной тем, что красота ее и молодость пропадают даром, полной презрения к людям этой эпохи, единственным кумиром которой являются деньги, и научившейся поэтому многое понимать,—пораженный Винэ воскликнул: «Женись я на вас, Батильда, я мог бы уже и сейчас рассчитывать на пост министра юстиции; я именовался бы Винэ де Шаржбеф и был бы депутатом правой!»

В своем желании выйти замуж Батильда не руководствовалась никакими «мещанскими» идеями; она хотела выйти замуж отнюдь не для того, чтобы стать матерью, иметь мужа,— она хотела выйти замуж, чтобы быть свободной, обратить мужа в подставное лицо, называться «мадам», но действовать по-мужски. Рогрон для нее был просто фирмой; она рассчитывала сделать этого глупца депутатом, который бы только голосовал, а душою всего была бы она сама; она хотела отомстить своей родне, не пожелавшей помочь ей, девушке без средств. Винэ немало способствовал укреплению и развитию в ней этих намерéний, восхищаясь ими и поддерживая их.

— Дорогая кузина,— говорил он, объясняя ей, как велико влияние женщин, и рисуя возможную для них сферу деятельности,— ужели вы полагаете, что такой в высшей степени посредственный человек, как Тифен, попал бы в первую инстанцию Парижского суда собственными усилиями? Благодаря госпоже Тифен он стал депутатом, и в Париж он переведен тоже благодаря ей. Мать ее — госпожа Роген — тонкая штучка и вертит как вздумается известным банкиром дю Тийе, одним из подручных Нусингена; оба они связаны с Келлерами, а три эти банкирских дома оказывают услуги самому правительству или наиболее близким к нему людям; у этих хищников-банкиров связи со всеми ведомствами, им знаком весь Париж. Почему бы Тифену и не стать где-нибудь председателем окружного суда? Выходите замуж за Рогрона, мы сделаем его депутатом, как только моя кандидатура пройдет по другому избирательному округу — Сены и Марны. Вы для него получите тогда место главноуправляющего окладными сборами — одно из тех мест,

где Рогрону потребуется только подписывать бумаги. Если оппозиция возьмет верх — мы будем в оппозиции, а если удержатся Бурбоны — о, тогда мы осторожно соскользнем к центру! Рогрон к тому же вечно жить не будет, вы можете потом найти себе мужа с титулом — словом, добейтесь только хорошего положения, и Шаржбефы нам еще послужат. Жизнь, полная лишений, показала вам, вероятно, так же как и мне, чего стоят люди: ими нужно пользоваться, как почтовыми лошадьми. Мужчина или женщина довозит нас от станции до станции.

Винэ превратил Батильду в Екатерину Медичи в миниатюре. Оставляя дома жену, которая счастлива была просиживать вечера со своими двумя детьми, он неизменно сопровождал г-жу де Шаржбеф с дочерью к Рогронам. Он являлся туда во всем своем блеске — настоящим трибуном Шампани. К тому времени он уже носил красивые очки в золотой оправе, шелковый жилет, белый галстук, черные панталоны, сапоги из тонкой кожи, черный фрак от парижского портного, золотые часы с цепочкой. На смену прежнему бледному, худому, угрюмому и мрачному Винэ явился новый — с осанкой политического деятеля, с твердой поступью уверенного в себе человека и спокойствием служителя правосудия, хорошо знакомого со всеми темными закоулками закона. Небольшая тщательно причесанная голова, хитрое лицо с гладко выбритым подбородком, располагающие к себе, хотя и сдержанные, манеры — все это придавало ему какую-то робеспьеровскую привлекательность. Из него, несомненно, должен был выйти прекрасный генеральный прокурор с опасным, изворотливым, губительным красноречием или же остроумный оратор вроде Бенжамена Констана. Ненависть и злоба, некогда его одушевлявшие, сменились теперь предательской мягкостью. Яд обратился в микстуру.

— Здравствуйте, моя дорогая, как поживаете? — приветствовала Сильвию г-жа де Шаржбеф.

Батильда направилась прямо к камину, сняла шляпу, оглядела себя в зеркале и поставила на каминную решетку хорошенькую ножку — чтобы показать ее Рогрону.

— Что с вами, сударь? — глядя на него, спросила

она.—Вы даже не поздоровались со мной? Ну стоит ли после этого надевать для вас бархатные платья...

Она подозвала Пьеретту и отдала ей шляпу, чтобы та отнесла ее на кресло, притом сделала это так, точно бретоночка была служанкой. Говорят, мужчины бывают весьма свирепы, и тигры также; но ни тиграм, ни гадюкам, ни дипломатам, ни служителям закона, ни палачам, ни королям, при всей их жестокости, недоступна та ласковая бесчеловечность, ядовитая нежность и варварская пренебрежительность, с которыми девица относится к другой девице, если почитает себя красивее ее, выше по рождению и богатству и если дело коснется замужества, первенства — словом, тысячи вещей, вызывающих между женщинами соперничество. Два слова: «Благодарю, мадемуазель»,— сказанные Батильдой Пьеретте, были целой поэмой в двенадцати песнях.

Ее звали Батильдой, а ту, другую, Пьереттой. Она была де Шаржбеф, а та— какая-то Лоррен! Пьеретта была болезненной и маленькой, Батильда — статной и полной жизни. Пьеретту кормили из милости, Батильда с матерью ни от кого не зависели! На Пьеретте было легкое шерстяное платье с шемизеткой, на Батильде переливались волнистые складки синего бархата. У Батильды были самые пышные плечи во всем департаменте и руки, как у королевы; у Пьеретты — торчащие лопатки и худенькие руки! Пьеретта была золушкой, а Батильда — феей! Батильде предстояло замужество, Пьеретте суждено было остаться вековушей. Батильду обожали, Пьеретту никто не любил. Батильда была прелестно причесана, она обладала вкусом; волосы Пьеретты упрятаны были под маленький чепчик, и в модах она ничего не смыслила. Вывод: Батильда— совершенство, а Пьеретта — ничто. Гордая бретонка прекрасно понимала эту безжалостную поэму.

— Здравствуйте, милочка! — величественно изрекла г-жа де Шаржбеф, по своему обыкновению произнося слова в нос.

Винэ довершил эти обиды, оглядев Пьеретту с ног до головы и воскликнув на три разных тона: «Хо-хо-хо! До чего же мы нынче хороши, Пьеретта!»

— Вам бы следовало сказать это о вашей кузине, а не обо мне,— возразила бедная девочка.

— Ну, моя кузина всегда хороша,— отвечал стряпчий.— Не так ли, папаша Рогрон? — прибавил он, повернувшись к хозяину дома и размашисто хлопая его по плечу.

— Да,— отвечал Рогрон.

— Зачем вы заставляете его говорить не то, что он думает? Я никогда не была в его вкусе,— сказала Батильда, став перед Рогроном.— Не правда ли? Поглядите-ка на меня!

Рогрон оглядел ее с ног до головы и зажмурился, точно кот, у которого чешут за ухом.

— Вы слишком хороши собой,— сказал он,— на вас глядеть опасно.

— Почему?

Рогрон молча уставился на горящие головешки. В это время вошла мадемуазель Абер в сопровождении полковника. Селеста Абер стала общим врагом и пользовалась лишь расположением Сильвии; но, подкапываясь под Селесту, каждый старался быть с ней как можно милей, предупредительней и любезней, так что она не знала, верить ли проявляемому к ней вниманию или же предостережениям брата. Викарий держался вдали от поля битвы, но обо всем догадывался. Поняв, что надежды сестры рухнули, он стал одним из злейших противников Рогронов. Чтоб сразу же дать ясное представление о мадемуазель Абер, достаточно сказать, что, не будь она даже начальницей и архиначальницей своего пансиона, у нее все равно был бы вид учительницы. Учительницы отличаются какой-то своеобразной манерой носить шляпы. Подобно тому, как пожилые англичанки захватили монополию на ношение тюрбанов, учительницы взяли патент на шляпы, где больше проволоки, нежели цветов, а цветы сверхискусственны; такая шляпа долго сохраняется в шкафу и бывает всегда новой, но с первого же дня имеет несвежий вид. Для учительниц стало вопросом чести в точности подражать манекенам художников: садясь на стул, они сгибаются как на шарнирах. Когда с ними заговариваешь, они поворачиваются к вам всем туловищем; а если шуршит на них платье, так и чудится, что это испортилась какая-то пружина. У мадемуазель Абер, идеальной представительницы этого типа, был строгий взгляд и поджатые губы, а под морщи-

нистым подбородком подвязаны были выцветшие и измятые ленты шляпы, разлетавшиеся в стороны при каждом движении. Лицо ее украшали две родинки — нужно признаться, слишком крупные и темные, но зато поросшие волосами, торчащими во все стороны, как тычинки у лютика. Она нюхала табак и проделывала это безо всякого изящества. Все, как за привычную работу, уселись за бостон. Сильвия посадила мадемуазель Абер напротив себя, а полковника сбоку, против г-жи де Шаржбеф. Батильда села подле матери и Рогрона. Пьеретту Сильвия поместила между собой и полковником. Рогрон расставил также и второй столик на случай, если явятся Неро и Курнан с женою. Подобно супругам Курнан, Винэ и Батильда тоже умели играть в вист. С тех пор как «дамы де Шаржбеф» — так называли их в Провене — стали бывать у Рогронов, на камине, между канделябрами и часами, зажигались две лампы, а ломберные столы освещались свечами по сорока су за фунт, оплачиваемыми, впрочем, из карточных выигрышей.

— Ну, Пьеретта, возьми же свое рукоделие, девочка,— сказала Сильвия слащавым тоном, заметив, что та смотрит в карты полковника.

На людях она всегда прикидывалась очень ласковой к Пьеретте. Это подлое лицемерие возмущало честную бретоночку и внушало ей презрение к кузине. Пьеретта принесла свое рукоделие, но, вышивая, продолжала глядеть в карты Гуро. Полковник словно и не замечал сидящей подле него девочки. Сильвия наблюдала за ним, и безразличие это начинало казаться ей крайне подозрительным. Был такой момент в игре, когда старая дева объявила большой мизер в червях; в банке было много фишек и сверх того еще двадцать семь су. Явились Курнаны и Неро. Старик Дефондриль — вечный следователь, за которым министерство юстиции никак не хотело признать достаточно юридических способностей для назначения его на должность судьи, бывший сторонник Тифенов, вот уже два месяца как тяготеющий к партии Винэ,— стоял у камина, спиной к огню, раздвинув фалды своего фрака. Он обозревал эту роскошную гостиную, где блистала мадемуазель де Шаржбеф, ибо казалось, что все это пурпурное убранство предназначено специально для того, чтобы оттенять прелести велико-

лепной Батильды. Воцарилось молчание. Пьеретта смотрела, как разыгрывали мизер, а внимание Сильвии было поглощено важным ходом.

— Ходите так,— сказала Пьеретта полковнику, указывая на черви.

Полковник пошел с червей; черви разыгрывались между ним и Сильвией; он вынудил Сильвию сбросить туза, хотя у нее было еще пять маленьких карт той же масти.

— Этот ход не в счет. Пьеретта видела мои карты и посоветовала полковнику ходить с червей.

— Но, мадемуазель,— сказала Селеста,— полковник не мог не взять того, что вы сами ему отдавали.

Эта фраза вызвала улыбку у г-на Дефондриля, человека проницательного, которого в конце концов стала забавлять борьба интересов в Провене, где он играл роль Ригодена из комедии Пикара «Дом разыгрывается в лотерею».

— Зачем же полковнику упускать то, что само идет в руки? — поддакнул Курнан, не зная, о чем идет речь.

Сильвия бросила на мадемуазель Абер любезно-свирепый взгляд, как смотрят иногда друг на друга старые девы.

— Вы видели мои карты, Пьеретта,— сказала Сильвия, глядя в упор на двоюродную сестру.

— Нет, кузина.

— Я за всеми вами наблюдал и могу удостоверить,— сказал судья-археолог,— что малютка ни на кого, кроме полковника, не глядела.

— Ну, что вы! — воскликнул Гуро, придя в ужас.— Маленькие девочки ловко умеют кинуть взгляд исподтишка.

— А! — вырвалось у Сильвии.

— Конечно,— подхватил Гуро,— она могла нарочно заглянуть к вам в карты, чтобы подстроить вам каверзу. Правда, милочка?

— Нет, я не способна на это,— возразила честная бретонка.— Я постаралась бы тогда помочь кузине.

— Вы сами прекрасно знаете, что вы лгунья, но вы еще и глупы вдобавок,— сказала Сильвия.— Разве можно верить хоть единому вашему слову, после того что было нынче утром? Вы просто...

Но Пьеретта не захотела выслушивать того, что собиралась сказать ей двоюродная сестра. Предупреждая готовый излиться на нее поток брани, она поднялась и вышла, направившись в темноте в свою комнату.

Побледнев от бешенства, Сильвия прошипела сквозь стиснутые зубы: «Она еще за это поплатится!»

— Вы будете платить за мизер? — спросила г-жа де Шаржбеф.

В этот момент бедняжка Пьеретта со всего размаха ударилась головой о дверь, которую судья оставил открытой.

— Поделом, так ей и надо! — воскликнула Сильвия.

— Что с ней случилось? — спросил Дефондриль.

— То, что она вполне заслужила,— ответила Сильвия.

— Она, верно, сильно ушиблась,— сказала мадемуазель Абер.

Сильвия встала, чтобы пойти посмотреть, что случилось с Пьереттой, пытаясь под этим предлогом уклониться от уплаты за мизер, но г-жа де Шаржбеф остановила ее.

— Сперва рассчитайтесь с нами,— сказала она ей, смеясь,— а то ведь, когда вы вернетесь, вы уже обо всем позабудете.

Такая недоверчивость, вызванная постоянной недобросовестностью бывшей галантерейщицы в карточных спорах и при уплате мелких карточных долгов, встретила всеобщее одобрение. Сильвия снова села, позабыв и думать о Пьеретте; и безразличие это никого не удивило.

Весь вечер Сильвия была крайне озабочена. В половине десятого, когда кончили играть в бостон, она опустилась в кресло у камина и встала только, чтобы проститься с гостями. Полковник измучил ее, она не знала, что о нем и думать.

«Мужчины такие лицемеры!» — вздохнула она, засыпая.

Налетев с размаху на ребро двери, Пьеретта больно ушибла голову над ухом, в том самом месте, где молодые девушки отделяют пробором прядь волос, которую накручивают на папильотки. Наутро там появился огромный кровоподтек.

— Это вас бог наказал,— заметила ей за завтраком кузина,— вы ослушались меня, не проявили ко мне должного уважения,— ведь вы ушли, не дав мне досказать до конца. Вот и получили по заслугам.

— Нужно все же положить компресс из соленой воды,— сказал Рогрон.

— И так заживет, кузен! — воскликнула Пьеретта.

Бедная девочка рада была видеть доказательство заботы в этих словах своего опекуна.

Неделя как началась, так и закончилась среди непрестанной травли. Сильвия становилась изобретательной и в своем изощренном мучительстве доходила до самых диких выдумок. Могикане, ирокезы, иллинойцы могли бы у нее поучиться. Пьеретта не посмела жаловаться на ломоту и какие-то странные боли в голове. Неудовольствие кузины вызвано было нежеланием Пьеретты сознаться в том, что касалось Бриго, но девочка с бретонским упорством замкнулась в молчании. Каждому ясно теперь, каким взглядом Пьеретта посмотрела в церкви на Бриго: ведь она могла бы потерять своего друга, если бы присутствие его было обнаружено, а она инстинктивно хотела, чтобы он был где-то поблизости, радовалась тому, что он в Провене. Как она счастлива была увидеть Бриго! Она глядела на него, как изгнанник глядит издалека на свою отчизну, как мученик глядит на небеса, раскрывающиеся среди истязаний перед его прозревшим взором. Этот взгляд Пьеретты так хорошо был понят юным бретонцем, что, строгая доски, орудуя циркулем, размеряя и пригоняя деревянные планки, он неустанно думал над тем, как бы завязать с ней переписку. В конце концов Бриго нашел крайне простой способ. Ночью, в условленный час, Пьеретта спустит бечевку, к концу которой он привяжет письмо. Среди ужасных страданий, вызываемых двумя ее болезнями — образующимся в голове нагноением и неправильностью в развитии ее организма,— Пьеретту поддерживала надежда вступить в переписку с Бриго. Их сердца волновало одно и то же желание; они понимали друг друга даже издалека. При каждой ране, нанесенной ее сердцу, при каждой резкой боли в голове Пьеретта твердила себе: «Бриго здесь!» — и находила силы безропотно переносить свои муки.

В первый же базарный день после их встречи в церкви Бриго высматривал на рынке свою маленькую подругу. Увидав ее, он побледнел и задрожал, точно осенний лист, готовый сорваться с ветки, но не растерялся и стал выбирать фрукты у той же торговки, у которой приторговывала провизию ужасная Сильвия. Бриго удалось передать Пьеретте записку, и он проделал это, балагуря с торговкой естественнейшим образом, словно был прожженным малым, которому не в диковинку подобные дела; хотя движения его и были спокойны, но горячая кровь шумела у него в ушах, устремляясь с такою силой из сердца, что, казалось, его вены и артерии готовы были лопнуть. Он действовал по виду с решимостью закоренелого преступника, но в глубине невинной души испытывал трепет, подобный чувству, знакомому многим матерям, когда решался вопрос жизни или смерти их ребенка. Смятение Бриго передалось Пьеретте; она сунула записку в карман своего передника. Щеки ее запылали вишнево-красными пятнами. Сами того не подозревая, эти дети питали друг к другу такое сильное чувство, что его достало бы на десять влюбленных. Этот миг остался в их душах источником живых волнений. Сильвия, не умевшая различать бретонский говор, не могла заподозрить в Бриго недавнего трубадура, и Пьеретта вернулась домой со своим сокровищем.

Письма этих несчастных детей послужили впоследствии документом в ужасном судебном процессе; не будь роковых обстоятельств, они так и остались бы неизвестными. Вот что Пьеретта прочла вечером у себя в комнате:

«Моя дорогая Пьеретта! В полночь, когда все спят, я буду бодрствовать для тебя и приходить каждую ночь под окно кухни. Спуская из своего окна бечевку такой длины, чтобы я мог до нее дотянуться,— от нее никакого шума не будет,— привязывай к ней письмо, в котором будешь сообщать мне все, что захочешь. Я буду отвечать тебе тем же способом. Я узнал, что твои родственники научили тебя читать и писать, но все же они недостойные люди. Как много добра они могли бы тебе сделать, а вместо того сколько причиняют зла! Тебя, Пьеретта, дочь полковника, погибшего за Францию, они

превратили в свою служанку! Вот, значит, на что ушли твой прекрасный румянец и цветущее здоровье! Что же сталось с моей Пьереттой? Что они с ней сделали? Я вижу, что тебе худо. Пьеретта, вернемся в Бретань! Я уже достаточно зарабатываю, и у тебя будет все необходимое: я зарабатываю от четырех до пяти франков в день, самому мне больше тридцати су не надобно, а три франка я отдавал бы тебе. Ах, Пьеретта, как я молил за тебя бога после того, как увидал тебя! Я просил его послать мне все твои горести, а тебя одарить одними лишь радостями. На что ты им надобна, зачем они тебя держат? Ведь твоя бабушка тебе ближе. Они злые люди, эти Рогроны, они отняли у тебя всю твою веселость. В Провене тебя ноги еле носят, а как ты бегала когда-то в Бретани! Вернемся в Бретань, Пьеретта! Словом, я здесь, чтобы служить тебе, исполнять твои приказания, скажи мне только, чего ты хочешь. Если тебе нужны деньги — у меня есть сто восемьдесят франков, я переправлю их тебе при помощи веревочки. Жаль только, что не могу отдать их тебе сам, почтительно целуя твои милые ручки. Ах, Пьеретта, давно уже небесная лазурь покрылась для меня тучами! С тех пор как я усадил тебя в этот проклятый дилижанс, я не знал ни часу радости; а теперь вот, когда мы свиделись, ты похожа на тень, и твоя ведьма-родственница отравила нашу встречу. Но у нас будет утешение, будем с тобой вместе молиться богу по воскресным дням,— так, может быть, он нас лучше услышит. Я не прощаюсь, моя дорогая Пьеретта,— до ночи!»

Это письмо так взволновало Пьеретту, что она целый час перечитывала и рассматривала его, потом вспомнила, не без горечи, что у нее нет ничего, чтобы написать ответ. Она решилась на трудное путешествие из своей мансарды в столовую, где могла найти чернила, перо и бумагу, и совершила его, не разбудив свою ужасную кузину. За несколько минут до полуночи она написала следующее письмо, тоже приводившееся на процессе:

«Друг мой! Да, да, мой друг, нет никого, кроме тебя, Жак, и бабушки, кто бы меня любил. Да простит мне

господь, но я тоже только вас двоих и люблю — люблю совершенно одинаково, одного, как и другого. Я была слишком мала и не помню свою маменьку, но к тебе, Жак, и к бабушке, и к дедушке тоже — царство ему небесное, он так страдал от своего разорения, которое было разорением и для меня,— словом, к вам обоим, оставшимся у меня, моя любовь так же велика, как велики мои мучения. Чтобы вы знали, как я люблю вас, вы должны, стало быть, знать, как я несчастна, а этого-то я и не хочу: вы бы слишком огорчились. Со мной обращаются хуже, чем с собакой! Говорят со мной, словно с последней негодяйкой! А я испытываю свою совесть перед богом — и не могу понять, в чем я перед ними виновата. До того, как ты пропел мне песню о новобрачных, я видела в своих страданьях божью милость; я просила его взять меня из этого мира, и, чувствуя, что очень больна, я думала: бог, значит, меня услышал! Но теперь, Бриго, раз ты здесь, я могу вернуться с тобою в Бретань к бабушке. Бабушка любит меня, хоть они и сказали мне, будто бы она украла у меня восемь тысяч франков. Разве у меня могли быть восемь тысяч франков, Бриго? Если они мои, может быть, ты их получишь? Но все это ложь, конечно; будь у нас восемь тысяч франков, бабушка не стала бы жить в Сен-Жаке. Я не хотела омрачать последние дни этой доброй, святой женщины, не хотела рассказывать ей о своих мученьях: она умерла бы с горя. Ах, если бы она только знала, что внучку ее обратили в судомойку! Ведь когда я хотела помочь ей в тяжелой работе, она говорила всегда: «Оставь, милочка, оставь, не надо, ты только испортишь свои маленькие лапки!» Зато теперь хороши у меня руки! Мне часто совсем не под силу тащить корзину с провизией, она чуть не отрывает мне руку, когда я возвращаюсь с рынка. И все же я не думаю, чтобы двоюродные брат и сестра были такие злые, они просто считают нужным всегда меня бранить; а я не имею права, кажется, от них уйти. Двоюродный брат — мой опекун. Мне как-то раз стало совсем невмоготу, я хотела убежать и сказала им об этом, а кузина Сильвия ответила, что за мной погонятся жандармы и что закон на стороне моего опекуна; тогда я хорошо поняла, что родственники не заменят нам отца с матерью,

как святые не заменят бога. На что мне твои деньги, милый Жак? Прибереги их лучше для нашего путешествия. Если б ты знал, сколько я думала о тебе, о Пан-Гоэле, о большом пруде! Прошли наши золотые денечки! Мне, кажется, день ото дня становится все хуже и хуже. Я очень больна, Жак! Голова у меня так болит, что кричать хочется; ноют кости, спина, и поясницу так невыносимо ломит, что хоть помирай; а аппетит только ко всяким гадостям: к корешкам, к листьям; и еще нравится мне запах свежих газет. Я бы заплакала иной раз, будь я одна, но я ведь ничего не смею делать по своему желанию, даже поплакать. Я тайком лишь могу вознести свои слезы к тому, кто посылает нам милости, которые нам кажутся горестями. Разве не он внушил тебе мысль спеть у меня под окном песню о новобрачных! Ах, Жак, кузина услышала тебя и сказала мне, что у меня есть возлюбленный. Если ты и вправду хочешь быть моим возлюбленным — люби меня крепко; я же обещаю любить тебя по-прежнему и быть твоей преданной слугой.

Пьеретта Лоррен.

Ведь ты никогда меня не разлюбишь, правда?»

Взяв на кухне кусок хлеба и проделав в нем дырочку, чтобы вложить письмо, бретоночка привязала хлеб в виде груза к концу нитки. В полночь, с величайшими предосторожностями открыв окно, она спустила свое послание, которое, даже задев за стену или ставень, не должно было произвести ни малейшего шума. Она почувствовала, как Бриго потянул нитку, оторвал конец ее и осторожно, крадучись, удалился. Когда он дошел до середины площади, ей удалось лишь смутно различить его при свете звезд; он же видел ее в ярком ореоле — в освещенном свечою окне. Так смотрели они друг на друга чуть ли не час; Пьеретта подавала знаки Бриго, чтобы он ушел. Он уходил, а она продолжала стоять у окна; и он вновь возвращался на прежнее место, а Пьеретта опять приказывала ему уйти. Это повторялось до тех пор, покамест девочка не закрыла наконец окно, легла и задула свечу. Улегшись в постель, она, несмотря на боли, уснула счастливой: под подушкой у нее ле-

жало письмо Бриго. Она спала и видела золотые сны, полные лазури и чудесных видений, запечатленных Рафаэлем,— такие сны посылают гонимым ангелы.

Нежная физическая организация Пьеретты так зависела от ее душевного состояния, что на другой день она вскочила веселая и легкая, как жаворонок, жизнерадостная и сияющая. Такая перемена не ускользнула от взора ее кузины, однако на этот раз Сильвия не стала ее бранить, но пристально, как сорока, принялась наблюдать за нею. Почему она так счастлива? — мысль эта была продиктована не злобой, а ревностью. Если бы полковник не занимал всех помыслов старой девы, она сказала бы Пьеретте, как обычно: «Пьеретта, вы несносны, вы не обращаете ни малейшего внимания на то, что вам говорят!» Но старая дева решила проследить за Пьереттой, как умеют следить одни лишь старые девы. Этот день был сумрачен и тих, словно перед грозой.

— Ну, вы, стало быть, уже больше не больны, мадемуазель? — спросила за обедом Сильвия.— Я ведь говорила тебе, что она все это вытворяет, только чтобы досадить нам,— обратилась она к брату, не дожидаясь ответа Пьеретты.

— Наоборот, кузина, меня нынче лихорадит...

— Лихорадит... с чего бы это? Вы веселы, как пташка. Уж не повидались ли опять кое с кем?

Пьеретта вздрогнула и опустила глаза в тарелку.

— Лицемерка! — воскликнула Сильвия.— И это в четырнадцать лет! Какие наклонности! Негодница вы этакая!

— Я не понимаю, что вы хотите сказать,— отвечала Пьеретта, подняв на кузину лучистый взор своих прекрасных карих глаз.

— Вы останетесь сегодня в столовой и будете работать при свече,— сказала Сильвия.— Нечего вам делать в гостиной, я не желаю, чтобы вы заглядывали ко мне в карты, а потом помогали советами вашим любимцам.

Пьеретта выслушала это с полным равнодушием.

— Притворщица! — крикнула Сильвия, выходя из комнаты.

Рогрон, которого слова сестры повергли в недоумение, сказал Пьеретте:

— Что это вы все не ладите? Постарайся угодить ку-

зине, Пьеретта; она добрая, снисходительная, и если ты ее выводишь из себя, стало быть, виновата, конечно, ты. Из-за чего вы все ссоритесь? Я люблю жить спокойно. Погляди на мадемуазель Батильду — вот с кого ты должна брать пример.

Пьеретта могла все снести: в полночь придет Бриго и принесет ей ответ — это дало ей силы прожить день. Но силы ее приходили к концу. Она не ложилась спать и стоя прислушивалась к бою стенных часов, боясь шевельнуться и нашуметь. Пробила наконец полночь, и Пьеретта осторожно открыла окно. На этот раз она воспользовалась бечевкой, связанной из нескольких кусков. Она расслышала осторожные шаги Бриго и через некоторое время, втянув бечевку обратно, прочла следующее письмо, преисполнившее ее радостью:

«Дорогая Пьеретта, если ты так больна — не утомляйся, поджидая меня. Я крикну тебе, как кричали когда-то шуаны. Хорошо, что отец научил меня подражать их крику. Я прокричу три раза, и ты будешь знать, что я тут и что нужно спустить бечевку; но теперь я приду только через несколько дней. Надеюсь, что принесу тебе хорошие вести. О Пьеретта! Тебе умереть! — что за нелепость! При одной мысли об этом сердце мое так затрепетало, что мне казалось, будто я сам умираю. Нет, Пьеретта, ты не умрешь, ты будешь жить счастливо и очень скоро избавишься от своих мучителей. Если не удастся та попытка спасти тебя, которую я сейчас предпринимаю, я обращусь к правосудию и перед лицом неба и земли расскажу, как обходятся с тобой твои недостойные родственники. Я убежден, что через несколько дней страданиям твоим придет конец; потерпи же, Пьеретта! Бриго охраняет тебя, как в те времена, когда мы с тобой катались по замерзшему пруду — помнишь, как я вытащил тебя из большой проруби, в которой мы чуть было оба не погибли? Прощай, моя дорогая Пьеретта. Если на то будет воля божья, мы через несколько дней будем счастливы. Ах, я не смею сказать тебе о единственной причине, которая может разлучить нас! Но бог милостив, и через несколько дней я увижу мою дорогую Пьеретту свободной, беззаботной, и никто не воспретит мне смотреть на тебя,—я так жажду тебя видеть, Пьерет-

та! Ты удостоила меня своей любовью и сказала мне об этом. Да, Пьеретта, я буду твоим возлюбленным, но не прежде, чем заработаю достаточно денег для такой жизни, какая тебе подобает, а до тех пор я хочу оставаться лишь преданным тебе слугой, жизнью которого ты можешь распоряжаться. Прощай.

Жак Бриго».

Вот о чем сын майора Бриго не сообщил Пьеретте: он отправил г-же Лоррен в Нант следующее письмо:

«Госпожа Лоррен, внучка ваша умрет, замученная дурным обращением, если вы не приедете и не потребуете ее обратно; я еле узнал ее, а чтобы вы сами могли судить о положении вещей, прилагаю письмо, полученное мною от Пьеретты. Про вас говорят здесь, что вы завладели состоянием вашей внучки, и вы должны снять с себя это обвинение. Словом, приезжайте, если возможно, немедленно, и мы еще будем счастливы, а если вы промедлите — вы не застанете Пьеретту в живых. Остаюсь с совершенным почтением вашим покорнейшим слугой

Жак Бриго.

Провен. Большая улица, у господина Фраппье, столяра».

Бриго боялся, не умерла ли бабушка Пьеретты.

Хотя для бретоночки письмо того, кого она по своей наивности называла возлюбленным, было сплошной загадкой, девочка с детским простодушием поверила всему. Она ощутила то, что испытывает путник в пустыне, завидев вдалеке пальмы, окружающие колодец. Через несколько дней ее горестям должен был наступить конец,— так сказал ей Бриго; обещание друга детства успокоило ее, и все же, когда она прятала это письмо вместе с предыдущим, у нее мелькнула ужасная мысль.

«Бедный Бриго,— думала она,— он и не догадывается, в какую я попалась ловушку».

Сильвия слышала шаги Пьеретты, услыхала также Бриго под ее окном; она вскочила с постели и сквозь щелку ставня осмотрела площадь; при свете луны она

различила мужскую фигуру, удалявшуюся в ту сторону, где жил полковник, перед домом которого Бриго и остановился. Бесшумно открыв свою дверь, старая дева поднялась по лестнице — и была потрясена, увидев у Пьеретты свет; она заглянула в замочную скважину, но ничего не могла разглядеть.

— Пьеретта,— окликнула она девочку,— вы больны?

— Нет, кузина,— ответила застигнутая врасплох Пьеретта.

— Почему же у вас в полночь горит свет? Откройте. я хочу знать, что вы делаете.

Пьеретта бросилась босиком к двери, отворила ее, и старая дева заметила свернутую бечевку, которую девочка не успела спрятать. Сильвия кинулась к бечевке.

— Зачем это вам?

— Просто так, кузина.

— Просто так? — повторила Сильвия.— Ладно. Лжете, как всегда! Не бывать вам в раю! Ложитесь, вы простудитесь.

Она не стала больше ни о чем расспрашивать и ушла, оставив Пьеретту в ужасе от такого милосердия. Вместо того чтобы разразиться бранью, Сильвия решила вдруг подстеречь Пьеретту и полковника, перехватить письма и уличить обманывавших ее влюбленных. Почуяв опасность, Пьеретта с помощью кусочка коленкора подшила оба письма к подкладке своего корсета.

На этом окончилась история любви Пьеретты и Бриго. Пьеретта была счастлива, что Бриго решил не приходить в ближайшие дни, и надеялась, что подозрения ее кузины, не получая подтверждения, рассеются. И действительно, выстояв на ногах три ночи и выслеживая в течение трех вечеров ни в чем не повинного полковника, Сильвия не обнаружила ни у Пьеретты, ни в доме, ни вне его ничего такого, что свидетельствовало бы об их близости. Она послала Пьеретту на исповедь и, воспользовавшись ее отсутствием, все перерыла у девочки с ловкостью и сноровкой шпиона или чиновника парижской таможни, но ничего не нашла. Ярость ее не знала границ. Попадись ей тогда Пьеретта под руку, она, несомненно, беспощадно бы ее избила. Для старой девы такого склада ревность была не просто чувством, она составляла смысл ее существования: Сильвия жила,

ощущала биение своего сердца, испытывала совершенно незнакомое ей до той поры волнение; любой шорох заставлял ее настораживаться, она прислушивалась к малейшему шуму и с мрачной подозрительностью наблюдала за Пьереттой.

— Эта негодная девчонка меня доконает! — говорила она.

Сильвия довела свою строгость до самой утонченной жестокости и этим совсем подорвала здоровье Пьеретты. Бедняжку постоянно лихорадило, а боли в голове стали невыносимы. Через неделю у нее уже было такое страдальческое лицо, что оно, несомненно, вызвало бы жалость у всякого, кроме завсегдатаев салона Рогронов, бессердечных в своих корыстных расчетах. Врач Неро — возможно по наущению Винэ — не являлся целую неделю. Подозреваемый Сильвией полковник, боясь расстроить задуманный им брак, остерегался проявить хотя бы малейшее участие к Пьеретте. Батильда происшедшую в девочке перемену объяснила переходным возрастом и сочла ее естественной и не опасной. Наконец в один из воскресных вечеров, когда Пьеретта находилась в гостиной, полной обычных посетителей, она от нестерпимых болей потеряла сознание; полковник, заметивший это первым, поднял ее и отнес на диван.

— Она притворяется,— сказала Сильвия, посмотрев на мадемуазель Абер и остальных партнеров.

— Уверяю вас, что кузина ваша тяжело больна,— возразил полковник.

— В ваших объятиях она чувствовала себя превосходно,— с ужасной улыбкой ответила ему Сильвия.

— Полковник прав,— вмешалась г-жа де Шаржбеф.— Вам следовало бы позвать врача. Сегодня утром при выходе из церкви все говорили, что у мадемуазель Лоррен очень больной вид.

— Я умираю,— прошептала Пьеретта.

Дефондриль подозвал Сильвию и посоветовал ей расстегнуть платье двоюродной сестры. Сильвия подбежала, твердя: «Все это просто фокусы!» Расстегнув на Пьеретте платье, она добралась уже до корсета; но тут Пьеретта, сделав сверхчеловеческое усилие, приподнялась и крикнула:

— Нет, нет! Я пойду к себе и лягу!

Однако Сильвия успела уже нащупать подшитые к корсету письма. Позволив Пьеретте уйти, она спросила, обращаясь к гостям:

— Ну, что вы скажете о ее болезни? Сплошное притворство! Вы не представляете себе, что это за испорченная девчонка!

Когда гости стали расходиться, Сильвия задержала Винэ,— она была вне себя от ярости и жаждала мести; с полковником, который подошел к ней проститься, она была попросту груба. Полковник бросил на Винэ угрожающий взгляд, просверливший стряпчего до самой утробы и словно наметивший подходящее место для пули. Сильвия попросила Винэ остаться. После того как все разошлись, старая дева заявила ему:

— Никогда и ни за что на свете я не выйду замуж за полковника!

— Раз уж вы сами пришли к этому решению, я могу говорить свободно. Полковник мне друг, но вам я больше друг, нежели ему. Рогрон оказал мне незабываемые услуги, а я умею быть таким же верным другом, как и непримиримым врагом. Дайте срок, я попаду в палату, и вы увидите, как далеко я пойду, а уж тогда я изыщу способ сделать Рогрона главноуправляющим окладными сборами. Но поклянитесь мне, что никогда никому не скажете ни слова о нашем разговоре!

Сильвия утвердительно кивнула головой.

— Во-первых, милейший полковник — отъявленный картежник.

— О-о! — воскликнула Сильвия.

— Ежели бы не денежные затруднения — результат его страсти,— он был бы уже маршалом Франции,— продолжал стряпчий.— Так что он способен, пожалуй, промотать все ваше состояние; но, правда, это человек большого ума. А затем не думайте, что супруги могут иметь или не иметь детей по собственному произволу: детей посылает господь бог, и чем это вам грозит, вы сами знаете. Нет, уж если вам хочется вступить в брак, повремените, пока я попаду в палату, и выходите тогда замуж за старика Дефондриля, он будет председателем суда. А в отместку жените брата на мадемуазель де Шаржбеф, я берусь добиться ее согласия; у нее будет две тысячи франков ренты, и вы, подобно мне, пород-

нитесь с Шаржбефами. Поверьте, Шаржбефы еще признают нас когда-нибудь своей родней.

— Гуро любит Пьеретту,— был ответ Сильвии.

— Что ж, с него станется,— сказал Винэ,— он даже рассчитывает, быть может, жениться на ней после вашей смерти.

— Недурной расчетец! — сказала она.

— Я же говорил вам, это дьявольски хитрый человек. Жените брата, объявив, что сами намерены остаться в девушках, чтобы все свое состояние завещать племянникам или племянницам Тогда вы одним ударом расправитесь и с Пьереттой и с Гуро и сможете полюбоваться, как он это примет.

— А ведь вы правы,— воскликнула старая дева,— они у меня в руках! Пусть она поступает в какую-нибудь лавку ученицей, она ничего от меня не получит! У нее нет ни гроша; пусть-ка поработает, как мы когда-то!

Винэ ушел, старательно вбив свой план в голову Сильвии, упрямство которой было ему хорошо известно. Старая дева должна была поверить в конце концов, что план исходит от нее самой. На площади Винэ застал полковника, который, поджидая его, курил сигару.

— Стоп! — сказал Гуро.— Вы разгромили меня, но на развалинах найдется достаточно камней, чтобы похоронить вас под ними.

— Полковник!

— Никаких полковников! Я с вами рассчитаюсь по-свойски; и прежде всего — не бывать вам депутатом!

— Полковник!

— Я располагаю десятком голосов, а выборы зависят от...

— Да выслушайте же меня, полковник! Неужели свет клином сошелся на старухе Сильвии? Я пытался оправдать вас, но вы заподозрены и уличены в том, что переписывались с Пьереттой. Сильвия видела, как вы в полночь выходили из своего дома, чтобы пробраться под ее окно.

— Ловко придумано!

— Она собирается женить брата на Батильде и оставить их детям свое состояние.

— Да разве у Рогрона будут дети?

— Будут,— отвечал Винэ.— Но я обязуюсь найти

для вас молодую и приятную особу с приданым в сто пятьдесят тысяч франков. С ума вы сошли, мыслимо ли нам ссориться? Обстоятельства, вопреки мне, обернулись против вас, но вы меня еще не знаете...

— Ну, так нам следует узнать друг друга,— подхватил полковник.— Женитесь меня до выборов на женщине с полутораста тысячами франков, а не то — слуга покорный. Я не люблю спать рядом с плохим соседом, а вы все одеяло перетянули на свою сторону. До свидания!

— Вот увидите, все устроится! — сказал Винэ, горячо пожимая ему руку.

Около часу ночи на площади три раза прозвучал отчетливый и громкий совиный крик, точь-в-точь как настоящий; услышав его среди лихорадочного сна, Пьеретта поднялась, вся в испарине, с постели, открыла окно и, увидав Бриго, спустила ему клубочек шелка, к которому он привязал письмо. Взволнованная событиями вечера и своими сомнениями, Сильвия не спала; крик совы не внушил ей никаких подозрений.

— Какая зловещая птица! Странно однако... Пьеретта, кажется, встала? Что с нею?

Услышав, что открылось окно мансарды, Сильвия кинулась к своему окну и уловила шуршание записки Бриго, подымавшейся вдоль ее ставня. Стянув шнуры своей кофты, она поспешно поднялась к Пьеретте, которая отвязывала в это время письмо.

— Ага! Попалась! — крикнула старая дева и, мигом очутившись у окна, заметила убегавшего со всех ног Бриго.— Подайте сюда письмо!

— Нет, кузина,— сказала Пьеретта, в своем вдохновенном юном порыве, в напряжении всех душевных сил обретая вдруг ту способность к героическому отпору, которая восхищает нас в истории угнетенных, доведенных до отчаяния народов.

— А-а, вы не желаете? — крикнула Сильвия, подойдя к двоюродной сестре и приблизив к ней полное ненависти, искаженное бешенством лицо, похожее на какую-то страшную маску.

Пьеретта отступила и, успев высвободить запутавшееся в шелковинке письмо, с неодолимой силой зажала его в руке. Заметив это, Сильвия схватила тонкую белую руку Пьеретты и, стиснув ее в своих клешнях, хотела раз-

жать пальцы девочки. То была ужасная борьба, гнусная, как всякое посягательство на мысль — единственное сокровище, которое бог создал неподвластным никакому насилию и охраняет, как тайную связь между собой и обездоленными. Обе женщины — одна еле живая, другая полная сил — глядели, не отрываясь, друг на друга. Пьеретта впилась в свою мучительницу горящим взглядом,— таким же взглядом смотрел когда-то рыцарь-тамплиер, которого пытали ударами маятника в грудь в присутствии Филиппа Красивого (и король, не выдержав огня его глаз, в смятении бежал из застенка). Глаза Сильвии, женщины, снедаемой ревностью, метали зловещие молнии в ответ на магнетический взгляд Пьеретты. Царило грозное молчание. Сжатые пальцы бретоночки противились Сильвии со стальным упорством. Старая дева вывертывала руку Пьеретты, пыталась разжать ее пальцы и, ничего не добившись, с бессмысленной жестокостью вонзала ногти в ее руку. Наконец она в бешенстве потянула этот сжатый кулачок ко рту и вцепилась зубами в пальцы Пьеретты, чтобы заставить ее выпустить письмо. Девочка по-прежнему устремляла на нее ужасный взгляд невинной жертвы. Старая дева, обезумев от ярости и уже ничего не соображая, схватила руку Пьеретты и принялась колотить кулаком девочки по подоконнику, по мрамору камина,— подобно тому как это делают с орехом, чтобы расколоть его и добраться до ядра.

— Помогите! Помогите! — кричала Пьеретта.— Убивают!

— А! Я застала тебя среди ночи с возлюбленным, а ты еще кричишь?

И Сильвия продолжала безжалостно терзать руку девочки.

— Помогите! — кричала Пьеретта, кулак которой был уже весь в крови.

Вдруг раздался яростный стук в парадную дверь. Обе кузины, выбившись из сил, замерли.

Стук этот разбудил и встревожил Рогрона; не понимая, что происходит, он вскочил с постели и бросился к сестре, но не нашел ее в комнате; он испугался, спустился вниз, отпер дверь и был почти сбит с ног Жаком Бриго и еще каким-то существом, похожим на призрак.

В этот же самый миг Сильвии попался на глаза корсет Пьеретты; она вспомнила, что давеча нащупала в нем какую-то бумагу, ринулась на него, как тигр, и обмотала его вокруг своей руки, потрясая им с торжествующей улыбкой перед девочкой, точно ирокез, готовящийся скальпировать врага.

— Я умираю,— простонала, падая на колени, Пьеретта.— Кто спасет меня?

— Я! — крикнула, склонившись над ней, седовласая женщина с морщинистым пергаментным лицом и сверкающими серыми глазами.

— Ах, бабушка, ты пришла слишком поздно! — заливаясь слезами, воскликнула бедная девочка.

Совершенно обессилев, в изнеможении после яростной борьбы, больная упала на свою постель. Высокая, худая, похожая на призрак старуха, точно нянька, взяла ее на руки и вышла вместе с Бриго, не удостоив Сильвию ни единым словом, но бросив ей презрительно обвиняющий, трагический взгляд. Появление этой величавой старухи в бретонском наряде, в черном суконном плаще, с накинутым на голову капюшоном, в сопровождении грозного Бриго, повергло Сильвию в ужас: ей почудилось, что это сама смерть. Старая дева спустилась вниз, слышала, как захлопнулась дверь, и столкнулась нос к носу с братом.

— Они, стало быть, не убили тебя? — спросил Рогрон.

— Ложись спать,— сказала Сильвия.— Завтра утром решим, что делать.

Она снова легла в постель, распорола корсет и прочла оба письма Бриго, приведшие ее в замешательство. Уснула она в полном смятении чувств, не подозревая даже, какое серьезное судебное преследование грозит ей за ее поведение.

Письмо Жака Бриго застало вдову Лоррен в неописуемо радостном состоянии и омрачило его. Бедную семидесятилетнюю старуху убивало одиночество и разлука с Пьереттой, и только мысль, что она пожертвовала собой для счастья внучки, служила ей утешением. У нее было одно из тех вечно юных сердец, которые живут и вдохновляются самопожертвованием. Ее муж, единственной утехой которого была внучка, тосковал по Пьерет-

те, искал и звал ее перед смертью. То была старческая печаль, которой старики живут и от которой они в конце концов умирают. Легко представить себе, как счастлива была одинокая, запертая в богадельне старуха, узнав об одном из тех благородных поступков, которые, хотя и не часто, можно еще встретить во Франции. После своего банкротства Франсуа Жозеф Коллине, глава банкирского дома Коллине, уехал с детьми в Америку. Он был слишком совестливым человеком, чтобы, разорившись и потеряв кредит, остаться жить в Нанте и видеть все бедствия, причиненные его банкротством. С 1814 по 1824 год неутомимый негоциант с помощью своих детей и верного ему кассира, снабдившего его первыми необходимыми средствами, упорно работал, чтобы вернуть себе богатство. В конце концов его настойчивые труды увенчались успехом, и на одиннадцатый год, оставив старшего сына во главе своей заокеанской фирмы, он возвратился в Нант, чтобы восстановить свое доброе имя. Г-жу Лоррен из Пан-Гоэля он разыскал в Сен-Жаке и увидел, с каким смирением переносит свою нищету несчастнейшая из его жертв.

— Да простит вам бог все ваши грехи,— сказала ему старуха,— за то, что я, хотя бы на краю могилы, могу теперь благодаря вам обеспечить благосостояние своей внучки. Правда, доброго имени моего мужа мне уж никогда не вернуть...

Господин Коллине привез своей кредиторше капитал вместе с коммерческими процентами — всего около сорока двух тысяч франков. Все прочие его кредиторы — деятельные, богатые, ловкие коммерсанты — устояли на ногах, и только Лоррены — старик Коллине это видел — были вконец разорены; и он обещал вдове вернуть доброе имя ее покойному мужу, если для этого даже понадобится отдать еще сорок тысяч франков. Когда великодушный поступок человека, стремившегося искупить свою вину, стал известен на нантской бирже, там решили восстановить Коллине в правах, не дожидаясь постановления королевского суда в Ренне; но негоциант отказался от этой чести, пожелав подвергнуть себя всем строгостям торгового устава. Г-жа Лоррен получила сорок две тысячи франков накануне того дня, когда прибыли по почте письма, посланные Жаком Бриго. Давая

расписку в получении денег, она сказала: «Теперь я могу жить вместе с моею Пьереттой и выдать ее замуж за беднягу Бриго: мои деньги помогут ему добыть для нее богатство». Ей не сиделось на месте, она волновалась, хотела немедленно ехать в Провен. Прочитав роковые письма, она, как безумная, бросилась в город, чтобы узнать, как поскорее добраться до Провена. Она поехала мальпостом, когда ей объяснили, с какой быстротой эта карета доставляет пассажиров. В Париже она пересела в карету, идущую в Труа, и в половине двенадцатого была уже у Фраппье. При виде мрачного отчаяния старой бретонки Бриго сообщил ей в нескольких словах о состоянии здоровья Пьеретты и обещал тотчас же привести к ней внучку. Но то, что она услышала от него, так напугало бабушку, что, не совладав со своим нетерпением, она побежала на площадь. Когда Пьеретта закричала, крик ее пронзил не только сердце Бриго, но и сердце старухи. Если бы перепуганный Рогрон не открыл им дверь, они вдвоем подняли бы на ноги весь город. Вопль смертельного ужаса, вырвавшийся у молодой девушки, придал бабушке такие силы, что она на руках донесла свою дорогую Пьеретту до жилища Фраппье, жена которого тем временем поспешила кое-как приготовить для приезжей комнату Бриго. В этой бедной комнате больную уложили в наскоро постланную кровать, и она лишилась чувств, все еще крепко сжимая в кулак свою истерзанную, окровавленную руку. Бриго, Фраппье, жена его и старуха бретонка, потрясенные, молча глядели на Пьеретту.

— Почему у нее рука в крови? — прервала молчание бабушка.

Чувствуя себя в безопасности, Пьеретта погрузилась в сон, обычно наступающий вслед за резким напряжением сил. Из ее разжатых пальцев, как бы в ответ, выпало письмо Бриго.

— У нее хотели отнять мое письмо! — воскликнул он и, упав на колени, поднял записку, в которой писал своей подруге, чтобы она тайком ушла из дома Рогронов. Он благоговейно поцеловал руку маленькой мученицы.

И тогда столяр с женой содрогнулись, взглянув на старуху Лоррен, стоявшую у изголовья своей внучки: величавая, неподвижная, она была похожа на призрак.

Ужас и жажда мести молниями вспыхивали в ее изборожденном морщинами лице цвета пожелтелой слоновой кости. Лоб под растрепавшимися седыми волосами пылал священным гневом. С прозорливостью, присущей старцам на краю могилы, она постигла всю жизнь Пьеретты, ибо неотступно думала о ней всю дорогу. Она догадалась, что ее любимая внучка поражена болезнью, которая грозит ей гибелью.

Две крупные слезы медленно проступили в уголках ее выцветших серых глаз с выпавшими от горя ресницами и, придав этим глазам необычайную яркость, двумя скорбными жемчужинами скатились по иссохшим щекам, не увлажняя их.

— Они убили ее,— сказала она, ломая руки.

Она упала на колени, глухо стукнув ими об пол, и вознесла мольбу к самой могущественной из бретонских святых — Анне Орейской.

— Врача из Парижа!—крикнула она Бриго.--Скорее, Бриго, скорее!

Властным жестом она схватила юношу за плечо и толкнула его к двери.

— Я и так собиралась приехать, Бриго, я богата, смотри! — воскликнула она, задержав его на пороге. Она развязала шнурок, стягивавший на груди ее телогрейку, и вытащила бумагу, в которую завернуты были сорок два кредитных билета по тысяче франков.— Возьми сколько нужно и привези лучшего парижского врача!

— Спрячьте деньги,— сказал Фраппье.— Где он сейчас разменяет тысячефранковый билет? У меня есть деньги; дилижанс должен скоро прибыть, и место найдется. Но не спросить ли совета у господина Мартене? Пусть он укажет нам врача в Париже. Дилижанс будет здесь только через час, времени у нас довольно.

Бриго отправился будить г-на Мартене. Он привел его, и врач был немало удивлен, застав Пьеретту Лоррен у Фраппье. Бриго рассказал ему о сцене, разыгравшейся в доме Рогронов. Взволнованный рассказ охваченного отчаянием влюбленного пролил некоторый свет на жестокую семейную драму, хотя врач и не представлял себе еще всей ее серьезности. Мартене дал Бриго адрес знаменитого Ораса Бьяншона, и юноша ушел со своим

хозяином, заслышав стук дилижанса. Сев подле больной, г-н Мартене осмотрел прежде всего кровоподтеки и раны на ее руке, свисавшей с кровати.

— Она не могла бы сама так поранить себе руку!— заявил он.

— Нет, нет, мою внучку изувечила та ужасная женщина, которой я на свое горе ее доверила,— сказала бабушка.— Моя бедняжечка Пьеретта так кричала: «Помогите! Я умираю!»,— что и у палача бы, кажется, дрогнуло сердце.

— Но в чем же дело? — спросил врач, нащупывая пульс Пьеретты.— Она тяжело больна,— продолжал он, осветив постель.— Не знаю, удастся ли нам ее спасти,— прибавил он, всматриваясь в лицо девочки.— Она, видимо, жестоко страдала, и мне непонятно, как это ее не лечили.

— Я подам жалобу в суд,— сказала бабушка Пьеретты.— Ведь эти люди прислали мне письмо, чтобы я отпустила к ним мою внучку, и уверяли, что у них двенадцать тысяч ливров ренты,— какое же они имели право превратить ее в служанку и взвалить на нее непосильную работу?

— Как это они могли не заметить явную для каждого болезнь, которая часто бывает у молодых девушек и требует серьезнейшего лечения! — воскликнул г-н Мартене.

Пьеретта проснулась, разбуженная светом лампы, которую поднесла к ее лицу г-жа Фраппье, и невыносимыми болями в голове— последствием недавней борьбы.

— Ах, господин Мартене, мне очень худо,— сказала она своим нежным голосом.

— Где у вас болит, дружочек? — спросил врач.

— Вот тут,— сказала она, указав место над левым ухом.

— Но тут нагноение!— воскликнул врач, тщательно ощупав голову Пьеретты и расспросив ее о характере болей.— Расскажите нам все без утайки, дитя мое, чтобы мы могли вас вылечить. Что у вас с рукой? Вы не могли ее сами так поранить.

Пьеретта простодушно поведала о своей борьбе с Сильвией.

— Заставьте ее говорить,— сказал бабушке врач,— и узнайте у нее обо всем подробно. Я подожду приезда парижского врача, и мы пригласим на консилиум главного хирурга больницы: все это мне кажется крайне серьезным. Я пришлю успокоительную микстуру, вы дадите ее мадемуазель Пьеретте, чтобы она уснула: ей необходим сон.

Оставшись наедине с внучкой, старая бретонка обещала ей, что Бриго будет жить вместе с ними, сообщила, что теперь у нее хватит средств на троих, и, пользуясь своим влиянием на Пьеретту, обо всем у нее расспросила. Бедная девочка чистосердечно описала свои муки, не подозревая даже, что дает тем самым основание для серьезного судебного дела. В чудовищном бессердечии этих людей, лишенных каких бы то ни было семейных привязанностей, перед старухой открылся мир, в такой же мере ей чуждый, как чужды были нравы дикарей европейцам, проникшим первыми в американские саванны. Приезд бабушки, уверенность в том, что теперь она с ней больше не расстанется и будет богата, так же успокоили душу Пьеретты, как микстура успокоила ее тело. Старуха бретонка всю ночь бодрствовала над внучкой, целуя ее лоб, волосы и руки, как лобзали, должно быть, Иисуса святые жены, опуская его в гробницу.

В девять часов утра г-н Мартене поспешил к председателю суда, чтобы сообщить ему о сцене, разыгравшейся ночью между Сильвией и Пьереттой, о моральных и физических истязаниях, обо всех жестокостях, которым подвергали свою питомицу Рогроны, и о двух ее смертельных болезнях — результате дурного обращения. Председатель суда послал за нотариусом Офре, родственником Пьеретты с материнской стороны.

Борьба между партиями Винэ и Тифенов достигла в этот момент наивысшего напряжения. Рогроны и их сторонники распространяли в Провене слухи об известной всем связи г-жи Роген с банкиром дю Тийе, об обстоятельствах, сопровождавших банкротство отца г-жи Тифен — мошенника, удравшего из Парижа, как они его величали, — и слухи эти тем болезненней задевали партию Тифенов, что были лишь злословием, но не клеветой. Удары попадали прямо в сердце, они затрагивали са-

мые кровные интересы. Те же уста, что передавали сторонникам Тифенов эти сплетни, повторяли Рогронам шутки г-жи Тифен и ее приятельниц, давая пищу злобе, к которой примешивалась теперь и политическая вражда. Волнения, вызванные в те времена во Франции борьбой партий, принимали яростный характер, повсюду, как и в Провене, переплетаясь с ущемленными личными интересами и задетым, раздраженным честолюбием. Каждая из политических групп жадно хваталась за все, что могло послужить во вред группе противника. Вражда партий и самолюбие примешивались к незначительнейшим, казалось бы, делам и заводили нередко очень далеко. В такую борьбу втягивался иной раз весь город, раздувая ее до размеров настоящей политической схватки. Так и председатель суда усмотрел в деле Пьеретты способ свалить Рогронов, уронить их в общественном мнении, опорочить хозяев салона, где замышлялись враждебные монархии планы, где родилась оппозиционная газета. Был вызван прокурор Лесур, нотариус Офре—второй опекун Пьеретты, и председатель суда совместно с г-ном Мартене приступили в строжайшей тайне к обсуждению дальнейшего плана действий. Г-н Мартене взялся убедить бабушку Пьеретты, чтобы она подала жалобу второму опекуну. Второй опекун должен был созвать семейный совет и, ссылаясь на письменное заключение врачей, потребовать прежде всего, чтобы первый опекун был лишен своих полномочий. При таком обороте дело попало бы в суд, а г-н Лесур, дав приказ о производстве следствия, позаботился бы о том, чтобы делу был придан уголовный характер. Уже к полудню весь Провен пришел в волнение: необычайная весть о том, что произошло ночью в доме Рогронов, облетела город. Ночью на площади смутно слышали крик Пьеретты, но так как он вскоре смолк, то никто не поднялся с постели, и утром все только спрашивали друг друга: «Слыхали ли вы около часу ночи какой-то шум и крики? Что случилось?» Толки и пересуды придали этой жестокой драме такие размеры, что перед мастерской Фраппье собралась целая толпа, и каждому хотелось расспросить его; честный столяр описывал, как принесли к нему Пьеретту с окровавленным кулачком и искалеченными пальцами. Около часа пополудни у дома Фраппье остано-

«ПЬЕРЕТТА».

«ПЬЕРЕТТА».

вилась почтовая карета, в которой сидел доктор Бьяншон, а рядом с ним Бриго, и жена столяра побежала в больницу известить об этом г-на Мартене и главного хирурга. Городские слухи, таким образом, получили подтверждение. Рогронов обвиняли в том, что они намеренно обращались дурно со своей кузиной и довели ее до состояния, опасного для жизни. Эта новость застала Винэ в суде; бросив все, он поспешил к Рогронам. Рогрон с сестрой кончали завтракать. Сильвия не решилась рассказать брату, какую оплошность она совершила этой ночью, и на все его расспросы отвечала только: «Не твое дело!» Чтобы уклониться от объяснений, она беспрестанно сновала из столовой на кухню и обратно. Когда явился Винэ, она была одна.

— Вы, стало быть, ничего не знаете о том, что происходит? — спросил у нее стряпчий.

— Нет,— сказала Сильвия.

— Дело с Пьереттой принимает такой оборот, что вам грозит уголовный процесс.

— Уголовный процесс! — воскликнул вошедший в это время Рогрон.— Как? Почему?

— Прежде всего,— глядя на Сильвию, сказал стряпчий,— объясните мне, что произошло этой ночью, но безо всяких увертoк, как перед богом. Ведь поговаривают о том, что Пьеретте придется отнять кисть руки.— Мертвенно побледневшую Сильвию забила дрожь.— Значит, действительно что-то было? — спросил Винэ.

Мадемуазель Рогрон описала всю сцену, стараясь оправдать себя. Но, припертая к стене вопросами, вынуждена была сознаться в насилии, учиненном ею во время яростной борьбы.

— Если вы ей только сломали пальцы, то будете иметь дело с судом исправительной полиции; но если придется отнять кисть руки,— тут уже пахнет судом присяжных, а Тифены сделают все от них зависящее, чтобы добиться этого.

Сильвия была ни жива ни мертва; она призналась в своей ревности и — что было еще трудней — в полной неосновательности своих подозрений.

— Какой предстоит процесс! — сказал Винэ.— Он может погубить вас обоих: очень многие отвернутся от

вас, даже если вы его выиграете. А уж если вам не удастся одержать верх, то придется совсем покинуть Провен.

— О дорогой господин Винэ! — в ужасе воскликнул Рогрон.— Вы ведь отменный адвокат, посоветуйте же нам, что делать, спасите нас!

Напугав до смерти обоих глупцов, ловкий Винэ заверил их, что г-жа де Шаржбеф с дочерью не решатся больше у них бывать. Но если дамы Шаржбеф покинут их — для Рогронов это будет равносильно ужасному приговору. Словом, после часа искуснейших маневров Винэ привел их к следующему выводу: для того, чтобы он, Винэ, отважился заняться спасением Рогронов, ему надо иметь в глазах Провена особо важное основание для такого вмешательства, а посему в тот же вечер объявлено будет о браке Рогрона с мадемуазель де Шаржбеф. Церковное оглашение состоится в ближайший воскресный день. Брачный контракт заключат нынче же у Курнана, куда мадемуазель Рогрон явится с заявлением, что по случаю предстоящего брака она дарственной записью передает брату в собственность все свое имущество, оставив себе лишь право пользования им. Винэ разъяснил брату и сестре, что необходимо пометить брачный контракт задним числом — на несколько дней раньше разыгравшихся событий, чтобы в глазах общества мадам и мадемуазель де Шаржбеф были, таким образом, уже связаны с Рогронами и имели веские причины по-прежнему бывать в их доме.

— Подпишите контракт, и я возьму на себя обязательство помочь вам выпутаться из этой истории,— заявил стряпчий.— Предстоит жестокая борьба, но я не пожалею сил, и вам еще придется поставить за меня богу свечку.

— О да! — сказал Рогрон.

В половине двенадцатого стряпчий уже получил полную доверенность и на заключение брачного контракта и на ведение тяжбы. В полдень Винэ подал председателю суда прошение по иску Рогрона к вдове Лоррен и Бриго за похищение несовершеннолетней Пьеретты Лоррен из дома ее опекуна. Винэ дерзко перешел, таким образом, в наступление, изобразив Рогрона безупречным опекуном. В том же духе говорил он и на суде. Председатель

отложил выступления сторон на четыре часа дня. Излишне описывать, как взбудоражен был городок Провен всеми этими событиями. Председателю суда известно было, что консилиум врачей окончится к трем часам: он хотел, чтобы, выступая защитником бабушки, второй опекун мог уже воспользоваться в качестве оружия заключением врачей. Оглашение брака Рогрона с прекрасной Батильдой де Шаржбеф и известие о дарственной записи Сильвии, внесенной в брачный контракт брата, сразу же лишили Рогронов двух приверженцев — мадемуазель Абер и полковника, убедившихся, что все их надежды рухнули. Селеста Абер и полковник продолжали для вида поддерживать дружеские отношения с Рогронами, но лишь затем, чтобы вернее им вредить. Как только г-н Мартене обнаружил у несчастной жертвы двух галантерейщиков гнойник под черепной костью, Селеста и полковник заговорили об ушибе, полученном Пьереттой в тот вечер, когда Сильвия заставила ее уйти из гостиной, и припомнили варварски жестокие слова мадемуазель Рогрон. Они приводили доказательства бессердечного отношения старой девы к своей больной воспитаннице. Прикидываясь, что защищают Сильвию и ее брата, друзья дома возводили на них, таким образом, серьезные обвинения. Винэ предвидел эту грозу; но состояние Рогронов переходило к мадемуазель де Шаржбеф; он твердо надеялся, что через несколько недель она станет обитательницей красивого дома на площади, а тогда он вместе с нею будет властвовать над Провеном, ибо для своих тщеславных целей он мечтал уже объединиться с де Бреоте. С полудня и до четырех часов все женщины из партии Тифенов — Гарсланы, Гепены, Жюльяры, Галардоны, Гене, жена супрефекта — посылали справляться о здоровье мадемуазель Лоррен.

Пьеретта и не подозревала даже, какой шум поднялся из-за нее в городе. Среди своих жестоких страданий она испытывала невыразимое счастье оттого, что была вместе с бабушкой и Бриго, двумя дорогими ей существами. Глаза Бриго не просыхали от слез, а бабушка осыпала ласками свою драгоценную внучку. Рассказывая о жизни Пьеретты в доме Рогронов, она, конечно, не утаила от трех представителей науки ни од-

ной из подробностей, которые ей удалось выведать у девочки. Орас Бьяншон выразил свое возмущение в самых негодующих словах. В ужасе от подобного варварства он настоял на том, чтобы созвать всех городских врачей, в том числе и г-на Неро, которому, как другу Рогронов, предоставлено было право оспаривать, если он сможет, ужасное заключение консилиума, принятое, к несчастью для Рогронов, всеми врачами единодушно. Неро, которого уже обвиняли в том, что некогда он погубил умершую от горя бабушку Пьеретты по матери, оказался в неловком положении, чем и воспользовался Мартене, радуясь случаю обвинить Рогронов и посрамить своего соперника. Было бы излишним приводить текст заключения врачей — оно также стало одним из документов процесса. Термины современной медицины выгодно отличаются своей ясностью от варварских терминов медицины мольеровских времен; но из-за этой именно ясности объяснение болезни Пьеретты — естественной и, к сожалению, довольно распространенной — оскорбило бы наш слух. Заключение врачей должно было считаться решающим, ибо подписано было такой знаменитостью, как Орас Бьяншон. По закрытии судебного заседания председатель суда остался сидеть в своем кресле, заметив бабушку Пьеретты в сопровождении г-на Офре, Бриго и целой толпы народа. Винэ оставался в одиночестве. Этот контраст бросился в глаза как членам суда, так и любопытным, наполнявшим зал заседания. Винэ, облачившийся в адвокатскую тогу, обратил свое холодное лицо к председателю, поправив очки, за которыми поблескивали его зеленые глаза, и тонким, настойчивым голосом сообщил, что к господину Рогрон и мадемуазель Рогрон проникли ночью посторонние лица, похитившие несовершеннолетнюю девицу Лоррен,— опекуну законом предоставлено право требовать свою воспитанницу обратно. Тогда поднялся г-н Офре и попросил слова в качестве второго опекуна.

— Если господин председатель,— сказал он,— пожелает ознакомиться с врачебным заключением, исходящим от одного из самых знающих врачей Парижа и сделанным им совместно со всеми хирургами и врачами Провена, он поймет, насколько нелепо требование Рогрона

и какие веские причины побудили бабушку несовершеннолетней отобрать ее незамедлительно у ее палачей. Вот каковы обстоятельства дела: медицинское заключение, единодушно вынесенное знаменитым врачом, спешно вызванным из Парижа, и всеми врачами нашего города, приписывает состояние смертельной опасности, в котором находится несовершеннолетняя, дурному обращению с ней названного Рогрона и девицы Рогрон. Согласно закону, в кратчайший срок будет созван семейный совет, который и рассмотрит вопрос об отстранении опекуна от выполнения его обязанностей. Мы ходатайствуем о том, чтобы несовершеннолетняя не возвращалась под кров своего опекуна, а была отдана на попечение тому из членов ее семьи, которого угодно будет назначить для этой цели господину председателю.

Винэ попытался было возражать, заявив, что письменное заключение врачей следовало представить ему для ознакомления, дабы он мог его оспаривать.

— Оно будет представлено не партии Винэ,—строго заявил председатель суда,— а прокурору. Ходатайство удовлетворено.— Внизу, под текстом ходатайства, председатель написал следующее постановление:

«Ввиду того, что из заключения, единодушно вынесенного врачами города совместно с доктором Парижского медицинского факультета врачом Бьяншоном, явствует, что несовершеннолетняя Лоррен, обратного водворения коей по месту жительства требует опекун ее Рогрон, находится в чрезвычайно тяжелом болезненном состоянии, вызванном дурным обращением и насилиями, учиненными над ней сестрой опекуна и в его доме, мы, председатель суда первой инстанции города Провена, удовлетворяя настоящее ходатайство, предписываем, чтобы до решения семейного совета, каковой созывается по требованию второго опекуна, несовершеннолетняя девица Лоррен не возвращалась обратно в жилище своего опекуна, а была переведена в дом второго опекуна.

Дополнительно к сему, ввиду тяжелого состояния, в коем находится несовершеннолетняя, и следов насилия, обнаруженных, по заключению врачей, на ее теле, мы поручаем главному врачу и главному хирургу провенской больницы обследовать ее; в случае же установления сле-

дов насилия передаем дело прокурорскому надзору, чем отнюдь не исключается возможность гражданского иска, учиненного вторым опекуном Офре».

Это суровое постановление прочитано было председателем суда Тифеном громко и отчетливо.

— Почему уж сразу не каторга? — сказал Винэ.— И весь этот шум из-за какой-то девчонки, которая завела интрижку с подмастерьем столяра! Если это принимает такой оборот,— нагло воскликнул он,— мы заявим отвод и будем ходатайствовать о передаче дела в другой судебный округ.

Выйдя из суда, Винэ направился к главарям своей партии, чтобы объяснить им, в какое положение попал Рогрон: по словам стряпчего выходило, что Рогрон никогда и пальцем не тронул своей кузины, а судью он интересует не столько в качестве опекуна Пьеретты, сколько в качестве провенского выборщика.

Послушать его, так Тифены подняли шум из-за пустяков. Гора родила мышь. Сильвия, девица высокодобродетельная и благочестивая, открыла, что воспитанница ее брата завязала интрижку с подмастерьем столяра, бретонцем по фамилии Бриго. Этот плут прекрасно знал, что девочка получит наследство от бабушки, и хотел обольстить ее. (Винэ осмеливался еще говорить об обольщении!) Что касается мадемуазель Рогрон, перехватившей письма, из которых видно, до какой степени была испорчена девочка, то Сильвия совсем не так уж виновна, как это изображают Тифены. Но если бы она даже и прибегла к некоторому насилию, чтобы завладеть письмом — что, впрочем, вполне оправдывается раздражением, вызванным в ней бретонским упрямством девочки,— то при чем же тут Рогрон?

Стряпчий изобразил это дело как борьбу партий и придал ему политическую окраску. И с этого вечера в общественном мнении Провена произошел раскол.

— Надо выслушать обе стороны,— говорили мудрые люди.— Слыхали ли вы, что рассказывает Винэ? Он дает всему прекрасное объяснение.

Дом Фраппье был признан неподходящим жилищем для Пьеретты из-за шума в мастерской, который, несомненно, должен был вызывать у нее головные боли. Перенести ее оттуда ко второму опекуну необходимо было

как с точки зрения медицинской, так и с точки зрения законности. Переселение совершилось с величайшими, намеренно подчеркнутыми предосторожностями. Пьеретту уложили на носилки, на целую груду матрацев; ее несли двое людей; сбоку шла сестра милосердия с пузырьком эфира в руке, за носилками следовали бабушка, Бриго и г-жа Офре со своей горничной. У окон и дверей теснились любопытные, глазевшие на это шествие. Смертельная бледность Пьеретты, болезненное состояние, в котором она находилась, несомненно, были весьма на пользу враждебной Рогронам партии. Офре старались доказать всему городу, как прав был в своем постановлении председатель суда. Пьеретта с бабушкой водворены были в доме г-на Офре на третьем этаже. Нотариус с женой с нарочитой пышностью оказывали им широчайшее гостеприимство. Сиделкой при Пьеретте осталась бабушка, а вечером больную посетили г-н Мартене с хирургом.

Обе партии с этого дня изощрялись в преувеличениях. Гостиная Рогронов была полна посетителей. Винэ обработал на этот предмет либеральную партию. Дамы де Шаржбеф обедали у Рогронов, ибо вечером там предстояло подписание брачного контракта. Винэ сделал утром оповещение в мэрии. Дело Пьеретты он называл вздором. Если провенский суд отнесся к делу пристрастно, то королевский суд сумеет разобраться в фактах, утверждал он, и Офре следовало бы хорошенько подумать, прежде чем затевать подобный процесс. То, что Рогрон породнился с Шаржбефами, играло огромную роль в глазах очень многих. Для них Рогроны были белее снега, а Пьеретта оказалась испорченной девчонкой: галантерейщики отогрели змею на своей груди. Салон же г-жи Тифен мстил за ядовитое злословие, которым в течение двух лет занималась партия Винэ,— там Рогроны были чудовищами, и опекуну предстояло сесть на скамью подсудимых. На площади, в доме галантерейщиков, утверждали, что Пьеретта превосходно себя чувствует; в верхнем городе — что она при смерти; у Рогронов говорили, что у нее только исцарапана рука; у г-жи Тифен — что у нее сломаны пальцы и один палец придется отнять. В «Провенском вестнике» появилась мастерски составленная и прекрасно написанная статья, настоящее произведение искусства, представляв-

шее собою смесь клеветы и юридических доводов, уже заранее объявляющая о непричастности Рогрона к делу. «Улей», выходивший двумя днями позже, не мог ответить на статью, не впадая при этом в дифамацию, и там ограничились заявлением, что в подобных вопросах самое лучшее — предоставить все дело правосудию.

В семейный совет вошли: мировой судья провенского кантона — согласно закону, в качестве председателя; Рогрон и оба Офре — ближайшие родственники, г-н Сипре, племянник бабушки Пьеретты с материнской стороны; к ним присоединили еще г-на Абера, духовника Пьеретты, и полковника Гуро, всегда выдававшего себя за друга полковника Лоррена. В городе отзывались с большой похвалой о беспристрастии мирового судьи, включившего в семейный совет г-на Абера и полковника Гуро, которых весь Провен считал близкими друзьями Рогронов. Ссылаясь на предъявленные ему тяжелые обвинения, Рогрон ходатайствовал о допущении на семейный совет стряпчего Винэ. Путем этой уловки, явно подсказанной ему самим Винэ, Рогрону удалось оттянуть созыв семейного совета до конца декабря. К этому времени начались заседания палаты депутатов, и председатель суда с женой находились уже в Париже, у г-жи Роген. Правительственная партия оказалась, таким образом, лишенной своего вожака. Винэ обрабатывал исподволь судебного следователя, старика Дефондриля, на случай, если бы дело направлено было в уголовный суд или в суд исправительной полиции, что пытался сделать председатель суда. Выступление Винэ на семейном совете длилось три часа; чтобы оправдать строгость мадемуазель Рогрон, он доказывал в своей речи существование интрижки между Пьереттой и Бриго; заявил, что со стороны Рогрона было совершенно естественным привлечь родную сестру к воспитанию питомицы, настаивал на непричастности своего клиента к тому, как понимала Сильвия воспитание Пьеретты. Несмотря на все усилия Винэ, совет единогласно постановил отстранить Рогрона от выполнения опекунских обязанностей. Опекуном был избран г-н Офре, а вторым опекуном — г-н Сипре. Семейный совет допросил служанку Адель, показавшую против своих бывших хо-

зяев, и мадемуазель Абер, рассказавшую о жестоких словах Сильвии Рогрон в тот вечер, когда Пьеретта так сильно ушибла голову, а также о замечании г-жи де Шаржбеф по поводу нездоровья девочки. Бриго представил полученное от Пьеретты письмо, подтверждавшее невинность их отношений. Было доказано, что тяжелое состояние, в котором находилась несовершеннолетняя, вызвано отсутствием забот о ней ее опекуна, ответственного за все, что касалось его подопечной. Болезнь Пьеретты поразила всех обитателей города, даже и людей, совершенно ей посторонних. Рогрону было предъявлено обвинение в жестоком обращении с подопечной. Предстояла передача дела в суд.

По совету Винэ, Рогрон опротестовал перед судом постановление семейного совета. Но ввиду возрастающей серьезности болезненного состояния Пьеретты Лоррен вмешался прокурорский надзор. Этому любопытному делу немедленно дан был ход, однако разбиралось оно лишь в конце марта 1828 года.

Бракосочетание Рогрона с мадемуазель де Шаржбеф к этому времени уже состоялось. Сильвия поселилась на третьем этаже своего дома, специально надстроенном для нее и для г-жи де Шаржбеф, ибо второй этаж был полностью отдан в распоряжение молодой супруги. Прекрасная г-жа Рогрон стала с тех пор преемницей г-жи Тифен. Этот брак имел огромные последствия. Теперь собирались уже не в салоне мадемуазель Сильвии, а у прекрасной г-жи Рогрон.

При поддержке своей тещи и с помощью банкиров-роялистов дю Тийе и Нусингена председатель суда Тифен получил возможность оказать услуги правительству; он стал одним из виднейших ораторов центра, судьей первой инстанции Сенского департамента и содействовал назначению своего племянника Лесура председателем провенского суда. Назначение это крайне оскорбило судью Дефондриля, занятого по-прежнему археологией и уже совсем застрявшего на должности заместителя. На освободившееся место Лесура министр юстиции послал одного из своих ставленников. Повышение г-на Тифена не повлекло за собой, таким образом, никаких повышений в провенском суде. Винэ чрезвычайно ловко использовал это обстоятельство. Он давно твердил про-

венцам, что для хитрой г-жи Тифен они служат лишь подножкой, чтобы достичь высокого положения; председатель суда водил своих приверженцев за нос, а г-жа Тифен в глубине души всегда презирала Провен и, конечно, не намерена туда возвращаться. И действительно, когда Тифен-отец умер, сын его, получив в наследство землю в Фэ, продал свой красивый дом в верхнем городе Жюльяру. Эта продажа доказывала, что вернуться в Провен он отнюдь не собирается. Винэ оказался прав, пророчество его сбывалось. Обстоятельства эти сыграли немаловажную роль в деле об опекунстве Рогрона.

Таким образом, когда истязания, которым подвергали Пьеретту два тупоголовых тирана, вызвали необходимость в опасной для жизни трепанации черепа, предписанной г-ном Мартене с одобрения доктора Бьяншона, когда эта ужасная драма вылилась в юридическую форму,— все увязло в гнусной неразберихе, называемой «судебными формальностями». Тяжба застревала в бесконечных отсрочках, в густой сети судебных процедур, умышленно растягиваемых ухищрениями зловредного адвоката; а между тем Пьеретта, которую он порочил, погибала в жесточайших мучениях, когда-либо известных медицинской науке. Объяснив эти странные повороты в общественном мнении и медлительность правосудия, вернемся в ту комнату, где жила или, вернее, умирала несчастная девочка.

В несколько дней г-на Мартене и семью Офре совершенно пленили восхитительный характер Пьеретты и старуха бретонка, у которой чувства, мысли и осанка проникнуты были, казалось, духом Древнего Рима. Г-н Мартене стремился вырвать жертву из когтей смерти, ибо с первого же дня и парижский врач и провинциальный считали Пьеретту обреченной. Между болезнью и врачом, которому пришла на помощь юность Пьеретты, завязалась борьба, понятная одним лишь врачам и вознаграждаемая, в случае успеха, не денежною мздой и не благодарностью больного,— наградой здесь служит то внутреннее удовлетворение, те незримые лавры, которые каждый истинный художник получает от сознания, что он совершил нечто прекрасное. Врачу свойственно стремиться к добру, как художнику — к красо-

те, обоими руководит бескорыстное побуждение, которое мы называем добродетелью. Такая каждодневная борьба убила во враче-провинциале мелочный интерес к сражениям между партиями Винэ и Тифена, как это обычно бывает с людьми, вступившими в единоборство с настоящей большой бедой.

Сперва г-н Мартене намеревался заняться практикой в Париже; но ожесточающая суета этого города, равнодушие, овладевающее в конце концов врачом, который сталкивается с огромным количеством больных, нередко безнадежных, отпугнули его чувствительную душу, как бы созданную для жизни в провинции. Он находился к тому же под чарами своей прекрасной родины. И он вернулся в Провен, женился там, обосновался и с любовью занялся врачеванием местных жителей, которых почитал как бы одной большой семьей. Во время болезни Пьеретты он всячески давал понять провенцам, что ему неприятны разговоры о больной, а когда посторонние начинали расспрашивать его о здоровье бедной девочки, он так явно выказывал свое неудовольствие, что никто уже с ним больше не заговаривал на эту тему. Пьеретта стала для него тем, чем и должна была стать,— поэмой страдания, глубокой и таинственной, одной из тех поэм, с которыми приходится иной раз сталкиваться врачам, постоянно наблюдающим ужасы жизни. Он полон был восхищения перед этой трогательной юной девушкой и ревниво затаил его в душе.

Чувство врача к своей больной, заразительное, как и все неподдельные чувства, передалось супругам Офре, в доме которых на все время пребывания там Пьеретты водворились тишина и спокойствие. Дети, так весело когда-то игравшие с Пьереттой, проявили чуткость, столь свойственную их возрасту,— они не шумели и девочке не докучали. Для них стало делом чести хорошо вести себя, так как в доме лежала больная Пьеретта. Дом г-на Офре находится в верхнем городе, несколько ниже развалин замка, и построен на месте разрушенного крепостного вала. Гуляя по небольшому фруктовому саду, обнесенному толстыми стенами, обитатели дома могут любоваться всей долиной, и взорам их открывается город. Крыши городских домов подходят к самому карнизу стены, окружающей сад. Через весь сад

проложена аллея, ведущая к стеклянной двери кабинета г-на Офре. На другом ее конце — увитая виноградом беседка и инжирное дерево, а под ним — круглый стол, скамья и зеленые крашеные стулья. Пьеретте отвели комнату над кабинетом ее нового опекуна. Г-жа Лоррен спала там подле внучки на складной кровати. Из окна Пьеретта могла любоваться великолепной долиной Провена, которую она почти не знала,— ведь ей так редко случалось выходить из рокового для нее дома Рогронов. В хорошую погоду она любила сидеть в этой беседке, хотя и с трудом добиралась до нее, опираясь на руку бабушки. Бриго бросил работу и три раза в день навещал свою маленькую подругу: он весь ушел в свое горе и глух был ко всему на свете; точно охотничий пес, подстерегал он г-на Мартене, встречал и провожал его. Чего только не делали окружающие для маленькой больной! Сраженная горем бабушка, скрывая свое отчаяние, так же весело улыбалась внучке, как когда-то в Пан-Гоэле. Она тешила себя несбыточными надеждами, мастеря и примеряя Пьеретте бретонский чепчик, такой же, как тот, в котором девочка приехала в Провен; старухе казалось, что в нем больная больше походит на прежнюю Пьеретту: она была прелестна в ореоле батиста и накрахмаленных кружев. Чистые линии лица, исхудавшего от болезни, фарфоровая белизна его, лоб, на котором страдания запечатлели подобие глубокой мысли, медленный, порою неподвижный взгляд — все это превращало Пьеретту в художественное воплощение печали. Все окружали ее самоотверженно трогательными заботами. Она была такой кроткой, нежной и любящей! Г-жа Мартене прислала к сестре своей, г-же Офре, свое фортепьяно, желая развлечь Пьеретту музыкой, которая доставляла ей глубокое наслаждение. Девочка была прекрасна, как сама поэзия, когда, устремив глаза свои вверх, безмолвно слушала какую-нибудь музыкальную пьесу Вебера, Бетховена или Герольда и, казалось, сожалела об уходящей от нее жизни. Ее духовные наставники, г-н Перу и г-н Абер, восхищены были ее благочестивым смирением. Поистине удивительно и достойно внимания как философов, так и людей, равнодушных к религии, ангельское совершенство молодых девушек и юношей, отмеченных в толпе людской перстом смерти,

подобно обреченным на порубку молодым деревцам в лесу. Тот, кто хоть однажды был свидетелем такой возвышенной смерти, не может пребывать в неверии. Кажется, что от этих существ веет небесным благоуханием, что глаза их полны неземного света; обыденнейшие слова приобретают в их устах глубокое значение; их голос звучит порой точно божественный инструмент, говорящий о тайнах грядущего! Если г-н Мартене хвалил Пьеретту за то, что она выполнила какое-либо трудное врачебное предписание, девушка отвечала, окидывая взглядом — и каким взглядом! — всех присутствующих: «Я хочу жить, господин Мартене, и не так для себя, как для бабушки, для моего Бриго и всех вас, для всех, кого опечалила бы моя смерть!»

В ноябре, когда она в первый раз вышла погулять в сопровождении всех домочадцев под ласковым солнцем дня св. Мартина и г-жа Офре спросила у нее, не устала ли она,— Пьеретта сказала:

— Теперь на долю мою остались лишь те страдания, что посланы самим богом, и я могу все перенести. Счастье быть любимой дает мне силы страдать.

То был единственный раз, когда она, хотя бы намеком, упомянула об ужасных муках, вынесенных ею у Рогронов; эти воспоминания, которых она никогда не касалась, были для нее, очевидно, так тягостны, что никто не решался о них заговорить.

— Дорогая госпожа Офре,— сказала она однажды, сидя в полдень в саду и любуясь освещенною солнцем долиной в ее багряном осеннем уборе,— умирая здесь у вас, я испытываю больше счастья, чем за все последние три года жизни.

Госпожа Офре посмотрела на свою сестру, г-жу Мартене, и шепнула ей на ухо: «Как она могла бы любить!» И действительно, выражение глаз Пьеретты и самый звук голоса придавали ее словам какую-то особую глубину.

Господин Мартене поддерживал постоянную переписку с доктором Бьяншоном и не предпринимал ничего серьезного без его одобрения. Он хотел восстановить сперва естественное развитие организма, а затем вывести гной из головы через ухо. Чем ужасней были терзавшие Пьеретту боли, тем больше он питал надежды.

Ему удалось добиться некоторых результатов в первой части намеченного плана, и это было огромным торжеством. У Пьеретты на несколько дней появился аппетит, и она не отказывалась от питательных блюд, к которым прежде испытывала характерное для ее болезни отвращение; цвет лица у нее несколько улучшился, но голова все еще была в ужасном состоянии. Мартене умолял приехать прославленного врача, своего советчика. Бьяншон приехал, пробыл два дня в Провене, признал необходимость операции и, преисполнившись той же заботливости, что и бедняга Мартене, сам съездил за знаменитым Депленом. Операция, таким образом, произведена была одним из крупнейших хирургов древних и новых времен; но, уезжая со своим любимым учеником Бьяншоном, этот жрец науки поставил ужасный прогноз. «Будет чудом,— сказал он Мартене,— если вы ее спасете. Как говорил вам Бьяншон, началось гниение кости. В этом возрасте кости еще такие нежные!»

Операция была сделана в начале 1828 года. Напуганный нечеловеческими страданиями Пьеретты, доктор Мартене совершил в течение месяца несколько поездок в Париж: он ездил за советом к Деплену и Бьяншону и предлагал даже прибегнуть к операции, подобной раздроблению почечного камня: чтобы остановить гниение кости, он хотел попытаться ввести сильно действующее лекарство под череп при помощи специальной полой иглы. Но сам Деплен, при всей своей смелости, не решился прибегнуть к этому рискованному хирургическому опыту, на который в отчаянии готов был отважиться Мартене. Вот почему, по возвращении из последней поездки в Париж, врач показался своим друзьям опечаленным и мрачным. И в один роковой вечер, когда все были в сборе, он вынужден был сообщить семейству Офре, г-же Лорен, духовнику и Бриго, что наука бессильна помочь Пьеретте и теперь спасение больной только в руках всевышнего. Все были потрясены и охвачены ужасом. Бабушка принесла обет богу и попросила священника ежедневно по утрам, до пробуждения Пьеретты, служить мессу, на которой она с Бриго будет присутствовать.

А дело между тем разбиралось в суде. В то самое время как жертва Рогронов доживала свои последние

дни, Винэ клеветал на нее, выступая в судебных заседаниях. Суд утвердил решение семейного совета, но стряпчий немедленно подал апелляцию. Вновь назначенный прокурор обратился к суду с требованием о производстве следствия. Чтобы избежать предварительного заключения, Рогрону с сестрой пришлось внести залог. По ходу следствия потребовался допрос Пьеретты. Когда г-н Дефондриль явился к Офре, Пьеретта была в агонии, у изголовья ее склонился духовник, она готовилась принять последнее причастие. В эту минуту как раз она умоляла собравшихся подле нее близких простить, как она сама прощает, ее кузену и кузине, ибо, сказала она проникновенно, таким делам один лишь бог судья.

— Бабушка,— просила Пьеретта,— оставь свои деньги Бриго (Бриго зарыдал), а тысячу франков,— добавила она,— дай Адели, она была так добра ко мне, клала мне тайком грелку в постель. Если бы она не ушла от моих кузенов, я бы осталась жива.

Во вторник на пасхальной неделе, в погожий, ясный день, в три часа пополудни наступил конец страданиям этого маленького ангела. Бабушка держалась с героической стойкостью; она пожелала бодрствовать над покойницей всю ночь вместе со священниками и сама, своими несгибающимися старческими руками, зашила ее в саван. Бриго покинул к вечеру дом Офре и ушел к Фраппье.

— Мне незачем спрашивать у тебя, какие у тебя вести, мой бедный мальчик,— сказал ему столяр.

— Да, папаша Фраппье, ее уже нет, а я все еще живу на свете!

Мрачным, но внимательным взглядом Бриго стал осматривать сложенные в мастерской доски.

— Понимаю тебя,— сказал старик Фраппье.— Смотри, вот то, что тебе надобно, Бриго.

И он указал юноше на двухдюймовые дубовые доски.

— Не помогайте мне, господин Фраппье,— сказал бретонец,— я все хочу сделать сам, своими руками.

Всю ночь Бриго строгал и сколачивал гроб Пьеретты, и не раз из-под его рубанка вылетала стружка, смоченная слезами. Старик Фраппье курил трубку, молча

следя за работой. И только когда его старший подмастерье сбил все четыре стенки гроба, он посоветовал ему: «Сделай задвижную крышку: родным не придется тогда слышать, как будут заколачивать гроб».

Утром Бриго отправился за свинцовыми листами, чтобы выложить ими гроб изнутри. По странной случайности они стоили ровно столько же, сколько Жак дал Пьеретте на проезд из Нанта в Провен. Стойкий бретонец, сумевший подавить в себе невыразимую боль, когда он собственными руками сколачивал гроб для своей дорогой подруги детства, все время думая о ней, не выдержал такого совпадения: он лишился чувств, а очнувшись, не в силах был сам донести свинец; помочь ему вызвался мастер, предложивший припаять четвертый свинцовый лист, когда тело будет положено в гроб. Бретонец сжег рубанок и все инструменты, при помощи которых делал гроб, рассчитался с Фраппье и простился с ним. Бедный юноша, подобно бабушке Пьеретты, мужественно отдавал последний долг подруге детства и стал поэтому участником трагической сцены, завершившей тиранство Рогронов.

Бриго и его спутник явились как раз вовремя в дом г-на Офре, чтобы силой воспрепятствовать отвратительной судебной процедуре. Странное зрелище открылось взорам двух рабочих в переполненной народом комнате усопшей. Бессердечные Рогроны во всей своей гнусности предстали перед трупом своей жертвы, чтобы терзать ее и после смерти. Прекрасное тело бедной девочки неподвижно лежало на бабушкиной кровати. Глаза Пьеретты были закрыты, волосы двумя гладкими полукружиями ложились на уши, тело зашито было в плотную бумажную простыню.

На коленях перед этой кроватью старуха Лоррен, с растрепавшимися волосами и пылающим лицом, простирая руки, кричала:

— Нет, не бывать этому, нет!

В ногах кровати стояли опекун г-н Офре, священник Перу и г-н Абер. Свечи еще горели.

Перед бабушкой выстроились в ряд больничный хирург, г-н Неро и на подмогу им — страшный медоточивый Винэ. Тут же находился и судебный пристав. Больничный хирург был в своем прозекторском фартуке.

Один из его помощников, раскрыв ящик с инструментами, подавал ему нож для вскрытия.

Эта сцена нарушена была стуком гроба, который уронили Бриго и слесарь, испуганные видом старухи Лоррен.

— В чем дело? — спросил Бриго, встав рядом с бабушкой Пьеретты и судорожно сжимая в руках большие ножницы, которые принес с собой.

— Бриго,— ответила ему старуха,— они хотят вскрыть тело моей внучки, хотят терзать ей голову, пронзить ей сердце и после ее смерти, как делали это при жизни.

— Кто? — крикнул Бриго голосом, оглушившим служителей правосудия.

— Рогроны.

— А-а! Проклятые!

— Опомнись, Бриго! — воскликнул г-н Офре, видя, что бретонец потрясает ножницами.

— Господин Офре,— сказал Бриго, став таким же бледным, как юная покойница,— я слушал вас, потому что вы — господин Офре, но я не посмотрю сейчас на...

— На правосудие! — предостерег его Офре.

— Разве существует правосудие? — воскликнул бретонец.— Вот оно, правосудие! — продолжал он, угрожая своими сверкающими на солнце ножницами стряпчему, хирургу и судебному приставу.

— Друг мой,— обратился к нему священник,— к правосудию прибег защитник господина Рогрона, обвиняемого в тяжелом преступлении; нельзя отказывать обвиняемому в возможности оправдаться. Адвокат господина Рогрона заявляет, что если это бедное дитя погибло от нарыва в голове, то с бывшего ее опекуна обвинение должно быть снято; ведь доказано было, что Пьеретта долго молчала об ушибе...

— Довольно! — крикнул Бриго.

— Мой клиент...— начал Винэ.

— Твой клиент,— воскликнул Бриго,— отправится в преисподнюю, а я на эшафот!.. Если лекаришка не уберет сейчас же своего инструмента, если кто-либо хоть пальцем коснется той, которую замучил твой клиент,— я убью его на месте.

— Это сопротивление власти,— сказал Винэ,— мы дадим знать судье.

И все пятеро посторонних удалились.

— Ох, сыночек! — воскликнула старуха, поднявшись с колен и бросаясь на шею Бриго.— Скорей похороним ее, а не то они еще вернутся!..

— Когда свинцовая крышка будет запаяна,— сказал слесарь,— они, пожалуй, не посмеют.

Господин Офре поспешил к своему зятю г-ну Лесуру, чтобы попытаться уладить дело. Винэ только этого и хотел. Раз Пьеретта умерла, дело об опеке, еще не разбиравшееся в суде, прекращалось само собой, ибо невозможно было прийти ни к какому заключению ни в пользу Рогронов, ни против них: вопрос оставался нерешенным. Ловкий стряпчий предвидел, какое действие возымеет его ходатайство о пересмотре дела.

В полдень г-н Дефондриль доложил суду о результатах следствия, произведенного им по делу Рогронов, и суд вынес превосходно обоснованное постановление о прекращении дела.

Рогрон не посмел показаться на похоронах Пьеретты, которую провожал весь город. Винэ пытался было привести его на кладбище, но бывший галантерейщик побоялся вызвать всеобщее негодование.

Когда засыпана была могила Пьеретты, Бриго покинул Провен и пешком отправился в Париж. Он подал прошение супруге дофина о том, чтобы в память заслуг отца его зачислили в гвардию, куда и был немедленно принят. В самом начале алжирской экспедиции он снова обратился с просьбой, чтоб его послали в Алжир. Маршал Бурмон произвел его из сержантов в офицеры. Сын майора сражался так, как будто он искал смерти. Но смерть щадила Жака Бриго, он отличился во всех недавних походах, не будучи при этом ни разу ранен. Теперь он командир батальона линейных войск. Он лучший из офицеров и вместе с тем самый молчаливый. Вне службы он не произносит почти ни слова, ко всему равнодушен, совершает одинокие прогулки. Каждому ясно, что его снедает какое-то тайное горе, к которому все относятся с уважением. Он — обладатель сорока шести тысяч франков, которые по завещанию оставила ему старуха Лоррен, скончавшаяся в Париже в 1829 году.

На выборах 1830 года Винэ был избран депутатом; услуги, оказанные им новому правительству, доставили

ему место генерального прокурора. Он приобрел такой вес, что отныне его всегда будут избирать в депутаты. Рогрон — главноуправляющий окладными сборами в том самом городе, где проживает генеральный прокурор Винэ; и по странной случайности г-н Тифен состоит там же первым председателем королевского суда, ибо этот служитель правосудия, не колеблясь, перешел на сторону Орлеанского дома. Бывшая красавица г-жа Тифен живет в добром согласии с прекрасной г-жой Рогрон. Винэ в наилучших отношениях с председателем суда Тифеном.

Что же касается тупоголового Рогрона, то иной раз он изрекает: «Луи-Филипп тогда лишь станет настоящим королем, когда у него будет возможность возводить в дворянство»,— или что-нибудь в этом роде.

Совершенно очевидно, что он повторяет чьи-то чужие слова. Его пошатнувшееся здоровье позволяет г-же Рогрон надеяться, что в скором времени ей удастся выйти замуж за генерала маркиза де Монриво, пэра Франции, префекта департамента, который часто ее навещает и окружает вниманием. Прокурор Винэ в своих обвинительных речах неизменно требует головы обвиняемого и никогда не верит в его невиновность. Этот образцовый прокурор слывет одним из любезнейших чиновников судебного ведомства; не меньшим успехом пользуется он также в Париже в палате депутатов; а при дворе он — искуснейший царедворец.

Как и обещал ему Винэ, генерал барон Гуро, благородный обломок нашей славной армии, женился на некоей двадцатипятилетней девице Матифа, дочери парижского москательщика с улицы Ломбар, принесшей ему в приданое полтораста тысяч франков. Он стал, согласно предсказанию Винэ, префектом одного из департаментов, неподалеку от Парижа. За подавление восстаний, происходивших во время министерства Казимира Перье, он получил звание пэра Франции. Барон Гуро был одним из генералов, взявших штурмом монастырь Сен-Мерри и радовавшихся возможности расправиться со «штафирками», пятнадцать лет досаждавшими им; усердие Гуро вознаграждено было большим крестом ордена Почетного легиона.

Ни одно из действующих лиц, повинных в смерти Пьеретты, не чувствует ни малейшего угрызения совести. Г-н Дефондриль по-прежнему увлекается археологией; в интересах своего избрания в депутаты генеральный прокурор Винэ позаботился о его назначении председателем суда. У Сильвии есть свой небольшой кружок приближенных, она управляет имуществом брата. Она дает деньги в рост под большие проценты и тратит на себя не более тысячи двухсот франков в год.

Когда какой-нибудь уроженец Провена, вернувшийся из Парижа, чтобы устроиться у себя на родине, выходит из дома мадемуазель Рогрон и встречается на маленькой площади с одним из старых приверженцев Тифенов, тот говорит ему: «У Рогронов была когда-то какая-то скверная история из-за их воспитанницы...»

— Борьба партий! — отвечает на это председатель суда Дефондриль.— Тогда умышленно распускали всякие чудовищные слухи. По доброте сердечной Рогроны взяли к себе эту Пьеретту, довольно миленькую, но бедную девочку; подростком она завязала интрижку с подмастерьем столяра и босиком подбегала к окну, чтобы поговорить с ним, когда он стоял вон там, видите? Влюбленные при помощи веревочки посылали друг другу любовные записки. Вы, конечно, понимаете, что в октябрьские и ноябрьские холода этого было вполне достаточно, чтобы девочка, страдавшая бледной немочью, серьезно захворала. Рогроны вели себя превосходно; они не потребовали даже причитавшейся им части наследства покойницы и полностью предоставили его бабушке. Мораль сей басни такова, друзья мои: дьявол наказывает нас неминуемо за любое наше благодеяние.

— О! Но все это происходило совсем не так! Папаша Фраппье рассказывал мне об этом совершенно по-иному!

— Ну, папаша Фраппье сверяется больше со своим винным погребом, нежели с памятью,— вмешивается какой-либо завсегдатай салона мадемуазель Рогрон.

— Однако старый господин Абер...

— Ах, он... А вы разве не знаете, как обстояло дело с ним?

— Нет.

— Да ведь он же пытался женить господина Рогро-

на, главноуправляющего окладными сборами, на своей сестре.

Есть двое людей, каждый день вспоминающих Пьеретту: врач Мартене и майор Бриго — только они одни знают страшную правду.

Чтобы представить себе эту же историю в широких масштабах, достаточно было бы перенести ее в средние века, на такую обширную арену, как Рим того времени, где прекрасная, юная девушка — Беатриче Ченчи — приговорена была к смертной казни в силу таких же интриг и по тем же почти причинам, что свели в могилу Пьеретту. Единственным защитником Беатриче Ченчи был художник, живописец. Ныне история и потомство, доверяя портрету кисти Гвидо Рени, осуждают папу, а в Беатриче видят одну из трогательнейших жертв гнусных интриг и низких страстей.

Согласитесь, что закон мог бы служить превосходной защитой для общественных плутней, не будь божественной справедливости.

Ноябрь 1839 г.

ЖИЗНЬ ХОЛОСТЯКА

Господину Шарлю Нодье, члену французской Академии, библиотекарю Арсенала.

Вот, мой дорогой Нодье, произведение, полное проступков, совершенных при закрытых дверях, в домашнем кругу и поэтому избегших преследования законом, однако вмешательство десницы божьей, столь часто именуемое случаем и замещающее человеческое правосудие, настигло их своей карой — так что выводы остаются не менее действительными и поучительными, хотя их и излагает здесь одно насмешливое действующее лицо. По моему разумению, тут содержится великий урок касательно семьи и материнского долга. Быть может, мы слишком поздно замечаем результаты, порожденные умалением отцовской власти. Эта власть, в прежние времена прекращающаяся только со смертью отца, составляла тогда единственное человеческое судилище, которому подведомственны были домашние преступления, а в важных случаях королевская власть брала на себя выполнение приговоров. Какой бы нежной и доброй ни была мать, она не замещает этих царственных патриархов, как женщина не замещает короля на троне; а если бывают подобные исключения, то они создают чудовищ. Быть может, мне еще не приходилось рисовать картину, которая яснее показывала бы, до какой степени нерасторжимый брак необходим для европейских обществ, каковы несчастные последствия женской слабости и какую опасность влечет за собой личная корысть, когда она не обуздана. Если бы общество, основанное единственно на власти денег, испытало трепет, удостоверившись в бессилии правосудия перед действием той системы, которая обожествляет успех, допуская все средства, ведущие к нему! Если бы оно поспешило обратиться к католичеству, чтобы очистить массы религиозным чувством и воспитанием иного рода, чем то, которое дается в светском университете! Достаточно прекрасных характеров, достаточно великих и благородных примеров самопожертвования будет во всем блеске представлено в «Сценах военной жизни», чтобы здесь мне было позволено указать, какую испорченность порождают нужды войны в умах некоторых людей, осмеливающихся действовать в частной

жизни, как на поле битвы. Вы бросили на наше время прозорливый взгляд, философский смысл которого выявляется в ряде горьких размышлений, пронизывающих ваши изящные страницы, и вы лучше, чем кто бы то ни было, оценили опустошения, произведенные в духовном состоянии нашей страны четырьмя различными политическими системами. Таким образом, я не мог поручить эту историю покровительству авторитета более высокого. Быть может, ваше имя защитит мое произведение от нападок, которых ему не избежать: какой больной остается безгласным, когда хирург снимает покровы с его самых кровоточащих ран? К удовольствию посвятить вам эту сцену присоединяется гордость предать гласности ваше благоволение к тому, кто именует себя здесь одним из ваших искренних почитателей,—

де Бальзаку.

В 1792 году буржуазия Иссудена пользовалась услугами одного доктора, по имени Руже, который прослыл человеком весьма зловредным. Как некоторые осмеливались утверждать, он превратил свою жену в совершенно несчастное существо, хотя она и была самой красивой женщиной в городе — впрочем, быть может, немного глуповатой. Несмотря на инквизиторские расспросы друзей, пересуды равнодушных и злословие завистников, жизнь этой семьи оставалась малоизвестной. Доктор Руже принадлежал к числу тех людей, о которых в своем кругу говорят: он *неуживчив*. Таким образом, при жизни доктора о нем молчали и приветливо ему улыбались.

Жена его, из семьи Декуэнов, в девичестве довольно болезненная (говорили, что доктор поэтому-то и женился на ней!), сначала родила сына, потом дочь, которая по воле случая появилась на свет через десять лет после брата — и, как говорили, вопреки ожиданиям самого Руже, хотя он и был врачом. Запоздалая дочь звалась Агатой.

Эти незначительные факты столь просты, столь обыкновенны, что, казалось бы, ничто не оправдывает историка, начавшего с них свое повествование; но если бы они не были известны, то человек такого склада, как доктор Руже, показался бы чудовищем, бесчувственным отцом, в то время как на деле он просто подчинялся скверным склонностям, каковые многими прикрываются при помощи нижеследующей страшной аксиомы: *мужчина должен проявлять характер!*

Это мужественное изречение было причиной несчастья многих женщин.

Отец и мать Декуэны занимались перепродажей шерсти — продавали по поручению фермеров и скупали для торговцев это беррийское золотое руно, получая, таким образом, комиссионные и от тех и от других. Занимаясь этим делом, они стали богатыми и скупыми — заключительный смысл многих существований.

Декуэну, младшему брату г-жи Руже, Иссуден не пришелся по вкусу. Он отправился искать удачи в Париж, где и обосновался бакалейщиком на улице Сент-Оноре. В том и была его погибель. Но что поделаешь? Торговля для бакалейщика увлекательна в такой же мере, в какой противна художнику. Еще недостаточно изучены социальные силы, создающие разные призвания. Любопытно было бы знать, чем определяется желание человека стать продавцом бумаги, а не булочником, с тех пор как сыновья не наследуют обязательно отцовского занятия, как у египтян. Любовь способствовала Декуэну в выборе призвания. При виде своей хозяйки, весьма красивой особы, в которую он безумно влюбился, Декуэн сказал себе: «Я тоже буду бакалейщиком». Только благодаря терпению и деньжонкам, полученным им от отца и матери, он женился на вдове господина Бисиу, своего предшественника. В 1792 году дела Декуэнов были, по общему отзыву, в прекрасном состоянии. Старики Декуэны в то время были еще живы. Покончив с шерстью, они пустили свои капиталы на покупку национальных имуществ — тоже золотое руно! Их зять, почти уверенный в том, что скоро ему предстоит оплакивать жену, отправил дочь в Париж к своему шурину — для того чтобы она посмотрела столицу, да еще по некоторым хитрым соображениям.

Госпожа Декуэн, будучи на двенадцать лет старше своего мужа, отличалась превосходным здоровьем; но она была жирна, как дрозд после сбора винограда, а хитрый Руже достаточно знал медицину, чтобы предвидеть, что господа Декуэны, вопреки заключительным словам волшебных сказок, хоть и будут всегда счастливы, но никогда не будут иметь детей. Супружеская чета могла воспылать любовью к Агате. А доктор Руже хотел лишить дочь наследства и льстил себя надеждой достигнуть своих целей, отправив ее подальше. Эта молодая особа, тогда самая красивая девушка в Иссудене, не бы-

ла похожа ни на отца, ни на мать. Ее рождение поссорило навеки доктора Руже и его близкого друга Лусто, отставного помощника интенданта, которому пришлось покинуть Иссуден. Когда какая-либо семья покидает родные места, столь пленительные, как Иссуден, то местные жители имеют право доискиваться объяснений такого исключительного поступка. По утверждению злых языков, Руже, человек мстительный, заявил, что Лусто умрет не иначе, как от его руки. В устах врача такие слова равносильны были пушечному выстрелу. Когда Национальное собрание упразднило должность помощников интенданта, Лусто уехали и никогда больше не возвращались в Иссуден.

После отъезда этой семьи г-жа Руже проводила все время у родной сестры отставного помощника интенданта, г-жи Ошон, крестной матери ее дочки и единственной особы, с которой она делилась своими горестями. Таким образом, все то немногое, что город Иссуден знал о прекрасной г-же Руже, было рассказано этой доброй женщиной, причем лишь после смерти доктора.

Когда доктор завел речь о том, чтобы отправить Агату в Париж, г-жа Руже сразу сказала:

— Своей дочери я больше не увижу!

(«И, как это ни печально, она была права»,— добавляла, вспоминая об этом, почтенная г-жа Ошон).

Бедная мать стала желтой, как айва, и состояние ее здоровья оправдывало слова тех, кто подозревал, что доктор Руже медленно изводит ее. Повадки ее сына, великовозрастного балбеса, могли только способствовать тому, чтобы несправедливо обвиняемая женщина стала совсем несчастной. Не сдерживаемый — а быть может, и подстрекаемый — своим отцом, этот малый, тупой во всех отношениях, не обнаруживал ни внимания, ни уважения, с какими сын обязан относиться к своей матери. Жан-Жак Руже походил на отца, но был еще хуже, а уж сам доктор не отличался ни телесной, ни душевной красотою.

Прибытие очаровательной Агаты Руже отнюдь не принесло счастья ее дяде Декуэну. Прошла неделя или, вернее, декада (Республика была уже провозглашена), и он был посажен в тюрьму по одному слову Робеспьера Фукье-Тенвилю. Декуэн, имевший неосторожность пове-

рить, что голод был создан искусственно, сделал глупость — высказал это мнение (он думал, что мнения стали свободными) нескольким покупателям и покупательницам, отпуская им товар. Гражданка Дюпле, жена столяра, у которой квартировал Робеспьер и которая вела хозяйство этого великого гражданина, почтила своим вниманием лавку Декуэна, к несчастью для беррийца. Названная гражданка сочла взгляды торговца оскорбительными для Максимилиана I. И без того мало удовлетворенная обращением четы Декуэнов, эта знаменитая вязальщица якобинского клуба рассматривала красоту гражданки Декуэн как некоторого рода признак аристократизма. Передавая слова Декуэна своему доброму и нежному повелителю, она злонамеренно извратила их. Лавочник был арестован по обычному обвинению в *скупке*. Когда Декуэна посадили в тюрьму, его жена стала хлопотать, добиваясь его освобождения; но ее попытки были столь неловки, что если бы какой-нибудь наблюдатель слышал, как она беседует с вершителями судьбы ее мужа, то решил бы, что она хочет приличным образом отделаться от него. Г-жа Декуэн была знакома с Бридо, одним из секретарей министра внутренних дел Ролана и правой рукой всех его преемников по этому министерству.

Чтобы спасти Декуэна, она заставила Бридо действовать. Сам в высшей степени неподкупный, начальник канцелярии, один из тех добродетельных простаков, бескорыстию которых все удивляются, не решился подкупить тех, от кого зависела участь Декуэна; он пытался их просветить! Просвещать людей того времени было все равно, что просить их о восстановлении Бурбонов. Жирондистский министр, боровшийся в те времена с Робеспьером, сказал Бридо: «Да что ты суешься?»

Все, кого ни просил честный начальник канцелярии, повторяли ему эту жестокую фразу: «Да что ты суешься?»

Бридо мудро посоветовал г-же Декуэн сидеть тихо, но она, вместо того чтобы добиваться благосклонности хозяйки Робеспьера, подняла шум и крик против доносчицы; она отправилась к одному члену Конвента, который сам дрожал за свою шкуру, и тот ей сказал: «Я поговорю с Робеспьером».

Прекрасная лавочница успокоилась на этом обещании, а покровитель ее, само собою, хранил глубочайшее молчание. Несколько голов сахару, несколько бутылок хорошего ликера, преподнесенные гражданке Дюпле, спасли бы Декуэна. Это незначительное событие доказывает, что во время революции столь же опасно полагаться на помощь честных людей, как и мошенников: следует рассчитывать только на самого себя. Но если Декуэн и погиб, то, по крайней мере, он имел честь подняться на эшафот вместе с Андрэ Шенье. Там, без сомнения, Поэзия и Торговля впервые наглядно сошлись друг с другом, хотя тайные сношения между ними и тогда были и будут впредь. Смерть Декуэна произвела гораздо большее впечатление, чем смерть Андрэ Шенье. Понадобилось тридцать лет, чтобы узнать, что смерть Шенье была большей потерей для Франции, чем смерть Декуэна. Мероприятия Робеспьера были тем хороши, что до самого 1830 года устрашенные лавочники уже не вмешивались в политику. Лавка Декуэнов была в ста шагах от квартиры Робеспьера. Дела у преемника шли плохо. Потом на этом месте обосновался знаменитый парфюмер Цезарь Бирото. Но эшафот словно распространил там необъяснимую заразу несчастья — изобретатель «Двойной пасты султанш» и «Карминной воды» разорился. Чтобы объяснить действие этих загадочных сил, требуется вмешательство оккультных наук.

Несколько раз посетив жену неудачливого Декуэна, начальник канцелярии был поражен спокойной, холодной и целомудренной красотой Агаты Руже. Приходя утешать вдову, столь безутешную, что она уже не могла продолжать торговлю после смерти своего второго мужа, он кончил тем, что женился в течение одной декады на этой очаровательной девушке, сразу же по приезде ее отца, не заставившего себя долго ждать. Доктор, восхищенный течением дел, далеко превзошедшим его надежды, так как его жена стала единственной наследницей Декуэнов, примчался в Париж не столько для того, чтобы присутствовать на свадьбе Агаты, сколько для того, чтобы составить брачный контракт по своему усмотрению. Бескорыстие и исключительная любовь гражданина Бридо предоставили вероломству доктора свободное поле деятельности, и тот, как подтвердит дальнейший ход

дела, извлек для себя пользу из ослепления своего зятя. К г-же Руже — или, точнее, к доктору — перешло, таким образом, по наследству все имущество, движимое и недвижимое, отца и матери Декуэнов, умерших друг за другом в течение двух ближайших лет. Руже в конце концов получил состояние своей жены, умершей в начале 1799 года. У него были теперь виноградники, он покупал фермы, приобрел мастерские и имел шерсть для продажи. Его нежно любимый сын ничего не умел делать; но отец создавал ему положение собственника, предоставив ему расти богатым неучем, так как был уверен, что его дитятко, не хуже самых ученых людей, всегда будет знать достаточно, чтобы прожить жизнь и умереть. С 1799 года в Иссудене любители подсчитывать чужие состояния уже приписывали доктору Руже тридцать тысяч ливров ежегодного дохода. После смерти жены доктор вел распутную жизнь, но, если можно так выразиться, при закрытых дверях, соблюдая в этом порядок. Этот доктор, личность весьма колоритная, умер в 1805 году. Бог знает, сколько говорила о нем буржуазия Иссудена и сколько анекдотов ходило о его ужасной личной жизни. Жан-Жак Руже, которого отец в конце концов, убедившись в его глупости, стал держать строго, остался холостым в силу важных обстоятельств, объяснение коих составит значительную часть этой истории. Его безбрачие, как видно будет дальше, отчасти произошло по вине доктора.

Теперь необходимо рассмотреть, к чему привело мщение, предпринятое доктором по отношению к дочери, которую он не считал своей, хотя она, можете в этом не сомневаться, действительно была его дочерью. Никто в Иссудене не заметил одного из тех причудливых явлений, что превращают наследственность в бездну, перед которой теряется наука: Агата была похожа на мать доктора Руже. Подагра, по народной примете, перескакивает через одно поколение и переходит от деда к внуку; так же часто, как подагра, передается подобным же образом и семейное сходство.

И вот, у старшего ребенка Агаты, внешне походившего на мать, был нравственный облик деда, доктора Руже. Завещаем решение этой проблемы XX веку, вместе с прекрасным перечнем наименований микроскопических

существ,— и, быть может, наши потомки напишут по этому темному вопросу столько же глупостей, сколько уже написали наши ученые общества.

Лицо Агаты Руже вызывало всеобщее восхищение — ему, как и лицу Марии, матери нашего спасителя, было суждено и после брака сохранить черты девственности. На ее портрете, который до сих пор висит в мастерской Бридо, переданы безупречный овал лица и неизменная белизна кожи, несмотря на золотистые волосы Агаты, совершенно без веснушек. Не один художник, рассматривая этот спокойный лоб, целомудренный рот, тонкий нос, красивые уши, длинные ресницы, бесконечно нежные глаза темно-синего цвета и все лицо, запечатленное спокойствием, спрашивает и теперь нашего великого живописца: «Это копия какой-нибудь головки Рафаэля?» Ни один мужчина не мог сделать лучшего выбора, чем начальник канцелярии, женившийся на этой молодой девушке. Агата воплощала идеал хозяйки, воспитанной в провинции и никогда не расставшейся со своей матерью. Благочестивая, но не ханжа, она не получила никакого образования, кроме того, что дается женщинам церковью.

Поэтому она была образцовой супругой, но лишь в обычном смысле, так как ее неведение в житейских делах породило не одно несчастье. Надгробная надпись на могиле знаменитой римлянки: «Она блюла дом и пряла шерсть» — превосходно могла бы подвести итог и этой чистой, простой и спокойной жизни. Бридо со времени Консульства фанатически привязался к Наполеону, назначившему его в 1804 году, за год до смерти Руже, начальником отделения. Достаточно удовлетворенный двенадцатью тысячами франков жалованья и получая щедрые наградные, Бридо мало беспокоился о возмутительных результатах ликвидации имущества Руже, происшедшей в Иссудене, по которой Агата не получила ничего. За полгода до смерти старик Руже продал сыну часть своего имущества, остаток которого тоже перешел к нему и по дарственной записи и по праву наследования. Сто тысяч франков, выделенные Агате еще ранее, когда она выходила замуж, составляли всю ее часть наследства от отца и матери

Слепой поклонник императора, Бридо с преданностью фанатичного приверженца служил могучим замыслам этого современного полубога, который, найдя все во Франции разрушенным, хотел все организовать. Никогда начальник отделения не говорил: «Достаточно». Составление проектов, докладных записок, отношений, разработку планов — самую тяжелую ношу он брал на себя, настолько он был счастлив помогать императору; он любил его как человека, обожал как властелина и не выносил ни малейшей критики его действий и предначертаний. С 1804 по 1808 год начальник отделения занимал большую, прекрасную квартиру на набережной Вольтера, в двух шагах от своего министерства и Тюильри. Кухарка и лакей составляли всю домашнюю прислугу г-жи Бридо в блестящую эпоху ее жизни. Агата, встав раньше всех, отправлялась на рынок вместе с кухаркой. В то время как лакей убирал комнаты, она заботилась о завтраке. Бридо никогда не уходил в министерство раньше одиннадцати часов. За все время их брака его жена испытывала неизменную радость, приготовляя ему изысканный завтрак; Бридо вкушал его с особым удовольствием. Зимою и летом, в любую погоду, Агата, высовываясь из окна, смотрела вслед своему мужу, направляющемуся в министерство,— и так до тех пор, пока он не заворачивал на улицу дю Бак. Тогда она сама убирала со стола, смотрела, хорошо ли прибраны комнаты, одевалась, играла с детьми, гуляла с ними или принимала гостей в ожидании мужа. Когда он приносил с собой срочную работу, она усаживалась в его кабинете, возле письменного стола, и, безмолвная, как статуя, вязала, глядя, как он работает, бодрствуя до тех пор, пока бодрствовал он, укладываясь спать за несколько минут до него. Иногда супруги бывали в театре, в министерской ложе. В эти дни они обедали в ресторане, и зрелище ресторанной жизни всегда доставляло г-же Бридо то живое удовольствие, какое оно доставляет лицам, не знающим Парижа. Вынужденная часто бывать на больших званых обедах, на которые приглашали начальника отделения, руководившего частью министерства внутренних дел, а также устраивать ответные обеды, Агата подчинялась требованиям роскоши, обязательной для тогдашних туалетов, но, вернувшись домой, с радостью сбрасы-

вала с себя это показное богатство и опять возвращалась к своей провинциальной простоте. Раз в неделю, по четвергам, Бридо принимал друзей. И наконец на масленицу он устраивал большой бал. Такова в немногих словах история этой супружеской жизни, отмеченной только тремя значительными событиями: рождением, с промежутком в три года, двух детей и смертью Бридо, который погиб в 1808 году, надорвав свое здоровье ночной работой и именно в тот момент, когда император собирался назначить его главноуправляющим, дать ему графский титул и чин государственного советника. В те времена Наполеон усиленно занимался внутренними делами, он заваливал Бридо работой и в конце концов разрушил здоровье неутомимого чиновника. Наполеон, у которого Бридо никогда ничего не просил, однажды осведомился о его образе жизни и состоянии. Узнав, что у этого преданного человека нет ничего, кроме должности, он увидел в нем одного из тех неподкупных людей, которые возвышали, облагораживали его администрацию, и пожелал осыпать его наградами. Стремление завершить огромную работу, прежде чем император отправится в Испанию, убило начальника отделения, скончавшегося от воспалительной лихорадки.

Император, приехавший в Париж, чтобы в несколько дней подготовить кампанию 1809 года, сказал, узнав об этой утрате: «Есть люди, которых никогда никем не заменить». Пораженный примером преданности Бридо, не рассчитывавшего ни на одно из блестящих отличий — предназначенных лишь для военных,— император решил учредить и для гражданских чинов орден, дающий большие преимущества, так же как он создал для военных орден Почетного легиона. Впечатление, произведенное на него смертью Бридо, внушило ему мысль об ордене Объединения, но он не успел завершить свой аристократический замысел, память о котором настолько исчезла, что при упоминании этого несуществующего ордена большинство читателей задаст вопрос, каковы были его знаки. Его должны были носить на голубой ленте. Император назвал его орденом Объединения, имея намерение соединить знаки испанского и австрийского орденов Золотого Руна. «Провидение помешало такому надругательству»,— сказал по этому поводу один прусский

дипломат. Император велел доложить себе о положении вдовы Бридо. Оба ее мальчика были определены в императорский лицей, а все расходы по их воспитанию император принял на свой счет. Кроме того, он назначил г-же Бридо пенсию в четыре тысячи франков, без сомнения, имея в виду позаботиться в будущем об обеспечении обоих сыновей.

Со времени своего замужества и до кончины супруга г-жа Бридо не имела никаких сношений с Иссуденом. Как раз, когда умерла ее мать, она ждала второго ребенка. А в то время, когда умер отец, который, как она знала, мало любил ее, готовилась коронация императора, и это доставило столько хлопот г-ну Бридо, что она не пожелала покинуть мужа. Жан-Жак Руже, ее брат, не написал ей ни слова после ее отъезда из Иссудена. Весьма огорченная молчаливым отречением от нее отца и брата, Агата в конце концов и сама стала очень редко думать о тех, кто совсем забыл о ней. Получая все годы письма от своей крестной матери г-жи Ошон, она отвечала ей общепринятыми фразами, не вдумываясь в советы, которые обиняком давала ей эта превосходная и благочестивая женщина.

Незадолго до смерти доктора Руже г-жа Ошон написала своей крестнице, что ей ничего не достанется после отца, если она не пришлет доверенности г-ну Ошону. Агате до отвращения не хотелось вступать в спор со своим братом. А г-н Бридо, поняв, быть может, что такой грабеж согласовался с берриийскими нравами и обычаями, а еще, быть может, и потому, что этот справедливый и чистый человек разделял душевное величие и равнодушие своей жены к материальным интересам,— не захотел послушать Рогена, своего нотариуса, советовавшего ему воспользоваться своим положением и опротестовать действия отца, при помощи которых тому удалось лишить дочь ее законной части.

Супруги согласились на все, что было решено в Иссудене. Тем не менее ввиду этих обстоятельств Роген заставил начальника отделения поразмыслить об ущемленных интересах г-жи Бридо. Этот высокой души человек подумал, что в случае его смерти Агата останется без средств. Тогда он пожелал проверить состояние своих дел и нашел, что с 1793 по 1805 год он и жена вынужде-

«ЖИЗНЬ ХОЛОСТЯКА».

«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

ны были взять около тридцати тысяч франков из пятидесяти тысяч, которые старый Руже фактически дал своей дочери в приданое; оставшиеся двадцать тысяч Бридо поместил в государственные бумаги. Государственная рента стояла тогда в сорока франках. Благодаря этому у Агаты было около двух тысяч ливров дохода с государственной ренты.

Таким образом, оставшись вдовой, г-жа Бридо при шести тысячах ливров дохода могла жить безбедно. Будучи женщиной провинциального склада, она хотела отпустить лакея, оставив только кухарку, и переменить квартиру; но ее близкая подруга, упорно называвшая себя ее теткой,— г-жа Декуэн, продала свою обстановку, оставила свою квартиру и поселилась вместе с Агатой, заняв под спальню кабинет покойного Бридо. Обе вдовы соединили свои доходы и жили на двенадцать тысяч франков в год. Такой образ действий кажется само собой разумеющимся и естественным. Но ничто в жизни не требует большего внимания, чем то, что кажется естественным,— к необычному и так относятся с недоверием; обратите внимание на людей с большим жизненным опытом: адвокаты, судьи, доктора, священники придают огромное значение простым обстоятельствам, за что и приобретают репутацию мелочных людей. Змея под цветами — один из превосходных мифов, которые древность завещала нам в руководство нашими делами. Сколько раз дураки, чтобы оправдаться в собственном мнении и во мнении других, восклицают: «Это так просто, что каждый бы попался!»

В 1809 году г-же Декуэн, которая никогда не говорила о своем возрасте, исполнилось шестьдесят пять лет. Прозванная в свое время «прекрасной лавочницей», она принадлежала к числу редко встречающихся женщин, которых щадит время; благодаря своему замечательному здоровью она сохранила красоту, которая, впрочем, серьезного исследования уже не выдерживала. Среднего роста, полная, свежая, она отличалась прекрасными плечами и слегка розоватой кожей. Ее белокурые волосы с каштановым оттенком нисколько не изменили своего цвета, несмотря на катастрофу с Декуэном. Необыкновенная лакомка, она любила готовить себе вкусные блюда, но хотя и казалась погруженной в кухонные заботы, обожала

театр и предавалась пороку, скрытому ею под покровом самой глубокой тайны: она ставила на лотерею! Не есть ли это именно та пропасть, которую мифология назвала бочкой Данаид? Декуэнша — на такой манер следует именовать каждую женщину, питающую пристрастие к лотерее,— быть может, расходовала немного больше, чем надо, на туалеты, как и все женщины, которые имеют счастье долго оставаться молодыми. За исключением этих маленьких недостатков, она была весьма приятна в совместной жизни. Всегда в ладу со всеми, ни с кем не споря, она нравилась своей мягкой и заразительной веселостью. В особенности она отличалась одним истинно парижским качеством, которое соблазняет ушедших на покой приказчиков и старых коммерсантов: она понимала шутку! Если она не вышла в третий раз замуж, то в этом, конечно, виновата эпоха. Во время войн Империи мужчины, собиравшиеся жениться, слишком легко находили молодых, красивых и богатых невест, чтобы интересоваться шестидесятилетней женщиной. Г-жа Декуэн старалась повеселить и г-жу Бридо: она часто таскала ее в театр, каталась с ней в экипаже, устраивала ей изысканные обеды в своем кругу и даже попыталась выдать ее замуж за своего сына Бисиу,— она доверила ей страшную тайну, глубоко хранимую ею, покойным Декуэном и его нотариусом: у моложавой, изящной г-жи Декуэн, которой, по ее словам, было тридцать шесть лет, имелся сын тридцати пяти лет, уже вдовец, майор 21-го пехотного полка; впоследствии он погиб в чине полковника в битве под Дрезденом и оставил единственного сына. Г-жа Декуэн виделась с внуком только тайком и выдавала его за сына первой жены своего покойного мужа. Ее признание было актом осторожности: сын полковника воспитывался в императорском лицее с двумя сыновьями Бридо, получая половину стипендии. Этот мальчик, уже в лицее отличавшийся тонкостью ума и насмешливостью, позднее составил себе громкую славу как рисовальщик и острослов. Агата любила теперь только своих сыновей и жила только ради них; она отказалась от второго брака и по доводам разума и из чувства верности. Но для женщины легче быть хорошей женой, чем хорошей матерью. Вообще говоря, на вдову возложены две противоречивые обязанности: она мать — и в то же

время должна применять отцовскую власть. Немногие из женщин обладают достаточно сильным характером, чтобы взяться за эту двойную задачу и выполнить ее. Поэтому-то бедная Агата, при всех своих добродетелях, оказалась без вины виноватой во многих несчастьях. Недалекая и, как свойственно людям прекрасной души, слишком доверчивая, она стала жертвой г-жи Декуэн, которая ввергла ее в пучину ужасающего несчастья. Г-жа Декуэн ставила всегда на «терн», а лотерея, как известно, не открывает кредита своим участникам. Распоряжаясь всем в доме, она имела возможность ставить деньги, назначенные на хозяйственные расходы, и постепенно влезала в долги, надеясь обогатить своего внука Бисиу, свою дорогую Агату и маленьких Бридо. Когда долг достиг десяти тысяч франков, она принялась ставить еще бо́льшие суммы, в надежде, что ее любимый «терн», не выходивший уже девять лет, заполнит пропасть дефицита. После этого долг стал быстро нарастать. Дойдя до двадцати тысяч франков, г-жа Декуэн совсем потеряла голову — и не выиграла ничего. Тогда ей пришло на мысль пустить в ход свое состояние, чтобы выплатить долг племяннице, но Роген, ее нотариус, доказал ей невозможность осуществить это благородное намерение. Покойный Руже после смерти своего шурина Декуэна захватил наследство, устранив г-жу Декуэн, которой было предоставлено лишь право пожизненно пользоваться некоторыми доходами с имущества, перешедшего к Жан-Жаку Руже. Ни один ростовщик не захотел бы дать двадцать тысяч франков женщине шестидесяти семи лет, имеющей четыре тысячи пожизненного дохода, хотя в то время охотно давались ссуды из десяти процентов. Однажды утром г-жа Декуэн бросилась к ногам своей племянницы и, рыдая, призналась во всем. Г-жа Бридо, не сказав ей ни слова упрека, рассчитала лакея и кухарку, продала лишнюю мебель, три четверти своих государственных бумаг, уплатила долги и съехала с квартиры.

Один из самых страшных закоулков Парижа — это, без сомнения, часть улицы Мазарини от пересечения ее с улицей Генего до того места, где она сливается с улицей Сены, позади дворца Института. Высокие серые

стены коллежа и библиотеки, завещанной городу Парижу кардиналом Мазарини, где впоследствии обосновалась Французская академия, отбрасывают леденящую тень на этот закоулок; солнце здесь показывается редко, постоянно дует северный ветер. Несчастная разоренная вдова поселилась на четвертом этаже дома, расположенного в этом сыром, темном и холодном углу. Перед домом возвышались здания Института, занятые тогда помещениями своеобразных существ, известных у буржуа под именем художников, а в мастерских — под именем «мазилок». Сюда, случалось, въезжали в качестве «мазилок», а выезжали правительственными стипендиатами— в Рим! Такая операция сопровождалась исключительным шумом в то время года, когда в эти помещения заключали соискателей. Чтобы получить премию, нужно было в течение установленного времени создать: скульптору — статую в глине, живописцу — одну из тех картин, которые можно видеть в Школе изящных искусств, музыканту — кантату, архитектору — проект здания. Теперь, когда пишутся эти строки, «зверинец» уже перевели из мрачных и холодных зданий в изящный Дворец искусства, в нескольких шагах от них.

Из окон г-жи Бридо видны были забранные решеткой помещения — зрелище глубоко печальное. На севере перспектива замыкалась зданием Института. А если смотреть вверх по улице, то единственным отдыхом для глаз была вереница фиакров, стоявших в верхней части улицы Мазарини. Поэтому вдова в конце концов поставила на свои окна три ящика с землей и развела один из тех висячих садиков, которые находятся под угрозою полицейских распоряжений, но поглощают своей растительностью свет и воздух. Этот дом, примыкающий задним фасадом к другому дому на улице Сены, по необходимости как бы стиснут, лестница в нем винтовая. Четвертый этаж — последний. Три окна — три комнаты: столовая, маленькая гостиная, спальня; а напротив, через площадку лестницы, вверху — маленькая кухня, две комнаты для мальчиков и обширный чердак, не имеющий определенного назначения. Г-жа Бридо выбрала эту квартиру по трем соображениям: из-за дешевизны — она стоила четыреста франков в год, поэтому Агата заключила договор на девять лет; из-за близости к коллежу —

было недалеко от императорского лицея; и наконец из-за возможности оставаться в привычном квартале. Обстановка квартиры соответствовала дому. В столовой, оклеенной дешевыми желтыми обоями в зеленых цветочках, с красно-бурым ненавощенным полом, было только самое необходимое: стол, два буфета, шесть стульев — все из прежней квартиры. Гостиная была украшена обюсоновским ковром, подаренным г-ну Бридо еще в те времена, когда в министерстве обновляли мебель. Там вдова поставила обычную в то время мебель красного дерева с головами сфинксов — в 1806 году выделывавшуюся целыми партиями Яковом Демальтером,— обитую зеленой шелковой тканью с белыми розетками.

Портрет Бридо, написанный пастелью кем-то из друзей и висевший над диваном, сразу же привлекал внимание. Хотя этому портрету с точки зрения искусства многого недоставало, все же так и бросалась в глаза решительность этого безвестного, великого гражданина, запечатленная в чертах его лица. Был хорошо передан ясный взгляд, спокойный и гордый. Проницательность, о которой свидетельствовал строгий рот, прямодушная улыбка, выражение лица этого человека, которого император назвал justus et tenax [1], были изображены если не талантливо, то во всяком случае точно. Вглядываясь в портрет, сразу можно было сказать, что этот человек всегда выполнял свой долг. Его лицо выражало ту неподкупность, которую приписывают многим людям, служившим Республике. Напротив, над ломберным столом, блистал портрет императора в красках, работы Верне, где Наполеон изображен несущимся на лошади в сопровождении своего эскорта. Агата обзавелась двумя большими клетками для птиц. В одной сидели чижи, в другой — тропические птички. Она предавалась этой детской забаве после своей утраты, непоправимой как для нее, так и для многих. Что касается спальни вдовы, то к концу третьего месяца она стала такой, какой ей и надлежало быть, и оставалась в этом виде до злосчастного дня, когда Агата принуждена была ее покинуть. Беспорядок, господствовавший здесь, не поддается никакому описанию. Кошки расположились на постоянное

[1] Честным и постоянным *(лат.)*.

жительство в креслах, чижи, иногда выпускаемые из клеток, всюду оставляли свои многоточия. Бедная добрая вдова в разных местах ставила для них просо и куросле́п. Кошки лакомились из блюдечек с отбитыми краями. Повсюду валялись всевозможные пожитки. От этой комнаты так и веяло провинцией и верностью. Все, что принадлежало покойному Бридо, заботливо сохранялось. Его письменные принадлежности удостоились попечения, которое в былые времена вдова рыцаря оказывала оружию покойного супруга. Каждый поймет трогательный культ, созданный этой женщиной, по одной подробности — она завернула и запечатала перо, а на обертке сделала надпись: «Последнее перо, служившее моему дорогому мужу».

Чашка, из которой он сделал последний глоток, стояла под стеклом на камине. Впоследствии на стеклянных колпаках, покрывавших драгоценные реликвии, стали красоваться чепцы и шиньоны. После смерти Бридо у этой молодой, тридцатипятилетней вдовы не осталось ни щегольства, ни женской заботливости о себе. Расставшись с единственным человеком, которого она знала, любила и уважала, который не причинил ей ни малейшего огорчения, она перестала чувствовать себя женщиной, все стало для нее безразлично; она больше не занималась своим туалетом. Нельзя было встретить более простого и полного отречения от супружеского счастья и женского кокетства. Некоторые существа благодаря любви приобретают способность переносить свое «я» на другого; и когда тот исчезает—жизнь для них кончена. Агата, жившая теперь только для своих детей, испытывала глубокую печаль, понимая, на какие лишения их обрекало ее разорение. Со времени переезда на улицу Мазарини ее лицо приобрело отпечаток меланхолии, придававший ему трогательность. Она немного рассчитывала на императора, но он не мог больше ничего сделать сверх того, что уже сделал: из его средств на каждого сына отпускалось в год шестьсот франков сверх содержания в лицее.

Что касается блестящей г-жи Декуэн, то она занимала на третьем этаже такую же квартиру, как и ее племянница. Она передоверила г-же Бридо право на получение трех тысяч франков из ее пожизненного дохода. Но-

тариус Роген оформил для г-жи Бридо это право, но требовалось около семи лет, чтобы такое медленное пополнение возместило нанесенный ущерб. Роген, которому было поручено восстановить пятнадцать тысяч франков ренты г-жи Бридо, постепенно накапливал удерживаемые таким образом суммы. Г-жа Декуэн, ограниченная тысячью двумястами франков в год, скромно жила со своей племянницей. Эти честные, но слабые женщины сообща наняли приходящую служанку, которая работала у них только по утрам. Г-жа Декуэн, любившая стряпать, сама готовила обед. Несколько друзей, министерских чиновников, которых в свое время определил на службу Бридо, приходили по вечерам играть с двумя вдовами в карты. Г-жа Декуэн все еще продолжала ставить на свой «терн», который, по ее словам, «упрямился». Она надеялась одним ударом восстановить то, что без спроса позаимствовала у своей племянницы. Обоих маленьких Бридо она любила больше, чем своего внука,—настолько чувствовала свою вину перед ними и так восхищалась добротой своей племянницы, которая в минуты самых сильных испытаний не попрекнула ее ни единым словом. Можете себе представить, как г-жа Декуэн лелеяла Жозефа и Филиппа! Прибегая к таким же средствам, как и все, кто должен загладить свою вину, старая участница французской императорской лотереи устраивала для мальчиков вкусные обеды, особенно налегая на сладкие блюда. Позднее Жозеф и Филипп чрезвычайно легко умели извлекать из ее карманов небольшие суммы: младший — на рисовальный уголь, на карандаши, бумагу, гравюры; старший — на яблочные пирожные, шары, шнурки, перочинные ножики. Страсть, владевшая г-жой Декуэн, заставляла ее довольствоваться пятьюдесятью франками в месяц на все расходы, чтобы на остальные деньги иметь возможность играть.

Со своей стороны, и г-жа Бридо, из материнской любви, не позволяла своим расходам подниматься до более значительной цифры. Чтобы наказать себя за доверчивость, она героически сократила свои небольшие потребности. Как у многих людей робкого ума и ограниченных взглядов, раз задетое чувство и проснувшаяся недоверчивость привели к широкому развитию в ней одного недостатка — скупости, но у нее он получил силу

добродетели. Император может о них забыть, говорила она себе, может погибнуть в сражении, а ее пенсия окончится вместе с ее жизнью Она содрогалась, предвидя для своих детей опасность остаться без всяких средств. Роген пытался ей доказать, что, удерживая в течение семи лет из доходов г-жи Декуэн по три тысячи франков, можно будет возместить проданную ренту, но она неспособна была понять вычисления нотариуса, не верила ни ему, ни своей тетке, ни государству,— она рассчитывала только на себя и на свои лишения: откладывая каждый год три тысячи франков из своей пенсии, она будет располагать через десять лет тридцатью тысячами франков, и, значит, полутора тысячами франков дохода для одного из своих детей. В тридцать шесть лет она могла надеяться прожить еще лет двадцать и, следуя своей системе, обеспечить обоим детям сносное существование.

Таким образом, обе вдовы перешли от прежнего достатка к добровольной бедности,— одна под влиянием порока, другая под знаменем самой чистой добродетели. Ничто из таких мелочных обстоятельств не бесполезно для глубокого поучения, которое воспоследует из этой истории, хотя и взятой из самой обыденной жизни, однако именно потому и особенно значительной. Беготня «мазилок» по улице, самый вид их квартир, необходимость взирать на небо, чтобы глаз отдохнул от ужасного зрелища, открывающегося из этого вечно сырого закоулка, портрет, исполненный души и величия, несмотря на неопытность художника-любителя, выцветшие, хотя со вкусом подобранные цвета занавесей этого тихого и спокойного обиталища, растения висячего садика, бедность домашнего обихода, особое пристрастие матери к старшему сыну, ее сопротивление склонностям младшего — одним словом, совокупность фактов и всей обстановки, являющихся введением в эту историю, заключает в себе, быть может, истоки творчества Жозефа Бридо, одного из великих художников современной французской школы.

Филипп, старший из двух сыновей Бридо, был поразительно похож на мать. Блондин с голубыми глазами, он смотрел на всех с вызывающим видом, что сходило за признак живости и храбрости. Старик Клапарон, поступивший в министерство одновременно с Бридо, один из верных друзей, приходивший по вечерам играть в

карты с обеими вдовами два-три раза в месяц, говаривал, потрепав Филиппа по щеке:

— Вот молодчина, его не запугаешь!

Под влиянием таких поощрений мальчик из бахвальства решил вести себя соответствующим образом. Благодаря пробужденной в нем склонности характера он стал отличаться во всех телесных упражнениях. Участвуя в школьных драках, он выработал в себе ту отвагу и презрение к боли, которые создают воинскую доблесть; но, естественно, приобрел и величайшее отвращение к наукам, так как общественное воспитание никогда не разрешит трудного вопроса о сочетании умственного и физического развития. Агата на основании своего чисто физического сходства с Филиппом решила, что и душевно они походят друг на друга, и надеялась со временем обнаружить у него свойственные ей тонкие чувства, только еще усиленные решительностью мужского характера. Филиппу было пятнадцать лет, когда его мать поселилась в мрачной квартире на улице Мазарини, и в то [redacted]я отроческая привлекательность сына укрепляла все упования матери. Жозеф, который был на три года моложе брата, походил на своего отца, но наружностью был еще хуже его. Прежде всего его черные густые волосы, стоявшие копной, никак не поддавались гребню, вопреки всем стараниям, а его брат, несмотря на свою живость, всегда оставался красавчиком. Затем, по какому-то предопределению,— а слишком неуклонное предопределение становится привычным,— Жозеф не умел бережно носить свое платье, и стоило ему надеть новое, как он сейчас же превращал его в старое. Старший из самолюбия заботился о своей внешности. Мать незаметно привыкла бранить Жозефа и ставить ему в пример старшего брата. Таким образом, Агата не одинаково относилась к своим детям и, отправляясь их навещать, говорила о Жозефе: «Воображаю, в каком прекрасном состоянии, должно быть, все его вещи!»

Такие мелочи толкали ее сердце в пропасть материнской несправедливости.

Среди людей совершенно заурядных, составлявших общество обеих вдов, ни папаша дю Брюэль, ни старый Клапарон, ни Дерош, ни даже аббат Лоро, духовник Агаты,— решительно никто не замечал склонности Жо-

зсфа к наблюдению. Поглощенный им, будущий живописец не обращал внимания на то, что касалось непосредственно его самого, а в детстве такая особенность столь походила на тупость, что внушала беспокойство его отцу. Необыкновенный объем черепа, огромный лоб — все заставляло опасаться, как бы у ребенка не оказалась водянка головы. Его напряженное лицо, своеобразие которого могло показаться уродством людям, не понимавшим духовной красоты и ее отражения во внешнем виде, в период отрочества было довольно угрюмо. Черты этого лица, впоследствии разгладившиеся, казались сведенными судорогой, а глубокое внимание, которое ребенок уделял окружающему его миру, еще больше напрягало их. В то время как Филипп многими своими качествами льстил тщеславию матери, Жозеф не заслужил от нее ни одного одобрительного замечания. У Филиппа вырывались то остроумные словечки, то удачные ответы, которые внушают родителям убеждение, что их дети будут людьми выдающимися, меж тем как Жозеф оставался задумчивым и молчаливым. Мать ждала чудес от Филиппа и совсем не рассчитывала на Жозефа.

Тяготение Жозефа к искусству развилось благодаря самому обыкновенному случаю: в 1812 году, во время пасхальных каникул, возвращаясь вместе с братом и г-жой Декуэн из Тюильри с прогулки, он заметил ученика художественного училища, рисовавшего мелом на стене карикатуру на какого-то преподавателя, и восхищение пригвоздило Жозефа к мостовой перед этим наброском, в котором так и сверкала злая насмешка. На следующий день мальчик подошел к окну, поглядел на учеников, входивших через ворота с улицы Мазарини, украдкою сбежал вниз, проник в обширный двор Института, где увидел статуи, бюсты, начатые мраморные изваяния, терракоту, гипсы,— и стал все это лихорадочно рассматривать: в нем вдруг заговорил инстинкт, затрепетало призвание. Он вошел в какую-то приоткрытую дверь и в зале с низким потолком увидел с десяток молодых людей, рисовавших статую; для них он тотчас стал предметом всевозможных шуток.

— Детка! Детка! — сказал первый заметивший его художник и, отщипнув кусочек хлеба, швырнул катышком в Жозефа.

— Чей младенец?

— Господи, какой уродец!

Словом, Жозеф добрых четверть часа был потехой для всей мастерской великого ваятеля Шодэ. Но, насмеявшись досыта над ним, ученики были поражены его настойчивостью, его лицом и спросили, чего он хочет. Жозеф ответил, что он очень хочет научиться рисовать, и в ответ на это каждый стал его обнадеживать. Ребенок, подкупленный дружеским тоном своих собеседников, сообщил, что он сын г-жи Бридо.

— О, если ты сын госпожи Бридо,— закричали из всех углов мастерской,— стало быть, ты можешь стать великим человеком. Да здравствует сын госпожи Бридо! Твоя мамаша красива? Если судить по такому образцу, как твоя башка, она должна смахивать на клеща!

— А, ты хочешь быть художником! — сказал самый старший и, встав со своего места, подошел к Жозефу, чтобы поиздеваться над ним.— Но знаешь ли ты, что для этого нужно быть молодцом и вынести великие тяготы? Да, есть такие испытания, что можно переломать себе руки и ноги. Видишь всех этих бе-

спутников? Ну так вот, каждый из них прошел через искус! Обрати внимание, вот этот целую неделю ничего не ел. Посмотрим, можешь ли ты быть художником.

Он взял его руку и вытянул вверх, потом согнул другую так, как будто Жозеф наносил удар кулаком.

— Мы называем это испытанием телеграфа,— сказал он.— Если ты простоишь так четверть часа, не опустив рук и не изменив положения тела, то докажешь, что ты настоящий молодчина.

— Ну же, смелей, малютка! — закричали остальные.— Да, черт возьми, нужно пострадать, чтобы сделаться художником.

Жозеф, с доверчивостью тринадцатилетнего мальчика, не шевелился минут пять, и все ученики серьезно смотрели на него.

— А, ты опускаешь руки! — сказал один.

— Эй, держись, новобранец! — сказал другой.— Посмотри, император Наполеон целый месяц простоял так,— продолжал он, показывая на прекрасную статую работы Шодэ. Император стоя держал скипетр, и эта

статуя в 1814 году была сброшена с колонны, которую она так хорошо завершала.

Через десять минут пот крупными каплями выступил на лбу Жозефа. Но тут в залу вошел какой-то лысый человечек, бледный и болезненный. В мастерской воцарилось почтительное молчание.

— Что это вы делаете, мальчишки? — спросил он, разглядывая мученика мастерской.

— Это один славный малыш, он позирует,— сказал старший из учеников, поставивший Жозефа.

— И вам не стыдно так мучить бедного ребенка? — сказал Шодэ, опуская руку Жозефа.— Давно ты здесь? — спросил он его, дружески потрепав по щеке.

— С четверть часа.

— А что тебе здесь надо?

— Я бы хотел стать художником.

— Откуда же ты пришел?

— От маменьки.

— О, от маменьки! — вскричали ученики.

— Молчать, пачкуны! — крикнул Шодэ.— Чем занимается твоя матушка?

— Она госпожа Бридо. Мой папа умер, он был другом императора. Если вы согласитесь учить меня рисовать, император заплатит, сколько вы попросите.

— Его отец был начальником отделения в министерстве внутренних дел! — вскричал Шодэ, пораженный каким-то воспоминанием.— И ты уже сейчас хочешь быть художником?

— Да, сударь.

— Приходи сюда, когда захочешь, с тобой здесь займутся. Дайте ему папку, бумагу, карандаши, пусть порисует. Знайте же, шалуны,— сказал ваятель,— что я многим обязан его отцу. На, Колодезная Веревка,— сказал он, давая деньги ученику, мучившему Жозефа,— сбегай, купи пирожков, сластей, конфет. По тому, как ты будешь уплетать все это, мы сразу увидим, художник ли ты,—продолжал Шодэ, погладив Жозефа по подбородку.

Затем он обошел работы учеников в сопровождении мальчика, который смотрел, слушал и старался все понять. Сласти были принесены. Вся мастерская, сам скульптор и ребенок отведали их. Теперь Жозефа бало-

вали так же, как раньше дурачили. Эта сцена, обнаружившая насмешливость и сердечность художников, произвела на ребенка, который понял ее инстинктом, громадное впечатление. Появление Шодэ — скульптора, унесенного впоследствии преждевременной смертью,— которому покровительство императора обещало славу, было для Жозефа откровением. Мальчик ничего не сказал матери о своем приключении, но каждое воскресенье и каждый четверг он проводил по три часа в мастерской Шодэ. Старуха Декуэн, баловавшая обоих «ангелочков», снабжала с той поры Жозефа карандашами, сангиной, эстампами и бумагой для рисования. В императорском лицее будущий художник набрасывал портреты своих учителей, рисовал товарищей, пачкал углем стены дортуаров и отличался необыкновенным усердием в классах рисования. Лемир, преподаватель лицея, пораженный не только склонностями Жозефа, но и его успехами, пришел сказать г-же Бридо о призвании ее сына. Агата, женщина провинциального склада, столь же мало смыслившая в искусстве, сколь прекрасно она понимала в хозяйстве, пришла в ужас. Когда Лемир ушел, вдова заплакала.

— Ах, все пропало! — сказала она г-же Декуэн.— Я хотела сделать Жозефа чиновником, для него открывалась готовая дорога в министерстве внутренних дел; в память отца, к двадцати пяти годам его произвели бы в начальники канцелярии,— а он хочет стать художником, оборванцем. Я всегда предвидела, что этот ребенок доставит мне одно только горе!

Тогда г-жа Декуэн призналась, что уже несколько месяцев она поощряла страсть Жозефа и покрывала его посещения Института по воскресеньям и четвергам. В Салоне, куда она его водила, глубокое внимание, которое мальчик уделял картинам, казалось прямо-таки необычайным.

— Если наш Жозеф понимает живопись в тринадцать лет,— сказала она,— то он будет гениальным.

— Да, вспомните, до чего гениальность довела его отца, он умер, изнуренный работой, сорока лет от роду!

В последние дни осени, когда Жозефу должно было исполниться тринадцать лет, Агата, несмотря на уговоры г-жи Декуэн, отправилась к Шодэ, чтобы протестовать против совращения ее сына. Она застала Шодэ

в синей рабочей блузе, за лепкой модели своей последней статуи. Он принял почти нелюбезно вдову человека, когда-то оказавшего ему услугу в обстоятельствах довольно серьезных,— но теперь, чувствуя близость смерти, он хватался за жизнь с такой горячностью, благодаря которой в несколько мгновений человек осуществляет многое, в обычных обстоятельствах неосуществимое. За несколько месяцев он наконец нашел то, что искал так долго, и порывистыми движениями, которые невежественной Агате казались признаками безумия, он хватался то за свою лопаточку, то за глину. В ином расположении духа он расхохотался бы, но теперь, услышав, как маменька проклинала искусство, жаловалась на судьбу, уготованную ее сыну, и просила не пускать его больше в мастерскую, он воспылал священной яростью.

— Я многим обязан вашему покойному мужу и хотел отдать ему свой долг, поддержав вашего сына, руководя его первыми шагами на самом великом пути! — воскликнул он.— Да, сударыня, знайте же, если вы этого не знаете, что великий художник — царь, больше, чем царь; прежде всего он счастливее царя, он независим, он живет по своей воле; кроме того, он царит над миром фантазии. Да, у вашего сына самое прекрасное будущее! У него редкие задатки, они раскрываются столь рано лишь у таких художников, как Джотто, Рафаэль, Тициан, Рубенс, Мурильо (мне кажется, он скорее будет живописцем, чем скульптором). Боже мой! Да если бы у меня был такой сын, я был бы так же счастлив, как был счастлив император, когда у него родился король Римский. Но в конце концов судьбой своего сына распоряжаетесь вы. Действуйте, сударыня, сделайте из него тупицу, механическую куклу, канцелярскую крысу: вы совершите убийство. Все же я надеюсь, что, несмотря на ваши усилия, он так и останется художником. Призвание сильнее всех препятствий, которые ему кто-либо ставит! Призвание, как показывает само слово, означает *призыв!* Им отмечен избранник божий. Вы добьетесь только одного — сделаете вашего ребенка несчастным!— Он яростно швырнул в лохань ненужную ему больше глину и сказал, обращаясь к своей натурщице: — На сегодня достаточно!

Агата подняла глаза и в углу мастерской увидела си-

дящую на табурете голую женщину, которой до сих пор не замечала; при этом зрелище она в ужасе удалилась.

— Эй вы, больше не пускайте сюда маленького Бридо,— крикнул Шодэ своим ученикам.— Это не нравится его мамаше.

— Улюлю! — крикнули ученики, когда Агата закрыла за собой дверь.

«И сюда ходил Жозеф!» — подумала бедная мать, испуганная всем, что она видела и слышала.

С тех пор как ученики класса скульптуры и живописи узнали, что г-жа Бридо не желает, чтобы ее сын стал художником, у них не было большего удовольствия, как заманить к себе Жозефа. Впоследствии, несмотря на обещание, данное матери, не ходить в Институт, мальчик часто ускользал в мастерскую Реньо, где его поощряли пачкать холсты. Когда вдова хотела жаловаться, ученики Шодэ говорили ей, что ведь Реньо — не Шодэ и что, кроме того, она не поручала им оберегать ее сына, и отпускали множество других шуток. Эти жестокие ребята сложили о г-же Бридо песенку в сто тридцать семь куплетов и постоянно распевали ее.

В тот печальный день, вечером, Агата не хотела играть в карты и сидела в кресле, охваченная столь глубокой грустью, что порой слезы навертывались на ее глаза.

— Что с вами, сударыня? — спросил ее старый Клапарон.

— Она думает, что ее сын будет нищенствовать, потому что у него есть способности к живописи,— ответила г-жа Декуэн.— Я же нисколько не тревожусь о будущем своего внука, маленького Бисиу, а ведь он тоже одержим страстью рисовать. Мужчины созданы для того, чтобы пробивать себе дорогу.

— Госпожа Декуэн права,— сказал сухой и жесткий Дерош, который никак не мог, несмотря на свои способности, стать помощником начальника отделения.— У меня, к счастью, только один сын; иначе что бы я стал делать, получая тысячу восемьсот франков жалованья? Ведь моя жена едва зарабатывает тысячу двести франков в своей лавочке, торгуя гербовой бумагой. Я устроил сына младшим писцом к стряпчему, где он получает двадцать пять франков в месяц и завтрак, я даю ему столько же; он обедает и спит дома — вот и все; пусть

продвигается и пробивает себе дорожку! Я заставляю своего мальчика работать больше, чем если бы он был в коллеже, зато придет время — и он сам будет стряпчим. Когда я ему даю деньги на театр, он счастлив, как король, и целует меня. О, я его держу в руках, он отдает мне отчет в израсходованных деньгах. Вы слишком нежничаете со своими детьми. Если ваш сын хочет горе мыкать, пусть его; чем-нибудь он в конце концов станет.

— Что до моего сына,— сказал дю Брюэль, старый начальник отделения, недавно ушедший в отставку,— то ему только шестнадцать лет, мать обожает его; но я бы не обращал внимания на склонности, проявившиеся столь рано. В таком возрасте это чистая фантазия, блажь, которая должна пройти! По-моему, мальчики всегда нуждаются в руководстве.

— Вы, сударь, богаты, вы мужчина, и у вас только один сын,— сказала Агата.

— Честное слово,— подхватил Клапарон,— дети подтачивают наши силы. *(Черви!)* Мой сын бесит меня, он разоряет меня,— что ж, прикажете заботиться о нем? Нет, я не такой колпак! *(Большой шлем!)* Отлично,— от этого ему стало только лучше, да и мне тоже. Отчасти этот шалопай ускорил смерть своей бедной матери. Он стал коммивояжером и нашел свою судьбу; едва он появлялся в доме, как снова исчезал, никогда не сидел на месте, ничему не хотел учиться. Все, чего я прошу у бога,— это умереть раньше, чем он опозорит мое имя! Те, у кого нет детей, лишены многих удовольствий, но они избежали и больших страданий.

— Вот они—отцы! — сказала Агата, снова заплакав.

— Все это я говорю, дорогая, желая вам доказать, что нужно позволить вашему сыну стать живописцем, иначе вы только потеряете время...

— Если бы вы были способны взяться за него как следует,— добавил суровый Дерош,— то я бы посоветовал вам воспротивиться его стремлениям; но вы, как я вижу, слабохарактерная мать, так пускай уж пачкает красками и рисует.

— Пропал! — сказал Клапарон.

— Как — пропал? — вскричала бедная мать.

— Ну да. Пропал мой *большой шлем в червях:* Дерош своей горячкой всегда подводит меня!

— Утешьтесь, Агата,— сказала г-жа Декуэн.— Жозеф будет великим человеком.

После такого обсуждения, похожего на все человеческие обсуждения, друзья вдовы пришли к согласному выводу, который, однако, не успокоил ее. Они посоветовали предоставить Жозефу следовать своему призванию.

— Если он окажется бездарным,— сказал Агате дю Брюэль, ухаживавший за нею,— вы всегда сможете определить его на службу.

На площадке лестницы г-жа Декуэн, провожая трех старых чиновников, назвала их *греческими мудрецами*.

— Она чересчур себя мучает,—сказал дю Брюэль.

— Она должна почитать себя счастливой, что ее сын к чему-то стремится,— в свою очередь, заметил Клапарон.

— Во всяком случае, если господь сохранит нам императора,— сказал Дерош,— Жозефу будет оказано покровительство. Так о чем же ей беспокоиться?

— Когда дело касается детей, то она всего боится,— ответила г-жа Декуэн.

— Вот видите, моя милая,— сказала она, возвратившись,— все они одинакового мнения; почему вы все еще плачете?

— Ах, если бы речь шла о Филиппе, я бы ничего не боялась. Вы не знаете, что творится в мастерских! Там, у художников, сидят голые женщины!

— Но, надеюсь, помещение отапливается,— сказала г-жа Декуэн.

Несколько дней спустя разразилась беда: пришла весть о московском разгроме. Наполеон вернулся, чтобы собрать новые силы и потребовать от Франции новых жертв. Тогда несчастная мать предалась иным тревогам. Филипп, которому был не по вкусу лицей, во что бы то ни стало хотел служить императору. Впечатление от последнего смотра, произведенного Наполеоном в Тюильри, воспламенило Филиппа. В то время воинский блеск, мундиры, эполеты — все это было непреодолимым соблазном для многих молодых людей. Филипп почувствовал такую же склонность к военной службе, как его брат — к искусству.

Без ведома матери он написал императору следующее прошение:

«Государь, я сын вашего Бридо; мне восемнадцать лет, росту я пяти футов шести дюймов; у меня крепкие ноги, хорошее сложение, и я хочу стать вашим солдатом. Прошу вашего покровительства для вступления в армию» и т. д.

Император в двадцать четыре часа отправил Филиппа из императорского лицея в Сен-Сир, и через шесть месяцев, в ноябре 1813 года, он был выпущен младшим лейтенантом в кавалерийский полк. Часть зимы Филипп провел в запасном батальоне; но лишь только он обучился верховой езде, как, преисполненный пыла, выступил в поход. Во время кампании во Франции он получил чин лейтенанта за одно авангардное дело, где его стремительность спасла жизнь полковнику. Император произвел Филиппа в капитаны за участие в сражении при Фер-Шампенуазе, где Филипп состоял при Наполеоне в качестве ординарца. Поощренный таким выдвижением, Филипп заслужил крест при Монтеро. Свидетель прощания Наполеона в Фонтенебло, капитан Филипп, воспламененный этим зрелищем, отказался служить Бурбонам. Вернувшись к матери в июле 1814 года, он застал ее разоренной. Жозефа во время каникул лишили стипендии, а г-жа Бридо, до тех пор получавшая пенсию из средств императора, тщетно просила отнести эту пенсию за счет министерства внутренних дел.

Жозеф, преданный живописи еще больше, чем раньше, был в восторге от всех событий и просил у матери разрешения посещать мастерскую Ренью, обещая ей зарабатывать себе на жизнь. Он считал себя достаточно сильным учеником второго класса, чтобы обойтись без класса риторики.

То, что Филипп всего лишь девятнадцати лет от роду был уже в капитанском чине, был награжден орденом, побывал ординарцем императора в двух сражениях, бесконечно льстило самолюбию матери. Таким образом, хотя он и был грубиян, задира и по существу не имел других достоинств, кроме вульгарной храбрости рубаки, для нее это был все же исключительный человек, в то время как Жозеф, маленький, худой, болезненный дичок, любивший тишину, спокойствие, мечтавший о славе художника, сулил ей, как она думала, только одни страдания и беспокойства.

Зима 1814—1815 годов была удачной для Жозефа, который благодаря тайному покровительству г-жи Декуэн и Бисиу, ученика Гро, ходил работать в знаменитую мастерскую, откуда вышло столько разнообразных талантов и где он тесно связался с Шиннером. Наступило 20 марта, и капитан Бридо, присоединившийся к императору в Лионе и сопровождавший его в Тюильри, был назначен командиром эскадрона гвардейских драгун. После битвы при Ватерлоо, где он был ранен,— правда, легко,— и где заслужил офицерский крест Почетного легиона, он остался при особе маршала Даву в Сен-Дени и не был зачислен в Луарскую армию; благодаря покровительству маршала Даву его не лишили офицерского креста и чина, но перевели на половинное жалованье.

Жозеф, беспокоясь за будущее, занимался в тот период с таким жаром, что несколько раз во время урагана событий сваливался больным.

— Это от запаха красок,— говорила Агата г-же Декуэн,— он непременно должен бросить свои занятия, они вредны для его здоровья.

В ту пору она беспокоилась только за своего старшего сына, подполковника; в 1816 году она снова увиделась с ним, когда его перевели с девяти тысяч франков жалованья, которые он получал в качестве командира драгун императорской гвардии, на уменьшенный оклад в триста франков в месяц. Для него она привела в порядок мансарду над кухней, истратив часть своих сбережений. Филипп стал одним из бонапартистов — завсегдатаев «Кофейни Ламблен», настоящей конституционалистской Беотии; он усвоил привычки, манеры, стиль и образ жизни офицеров на половинном жалованье, а так как он был совсем еще молодым человеком — двадцати одного года,— то и превзошел их, серьезно поклявшись в смертельной ненависти к Бурбонам, не признавая их, даже отказываясь от представлявшихся случаев поступить на службу в армию в том же чине подполковника.

По мнению матери, Филипп обнаруживал большой характер.

— Отец не мог бы вести себя лучше,— говаривала она.

Филиппу хватало половинного жалованья, он не вы-

зывал лишних затрат, в то время как Жозеф целиком находился на содержании обеих вдов. С этого времени уже вполне проявилось предпочтение, оказываемое матерью Филиппу. До сих пор оно было тайным, но преследования, которым подвергся верный солдат императора, воспоминание о ране, полученной любимым сыном, его мужество в несчастье, которое, хотя и постигло Филиппа по его доброй воле, казалось ей несчастьем благородным,— все это переполняло нежностью сердце Агаты. Восклицание «Он несчастен!» оправдывало все. Жозеф, отличавшийся простодушием, свойственным художникам, особенно в начале их поприща, да к тому же приученный восхищаться своим великим братом, нисколько не был уязвлен предпочтением матери, он оправдывал ее, разделяя тот же культ по отношению к храбрецу, передававшему в двух сражениях приказы императора и раненному при Ватерлоо! Как сомневаться в превосходстве этого великого брата, которого он видел в прекрасном зеленом с золотом мундире гвардейских драгун, командующим своим эскадроном на Майском собрании!

Впрочем, Агата, несмотря на неодинаковое отношение к детям, была прекрасной матерью; она любила и Жозефа, но не слепо, она не понимала его, вот и все. Жозеф обожал мать, тогда как Филипп позволял ей обожать себя. Все же драгун смягчал для нее свою солдатскую грубость, но не скрывал презрения к Жозефу, выражая его, впрочем, в дружеской форме. Глядя на своего брата, наделенного такой нелепой огромной головой, похудевшего от неустанной работы, в семнадцать лет хилого и болезненного, он называл его «малыш». Его всегда покровительственное обращение показалось бы оскорбительным, если бы не беззаботность художника, который сверх того верил в доброту, скрывающуюся у солдат под их грубой манерой. Жозеф, неопытный ребенок, еще не знал, что военные, если они действительно талантливы, всегда учтивы и мягки, как и прочие выдающиеся люди. Гений везде одинаков.

— Бедный мальчик,— говорил Филипп матери,— не надо к нему приставать, пусть его забавляется!

Это презрение сходило в глазах матери за братскую нежность.

«Филипп всегда будет любить брата и покровительствовать ему»,— думала она.

В 1816 году Жозеф добился от матери разрешения превратить в мастерскую чердак, прилегавший к его мансарде, а г-жа Декуэн дала ему немного денег на приобретение принадлежностей, необходимых для *ремесла живописца* — в семействе этих двух вдов живопись была всего лишь ремеслом. С умом и пылкостью, свойственным его дарованию, Жозеф сам все оборудовал в своей бедной мастерской. Хозяин по просьбе г-жи Декуэн заменил часть крыши стеклянной рамой. Чердак превратился в большую залу, выкрашенную Жозефом в шоколадный цвет, на стенах он повесил несколько эскизов. Агата не без сожаления поставила там маленькую чугунную печку, и Жозеф мог работать у себя, не оставляя, однако, занятий в мастерской Гро и Шиннера.

В то время конституционная партия, особенно поддерживаемая отставными офицерами и бонапартистами, произвела ряд выступлений у палаты депутатов во имя хартии, которой никто не хотел, и подготовила несколько заговоров. Филипп впутался в эти дела, был арестован, потом освобожден за недостатком улик; но военный министр лишил его половинного жалованья, переведя в разряд, который был, так сказать, штрафным. Во Франции Филиппу опасно было оставаться, он кончил бы тем, что попался бы в какую-нибудь ловушку, расставленную провокаторами. Тогда много говорили о провокаторах. Пока Филипп околачивался в подозрительных кофейнях, играя на бильярде и приучаясь прикладываться к стаканчикам с разными настойками, Агата пребывала в смертельном страхе за судьбу великого человека своей семьи. Трое *греческих мудрецов* слишком привыкли каждый вечер ходить по одной и той же дорожке, подниматься по одной и той же лестнице, зная, что обе вдовы их ждут и сразу же начнут выспрашивать у них новости дня, поэтому в маленькой зеленой гостиной неизменно появлялись все те же друзья, чтобы сыграть партию в карты.

Министерство внутренних дел при пересмотре личного состава в 1816 году оставило на должности Клапарона, одного из тех трусов, которые шепотом передают новости из «Монитера», прибавляя при этом: «Смотри-

те, не выдавайте меня!» Дерош, выйдя в отставку вскоре после старика дю Брюэля, все еще препирался из-за своей пенсии. Эти трое друзей, видя отчаяние Агаты, посоветовали ей отправить подполковника в чужие края.

— Поговаривают о заговорах, и ваш сын, при своем характере, пострадает в каком-нибудь деле, потому что всегда найдутся предатели.

— Черт побери, он той породы, из которой император делал своих маршалов,— шепотом сказал дю Брюэль, оглядываясь вокруг,— и он не должен отказываться от своей профессии. Пусть он отправляется на Восток, в Индию...

— А его здоровье? — сказала Агата.

— Почему он не поступает на службу? — спросил старый Дерош.— Сейчас открывается столько частных предприятий. Я сам, как только разрешится вопрос о моей пенсии, поступлю начальником отделения в страховое общество.

— Филипп — солдат, он любит только войну,— сказала воинственная Агата.

— В таком случае он должен быть благоразумным и попроситься на службу...

— К этим? — вскричала вдова.— О, такого я никогда ему не посоветую!

— Вы не правы,— заметил дю Брюэль.— Мой сын недавно получил место через герцога де Наваррена. Бурбоны прекрасно относятся к тем, кто чистосердечно присоединяется к ним. Ваш сын будет назначен полковником в какой-нибудь полк.

— В кавалерии стремятся держать только дворян, и ему никогда не быть полковником! — воскликнула г-жа Декуэн.

Испуганная Агата умоляла Филиппа отправиться за границу и поступить на службу к какому-нибудь правительству,— ординарца императора примут с радостью.

— Служить иностранцам?! — ужаснулся Филипп.

— Весь в отца! — сказала Агата, горячо целуя Филиппа.

— Он прав,— заявил Жозеф.— Французы слишком горды своей Вандомской колонной, чтобы пополнять собою колонны чужих войск. Кроме того, Наполеон, быть может, вернется еще раз.

Тогда, чтобы угодить матери, Филипп возымел блестящую мысль присоединиться к генералу Лалеману в Соединенных Штатах и участвовать в основании Полей убежища — в одной из самых ужасных мистификаций, прикрывавшейся национальной подпиской. Агата из своих небольших сбережений дала Филиппу десять тысяч франков и истратила тысячу франков на проводы и отправку его из Гавра. К концу 1817 года Агате пришлось довольствоваться шестьюстами франков дохода со своей государственной ренты; потом, по счастливому вдохновению, она поместила в банк десять тысяч франков, оставшихся от ее сбережений, и таким образом стала получать еще семьсот франков дохода.

Жозеф тоже захотел принять участие в этих жертвах и ходил одетый, как стряпчий: носил грубые башмаки, синие чулки, обходился без перчаток; он стал топить печку каменным углем, питался хлебом, молоком и дешевым сыром. Бедный мальчик встретил поддержку только у старухи Декуэн и у Бисиу, своего товарища по лицею и мастерской, который в ту пору рисовал изумительные карикатуры, занимая скромное местечко в одном из министерств.

— С каким удовольствием я встретил лето тысяча восемьсот восемнадцатого года! — говорил впоследствии Жозеф Бридо, рассказывая о своих тогдашних бедствиях.— Солнце избавило меня от покупки угля.

Он уже не уступал Гро в понимании цвета и встречался со своим учителем только для того, чтобы советоваться с ним; он задумывал начисто порвать с «классиками», разрушить условности греков и все границы, стеснявшие искусство, которому природа принадлежит как она есть, во всем могуществе своего творчества и своей фантазии. Жозеф готовился к борьбе, начавшейся со дня его выставки в Салоне 1823 года и с тех пор уже не затихавшей. Год был ужасный: Роген, нотариус г-жи Декуэн и г-жи Бридо, скрылся, похитив удержания из пожизненных доходов г-жи Декуэн, которые накапливались в течение семи лет и должны были уже давать две тысячи франков дохода. Через три дня после этого несчастья из Нью-Йорка прибыл вексель, выданный полковником Филиппом, с переводом долга на имя матери. Бедный малый, так же как и другие, введенный в за-

блуждение, все потерял на Полях убежища. Этот вексель, стоивший горьких слез Агате, старухе Декуэн и Жозефу, свидетельствовал о долгах, сделанных полковником в Нью-Йорке, где за него поручились его товарищи по несчастью.

— Ведь это я заставила его поехать! — воскликнула бедная мать, всегда изобретательная, когда нужно было оправдать промахи Филиппа.

— Не советую вам часто отправлять его в такие путешествия,— сказала старуха Декуэн своей племяннице.

Госпожа Декуэн вела себя героически. Она не переставала выплачивать г-же Бридо по тысяче экю, но продолжала все так же ставить на «терн», который не выходил с 1799 года. К этому времени она начала сомневаться в добросовестности властей. Она обвиняла правительство и считала его вполне способным упразднить три номера в урне, чтобы вызвать бешеные ставки участников. После спешного подсчета средств оказалось невозможным достать тысячу франков, не продав части ренты. Обе женщины заговорили о необходимости заложить серебро, кое-что из белья и лишнюю мебель.

Жозеф, испуганный этими планами, отправился к Жерару, рассказал ему о своем положении, и великий художник выхлопотал для него от министерства двора заказ на две копии портрета Людовика XVIII, по пятисот франков за каждую. Гро, хотя и не отличавшийся щедростью, пошел со своим учеником к торговцу красками и попросил отпустить за его счет необходимые Жозефу материалы. Но тысячу франков можно было получить только по окончании работы. Тогда Жозеф в десять дней написал четыре картины, продал их торговцам и принес тысячу франков матери, которая теперь могла оплатить вексель. Через неделю пришло другое письмо, которым полковник уведомлял мать, что он отправляется в обратный путь на пароходе. Капитан брал его на честное слово, и Филипп извещал, что при высадке в Гавре ему понадобится еще по крайней мере тысяча франков.

— Хорошо,— сказал Жозеф,— я закончу свои копии, и ты отвезешь ему тысячу франков.

— Бог тебя благословит, дорогой Жозеф! — вскричала Агата, заливаясь слезами и целуя его.— Значит,

ты любишь своего бедного, гонимого брата? Он наша гордость, все наше будущее. Такой молодой, такой мужественный и такой несчастный. Все против него, так будем по крайней мере мы втрсем за него.

— Теперь ты видишь, что живопись может на что-нибудь пригодиться! — воскликнул Жозеф, счастливый, что наконец добился у матери позволения стать великим художником.

Госпожа Бридо поспешила навстречу своему нежно любимому сыну, полковнику Филиппу. Прибыв в Гавр, она ежедневно уходила за круглую башню, построенную Франциском I, и ждала прибытия американского парохода, с каждым днем ощущая все более жестокое беспокойство. Только матерям ведомо, насколько обостряют такие страдания материнское чувство. В одно прекрасное октябрьское утро 1819 года пароход прибыл без всяких аварий, не испытав ни одного шторма. Даже на самого грубого человека воздух родины и встреча с матерью всегда производят известное впечатление, особенно после путешествия, исполненного разных бедствий. Филипп отдался излиянию чувств, и Агата думала: «Ах, как он меня любит!» Увы, офицер любил во всем мире только одну особу, и этой особой был сам полковник Филипп. Его несчастья в Техасе, его жизнь в Нью-Йорке, где спекуляция и индивидуализм достигли крайней степени, где бесстыдная погоня за наживой доходит до цинизма, где человек, совершенно предоставленный самому себе, вынужден полагаться только на свою силу и все время быть собственным судьею, где вежливости не существует,— словом, все мельчайшие обстоятельства этого путешествия развили у Филиппа скверные наклонности грубого рубаки. Он стал сквернословом, пьяницей, курильщиком, эгоистом, невежей. Нищета и физические страдания испортили его. К тому же полковник считал себя жертвой преследования. А под влиянием такой мысли люди неумные сами становятся нетерпимыми и преследуют других. Для Филиппа мир начинался и кончался им самим, солнце светило только для него. Наконец жизнь Нью-Йорка, по-своему воспринятая этим человеком действия, лишила его всякой нравственной разборчивости. У существ такого рода только два способа жить: они или верят, или не верят, они или обла-

дают всеми добродетелями порядочного человека, или целиком склоняются перед «требованиями необходимости». А постепенно они привыкают считать требованиями необходимости свои малейшие нужды и каждый мимолетный порыв своих страстей. С такой системой можно пойти далеко. Полковник сохранял прямоту, чистосердечие, непринужденность военного только в манере держаться. Таким образом, он стал исключительно опасен: он казался простодушным, как ребенок, но, заботясь только о себе, ничего не делал без задней мысли, точно судейский крючок, обдумывающий все новые подвохи, достойные Гонена; ему ничего не стоило дать честное слово, и он давал его всякому, кто готов был поверить ему. Если же кто-нибудь, к несчастью для себя, не соглашался с объяснениями, которыми полковник оправдывал несоответствие между своими словами и поступками, то, отлично стреляя из пистолета, не боясь самого искусного мастера фехтовального искусства и обладая хладнокровием, как все, для кого жизнь безразлична,— Филипп готов был потребовать удовлетворения за малейшую резкость; но и без того он производил впечатление человека, готового прибегнуть к насилию и не допускающего возможности какого бы то ни было примирения. Его внушительная фигура приобрела округлость, лицо загорело во время пребывания в Техасе, он сохранил отрывистую речь и решительный тон, выработавшийся из-за необходимости внушать ньюйоркцам почтение. В таком виде, просто одетый, держась, как человек, закаленный недавними лишениями, Филипп предстал героем перед своей бедной матерью; на деле же он просто стал тем, кого в народе обозначают крепким словцом *проходимец*. Ужаснувшись обнищанию своего любимого сына, г-жа Бридо сдела его в Гавре с ног до головы. Слушая рассказы о его несчастьях, она не в силах была запретить ему пить, есть и развлекаться, как должен пить и развлекаться человек, прибывший с Полей убежища. Конечно, то был прекрасный замысел — завладеть Техасом при помощи остатков императорской армии, но он не удался не столько из-за материальных условий, сколько из-за человеческих ошибок,— потому что ведь в настоящее время Техас представляет собой республику с богатым будущим. Этот эксперимент ли-

беральной партии при Реставрации выразительно доказывает, что интересы либералов были исключительно эгоистичными и ни в какой мере не национальными, а построенными только на стремлении к власти и ни на чем больше. Не подвели ни люди, ни местность, ни идея, ни преданность делу, но подвела надежда на золото и на помощь этой лицемерной партии, располагавшей огромными суммами и не давшей ничего, когда дело коснулось восстановления империи в другом месте. Простые женщины-хозяйки вроде Агаты обладают достаточным здравым смыслом, чтобы разгадывать политическое надувательство подобного рода. Бедная мать после рассказов своего сына прозрела истину: заботясь об изгнаннике, она за время его отсутствия наслушалась пышных реклам конституционных газет и следила за ходом подписки, которая дала едва лишь полтораста тысяч франков, в то время как нужна была сумма от пяти до шести миллионов. Главари либерализма, быстро спохватившись, что отправить из Франции славные остатки наших армий — это значит действовать в интересах Людовика XVIII, оставили на произвол судьбы самых пылких, самых преданных, самых восторженных — тех, кто первыми ринулись вперед. Агата никогда не могла решиться объяснить своему сыну, что он оказался скорее в положении человека одураченного, чем гонимого. Веруя в своего кумира, она корила себя за неразумие и оплакивала бедствия времени, разразившиеся над Филиппом. Мол, в самом деле, до сих пор он не столько был виновен во всех своих несчастьях, сколько оказывался жертвой своего прекрасного характера, своей энергии, падения императора, двоедушия либералов и ожесточенности Бурбонов против бонапартистов. За всю неделю, проведенную в Гавре, неделю, которая потребовала ужасных расходов, Агата не осмелилась предложить ему примириться с королевским правительством и явиться к военному министру,— ей стоило больших трудов хотя бы вытащить его из Гавра, где жизнь необычайно дорога, и доставить в Париж, когда у нее осталось денег только на дорогу.

Госпожа Декуэн и Жозеф, ожидавшие изгнанника у места его прибытия в Париж, во дворе конторы Королевского общества почтовых карет, были поражены, уви-

дев, как изменилась в лице Агата. Пока раздавались поцелуи и отвязывались два чемодана, старуха Декуэн заметила Жозефу:

— Твоя матушка за два месяца состарилась на десять лет.

—Здравствуйте, тетка Декуэн! — с таким нежным приветствием обратился полковник к старой лавочнице, которую Жозеф сердечно называл «маменькой Декуэн».

— У нас нет денег на извозчика,— горестно сказала Агата.

— У меня есть,— ответил ей молодой художник.— У брата великолепный цвет лица! — воскликнул он, взглянув на Филиппа.

— Да, я обгорел, как трубка. А вот ты не изменился, малыш!

Жозеф, уже достигший двадцати одного года и к тому же ценимый несколькими друзьями, поддерживавшими его в дни испытаний, чувствовал свою силу и сознавал свое дарование. Он был представителем живописи в кружке молодых людей, посвятивших себя науке, литературе, политике и философии. Его задел презрительный тон Филиппа, еще подчеркнутый жестом брата, скрутившего ему ухо, как ребенку. Агата заметила некоторый холодок, которым сменился у г-жи Декуэн и Жозефа первый порыв их нежности; но она загладила все, рассказав им о муках, вынесенных Филиппом во время изгнания. Г-жа Декуэн, пожелавшая отпраздновать возвращение Филиппа, которого она потихоньку называла «блудным сыном», устроила самый лучший, какой только могла, обед, пригласив старого Клапарона и Дероша-отца. Всех остальных друзей дома просили прийти вечером, и они явились в полном составе. Жозеф позвал Леона Жиро, д'Артеза, Мишеля Кретьена, Фюльжанса Ридаля и Бьяншона — своих друзей по кружку. Г-жа Декуэн сообщила Бисиу, своему мнимому пасынку, что молодые люди будут играть в экарте. Сын Дероша, ставший по непреклонной воле отца лиценциатом юридических наук, также был на вечере. Дю Брюэль, Клапарон, Дерош и аббат Лоро присматривались к изгнаннику: его грубые манеры и обращение, голос, осипший от спиртных напитков, площадная речь и самый взгляд — все пу-

гало их. И вот, пока Жозеф расставлял столы для карточной игры, наиболее преданные друзья окружили Агату, спрашивая ее:

— Что вы думаете делать с Филиппом?

— Не знаю,— ответила она.— Он и теперь не хочет служить Бурбонам.

— Очень трудно найти для него место во Франции. Если он не поступит в армию, то не скоро получит государственную службу,— сказал старик дю Брюэль.— Достаточно послушать его, чтобы понять, что он не сможет зашибать деньгу, как мой сын, изготовляя пьесы для театров.

По взгляду, которым ответила Агата, каждый понял, насколько ее беспокоит будущее Филиппа; и так как никто из ее друзей не мог оказать ей помощь, то все замолчали. Изгнанник, Дерош-сын и Бисиу играли в экарте, пользовавшееся в то время бешеным успехом.

— Маменька Декуэн, у брата нет денег на игру,— сказал Жозеф на ухо этой превосходной, доброй женщине.

Участница королевской лотереи пошла к себе, принесла двадцать франков и вручила их художнику, который незаметно сунул деньги Филиппу. Все гости уже собрались. За двумя столами играли в бостон, и вечер оживился. Филипп оказался плохим игроком. Сначала он много выиграл, потом проиграл и к одиннадцати часам задолжал пятьдесят франков Дерошу-младшему и Бисиу. Препирательства и споры за экарте неоднократно доносились до слуха спокойных игроков в бостон, украдкой поглядывавших на Филиппа. Изгнанник обнаружил столь скверный характер, что когда в последнюю ссору оказался впутанным Дерош-младший,— а он тоже был не из покладистых,— то Дерош-отец, вопреки очевидности, объявил, что сын не прав, и запретил ему продолжать игру.

Госпожа Декуэн поступила точно так же со своим внуком, начавшим отпускать шутки, которые, правда, были столь тонки, что Филипп не понял их, однако могли подвергнуть жестокого насмешника опасности, если бы одна из его стрел проникла в неповоротливый ум полковника.

— Ты, верно, устал,— сказала Агата на ухо Филиппу.— Поди ляг спать.

— Путешествия образовывают юношество,— с улыбкой заметил Бисиу, когда полковник и г-жа Бридо вышли.

Жозеф, встававший чуть свет и рано ложившийся, томился, дожидаясь конца этого вечера. На следующий день утром Агата и г-жа Декуэн, приготовляя в первой комнате завтрак, не могли не обменяться мнением, что вечера обойдутся очень дорого, если Филипп, по выражению г-жи Декуэн, будет «играть в такую игру».

Эта старая женщина, тогда уже в возрасте семидесяти шести лет, предложила продать свою мебель, освободить помещение на третьем этаже — чего хозяин только и добивался,— а самой занять гостиную Агаты, с тем чтобы первая комната была превращена в гостиную, где заодно можно было бы и обедать. Таким образом в год сберегли бы семьсот франков. Такое сокращение расходов позволило бы давать Филиппу пятьдесят франков в месяц, пока он не найдет себе места. Агата приняла эту жертву.

После того как полковник спустился вниз и мать осведомилась, хорошо ли он чувствует себя в своей маленькой комнатке, обе вдовы ознакомили его с положением семьи. Г-жа Декуэн и Агата располагали вместе пятью тысячами тремястами франков дохода, из которых только четыре тысячи г-жи Декуэн были пожизненными. Старуха Декуэн давала Бисиу, которого она вот уже полгода как объявила своим внуком, шестьсот франков на содержание и столько же — Жозефу. Остатки ее доходов, равно как и доходы Агаты, шли на хозяйство и прочие их нужды. Все сбережения были израсходованы.

— Будьте спокойны,— сказал полковник,— я снова займусь поисками места и не буду вам в тягость; пока мне нужны только жратва и логово.

Агата поцеловала сына, а г-жа Декуэн сунула ему в руку сто франков на уплату вчерашнего карточного долга. Продажа мебели, передача квартиры г-жи Декуэн и внутреннее перемещение у Агаты — все осуществилось в течение десяти дней, так быстро, как это бывает только в Париже. Все эти десять дней Филипп аккуратно

уходил после завтрака, появлялся к обеду, снова уходил вечером и не возвращался домой раньше полуночи.

Вот привычки, почти механически усвоенные этим отставным воином и глубоко в нем укоренившиеся: на Новом мосту он чистил свои сапоги за те два су, которые ему пришлось бы заплатить в случае перехода по мосту Искусств, потом отправлялся в Пале-Рояль, где выпивал два стаканчика водки, читая газеты; за этим занятием он проводил время почти до полудня; в этот час он неторопливо отправлялся по улице Вивьен, делал привал в кофейне «Минерва», где в то время стряпалась либеральная политика, и играл там на бильярде с отставными офицерами. Проигрывал Филипп или выигрывал, но он неизменно осушал три-четыре стаканчика разных ликеров и выкуривал с десяток сигар, разгуливая взад и вперед по улицам. По вечерам, выкурив несколько трубок в «Голландском кабачке», он в десять часов поднимался в игорный зал; лакей подавал ему карточку и булавку; осведомившись у некоторых заслуженных игроков о выходах черного и красного, он в наиболее благоприятный момент ставил десять франков, никогда не играя более трех раз, будь он в проигрыше или в выигрыше — безразлично. Выиграв — а это случалось почти всегда,— он осушал бокал пунша и отправлялся в свою мансарду; тогда он бормотал, что перебьет крайних правых, лейб-гвардию короля и распевал на лестнице: «На страже Империи будем!» Его бедная мать, прислушиваясь, говорила:

— Филипп сегодня навеселе.

И, поднявшись к нему, целовала его, не жалуясь на омерзительный запах пунша, ликеров и табака.

— Ты ведь довольна мной, дорогая мамаша? — сказал он ей в конце января.— Я веду самый правильный образ жизни.

Раз пять Филипп обедал в ресторане с давними приятелями. Старые солдаты рассказывали друг другу о своем положении, возлагая надежды на постройку подводной лодки, предназначенной для того, чтобы освободить императора. Среди вновь обретенных приятелей Филипп особенно отличал бывшего капитана гвардейских драгун, некоего Жирудо, вместе с которым он в первый раз выступил в поход. При содействии старого дра-

гуна Филипп привел к завершению то, что у Рабле называется «экипажем дьявола», и прибавил к выпивке, сигарам и игре четвертое колесо. Однажды вечером в начале февраля Жирудо повел Филиппа в Гэте, в ложу, предоставленную театром для маленькой театральной газетки, издававшейся его племянником, Фино, где этот самый Жирудо заведовал кассой и счетными книгами, делал и проверял наклейки с адресами. Оба одеты были по моде офицеров-бонапартистов, принадлежавших к конституционной оппозиции,— в широкий, длинный до пят сюртук со стоячим воротником, застегнутый до самого подбородка и украшенный орденской розеткой; у обоих были трости со свинцовыми набалдашниками, болтавшиеся на плетеном ремешке. В таком виде два старых однополчанина, по их собственному выражению, нарезавшись как стелька и обмениваясь сердечными излияниями, вошли в ложу. Жирудо, в тумане винных паров, показал Филиппу на сцене маленькую, пухленькую и вертлявую фигурантку, по имени Флорентина, чьи милости и расположение достались ему так же, как и ложа в театре,— через всемогущую газету.

— Но сколь далеко простирается ее расположение к такому старому, полуседому вояке, как ты? — спросил Филипп.

— Слава богу,— ответил Жирудо,— я еще придерживаюсь прежних правил нашей славной военной чести и ни разу не израсходовал ни гроша на женщину.

— Что? — вскрикнул Филипп, прищурив левый глаз.

— Да,— ответил Жирудо.— Но, между нами, газета здесь здорово помогла. Завтра мы в двух строках посоветуем администрации выпустить Флорентину в танце. Честное слово, мой дорогой, я очень счастлив,— сказал Жирудо.

«Э,— подумал Филипп,— если этот почтенный Жирудо, несмотря на свой череп, лысый, как мое колено, несмотря на сорок восемь лет, толстое брюхо, физиономию кабатчика и нос картошкой, заводит шашни с фигуранткой, то я заполучу первую актрису Парижа».

— Где живет она? — громко спросил он Жирудо.

— Сегодня вечером я тебе покажу Флорентину в домашней обстановке. Моя Дульцинея получает в театре только пятьдесят франков в месяц, но Кардо, бывший

торговец шелком, дает ей пятьсот франков в месяц, и она одевается шикарно.

— О! Но...— воскликнул ревнивый Филипп.

— Ба! — заметил Жирудо.— Настоящая любовь слепа.

После спектакля Жирудо отвел Филиппа к Флорентине, жившей в двух шагах от театра, на улице Крюсоль.

— Будем вести себя прилично,— сказал ему Жирудо,— Флорентина живет с матерью. Ты понимаешь, нанимать ей подставную мамашу мне не по средствам, и эта почтенная женщина — ее настоящая мать. Она бывшая привратница, но неглупа и именуется Кабироль; называй ее «мадам», она это очень любит.

В тот вечер у Флорентины была ее подруга, некая Мари Годешаль, прекрасная, как ангел, холодная, как танцовщица, и, кроме всего прочего, ученица Вестриса, который предрекал ей самое блестящее будущее в хореографическом искусстве. Мадемуазель Годешаль, желавшая в то время выступать в Драматической панораме под именем Мариетты, рассчитывала на протекцию первого вельможи в палате, которому Вестрис должен был представить ее уже давно. Вестрис, еще бодрый в то время, не считал свою ученицу достаточно подготовленной. Честолюбивая Мари Годешаль прославила свой псевдоним Мариетты, но, впрочем, ее стремление преуспеть было вызвано весьма похвальными чувствами. У нее был брат, писец, служивший у Дервиля. Оставшись сиротами, несчастные, но любящие друг друга брат и сестра видели жизнь такой, какова она в Париже; он хотел стать стряпчим, чтобы устроить свою сестру, и жил на десять су в день; она трезво решила стать танцовщицей и, извлекая пользу как из своих ног, так и из своей красоты, купить контору для своего брата. Все, что не касалось их привязанности друг к другу, их интересов и общей их жизни, было для них — как некогда другие народы для древних римлян и евреев — чем-то варварским, странным, враждебным. В этой столь прекрасной дружбе, которую ничто не могло нарушить, и заключалось объяснение характера Мариетты для тех, кто близко знал ее.

Брат и сестра жили в то время на девятом этаже од-

ного дома по улице Вьей-дю-Тампль. Мариетта начала обучаться с десяти лет, а теперь ей было шестнадцать. Увы! Она была плохо одета, и ее красоту, скрытую под жалкой шалью из кроличьей шерсти, под ситцевым платьем и грубыми башмаками, подбитыми железными гвоздями, мог оценить только тот из парижан, кто занят охотой на гризеток и выслеживанием нуждающихся красавиц.

Филипп влюбился в Мариетту. Мариетта оценила в нем командира гвардейских драгун, ординарца императора, молодого человека двадцати семи лет и нашла удовольствие в том, чтобы превзойти Флорентину, ввиду явного превосходства Филиппа над Жирудо. Флорентина и Жирудо,— он, чтобы содействовать счастью своего приятеля, она, чтобы доставить своей подруге покровителя,— толкнули Мариетту и Филиппа на заключение «птичьего брака». Это выражение парижского языка равнозначно выражению «морганатический брак», применяемому к королям и королевам. Филипп на обратном пути рассказал Жирудо о своей бедности; но старый проходимец весьма его обнадежил.

— Я поговорю о тебе со своим племянником Фино,— сказал он ему.— Видишь ли, Филипп, настало царство штафирок и болтунов, нам приходится покориться. В наши дни чернильная братия всемогуща. Чернила заменили порох, а слово — пулю. Но, как бы там ни было, эти жулики-журналисты — ловкачи на выдумку и довольно славные ребята. Приходи ко мне завтра в редакцию, я замолвлю за тебя словечко перед племянником, и ты получишь место в какой-нибудь газете. Мариетта, которая теперь (не обольщайся) берет тебя потому, что у нее ничего нет, ни ангажемента, ни возможности выступать,— а я сказал ей, что ты будешь пользоваться в газете таким же весом, как и я,— докажет, что она любит тебя ради тебя самого, и ты ей поверишь! Поступай подобно мне, удерживай ее в положении фигурантки, пока сможешь. Я был так влюблен, что, когда Флорентина захотела выступить в танце, я попросил Фино потребовать для нее дебюта; но племянничек мне сказал: «У нее есть способности, не так ли? Так вот, в тот день, когда она выступит, она выставит тебя за дверь». Вот каков Фино. Ты увидишь, что́ это за смышленый малый!

На следующий день, в четыре часа, Филипп был на улице дю Сантье, в маленькой комнате на антресолях, где и застал Жирудо, заключенного, наподобие зверя, в закуток с какой-то щелью вместо двери. Там имелась маленькая печурка, маленький столик, два маленьких стула и маленькие поленца дров. Значение этих апартаментов было возвеличено следующими магическими словами: *Бюро подписки* — черными буквами, отпечатанными на дверной таблице, *Касса* — надпись от руки на бумажке, прикрепленной над решеткой. У стены, против помещения капитана, стояла скамейка, на которой завтракал безрукий инвалид. Жирудо называл его Тыквой, вероятно, имея в виду «египетский» цвет его лица.

— Прекрасно! — сказал Филипп, осмотрев эту комнатку.— Что делаешь здесь ты, некогда сражавшийся при Эйлау, под командой бедного полковника Шабера? Черт побери! Трижды черт побери, вот так командиры!

— Да, так! брум! брум! Командир, выписывающий квитанции на газету,— сказал Жирудо, надвигая покрепче свою черную шелковую шапочку.— А сверх того я еще ответственный издатель всех этих шутовских листков,— сказал он, показывая на газету.

— А я совершил поход в Египет,— теперь же хожу на почту,— прибавил инвалид.

— Смирно, Тыква! — крикнул Жирудо.— Перед тобой храбрец, передававший приказания императора в битве при Монмирайле.

— Рад стараться! — ответил инвалид.— Там я потерял руку.

— Тыква, покарауль лавочку, я подымусь к племяннику.

Два отставных воина поднялись на пятый этаж, в мансарду в конце коридора, и застали там молодого человека с холодными бесцветными глазами, лежавшего на дрянной кушетке. Штафирка, не привстав, предложил сигары своему дядюшке и его приятелю.

— Мой друг,— сказал ему нежным и кротким голосом Жирудо,— вот тот отважный командир эскадрона императорской гвардии, о котором я тебе говорил.

— Да? — сказал Фино, оглядев с головы до ног Филиппа, потерявшего, так же как и Жирудо, всю бодрость перед лицом этого дипломата печати.

— Мой дорогой мальчик,— сказал Жирудо, старавшийся показать себя дядюшкой,— полковник вернулся из Техаса.

— А! Вы побывали в Техасе, в Полях убежища? Однако вы слишком молоды, чтобы стать *солдатом-пахарем.*

Терпкость этой насмешки может быть понята только теми, кто помнит целую лавину гравюр, ширм, часов, бронзовых и гипсовых изделий, возникших из мысли о «солдате-пахаре», великом образе судьбы Наполеона и его храбрецов,— мысли, которая в конце концов породила несколько водевилей и принесла по крайней мере миллионы прибыли. Еще теперь в глухой провинции можно увидеть солдат-пахарей на обоях. Если бы этот молодой человек не был племянником Жирудо, Филипп закатил бы ему пощечину.

— Да, я влип в эту историю, я потерял на ней двенадцать тысяч франков и время,— ответил Филипп, пытаясь изобразить на своем лице улыбку.

— И вы все еще любите императора?

— Это мой бог.

— Вы либерал?

— Я всегда буду в конституционной оппозиции! О, Фуа! О, Манюэль! О, Лаффит! Вот это люди! Они освободят нас от всех негодяев, пожаловавших к нам обратно, вслед за иностранцами!

— Отлично,— холодно заключил Фино.— Надо извлечь пользу из вашего несчастья, мой дорогой: ведь вы являетесь жертвой либералов. Оставайтесь либералом, если вы не хотите менять своих мнений; но угрожайте либералам разоблачить техасские глупости. Ведь вы не получили ни гроша от национальной подписки, не правда ли? Что ж, и отлично — потребуйте отчета в подписке. Вот на что вы можете рассчитывать: сейчас, под покровительством левых депутатов, создается новая оппозиционная газета; вы получите там место кассира — три тысячи франков жалованья в год, должность на веки вечные. Вам достаточно лишь представить двадцать тысяч франков залога, раздобудьте их — и будете устроены в течение недели. Я посоветую отделаться от вас предоставлением этой должности; но поднимите шум, шумите как можно громче!

Филипп рассыпался в благодарностях и вышел; Жирудо, отстав от него на несколько шагов, сказал племяннику:

— Так ты, я вижу, шутник! Меня-то ты держишь здесь на тысяче двухстах франков.

— Газета не продержится и года,— ответил Фино.— Для тебя у меня есть кое-что и получше.

— Черт побери! — сказал Филипп, выходя вместе с Жирудо.— Твой племянник малый не промах. Я и не подумал извлечь, как он выражается, *пользу* из моего положения.

Вечером в «Кофейне Ламблен» полковник Филипп поносил либеральную партию, которая организовала национальную подписку, послала людей в Техас, лицемерно разглагольствовала о солдатах-пахарях, а затем оставила молодцов без помощи в бедственных обстоятельствах, растратив принадлежавшие им двадцать миллионов франков, и так водила их за нос целых два года.

— Я потребую отчета о подписке в пользу Полей убежища,— сказал он одному из завсегдатаев кофейни «Минерва», что тот и передал журналистам левой.

Филипп не пошел на улицу Мазарини, он отправился к мадемуазель Годешаль рассказать о своем предстоящем участии в газете, которая будет иметь десять тысяч подписчиков и горячо поддержит ее хореографические притязания. Агата и старуха Декуэн ожидали Филиппа в смертельном страхе за него, так как только что был убит герцог Беррийский. На следующий день полковник пришел вскоре после их завтрака; когда мать сказала ему, как ее встревожило его отсутствие, он рассердился и заявил, что, слава богу, он совершеннолетний.

— Черт побери! Я к вам с хорошей новостью, а вы как будто на похоронах. Герцог Беррийский умер? Ну что же, тем лучше. Одним меньше! Что до меня, то я буду кассиром в газете, а вы избавитесь от беспокойства обо мне.

— Да неужели? — воскликнула Агата.

— Да, если вы достанете мне двадцать тысяч франков залога: речь идет только о том, чтобы дать на хранение вашу ренту, а тысячу триста франков годовых вы будете получать по-прежнему, в установленные сроки.

Обе вдовы, до сих пор, вот уже около двух месяцев

ломавшие себе голову над тем, что же делал Филипп, как и куда его устроить, были так обрадованы открывшейся перспективой, что больше и не думали о катастрофических событиях тех дней. Вечером старый дю Брюэль, Клапарон, собиравшийся умирать, и непреклонный Дерош-отец, эти греческие мудрецы, были единодушны: они посоветовали вдове внести залог за сына. Газета, весьма удачно основанная еще до убийства герцога Беррийского, избежала удара, нанесенного Деказом печати. Ценные бумаги г-жи Бридо, приносившие доход в тысячу триста франков, были внесены как залог Филиппа, и он получил должность кассира. Этот хороший сын тотчас пообещал давать двум вдовам по сто франков в месяц за стол и квартиру и был провозглашен лучшим на свете сыном. Те, кто предсказывал, что он плохо кончит, теперь поздравляли Агату.

— Мы не оценили его,— говорили они.

Бедный Жозеф, чтобы не отстать от брата, попытался жить на собственные средства и успел в этом. Прошло три месяца, а полковник — который ел и пил за четверых, привередничал и под тем предлогом, что он платит за свое содержание, вовлек обеих вдов в лишние расходы по столу — еще не дал им ни гроша. Ни мать, ни г-жа Декуэн из деликатности не хотели ему напоминать о его обещании. Год прошел, но ни одна из монет, столь энергично именуемых Леоном Гозланом когтистым *тигром*, так и не перешла из кармана Филиппа в хозяйство. Правда, в этом отношении полковник заглушил укоры своей совести: он редко обедал дома.

— Ну что ж, все-таки он счастлив,— говорила мать.— Он спокоен, имеет место.

Благодаря влиянию фельетонов, Фино и Жирудо, находившихся в ведении Верну,— одного из друзей Бисиу,— Мариетта дебютировала, но не в Драматической панораме, а в «Порт-Сен-Мартен», где она имела успех, хотя там выступала сама Бегран. Одним из директоров этого театра тогда был богатый и широко живший генерал, влюбленный в актрису и сделавшийся ради нее антрепренером. В Париже всегда есть люди, влюбленные в актрис, в танцовщиц или певиц и из-за любви становящиеся директорами театров. Генерал был знаком с Филиппом и Жирудо. При помощи маленькой газеты

Фино и газеты Филиппа вопрос о дебюте Мариетты был улажен между тремя офицерами тем скорее, что, видимо, страсти всегда единодушны в осуществлении безумных замыслов.

Злокозненный Бисиу не замедлил тогда рассказать, своей бабке и благочестивой Агате, что кассир Филипп, храбрейший из храбрых, любит Мариетту, знаменитую танцовщицу театра «Порт-Сен-Мартен». Эта старая новость была для обеих вдов ударом грома: прежде всего религиозное чувство Агаты заставляло ее смотреть на актрис как на исчадия ада; а кроме того, им обеим казалось, что такие женщины едят на золоте и загребают драгоценные камни, так что самые богатые люди впадают из-за них в нищету.

— Как,— сказал Жозеф матери,— неужели вы думаете, что брат настолько глуп, чтобы давать деньги своей Мариетте? Такие женщины разоряют только богачей.

— Уже поговаривают о том, чтобы пригласить Мариетту в Оперу,— сообщил Бисиу.— Но не бойтесь, госпожа Бридо, в театре «Порт-Сен-Мартен» бывает дипломатический корпус; эта красавица недолго останется с вашим сыном. Ходят слухи, что будто один посланник безумно влюбился в Мариетту. И еще одна новость! Умер старый Клапарон, погребение завтра, и его сын, сделавшись банкиром и купаясь в золоте, заказал похороны по последнему разряду. Этот малый не умеет вести себя. В Китае так не поступают.

Филипп, в корыстных целях, предложил танцовщице выйти за него замуж; но мадемуазель Годешаль перед самым поступлением в Оперу отказала ему,— быть может, разгадав замыслы полковника, быть может, поняв, насколько ей для ее благосостояния необходима независимость. В конце того года Филипп являлся к матери не больше двух раз в месяц. Где он пропадал? В кассе, в театре или у Мариетты. В семействе на улице Мазарини не имели ни малейшего понятия о его поведении. Жирудо, Фино, Бисиу, Верну знали, что он ведет разгульную жизнь. Филипп принимал участие во всех увеселениях Туллии, одной из первых танцовщиц Оперы; Флорентины, заместившей Мариетту в театре «Порт-Сен-Мартен»; Флорины и Матифа, Корали и Камюзо.

С четырех часов — лишь только он уходил из кассы — до полуночи он развлекался, так как обычно еще накануне получал какое-нибудь приглашение на званый обед, на карточную игру вечером, на ужин. Филипп, таким образом, плавал как рыба в воде. Этот карнавал, длившийся полтора года, все же сопряжен был с немалыми хлопотами. Прекрасная Мариетта со времени своего первого выступления в Опере, в январе 1821 года, покорила одного из самых блестящих герцогов двора Людовика XVIII. Филипп пытался бороться с герцогом и из-за своей страсти был принужден, несмотря на некоторую удачу в игре, позаимствовать еще деньги из кассы газеты при возобновлении подписки в апреле. В мае он должен был одиннадцать тысяч франков. В этот роковой месяц Мариетта уехала в Лондон обирать лордов, пока строили временный зал Оперы в особняке Шуазель, на улице Лепельтье. Несчастный Филипп, как это обычно бывает в разлуке, еще больше полюбил Мариетту, несмотря на ее явную неверность; она же всегда считала этого молодого человека грубым и неумным рубакой, первой ступенькой для себя, на которой не собиралась долго задерживаться. Поэтому, предвидя момент, когда Филипп останется без денег, танцовщица сумела обеспечить себе поддержку газетчиков, освобождавшую ее от необходимости иметь дело с Филиппом. Тем не менее она, как это свойственно в таких случаях женщинам подобного рода, чувствовала благодарность к тому, кто первый, так сказать, расчистил ей путь к гнусностям театральной карьеры.

Принужденный отпустить свою ужасную любовницу в Лондон одну, Филипп, как он выражался, вернулся на свои зимние квартиры, в мансарду на улице Мазарини; там, вставая утром и ложась вечером спать, он предавался мрачным размышлениям. Он чувствовал невозможность для себя жить иначе, чем в минувшем году. Роскошь, царившая у Мариетты, обеды и ужины, вечера за кулисами, увлекательное общество остряков и журналистов, своего рода шум вокруг его имени, столь приятно щекотавший его чувства и тщеславие,— вся эта жизнь, которая возможна только в Париже и каждый день радует чем-нибудь новым, стала для Филиппа больше чем привычкой. Она была ему так же необходима, как та-

бак и стаканчики спиртного. Он установил, что не может жить без этих непрерывных удовольствий Мысль о самоубийстве пришла ему в голову — не потому, что в кассе должна была обнаружиться недостача, но потому, что ему больше нельзя было жить с Марие́ттой и в атмосфере удовольствий, которыми он упивался целый год. Одержимый этими мрачными мыслями, он впервые вошел в мастерскую брата и застал его в синей блузе, за работой над копией для торговца картинами.

— Так вот оно как пишут картины! — сказал Филипп, чтобы начать разговор.

— Нет,— ответил Жозеф,— так с них делают копии.

— Сколько тебе платят за это?

— Э, платят всегда недостаточно: двести пятьдесят франков. Но я таким образом изучаю манеру больших живописцев, приобретаю опыт, узнаю тайны мастерства. Вот одна из моих картин,— прибавил он, показывая концом кисти набросок с еще не высохшими красками.

— И сколько же теперь ты зашибаешь в год?

— К сожалению, меня пока знают только художники. Меня поддерживает Шиннер, который обещал доставить мне работу в замке Прэль, куда я поеду в октябре писать арабески, делать обрамления и орнаменты — все это очень хорошо оплачивает граф Серизи. С такими поделками, с заказами торговцев я могу теперь выработать от тысячи восьмисот до двух тысяч франков чистых. Ba! На ближайшую выставку я представлю эту картину; если она понравится, мое дело в шляпе; мои друзья ее хвалят.

— Я ничего в этом не понимаю,— сказал Филипп голосом таким слабым, что Жозеф внимательно посмотрел на брата.

— Что с тобой? — спросил художник, заметив, что брат побледнел за последнее время.

— Я хотел бы знать, во сколько дней ты напишешь мой портрет.

— Ну, взявшись за него как следует, можно кончить в три-четыре дня, если только будет ясная погода.

— Это очень долго, я могу дать в твое распоряжение только один день. Бедная матушка так любит меня, что я бы хотел оставить ей свой портрет. Но не будем говорить об этом.

— Что же, значит, ты опять уезжаешь?

— Я уезжаю, чтоб не вернуться больше,— ответил Филипп с подчеркнуто притворной веселостью.

— Как? Филипп, братец, да что с тобою? Если это что-нибудь серьезное, то знай — я мужчина, я не пустомеля, я готовлю себя к жестоким испытаниям; если нужно сохранить тайну, можешь положиться на меня.

— Это верно?

— Честное слово.

— Ты не скажешь никому на свете?

— Никому.

— Так знай же, что̀ ждет меня: пуля в лоб!

— Ах, ты будешь драться на дуэли?

— Нет, я покончу с собой.

— Почему?

— Я взял одиннадцать тысяч франков из своей кассы, а завтра должен сдать отчет, мой залог уменьшится наполовину, у нашей бедной матери останется всего шестьсот франков дохода. Это пустяки, потом я дал бы ей целое состояние, но я опозорен! Я не желаю жить обесчещенным.

— Ты не будешь обесчещен, раз ты возместишь взятое, ты только потеряешь место, и у тебя останется лишь пятьсот франков орденской пенсии, но ведь и с пятьюстами франками можно жить.

— Прощай,— ответил Филипп, быстро спускаясь по лестнице и не желая ничего слушать.

Жозеф ушел из мастерской и спустился к матери завтракать, но кусок не лез ему в горло. Он отозвал г-жу Декуэн в сторону и сообщил ей ужасную новость. Старуха страшно вскрикнула, выронила из рук кастрюльку с молоком и опустилась на стул. Подбежала Агата. Восклицание следовало за восклицанием, и роковая истина была открыта матери.

— И это он, он способен был на такой бесчестный поступок! Сын Бридо взял из кассы доверенные ему деньги!

Вдова дрожала всем телом и расширенными глазами уставилась в одну точку; она села и залилась слезами.

— Где он? — выговорила она сквозь рыдания.— Быть может, бросился в Сену!

— Не нужно отчаиваться,— сказала г-жа Декуэн.— Бедный мальчик встретил скверную женщину, из-за нее он и натворил безумств. Господи боже, да ведь это часто бывает. Филипп до своего возвращения был так несчастен, у него было так мало случаев чувствовать себя счастливым и любимым, что не следует удивляться его страсти к этой твари. Все страсти приводят к крайностям! Я в своей жизни тоже совершила нечто подобное, между тем считаю себя порядочной женщиной. Один проступок — это еще не порок. И потом — не заблуждается только тот, кто ничего не предпринимает.

Агата была в таком отчаянии, что г-жа Декуэн и Жозеф были вынуждены приуменьшить вину Филиппа, ссылаясь на то, что во всех семьях приключаются подобные дела.

— Но ему двадцать восемь лет! — сказала Агата.— Он не ребенок!

Страшное замечание, свидетельствовавшее о том, как беспокоило Агату поведение ее сына!

— Мама, уверяю тебя, он только и думает, что о твоем горе и о своей вине перед тобой,— сказал ей Жозеф.

— О боже мой, лишь бы он вернулся, лишь бы он был жив, и я ему прощу все! — воскликнула бедная мать, воображению которой представилась ужасная картина: Филипп утопился, и труп его вытащили из воды.

Долгое время царило тягостное молчание. День прошел в самых мрачных предположениях. Все трое при малейшем шуме бросались к окну гостиной, строили всевозможные догадки. Семья переживала жестокие терзания, а Филипп между тем спокойно приводил в порядок свою кассу. Он имел смелость сдать отчет, сказав, что, опасаясь какой-нибудь неприятной случайности, держал одиннадцать тысяч франков у себя на дому. Плут ушел в четыре часа, захватив из кассы еще пятьсот франков, и спокойно отправился в игорный дом, куда он не ходил с тех пор, как поступил на службу, справедливо рассудив, что кассиру не следует посещать подобные места. Этот молодчик был не лишен сообразительности. А все его последующее поведение доказывает, что он более походил на своего деда Руже, чем на добродетельного отца. Быть может, из него вышел бы хо-

роший генерал, но в личной жизни он был одним из тех закоренелых негодяев, которые скрывают свои замыслы и злые дела за ширмой порядочности и под покровом семейной тайны. Филипп сохранил все свое хладнокровие в этом решительном предприятии. Сначала ему везло, он выиграл в общей сложности около шести тысяч франков, но увлекся и не устоял перед соблазном покончить с затруднениями одним ударом. Узнав, что на рулетке черное вышло подряд шестнадцать раз, он бросил игру в «тридцать и сорок» и поставил пять тысяч франков на красное, но черное вышло снова, в семнадцатый раз. Тогда полковник поставил тысячу франков на черное — и выиграл. Хотя случай поразительно благоволил к нему, но голова у него уже устала,— и, сознавая это, он все-таки решил продолжать. Однако чутье, дарящее минуты озарения, которыми и руководствуются игроки, уже изменило ему: наступили перебои, а это означает для игрока гибель. Прозорливость, так же как лучи солнца, направлена бывает только по прямой линии: она проявляет свою силу только при ничем не нарушаемой сосредоточенности взгляда — когда шансы начинают колебаться, она затуманивается. Филипп проиграл все. После таких сильных испытаний и у самых беззаботных людей и у самых бесстрашных душа ослабевает. Поэтому, возвращаясь домой, Филипп совсем не думал о самоубийстве, тем более что никогда не помышлял о нем и прежде. Его больше не интересовало ни потерянное место, ни растраченный залог, ни мать, ни Мариетта, разорившая его,— он двигался машинально. Когда он вошел, плачущая мать, старуха Декуэн и брат бросились ему на шею, обняли его и радостно повлекли к топившемуся камину.

«Превосходно! — подумал он.— Слова мои возымели действие».

Это чудовище тем легче состроило подходящую к случаю мину, что и само было взволновано ходом игры.

Увидев, как бледен и разбит ее ужасный любимец, бедная мать бросилась перед сыном на колени, целовала ему руки, прижимала их к сердцу и долго не сводила с него глаз, полных слез.

— Филипп,— сказала она, задыхаясь,— обещай, что ты не покончишь с собой! Мы все забудем!

Филипп посмотрел на растроганного брата, на г-жу Декуэн, у которой слезы навернулись на глаза, и подумал: «А ведь они добряки!»

Он нагнулся к матери, поднял ее, сел к ней на колени, прижал ее к сердцу и, целуя, сказал ей на ухо:

— Ты вторично даришь мне жизнь!

Госпожа Декуэн измыслила возможность приготовить прекрасный обед, да еще присоединила к нему сокровища из своих давних запасов — две бутылки старого вина и бутылочку заморского ликера.

— Агата, разреши уж ему курить сигары! — сказала она за десертом.

И она предложила Филиппу сигары.

Бедные создания воображали, что, предоставив ему все удобства, они внушат ему любовь и привязанность к семье, и старались привыкнуть к запаху табака, которого не выносили. Эта огромная жертва даже не была замечена Филиппом.

На следующий день Агата казалась постаревшей на десять лет. Как только ее беспокойство утихло, пришло размышление, и бедная женщина за всю ужасную ночь не сомкнула глаз.

У нее осталось только шестьсот франков ренты. Г-жа Декуэн страдала хроническим упорным кашлем и, как все толстые женщины-сластены, двигалась тяжело, ее шаги на лестнице походили на удары бревна; каждую минуту она могла умереть; с нею исчезли бы четыре тысячи франков. Разве не было смешно рассчитывать на этот источник средств? Что же делать? Как быть? Агата скорей решилась бы поступить сиделкой к больным, чем быть в тягость своим детям,— она и не думала о себе. Но что будет делать Филипп при своих пятистах франках пенсии? Г-жа Декуэн, давая в продолжение одиннадцати лет по три тысячи франков ежегодно, почти вдвойне выплатила свой долг и продолжала приносить в жертву семье Бридо интересы своего внука. Хотя честность и строгая порядочность Агаты были оскорблены во время этого ужасного бедствия, она размышляла: «Бедный мальчик, разве он виноват? Он верен своей присяге. Это я виновата, что не женила его. Если бы я нашла ему жену, он не связался бы с танцовщицей. Он такого сильного сложения!»

Старуха Декуэн тоже размышляла всю ночь, как бы ей спасти честь семьи. Утром она встала и явилась в спальню своей подруги.

— Ни вам, ни Филиппу не следует браться за это тонкое дело,— сказала она ей.— Два наших старых друга, Клапарон и дю Брюэль, умерли, но у нас остался Дерош-отец, который правильно судит обо всем, и я схожу к нему сегодня же утром — пускай Дерош скажет, что Филипп стал жертвой своего доверия к одному другу, что его бесхарактерность в этом отношении делает его совершенно неспособным заведовать кассой и подобный случай может повториться и впредь. Филипп предпочтет сам подать в отставку, он не будет просто уволен.

Агата, поняв, что этой официальной ложью честь ее сына будет спасена — по крайней мере в глазах чужих,— обняла г-жу Декуэн, и та отправилась из дому, чтобы замять эту ужасную неприятность. Филипп спал сном праведника.

— Хитрая старуха! — сказал он, улыбаясь, когда Агата сообщила ему, почему запаздывает завтрак.

Старый Дерош, последний друг бедных женщин, несмотря на свой суровый характер, помнил, что он получил должность благодаря Бридо, и взял на себя в качестве признанного дипломата деликатное поручение, данное ему г-жой Декуэн. Он пришел к Агате пообедать и уведомить ее, что ей необходимо завтра пойти в казначейство на улицу Вивьен подписать перевод части проданной ренты и взять купон на шестьсот оставшихся у нее франков. Старый чиновник покинул несчастный дом только после того, как заставил Филиппа подписать прошение военному министру о восстановлении его в рядах армии. Дерош обещал обеим женщинам протолкнуть прошение в военном министерстве и воспользоваться победой герцога над Филиппом у танцовщицы, чтобы добиться покровительства этого знатного вельможи.

— Не пройдет и трех месяцев, как он будет подполковником в полку герцога де Мофриньеза, и вы избавитесь от забот о нем.

Дерош ушел, осыпанный благословениями обеих женщин и Жозефа. Что касается газеты, то два месяца спустя она, согласно предсказаниям Фино, перестала выходить. Таким образом, проступок Филиппа не вызвал в

обществе никакого отголоска. Но материнскому чувству Агаты была нанесена глубокая рана. Ее вера в сына была поколеблена, отныне она жила в непрестанной тревоге, сменявшейся относительным спокойствием, когда она видела, что ее зловещие опасения не сбываются.

Если люди, наделенные физической храбростью, но нравственно подлые и гнусные, каким и был Филипп, видят, что после катастрофы, при которой едва не погибла их репутация, все идет обычным порядком, то такая снисходительность семьи или друзей является для них поощрением. Они рассчитывают на безнаказанность: вдохновляемые своим извращенным умом и стремлением удовлетворить свои страсти, они устанавливают, каким образом им удалось обойти законы общества, и тогда становятся поразительно ловкими. Две недели спустя Филипп снова стал скучающим бездельником и возобновил свои посещения кофеен; он подолгу сидел за столиком, услаждая себя стаканчиками спиртного, разыгрывал долгие партии на бильярде, подогревая себя пуншем, пристрастился к ночной карточной игре, когда он, вовремя рискуя маленькими ставками, выигрывал небольшие суммы для поддержания этого беспорядочного образа жизни. Чтобы лучше обмануть мать и г-жу Декуэн, он притворялся бережливым, носил шляпу, почти до неприличия засаленную и обтрепанную, заплатанные сапоги, потертый сюртук, на котором едва выделялась его красная орденская розетка, потемневшая от долгого пребывания в петлице, закапанная ликером и кофе; его зеленоватые замшевые перчатки служили ему долго, и в довершение всего он сменял свой атласный галстук только тогда, когда тот превращался в тряпку.

Мариетта была единственной любовью этого праздного малого; и измена танцовщицы еще больше очерствила его сердце. Когда случайно Филипп бывал в выигрыше или же ужинал со своим старым приятелем Жирудо, он из какого-то грубого презрения ко всему женскому полу искал утех у площадной Венеры. Впрочем, он соблюдал порядок: завтракал и обедал дома, каждую ночь возвращался к часу. После трех месяцев этой ужасной жизни бедная Агата опять возымела некоторое доверие к сыну.

Что до Жозефа, то, работая над великолепной картиной, которой впоследствии был обязан своей известностью, он не выходил из своей мастерской.

Полагаясь на мнение внука, старуха Декуэн верила в будущее Жозефа и расточала художнику материнские заботы: по утрам сама подавала ему завтрак, исполняла его поручения, чистила ему сапоги. Художник показывался только к обеду, а вечера проводил с друзьями по кружку. Впрочем, он много читал, приобретал те глубокие и серьезные знания, что даются только самообразованием, которым и занимаются в возрасте между двадцатью и тридцатью годами все даровитые люди. Агата редко видела Жозефа, но не беспокоилась о нем и думала только о Филиппе. Только он вызывал у нее то чередование возникающих опасений и утихающих страхов, которое до известной степени составляет жизнь чувства и так же необходимо для материнской любви, как и для страсти. Дерош, приходивший почти каждую неделю навестить вдову своего бывшего начальника и друга, обнадеживал ее: герцог Мофриньез просил назначить Филиппа в его полк, военный министр велел составить рапорт, и так как имя Бридо не значится ни в одном полицейском списке и за ним не числится судимости, то в первые месяцы нового года Филипп получит назначение на службу и будет восстановлен в правах. Чтобы обеспечить успех, Дерош привел в движение все свои связи; наведя справки в полицейской префектуре, он узнал, что Филипп убивает все вечера за игрой, и счел необходимым доверить эту тайну только г-же Декуэн, обязав ее следить за будущим командиром полка, потому что какой-нибудь скандал мог все погубить; в настоящее время министр, пожалуй, еще не стал бы доискиваться, не игрок ли Филипп. Поступив же на военную службу, полковник, несомненно, расстанется со своей страстью, порожденной бездельем. Агата, не принимавшая больше никого по вечерам, читала молитвенник, сидя у камина, а старуха Декуэн в это время гадала на картах, занималась толкованием своих снов и применяла правила «каббалистики» к своим ставкам.

Она по-прежнему была одержима страстью игрока, не пропускала ни одного тиража лотереи, упорно добиваясь выигрыша «терна», который все еще не выходил. «Терн»

насчитывал уже двадцать первый год, достигал совершеннолетия. Старуха связывала много надежд с этим ребяческим соображением. Один из номеров не выходил ни в одном тираже со времени учреждения лотереи, и г-жа Декуэн бесконечное число раз ставила на этот номер и на все комбинации из его трех цифр. Нижний тюфяк ее постели служил хранилищем сбережений бедной старухи; изредка она распарывала его, прятала туда золотую монету, тщательно завернутую в бумажку, монету, отвоеванную у самых насущных нужд, и вновь зашивала распоротое место. Она хотела во время последнего парижского тиража рискнуть всеми своими сбережениями, ставя на сочетания своего любимого «терна». Такая страсть, столь осуждаемая всеми, никогда не подвергалась изучению. Никто не понял, что это опиум нищеты. Разве лотерея, самая могущественная фея жизни, не приводит с собой вереницу магических надежд? Оборот рулетки, когда перед глазами игрока проходят необъятные количества золота и наслаждений, длится не дольше вспышки молнии, тогда как в лотерее эта великолепная молния длится целых пять дней. Какая общественная сила может сейчас за сорок су сделать вас счастливым на пять дней и представить вам в мечте все блага цивилизации? Продажа табака — это своеобразная форма налога, в тысячу раз более безнравственная, чем игорные дома; табак разрушает тело, мешает умственному развитию и одуряет народ, а лотерея ни в малейшей степени не причиняет такого вреда. Да к тому же страсть была поневоле упорядочена и промежутками времени, отделяющими тиражи друг от друга, и ожиданием именно того розыгрыша, который пользовался особенной любовью игрока. Старуха Декуэн ставила только на парижский розыгрыш. В продолжение двадцати лет, лелея надежду увидеть торжество своего «терна», она шла на огромные лишения, чтобы иметь возможность без помехи ставить на последний в году тираж. Когда она видела таинственные сны — потому что не все ее сны были связаны с цифрами лотереи,— она спешила рассказать их Жозефу, так как лишь он один выслушивал ее и не только не бранил, но говорил ей те кроткие слова, которыми художники успокаивают вспышки неразумия. Все люди больших дарований уважают и понимают истин-

ные страсти, они находят им объяснение и видят их источники или в сердце, или в уме человека. У Жозефа был свой взгляд на вещи. Его брат любил табак и ликеры, а старая «маменька» Декуэн любила «терн», мать любила бога. Дерош-сын любил судебные процессы, а Дерош-отец любил удить рыбу,— каждый, говорил он, что-нибудь любит. Сам же он любил прекрасное — во всем: любил поэзию Байрона, живопись Жерико, музыку Россини, романы Вальтера Скотта.

— У каждого свой вкус, маменька! — восклицал он.— Только ваш «терн» приносит вам одни тернии.

— Он выйдет, ты будешь богат, и мой мальчик Бисиу тоже.

— Отдайте все вашему внуку,— ответил Жозеф.— А впрочем, делайте, как хотите!

— Эх, если он выйдет, мне хватит на всех. Прежде всего, у тебя будет прекрасная мастерская, тебе не придется отказываться от Итальянской оперы, чтобы платить натурщикам и покупать краски... А знаешь, дитя мое, ведь ты заставил меня играть не очень-то красивую роль в этой картине!

Из экономии Жозеф заставил г-жу Декуэн позировать для его великолепной картины, где изображена старуха, приводящая молодую куртизанку к венецианскому сенатору. Эта картина — шедевр современной живописи, сам Гро считал ее достойной Тициана — чудесно подготовила молодых художников к тому, чтобы признать и провозгласить превосходство Жозефа в Салоне 1823 года.

— Кто знает вас, те прекрасно понимают, что вы за женщина,— весело ответил он,— а к чему вам беспокоиться о тех, кто вас не знает?

За последние лет десять лицо г-жи Декуэн приобрело тона лежалого ранета. Тело ее стало рыхлым, дряблым, и на нем образовались морщины. Глаза же, полные жизни, казались одушевленными какой-то мыслью, еще молодой и бодрой, которую тем легче было принять за выражение алчности, потому что во взгляде игрока всегда чувствуется что-то алчное. Ее жирное лицо хранило черты глубокой скрытности и какой-то задней мысли, запрятанной в глубине сердца,— ее страсть требовала тайны. В очертаниях рта сквозило чревоугодие. Таким образом, хотя это была честная и прекрасная жен-

щина, какой вы ее знаете, тем не менее при взгляде на нее можно было ошибиться. Вот почему она представляла собой прекрасную модель для той старухи, которую Бридо хотел изобразить. Замысел картины принадлежал Корали, молодой актрисе редкой красоты, умершей в цвете лет, любовнице юного поэта Люсьена де Рюбампре, друга Жозефа Бридо. Этому прекрасному произведению ставили в вину подражательность, хотя в нем великолепно были даны три портрета с натуры. Голову сенатора он писал с Мишеля Кретьена, одного из членов кружка, молодого республиканца, но придал ей черты большей зрелости, точно так же, как он подчеркнул выражение лица г-жи Декуэн.

Замечательная картина, которой предстояло наделать столько шума, возбудить столько ненависти, зависти и восхищения, была уже начата, но, вынужденный прерывать работу, чтобы выполнять заказы, необходимые для заработка, Жозеф копировал картины старых мастеров, усваивая их приемы: таким образом, его кисть была одной из самых искусных. Здравый смысл внушил художнику намерение скрыть от г-жи Декуэн и от матери заработок, который он начал получать: для той и другой он видел угрозу разорения — в Филиппе и в лотерее. Странное хладнокровие, проявленное солдатом во время постыдной катастрофы, тайный расчет, крывшийся в решении якобы покончить с собой и разгаданный Жозефом, память о проступках, допущенных братом на службе, которой нужно было так дорожить, наконец, многие мелочи в поведении Филиппа в конце концов раскрыли глаза Жозефу. Такая проницательность — не редкость у художников; занятые целый день в тиши своих мастерских работами, до известной степени оставляющими мысль свободной, они несколько похожи на женщин: их ум умеет вертеться вокруг мелких жизненных фактов и проникать в их скрытый смысл.

Как-то Жозеф приобрел один из тех великолепных старинных шкафов, на какие тогда еще не было моды, и поставил его в виде украшения в тот угол своей мастерской, куда падал свет, переливаясь на выпуклой резьбе и показывая во всем блеске этот шедевр мастеров XVI века. Жозеф обнаружил в шкафу тайник и стал прятать в него свои сбережения про черный день. А

деньги, предназначенные на месячные расходы, он с доверчивостью, свойственной настоящим художникам, обычно складывал в череп, стоявший на одной из полочек шкафа. После водворения своего брата домой он замечал постоянное несоответствие между своими расходами и этой суммой. Сто франков, отложенные на месяц, исчезали с невероятной быстротой. Израсходовав как-то не более сорока или пятидесяти франков и увидев, что больше ничего не остается, он подумал:

«Кажется, пропали мои денежки».

В следующий раз он уже нарочно стал запоминать свои расходы; он готов был допустить, подобно Роберу Макэру, что шестнадцать плюс пять равняется двадцати трем,— и все-таки счет не сходился. В третий раз, не досчитавшись еще более крупной суммы, он рассказал об этом горестном случае старухе Декуэн, которая — он чувствовал это — любила его той материнской, нежной, чистосердечной, доверчивой, восторженной любовью, какой ему не хватало со стороны матери, как добра она ни была (а ведь такая любовь столь же необходима начинающему художнику, как заботы наседки — ее цыплятам, пока они не оперятся). Только «маменьке» Декуэн он мог доверить свои страшные подозрения. В своих друзьях он был уверен, как в самом себе; старуха Декуэн, конечно, ничего не брала у него на ставки для лотереи,— и как только он высказал ей свое недоумение, бедная женщина начала ломать себе руки; итак, только один Филипп мог совершить эту маленькую домашнюю кражу.

— Почему он не просит у меня, когда ему нужно? — воскликнул Жозеф, захватив кистью краску с палитры и безотчетно смешав все тона.— Разве бы я отказал ему в деньгах?

— Но ведь это значит обобрать ребенка! — вскричала г-жа Декуэн, и на ее лице отразился глубочайший ужас.

— Нет,— ответил Жозеф,— он имеет право взять, он мне брат, мой кошелек в его распоряжении. Но он должен был меня предупредить.

— Положи сегодня утром несколько отсчитанных монет и не трогай их,— сказала ему г-жа Декуэн.—

Я узнаю, кто бывает в твоей мастерской; если только он один, тогда у тебя не будет никаких сомнений.

Так на следующий же день Жозеф получил доказательство самовольных займов своего брата. В отсутствие Жозефа Филипп входил в мастерскую и по мере надобности брал небольшие суммы. Художник начал бояться за свой маленький клад.

— Погодите, погодите, уж я его, миленького, поймаю! — сказал он, смеясь, г-же Декуэн.

— И отлично сделаешь: надо его обуздать, ведь и я иногда не досчитываюсь денег у себя в кошельке. Но и то сказать, бедному мальчику нельзя без табака, он привык курить!

— Бедный мальчик, бедный мальчик! — подхватил художник.— Я почти согласен с Бисиу и Фюльжансом: Филипп постоянно подкладывает нам свинью; то он вмешивается в какие-то восстания, и его нужно отправлять в Америку, а мать выкладывай двенадцать тысяч франков; то в лесах Нового Света он ничего не может добиться, и его возвращение обходится не меньше, чем отъезд. Под тем предлогом, что он передал два слова Наполеона какому-то генералу, Филипп считает себя великим воином, обязанным дразнить Бурбонов. В ожидании лучшего он развлекается, путешествует, видит свет. Меня не проведешь его несчастиями: он не из тех, кто не умеет устраиваться. Моему славному братцу находят прекрасное место, а вместо того чтобы работать, он ведет жизнь какого-нибудь Сарданапала со своей оперной девочкой, обворовывает кассу газеты — и опять это обходится в двенадцать тысяч нашей матушке. Если бы дело касалось только меня, я бы, конечно, не обращал на это внимания, но Филипп вконец разорит нашу бедную мать. Он считает меня ничтожеством, потому что я не служил в гвардейских драгунах! Но, быть может, именно я буду содержать мать на старости лет, а этот вояка кончит черт знает как, если будет продолжать в таком же духе. Бисиу мне сказал: «Твой братец — распутник, каких мало!» Ну что ж, ваш внук прав: Филипп выкинет такое коленце, что честь всей семьи будет в опасности, и снова придется изыскивать десять — двенадцать тысяч франков. Он играет каждый вечер и, возвращаясь домой пьяный как стелька, роняет на лестнице карточки,

исколотые булавкой, которой он отмечал выходы черного и красного. Дерош-отец хлопочет, чтобы устроить Филиппа в армию, но, честное слово, я убежден, брат придет в отчаяние, если ему опять придется служить. Можно ли было предполагать, что молодой человек с такими прекрасными, такими ясными синими глазами, похожий на рыцаря Баярда, превратится в мошенника?

Несмотря на благоразумие и хладнокровие, с каким Филипп ставил по вечерам свои ставки, время от времени ему случалось, как выражаются игроки, «продуваться». Испытывая непреодолимое желание иметь на вечернюю игру десять франков, он в таких случаях потихоньку запускал руку в кошельки своих домашних — брата или же старухи Декуэн, пользуясь ее небрежностью, а то и в кошелек Агаты. Однажды бедная мать, засыпая, была поражена страшным видением. Филипп вошел в ее комнату, обшарил карманы ее платья и взял все деньги, какие там нашел. Агата притворилась спящей, но проплакала всю ночь. Ей было ясно все. «Один проступок — еще не порок»,— сказала г-жа Декуэн, но проступки повторялись многократно, порок стал очевидным. Агата не могла больше сомневаться: у ее любимого сына не было ни сердца, ни совести. На следующий день после этого ужасного видения она, дождавшись конца завтрака и уведя в свою комнату Филиппа, пока он еще не ушел из дому, умоляла его обращаться к ней за деньгами в случае необходимости. Тогда его просьбы настолько участились, что через две недели Агата исчерпала все свои сбережения. Она оказалась без гроша и стала подумывать о какой-нибудь работе для себя; несколько вечеров она обсуждала с г-жой Декуэн вопрос о том, чем бы зарабатывать деньги. Уже бедная мать ходила в магазин «Отец семейства» просить заказов на вышивку — работа, дававшая около двадцати су в день. Несмотря на полную скрытность племянницы, г-жа Декуэн прекрасно поняла, откуда возникло это стремление зарабатывать деньги рукоделием. Да стоило посмотреть на Агату, чтобы обо всем догадаться: ее свежее лицо увяло, кожа на висках и на скулах съежилась, на лбу появились морщины, глаза потеряли свой чистый блеск: очевидно, какой-то внутренний огонь пожирал ее, она плакала по ночам; но больше всего томила

ее необходимость молчать о своих страданиях, горестях и опасениях. Она никогда не засыпала до возвращения Филиппа домой, она поджидала его на улице; она изучила изменения в его голосе, походке, научилась понимать речь его трости, со стуком волочившейся по мостовой. Она не упускала ничего, она знала, в какой именно степени опьянения приходил Филипп, и трепетала, слыша, как он спотыкается на лестнице; однажды ночью она подобрала золотые монеты там, где он упал. Когда он бывал навеселе и в выигрыше, его голос становился хриплым, трость тащилась по земле; когда же он проигрывал, в его шагах чувствовалось что-то сухое, отчетливое, яростное; он напевал чистым голосом и держал трость кверху, «на-караул». Когда он выигрывал, его обращение за завтраком было веселым и почти ласковым, он шутил — грубовато, но все же шутил — с г-жой Декуэн, с Жозефом и с матерью. Проиграв, он, наоборот, бывал мрачен; его короткая и отрывистая речь, суровый взгляд, угнетенное состояние наводили страх. От разгульной жизни, в соединении с привычкой к спиртному, что ни день все больше и больше изменялось его лицо, когда-то такое красивое. На скулах появились красные жилки, черты грубели, ресницы выпадали, глаза тускнели. В довершение всего Филипп не следил за собой, и от него несло кабаком, запахом грязных сапог, так что и посторонний по этим приметам узнал бы опустившегося человека.

В начале декабря г-жа Декуэн сказала ему:

— Вам бы следовало одеться с головы до ног.

— А кто будет платить? — резким голосом ответил он.— У бедной матери не осталось ни гроша, я получаю пятьсот франков в год. Чтобы одеться, нужна вся моя годовая пенсия, а я уже заложил ее на три года вперед.

— Почему? — спросил Жозеф.

— Долг чести. Жирудо взял у Флорентины тысячу франков для того, чтобы дать их мне взаймы... Я не одет с иголочки, это правда. Но когда подумаешь, что Наполеон — на Святой Елене и продает свое серебро, чтобы существовать, то его солдаты, оставшиеся верными ему, могут отлично расхаживать в стоптанных сапогах,— сказал он, показывая свои сапоги без каблуков.

И он вышел.

— Он не плохой мальчик,— сказала Агата,— он способен на хорошие чувства.

— Можно любить императора и сохранять приличную внешность,— сказал Жозеф.— Если бы он хоть немного заботился о себе и своей одежде, то не смахивал бы на проходимца.

— Жозеф, надо быть снисходительным к брату,— сказала Агата.— Ты-то занимаешься тем, чем хочешь. А он, конечно, не на своем месте.

— Почему же он его оставил? — спросил Жозеф.— Не все ли равно, будут ли на знаменах клопы Людовика Восемнадцатого или кукушка Наполеона, если эти лохмотья — французские? Франция есть Франция. Я бы стал рисовать хоть для черта! Солдат должен драться, раз он солдат, из любви к искусству. Если бы Филипп преспокойно остался в армии, то был бы теперь генералом...

— Вы несправедливы к нему,— сказала Агата.— Твой отец обожал императора, и он одобрил бы поступок сына. Да наконец Филипп согласен возвратиться в армию! Один бог знает, как тяжело твоему брату пойти на то, что он считает изменой.

Жозеф встал из-за стола, собираясь подняться к себе в мастерскую, но Агата, взяв его за руку, сказала:

— Будь добр с братом, он так несчастен.

Когда художник вернулся в мастерскую, сопровождаемый г-жой Декуэн, которая просила его щадить чувства матери и обращала его внимание на то, как Агата изменилась, о каких внутренних терзаниях говорит эта перемена,— в мастерской, к своему глубокому изумлению, они застали Филиппа.

— Жозеф, милый мой,— сказал он с непринужденным видом,— мне очень нужны деньги. Черт побери! Я должен франков тридцать в табачную лавочку за сигары и не смею пройти мимо этой проклятой лавчонки, не заплатив денег. Я уже обещал раз десять.

— Отлично, вот это по-моему: возьми из черепа.

— Но я уже взял все вчера, после обеда.

— Там было сорок пять франков...

— Ну да, ровно столько и я насчитал,— ответил Филипп.— Я их и взял. А что — может быть, я дурно поступил?

— Нет, мой друг, нет,— ответил художник.— Если бы у тебя были деньги, я бы сделал так же на твоем месте. Но только раньше, чем взять, я спросил бы твоего согласия.

— Просить — это очень унизительно,—ответил Филипп.— Я бы предпочел, чтобы ты брал, как я, не спрашивая; в этом больше доверия. В армии делается так: товарищ умирает, у него хорошие сапоги, у тебя плохие, и с ним меняются.

— Да, но у него не берут их, пока он жив.

— О, это мелочи,— ответил Филипп, пожимая плечами.— Значит, ты не при деньгах?

— Нет,— ответил Жозеф, не желая обнаружить свой тайник.

— Через несколько дней мы будем богаты,— сказала г-жа Декуэн.

— Да, вы надеетесь, что ваш «терн» выйдет двадцать пятого, в парижском розыгрыше. Надо полагать, вы ставите крупную сумму, если задумали нас обогатить.

— Двести франков, поставленные на чистый «терн», дают три миллиона, не считая выигрыша на два номера и установленных выигрышей.

— Да, так и есть! Если выигрыш в пятнадцать тысяч раз больше ставки, то вам и нужно двести франков! — вскричал Филипп.

Старуха закусила губу: у нее вырвалось неосторожное признание.

И в самом деле, Филипп на лестнице задал себе вопрос:

«Куда эта старая колдунья может прятать деньги на свои ставки? Потерянные деньги,— я употребил бы их гораздо лучше! Четыре ставки по пятидесяти франков — и можно выиграть двести тысяч. Это немножко вернее, чем выигрыш на «терн».

И вот, верный себе, Филипп приступил к розыскам предполагаемого тайника г-жи Декуэн. Накануне праздников Агата ходила в церковь и долго оставалась там. Без сомнения, она исповедовалась и готовилась к причастию. Был канун рождества. Г-жа Декуэн, наверное, должна была пойти накупить разных лакомств для сочельника, но, быть может, одновременно собиралась вне-

сти свою ставку. Тираж лотереи производился через каждые пять дней, поочередно в Бордо, Лионе, Лилле, Страсбурге и Париже. Тираж парижской лотереи бывал 25-го числа каждого месяца, списки заканчивались 24-го к полуночи. Солдат учел все эти обстоятельства и занялся наблюдениями. В полдень Филипп возвратился на квартиру, когда г-жи Декуэн не было дома, но она унесла с собою ключи. Однако с этим затруднением легко было справиться. Филипп притворился, что забыл захватить из дома какую-то вещь, и попросил привратницу сходить за слесарем, проживавшим в двух шагах, на улице Генего,— слесарь явился и открыл дверь. Первой мыслью вояки была постель: он разворотил ее и, прежде чем исследовать деревянную кровать, тронул рукой тюфяки; в нижнем тюфячке прощупывались золотые монеты, завернутые в бумагу. Быстро распоров ткань, он взял двадцать луидоров, потом, не дав себе труда зашить тюфяк, прибрал постель так, чтобы г-жа Декуэн ничего не заметила.

Игрок проворно скрылся, собираясь ставить в три приема, через каждые три часа, и играть всякий раз не больше десяти минут. С 1786 года, когда были выдуманы публичные игры, именно так только и играли настоящие игроки, которые держали в страхе администрацию игорных домов и «съедали», по выражению притонов, весь банк. Но прежде чем приобрести такой опыт, они проигрывали целые состояния. Вся философия арендаторов игорных домов и их прибыль основывались на том, что их касса оставалась нетронутой и что они получали доход от равных выигрышей, именуемых «ничья», когда половина суммы оставалась за банком, а также на разрешенной правительством явной недобросовестности, то есть на праве отвечать за ставки и оплачивать выигрыши по своему усмотрению. Одним словом, игра, которая щадила богатого и хладнокровного игрока, пожирала состояние азартного игрока, из глупого упрямства позволявшего себе одуреть от быстрого движения этой машины: банкометы в игре «тридцать и сорок» действовали почти так же быстро, как рулетка. Филипп в конце концов приобрел то хладнокровие мастера своего дела, которое позволяет сохранять ясность взгляда и отчетливость соображения в вихре азарта. Он

дошел до той высокой политики в игре, которая, скажем мимоходом, в Париже дает возможность жить тысячам лиц, достаточно крепким, чтобы каждый вечер смотреть в пропасть, не испытывая головокружения.

Филипп со своими четырьмястами франками решил в этот день составить себе состояние. Двести франков он спрятал про запас в сапоги, а двести положил в карман. В три часа он вошел в зал, теперь занятый театром Пале-Рояль, где тогда держали банк на самые крупные суммы. Через полчаса он вышел, разбогатев на семь тысяч франков. Он зашел к Флорентине, которой должен был пятьсот франков, возвратил их ей и предложил поужинать с ним после театра в «Роше-де-Канкаль». На обратном пути он зашел на улицу Сантье, в контору газеты, чтобы предупредить своего друга Жирудо о предполагаемом кутеже. В шесть часов Филипп выиграл двадцать пять тысяч франков и вышел через десять минут, соблюдая свой зарок. Вечером, в десять часов, он выиграл семьдесят пять тысяч франков. После великолепного ужина, пьяный и благодушный, Филипп к полуночи вернулся играть. Вопреки данному себе слову он играл в продолжение часа и удвоил свой капитал. Банкометы, у которых он благодаря своей манере играть сорвал полтораста тысяч, с любопытством смотрели на него.

— Уйдет он или останется? — спрашивали они друг друга взглядом.— Если останется, то он погиб.

Филипп решил, что ему везет, и остался. К трем часам утра полтораста тысяч вернулись в кассу банка. Офицер, выпивший во время игры немало грога, вышел в состоянии некоторого опьянения, а на холодном воздухе и совсем опьянел; но служитель притона, провожавший его, помог ему и отвел в один из тех ужасных домов, у дверей которых на фонаре можно прочитать: «Сдаются комнаты на ночь». Служитель заплатил за разорившегося игрока, тот, не раздеваясь, повалился на кровать и проспал до самого сочельника. Администрация игорного зала заботилась о своих завсегдатаях и крупных игроках. Филипп проснулся только в семь часов с обложенным языком, распухшей физиономией, в приступе нервической лихорадки. Благодаря своему сильному организму он добрался пешком до материн-

ского дома, куда уже внес, сам того не желая, скорбь, отчаяние, нищету и смерть.

Накануне, хотя обед был совсем готов, г-жа Декуэн и Агата часа два поджидали Филиппа. За стол сели только в семь. Агата почти всегда ложилась в десять часов, но так как ей хотелось побывать у заутрени, то она легла спать сейчас же после обеда. Г-жа Декуэн и Жозеф остались одни у камина в той маленькой комнате, которая служила гостиной и чем угодно,— и тогда старушка попросила его подсчитать ей пресловутую ставку, чудовищную ставку на знаменитый «терн». Она хотела ставить и на двойной номер и на обычный выигрыш, чтобы соединить вместе все возможности. Вдосталь насладившись поэзией этого хода, опрокинув два рога изобилия к ногам своего приемного сына и рассказав ему в подтверждение верного выигрыша о своих снах, она беспокоилась только о трудности выдержать ожидание подобного счастья с полуночи до десяти часов утра. Жозеф, не знавший, откуда она возьмет двести франков на свою ставку, вздумал об этом спросить. Старуха улыбнулась и повела его в бывшую гостиную, а теперь ее спальню.

— Сейчас ты увидишь,— сказала она.

Госпожа Декуэн быстро раскрыла свою постель и отыскала ножницы, чтобы распороть тюфяк; она надела очки, осмотрела ткань, увидела, что ее распороли, и выпустила из рук тюфяк. Услышав стон, который вырвался из самой глубины ее груди, Жозеф инстинктивно подхватил ее на руки: старая любительница лотереи потеряла сознание; Жозеф усадил ее в кресло, кликнул на помощь мать. Агата вскочила с постели, надела капот и прибежала; при свете свечи она оказала своей тетке обычную в таких случаях помощь — натерла одеколоном виски, прыснула холодной водой в лицо, поднесла к носу жженое перо — и наконец увидела, что старуха начинает возвращаться к жизни.

— Они были там сегодня утром, но он взял их, чудовище!

— Что взял? — спросил Жозеф.

— У меня в тюфяке было двадцать луидоров, мои сбережения за два года... Только Филипп мог их взять...

— Но когда же? — ошеломленная, вскрикнула несчастная мать.— Он не возвращался после завтрака.

— Мне бы очень хотелось, чтобы я ошиблась! — ответила старуха.— Но утром, когда я говорила о своей ставке в мастерской Жозефа, у меня было какое-то предчувствие; я сама виновата, что не пошла тотчас к себе и не взяла свой капиталец, чтобы немедленно его поставить. Я так и хотела сделать, да уж не знаю сама, что мне помешало... Ах, боже мой, да ведь я ходила за сигарами для него...

— Но комната была заперта,— сказал Жозеф.— Кроме того, это такая низость, что я не могу поверить. Чтобы Филипп шпионил за вами, распорол ваш тюфяк, заранее обдумал все это?.. Нет!

— Сегодня утром, после завтрака, оправляя кровать, я убедилась, что деньги на месте,— повторила г-жа Декуэн.

Агата в ужасе спустилась вниз, спросила, не приходил ли днем Филипп, и из рассказа привратницы узнала о проделке Филиппа. Пораженная прямо в сердце, мать вернулась сама не своя. Бледная, как полотно, она шла так, как, по нашим представлениям, движутся призраки: бесшумно, медленно, под действием какой-то сверхчеловеческой и вместе с тем почти механической силы. Свеча, которую она несла перед собою, освещала ее лицо, и на нем особенно выделялись глаза, остановившиеся от ужаса. Безотчетным движением руки она растрепала волосы на лбу и казалась столь художественно совершенным воплощением ужаса, что Жозеф был пригвожден к месту этим зрелищем потрясенного сознания, этой статуей Страха и Отчаяния.

— Тетя,— сказала она,— возьмите мои столовые приборы, у меня их полдюжины, они стоят столько же, сколько было ваших денег. Ведь это я взяла у вас деньги для Филиппа; я думала, что мне удастся положить их обратно, прежде чем вы заметите. О, как я страдала!

Она села, ее сухие и уставившиеся в одну точку глаза слегка замерцали.

— Это сделал он,— совсем тихо шепнула г-жа Декуэн Жозефу.

— Нет, нет,— ответила Агата.— Возьмите мои при-

боры, продайте их, они мне не нужны, мы обойдемся вашими.

Она пошла к себе в комнату, взяла футляр, в котором хранились приборы, он показался ей слишком легким, она открыла его и увидела вместо приборов ломбардную квитанцию. Несчастная мать дико вскрикнула. Жозеф и г-жа Декуэн прибежали, взглянули на футляр, и возвышенная ложь матери стала бесполезной. Все трое молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Тогда Агата почти безумным жестом приложила палец к губам, умоляя хранить тайну, которую никто и не собирался разглашать. Все трое вернулись в гостиную к камину.

— Послушайте, дети мои! — воскликнула г-жа Декуэн.— Это удар мне прямо в сердце: мой «терн» выйдет, я в этом убеждена. Я не о себе думаю, я думаю о вас обоих. Филипп — это чудовище,— обратилась она к племяннице,— он не любит вас, несмотря на все, что вы для него делаете. Если вы не прибегнете к предосторожностям, этот негодяй пустит вас по миру. Позвольте мне продать ваши ценные бумаги, обратить их в капитал и поместить его в пожизненную ренту. Жозеф занял хорошее положение и проживет своим трудом. Поступив так, моя дорогая, вы никогда не будете в тягость Жозефу. Господин Дерош хочет устроить своего сына. Маленький Дерош,— сказала она (этому «маленькому» Дерошу было тогда двадцать шесть лет),— нашел для себя контору, он поместит у себя ваши двенадцать тысяч в пожизненную ренту.

Жозеф выхватил свечу у матери и быстро взбежал к себе в мастерскую. Оттуда он вернулся с тремястами франков.

— Возьмите, маменька Декуэн,— сказал он, предлагая ей свои сбережения.— Не наше дело доискиваться, как вы расходуете ваши деньги; мы просто должны вам отдать то, что у вас пропало. Тут хватит.

— Чтобы я взяла накопленные тобой крохи, плод твоих лишений, из-за которых я так болела душой! Уж не сошел ли ты с ума, Жозеф? — воскликнула старая участница королевской лотереи, явно колеблясь между безумной верой в свой «терн» и боязнью пойти на такое, как ей казалось, святотатство.

— О, делайте с этим все, что хотите,— сказала Агата, которую порыв ее истинного сына тронул до слез.

Госпожа Декуэн обняла Жозефа за голову и поцеловала его в лоб.

— Дитя мое, не соблазняй меня. Слушай, я опять проиграю. Лотерея — это глупости.

Никогда столь героические слова не произносились в неведомых драмах частной жизни. И в самом деле, разве то не было торжеством чувства над закоренелым пороком? В эту минуту зазвонившие к заутрене колокола возвестили полночь.

— И, кроме того, уже поздно,— сказала г-жа Декуэн.

— Дайте-ка мне ваши каббалистические расчеты! — воскликнул Жозеф.

Великодушный художник, схватив записи номеров, устремился вниз по лестнице и побежал сделать ставку.

Когда он исчез, Агата и г-жа Декуэн залились слезами.

— Он пошел туда. Милый мой мальчик! — вскричала старуха.— Но выигрыш будет весь принадлежать ему, ведь это его деньги.

К сожалению, Жозеф совершенно не знал, где помещались лотерейные бюро, которые в те времена так же были известны завзятым игрокам Парижа, как теперь курильщикам — табачные лавки. Художник бежал как сумасшедший, посматривая на фонари. Когда он просил у прохожих объяснить ему, где находятся лотерейные бюро, ему говорили, что они закрыты, но что одно из них — Перона, в Пале-Рояле,— иногда бывает открыто и позже. Художник тотчас помчался в Пале-Рояль, где бюро оказалось закрытым.

— Приди вы на две минуты раньше, вы бы успели сделать ставку,— сказал ему продавец лотерейных билетов, один из тех, что стоят у бюро Перона, громко провозглашая необыкновенные слова: «Тысяча двести франков за сорок су!» — и предлагают уже оформленные билеты. При свете, падавшем от уличного фонаря и из окна кофейни «Ротонда», Жозеф просмотрел, не было ли случайно среди этих билетов каких-нибудь номеров г-жи Декуэн, но, не найдя ни одного, возвратился домой, думая о том, как огорчится старуха расска-

зом о его неудаче, и сожалея, что, сколько он ни старался сделать все, что только возможно, лишь бы исполнить ее желание, все было тщетно.

Агата со своей теткой отправились к заутрене в Сен-Жермен-де-Пре, Жозеф лег спать. Рождественская кутья была забыта. Г-жа Декуэн потеряла голову, у Агаты на сердце была безысходная скорбь. Обе женщины встали поздно, уже пробило десять часов, г-жа Декуэн попыталась прийти в себя и приготовить завтрак, который был готов только к половине двенадцатого. К этому часу в продолговатых рамках на дверях лотерейных бюро были вывешены списки выигравших номеров. Если бы г-жа Декуэн поставила на свой номер, она отправилась бы в половине десятого на улицу Нев-де-Пти-Шан узнать свою участь, которая решалась в особняке, принадлежавшем министерству финансов, там, где сейчас театр и площадь Вентадур. В дни тиража любопытные могли с удивлением наблюдать у дверей этого особняка толпу служанок и всяких старух и стариков, которые представляли зрелище столь же занимательное, как и очередь держателей бумаг государственного казначейства в дни уплаты процентов.

— Ну вот вы и разбогатели! — воскликнул старый Дерош, входя в ту минуту, когда г-жа Декуэн допивала последний глоток кофе.

— Что? — вскричала бедная Агата.

— Ее «терн» вышел,— сказал он, протягивая список номеров, написанных на небольшой бумажке; их сотнями бросали кассиры в деревянные чаши, стоявшие на их конторках.

Жозеф прочел список, Агата прочла список. Старуха Декуэн не стала ничего читать, она была поражена, словно ударом молнии. Увидев, как она изменилась в лице, услышав ее крик, Жозеф и Дерош бросились к ней и перенесли ее на кровать. Агата побежала за доктором. Несчастную женщину разбил апоплексический удар; она пришла в сознание только к четырем часам вечера; старый Одри, ее врач, заявил, что, несмотря на это улучшение, ей следует подумать о своих делах и о священнике. Она произнесла только два слова:

— Три миллиона...

Старый Дерош, которого Жозеф — с необходимы-

ми умолчаниями — осведомил о происшедшем, стал приводить разные примеры, как игроки пропускали свое счастье, вот-вот готовое им выпасть именно в тот день, когда они, по роковому стечению обстоятельств, забывали внести свою ставку; но он понял, что этот удар, нанесенный после двадцати лет упорного постоянства, был смертельным. В пять часов, когда глубокое молчание царило в маленькой квартирке и больная, возле которой у изголовья сидела Агата, а у ног — Жозеф, ожидала своего внука, за которым пошел Дерош, на лестнице послышались шаги Филиппа и стук его трости.

— Вот он! Вот он! — вскрикнула г-жа Декуэн, приподнявшись на своем ложе и вновь обретя речь.

Агата и Жозеф были поражены этим припадком ужаса, так сильно потрясшим больную. Их тягостные опасения целиком оправдались, когда они увидели синевато-бледную, искаженную физиономию Филиппа, его неверную походку, ужасное выражение его глубоко ввалившихся глаз, тусклых и вместе с тем блуждающих; он был в сильнейшем приступе лихорадки, зубы его стучали.

— Тридцать одно несчастье! — вскричал он.— Ни хлеба, ни хлёбова, да и глотка у меня прямо горит. Что здесь происходит? Черт всегда впутывается в наши дела. Моя старая Декуэн в постели и вытаращила на меня свои буркалы.

— Замолчите, сударь,— сказала ему Агата, вставая.— Уважайте хотя бы несчастье, которому виною вы!

— Вот как — «сударь»? — переспросил он, глядя на мать.— Дорогая мамаша, это нехорошо. Значит, вы больше не любите вашего сына!

— Да разве вы достойны любви? Неужели вы даже не помните, что вы вчера сделали? Теперь позаботьтесь найти себе квартиру, вы больше не будете жить с нами... Конечно, не сейчас же, не нынче, потому что сейчас вы не в состоянии...

— Вы меня выгоняете, не так ли? — перебил он.— А! Вы разыгрываете здесь мелодраму «Изгнание сына»? Так! Так! Стало быть, вот как вы понимаете дело. Вы все, я вижу, славные ребята. Что же дурного я сделал? Я маленько пообчистил тюфяк старухи. Ну

что ж, ходячей монете не пристало лежать в постели, черт побери! В чем же преступление? Разве она сама не взяла у вас двадцать тысяч франков? Разве она не в долгу перед нами? Я просто вернул себе, сколько мне было нужно. Вот и все...

— Боже мой, боже мой! — громко застонала умирающая, молитвенно сложив руки.

— Замолчи ты! — крикнул Жозеф, подскочив к брату и зажимая ему рот рукой.

— Шагом марш, левое плечо вперед, сопляк! — скомандовал Филипп, опустив свою сильную руку на плечо Жозефа, и, заставив брата повернуться, толкнул в кресло.— Так не хватают за усы командира эскадрона драгун императорской гвардии.

— Но она отдала мне все, что была должна! —вскричала Агата, вставая и повернувшись к Филиппу разгневанным лицом.— Да притом это касается только меня; вы убиваете ее. Уходите, мой сын! — сказала она и, собрав последние свои силы, указала ему на дверь.— Уходите и никогда не возвращайтесь ко мне. Вы — чудовище.

— Я ее убиваю?

— Ее «терн» вышел! — воскликнул Жозеф.— А ты украл у нее деньги, отложенные на ставку!

— Если она подыхает потому, что «терн» засел у нее в нутре, значит, не я убил ее,— ответил пьяница.

— Уходите же! — вскричала Агата.— Вы отвратительны! Вы порочны до мозга костей!.. Боже мой, и это мой сын?!

Глухое хрипение, вырвавшееся из горла г-жи Декуэн, еще усилило гнев Агаты.

— Я вас все же очень люблю, вы мне мать, хотя вы и виновница всех моих несчастий! — сказал Филипп.— Вы меня выбрасываете за двери в день рождества... как бишь его... Иисуса Христа! Что вы сделали нашему дедушке Руже, своему отцу? За что он вас выгнал и лишил наследства? Если бы вы не вызвали его неприязни, мы были бы богаты и не жили бы как последние нищие. Что вы сделали вашему отцу — вы, хорошая женщина? Вы прекрасно видите, что я могу быть примерным сыном, и все же выбрасываете меня за дверь, меня, гордость всей семьи!

— Нет, позор ее! — крикнула г-жа Декуэн.

— Ты уйдешь или убьешь меня! — вскричал Жозеф, бросаясь на своего брата, как разъяренный лев.

— Боже мой, боже мой! — простонала Агата, вставая, чтобы разнять братьев.

В этот момент вошли Бисиу и доктор Одри. Жозеф сбил брата с ног и навалился на него.

— Ты настоящий зверь! — кричал Жозеф.— Молчи! Или я тебя...

— Я это попомню,— промычал Филипп.

— Семейное объяснение? — спросил Бисиу.

— Поднимите его,— сказал доктор.— Он так же тяжело болен, как и наша славная Декуэн. Разденьте его, уложите и снимите с него сапоги.

— Легко сказать! — воскликнул Бисиу.— Сапоги нужно разрезать: у него ноги распухли.

Агата взялась за ножницы. Когда она разрезала сапоги, которые тогда носили поверх узких панталон, на пол выкатились десять золотых монет.

— Вот ее деньги,— пробормотал Филипп.— Эх, дурак я, черт побери! Забыл об этом запасе. И я тоже проморгал целое состояние.

Ужасный горячечный приступ овладел Филиппом, он начал бредить. С помощью Бисиу и Дероша-отца, который случайно зашел в это время, Жозеф перетащил подлеца в его комнату. Доктору Одри пришлось написать записку в больницу Шаритэ с просьбой доставить смирительную рубашку, так как Филипп впал в состояние исступленности — можно было опасаться, как бы он не покончил с собой: он стал буйным. В десять часов в семье водворилась тишина. Аббат Лоро и Дерош пытались успокоить Агату, не переставшую плакать у изголовья своей больной тетки; она слушала, качая головой и храня упорное молчание. Только Жозеф и г-жа Декуэн знали, как глубока, как мучительна ее душевная рана.

— Он исправится, мама,— сказал наконец Жозеф, когда Дерош-старший и Бисиу ушли.

— О! — воскликнула вдова.— Филипп верно сказал: мой отец проклял меня. Я не имею права... Вот они, деньги,— сказала она г-же Декуэн, собрав в одну кучку триста франков Жозефа и двести франков, найденные у

Филиппа.— Поди посмотри, не хочет ли твой брат пить,— сказала она Жозефу.

— Ты сдержишь обещание, данное у постели умирающей? — спросила г-жа Декуэн, чувствуя, что разум готов покинуть ее.

— Да, тетя.

— Хорошо. Поклянись мне перевести свои деньги на пожизненную ренту к маленькому Дерошу. Моей ренты вы скоро лишитесь, и, судя по тому, что ты говорила, ты позволишь этому негодяю обобрать тебя до последней нитки.

— Клянусь вам, тетя.

Вдова Декуэн умерла 31 декабря, пять дней спустя после страшного удара, который ей неумышленно нанес старый Дерош. Пятисот франков, оставшихся в семье, едва хватило, чтобы похоронить старуху. После нее осталось только немного столового серебра да кое-какая мебель, стоимость которой г-жа Бридо выплатила ее внуку.

Ограниченная восемьюстами франками пожизненной ренты, которую обеспечил ей Дерош-младший, взяв ее двадцать тысяч на покупку конторы и начав свое дело с одной вывески, то есть с одной конторы без клиентов,— Агата освободила домовладельцу комнату на четвертом этаже и продала всю лишнюю обстановку. Когда через месяц Филипп начал выздоравливать, Агата холодно объяснила ему, что расходы по его болезни поглотили все наличные деньги; отныне ей придется зарабатывать на жизнь, и поэтому она самым настоятельным образом побуждает его вновь поступить на военную службу и жить своим трудом.

— Вы могли бы воздержаться от этой проповеди,— сказал Филипп, устремив на мать равнодушный, холодный взгляд.— Я отлично вижу, что ни вы, ни брат больше не любите меня. Теперь я один во всем мире. Что ж, тем лучше!

— Станьте достойным любви,— ответила мать, пораженная в самое сердце,— и мы опять полюбим вас.

— Что за чушь! — закричал он, прерывая ее.

Он взял свою потрепанную шляпу, трость, надвинул шляпу набекрень и, посвистывая, начал спускаться по лестнице.

— Филипп! Куда же ты идешь без гроша? — крикнула вслед ему мать, не в силах удержаться от слез.— Возьми...

Она протянула ему сто франков золотом, завернутые в бумагу. Филипп поднялся обратно и взял деньги.

— Что ж, ты даже не поцелуешь меня? — сказала она, заливаясь слезами.

Он прижал мать к груди, но без того порыва чувства, который только и придает цену поцелую.

— Куда же ты идешь? — спросила его Агата.

— К Флорентине, любовнице Жирудо. Вот где друзья! — грубо ответил он.

Он ушел. Агата вернулась к себе, ноги ее дрожали, в глазах потемнело, сердце сжималось. Она бросилась на колени, моля бога спасти этого выродка-сына, и отреклась от своего тяжкого материнства.

В феврале 1822 года г-жа Бридо поселилась в светелке, занятой до того времени Филиппом, над кухней ее прежней квартиры. Мастерская художника и его спальня находились напротив, по другую сторону лестничной площадки. Увидев, до какой крайности дошла его мать, Жозеф постарался устроить ее поудобнее. После ухода Филиппа он принял участие в устройстве мансарды и придал ей своеобразие, которое так любят художники. Он расстелил там ковер. Постель, убранная просто, но с утонченным вкусом, отличалась монашеской строгостью. Стены, обтянутые перкалином, дешевым, но хорошо подобранным по цвету к заново обитой мебели, придавали жилищу изящество и опрятность. Там, где был выход на площадку лестницы, навесили вторую дверь и закрыли ее портьерой. Окно занавесили шторой, смягчавшей резкость света. Если жизнь несчастной матери была сведена к наиболее простому существованию, какое только могло быть у женщины в Париже, то все же благодаря своему сыну она была устроена лучше, чем кто-либо в ее положении. Чтобы освободить мать от самых докучных обязанностей парижской жизни, Жозеф ходил вместе с ней обедать в домашнюю столовую на улице Бон, где бывали женщины из общества, депутаты, титулованные господа и где месячный абонемент обходился в девяносто франков.

Занятая теперь только приготовлением завтрака,

Агата стала заботиться о сыне, как некогда заботилась о его отце. Несмотря на святую ложь Жозефа, она в конце концов узнала, что ее обед стоит около ста франков в месяц. Испуганная величиной этой суммы и не представляя себе, что ее сын может заработать много денег, «рисуя голых женщин», она при помощи своего духовника аббата Лоро добилась места в шестьсот франков годового жалованья в бюро лотереи, принадлежавшем графине де Бован, вдове одного из шуанских вожаков.

Лотерейные бюро — удел вдов, пользующихся покровительством,— довольно часто давали средства к существованию целой семье, занятой этим предприятием. Но при Реставрации, при ограничениях конституционного правительства, приходилось предоставлять бедствовавшим титулованным женщинам, чтобы вознаградить их за все заслуги их покойных мужей, не одно, а два лотерейных бюро, доход с которых расценивался от шести до десяти тысяч франков. В таком случае вдова генерала или сановника, которой оказывалось подобного рода покровительство, не занималась сама этими конторами, а на особых условиях передавала их управляющим; если конторами управляли холостяки, то они не могли обойтись без наемного помощника, так как конторы были открыты каждый день с утра до полуночи, а делопроизводство, требуемое министерством, было довольно сложное. Графиня де Бован, которой аббат Лоро объяснил положение Агаты, обещала отдать ей предпочтение перед другими в случае, если ее управляющий откажется от места. Пока же она положила вдове шестьсот франков содержания. Обязанная сидеть в конторе с десяти часов утра, бедная Агата едва успевала пообедать, а в семь часов вечера она снова возвращалась в контору и не уходила оттуда раньше полуночи.

Жозеф в продолжение двух лет не пропустил ни одного раза, чтобы не зайти ночью за своей матерью и не проводить ее домой, на улицу Мазарини; он часто заходил за ней и перед обедом. Его друзья видели, как он уходит из Оперы, из Итальянского театра из самых блестящих салонов, чтобы к полуночи быть на улице Вивьен.

Агата скоро привыкла к однообразной размеренности существования, в которой люди, удрученные горем,

находят для себя опору. Утром, окончив уборку комнаты, где больше не было ни кошек, ни птиц, и приготовив в уголке камина завтрак, она подавала его в мастерскую и садилась за стол вместе с сыном. Потом она приводила в порядок комнату Жозефа, кончала у себя топку и усаживалась с работой в мастерской сына, возле маленькой чугунной печки, уходя оттуда лишь при появлении его товарищей или натурщиц. Глубокая тишина мастерской была ей по сердцу, хотя она ничего не понимала ни в искусстве, ни в его приемах. В этом отношении она ничуть не развилась и без всякого притворства простодушно удивлялась, видя, какое значение придается здесь краске, композиции, рисунку. Когда кто-нибудь из друзей, близких Жозефу по кружку, или же его друзья из среды художников, как Шиннер, Пьер Грассу, Леон де Лора — совсем юный ученик, которого тогда называли Мистигри,— начинали спорить, она внимательно прислушивалась и ничего не могла понять в том, что давало повод для этих громких слов и горячих споров. Она шила белье своему сыну, штопала его чулки, носки, она даже чистила его палитру, собирала ему тряпки для обтирания кистей, приводила все в порядок в его мастерской. Видя, как мать вникает во все мелочи его быта, Жозеф окружил ее еще большей заботливостью. Пускай сын и мать не понимали друг друга, когда дело касалось искусства, но их соединяла взаимная нежность.

У матери был свой замысел. Однажды утром, приласкав Жозефа, который делал набросок для огромной картины, написанной им позже и оставшейся непонятой, Агата решилась громко сказать:

— Боже мой! Что-то он теперь делает?

— Кто?

— Филипп.

— А! Чего уж там... Молодчик терпит и голод и холод. Но это заставит его образумиться.

— Но он уже знавал нужду и, быть может, из-за нужды так переменился. Если бы не его несчастья, он был бы хорошим...

— Ты думаешь, мама, что он хлебнул горя во время своего путешествия? Ошибаешься, он веселился в Нью-Йорке, как потом веселился и здесь.

— Во всяком случае, если он страдает где-то поблизости от нас, это ужасно...

— Да,— ответил Жозеф.— Что до меня, то я с удовольствием дал бы ему денег, но видеть его я не хочу. Он убил бедную маменьку Декуэн.

— Значит, ты не написал бы его портрет? — спросила Агата.

— Ради тебя, мама, я готов перенести такую муку. Я буду помнить только об одном: что он мой брат.

— Его портрет в форме драгунского капитана, верхом на лошади...

— Да, ведь у меня написана копия с лошади Гро, и я не знаю, что с ней делать.

— Отлично, сходи к его другу, узнай, что с ним сталось.

— Схожу.

Агата встала, уронив на пол и свое рукоделье и ножницы; она поцеловала Жозефа в голову, и две слезинки незаметно скатились на его волосы.

— Этот молодчик — твоя страсть,— сказал он.— У каждого из нас есть своя несчастная страсть.

К вечеру, в четыре часа, Жозеф отправился на улицу Сантье и застал там своего брата, который заместил Жирудо. Старый драгунский капитан перешел кассиром в еженедельный журнал, основанный его племянником. Фино оставался хозяином маленькой газетки, только стал издавать ее на паях, удерживая в своих руках почти все паи, однако ж официальным редактором-издателем был один из его друзей, некто Лусто, племянник г-жи Ошон, так как он был сыном того самого иссуденского помощника интенданта, которому отец г-жи Бридо некогда угрожал местью.

Чтобы угодить своему дяде, Фино взял к себе Филиппа в качестве его заместителя, правда, уменьшив наполовину жалованье. Кроме того, каждый день в пять часов Жирудо проверял наличность кассы и забирал с собой ежедневную выручку. Инвалид, служивший в конторе и выполнявший поручения, в свою очередь, присматривал за своим начальником Филиппом. Впрочем, Филипп вел себя благонравно. Шестьсот франков жалованья и пятьсот франков орденской пенсии позволяли ему жить недурно, тем более что день он проводил в теп-

лом помещении, а вечера в театрах, куда ходил бесплатно, и должен был заботиться только о пропитании и жилье.

Когда Жозеф вошел в контору, инвалид уходил оттуда с кипой бандеролей на голове, а Филипп, сняв зеленые полотняные нарукавники, чистил щеткой свой сюртук.

— Смотри-ка, вот и малыш! — сказал Филипп.— Отлично, пойдем вместе обедать, а потом отправляйся в Оперу — у Флорины и Флорентины есть ложа. Я приду с Жирудо, мы там встретимся, и я познакомлю тебя с Натаном.

Он взял свою трость со свинцовым набалдашником и сунул в рот сигару.

— Я не могу воспользоваться твоим приглашением, мне нужно зайти за матерью; мы обедаем в столовой.

— Ну, как же она, бедняжка, поживает?

— Да неплохо,— ответил художник.— Я сделал заново портреты отца и тетушки Декуэн. Окончил свой собственный портрет и хотел бы подарить ей и твой, в мундире императорских гвардейских драгун.

— Хорошо!

— Но нужно приходить позировать...

— Я обязан сидеть каждый день с девяти утра до пяти вечера в этом курятнике...

— Двух воскресений будет достаточно.

— Решено, малыш,— ответил бывший ординарец Наполеона, раскуривая сигару над лампой швейцара.

Когда Жозеф, отправившись под руку с матерью в столовую на улице Бон, рассказал ей о положении Филиппа, он заметил, что ее рука дрогнула и радость озарила ее увядшее лицо. Бедная женщина вздохнула, как человек, освободившийся от огромной тяжести. На следующий день, счастливая и благодарная, она оказала Жозефу особое внимание: поставила в его мастерской цветы и купила ему две жардиньерки.

В ближайшее воскресенье, когда Филипп должен был прийти позировать, Агата позаботилась приготовить в мастерской изысканный завтрак. Она поставила все на стол, не забыв и графинчик водки, наполненный, впрочем, только до половины. Сама она осталась за ширмами, в которых проделала дырку. Накануне отставной

драгун прислал свой мундир, который она, не удержавшись, поцеловала. Пока Филипп позировал в военной форме, оседлав взятое Жозефом напрокат чучело лошади, какие бывают у шорников, Агата, чтобы не выдать своего присутствия, только всхлипывала легонько, пользуясь моментом, когда братья начинали разговаривать. Филипп позировал два часа перед завтраком и два часа после него. В три часа драгун облекся в свою обычную одежду и — как всегда, покуривая сигару,— снова предложил брату отправиться вместе обедать в Пале-Рояль. Он позвенел золотом в кармане.

— Нет,— ответил Жозеф,— я всегда боюсь, когда у тебя есть деньги.

— Вот оно что! Значит, здесь вечно будут плохого мнения обо мне? — воскликнул подполковник громовым голосом.— Значит, нельзя даже делать сбережений?

— Нет, нет,— ответила Агата, выходя из своего тайника и целуя сына,— пойдем с ним обедать, Жозеф.

Жозеф не осмелился пожурить свою мать, он оделся, и Филипп повел их на улицу Монторгейль, в «Роше-де-Канкаль», где угостил их великолепным обедом, обошедшимся в сто франков.

— Черт возьми! — воскликнул обеспокоенный Жозеф.— Ты получаешь тысячу сто франков в год, а, как Поншар в «Белой даме», делаешь сбережения, которых хватило бы на покупку целого поместья.

— Да! Мне везет,— ответил драгун, изрядно выпивший за обедом.

Услышав эти слова, сказанные уже при выходе, перед тем как сесть на извозчика и поехать в цирк,— потому что Филипп собирался повезти свою мать в «Олимпийский цирк» (единственное зрелище, которое духовник разрешал ей),— Жозеф сжал матери руку, и та тотчас сказалась больной и уклонилась от этой поездки. Тогда Филипп отвез мать и брата на улицу Мазарини; оставшись вдвоем с Жозефом в своей мансарде, она погрузилась в глубокое молчание.

Филипп пришел позировать и в следующее воскресенье. На этот раз мать открыто присутствовала на сеансе. Она подавала завтрак и могла расспросить драгуна. Она узнала от него, что племянник старой Ошон, подруги ее матери, играл некоторую роль в литературе.

Филипп и его друг Жирудо вращались в кругу журналистов, актрис, книгопродавцев, где они пользовались уважением в качестве кассиров. Позируя после завтрака, Филипп все время пил вишневую водку, и у него развязался язык. Он хвастался, что скоро станет важным лицом. Но на вопрос Жозефа относительно его денежных средств он ответил молчанием. На следующий день газета не выходила, так как был праздник, и Филипп вызвался позировать, чтобы брат дописал портрет. Жозеф ответил ему, что приближается время выставки, а у него нет денег на две рамы для его картин, и добыть деньги он может, только закончив копию с Рубенса для одного торговца картинами, некоего Магюса. Оригинал принадлежал богатому швейцарскому банкиру, давшему его только на десять дней, завтра истекал срок, и поэтому волей-неволей приходилось отложить сеанс на ближайшее воскресенье.

— Вот это? — спросил Филипп, глядя на картину Рубенса, поставленную на мольберт.

— Да,— ответил Жозеф.— Стоит двадцать тысяч франков. Вот что значит гений! Какой-нибудь кусок полотна иногда стоит сотни тысяч.

— Я предпочитаю твою копию,— сказал драгун.

— Она моложе,— ответил, смеясь, Жозеф.— Но моя копия стоит всего тысячу франков. Завтра мне нужно придать ей все тона оригинала и состарить ее, чтобы нельзя было отличить одну от другой.

— До свиданья, мама,— сказал Филипп, целуя Агату.— До воскресенья!

На следующий день Элиа Магюс должен был прийти за копией. Приятель Жозефа, работавший для этого торговца, Пьер Грассу захотел взглянуть на законченную копию. Чтобы сыграть с ним шутку и поразить его, Жозеф поставил копию, покрытую особым лаком, на место оригинала, а оригинал поставил на свой мольберт. Он совершенно одурачил Пьера Грассу из Фужера, который был восхищен этим фокусом.

— Удастся ли тебе обмануть старого Элиа Магюса? — спросил его Пьер Грассу.

— Посмотрим,— ответил Жозеф.

Торговец не пришел, было уже поздно. Агата обедала у г-жи Дерош, недавно овдовевшей. Поэтому Жозеф

предложил Пьеру Грассу пойти с ним пообедать в его столовую. Уходя, он, по обыкновению, оставил ключ от мастерской у привратницы.

— Сегодня вечером я должен позировать,— сказал Филипп привратнице, явившись час спустя после того, как его брат ушел.— Жозеф скоро вернется, я подожду его в мастерской.

Привратница отдала ключ, Филипп поднялся, взял копию, думая, что берет оригинал, потом спустился вниз, отдал ключ привратнице, сделав вид, что забыл что-то у себя дома, пошел и продал «Рубенса» за три тысячи франков. Из предосторожности он от имени брата предупредил Элиа Магюса, чтобы тот до завтра не приходил. Вечером, когда Жозеф, заходивший за матерью к вдове Дерош, вернулся домой, привратница сообщила ему о странном появлении его брата, который едва успел войти, как уже отправился обратно.

— Я погиб, если Филипп не до конца обнаглел и решил взять только копию! — воскликнул художник, поняв, что произведена кража.

Мигом взбежал он на четвертый этаж, бросился в свою мастерскую и, взглянув на мольберт, сказал:

— Слава богу, на сей раз он оказался тем, чем, увы, будет всегда,— законченным подлецом!

Агата, вошедшая вслед за Жозефом, ничего не поняла, а когда сын объяснил ей происшествие, она, без слез, так и застыла на месте.

— Теперь у меня только один сын! — сказала она слабым голосом.

— Мы не хотели его бесчестить в глазах чужих людей,— ответил Жозеф,— но теперь необходимо предупредить обо всем привратницу. Отныне мы будем брать с собой ключи. Я по памяти окончу его гнусную физиономию, портрет ведь почти готов.

— Оставь его так, как есть: мне будет слишком тяжело на него смотреть,— ответила мать, пораженная в самое сердце и ошеломленная подобной низостью.

Филипп знал, на что предназначены деньги за эту копию, знал, в какую пропасть бросает своего брата, и не остановился ни перед чем. После этого последнего преступления Агата не говорила больше о Филиппе; ее лицо приняло выражение горького отчаяния, холодного

и сосредоточенного; одна мысль убивала ее: «Когда-нибудь,— твердила она себе,— мы увидим человека, носящего имя Бридо, на скамье подсудимых».

Через два месяца, утром, когда Агата собиралась в свое лотерейное бюро, явился некий отставной военный, назвавшийся другом Филиппа, и сообщил, что у него неотложное дело к г-же Бридо; в этот момент Агата с сыном сидели за завтраком.

Когда Жирудо назвал себя, мать и сын так и вздрогнули, тем более что у отставного драгуна была мало обнадеживающая физиономия старого морского волка. Его потухшие серые глаза, усы с проседью, взъерошенные клочья волос вокруг желтоватого черепа — все являло облик потрепанный и распутный. Старый темно-серый сюртук, украшенный розеткой ордена Почетного легиона, видимо, с трудом был застегнут на подлинно поварском брюхе, которое вполне гармонировало с большим ртом, от уха до уха, и здоровенными плечами. Тучное туловище покоилось на тоненьких ножках. И в довершение всего красные пятна на скулах выдавали его веселый образ жизни. Высокий потертый галстук из черного бархата подпирал обвислые и морщинистые щеки. Ко всему прочему отставной драгун носил в ушах огромные золотые серьги.

«Вот так *гуляй-молодец*»,— подумал Жозеф, пользуясь народным словечком, проникшим в мастерские художников.

— Сударыня,— сказал Жирудо, он же кассир г-на Фино,— ваш сын находится в положении столь плачевном, что его друзья вынуждены просить вас разделить с ними довольно тяжелые заботы, в которых он нуждается. Он больше не может выполнять свои служебные обязанности в редакции газеты, и мадемуазель Флорентина, танцовщица в театре «Порт-Сен-Мартен», поместила его у себя на улице Вандом, в жалкой мансарде. Филипп умирает; если его брат и вы не можете оплатить доктора и лекарств, то мы принуждены будем отправить своего друга к Капуцинам, ради его собственного блага. Но будь у вас триста франков, мы бы присмотрели за ним; ему непременно нужна сиделка: он выходит по вечерам, когда Флорентина бывает в театре, пьет разные горячительные напитки, нарушает ре-

жим во вред своему здоровью, а так как мы его любим, то он делает нас поистине несчастными. Бедный малый заложил свою пенсию за три года вперед, на его место в газете временно взяли другого, и теперь у него ничего нет. Сударыня, он кончит плохо, если мы не поместим его в лечебницу доктора Дюбуа. В этом приличном убежище берут по десять франков в день. Мы с Флорентиной внесем половину месячной платы,— вы бы внесли другую, а? Послушайте, это продлится всего два месяца.

— Трудно предположить, сударь, что любая мать не была бы обязана вам вечной благодарностью за то, что вы сделали для ее сына,— ответила Агата.— Но я вырвала из сердца своего сына, такого сына, а что касается денег, то у меня их нет. Чтобы не быть в тягость его младшему брату, который работает день и ночь, изнуряет себя и заслуживает безраздельной любви матери, я послезавтра поступаю в лотерейное бюро помощницей управляющего. В моем-то возрасте!

— Ну-с, а вы, молодой человек? — сказал старый драгун Жозефу.— Неужели вы не сделаете для своего брата то, что для него делают бедная танцовщица из «Порт-Сен-Мартен» и старый воин?

— Не хотите ли,—сказал Жозеф,—чтобы я вам объяснил на языке художников цель вашего посещения? Ну, так вот, вы задумали *поддеть нас на удочку.*

— Значит, завтра ваш брат отправится в Южный госпиталь.

— Там ему будет очень хорошо,— ответил Жозеф.— Если бы я когда-нибудь попал в такое положение, я бы сам отправился туда!

Жирудо ушел весьма разочарованный, чувствуя в то же время глубокое унижение: ему приходилось отправлять к Капуцинам человека, который передавал приказания императора во время битвы при Монтеро.

Спустя три месяца, в конце июля, направляясь утром в свою контору, Агата, шедшая через Новый мост, чтобы не платить за переход по мосту Искусств, заметила возле Школьной набережной, где она проходила у парапета, какого-то человека в рубище, свидетельствующем о нищете, так сказать, второго разряда. Этот человек произвел на нее потрясающее впечатление: она на-

шла в нем некоторое сходство с Филиппом. Надо заметить, что в Париже есть три разряда нищеты. Прежде всего — это нищета человека, который сохраняет приличную внешность и надежды на будущее: нищета молодых людей, художников, светских людей, временно терпящих нужду. Признаки нищеты такого рода доступны только микроскопу наиболее изощренного наблюдателя. Такие люди составляют конный отряд нищеты — они еще ездят в кабриолетах. Во втором разряде состоят старики, которым все безразлично, в июне они навешивают орден Почетного легиона на свой люстриновый сюртучишко. Это нищета старых рантье, старых чиновников, живущих в Сент-Пэрин; они больше не заботятся о своей внешности. Наконец последний разряд — нищета в лохмотьях, нищета народа, впрочем, наиболее поэтическая, которую Калло, Хогарт, Мурильо, Шарле, Рафе, Гаварни, Мейсонье — все Искусство обожает и культивирует, особенно во время карнавала!

Человек, в котором Агата узнала, как ей казалось, своего сына, держался между двумя последними разрядами. Она заметила невероятно истрепанный воротничок, облезлую шляпу, заплатанные и стоптанные сапоги, протертое до основы сукно сюртука, осыпавшиеся пуговицы, причем их широко разверзшаяся или съежившаяся обтяжка вполне соответствовала обтрепанным карманам и засаленному вороту. Состояние ворса на сукне, кое-где сохранившегося, свидетельствовало, что если сюртук и содержит что-либо, то разве только пыль. Этот человек вынул черные, как у рабочего, руки из карманов рваных темно-серых штанов. Наконец на нем была надета побуревшая от носки вязаная шерстяная фуфайка; она высовывалась из рукавов, у пояса, торчала отовсюду и, несомненно, заменяла белье. Филипп носил над глазами козырек из зеленой тафты, укрепленный на медной проволоке. Почти лысая голова и бледное испитое лицо служили верным признаком, что он вышел из страшного Южного госпиталя. Его синий сюртук, побелевший по швам, был по-прежнему украшен орденской розеткой. Поэтому прохожие смотрели на несчастного вояку, по-видимому, ставшего жертвой правительства, с любопытством и жалостью: розетка беспокоила взгляд и вызывала у самых свирепых реак-

ционеров чувство неловкости перед орденом Почетного легиона. Хотя к этому ордену и пытались в те времена подорвать уважение, раздавая его без удержу, но во Франции еще не насчитывалось и трех тысяч награжденных. У Агаты мучительно заныло сердце. Если невозможно было любить такого сына, то глубоко страдать из-за него она все еще могла. Охваченная последней вспышкой материнского чувства, она заплакала, увидав, как этот блестящий ординарец императора сделал движение, намереваясь зайти в табачную лавку, чтобы купить сигару, и остановился на пороге; он порылся в кармане, но там ничего не было. Агата быстро пересекла набережную и, сунув свой кошелек в руку Филиппа, бросилась бежать, точно она совершила преступление. Два дня у нее кусок не шел в горло: все время перед ней стояло ужасное лицо сына, умиравшего от голода в Париже.

«Кто же подаст ему, когда он истратит все деньги из моего кошелька? — думала она.— Жирудо сказал правду: Филипп вышел из госпиталя».

Она больше не видела в нем убийцы своей бедной тетки, домашнего вора, проклятия семьи, игрока, пьяницы, распутника низкого пошиба; она видела человека, вышедшего из больницы, умирающего от голода, курильщика без табака. От горя она постарела и в сорок семь лет казалась семидесятилетней старухой. Ее глаза потускнели от слез и молитвенных бдений.

Но то был еще не последний удар, который суждено было ей получить от сына,— осуществилось ее самое страшное предвидение. В армии в ту пору был раскрыт офицерский заговор, и на улицах выкрикивали сообщение из «Монитера», содержавшее подробности относительно произведенных арестов.

Из своей клетки в лотерейном бюро на улице Вивьен Агата услышала имя Филиппа Бридо. Она упала в обморок, и управляющий, сочувствуя ее горю и понимая, что ей необходимо сейчас же начать хлопоты, дал ей отпуск на две недели.

— Ах, мой друг, мы своей строгостью толкнули его на это,— сказала она Жозефу, укладываясь в постель.

— Я сейчас пойду поговорю с Дерошем! — ответил Жозеф.

Пока художник поручал защиту интересов своего брата Дерошу, который слыл в Париже самым изворотливым, самым хитрым ходатаем по делам и притом оказывал услуги целому ряду важных лиц, в том числе и де Люпо, генеральному секретарю одного министра, к вдове явился опять Жирудо, которому на этот раз она доверилась.

— Сударыня,— сказал он,— раздобудьте двенадцать тысяч франков, и ваш сын будет отпущен на свободу за отсутствием улик. Нужно подкупить двух свидетелей, чтобы они молчали.

— Я раздобуду,— сказала бедная мать, не зная сама, где и как достанет деньги.

Вдохновленная опасностью, она написала своей крестной — старухе Ошон,— прося ее достать денег у Жан-Жака Руже, чтобы спасти Филиппа. В случае, если Руже отказал бы, она умоляла г-жу Ошон дать ей взаймы, обязуясь возвратить деньги в продолжение двух лет. С обратной почтой она получила следующее письмо:

«Моя дочурка! Хотя у брата вашего есть-таки сорок тысяч франков дохода, не считая денег, накопленных в течение семнадцати лет,— а по мнению моего мужа, эта сумма превышает шестьсот тысяч франков,— но он не даст ни гроша племянникам, которых никогда не видал. Что касается меня, то, вы же знаете, я не располагаю и десятью франками, пока жив мой муж. Ошон— самый ужасный скряга в Иссудене; я не знаю, что он делает со своими деньгами, он не дает и двадцати франков в год своим внукам; чтобы где-нибудь занять деньги, мне, так или иначе, потребуется его поручительство, а он откажет в нем. Я даже и не пыталась заставить его поговорить с вашим братом, который завел себе сожительницу и рабски привязан к ней. Просто жалость смотреть, как обращаются дома с этим несчастным человеком, а ведь у него есть сестра и племянники. Я несколько раз пыталась дать вам понять, что вам следовало бы приехать в Иссуден; тогда вы бы могли спасти брата и вырвать для ваших детей из лап этой твари состояние, приносящее сорок, а может быть, и

шестьдесят тысяч франков дохода; но вы либо не отвечаете мне, либо прикидываетесь, что ничего не понимаете. Теперь я обязана вам написать без всяких околичностей, принятых в переписке. Я весьма сочувствую вам в постигшем вас горе, но могу только вас пожалеть, моя дорогая девочка. Вот почему я не в состоянии быть вам полезной: Ошон, несмотря на то, что ему уже восемьдесят пять лет, садится за стол четыре раза в день, за ужином ест салат с крутыми яйцами, и ему все нипочем — бегает, словно кролик. А так как ему суждено составить надгробную надпись для моего праха, то мне предстоит до самой смерти ни разу не видеть в своем кошельке и двадцати франков. На случай, если вы пожелаете приехать в Иссуден, чтобы освободить вашего брата от влияния его сожительницы,— а остановиться у Руже, по ряду причин, вам не придется,— я (и то с большим трудом) получу у мужа позволение принять вас у себя. Как бы там ни было, приехать ко мне вы можете, в этом вопросе он уступит мне. Я знаю, как добиться у него того, что мне нужно: стоит мне только заговорить с ним о моем завещании. Это мне кажется таким ужасным, что я до сих пор не прибегала к подобному средству, но для вас я сделаю невозможное. Надеюсь, что ваш Филипп выкарабкается, в особенности, если вы возьмете хорошего адвоката; но приезжайте как можно скорее в Иссуден. Имейте в виду, что в пятьдесят семь лет ваш дурачок брат старше с виду и слабее Ошона. Так что медлить нельзя. Уже поговаривают о завещании, которое будто бы лишает вас наследства, но, по словам Ошона, есть еще время добиться отмены. Прощайте, Агаточка, да поможет вам бог! Всегда готовая вам помочь, любящая вас крестная

Максимилиана Ошон, урожденная Лусто.

Засвидетельствовал ли вам свое почтение мой племянник Этьен, который пишет в газетах и, как говорят, близко знаком с вашим сыном Филиппом? Но мы побеседуем о нем, когда вы приедете».

Письмо крестной сильно озаботило Агату; ей пришлось показать его Жозефу, а в связи с этим поневоле

надо было сообщить о предложении Жирудо. Художник, соблюдавший осторожность во всем, что касалось брата, заметил матери, что необходимо поставить в известность Дероша.

Пораженная справедливостью этого замечания, мать на следующий день утром, в седьмом часу, отправилась в сопровождении сына на улицу Бюси, к Дерошу. Этот ходатай по делам, сухой, как и его покойный отец, с пронзительным голосом, грубым цветом лица и неумолимыми глазами, похож был лицом на куницу, облизывающуюся после того, как она съела цыпленка; он подпрыгнул, как тигр, узнав о визите Жирудо и его предложении.

— Ах, так, матушка Бридо! — закричал он тонким, дребезжащим голоском.— До каких пор вы позволите себя дурачить вашему проклятому разбойнику сыну? Не давайте ему ни гроша! Я отвечаю за Филиппа! Именно, чтобы спасти его будущее, я не возражаю против верховного суда над ним. Вы боитесь, что его осудят,— но дай бог, чтобы его адвокату удалось подвести дело к осуждению Филиппа. Отправляйтесь в Иссуден, спасайте состояние ваших детей. Если вы ничего не добьетесь, если ваш брат сделал завещание в пользу той женщины, а отмены вы не сумеете добиться, то по крайней мере соберите данные для процесса по обвинению в злостном воздействии на завещателя; я сам буду вести дело. Но вы слишком порядочная женщина и не станете подыскивать основания для тяжбы подобного рода! На каникулы я сам приеду в Иссуден... если смогу.

От этого «я сам приеду» художник содрогнулся. Дерош мигнул Жозефу, чтобы он пропустил свою мать немного вперед, и на одну минуту задержал его.

— Ваш брат — редкий негодяй, он был виновником раскрытия заговора, вольным или невольным — до сих пор не доищутся правды, так хитер этот плут. Он либо пустельга, либо предатель — выбирайте сами подходящую ему роль. Он будет, вероятно, отдан под надзор политической полиции, вот и все. Будьте спокойны, один только я знаю эту тайну. Спешите с матерью в Иссуден, вы умны, постарайтесь спасти наследство.

— Надо ехать, маменька, Дерош прав,— сказал Жозеф, догнав Агату на лестнице.— Я продал две моих картины, поедем в Берри, ведь в твоем распоряжении две недели.

Написав г-же Ошон о своем приезде, Агата и Жозеф на следующий день вечером отправились в Иссуден, предоставив Филиппа его собственной участи. Дилижанс направился по улице Анфер, чтобы выехать на орлеанскую дорогу. Увидев Люксембургскую тюрьму, куда был переведен Филипп, Агата не могла удержаться и сказала:

— Если бы не союзники, он все-таки не был бы там.

Какой сын не махнул бы с досадой рукою, не улыбнулся бы презрительно? Но художник, сидевший один с матерью в купе дилижанса, порывисто обнял ее, прижал к груди и воскликнул:

— О мать, ты в такой же степени мать, как Рафаэль — художник! И всегда будешь безрассудной матерью!

Дорожные впечатления отвлекли г-жу Бридо от печальных мыслей; ей пришлось подумать о цели своего путешествия. Естественно, она перечла письмо г-жи Ошон, столь взволновавшее стряпчего Дероша. Пораженная словами «сожительница» и «тварь», вышедшими из-под пера семидесятилетней старухи, столь же благочестивой, как и достойной уважения, и обозначавшими женщину, готовую проглотить состояние Жан-Жака Руже — в свою очередь названного «дурачком»,— Агата задалась вопросом, каким образом ее присутствием в Иссудене может быть спасено наследство.

Жозеф, бедный художник-бессребреник, плохо разбирался в Гражданском кодексе, и вопрос матери встревожил его.

— Прежде чем посылать нас спасать наследство, нашему другу Дерошу следовало бы объяснить вам, каким способом могут завладеть им другие! — воскликнул он.

— У меня голова пошла кругом при мысли, что Филипп в тюрьме, быть может, без табаку и готовится предстать перед верховным судом,— ответила Агата,— но все же я помню, что молодой Дерош советовал нам собрать данные для процесса по поводу злостного воздей-

ствия на завещателя, в случае, если мой брат сделает завещание в пользу этой... этой... женщины.

— Хорошо ему там рассуждать! — воскликнул художник.— Ба, если мы ничего не поймем, я попрошу его самого приехать.

— Не стоит понапрасну ломать голову,— сказала Агата.— Когда мы будем в Иссудене, крестная поможет нам советом.

Этот разговор, происходивший в то время, когда г-жа Бридо и Жозеф, пересев в Орлеане в другой дилижанс, въезжали в Солонь, достаточно свидетельствует о неспособности художника и его матери играть роль, к которой их предназначал беспощадный Дерош.

Однако Агате, возвращавшейся в Иссуден после тридцатилетнего отсутствия, предстояло столкнуться с такими переменами в нравах этого города, что необходимо в немногих словах обрисовать его. Без этого трудно понять, какой героизм обнаружила г-жа Ошон, оказывая помощь своей крестнице, и в каком странном положении был Жан-Жак Руже. Хотя доктор Руже и приучил своего сына относиться к Агате, как к чужой, все же со стороны брата было уж слишком странно в продолжение тридцати лет ни разу не написать своей сестре, не подать признаков жизни. Это молчание явно зависело от каких-то особых обстоятельств, и родственники другого склада, чем Жозеф и Агата, давно бы полюбопытствовали узнать, в чем тут было дело. Наконец между состоянием, в котором находился сам город, и интересами семейства Бридо была известная связь, что и раскроется в ходе настоящего повествования.

Не в укор Парижу будь сказано, Иссуден — один из самых древних городов Франции. Вопреки историческим предрассудкам, которые изображают императора Проба как галльского Ноя (уже Цезарь упомянул о прекрасном вине из Шамфора (*de Campo Forti*), лучшего вертограда в окрестностях Иссудена. Ригор по поводу этого города выражается в словах, не оставляющих никакого сомнения в многочисленности его жителей и обширной торговле. Но давность, устанавливаемая такими двумя свидетельствами, ничтожна по сравнению с глубокой древностью города. В самом деле, раскопки,

недавно предпринятые местным ученым археологом г-ном Арманом Перемэ, открыли под знаменитой Иссуденской башней базилику пятого века, вероятно единственную во Франции. Эта церковь даже своим строительным материалом свидетельствует о предшествующей цивилизации, потому что сложена из камней римского храма, на месте которого выстроена. Точно так же, согласно изысканиям этого знатока старины, самим названием Иссудена, как и всех городов Франции, имеющих в своем наименовании — древнем или современном — окончание *ден (dunum)*, удостоверяется древнейшее происхождение города. Слово *dunum*, неизменно связанное со всякой возвышенностью, освященной друидическим культом, указывает на военное и религиозное поселение кельтов. Римляне под галльским *dunum*'ом построили храм Изиды. Отсюда, согласно Шомо, название города — Ис-су-ден[1]. «Ис» — вероятно, сокращенное имя Изиды.

Ричард Львиное Сердце, как это достоверно известно, построил здесь свою знаменитую башню (где он чеканил монету), воздвигнув ее на развалинах базилики пятого века, третьего памятника, оставленного тремя религией этого старого города. Король воспользовался этой церковью, как необходимой основой для своего крепостного сооружения, и таким образом сохранил ее, прикрыв своими феодальными укреплениями, как плащом. Иссуден был тогда опорой кратковременной власти разбойников и мародеров, *кондотьеров*, которых Генрих II двинул против своего сына Ричарда графа Пуату, поднявшего восстание. История Аквитании, не написанная в свое время бенедиктинцами, без сомнения, так и не будет написана, потому что нет больше бенедиктинцев. Вот почему никогда не мешает при всяком удобном случае освещать эти археологические сумерки, повествуя о наших нравах.

Есть еще одно свидетельство древнего могущества Иссудена — это отводка каналов от Турнемины, маленькой речонки, протекающей по обширной равнине на несколько метров выше уровня Теолы, реки, опоясывающей город. Эта работа, без всякого сомнения, обя-

---

[1] Sous (су) — под (*франц.*, от *лат.* sub).

зана своим осуществлением римскому гению. Наконец предместье, простирающееся на север от замка, пересечено улицей, именующейся уже два тысячелетия Римской. Да и само предместье называется Римским. Обитатели этого предместья, сохраняющие нечто своеобразное во всем своем складе, в породе, в облике, считают себя потомками римлян. Почти все они виноградари и отличаются замечательным упорством, которым, наверное, обязаны своему происхождению и, быть может, победоносной борьбе с разбойниками и мародерами, которых они истребили в XII веке на равнине Шаро.

После восстания 1830 года Франция была слишком возбуждена, чтобы обратить внимание на мятеж виноградарей Иссудена, мятеж грозный, подробности которого, однако, не были опубликованы, и не без особых причин. Прежде всего граждане Иссудена не позволили войскам войти в город. Они хотели сами отвечать за него, согласно нравам и обычаям средневековой буржуазии. Власти принуждены были уступить людям, поддержанным шестью или семью тысячами виноградарей, которые сожгли все архивы и канцелярии по взиманию косвенных налогов и поволокли акцизного по улицам, приговаривая возле каждого фонаря: «Вот здесь бы его и повесить!» Бедняга был вырван из лап этих бесноватых национальной гвардией, которая спасла ему жизнь, отведя его в тюрьму под предлогом отдачи под суд. Генерал вошел в город только после длительных переговоров с виноградарями и, чтобы пройти сквозь их толпу, проявил немалое мужество, ибо, когда он появился в городской ратуше, один человек из Римского предместья приложил к его шее свой «волан» («волан» — большой серповидный нож, прикрепленный к жерди, которым обрезывают деревья) и крикнул: «Посредника долой — не суйся не в свое дело!» Виноградарь так и срезал бы голову тому, кого пощадили шестнадцать лет войны, если бы не быстрое вмешательство одного из главарей, который хотел потребовать у палаты уничтожения «двуногих погребных крыс».

В XIV веке в Иссудене еще было от шестнадцати до семнадцати тысяч жителей — остаток населения, в два раза большего в былые времена. У Карла VII был там

дворец, существующий и поныне и известный до XVIII века под именем Дома короля. Этот город, в то время центр торговли шерстью, снабжал ею часть Европы и производил в большом количестве сукно, шляпы и превосходные перчатки из козьей кожи. При Людовике XIV Иссуден, которому мы обязаны Бароном и Бурдалу, славился своими изящными нравами, прекрасным языком и хорошим обществом. В своей «Истории Сансера» священник Пупар аттестует жителей Иссудена как выдающихся среди всех беррийцев своею хитростью и природным умом. В настоящее время этот блеск и ум исчезли окончательно. Иссуден, при территории, свидетельствующей о его былом значении, насчитывает лишь двенадцать тысяч жителей, включая и виноградарей четырех огромных предместий — Сен-Патерна, Вилата, Римского и Алуэта,— представляющих собой маленькие города. Обыватели, так же как и в Версале, чувствуют себя на улицах совершенно свободно. Иссуден все еще является центром беррийской торговли шерстью, но угрозой для этой торговли является улучшение породы овец, вводимое повсюду, только не в Берри. Виноградники Иссудена дают вино, которое пьют лишь в двух департаментах, а если бы вырабатывали его так же, как вырабатывают вино в Бургундии и Гаскони, это было бы одно из лучших французских вин. Увы, *делать так, как делали отцы,* не вводя ничего нового,— таков закон Берри.

Виноградари все еще продолжают оставлять в бочках виноградные веточки на время брожения вина, что делает его неприятным на вкус, а меж тем оно могло бы стать источником богатства и промышленного оживления в стране. Такое вино сохраняется-де целое столетие благодаря терпкости, которую сообщают ему веточки и которая якобы смягчается с течением времени. Эти соображения, данные в «Винограде», чрезвычайно, мол, важны для науки виноделия и потому заслуживают обнародования. К тому ж Гильом Бретонский воспел в своей «Филиппиде» такое свойство вина в нескольких стихах.

Падение Иссудена объясняется, стало быть, духом рутины, доходящей до нелепости; достаточно привести один случай, чтобы дать об этом представление. Ко-

гда проводили дорогу между Парижем и Тулузой, было естественно выбрать направление от Вьерзона на Шатору через Иссуден. Дорога была бы короче, чем если бы ее проложить, как это было сделано, через Ватан. Но местная знать и городской совет Иссудена, постановление которого, говорят, сохранилось и поныне, просили взять направление через Ватан, исходя из того, что если столбовая дорога пройдет через их город, то съестные припасы повысятся в цене и за цыплят придется платить по тридцать су. Такому поступку можно найти соответствие только в самых диких областях Сардинии, столь населенной, столь богатой когда-то и ныне столь пустынной. Когда король Карл-Альберт, руководясь благим помыслом о цивилизации, захотел соединить Сассари, вторую столицу острова, с Кальяри великолепной дорогой, единственной существующей в той дикой степи, что именуется Сардинией, прямое направление требовало провести ее через Бонорву — округ с незамиренным населением, похожим на наши арабские племена, тем более что оно и происходит от мавров. Увидев, что им угрожает цивилизация, дикари Бонорвы заявили о своем несогласии на прокладку пути — и кончено! Правительство не обратило внимания на протест. Первый инженер, водрузивший первую веху, получил пулю в лоб и умер у своей вехи. По этому делу не производили никаких розысков, а дорогу проложили в обход, удлинив ее на восемь миль.

В Иссудене цены на вино, которое потребляется на месте, удовлетворяя стремление буржуазии к дешевой жизни, год от года понижаются, подготовляя разорение виноградарей, обремененных расходами по возделыванию земли и налогами; упадок торговли шерстью в области точно так же подготовлен нежеланием улучшить местную породу овец. Местные жители испытывают глубокое отвращение ко всякой перемене, даже сознавая, что она полезна для них. Парижанин встречает в деревне рабочего, который поедает за обедом огромное количество хлеба, сыра и овощей; он доказывает берийцу, что если бы тот заменил эту пищу куском мяса, то питался бы лучше, дешевле, больше работал и не так скоро истратил бы свои жизненные силы. Берриец признает справедливость расчета.

— Ну, а *язычки*, сударь?

— Какие *язычки*?

— Ну, а что об этом скажут?

— И верно, он стал бы повсюду притчей во языцех,—замечает хозяин, во владении которого происходит эта сцена.—Его сочли бы богатым, словно какого-нибудь буржуа; словом, он боится общественного мнения, боится, что на него станут показывать пальцем, что он прослывет слабосильным или больным. Вот каковы мы, здешние люди!

Многие обыватели произносят эту фразу с чувством тайной гордости.

Если невежество и рутина непобедимы в деревнях, где крестьяне предоставлены самим себе, то город Иссуден, в свою очередь, дошел до полного застоя общественной жизни. Принужденная бороться с упадком благосостояния путем омерзительно скаредных расчетов, каждая семья ведет замкнутый образ жизни. К тому же внутри общества здесь навсегда уничтожено то соперничество, которое оживляет быт. Этот город больше не знает борьбы двух сил, которой в средние века обязаны были жизнью итальянские города. В Иссудене нет больше дворянского сословия. Разбойники, мародеры, жакерия, религиозные войны и революция здесь полностью уничтожили дворянство. Город весьма гордится этой победой. Чтобы сохранить дешевые цены на продукты, Иссуден неизменно отказывается иметь у себя гарнизон. Город потерял это средство общения с миром, а вместе с тем и доходы, получаемые от войска. До 1756 года Иссуден был одним из самых приятных гарнизонных городов. Город лишился гарнизона со времени судебной драмы, занимавшей всю Францию, а именно дела между начальником судебного округа и маркизом де Шапт, сын которого, драгунский офицер, быть может справедливо, но предательски был убит за одну любовную историю. Постой 44-й полубригады, навязанный Иссудену во время гражданской войны, был не такого рода, чтобы примирить жителей с военными.

Бурж, население которого уменьшается с каждым десятилетием, подвержен той же социальной болезни. Жизненная сила покидает эти большие организмы. Конечно, правительство виновно в подобных несчастьях.

Долг правительства — замечать такие изъяны на теле государства, излечивать их, посылая энергичных людей в пораженные болезнью местности, чтобы изменить их облик. Увы! Напротив, у нас восхищаются этим гибельным, мертвым спокойствием. Затем, как послать туда новых администраторов или способных чиновников? Кто в наше время добровольно зароется в эту глушь, где приходится работать на благо страны без всякого блеска? Если сюда случайно попадают со стороны честолюбцы, то они быстро поддаются силе инерции и приноравливаются к уровню этой ужасной провинциальной жизни. В Иссудене оцепенел бы и сам Наполеон.

Благодаря такому особому положению Иссуденский округ в 1822 году был управляем только беррийскими уроженцами. Правительственная власть была здесь на деле упразднена или же бессильна, за исключением тех весьма редких случаев, когда правосудие было принуждено действовать вследствие их очевидной важности. Прокурор окружного суда г-н Муйерон был в родстве со всеми в городе, а его заместитель принадлежал к местной семье. Председатель суда еще до того, как получил это звание, прославился одним из тех изречений, что в провинции на всю жизнь украшают человека ослиными ушами. Закончив следствие по уголовному делу и убедившись, что смертный приговор неизбежен, он сказал обвиняемому: «Бедняга Пьер, твое дело ясно, тебе отрубят голову. Да послужит это тебе уроком!» Полицейский комиссар, состоявший в своей должности со времени Реставрации, имел родственников во всем округе. Наконец не только влияние религии было ничтожным, но и сам священник не пользовался никаким уважением. Буржуазия либеральная, придирчивая и невежественная, рассказывала разные истории, все более или менее комические, по поводу отношений этого бедняги с его служанкой. Тем не менее дети учились закону божьему, тем не менее они ходили к первому причастию, тем не менее там был коллеж; там исправно служили обедни, праздновали все праздники, платили налоги — единственное, чего Париж требует от провинции; наконец мэр издавал свои постановления; но все эти действия социальной жизни выполнялись по заведенному обычаю. Таким образом, вялость администрации удивительно

согласовалась с умственным и нравственным состоянием области. Впрочем, события этой истории обрисуют последствия подобного положения вещей, которое не столь необыкновенно, как можно было бы подумать. Многие города Франции, особенно на юге, похожи на Иссуден. Состояние, в которое ввергло этот главный город округа владычество буржуазии, ожидает всю Францию и даже Париж, если буржуазия останется распорядителем внешней и внутренней политики нашей страны.

Теперь несколько слов о местоположении. Иссуден вытянулся с севера на юг по холму, который закругляется у дороги на Шатору. Встарь у подножия этой возвышенности, для надобностей фабрик или для того, чтобы в пору процветания города затоплять крепостные рвы, был прорыт канал, именуемый в настоящее время Отводной рекой, берущий воды из Теолы. Отводная река образует дополнительный приток, впадающий в естественную реку за Римским предместьем, там, где в нее впадают Турнемина и некоторые другие притоки. Этими узкими лентами проточной воды и еще двумя речками орошаются довольно обширные луга, окаймленные со всех сторон желтоватыми или белыми холмами, которые усеяны черными пятнами. Таков вид иссуденских виноградников в течение семи месяцев года. Виноградари подрезывают лозы каждый год, оставляя в воронке только безобразный отросток без тычины. Когда подъезжаешь со стороны Вьерзона, Ватана или Шатору, глаз, утомленный однообразными равнинами, бывает приятно поражен видом лугов Иссудена, оазиса этой части Берри, снабжающего область овощами на десять миль в окружности. Внизу от Римского предместья тянется обширное болото, целиком возделанное под огороды и разделенное на две части, именуемые Нижним и Верхним Бальтаном. Широкий и длинный проезд с тополевыми аллеями по сторонам ведет из города через луга к старинному монастырю Фрапэль, где имеются единственные в округе английские сады, торжественно именуемые «Тиволи». По воскресеньям там шепчутся влюбленные парочки.

Следы былого величия Иссудена неизбежно раскрываются внимательному наблюдателю, и наиболее разительный из них — это деление города на две обособлен-

ные части. Замок, который некогда со своими стенами и рвами составлял весь город, образует теперь особый квартал, куда в нынешнее время проходят только через старинные ворота и выходят тремя мостами, перекинутыми через рукава двух речек; он один сохраняет облик старинного города. От укреплений еще и теперь местами сохранились могучие бастионы, на которых выстроены дома. Над замком поднимается башня, бывшая прежде цитаделью. Победитель города, раскинувшегося вокруг этих двух укрепленных точек, должен был взять и башню и замок. Овладение замком не означало еще овладения башней.

Предместье Сен-Патерн, образующее за башней очертания палитры и вдающееся в луга, слишком значительно, чтобы не быть в отдаленные времена собственно отдельным городом. Начиная со средних веков Иссуден, как и Париж, постепенно всполз на свой холм и сосредоточился за башней и замком. Такое мнение еще в 1822 году могло быть подтверждено наличием очаровательной церкви Сен-Патерн, ныне разрушенной наследником лица, купившего ее в качестве национального имущества. Эта церковь — один из самых красивых образцов романского стиля, каким обладала Франция,— погибла в безвестности, так как никто даже не зарисовал прекрасно сохранившегося портала. Единственный голос, раздававшийся в защиту памятника, нигде не нашел отклика — ни в городе, ни в департаменте. Хотя квартал Иссуденского замка благодаря своим узким улицам и старинным домам сохранил характер старого города,— город в собственном смысле этого слова, который брали силой и уничтожали пожаром несколько раз в разные эпохи (особенно во время Фронды, когда он выгорел весь), имеет современный вид. Широкие, сравнительно с другими городами, улицы и хорошие постройки образуют разительный контраст с замком. Благодаря этому Иссуден заслужил в некоторых географических книгах название *Иссуден Прекрасный*.

В городе, отличающемся подобными особенностями, лишенном жизни, даже торговой, в городе, чуждом искусству и ученым изысканиям, в городе, где каждый сидел в своем углу,— при Реставрации, в 1816 году, когда окончилась война, должно было случиться и действи-

тельно случилось, что многие молодые люди не думали ни о какой деятельности и не знали, чем им заняться в ожидании брака или родительского наследства. Соскучившись дома, эти молодые люди не находили в городе никаких развлечений и, следуя местной поговорке: «Тот молод не бывал, кто проказ не знал»,— они выкидывали разные коленца в ущерб своим согражданам. Действовать днем им было трудно — их бы узнали, и если бы у их жертв переполнилась чаша терпения, то при первом же мало-мальски заметном проступке их отвели бы в исправительную полицию; поэтому для своих шалостей они довольно рассудительно выбирали ночь. Так посреди этих древних обломков стольких исчезнувших цивилизаций вспыхнул, как последний огонек, отблеск озорных шуток, отличавших старинные нравы. Эти молодые люди забавлялись, как некогда забавлялся Карл IX со своими придворными, Генрих IV со своими собутыльниками, как забавлялись некогда во многих провинциальных городах.

Коль скоро они объединились — в силу необходимости помогать друг другу, защищаться и изобретать новые проказы,— они и развили в себе, подстрекая друг друга, ту шкодливость, что свойственна праздной молодежи и наблюдается даже у животных. Объединение дало им еще больше — маленькие удовольствия, какие приносит заговорщикам само соблюдение тайны. Они окрестили себя «рыцарями безделья». Днем эти молодые обезьяны казались чуть ли не святыми, все без исключения притворялись тишайшими; да к тому же вставали они довольно поздно после ночей, занятых выполнением какого-нибудь скверного дела. «Рыцари безделья» начали с обыкновенного озорства,— срывали и перевешивали вывески, дергали за звонки, с грохотом вкатывали бочку, забытую кем-нибудь у своих дверей, в погреб соседа, и тот вскакивал, разбуженный таким ужасным шумом, что можно было подумать, не взорвалась ли мина. В Иссудене, как и во многих городах, в погреба надо спускаться по лесенке, а самый спуск находится у дома и закрыт крепким деревянным щитом на шарнирах, с огромным замком. Эти новые «скверные ребята» к концу 1816 года ограничивались шутками, которыми повсюду в провинции занимаются мальчишки и моло-

дые люди. Но в январе 1817 года Орден рыцарей безделья нашел главаря и отличился такими делами, что до 1823 года вызывал своего рода ужас в Иссудене или, по меньшей мере, держал в непрерывной тревоге ремесленников и буржуазию. Этим главарем был некий Максанс Жиле, попросту именуемый Максом, предназначенный для подобной роли не только своей силой и молодостью, но и всем своим прошлым.

Максанс Жиле считался в Иссудене побочным сыном того самого помощника интенданта, г-на Лусто, брата г-жи Ошон, чье волокитство оставило прочную память,— он ведь, как вы знаете, возбудил ненависть старого доктора Руже в связи с появлением на свет Агаты. Но дружба, связывавшая этих двух людей до их ссоры, была такой тесной, что по выражению, принятому в то время здесь, они охотно шли одной и той же дорожкой. Предполагали, что Макс в такой же степени мог быть сыном доктора, как и помощника интенданта; но он не был сыном ни того, ни другого — его отцом был неотразимый офицер драгунского полка, расположенного в Бу́рже. Тем не менее, подстрекаемые враждой, весьма выгодной для ребенка, доктор и помощник интенданта постоянно оспаривали друг у друга отцовство.

Мать Макса, жена бедного сапожника из Римского предместья, отличалась, на погибель своей души, поразительной красотой, красотой итальянки с Тибра, и это единственное достояние она передала сыну. Г-жа Жиле, беременная Максом в 1788 году, долго желала этого благословения неба, которое злые языки приписывали ухаживаниям то одного, то другого из двух приятелей, стремясь, вероятно, настроить их друг против друга. Жиле, старый и горький пьяница, покровительствовал распутству своей жены, то ли из снисходительности, то ли по сговору с нею, что иногда бывает в низших слоях общества. Чтобы обеспечить своему сыну покровителей, г-жа Жиле остерегалась открыть истину мнимым отцам. В Париже она была бы миллионершей; в Иссудене она жила то в достатке, то в бедности, а в конце концов в полном пренебрежении. Г-жа Ошон, сестра Лусто, некоторое время давала по тридцати франков в год на обучение Макса в школе. Такая щедрость,

в которой г-жа Ошон не смела признаться из-за скупости своего мужа, естественно, была приписана ее брату, служившему тогда в Сансере. Доктор Руже, который не был счастлив в холостой жизни, в свою очередь, заметив красоту Макса, до 1805 года платил в коллеж за содержание мальчика и называл его *плутишкой*. Так как помощник интенданта умер в 1800 году, а доктор, оплачивавший в продолжение пяти лет содержание Макса, казалось, делал это из чувства самолюбия, то вопрос об отцовстве все время оставался нерешенным. К тому же Макс Жиле, дававший повод для множества шуток, был вскоре забыт. Вот как было дело.

В 1806 году — год спустя после смерти доктора Руже — этот мальчик, казалось, созданный для отважной жизни, одаренный к тому же замечательной силой и проворством, позволял себе множество довольно смелых шалостей. Он уже сошелся с внуками г-на Ошона, чтобы вместе с ними бесить городских лавочников, воровал из садов фрукты и, нисколько не стесняясь, перелезал через садовые ограды. Этот дьяволенок не имел себе равных в упражнениях, требующих силы, замечательно бегал наперегонки и, казалось, мог поймать зайца на бегу. Одаренный зоркостью, достойной Кожаного Чулка, он уже тогда страстно любил охоту. Вместо того чтобы учиться, он проводил время, стреляя в цель. Деньги, добытые хитростью у старого доктора, он употреблял на покупку пороха и пуль для дрянного пистолета, подаренного ему сапожником, папашей Жиле. А осенью 1806 года Макс, которому тогда было семнадцать лет, совершил неумышленное убийство, напугав в темноте молодую беременную женщину, на которую он натолкнулся в ее саду, забравшись туда воровать фрукты. Сапожник Жиле, хотевший, без сомнения, избавиться от него, пригрозил ему гильотиной. Макс мгновенно удрал, нагнал в Бурже полк, шедший в Испанию, и поступил в него солдатом. Дело о смерти молодой женщины не имело никаких последствий.

Юноша с характером Макса должен был отличиться, и он отличился настолько, что после трех походов произведен был в капитаны, так как небольшое образование, полученное им, весьма помогло ему. В 1809 году в Португалии он был сочтен убитым и оставлен у од-

ной английской батареи, которую его отряд взял, но не имел силы удержать. Макс, захваченный англичанами, был послан в испанскую плавучую тюрьму в Кабрере, самую страшную из всех тюрем такого рода. Хотя и возбуждено было ходатайство о награждении его крестом Почетного легиона и чином батальонного командира, но император был тогда в Австрии, он приберегал награды для блестящих подвигов, совершавшихся на его глазах; он не любил тех, кто позволял взять себя в плен, да, кроме того, был не особенно доволен положением дел в Португалии. В плавучей тюрьме Макс пробыл с 1810 по 1814 год. За эти четыре года он совсем развратился, потому что плавучая тюрьма была той же каторгой, только без преступления и позора. Сначала, чтобы сохранить самостоятельность и не дать вовлечь себя в разврат, свирепствовавший в этих гнусных тюрьмах, недостойных цивилизованного народа, молодой красавец-капитан убил на дуэли (там дрались на пространстве в шесть квадратных футов) семерых бреттеров и тиранов, освободив от них тюрьму к великой радости их жертв. Макс царствовал среди узников плавучей тюрьмы благодаря своему поразительному искусству владеть оружием, благодаря физической силе и ловкости. Но и он, со своей стороны, творил самоуправство, имел приспешников, которые работали за него и составляли его свиту. В этой школе страданий, где озлобленные души мечтали только о мщении, где софизмами, выросшими в умах насильственно согнанных людей, оправдывались всякие гадости, Макс совершенно развратился. Он наслушался тех, кто мечтал о богатстве во что бы то ни стало, хотя бы ценой преступного деяния, лишь бы не было улик. Словом, когда мир был заключен, Макс вышел из тюрьмы вконец испорченным, хотя и невинным, способным стать либо крупным политиком в высоких сферах, либо подлецом в частных делах, смотря по обстоятельствам своей судьбы.

Возвратившись в Иссуден, он узнал о плачевном конце своего отца и матери. Как все люди, предававшиеся страстям и пожившие, согласно поговорке, хоть мало, да хорошо, чета Жиле умерла в самой жестокой нужде, в больнице. Почти сейчас же по возвращении Макса весть о высадке Наполеона в Канне разнеслась по всей

Франции. Максу в этом случае не предоставлялось ничего лучшего, как отправиться в Париж и потребовать себе чин батальонного командира и крест. Маршал, бывший тогда военным министром, вспомнил о прекрасном поведении капитана Жиле в Португалии и назначил его в гвардию капитаном, что давало ему в армейских частях звание командира батальона; но ордена для Макса маршал добиться не мог.

— Император сказал, что вы можете заслужить его в первом же деле,— сказал ему маршал.

И действительно, император назначил храброго капитана к награде вечером в день сражения при Флерюсе, где Жиле отличился. После битвы при Ватерлоо Макс отправился на Луару. При роспуске армии маршал Фельтр не утвердил за Жиле ни его чина, ни ордена. Солдат Наполеона вернулся в Иссуден в состоянии отчаяния, которое легко понять: он не хотел служить иначе как с орденом и в чине командира батальона. Военные чиновники нашли эти условия чрезмерными для молодого человека двадцати пяти лет, без имени, который, чего доброго, к тридцати годам станет полковником. Тогда Макс подал в отставку. Подполковник—бонапартисты величали друг друга по чинам, полученным в 1815 году,— потерял, таким образом, скудное содержание, именуемое половинным окладом и присвоенное офицерам Луарской армии.

Увидев этого прекрасного молодого человека, все состояние которого равнялось двадцати золотым, в Иссудене подняли шум в его пользу, и мэр предоставил ему должность на шестьсот франков жалованья в городском самоуправлении. Макс, проработав на этой должности около полугода, бросил ее и был замещен капитаном Карпантье, тоже сохранившим верность Наполеону. Уже став к этому времени Великим магистром Ордена безделья, Макс стал вести такой образ жизни, что потерял уважение лучших семейств в городе, чего они, впрочем, ему не показывали: он был человек бешеного нрава, и все боялись его, даже офицеры прежней армии, отказавшиеся, подобно ему, от военной службы и вернувшиеся к себе в Берри сажать капусту. Малая привязанность уроженцев Иссудена к Бурбонам нисколько не удивительна, если вспомнить нарисованную ранее

картину. Таким образом, в этом городке, если принять во внимание его незначительность, было относительно больше бонапартистов, чем в других местах. Бонапартисты же, как известно, почти все стали либералами. В Иссудене и в окрестностях насчитывалось до дюжины офицеров, находившихся в таком же положении, как Макс, и они считали его своим главой, настолько он им пришелся по душе — за исключением, однако, его преемника Карпантье и некоего Миньоне, отставного капитана гвардейской артиллерии. Карпантье, выслужившийся кавалерийский офицер, сразу же женился и вошел в семью Борнишей-Эро, одну из наиболее уважаемых в городе. Миньоне, воспитанник Политехнической школы, служил в корпусе и считал себя намного выше других. В императорской армии среди военных были люди двух различных оттенков. Большая часть питала к штатским, к «штафиркам», такое же презрение, какое бывает у дворян по отношению к мужикам, у победителей — к побежденным. Такие не всегда соблюдали законы чести в своих отношениях со штатскими или не слишком порицали тех, кто с маху расправлялся с буржуа. Другие, особенно артиллеристы, быть может, вследствие своих республиканских убеждений, не принимали этой доктрины, которая в конце концов сводилась к тому, чтобы разделить Францию надвое: на Францию военную и Францию гражданскую. И если командир Потель и капитан Ренар, два офицера из Римского предместья, чьи мнения о «штафирках» оставались незыблемы, были, *несмотря ни на что*, друзьями Максанса Жиле, то командир Миньоне и капитан Карпантье были на стороне горожан, находя поведение Макса недостойным порядочного человека. Миньоне, сухонький человечек, исполненный чувства собственного достоинства, занимался изучением вопросов, связанных с паровой машиной, и жил скромно, ведя дружбу с г-ном и г-жой Карпантье. Его тихий нрав и ученые занятия заслужили ему уважение всего города. Поэтому-то говорили, что Миньоне и Карпантье *совсем другие люди*, чем командир Потель, капитаны Ренар, Максанс и прочие завсегдатаи «Военной кофейни», сохранившие солдатские нравы и старые замашки времен Империи.

В то время, когда г-жа Бридо приехала в Иссуден,

Макс был исключен из городского общества. Впрочем, этот молодой человек знал, чего заслуживал, и сам не появлялся в общественном собрании, именуемом «Клубом», никогда не жалуясь на осуждение, которое он вызывал, несмотря на то, что был самым элегантным молодым человеком в Иссудене, лучше всех одевался, тратил на это много денег и в виде исключения держал верховую лошадь, что в Иссудене было столь же необычно, как и лошадь Байрона в Венеции. Каким образом Макс, человек бедный, не имеющий никаких средств, стал иссуденским щеголем, это мы сейчас разъясним, ибо постыдные действия, навлекшие на него презрение людей совестливых или религиозных, имели отношение к тем интересам, которые привели Агату и Жозефа в Иссуден. По смелости его поведения, по выражению его лица можно было думать, что Макс очень мало заботился об общественном мнении; он, несомненно, надеялся в один прекрасный день взять свое и восторжествовать над теми, кто его презирал. Однако если буржуазия не уважала Макса, то восхищение, которое вызывал его характер у народа, составляло противовес этому мнению; его храбрость, упорство, решительность должны были нравиться массе, которой к тому же была неизвестна его испорченность; впрочем, и буржуазия не подозревала, до какой степени эта испорченность доходит. Для Иссудена Макс играл почти такую же роль, как Форжерон в «Пертской красавице»,— он был для города оплотом бонапартизма и оппозиции. Как пертские буржуа рассчитывали на Смита, так же рассчитывали здесь на Макса в случае серьезных событий. Одно дело особенно ярко обрисовало героя и жертву Ста дней.

В 1819 году батальон под командой роялистских офицеров, молодых людей из Мезон-руж, проходил через Иссуден, направляясь в Бурж нести гарнизонную службу. Не зная, как убить время в городе, столь конституционно настроенном, как Иссуден, офицеры отправились в «Военную кофейню». В каждом провинциальном городе есть «Военная кофейня». В Иссудене она занимала помещение на военном плацу, в углу укреплений; содержалась она вдовой бывшего офицера и, естественно, являлась клубом для местных бонапартистов, для офи-

церов, оставшихся на половинном жалованье, для единомышленников Макса, которым общий дух города позволял открыто исповедовать преклонение перед императором. С 1816 года в Иссудене неизменно праздновалась годовщина коронации Наполеона. Трое из роялистов, первыми зашедшие в кофейню, потребовали газеты, в том числе «Котидьен» и «Драпо блан». Общественное мнение Иссудена, и «Военной кофейни» в особенности, отвергало роялистские газеты. В кофейне была только «Коммерс» — название, под которым в продолжение нескольких лет вынуждена была выходить газета «Конститюсьонель», закрытая особым постановлением. Но, появившись в первый раз под новым названием, газета начала свою передовицу словами: «Коммерция по существу конституционна»,— поэтому ее и продолжали называть «Конститюсьонель». Все подписчики поняли каламбур, исполненный оппозиционного духа и злой насмешки, при помощи которого их просили не обращать внимания на ярлык — вино оставалось все то же.

Толстая буфетчица с высоты своей стойки ответила роялистам, что у нее нет требуемых газет.

— Какие же газеты вы получаете? — спросил один офицер, в чине капитана.

Лакей, невзрачный юноша в синей суконной куртке и в фартуке из толстого полотна, принес «Коммерс».

— Ах, так это ваша газета! Есть еще экземпляры?

— Нет,— ответил лакей,— больше не имеется.

Тут капитан раздирает оппозиционный листок, рвет его в клочья, бросает на пол и, плюнув на него, требует:

— Домино!

Известие об оскорблении, нанесенном конституционной оппозиции и либерализму в лице священной газеты, нападавшей на попов со смелостью и остроумием, известными всем, разнеслось через десять минут по всем улицам и проникло со скоростью света в дома; его передавали из уст в уста. Одни и те же слова были у всех на языке: «Надо сообщить Максу!» Макс немедленно все узнал. Офицеры еще не кончили своей партии в домино, как в кофейню пришел Макс вместе с командиром Потелем и капитаном Ренаром, сопровождаемый тридцатью молодыми людьми, которые любопытствовали

узнать, чем кончится это приключение, и расположились группой на плацу. Скоро кофейня была переполнена.

— Человек, мою газету! — мягко сказал Макс.

Разыгралась маленькая комедия. Толстая женщина с боязливым и примирительным видом сказала:

— Капитан, я ее отдала.

— Подите за ней! — воскликнул один из друзей Макса.

— Не можете ли вы обойтись без газеты? — сказал лакей.— У нас ее больше нет.

Молодые офицеры посмеивались и украдкой посматривали на горожан.

— Ее изорвали! — воскликнул какой-то местный юноша, глядя под ноги молодого капитана роялиста.

— Кто позволил себе разорвать газету? — спросил Макс громовым голосом, с горящими глазами, скрестив руки на груди.

— Мы. И в придачу наплевали на нее,— ответили трое молодых офицеров, вставая и глядя на Макса.

— Вы оскорбили весь город,— сказал Макс, побледнев.

— Ну, и что же дальше? — спросил самый молодой из офицеров.

С ловкостью, решительностью и быстротой, неожиданной для этих молодых людей, Макс залепил две пощечины ближайшему из трех офицеров, сказав при этом:

— Вы понимаете французский язык?

Драться отправились в аллею Фрапэль, трое против троих. Потель и Ренар никак не могли допустить, чтобы Максанс Жиле один проучил офицеров. Макс убил своего противника. Подполковник Потель так тяжело ранил своего, что несчастный — молодой человек из знатной семьи — умер на следующий день в госпитале, куда его доставили. Что до третьего, тот расквитался за полученный им удар шпаги и ранил капитана Ренара, который с ним сражался. Батальон ночью выступил в Бурж. Это происшествие, ставшее известным по всему Берри, окончательно утвердило за Максом Жиле репутацию героя.

«Рыцари безделья», все юнцы — самому старшему не было и двадцати пяти лет,— восхищались Максом.

Некоторые из них, отнюдь не разделяя мнения своих родных, сурово осуждавших Макса, завидовали его положению и считали его счастливчиком. Имея такого вождя, Орден совершал чудеса. С января 1817 года не проходило и недели, чтобы город не был взбудоражен какой-нибудь новой проделкой. Макс во имя чести связал «рыцарей» некоторыми условиями. Провозгласили устав Ордена. Эти черти стали ловкими, как ученики Амороса, дерзкими, как коршуны, искусными во всех упражнениях, сильными и проворными, как преступники. Они усовершенствовались в искусстве лазать по крышам, взбираться на дома, прыгать, бесшумно ходить и, разведя известку, заделывать ею двери. У них был целый набор веревок, лестниц, инструментов, одежды для переодевания. Притом «рыцари безделья» достигли идеала ловкости не только в исполнении, но и в измышлении своих проказ. В конце концов они обрели ту гениальную способность глумиться над людьми, которая так увеселяла Панурга, которая вызывает смех и ставит свою жертву в столь глупое положение, что она не смеет даже пожаловаться. К тому же эти молодые люди из порядочных семейств имели во многих домах сообщников, помогавших им получать нужные сведения при подготовке всяких набегов.

В большие морозы они, сущие черти, чрезвычайно искусно переносили печь из залы во двор и как следует накладывали в нее дров, чтобы она топилась до самого утра. И вот в городе узнавали, что господин такой-то — известный скряга! — пытался отопить свой двор.

Иногда они устраивали засаду на Главной или на Нижней улице, двух основных городских артериях, куда выходило много переулков. Притаившись то там, то сям у выступов стены, по углам переулков, когда дома были объяты первым сном, они поворачивали голову по направлению ветра и кричали диким голосом от двери к двери, от одного конца улицы до другого: «Что случилось? Что такое?» Эти непрекращавшиеся крики будили горожан, которые высовывались в рубашках и бумажных колпаках, со свечой в руке, переговаривались друг с другом и высказывали самые нелепые предположения, корча притом самые смехотворные мины.

Был в городе один бедный переплетчик, глубокий старик, который верил в нечистую силу. Как почти у всех провинциальных ремесленников, у него была маленькая мастерская в нижнем этаже дома. «Рыцари», нарядившись чертями, вваливались к нему ночью, сажали старика в ларь с бумажными обрезками и убегали, а он подымал такой крик, как будто трех-четырех человек сжигают заживо. Бедняга будил соседей, рассказывал им, что ему явился сам Люцифер, и слушатели никак не могли разубедить его в этом. Переплетчик чуть не рехнулся.

В самый разгар суровой зимы «рыцари» за одну ночь разобрали камин в кабинете сборщика налогов и сложили другой, совершенно такой же; все это они проделали бесшумно, не оставив ни малейшего следа своей работы. Внутренние ходы в новом камине были устроены так, что дым валил в комнату. Сборщик налогов терпел два месяца, прежде чем понял, почему его столь исправный камин, которым он был так доволен, сыграл с ним такую шутку,— и камин пришлось перекладывать.

Однажды они окунули в серу три охапки соломы и вместе с промасленной бумагой засунули их в камин старой ханжи, приятельницы г-жи Ошон. Утром, разведя огонь, бедная женщина, тихая и кроткая, увидела перед собой огнедышащий вулкан. Примчались пожарные, сбежался весь город, а так как среди пожарных находилось несколько «рыцарей безделья», то они залили водой весь дом старушки и, не удовлетворившись тем, что напугали ее пожаром, привели ее в ужас потопом. Она заболела.

Когда им хотелось, чтобы кто-нибудь провел всю ночь настороже и в смертельной тревоге, они посылали своей жертве анонимное письмо, предупреждая обывателя, что он будет обворован; после этого они один за другим проходили, пересвистываясь, мимо его ограды или окон.

Одна из самых милых выходок, долго забавлявшая город, так что еще и сейчас о ней рассказывают, заключалась в следующем: они разослали наследникам одной старой и очень скупой дамы, которая должна была оставить прекрасное наследство, коротенькие извеще-

ния о ее смерти с просьбой прибыть к известному часу, чтобы присутствовать при наложении печатей. Из Ватана, Сен-Флорана, Вьерзона и окрестностей прибыло почти восемьдесят человек, все в глубоком трауре, но довольно весело настроенные, некоторые со своими женами, а вдовы с сыновьями, кто в двуколке, кто в плетеном кабриолете, кто в дрянной тележке. Представьте себе сцену между служанкой старой дамы и первыми прибывшими наследниками. А совещания у нотариусов! В Иссудене словно произошел мятеж...

В конце концов помощник префекта осмелился счесть такое положение невыносимым, тем более что нельзя было дознаться, кто позволяет себе эти шутки. Сильные подозрения падали на молодых людей, но так как в ту пору национальная гвардия в Иссудене существовала лишь по имени, гарнизона не было, а жандармский лейтенант имел в своем распоряжении только восемь жандармов и ночных обходов не делали, то невозможно было найти доказательства. Помощник префекта тотчас был взят на заметку и зачислен в *ненавистные*. Этот чиновник имел привычку завтракать двумя свежеснесенными яйцами. Он держал кур у себя во дворе, и, кроме мании есть свежеснесенные яйца, у него была еще другая — варить их самолично. Ни его жена, ни служанка, никто, по его мнению, не умел варить яйца, как нужно; он производил это с часами в руках и хвастался, что по части варки яиц превосходит всех на свете. Два года он варил яйца с успехом, снискавшим ему множество насмешек. И вот в продолжение месяца каждую ночь у его кур таскали яйца, вместо которых подкладывали сваренные вкрутую. Помощник префекта лишь попусту терял труд и время, а вместе с ними и славу *яичного помощника префекта*. В конце концов он начал завтракать иначе. Но он ничуть не заподозрил «рыцарей безделья», настолько их проделка была ловко осуществлена. Макс придумал смазывать каждую ночь трубы в его печах маслом со столь зловонным запахом, что хоть беги из дому. Этого мало: однажды, когда жена помощника префекта собралась к обедне, ее шаль оказалась склеенной каким-то составом так крепко, что ее нельзя было накинуть. Помощник префекта исходатайствовал у своего начальства перевод в другое место.

Малодушие и покорность этого чинуши содействовали окончательному упрочению таинственной власти озорных «рыцарей безделья».

Между улицей Миним и площадью Мизер в то время была расположена часть квартала, ограниченная внизу рукавом Отводной реки, а сверху укреплениями — от плаца до Горшечного рынка. Этот неправильный четырехугольник застроен убогими домишками, налезающими друг на друга, а тесные кучки их разделены кривыми улочками, столь узкими, что вдвоем по ним невозможно пройти рядом друг с другом. Эта часть города, своего рода Двор Чудес, была заселена бедняками или людьми, занятыми малоприбыльными профессиями; они и помещались в этих лачугах и жилищах, живописно именуемых в просторечии «подслеповатыми домами». Без сомнения, во все времена то был проклятый квартал, убежище всякого темного люда,— недаром одна из улиц называлась там *Улицей палача*. Установлено, что в продолжение пяти веков у городского палача здесь был свой дом *с красною дверью*. Помощник палача города Шатору проживает здесь и поныне, если верить народным толкам, потому что он никому не показывается на глаза. Только виноградари имеют сношения с этим таинственным существом, которое унаследовало от своих предшественников дар излечивать переломы костей и язвы. В прошлые времена, когда город жил на столичный лад, тут было местопребывание веселых девиц; проживали здесь и перекупщики таких вещей, на которые, казалось бы, никто не позарится, проживали старьевщики со своим зловонным товаром — словом, тот неправдоподобный сброд, который почти в любом городе населяет такие места под главенством двух-трех евреев.

На углу одной из этих сумрачных улиц, в наиболее оживленной части квартала, с 1815 по 1823 год, а быть может и позже, содержала кабак одна женщина, известная под именем тетушки Коньеты. Кабак занимал двухэтажный дом с чердаком — довольно хорошую постройку со связями из белого камня, промежутки между которыми были заполнены щебнем, скрепленным известью. Над дверью висела огромная сосновая ветка, как бы отливавшая флорентийской бронзой. Словно этот

символ не был достаточно ясен, взор приковывала прикрепленная к наличнику дверей синяя вывеска, где под надписью «*Отличное мартовское пиво*» был нарисован солдат, направлявший круто вздымавшуюся из кувшина пенистую струю в стакан, который протягивала весьма сильно декольтированная женщина,— и все это в красках, способных довести до обморока самого Делакруа. Первый этаж был занят огромной залой, служившей одновременно и кухней и столовой; тут же, на гвоздях, вбитых в балки, висели съестные припасы, необходимые для подобного заведения. Позади этой залы лестница, какие бывают на мельницах, вела в верхний этаж; у входа на лестницу виднелась дверца, ведущая в длинную комнату с окнами во двор — один из тех провинциальных дворов, которые походят на каминную трубу, до такой степени они узки, черны и окружены высокими стенами. Спрятавшаяся за пристройкой и укрытая от взоров оградою, эта комната служила для иссуденских проказников местом их торжественных заседаний. На глазах у всех папаша Конье в рыночные дни принимал деревенских жителей, но тайно он содержал трактир для «рыцарей безделья». Этот Конье когда-то был конюхом в одном богатом доме и в конце концов женился на своей Коньете, раньше служившей кухаркой в одном приличном семействе. В римском предместье продолжают, так же как в Италии и Польше, на латинский манер изменять фамилии по родам. Соединив свои сбережения, папаша Конье и его жена приобрели дом, чтобы начать там свою деятельность в качестве кабатчиков. Коньета, женщина лет сорока, высокая, пухлая, с носом как у Рокселаны, со смуглой кожей, с черными, как смоль, волосами, с живыми и круглыми карими глазами, с насмешливым, умным лицом, была выбрана Максом Жиле в качестве Леонарды его Ордена из-за своего характера и поварских талантов. Папаша Конье, коренастый человек лет пятидесяти шести, был у жены под башмаком и, как она говорила в шутку, хоть и был одноглазым, а глядел в оба. В продолжение семи лет, с 1816 по 1823 год, ни муж, ни жена ни разу не проболтались о том, что происходило или замышлялось у них по ночам, и обнаруживали самую живую привязанность ко всем «рыцарям»; преданность кабатчиков, таким об-

разом, была безусловна, хотя, быть может, не столь уж достойна высокой оценки, если иметь в виду, что молчание и преданность были для них залогом собственной выгоды.

В какой бы час ночи «рыцари» ни вздумали ввалиться к Коньете, папаша Конье, предупрежденный их условным стуком, вставал, вздувал огонек, зажигал свечи, открывал двери и отправлялся в погреб за винами, специально закупленными для Ордена, сама же Коньета готовила для них изысканный ужин, будь это до или после задуманного предприятия, накануне его или же в день выполнения.

В то время как г-жа Бридо была на пути из Орлеана в Иссуден, «рыцари безделья» готовились к осуществлению одной из своих лучших проделок. Некий старый испанец, бывший военнопленный, оставшийся после заключения мира в округе, где он вел небольшую торговлю зерном, рано утром приехал на рынок и оставил свою пустую тележку у холма Иссуденской башни. Максу, прибывшему первым на свидание, назначенное в эту ночь у подножия башни, шепотом задали вопрос:

— Что будем делать сегодня ночью?

— Дядюшка Фарио оставил здесь свою тележку,— ответил он.— Я чуть не разбил себе нос, наткнувшись на нее. Втащим ее сначала на башенный холм, а потом посмотрим.

Когда Ричард строил Иссуденскую башню, он, как было указано, возвел ее на развалинах базилики, расположенной, в свою очередь, на месте разрушенного римского храма и кельтского *Dun'a*. Все эти развалины, представлявшие каждая длинный ряд веков, образовали гору, которая схоронила в своих недрах памятники трех эпох. Башня Ричарда Львиное Сердце находится на вершине конусообразной возвышенности, склоны которой со всех сторон одинаково круты; взобраться на нее можно только ползком. Чтобы хорошо обрисовать в нескольких словах положение этой башни, можно сравнить ее с Луксорским обелиском. Пьедестал Иссуденской башни, таивший в себе в то время столько неведомых археологических сокровищ, поднимается со стороны города на восемьдесят футов.

В течение часа тележку разобрали и втащили по частям на холм, к подножию башни; это потребовало таких же усилий, какие затрачивали солдаты, перетаскивая артиллерию при переходе через Сен-Бернар. Затем тележку снова собрали и с такой заботливостью уничтожили следы работы, что, казалось, тележка была перенесена туда дьяволом или по мановению волшебной палочки какой-нибудь феи. После этого подвига «рыцари», почувствовав голод и жажду, отправились все к Коньете и скоро собрались за столом в маленькой нижней зале; они заранее смеялись, представляя себе, какую рожу состроит Фарио, когда часов в десять утра придет за своей тележкой.

Конечно, не каждую ночь «рыцари» пускались на каверзные и забавные проделки. Гения всех Сганарелей, Маскарилей и Скапенов не хватило бы, чтобы изобрести триста шестьдесят пять проделок в год. К тому же иногда не благоприятствовали обстоятельства: то слишком ярко светила луна; то последняя выходка слишком раздражила благоразумных людей; а то кто-нибудь из «рыцарей» отказывался принимать участие, когда замышлялось что-либо против его родственника. Но если шутники не каждую ночь виделись у Коньеты, то они встречались днем, сообща предаваясь дозволенным удовольствиям: осенью — охоте или сбору винограда, зимой — катанью на коньках. В этом сборище двадцати молодых людей, которые на свой лад протестовали против общественной спячки, охватившей город, было несколько человек, связанных тесней, чем другие, с Максом или поклонявшихся ему, как своему кумиру. Подобными характерами часто восхищается молодежь. И вот два внука г-жи Ошон, Франсуа Ошон и Барух Борниш, были восторженными последователями Макса. Эти юноши считали Макса как бы своим двоюродным братом, держась общепринятого мнения относительно его родства с Лусто по внебрачной линии. Кроме того, Макс щедро давал молодым людям деньги на удовольствия, в которых им отказывал дед; он их брал с собой на охоту, наставлял их и в конце концов стал пользоваться бóльшим влиянием на них, чем их семья. Эти молодые люди, оба сироты, остались, несмотря на совершеннолетие, под опекой своего деда г-на Ошона;

причины такого обстоятельства будут объяснены, когда пресловутый г-н Ошон появится в нашем повествовании.

Теперь же Франсуа и Барух (для ясности этого рассказа будем звать их просто по именам) сидели, один по правую, другой по левую руку Макса, посередине стола, довольно плохо освещенного коптящими огоньками четырех свечей — тех, что продаются по восьми штук на фунт. Уже успели выпить — впрочем, не более, чем дюжину—полторы бутылок разного вина, потому что собралось только одиннадцать «рыцарей». Когда вино развязало языки, Барух, чье библейское имя указывает на пережитки кальвинизма в Иссудене, сказал Максу:

— Самому центру твоего фронта грозит опасность.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Макс.

— Да моя бабушка получила письмо от госпожи Бридо, своей крестницы, которая уведомляет, что приедет с сыном. Вчера бабушка приготовила для них две комнаты.

— Ну, а мне-то что? — сказал Макс и, осушив залпом стакан, поставил его на стол дурашливым жестом.

Максу в то время исполнилось тридцать четыре года. Свеча, стоявшая возле него, бросала свет на его воинственное лицо, ярко освещала его лоб и еще подчеркивала белизну его кожи, огненный взор, черные, как смоль, и курчавые волосы. Эта шевелюра лихо поднималась надо лбом и висками, отчетливо разделяясь на пять черных прядей, которые наши предки называли *пятью остриями*. Несмотря на эту резкую противоположность белого и черного, в лице у Макса было какое-то мягкое очарование, секрет которого заключался в нежном, как у мадонн, складе лица и в благосклонной улыбке, блуждавшей на красиво очерченных губах,— своего рода манера, усвоенная Максом. Яркость колорита, отличающая лица беррийцев, придавала его облику еще более добродушный вид. Когда он искренне смеялся, то показывал зубы, достойные украшать рот самой изысканной красавицы. Макс был не очень высок ростом, прекрасно сложен, не худ и не толст. Его холеные руки были белы и довольно красивы, но по ногам можно было узнать уроженца Римского предместья и пехо-

тинца эпохи Империи. Конечно, он был бы превосходным дивизионным генералом; его плечи могли бы выдержать на себе судьбы маршала Франции, а на широкой груди хватило бы места для всех орденов Европы. Ум одушевлял его движения. Наконец он был изящен, как почти все дети любви, и в нем сказывалась дворянская кровь его настоящего отца.

— Да ты знаешь ли, Макс, что крестница госпожи Ошон — сестра Руже? — крикнул ему с другого конца стола сын отставного военного хирурга Годде, лучшего доктора в городе.— Если она приехала со своим сыном художником, то, наверное, для того, чтобы уломать этого простака насчет наследства. А тогда уж, разумеется, прощай твой урожай...

Макс нахмурил брови. Потом, окинув взглядом всех сидевших за столом, он посмотрел, какое впечатление произвело на них это замечание, и снова спросил:

— Ну, а мне-то что?

— Но мне кажется,— возразил Франсуа,— что переделай старый Руже свое завещание, в том случае, если оно составлено в пользу Баламутки...

Макс прервал своего верного последователя:

— Когда я приехал в этот город, я услышал, что о тебе говорят: «Смешон, как Ошон», повторяя шутку, придуманную по поводу вашей фамилии лет тридцать тому назад. Я заткнул рот тем, кто говорил о тебе так, мой дорогой Франсуа, очень крепко заткнул: с тех пор в Иссудене никто не повторяет этой чепухи, по крайней мере в моем присутствии! И вот как ты отплатил мне: ты именуешь презрительным прозвищем женщину, к которой, как известно, я привязан.

Никогда еще Макс не высказывался так о своих отношениях к особе, названной Франсуа Ошоном прозвищем, каким ее награждали в Иссудене. Человек, побывавший в плавучей тюрьме, обладал достаточным опытом, командир гвардейских гренадеров достаточно знал, что такое честь, чтобы догадаться, откуда проистекает неуважительное отношение к нему в городе. Поэтому он никогда не спускал кому бы то ни было, кто осмеливался сказать ему хотя бы слово о Флоре Бразье, содержанке Жан-Жака Руже, столь выразительно названной «тварью» в письме почтенной г-жи Ошон. Впро-

чем, каждый считал Макса слишком щепетильным, чтобы заговорить с ним по такому поводу, если он сам не начинал разговора, а этого он никогда не делал. Вызвать в Максе гнев или досаду было слишком опасно, и даже самые лучшие его друзья не позволяли себе насмехаться над Баламуткой. Когда о связи Макса с этой девкой заводили речь в присутствии командира Потеля и капитана Ренара, двух офицеров, с которыми он был на равной ноге, Потель замечал:

— Если он побочный брат Жан-Жака Руже, то почему бы ему не жить у него?

— А кроме того,— в свою очередь, говорил капитан Ренар,— эта девочка — лакомый кусочек; и если бы он ее полюбил, что же тут дурного? Разве сын Годде не пошел в любовники к госпоже Фише, имея в виду ее дочку, как вознаграждение за такую обузу?

После заслуженного выговора Франсуа утерял нить своих мыслей и уже совсем был неспособен найти ее, когда Макс мягко сказал:

— Продолжай...

— Ради бога, не надо! — воскликнул Франсуа.

— Ты напрасно сердишься, Макс,— крикнул Годде.— Разве не решено, что у Коньеты можно говорить обо всем? Разве мы не стали бы смертельными врагами всякого из нас, кто вспомнил бы за стенами этого дома о том, что здесь говорили, обдумывали или делали? Всему городу Флора Бразье известна под прозвищем Баламутки, и если оно нечаянно вырвалось у Франсуа, то разве это преступление против устава «рыцарей безделья»?

— Нет,— ответил Макс,— это только преступление против нашей личной с ним дружбы. Потому-то, поразмыслив и вспомнив, что мы сейчас в *Безделье*, я и сказал: «Продолжай».

Воцарилось глубокое молчание. Оно было столь тягостным для всех, что Макс воскликнул:

— Ну, тогда я продолжу за него (*Волнение*), за всех вас (*Изумление*) и скажу, что вы все думаете! (*Сильное волнение.*) Вы полагаете, что Флора, Баламутка, Бразье, домоправительница папаши Руже — папаши, хотя у этого старого холостяка никогда не будет детей,— вы полагаете, говорю я, что эта женщина обеспе-

чивает меня всем необходимым со времени моего возвращения в Иссуден. Если я могу бросать на ветер триста франков в месяц, постоянно угощать вас, как нынче вечером, и ссужать всех деньгами, то, значит, думаете вы, я заимствую эти деньги из кошелька мадемуазель Бразье? Ну и что ж — это так! *(Сильное волнение.)* Черт побери, да, тысячу раз да! Да, мадемуазель Бразье метит на наследство этого старика...

— Она заработала право на него и у отца и у сына,— подал голос Годде из своего угла.

— Вы полагаете,— продолжал Макс, улыбнувшись на замечание Годде,— что я задумал жениться на Флоре после смерти Руже и что в таком случае его сестра со своим сыном, о которых я слышу в первый раз, помешают моим планам?

— Именно так! — воскликнул Франсуа.

— Это думают все сидящие за столом,— прибавил Барух.

— Так будьте спокойны, друзья,— ответил Макс.— За ученого двух неученых дают! Теперь я обращаюсь к «рыцарям безделья». Если мне понадобятся услуги Ордена, чтобы выжить отсюда этих парижан, протянет ли он мне руку помощи? О, конечно, в тех границах, которые мы сами поставили себе для наших проделок,— быстро прибавил он, заметив общее движение.— Неужели вы думаете, что я хочу их убить, отравить? Слава богу, я еще не так глуп. Да в крайнем случае, если бы Бридо одержали верх, а у Флоры осталось бы лишь то, что у нее есть,— я бы удовлетворился этим, понимаете? Я достаточно люблю ее, чтобы предпочесть ее девице Фише, если бы Фише пожелала меня!

Мадемуазель Фише была самой богатой наследницей в Иссудене, и приданое дочери сыграло большую роль в той страсти, которую питал Годде к ее матери.

Откровенность всегда подкупает, и, встав с места, как один человек, одиннадцать «рыцарей» воскликнули наперебой:

— Ты славный малый, Макс!

— Вот это дело, Макс; мы будем «рыцарями освобождения».

— Долой Бридо и их бредни!

— Пускай эти Бридо катятся восвояси!

— Да, бывали случаи — женились и на любовницах!

— Какого черта! Ведь Лусто любил госпожу Руже; менее зазорно любить домоправительницу, ничем не связанную и свободную!

— И если покойный Руже до известной степени отец Макса, то, значит, все, что происходит,— дела семейные.

— Долой предрассудки!

— Да здравствует Макс!

— К черту лицемеров!

— Выпьем за здоровье прекрасной Флоры!

Таковы были одиннадцать высказываний, восклицаний и тостов, которыми разразились «рыцари безделья», поощренные к тому, надо сказать, своей крайней распущенностью. Теперь ясно, какую цель преследовал Макс, сделавшись Великим магистром Ордена безделья. Изобретая разные проделки, оказывая услуги молодым людям из почтенных семейств, Макс рассчитывал найти у них поддержку для своей реабилитации. Он изящно встал, высоко поднял свой стакан, наполненный бордоским, и все замолкли в ожидании его речи.

— Желаю вам такого же несчастья, желаю вам всем найти женщину, которая стоила бы прекрасной Флоры! Что до нашествия родственников, то сейчас я ничего не боюсь; а там посмотрим!

— Мы еще не покончили с тележкой Фарио!

— Черт возьми! Она в надежном месте,— сказал Годде.

— Э! Я обязуюсь довести до конца эту проделку! — воскликнул Макс.— Подите пораньше на рынок и известите меня, когда Фарио станет искать свою тарататайку...

Послышался бой часов, отбивавших половину четвертого; «рыцари» молча стали расходиться по домам, держась у стен, не производя ни малейшего шума благодаря плетеным веревочным туфлям. Макс не спеша вышел на площадь Сен-Жан, расположенную в высокой части города, между воротами Сен-Жан и воротами Вилат, в квартале зажиточной буржуазии.

Командир Жиле не подал и виду, что чего-либо опасается, но услышанная новость поразила его прямо в

сердце. Со времени его пребывания в плавучей тюрьме способность к притворству достигла в нем такой же степени, как и испорченность. Прежде всего и больше всего — можете быть в этом уверены — страсть Макса к Флоре Бразье объяснялась сорока тысячами ливров дохода с земель, которыми владел Руже. По его поведению легко догадаться, насколько Флора сумела внушить ему уверенность относительно ожидающего ее богатства, которым она была обязана нежности старого холостяка. Тем не менее известие о приезде законных наследников поколебало веру Макса в могущество Флоры. Сбережения Руже, сделанные за семнадцать лет, были до сих пор помещены на собственное имя владельца. Следовательно, если произошла бы отмена завещания, которое, по словам Флоры, уже давно было сделано в ее пользу, то по крайней мере надлежало бы спасти эти сбережения, переведя их на имя мадемуазель Бразье.

«Эта дуреха за все семь лет ни слова не сказала мне о племянниках и сестре! — подумал Макс, сворачивая с улицы Мармуз на улицу Авенье.— Семьсот пятьдесят тысяч франков, помещенные в десять или двенадцать контор Буржа, Вьерзона, Шатору, нельзя ни получить наличными, ни перевести на государственный банк в течение какой-нибудь недели, чтобы об этом не узнали в стране *язычков*. Прежде всего нужно избавиться от родственников, а как только мы от них освободимся, то и поторопимся привести в готовность все это состояние. Словом, подумаем...»

Макс был утомлен. При помощи своего запасного ключа он вошел в дом папаши Руже и тихонько улегся спать, решив:

— Завтра все выясню.

Небесполезно объяснить, каким образом султанша площади Сен-Жан получила прозвище Баламутки и как она обосновалась у Руже в качестве хозяйки.

С течением времени старый доктор, отец Жан-Жака и г-жи Бридо, заметил, как ничтожен его сын. Тогда он стал его держать в строгости, чтобы заставить его следовать в жизни обычным путем, что должно было отчасти возместить недостающий ему разум. Но таким образом, сам того не зная, он подготовил его к ярму первого же тирана, которому удалось бы накинуть на не-

го недоуздок. Однажды, возвращаясь с прогулки, этот злобный и порочный старик заметил на краю луга, по дороге в «Тиволи» очаровательную девочку, стоявшую в ручье — одном из тех ручьев, которые с высоты Иссудена кажутся серебряными лентами на зеленом одеянии. Похожая на наяду девочка внезапно выпрямилась при стуке лошадиных копыт, обернулась, и доктор увидел прекраснейшее лицо мадонны, какое когда-либо могло грезиться художнику. Старик Руже, знавший всю округу, нигде не видал этого чуда красоты. Девочка, почти голая, была в дырявой и рваной короткой юбчонке из скверной шерстяной ткани в темно-бурую и белую полоску. Большой лист бумаги, прикрепленный к волосам при помощи ивового прутика, служил ей головным убором. Под этим листом, исписанным палочками и ноликами, что вполне оправдывало его название «школьной бумаги», был скручен и заколот гребнем, каким расчесывают хвосты лошадям, тяжелый жгут белокурых волос, прекрасней которых не могла бы пожелать для себя любая дочь Евы. На ее красивой загорелой груди, на шее, едва прикрытой лохмотьями, когда-то бывшими полушелковой косынкой, кое-где сквозила белая кожа. Юбка, пропущенная между ног и подтянутая до пояса, где она прикреплена была большой булавкой, походила на штанишки пловца. Ноги, видные сквозь прозрачную воду от колена до ступни, отличались изяществом, достойным средневекового изваяния. Это очаровательное тело, выставленное на солнце, было красноватого оттенка, не лишенного прелести. Шея и грудь заслуживали кашемировых и шелковых одежд. Наконец у этой нимфы были голубые глаза с такими ресницами, что одним взглядом она могла бы повергнуть на колени художника или поэта. Доктор, достаточно осведомленный в анатомии, чтобы оценить пленительное сложение девочки, понял, как много потеряло бы искусство, если бы эта очаровательная модель была испорчена крестьянской работой.

— Девочка, откуда ты? Я никогда тебя не видел,— сказал старый доктор, которому уже исполнилось тогда семьдесят лет. Сцена происходила в сентябре 1799 года.

— Я из Ватана,— ответила девочка.

Услышав речь городского жителя, какой-то человек

подозрительной наружности, находившийся шагах в двухстах выше по течению ручья, поднял голову.

— Ну, что еще там, Флора? — крикнул он.— Ты болтаешь, вместо того чтобы *баламутить*. Товар уйдет!

— Что же ты пришла сюда делать из Ватана? — спросил доктор, не обращая внимания на эти слова.

— Я *баламучу* для своего дядюшки Бразье, вон того!

Баламутить — беррийское выражение, великолепно передающее смысл этого понятия: это значит мутить речную воду, взбивая ее с помощью широкой ветки с развилками. Раки, испуганные этой операцией, смысл которой им непонятен, быстро подымаются по течению и в переполохе попадают в сачки, расставленные рыболовом на соответствующем расстоянии. Флора Бразье держала в руке свою *баламуту* с изяществом, свойственным невинности.

— А у твоего дяди есть разрешение на ловлю раков?

— Что же, разве мы больше не живем при Республике, единой и неделимой? — крикнул со своего места дядюшка Бразье.

— Мы живем при Директории,— ответил доктор,— и мне неизвестен закон, который разрешал бы жителю Ватана ловить раков в водах Иссуденской общины. Девочка, у тебя есть мать?

— Нет, сударь, а мой отец находится в больнице в Бу́рже; он сошел с ума после солнечного удара. В поле голову ему напекло...

— Сколько ты зарабатываешь?

— Пять су за день в ту пору, когда баламутят; я хожу баламутить до самой Брэны. А во время жатвы я подбираю колосья. А зимой я пряду.

— Тебе уже лет двенадцать?

— Да, сударь.

— Хочешь, пойдем ко мне? Тебя будут хорошо кормить, хорошо одевать, ты получишь хорошенькие туфельки.

— Нет, нет, моя племянница должна остаться при мне, я отвечаю за нее перед богом и перед людьми,— сказал дядюшка Бразье, подойдя к девочке и к доктору.— Ведь я ее опекун, понимаете вы это?

Доктор сдержал улыбку и сохранил серьезный вид, который, конечно, исчез бы у всякого при виде дядюшки Бразье. На голове у этого опекуна была крестьянская шляпа, выжженная солнцем и полинявшая от дождей, обгрызанная по краям, словно капустный лист, на котором долго жили гусеницы, и заштопанная белыми нитками. Под шляпой вырисовывалась темная изрытая физиономия, где рот, нос и глаза образовывали четыре черных отметины. Дрянная куртка походила на обрывок половика, а штаны были из холстины, употребляемой на тряпки.

— Я доктор Руже,— сказал врач,— а раз ты опекун девочки, приведи ее ко мне — мой дом на площади Сен-Жан. Ты сделаешь неплохое дельце, да и она тоже.

И, не ожидая ответа, уверенный, что увидит у себя дядюшку Бразье с хорошенькой баламуткой, доктор Руже, пришпорив лошадь, поехал к Иссудену. Действительно, когда доктор садился за стол, кухарка доложила ему о прибытии гражданина и гражданки Бразье.

— Садитесь,— сказал доктор дяде и племяннице.

Флора и ее опекун, оба по-прежнему босые, таращили глаза, разглядывая залу доктора. И вот почему.

Дом Руже, унаследованный от Декуэнов, стоит посреди площади Сен-Жан, образующей нечто вроде длинного и очень узкого четырехугольника, обсаженного хилыми липами. Дома здесь построены лучше, чем в других местах города, а дом Декуэнов — один из самых красивых. Этот дом расположен против дома Ошонов, второй этаж у него в три окна по фасаду, а под вторым этажом проходят ворота во двор, за которым тянется сад. Под свод ворот выходит дверь из большой залы, обращенной двумя окнами на улицу. Кухня находится за этой залой, но отделена от нее лестницей, ведущей во второй этаж и в мансарды. За кухней расположены дровяной сарай, пристройка для стирки, конюшня для пары лошадей и каретный сарай, над которым в небольших чердачных помещениях хранится овес, сено и солома, а в те времена спал слуга доктора.

Залу, которая поразила маленькую крестьянку и ее дядюшку, украшали деревянные резные панели, какие делались в век Людовика XV, выкрашенные серою кра-

ской, и прекрасный мраморный камин с большим, до самого потолка, зеркалом в резной золоченой раме, в которое Флора не преминула поглядеться. На резной обшивке стен то здесь, то там висели картины из разграбленных аббатств Деоль, Иссуденского, Сен-Жильда, ла Прэ, Шезаль-Бенуа, Сен-Сульпис, монастырей Бу́ржа и Иссудена,— всех этих обителей, которые щедротами наших королей и верующих некогда были обогащены драгоценными дарами и прекраснейшими произведениями Ренессанса. Таким образом, среди картин, сохраненных Декуэнами и перешедших к Руже, было «Святое семейство» Альбани, «Святой Иероним» Доминикино, «Голова Христа» Джованни Беллини, «Мадонна» Леонардо да Винчи, «Крестная ноша» Тициана, полученная от маркиза де Белабр, того самого, который выдержал осаду и был казнен при Людовике XIII, «Лазарь» Паоло Веронезе, «Бракосочетание девы Марии» Бернардо Строцци, два творения Рубенса и копия с картины Перуджино, сделанная либо им самим, либо Рафаэлем; наконец два полотна Корреджо и одно — Андреа дель Сарто. Декуэны выбрали эти сокровища из числа трехсот картин, находившихся в церкви, не зная об их ценности и остановившись на них только из-за того, что они хорошо сохранились. Некоторые были не только в великолепных рамах, но и под стеклом. Из-за красивых рам и из-за стекол, как бы подчеркивающих ценность картин, Декуэны и сохранили их. Обстановке залы не была чужда та роскошь, которая столь ценится в наше время, но которой тогда никто не ценил в Иссудене. Часы, стоявшие на камине между двух серебряных шестисвечных шандалов великолепной работы, выделялись игуменской пышностью, по которой можно было узнать руку Буля. Кресла резного дуба, обитые вышитой тканью, обязанной своим происхождением благочестию каких-то высокопоставленных женщин, высоко ценились бы в наши дни, так как каждое было увенчано короной и гербом. Между двух окон помещался дорогой консоль, взятый из какого-то замка, а на его мраморной доске стояла огромная китайская ваза, в которой доктор держал табак. Ни доктор, ни его сын, ни кухарка, ни слуга не берегли этих сокровищ. Плевали в камин исключительного изящества, со скульптурным позолоченным орнаментом, на котором кра-

пинками проступала зелень. Красивая люстра, хрустальная с фарфоровыми цветами, была, как и весь потолок, усеяна черными точками, свидетельствовавшими, что мухи здесь пользовались полной свободой. Декуэны повесили на окна парчовые занавеси, сорванные с кровати какого-то настоятеля аббатства. Налево от двери стоял старинный шкаф стоимостью в несколько тысяч франков, служивший буфетом.

— Фаншета, поторапливайся! — крикнул доктор своей кухарке.— Два стакана! Да винца — постарше!

Фаншета, толстая беррийка, слывшая до прибытия Коньеты лучшей кухаркой в Иссудене, прибежала с быстротой, свидетельствовавшей о деспотической строгости доктора и отчасти о ее собственном любопытстве.

— Что стоит арпан виноградника в ваших местах? — сказал доктор, наливая стакан долговязому Бразье.

— Три сотни серебром...

— Хорошо, отдай мне свою племянницу в услужение, я положу ей триста франков жалованья, а ты в качестве опекуна получишь эти деньги.

— И так каждый годочек? — спросил Бразье, а глаза у него стали большими, как плошки.

— Это на твоей совести,— ответил доктор.— Она сирота: до восемнадцати лет Флора не имеет права получать на руки свой заработок.

— Ей пошел двенадцатый годочек, значит, дело дойдет до шести арпанов виноградника,— сказал дядя.— Но она славная, тихая, как ягненок, ладно скроена, а уж как проворна да послушна! Бедный мой братец, бывало, на нее не нарадуется.

— Я заплачу за год вперед,— сказал доктор.

— Ах, ей-богу, кладите уж за два годочка,— сказал дядя,— и я вам оставлю ее, ведь у вас ей будет лучше, чем у нас; моя старуха бьет ее, невзлюбила, и все тут. Коли бы не я с лаской да с заботой — так и житья бы ей не стало. А ведь жалко: чистая душа, невинна, как дитенок, что на свет народился

Услышав эту последнюю фразу, доктор, пораженный словом *невинна,* сделал знак дядюшке Бразье и вышел с ним во двор, а оттуда в сад, оставив Баламутку за накрытым столом с Фаншетой и Жан-Жаком, на рас-

спросы которых она простодушно сообщила о своей встрече с доктором.

— Ну, миленькая, прощай,— сказал дядюшка Бразье, возвращаясь и целуя Флору в лоб.— Что правда, то правда, устроил я твое житье-бытье, лучше и не надо! Хозяин твой — человек славный, всем беднякам— отец родной, да и только! Слушайся его, как меня. Будь умница, не своевольничай. Смотри, что прикажет, то и делай!

— Приготовьте ей комнату внизу, под моей спальней,— сказал доктор Фаншете.— Маленькая Флора—уж верно, что Флора! — будет спать там с нынешнего вечера. Завтра мы позовем к ней сапожника и портниху. А сейчас поставьте ей прибор, она останется с нами за столом.

Вечером во всем Иссудене только и говорили, что о переселении маленькой Баламутки к доктору Руже. В этом краю насмешников прозвище Баламутки так и оставалось за мадемуазель Бразье и во время ее процветания и после него.

Доктор, без сомнения, хотел в малом виде проделать с девочкой то, что Людовик XV на широкую ногу проделал с мадемуазель де Роман, но он взялся за это слишком поздно для себя; Людовик XV был еще молод, а доктор уже достиг настоящей старости.

С двенадцати до четырнадцати лет очаровательная Баламутка наслаждалась ничем не омраченным счастьем. Она жила в хорошей обстановке, была хорошо одета, затмевала своими уборами самых богатых иссуденских наследниц, носила золотые часики и драгоценности, которые доктор дарил ей в поощрение ее занятий, так как у нее был преподаватель, учивший ее чтению, письму и счету. Но почти животная жизнь в среде крестьян выработала у Флоры такое отвращение к горькому корню науки, что дальше этих начатков доктор и не пошел. Его намерения по отношению к этому ребенку, которого он «выводил в люди», учил и воспитывал с большой заботливостью — тем более трогательной, что его считали неспособным к нежным чувствам,— на разный лад истолковывались болтливой буржуазией города, где *язычки*, как это было и в связи с рождением Макса и Агаты, повсюду расславляли неизбежный вздор.

Жителям маленького городка не легко выделить истину из множества догадок, противоречивых толкований и всевозможных предположений по поводу какого-нибудь события. Провинциалы, как тонкие политики, собиравшиеся некогда на садовой площадке у дворца Тюильри, хотят все объяснить и приходят к убеждению, что знают все. Но каждый подчеркивает то, что ему больше всего понравилось в событии; здесь он и видит истину, разъясняет ее и считает свое толкование единственно правильным. Однако, несмотря на то, что в маленьких городах жить приходится на виду у всех, а шпионство там процветает, истина часто затемнена и для своего выяснения требует либо такого долгого срока, что она за это время становится уже безразличной, либо беспристрастия, доступного историку или мыслителю, взирающим с некоторой высоты.

— Что же эта старая обезьяна может, по вашему мнению, делать с пятнадцатилетней девочкой? — говорили два года спустя после прибытия Баламутки.

— Вы правы,— слышалось в ответ,— для него уже давно «денечки красные промчались».

— Мой дорогой, доктор не любит сына и упорно продолжает ненавидеть свою дочь Агату. Раз у него в семейных делах такая незадача, он, быть может, и прожил столь воздержно целых два года, чтобы жениться на этой девочке, в надежде иметь от нее славного мальчишку, проворного и хорошо сложенного, живого, как Макс,— сообщал свои выводы какой-нибудь умник.

— Оставьте, пожалуйста! Неужели после такой жизни, какую вели Лусто и Руже с тысяча семьсот семидесятого по тысяча семьсот восемьдесят седьмой год, семидесятидвухлетний старик может иметь детей? Нет, дело вот в чем: этот старый разбойник читал Ветхий завет — конечно, только с своей медицинской точки зрения — и узнал, как царь Давид согревал себя в старости. Вот и все, господа!

— Говорят, что когда Бразье напьется, то похваляется в Ватане, будто он обставил доктора! — восклицал один из тех, что всегда рады поверить самому дурному.

— Э, господи боже ты мой, чего, соседушка, не говорят в Иссудене?

С 1800 по 1805 год, в продолжение пяти лет, доктор имел удовольствие растить Флору, не испытывая той докуки, которую испытал Людовик Возлюбленный из-за притязаний и честолюбивых замашек мадемуазель Роман. Маленькая Баламутка, сравнивая свое положение в доме у доктора с той жизнью, которую она вела бы у дядюшки Бразье, была так довольна, что, несомненно, подчинялась требованиям своего властелина, словно восточная рабыня. Не в обиду будь сказано сочинителям идиллий и филантропам, но деревенские жители имеют мало понятия о некоторых добродетелях, и у них порядочность проистекает из какой-нибудь корыстной мысли, а вовсе не из чувства добра или красоты; взращенные для жизни, сулящей им лишь нужду, непрерывный труд да страдания, они под угрозой такого будущего и смотрят на все то, что может их избавить от ада голода и вечного труда, как на вполне дозволенное, а тем более раз этого не запрещает закон. Если и бывают исключения, то редко. Добродетель, говоря в смысле социальном, идет рука об руку с довольством, а начинается с образования. Вот почему Баламутка стала предметом зависти для всех девушек на десять миль кругом, хотя вела себя, с точки зрения религии, в высшей степени предосудительно. Флора родилась в 1787 году и выросла среди сатурналий 1793—1798 годов, сатурналий, бросавших свой отблеск в деревни, лишенные священников, богослужения, алтарей, обрядов, в деревни, где сожительство считалось нередко браком и где революционные идеи оставили глубокий отпечаток, особенно в Иссуденской области, склонной к мятежу по давней традиции. В 1802 году католическое богослужение было только-только восстановлено. Найти священников было для императора делом нелегким. До 1806 года большинство приходов во Франции еще пустовало, настолько медленно собиралось духовенство, поредевшее от казней и разбежавшееся во все стороны. Стало быть, в 1802 году некому было порицать Флору, кроме ее собственной совести. Но разве совесть могла быть сильнее расчета у воспитанницы дядюшки Бразье? Если, как все заставляет предполагать, циничный доктор был принужден своим возрастом щадить пятнадцатилетнего ребенка, то,

тем не менее, Баламутка прослыла, по местному выражению, девкой-пройдохой.

Однако некоторые лица все же усмотрели доказательство ее невинности в том, что она со временем лишилась заботливого внимания со стороны доктора, который выказывал ей более чем холодность в течение двух последних лет своей жизни.

Старик Руже отправил на тот свет достаточно людей, а потому сумел предвидеть и свой собственный конец. Застав этого философа-энциклопедиста на смертном одре, нотариус торопил его что-нибудь сделать в пользу молодой девушки, достигшей тогда семнадцати лет.

— Отлично,— сказал доктор,— освободим ее из-под опеки!

Эти слова дают представление о старике, который никогда не упускал случая найти для своих сарказмов повод в профессиональных понятиях того, с кем он говорил. Облекая в остроумную форму свои скверные поступки, он заставлял прощать их себе: в Иссудене за остроумием всегда признают правоту, особенно когда оно опирается на личную, хорошо понятую выгоду. Нотариус увидел в этих словах вопль напряженной ненависти развратника, чьи расчеты были обмануты природой, мщение неповинному предмету бессильной любви. Такое мнение в некотором роде было подтверждено упрямством доктора, который ничего не оставил Баламутке; когда нотариус снова попробовал настаивать, старик сказал с желчной усмешкой: «У нее достаточное богатство в ее красоте».

Жан-Жак Руже не оплакивал отца, его оплакивала Флора. Старый доктор сделал своего сына очень несчастным, особенно со времени его совершеннолетия,— а Жан-Жак стал совершеннолетним в 1791 году,— между тем крестьянской девочке старик предоставил материальное благополучие, которое, по понятиям деревенских жителей, является идеалом счастья. Когда после похорон Фаншета сказала Флоре: «Что же теперь будет с вами, раз господина больше нет?» — у Жан-Жака в глазах что-то блеснуло, его неподвижное лицо впервые одушевилось, как бы озаренное лучом мысли, и выразило какое-то чувство.

— Оставьте нас,— сказал он Фаншете, убиравшей со стола.

В семнадцать лет Флора еще сохранила тонкость стана и черт лица, ту соблазнившую доктора изысканную красоту, которая умело сохраняется светскими женщинами, но увядает у крестьянок так же быстро, как полевой цветок. Тем не менее у нее уже начинала обнаруживаться склонность к полноте, отличающая всех красивых крестьянок, если они не проводят в поле на солнцепеке жизнь, исполненную труда и лишений. Грудь ее развилась; плечи, полные и белые, обозначались роскошными формами и гармонично сливались с шеей, на которой уже виднелись складки; но контуры лица были чисты, и подбородок еще не отяжелел.

— Флора,— сказал Жан-Жак взволнованным голосом,— вы очень привыкли к этому дому?

— Да, господин Жан...

Но, готовясь сделать признание, наследник почувствовал, что мысль о только что похороненном мертвеце сковывает ему язык; он задался вопросом, как далеко зашло благорасположение его отца. Флора смотрела на своего нового господина, не подозревая его простоватости, и ожидала несколько времени в надежде, что Жан-Жак снова заговорит. Но она так и ушла, не зная, что думать о его упорном молчании. Несмотря на воспитание, полученное Баламуткой у доктора, все же должно было пройти известное время, прежде чем она поняла характер Жан-Жака, чью историю мы здесь вкратце и сообщим.

Жан-Жак Руже в возрасте тридцати семи лет, ко времени смерти отца, был таким же покорным сыном, так же робок, как двенадцатилетний ребенок. Эта робость должна объяснить его детство, юность и вообще всю жизнь всякому, кто выразил бы сомнение в возможности подобного характера или фактов настоящей истории — увы, часто встречающихся повсюду, даже среди особ королевской крови: ведь когда София Доус попала к последнему Конде, она была в худшем положении, чем Баламутка. Есть два вида робости: робость ума и робость нервов; робость души и робость тела. Одна не зависит от другой. Тело может испытывать страх и трепетать, в то время как разум остается спокойным и мужествен-

ным, и наоборот. Здесь ключ ко многим нелепостям душевной жизни. Если робость обоих видов соединяется в одном человеке, он будет ничтожеством весь свой век. Эта полная робость встречается у тех, о ком мы говорим: «Да это дурачок». Часто за такой глупостью скрываются непроявленные большие достоинства. Быть может, этой двойной слабостью объясняется жизнь некоторых отшельников, не выходивших из состояния экстаза. Столь прискорбное физическое и душевное состояние в такой же степени бывает результатом совершенства физической и духовной организации, как и результатом каких-то еще не исследованных недостатков.

Робость Жан-Жака обусловливалась некоторым оцепенением его способностей, которые мог бы вызвать к жизни какой-нибудь великий воспитатель, а может быть, и врач-хирург, вроде Деплена. У него, как у кретинов, чувство любви наделено было той силой и живостью, каких недоставало его разуму, хотя, впрочем, в житейских делах Жан-Жак смыслил недурно. Сила его страсти, лишенной идеального начала, в которое она обычно претворяется у молодых людей, еще способствовала его робости. Никогда он не мог осмелиться поволочиться, как принято говорить, за какой-нибудь женщиной в Иссудене. А сами молодые девушки или женщины буржуазного круга не решались заигрывать с этим застенчивым и неуклюжим молодым человеком. Жан-Жак Руже был среднего роста и наружности не только ординарной, но довольно безобразной, хотя бы из-за выпученных бледно-зеленых глаз, не говоря уже о расплывшихся чертах лица и мертвенной бледности, придававшей ему старообразный вид. Присутствие какой-нибудь женщины прямо-таки уничтожало бедного малого; хотя его сильно влекли порывы страсти, но с такой же силой удерживала скудость мысли, бывшая следствием полученного им воспитания. В таких случаях, сохраняя неподвижность под действием двух равных, но противоположных сил, он не знал, что сказать, и трепетал при мысли: а вдруг его о чем-нибудь спросят? — до такой степени он боялся, как бы ему не пришлось отвечать! Желание быстро развязывает язык у всякого другого, но Жан-Жака оно сковывало. Поэтому он остался одиноким и искал одиночества, так как оно позволяло ему чувствовать себя свободно.

Доктор слишком поздно спохватился, что такой темперамент и такой характер могут привести к плохим последствиям. Он не прочь был женить сына, но так как женить его — означало отдать его под чье-то владычество, которое стало бы абсолютным, то отец колебался. Не значило ли это отдать судьбу своего состояния в руки чужой девушке — еще кто ее знает какой? Действительно,— и Руже это понимал,— трудно точно предвидеть внутренний облик женщины, изучая ее в девичестве. Исподволь подыскивая для сына особу такого нрава и таких правил, что на нее можно было бы до известной степени положиться, доктор тем временем попытался толкнуть его на путь скупости. Таким способом он надеялся заменить у этого дурачка недостающий разум чем-то вроде инстинкта. Сначала он приучил его к размеренной жизни, внушил ему некоторые твердые взгляды относительно выгодного помещения капитала; потом избавил его на будущее время от главных трудностей при управлении земельным имуществом, позаботившись о том, чтобы оставить после себя имения вполне благоустроенными и сданными в долгосрочную аренду.

Но одно обстоятельство, которому предстояло определить собою всю жизнь этого несчастного существа, ускользнуло, однако ж, от проницательности столь хитрого старика. Робость похожа на скрытность, она отличается всей ее глубиной. Жан-Жак страстно любил Баламутку. Впрочем, не могло быть ничего естественней. Флора была единственной женщиной, жившей возле него, единственной, которую он мог видеть сколько ему хотелось, тайно засматриваясь на нее, разглядывая в любое время; для него Флора озаряла светом отцовский дом; сама того не зная, она даровала ему единственную радость, позлатившую его юные годы. Даже и не думая ревновать к своему отцу, он был восхищен воспитанием, которое тот давал Флоре: разве ему не нужна была именно доступная женщина, за которой не надо ухаживать? У страсти, заметьте это, имеется собственный разум, и она может наделить простофилю, глупца, дурачка своего рода сообразительностью, особенно в юности. Человек самый грубый всегда проявляет в страсти некий животный инстинкт, своей целеустремленностью похожий на мысль.

На следующий день Флора, которую молчание хозяина заставило призадуматься, ожидала какого-либо важного сообщения; но, хотя Жан-Жак вертелся возле нее и исподтишка поглядывал на нее с вожделением, все же он ничего не нашелся сказать. Наконец за сладким хозяин возобновил вчерашний разговор.

— Вам нравится здесь? — спросил он Флору.

— Да, господин Жан.

— Ну, так и оставайтесь здесь.

— Благодарю вас, господин Жан.

Такое странное положение длилось три недели. Как-то ночью, когда ни малейший звук не нарушал тишины, Флора, случайно проснувшись, услышала у своих дверей чье-то ровное дыхание и ужаснулась, догадываясь, что Жан-Жак, как пес, лежит на полу в сенях и, должно быть, провертел дыру в двери, чтобы подсматривать в ее комнату.

«Он любит меня,— подумала она,— но за этим занятием схватит ревматизм».

На следующий день Флора глядела на своего хозяина особенным образом. Эта безмолвная и почти инстинктивная любовь взволновала ее, она уже не находила столь безобразным несчастного простака, у которого виски и лоб были усеяны прыщами, похожими на язвины, украшены тем отвратительным венцом, что служит признаком испорченной крови.

— Ведь вы не хотите возвращаться в деревню, не правда ли? — спросил ее Жан-Жак, когда они остались одни.

— Почему вы спрашиваете меня об этом? — сказала она, глядя на него.

— Чтобы знать,— ответил Руже, покраснев, как рак.

— А вы хотите отправить меня туда? — спросила она.

— Нет, мадемуазель.

— Так что же вы в таком случае хотите знать? Ведь не без цели же...

— Да, я хотел бы знать...

— Что? — спросила Флора.

— Об этом вы мне не скажете!

— Скажу! Уверяю вас, как честная девушка...

— Ах, вот как! — вскричал испуганный Руже.— Вы честная девушка...

— Ей-богу!

— Ну? Правда?

— Да говорю же вам...

— Как? Вы такая же, как были, когда вас, босую, привел сюда ваш дядюшка?

— Недурной вопрос! Даю вам честное слово,— ответила Флора, покраснев.

Наследник, совсем убитый ее словами, сидел понурив голову. Флора ушла из столовой, пораженная тем, что столь приятный для мужчины ответ вызвал подобное уныние.

Три дня спустя, в тот же час — потому что оба, словно по уговору, избрали для военных действий время десерта — Флора первая обратилась к своему хозяину:

— Вы недовольны мною?

— Нет, мадемуазель,— ответил он,— нет... *(Пауза.)* Напротив.

— Как будто в тот раз вам пришлось не по вкусу, когда вы узнали, что я честная девушка...

— Нет, я бы только хотел знать... *(Опять пауза.)* Но вы мне этого не скажете...

— Честное слово,— ответила она,— я вам скажу всю правду...

— Всю правду о... моем отце? — спросил он сдавленным голосом.

— Ваш отец,— сказала она, глядя в упор на своего хозяина,— был славный человек... Он любил пошутить, так... самую чуточку... Но, бедняга! Он и рад был бы... В ущерб вам, уж не знаю почему, он стремился... О, но какое это было жалкое стремление. Да, он любил подурачиться со мною. Вот и все... Ну и что же?

— Слушайте же, Флора,— сказал наследник, взяв за руку Баламутку.— Так как мой отец не был для вас...

— Чем же он мог быть, по-вашему, для меня? — воскликнула она тоном девушки, обиженной несправедливым подозрением.

— Так послушайте же...

— Он был моим благодетелем, вот и все! Ах, он очень хотел бы, чтоб я стала его женой... но...

— Но,— сказал Руже, опять взяв ее за руку, хотя Флора ее высвободила,— так как с ним у вас ничего не было, то не можете ли вы остаться здесь со мной?

— Если вы желаете,— ответила она, потупив взор.

— Нет, нет, если желаете вы, только вы,— ответил Руже.— Да, вы можете быть... хозяйкой. Все, что здесь есть, это ваше, вы будете заботиться о моем состоянии, оно будет как бы вашим... потому что я вас люблю и всегда любил, с тех самых пор, как вы пришли в этот дом, вот сюда, босоногая...

Флора не отвечала. Когда молчание стало тягостным, Жан-Жак измыслил следующий убийственный довод.

— Не правда ли, это все-таки лучше, чем возвращаться в деревню? — спросил он с явным пылом.

— Что ж, господин Жан, как вам угодно! — ответила она.

Тем не менее, несмотря на это «как вам угодно», бедный Руже не подвинулся вперед. Люди подобного характера нуждаются в уверенности. Усилие, которое они делают, признаваясь в своей любви, так велико и обходится им так дорого, что они чувствуют себя не в силах возобновить его. Этим и объясняется их привязанность к первой женщине, принимающей их признания. О значении событий можно судить только по их результату. Спустя десять месяцев после смерти отца Жан-Жак совершенно изменился: его бледно-свинцовое лицо, обезображенное, как мы говорили, прыщами на висках и на лбу, посветлело, очистилось, заиграло румянцем. Словом, его физиономия дышала счастьем. Флора потребовала, чтобы ее хозяин тщательно следил за собой, для нее было вопросом самолюбия видеть его хорошо одетым; выйдя на порог дома, когда он отправлялся гулять, она смотрела ему вслед, пока он не исчезал из виду. Весь город заметил, какая перемена произошла с Жан-Жаком, который стал совсем другим человеком.

— Знаете новость? — говорили друг другу в Иссудене.

— Какую?

— Жан-Жак унаследовал от своего отца даже Баламутку.

— Неужели вы думали, что такой хитрец, как покойный доктор, не оставит своему сыну домоправительницу?

— Честное слово, это прямо сокровище для Руже,— кричали все в один голос.

— Это тонкая штучка! Она очень красива и, уж не беспокойтесь, женит его на себе.

— Ну и выпало счастье девушке!

— Да, но такое счастье выпадает только красивым девушкам.

— Вы так думаете? Ну, а я знаю, как было с моим дядюшкой Борнишем-Эро; ведь вы, наверное, слышали о девице Ганивэ; она была страшна, как семь смертных грехов, и, несмотря на это, получила от него ренту в три тысячи экю.

— Ба! Это было в тысяча семьсот семьдесят восьмом году.

— Все равно, Руже неправильно поступает; отец оставил ему сорок тысяч франков годового дохода чистенькими, ему можно было бы жениться на девице Эро...

— Доктор пытался это устроить, но она не захотела. Руже слишком глуп...

— Слишком глуп? Все женщины счастливы с такими мужьями.

— А ваша жена счастлива?

Таков был смысл разговоров, которые велись в Иссудене. Начав, согласно провинциальным обычаям и нравам, с насмешек над этим своего рода браком, кончили тем, что стали хвалить Флору, пожертвовавшую собой ради этого бедного малого. Вот каким образом Флора Бразье стала хозяйкой в доме Руже, перейдя, по выражению Годде-младшего, от отца к сыну. Теперь небесполезно набросать историю ее хозяйничанья, в назидание холостякам. Старая Фаншета одна во всем Иссудене нашла неподобающим, что Флора Бразье воцарилась у Жан-Жака Руже; она возражала против безнравственности этого союза и стала на сторону оскорбленной морали: правда, она считала для себя унизительным быть в свои годы в подчинении у какой-то Баламутки, пришедшей в дом босоногой девчонкой. Фаншета имела триста франков дохода, так как доктор поместил ее сбережения в бумаги государственного казначейства;

покойник завещал ей сто экю пожизненной ренты, так что она могла жить безбедно и покинула дом пятнадцатого апреля 1806 года, через девять месяцев после погребения своего старого хозяина. Не указывает ли настоящая дата проницательным людям то время, когда Флора перестала быть честной девушкой?

Баламутка, достаточно сообразительная, чтобы предвидеть отказ Фаншеты от подданства,— потому что пребывание у власти как нельзя лучше развивает политические способности,— решила в будущем обходиться без служанки. Уже в продолжение полугода она исподтишка присматривалась к кулинарным приемам, благодаря которым Фаншета могла почитаться искусной поварихой, достойной служить докторам. Докторов можно по части чревоугодия поставить наравне с епископами. Благодаря доктору Фаншета еще усовершенствовалась. В провинции недостаточная занятость и однообразие жизни привлекают деятельность ума к кухне. Провинциалы не обедают так пышно, как парижане, но едят вкуснее; у них блюда обдумываются, изучаются. В провинциальной глуши существуют Каремы в юбке, неведомые миру гении, умеющие сделать простое блюдо из фасоли достойным того покачивания головы, каким Россини встречает совершенное произведение, проходя курс в Париже; доктор слушал химию у Руэля и сохранившиеся в памяти познания обратил на пользу химии кулинарной. Он прославился в Иссудене несколькими удачными нововведениями, малоизвестными за пределами Берри. Он открыл, что омлет гораздо нежнее, если не взбивать белки и желтки вместе, по грубому способу, принятому кухарками. По его мнению, требуется сбивать белки в пену, постепенно прибавляя желтки, и пользоваться не обычной, а фаянсовой сковородой или же фарфоровой *ленивкой*. Ленивка — это род толстой сковородки на четырех ножках, позволяющих воздуху, когда она поставлена на плиту, свободно проходить под нею, что не дает ей лопнуть от накала. В Турени ленивка называется *котелком*. Я полагаю, что Рабле говорит именно о таком котелке для варки «журавланов», что доказывает глубокую древность этого приспособления. Доктор нашел также средство, чтобы не пригорала подливка, заправленная мукой и маслом; этот секрет, не

вышедший за пределы его кухни, к несчастью, навсегда утрачен.

Флора от природы была наделена способностью печь и жарить — два качества, которых нельзя приобрести ни наблюдением, ни трудом,— поэтому она очень быстро превзошла Фаншету. Становясь отличной кухаркой, она думала о благе Жан-Жака; но и сама она, надо сказать, тоже была порядочной лакомкой. Неспособная, как все лица без образования, заниматься умственным трудом, она всю свою жажду деятельности проявляла в работах по дому. Она натерла воском всю мебель, восстановив ее первоначальный блеск, и держала весь дом в чистоте, достойной Голландии. Она управляла теми лавинами грязного белья и теми потопами, которые называются стиркой и которые, согласно провинциальному обычаю, происходят не больше трех раз в год. Хозяйским глазом она просматривала белье и сама чинила его. Затем, обуреваемая желанием постепенно проникнуть в тайны наживы, она усвоила те небольшие деловые познания, которыми располагал Руже, и приумножила их, беседуя с нотариусом покойного доктора, господином Эроном. Таким образом, она давала отличные советы своему милому Жан-Жаку. Уверенная, что навсегда останется хозяйкой, она с такой нежностью и жадностью блюла интересы этого малого, как будто они были ее собственные. Ей нечего было бояться требований своего дядюшки: Бразье за два месяца до смерти доктора упал и умер, выходя из кабака, где после своей удачной сделки проводил все время. Отца Флоры также не было в живых. Она служила своему господину со всей преданностью, какая может быть у сироты, счастливой тем, что она нашла семью и занятие в жизни.

Этот период был сущим раем для бедного Жан-Жака, усвоившего приятные привычки животной жизни, усовершенствованной чем-то вроде монастырской размеренности. Он спал до позднего утра. Флора отправлялась спозаранку за провизией или хлопотала по хозяйству, потом будила своего господина с таким расчетом, чтобы, кончив одеваться, он уже заставал готовый завтрак. После завтрака, в одиннадцатом часу, Жан-Жак прогуливался, встречаясь со знакомыми и вступая с ними в беседу, а к трем часам возвращался

читать газеты — одну местную и одну парижскую; эти газеты попадали к нему через три дня после их выхода, засаленные тридцатью парами рук, через которые они проходили, закапанные влагой, падавшей из носа любителей нюхать табак, и загрязненные на всех столах, где они валялись. Холостяк таким образом убивал время до обеденного часа, а за обедом сидел возможно дольше. Флора рассказывала ему разные городские происшествия, передавала свежие сплетни. К восьми часам гасили огонь. В провинции очень распространено обыкновение рано ложиться спать ради экономии свечей и дров, а это способствует еще большему отупению людей, злоупотребляющих лежанием в кровати. Слишком продолжительный сон отягчает и обедняет ум.

Такова была жизнь этих двух существ в продолжение девяти лет, жизнь, заполненная всякими пустяками; целым событием для них была поездка в Бурж, Вьерзон, Шатор, когда нотариусы этих городов или г-н Эрон не находили имущества под закладную, с переходом обязательств на жену должника, если он был женат. Руже давал — только под первую закладную в размере не более трети стоимости имущества — ссуды из пяти процентов, с обеспечением сверх того, в форме заемных писем, постепенной уплаты добавочных двух с половиной процентов. Таковы были нерушимые заветы его отца. Ростовщик — это пиявка, которая присасывается к жаждущему выбиться крестьянину и пьет кровь деревни. Такса в семь с половиной процентов казалась такой справедливой, что Жан-Жак Руже мог делать выбор; к старому холостяку обращались с предложениями сами нотариусы, получавшие прекрасные комиссионные от людей, которым они доставляли деньги на столь хороших условиях.

За девять лет Флора мало-помалу, незаметно и неумышленно, получила полную власть над своим господином; сначала она обращалась с Жан-Жаком очень дружески; потом, не переставая оказывать ему уважение, настолько взяла над ним верх своим превосходством, умом и энергией, что он стал слугой своей служанки. Этот взрослый ребенок сам отдавался ее владычеству, позволяя так заботиться о себе, что Флора обращалась с ним, как мать с сыном. И Жан-Жак кончил тем, что

возымел к Флоре те чувства, какие делают для ребенка необходимым материнское покровительство. Но их связывали, кроме того, еще иные узы. Сначала Флора обделывала дела и вела дом. Жан-Жак настолько полагался на нее, передав ей бразды правления, что без нее жизнь казалась ему не то что трудной, но просто невозможной. А затем эта женщина ему стала насущно необходимой,— она потакала всем его прихотям, она знала их так хорошо! Он любил смотреть на это счастливое лицо, всегда приветливое для него, единственное лицо, которое улыбнулось ему, единственное, которое будет ему улыбаться! Счастье, совершенно физическое, выражаемое простонародными словами, составляющими основу языка в беррийских домах, и запечатленное на этом чудесном лице, было в некотором смысле отблеском его собственного счастья. Состояние, в которое впадал Жан-Жак, видя, что Флора огорчена какими-нибудь неприятностями, открывало этой девушке размеры ее власти, к которой она и прибегала, чтобы вполне удостовериться в ней. А у женщин такого сорта пользоваться властью — значит злоупотреблять ею. Баламутка, без сомнения, заставляла своего хозяина участвовать в некоторых из тех сцен, погребенных в тайниках частной жизни, образец которых дал Отвэй в своей трагедии «Спасенная Венеция», в столкновении сенатора и Аквилины—сцене, передающей все великолепие ужасного. Тогда Флора настолько уверилась в своей власти, что не позаботилась, к несчастью для себя и для этого холостяка, выйти за него замуж.

К концу 1815 года Флора — ей тогда было двадцать семь лет — достигла полного расцвета своей красоты. Полная и свежая, белая, как бессенская фермерша, она вполне представляла идеал «прекрасной кумушки», как выражались наши предки. Ее красота, красота трактирной служанки, но выхоленная и достигшая полного расцвета, делала ее похожей на г-жу Жорж в ее лучшие времена, если не говорить о царственном благородстве последней. У Флоры были такие же прекрасные округлые руки, такая же пышность форм, такая же шелковистая кожа, такие же пленительные изгибы тела, но больше мягкости, чем у этой актрисы. Свойственным ей выражением были нежность и кротость. Ее взор не

требовал уважения, как это требовал взор самой прекрасной Агриппины, выступавшей когда-либо на подмостках Французского театра, а призывал к незамысловатым радостям.

В 1816 году Баламутка увидела Максанса Жиле и была побеждена им с первого взгляда. Ее сердце насквозь пронзила мифологическая стрела — прекрасный символ естественного действия страсти, которое греки должны были выразить именно так, не зная рыцарской любви, идеальной и меланхоличной, порожденной христианством. Флора была тогда слишком прекрасна, чтобы Макс пренебрег подобным завоеванием. Так на двадцать восьмом году жизни Баламутка испытала настоящую любовь, любовь коленопреклоненную, безграничную, ту любовь, которая заключает в себе все виды любви,— и любовь Гюльнары, и любовь Медоры. Как только офицер, постоянно сидевший без гроша в кармане, узнал, какие отношения установились между Флорой и Жан-Жаком Руже, он в своей связи с Баламуткой увидел больше чем любовную интрижку. Тогда, чтобы лучше упрочить свое будущее, он, распознав слабохарактерность холостяка, счел за наилучшее поселиться в его доме.

Страсть Флоры к Максу неизбежно повлияла на жизнь и домашний уклад Жан-Жака. В продолжение месяца холостяк, ставший сверх меры боязливым, видел перед собою грозное, угрюмое, недовольное лицо Флоры, раньше столь дружелюбное и сиявшее улыбкой. Он подвергался взрывам искусно разыгранного скверного настроения, словно муж женщины, замыслившей измену. Когда во время самых жестоких одергиваний бедный малый осмелился однажды спросить Флору о причинах этой перемены, у нее в глазах засверкала такая ненависть, какой бедный Жан-Жак никогда не видывал, а в голосе послышались такие презрительные и враждебные интонации, каких он никогда не слыхивал.

— Это черт знает что! — вскричала она.— Вы бездушный, бессердечный человек! Вот уже шестнадцать лет как я гублю свою молодость в вашем доме, и только сейчас поняла, что у вас здесь камень! — она постучала себе в грудь.—Уже два месяца к нам ходит храбрый офицер, жертва Бурбонов, который рожден для того, чтобы

стать генералом, а прозябает в бедности, загнанный в эту дыру, где и богатому негде развернуться. Он должен торчать целый день за столом в мэрии, чтобы заработать какие-то жалкие шестьсот франков. Прекрасная жизнь! А как вы живете? У вас закладных на шестьсот пятьдесят девять тысяч ливров и шестьдесят тысяч франков годового дохода, а расходуете вы благодаря мне не больше тысячи экю в год, включая сюда даже мои юбки, словом, все,— но вы даже не подумаете предложить ему здесь помещение, хотя у вас пустует весь третий этаж. Вы предпочитаете, чтобы там танцевали мыши и крысы, нежели поселилось человеческое существо, скажу попросту — молодой человек, которого ваш отец считал своим сыном! Хотите знать, кто вы такой? Я вам прямо скажу: вы братоубийца! Ну, и к тому же я очень хорошо знаю, почему! Вы заметили, что он мне нравится, и это вам досаждает! Хотя вы кажетесь дураком, а на самом деле вы зловреднее самых зловредных хитрецов... Ну что же, он мне нравится, и даже очень...

— Но, Флора...

— О, никаких «но, Флора»! Ах, вы можете искать себе другую Флору (если вы найдете такую). Да, да... Пусть этот стакан вина будет для меня ядом, если я не убегу из этой трущобы. Слава богу, я ничего вам не стоила за те двенадцать лет, что здесь пробыла, и вы жили в свое удовольствие. Всюду я бы вполне заработала на свое содержание, если бы делала все, как здесь: мыла, гладила, следила за стиркой, ходила на рынок, стряпала, соблюдала во всем вашу выгоду, работала до упаду с утра и до вечера... И вот моя награда.

— Но, Флора...

— Да, Флора... Попробуйте, сыщите себе других Флор теперь, когда вам пятьдесят один год, когда вы все хвораете, а дряхлеете так, что прямо страшно,— уж кому знать, как не мне! И кроме того, с вами ведь не очень-то весело...

— Но, Флора...

— Оставьте меня в покое!

Она ушла, так хлопнув дверью, что гул пошел по всему дому, казалось задрожавшему на своем фундаменте. Жан-Жак тихонько открыл дверь и еще тише вошел в кухню, где Флора все еще продолжала ворчать.

— Но, Флора,— сказал хозяин,— сегодня в первый раз я слышу о твоем желании. Почем ты знаешь, хочу я этого или не хочу?

— Прежде всего в доме нужен мужчина,— ответила Флора.— Известно, что вы держите у себя по десять, пятнадцать, двадцать тысяч франков. Когда-нибудь залезут воры и убьют нас. Я вовсе не желаю оказаться однажды утром разрезанной на четыре части, как это сделали с той несчастной служанкой, которая имела глупость защищать своего хозяина! Ну, а если узнают, что у нас живет мужчина, храбрый, как Цезарь, мужчина, который не ударит лицом в грязь,— Макс мигом может справиться с тремя ворами,— я буду спать спокойнее. Быть может, вам наговорят глупостей, скажут, что я его и так и этак люблю и обожаю! Понимаете, что вам нужно ответить? Так вот, вы скажете, что вы это знаете, но что ваш отец, умирая, поручил вам своего бедного Макса. Все замолчат, потому что даже камни иссуденской мостовой подтвердят, что ваш отец оплачивал его содержание в коллеже. Что, не так? Уже девять лет, как я ем ваш хлеб...

— Флора... Флора...

— В городе не один ухаживал за мной, ну да! Мне предлагали и золотые цепочки и часики... «Моя милая Флора, если ты захочешь бросить этого старого дурака, папашу Руже...» — вот что мне говорили о вас. «Мне бросить его? Ах, но что же с ним станется, с бедняжкой? —всегда отвечала я.—Нет, нет, где коза привязана, там ей и щипать траву».

— Да, Флора, ты у меня одна, и я очень счастлив... Если тебе это доставит удовольствие, мое дитя, хорошо, мы поселим у нас Макса, он будет садиться за стол вместе с нами...

— Еще бы! Надеюсь, не иначе.

— Та-та-та, не сердись...

— Если хватает на одного, хватит и на двух,—ответила она, смеясь.—Но если вы уж так милы, то знаете, что вам нужно сделать, котик? К четырем часам вы пойдете погулять возле мэрии, постарайтесь встретить господина Жиле и пригласить его обедать. Если он будет церемониться, вы скажете ему, что это доставит мне удовольствие; он слишком любезен, чтобы отказаться. По-

том, к концу обеда, если он заговорит о своих несчастьях, о плавучей тюрьме, вы будете настолько умны, что воспользуетесь поводом и предложите Максу жить у нас. Если он начнет возражать, будьте спокойны, я сумею уговорить его...

Медленно прогуливаясь по бульвару Барон, холостяк обдумал, насколько мог, все происшествие. Если он расстанется с Флорой (при одной этой мысли у него в глазах мутилось), то какую другую женщину он себе найдет? Жениться? Но в его возрасте за него выйдут замуж только ради его состояния, и законная жена будет эксплуатировать его еще беспощадней, чем Флора. Да одна уж мысль о том, что он лишится ее ласки, пускай и притворной, вызывала у него ужасную тоску. Поэтому он проявил в отношении к Жиле всю свою любезность. Как хотела Флора, приглашение было сделано при свидетелях, чтобы пощадить честь Максанса.

Примирение между Флорой и ее хозяином состоялось; но с этого дня Жан-Жак заметил некоторые оттенки, свидетельствовавшие о том, что Баламутка совершенно переменилась в своих чувствах к нему. В течение двух недель Флора Бразье жаловалась лавочникам, рыночным торговцам, кумушкам, с которыми она болтала, на тиранию Руже, соизволившего взять к себе своего так называемого побочного брата. Но эта комедия никого не обманула, и Флору начали считать чрезвычайно хитрой — настоящей продувной бестией.

Руже был очень счастлив, когда Макс поселился у него в доме: возле него был человек, оказывавший ему мелкие услуги, но без лакейской угодливости. Жиле разговаривал, рассуждал о политике, иногда прогуливался с папашей Руже. С тех пор как офицер переехал к ним, Флора не захотела больше быть кухаркой. Кухня, заявила она, портила ей руки. По просьбе Великого магистра Ордена, Коньета подыскала Жан-Жаку служанку — одну из своих родственниц, старую деву, хозяин которой, священник, умер, ничего не оставив ей. То была прекрасная кухарка, готовая быть преданной Максу и Флоре на жизнь и на смерть. К тому же Коньета от имени этих двух могущественных лиц обещала своей родственнице за десять лет хорошей, верной, скромной и честной службы пенсию в триста ливров.

Шестидесятилетняя Ведия была замечательна своей рябой и крайне уродливой физиономией. После того как Ведия приступила к исполнению своих обязанностей, Баламутка стала г-жой Бразье. Она носила корсеты, у нее появились шелковые платья и платья из хорошей шерстяной и бумажной материи, смотря по времени года. Точно так же были у нее воротнички, очень дорогие платки, вышитые чепчики, кружевные косынки, высокие башмачки; одевалась она изящно, богато, и это молодило ее. Раньше она была как бы неотшлифованным алмазом, теперь — граненным и оправленным рукою ювелира, что придавало ей настоящую цену. Она хотела быть достойной Макса. К концу первого года, в 1817 году, она велела купить в Бу́рже лошадь, так называемую английскую, для бедного офицера, которому наскучило ходить пешком. Макс завербовал в окрестностях бывшего улана императорской гвардии, впавшего в нищету поляка, по фамилии Куский, который не желал ничего лучшего, как попасть к Руже в качестве слуги при командире. Макс был кумиром Куского, особенно после дуэли с тремя роялистами. С 1817 года семья папаши Руже состояла из пяти человек, из коих трое были господами, и расходы выросли до восьми тысяч франков в год.

К тому времени, когда г-жа Бридо приехала в Иссуден, чтобы, по выражению Дероша, спасти наследство, подвергавшееся столь серьезной опасности, папаша Руже постепенно дошел до состояния почти растительной жизни. Прежде всего после водворения Макса г-жа Бразье завела стол на епископский образец. Руже, увлеченный на путь чревоугодия, ел все больше и больше, соблазняясь изысканными блюдами, которые готовила Ведия. И несмотря на эту обильную и отменную пищу, он мало толстел. Со дня на день он дряхлел, измученный, быть может, несварением желудка, и под глазами у него резко выступала синева. Но если во время прогулки горожане спрашивали его о здоровье, он отвечал: «Никогда я не чувствовал себя лучше». А так как его всегда считали существом весьма ограниченным, то и не замечали непрерывного ослабления его умственных способностей. Любовь к Флоре было единственное, чем он дорожил в жизни, он существовал только ради Баламутки; его уступчивость по отношению к ней не

имела границ; он повиновался каждому ее взгляду, ловил каждое движение этой особы, как собака ловит движения руки своего хозяина. Словом, как писала г-жа Ошон, папаша Руже в пятьдесят семь лет казался старше восьмидесятилетнего г-на Ошона.

Читатель имеет основания полагать, что комнаты Макса были достойны этого очаровательного молодого человека. Действительно, за шесть лет он из года в год придавал им все больший комфорт, подбирая для себя и для Флоры каждую мелочь в своем помещении. Но это был иссуденский комфорт: крашеные полы, довольно дорогие обои, мебель красного дерева, зеркала в золоченых рамах, на окнах муслиновые занавески с красными полосами, кровать с балдахином и занавесями, повешенными так, как это делают провинциальные обойщики для богатой новобрачной, кровать, великолепная по местным понятиям, хотя ее можно увидеть на всех модных картинках и она настолько банальна, что даже парижские лавочники ею пренебрегают, обзаводясь новой обстановкой по случаю женитьбы. Было здесь и нечто необыкновенное, о чем поговаривали в Иссудене,— камышовые циновки на лестнице, положенные, вероятно, для того, чтобы заглушать шум шагов, так что Макс, возвращаясь на рассвете, никого не будил и Руже никогда не подозревал, что его жилец участвует в ночных подвигах «рыцарей безделья».

В восемь часов Флора, в домашнем хорошеньком капоте из бумажной материи в мельчайшую розовую полоску, с кружевным чепчиком на голове, в подбитых мехом ночных туфлях, тихонько открыла дверь комнаты Макса, но, увидев, что он спит, остановилась возле кровати.

«Он вернулся так поздно,— подумала она,— в половине четвертого! Какое нужно иметь здоровье, чтобы выдерживать такие развлечения. Вот это мужчина, я понимаю! Что-то они делали сегодня ночью?»

— А, вот и ты, детка,— сказал Макс, проснувшийся, как просыпаются солдаты, привыкшие благодаря военной обстановке сразу обретать ясность мысли и способность владеть собою, как бы внезапно ни было пробуждение.

— Ты спишь, я уйду...

— Нет, останься, надо серьезно поговорить...

— Вы наделали сегодня ночью каких-нибудь глупостей?

— Ну да... Так вот, дело касается нас и этого старого дурака. Ты никогда не говорила мне о его семье. Ну, так она прибыла сюда, эта семья,— наверное, чтобы дать нам по шее...

— Пойду сделаю ему нагоняй,— ответила Флора.

— Мадемуазель Бразье,— значительно сказал Макс,— речь идет о вещах слишком серьезных, чтобы действовать с маху. Пришли мне кофею, я выпью его в постели и подумаю, как нам повести себя. Приходи в девять часов, мы поговорим. А пока держись так, будто ты ничего не знаешь.

Пораженная новостью, Флора оставила Макса и пошла готовить ему кофе; но четверть часа спустя ворвался Барух и крикнул Великому магистру:

— Фарио ищет свою тележку!

В пять минут Макс оделся, спустился вниз и, словно прогуливаясь, направился к башне, где уже собралась довольно большая толпа.

— Что случилось? — спросил Макс и, раздвигая толпу, пробрался к испанцу.

Фарио, маленький сухой человечек, по своему безобразию не уступал испанскому гранду. Огненные глазки, как бы пробуравленные в лице и очень близко поставленные, заслужили бы ему в Неаполе славу человека с дурным глазом. Этот человечек казался кротким, так как он был важен, спокоен и медлителен в движениях: его так и звали — добряк Фарио. Но его кожа цвета пряника и весь его облик, своей кажущейся кротостью вводивший в заблуждение несведущих, человеку наблюдательному говорили о полумавританском характере крестьянина Гренады, который, пока его не вывели из себя, находится в состоянии безразличия и лени.

— Вы уверены, что поставили именно здесь свою тележку? — сказал Макс, выслушав сетования торговца зерном.— Слава богу, в Иссудене нет воров.

— Она была здесь...

— Если лошадь осталась запряженной, то, может быть, она сама ее увезла.

— Да вот моя лошадь,— ответил Фарио, указывая на лошадь в сбруе, находившуюся шагах в тридцати от него.

Макс важно подошел к лошади, чтобы иметь возможность, взглянув наверх, увидеть подножие башни, так как толпа стояла под горой. Все последовали за ним, а негодяю этого только и надо было.

— Быть может, кто-нибудь по рассеянности положил тележку в свой карман! — крикнул Франсуа.

— Право, поройтесь-ка в карманах! — поддержал Барух.

Взрыв хохота раздался со всех сторон. Фарио разразился проклятиями. У испанцев проклятия свидетельствуют о последней степени гнева.

— Твоя тележка, вероятно, легкая? — спросил Макс.

— Нечего сказать, легкая! — ответил Фарио.— Да если бы она прокатилась по ногам тех, кто смеется надо мной, то у них больше не болели бы мозоли.

— Тем не менее она, надо полагать, чертовски легкая,— ответил Макс, показывая на башню,— потому что взлетела на холм.

При этих словах все взглянули наверх, и на минуту вся толпа пришла как бы в смятение. Каждый показывал друг другу на эту волшебную повозку. Все языки заработали.

— Дьявол мирволит трактирщикам, которые все, сколько их есть, продали ему свои души,— сказал Годде-сын остолбеневшему торговцу.— Он и проучил тебя за то, что ты оставляешь свою тележку на улице, а не ставишь ее на постоялом дворе.

При этом замечании послышались одобрительные крики толпы, так как Фарио считали скупым.

— Ничего, мой милый,— сказал Макс,— не унывай. Мы взберемся на башню, чтобы узнать, как твоя тачка попала туда. Черт побери, мы поможем тебе. Ты пойдешь, Барух? А ты оставайся здесь,— сказал он на ухо Франсуа,— последи, чтобы никого не оказалось внизу у самого холма, когда мы влезем наверх.

Фарио, Макс, Барух и трое других «рыцарей» поднялись к башне. Во время этого довольно опасного подъема Макс вместе с Фарио установил, что не осталось никаких вмятин, никаких следов, указывавших на движе-

ние тележки. Тогда Фарио поверил в некое колдовство и совсем потерял голову. Поднявшись на вершину и изучив положение вещей, все пришли к выводу, что случай был действительно невероятный.

— Как же мы ее спустим отсюда? — спросил испанец; его маленькие глазки в первый раз выразили испуг, а желтое худое лицо, казалось, никогда не менявшее цвета, побледнело.

— Как? — спросил Макс.— Ну, это, мне кажется, нетрудно...

И воспользовавшись оцепенением торговца, он взял тележку своими сильными руками за оглобли, намереваясь столкнуть ее вниз; в тот момент, когда она уже готова была низринуться, он крикнул громовым голосом:

— Эй, вы там, берегись!

Впрочем, предосторожность эта была излишней: вняв предупреждению Франсуа, а также любопытствуя посмотреть, что происходит наверху, толпа уже отошла на некоторое расстояние. Тележка самым живописным образом разлетелась на множество кусков.

— Вот она и спустилась,— сказал Барух.

— Ах, разбойники! Ах, канальи! — завопил Фарио.— Верно, вы сами и втащили ее сюда...

Макс, Барух и трое их приятелей покатывались со смеху, слушая проклятия испанца.

— Тебе хотели оказать услугу,— холодно сказал Макс.— Вытаскивая твою проклятую тележку, я сам чуть было не полетел вместе с ней, и вот твоя благодарность? Да откуда ты такой взялся?

— Оттуда, где не любят прощать,— ответил Фарио, дрожавший от бешенства.— Моя тележка отвезет вас прямо к дьяволу! Если только,— продолжал он уже кротко, как ягненок,— вы не дадите мне взамен новую.

— Поговорим об этом,— сказал Макс, спускаясь.

Когда они сошли к подножию башни и приблизились к первым группам зубоскалов, Макс, взяв Фарио за пуговицу куртки, сказал ему:

— Да, мой славный папаша Фарио, я подарю тебе великолепную тележку, если ты дашь мне двести пятьдесят франков, только я не ручаюсь, что она будет по своим качествам так же *высоко стоять*, как эта!

Фарио встретил насмешку спокойно, как будто речь шла о торговой сделке.

— Жаль! — ответил он.— Если бы взамен моей бедной тележки вы купили мне новую, то вы бы как нельзя лучше израсходовали деньги папаши Руже!

Макс побледнел, поднял над Фарио свой страшный кулак, но Барух, знавший, что этот удар погубит не только испанца, отбросил Фарио, как перышко, и тихонько шепнул Максу:

— Не делай глупостей!

Офицер, образумившись, засмеялся и ответил Фарио:

— Если я нечаянно разбил твою тележку, то за это ты попытался меня оклеветать. Мы квиты.

— Как бы не так! — прошептал Фарио.— Это уже мое дело знать, что мне причитается за тележку.

— Ах, Макс, нашел с кем разговаривать! — сказал один из свидетелей этой сцены, не принадлежавший к Ордену безделья.

— Прощайте, господин Жиле, я еще поблагодарю вас за вашу проделку,— сказал торговец зерном, садясь на лошадь, и он исчез под крики «ура».

— Мы сохраним для вас ваши железные шины! — крикнул ему вслед каретник, пришедший посмотреть, чем кончится приключение с разбитой тележкой.

Одна из оглобель воткнулась в землю и стояла торчком, как дерево. Макс, задетый за живое словами испанца, был бледен и задумчив. В Иссудене пять дней говорили о тележке Фарио. Как сказал Годде, она была прямо создана для путешествий, ибо обошла всё Берри — везде рассказывали о насмешках Макса и Баруха, и, что было самым чувствительным для испанца, он еще целую неделю после происшествия был притчей во языцех для трех департаментов и поводом для всяких сплетен. А в связи с ужасными ответами мстительного испанца Макс и Баламутка были также предметом всевозможных толков, которые передавались на ухо в Иссудене и во весь голос в Бурже, Ватане, Вьерзоне и Шатору... Максанс Жиле достаточно знал местные нравы, чтобы понять, насколько ядовиты были эти толки.

«Нельзя помешать этой болтовне,— думал он.— Ах, я попал в скверную историю!»

— Так вот, Макс,— сказал Франсуа, взяв его за руку,— они приезжают сегодня вечером.

— Кто?

— Бридо! Бабушка только что получила письмо от своей крестницы.

— Послушай, мой милый,— сказал ему Макс на ухо.— Я как следует обдумал это дело. Ни мне, ни Флоре нельзя и вида показать, что мы настроены против Бридо. Наследники уедут из Иссудена, но нужно сделать так, чтобы вы, Ошоны, выпроводили их отсюда! Присмотрись хорошенько к этим парижанам; я взвешу все, а завтра мы у Коньеты обсудим, что с ними делать и как с ними поссорить твоего дедушку...

— Испанец нашел у Макса уязвимое место,— сказал Барух своему кузену Франсуа, входя в дом Ошонов и глядя на своего друга, который направился к себе домой.

В то время как Макс занят был своей проделкой, Флора, несмотря на его советы, не могла сдержать себя и, не думая о том, полезно это или вредно для осуществления их планов, набросилась на несчастного холостяка. А если Жан-Жак навлекал на себя гнев своей няньки, то за ним сразу переставали ухаживать и расточать те пошлые ласки, которые составляли всю его радость. Одним словом, Флора налагала на своего хозяина епитимью. Он больше не слышал тех ласковых словечек, которыми она уснащала свою речь, сопровождая ее различными интонациями и более или менее нежными взглядами: «Мой котеночек, мой толстый песик, мой карапузик, моя душенька, игрунчик ты этакий» и т. п. «Вы», холодное и сухое, иронически почтительное, вонзалось тогда в сердце несчастного, как лезвие ножа. Это «вы» было объявлением войны. Затем, вместо того чтобы присутствовать при вставании холостяка, помогать ему одеваться, смотреть на него с таким восхищением, какое умеют выражать все женщины и которое тем больше очаровывает, чем оно грубее; говорить при этом: «Вы свежи, как роза! — А сегодня у вас чудесный вид! — Как ты красив, мой старый Жан!» — одним словом, вместо того чтобы забрасывать его во время вставания шуточками и прибауточками, развлекавшими Жан-Жака, Флора пре-

доставляла ему одеваться в одиночестве. Если он звал Баламутку, она отвечала ему с низу лестницы:

— Не могу же я делать все сразу — готовить вам завтрак и прислуживать в вашей спальне. Разве вы маленький, что не можете сами одеться?

«Боже мой, что я ей сделал?» — вопрошал себя старик, получив грубый окрик в ответ на просьбу подать горячей воды для бритья.

— Ведия, подайте господину Руже горячей воды!— крикнула Флора.

— «Ведия»? — переспросил простак, одурев от предчувствия грозы, нависшей над ним.— Ведия, что случилось с мадам сегодня утром?

Флору Бразье именовали «мадам» ее хозяин, Ведия, Куский и Макс.

— По всему видать, она узнала кое-что не больно хорошее про вас,— ответила Ведия, приняв глубоко огорченный вид.— Вы, сударь, виноваты. Правда, я всего только простая кухарка, и вы можете мне сказать, чтобы я не совала нос в ваши дела, но поищите, как этот царь из священного писания, среди всех женщин на земле и не найдете такой, как мадам. Вы должны бы целовать следы ее ног. Да что и говорить! Огорчая ее, вы самому себе вредите. Одним словом, она плачет.

Ведия оставила беднягу совершенно убитым, он упал в кресло и, уставившись глазами в пространство, как тихий помешанный, забыл о бритье. Такие резкие переходы от нежности к холодности оказывали на это слабое существо, жившее только своей влюбленностью, смертельное действие, подобно тому, как на организм человека действует внезапный переход от тропического зноя к полярной стуже. Эти душевные плевриты истощали его не меньше, чем болезни тела. Только одна Флора могла так действовать на него, потому что только с ней он был столь же кроток, как и глуп.

— Это что такое? Вы еще не побрились? — крикнула она, показываясь в дверях.

Руже так и вздрогнул, но безропотно снес это нападение, и только краска разлилась на минутку по его бледному, осунувшемуся лицу.

— Завтрак готов! Можете спуститься в халате и туфлях, идите, вы будете завтракать один.

И, не дожидаясь ответа, она исчезла. Завтракать одному было самым тяжелым для него наказанием: он любил поговорить за едой. Спускаясь по лестнице, Руже сильно закашлялся, так как от волнения у него возобновился катар.

— Кашляй! Кашляй! — воскликнула Флора на кухне, не беспокоясь, слышит ее Руже или нет.— Честное слово, старый злодей достаточно крепок и прекрасно обойдется без наших забот. Если когда-нибудь он выкашляет свою душу, то к этому времени мы уже будем в могиле.

Таковы были любезности, которые Флора отпускала своему Руже в минуты гнева. В глубокой печали бедняга присел посреди зала у стола и с отчаянием смотрел на свою старую мебель и старые картины.

— Вы хоть бы галстук повязали,— сказала Флора входя.— Неужели вы думаете, что приятно смотреть на вашу шею, такую красную и сморщенную, что вы перещеголяете любого индюка!

— Что я вам сделал? — спросил он, поднимая на Флору круглые светло-зеленые глаза, наполненные слезами, и глядя в ее холодное лицо.

— Что сделали? — переспросила она.— И вы не знаете? Каков притворщик! Ваша сестрица Агата (а она, если верить вашему отцу, такая же вам сестра, как мне— Иссуденская башня, и не имеет к вам никакого отношения) приезжает из Парижа со своим сыном, этим мазилкой-живописцем... Им, понимаете ли, вздумалось повидаться с вами...

— Моя сестра и племянники приезжают в Иссуден? — повторил он, совсем одурев.

— Да, вы притворяетесь удивленным, чтобы внушить мне, будто вы не писали им, не приглашали приехать! Ну, это шито белыми нитками. Будьте спокойны, мы не потревожим ваших парижан: как только они появятся здесь, нас и след простынет. Мы с Максом уедем и уж никогда не вернемся. А что до вашего завещания, то я его изорву в клочки перед самым вашим носом, понимаете? Вы оставите свое состояние вашей семье, ведь мы не ваша семья. Ну, а потом вы увидите, любят ли вас ради вас самого люди, которые не видели вас три-

дцать лет, и даже никогда не видели! Уж не вашей сестре заменить меня! Ханжа чистой пробы!

— Только-то и всего, Флора? — спросил старик.— Так я не приму ни сестры, ни племянников... Клянусь тебе, я в первый раз слышу об их приезде, это подстроила госпожа Ошон, старая святоша...

Максанс Жиле, имевший возможность слышать ответ папаши Руже, тотчас появился в дверях и спросил по-хозяйски:

— Что здесь происходит?

— Голубчик мой, Макс,— ответил старик, обрадовавшись, что найдет поддержку у солдата, который по сговору с Флорой всегда становился на сторону Руже,— клянусь тебе всем святым, что я только сейчас узнал эту новость. Я и не думал писать сестре: отец взял с меня обещание не оставлять ей ничего и уж лучше завещать все церкви... Словом, я не приму ни моей сестры, ни ее сыновей.

— Ваш отец был неправ, мой дорогой Жан-Жак, а мадам Флора уж совсем неправа. У вашего отца были свои основания, но он умер, и его ненависть должна умереть вместе с ним... Сестра остается вам сестрой, а племянники — племянниками. В ваших интересах их хорошо принять у себя, да и в наших тоже. Что скажут в Иссудене? Черт возьми! Мне уж достаточно вешали собак на шею: не хватает только услышать, что мы завладели вами, что вы не свободны, что мы вас восстанавливаем против ваших наследников, что мы заримся на ваше наследство... И так довольно на нас клеветали. Недоставало еще новой клеветы! Да провались я в преисподнюю, если не сбегу отсюда. Ладно, пора завтракать!

Флора, ставшая кроткой, как овечка, помогла Ведии накрыть на стол. Папаша Руже, в восхищении от Макса, взял его за руки, отвел в нишу окна и там тихонько сказал ему:

— Ах, Макс, если бы у меня был сын, я не мог бы любить его больше тебя. И Флора права: вы оба — моя семья... Ты человек чести, Макс, ты очень хорошо рассудил.

— Вы должны радушно принять сестру и племянника, но ничего не менять в своих распоряжениях,— ска-

зал Макс, прерывая его.— Таким путем вы не пойдете против воли отца и удовлетворите общественное мнение.

— Ну что же, мои дорогие ребятки,— весело воскликнула Флора,— рагу из дичи остынет. Вот тебе крылышко, моя старая крыса,— прибавила она, улыбаясь Жан-Жаку Руже.

При этих словах лошадиная физиономия простака утратила свой трупный цвет, на отвислых губах появилась улыбка наркомана, но он опять закашлялся, потому что вновь обретенное блаженство вызвало у него волнение столь же сильное, как и наложенная на него епитимья. Флора встала, сдернула с себя кашемировую шальку и повязала ею шею старика, приговаривая:

— Это глупо так убиваться из-за пустяков. Вот так, старый дурачок, тебе станет хорошо, ведь шаль была у меня на самом сердце...

— Какое доброе создание!— сказал Руже Максу, в то время как Флора пошла за черной бархатной шапочкой, чтобы надеть ее на почти безволосую голову холостяка.

— Столь же доброе, как и прекрасное,— ответил Макс.— Но она не умеет молчать, как и все, у кого душа нараспашку.

Быть может, некоторые будут порицать эту картину за резкость красок и найдут, что здесь слишком откровенно показаны те проявления характера Баламутки, которые живописец должен оставлять в тени. Ну так знайте, что эта сцена, возобновлявшаяся множество раз с ужасными вариантами, является в своей грубой выразительности и страшной правдивости, образцом тех сцен, которые разыгрываются всеми женщинами,— на какую бы ступеньку социальной лестницы они ни взобрались,— если корысть выводит их из повиновения и им удается захватить власть. У них, как и у великих политиков, цель оправдывает средства. Между Флорой Бразье и герцогиней, между герцогиней и самой богатой женщиной буржуазного круга, между буржуазной дамой и самой блестящей содержанкой вся разница обусловливается только полученным ими воспитанием и окружающей их средой. У знатной дамы яростные вспышки Баламутки заменяются капризами. На каждой ступени горькие насмешки, утонченные издевательства, холодное

презрение, лицемерные жалобы, притворные ссоры достигают того же успеха, как и грубое злословие этой иссуденской г-жи Эврар.

Макс так забавно рассказывал историю Фарио, что рассмешил простака. В прихожей Ведия и Куский, подошедшие к дверям послушать этот рассказ, покатывались со смеху. Что касается Флоры, то она хохотала, как сумасшедшая. Когда после завтрака Жан-Жак читал газеты — он получал «Конститюсьонель» и «Пандору»,— Макс увел Флору к себе.

— Уверена ли ты, что он с тех пор, как назначил тебя своей наследницей, не написал другого завещания?

— Ему нечем было писать,— ответила она.

— Он мог продиктовать завещание у какого-нибудь нотариуса,— сказал Макс.— Если он и не сделал этого, то все же следует быть начеку. Вот что, примем этих Бридо на славу, но постараемся реализовать — и не медля — все закладные. Для наших нотариусов нет ничего лучше, как перевод денег по другому назначению: тут их хлеб. Государственная рента поднимается с каждым днем: не сегодня-завтра завоюют Испанию, освободят Фердинанда Седьмого от его кортесов, и в ближайший год рента, вероятно, превысит номинал. Выйдет хорошее дельце, если мы поместим семьсот пятьдесят тысяч франков нашего старика в государственные бумаги по восьмидесяти девяти за сто. Только постарайся положить их на свое имя. Хоть что-нибудь спасем.

— Славно придумано! — сказала Флора.

— А раз можно иметь пятьдесят тысяч франков процентов с восьмисот девяноста тысяч, то нужно заставить его еще и занять сто сорок тысяч франков на два года, с уплатою в два срока. За два года мы ведь получим сто тысяч из Парижа и девяносто тысяч здесь; значит, мы ничем не рискуем.

— Без тебя, мой чудный Макс, что стало бы с нами? — сказала она.

— А завтра вечером, у Коньеты, после того как я увижу парижан, я найду способ заставить самих Ошонов спровадить их.

— Как ты умен, мой ангел! Ты просто прелесть!

Площадь Сен-Жан расположена посреди улицы, именуемой Гранд-Нарет в верхней своей части и Птит-На-

рет — в нижней. В Берри слово «Нарет» обозначает то же, что и генуэзское слово «салита»,— то есть улицу с крутым спуском. Нарет очень круто спускается от площади Сен-Жан к Вилатским воротам. Дом старика Ошона стоит прямо напротив дома Жан-Жака Руже. Когда занавеси были раздвинуты или двери оставались открыты, из залы Ошонов, из того окна, у которого любила сидеть г-жа Ошон, часто можно было видеть, что происходит в доме у папаши Руже, и обратно. Дом Ошонов так походил на дом Руже, что, несомненно, оба здания были построены одним и тем же архитектором. Ошон, в свое время сборщик налогов в беррийском городе Селль, переехал на жительство в свой родной город Иссуден, женившись на сестре помощника интенданта, дамского угодника Лусто, и обменяв место в Селле на место податного инспектора в Иссудене. Выйдя в отставку уже в 1786 году, он избежал бурь революции, к принципам которой, впрочем, примкнул целиком, как и все *порядочные люди,* подпевающие победителям. Г-н Ошон не зря пользовался славой отчаянного сквалыги. Но изображать его — не значит ли повторяться? Одной черты его пресловутой скупости будет, пожалуй, достаточно, чтобы обрисовать вам г-на Ошона целиком.

Когда его дочь, впоследствии умершая, выходила замуж за одного из Борнишей, нужно было дать обед семье нареченного. Жених, который должен был наследовать большое состояние, смертельно огорчался тем, что неудачно вел свои денежные дела, а в особенности тем, что отец с матерью не желали ему помочь. Старики Борниши тогда были еще живы и счастливы тем, что г-н Ошон взял на себя опеку, желая спасти приданое своей дочери. В день заключения брачного контракта старшее поколение обоих семейств, разодетое по-праздничному, расположилось в зале, Ошоны с одной стороны, Борниши — с другой. Во время чтения контракта, торжественно оглашаемого молодым нотариусом Эроном, вошла кухарка и попросила бечевку, чтобы перевязать индейку, составлявшую существенную часть обеда. Отставной сборщик налогов извлек из кармана своего сюртука обрывок бечевки, который, без сомнения, уже послужил в прошлом для перевязки какого-нибудь

свертка, и отдал кухарке, но крикнул ей вдогонку: «Грита, а бечевочку, смотри, возврати!» *Грита* в Берри — сокращенное имя Маргариты.

После этого вы поймете и г-на Ошона и шутку, ходившую в городе по поводу этой семьи, состоявшей из отца, матери и троих детей: «Смешон, как Ошон».

Из года в год старый Ошон становился все более мелочным и хлопотливым, а ему теперь было восемьдесят пять лет! Он принадлежал к тому разряду людей, которые во время оживленного разговора наклоняются посреди улицы, подбирают булавку, говоря: «Вот и поденная плата женщины!» — и втыкают себе эту булавку в обшлаг рукава. Он с большим огорчением жаловался на плохую выделку нынешних сукон, в доказательство этого сообщая, что его сюртук служил ему только десять лет. Высокий, сухопарый, желтолицый, неразговорчивый и мало читавший, он неустанно соблюдал, подобно мусульманину, заведенный порядок и требовал у себя в доме величайшей воздержанности, ограничивая в еде и в питье свою семью, надо сказать, довольно многочисленную и состоявшую из его жены, урожденной Лусто, двух его внуков — Баруха и Адольфины, наследников старых Борнишей,— и наконец другого внука — Франсуа Ошона.

Старший сын Ошона, в свое время по семейной льготе избежавший призыва, но взятый в 1813 году по набору в так называемую почетную гвардию, погиб в битве при Ганау. Этот предполагаемый наследник очень молодым женился на богатой женщине, чтобы не подлежать призыву в войска, а когда его призвали, он, как бы предвидя свой конец, прожил все свое состояние. Его жена, издали следовавшая за французской армией, умерла в Страсбурге в 1814 году, оставив долги, которых старый Ошон не платил, отвечая кредиторам следующим положением старинной юриспруденции: женщины неправомочны.

Все же оставалось по-прежнему пятеро Ошонов, так как эта семья состояла из трех внуков, деда и бабки. Шутка на их счет «Смешон, как Ошон», продолжала существовать — ни одна насмешка не стареет в провинции. Грита, уже шестидесятилетняя старуха, обслуживала всех.

Дом, хотя и обширный, был скудно обставлен. Тем не менее оказалось, что Жозефа и г-жу Бридо можно было очень удобно поместить в двух комнатах на третьем этаже. Тут-то старый Ошон раскаялся, что зачем-то оставлял наверху две кровати, при них два старых некрашеных кресла, обитых ковровой материей, и умывальный стол, на котором в тазу с синей каймой красовался кувшин для воды, именуемый *горлачом*. В этих комнатах, где привольно бегали мыши и крысы, старик хранил на соломе зимний запас яблок и груш, кизила и айвы; таким образом, все здесь пахло плодами и мышами. Г-жа Ошон велела привести комнаты в порядок; обои, кое-где отставшие, были приклеены облатками для запечатывания писем, на окна были повешены занавесочки, выкроенные из ее старого муслинового платья. Так как муж не разрешал купить плетеные коврики, то коврик, лежавший перед ее кроватью, она отдала своей крестнице, назвав эту сорокасемилетнюю мать семейства «бедной девочкой». Г-жа Ошон заняла у Борнишей два ночных столика и весьма смело взяла напрокат у старьевщика, соседа Коньеты, два старых комода с медными ручками. Была у нее пара подсвечников из дорогого дерева, выточенных ее отцом, страдавшим пристрастием к токарному искусству. С 1770 по 1780 год у богатых людей была мода учиться какому-нибудь ремеслу, и г-н Лусто-отец, отставной смотритель питейных заведений, был токарем, как Людовик XVI — слесарем. Подсвечники были снабжены розетками, выточенными из корней розового, персикового и абрикосового дерева. Г-жа Ошон не побоялась рискнуть этими драгоценными реликвиями! Такие приготовления и жертвы усугубили угрюмое расположение духа г-на Ошона, который до тех пор все еще не верил в приезд Бридо.

В тот день, что был ознаменован историей с тележкой Фарио, г-жа Ошон после завтрака сказала мужу:

— Надеюсь, Ошон, вы как следует примете госпожу Бридо, мою крестницу.

Потом, удостоверившись, что ее внуков поблизости не было, она прибавила:

— Я распоряжаюсь своим имуществом, не вынуждайте меня вознаградить в моем завещании Агату за дурной прием.

— Неужели вы думаете, сударыня,— ответил Ошон кротким голосом,— что в моем возрасте я не знаю правил вежливости, понятных всякому ребенку и мало-мальски порядочному человеку?

— Вы прекрасно знаете, что̀ я хочу сказать, старый притворщик. Будьте приветливы с нашими гостями и помните, как я люблю Агату...

— Вы любили и Максанса Жиле, который скоро завладеет наследством вашей дорогой Агаты!.. А! Вы пригрели змею на своей груди... Но что бы там ни было, а деньгам Руже суждено принадлежать кому-нибудь из семьи Лусто.

После этого намека на предполагаемое происхождение Агаты и Макса г-н Ошон хотел уйти; но старая г-жа Ошон, прямая сухощавая женщина, в круглом чепчике с бантами, напудренная, в платье из тафты «цвета голубиного горла» с гладкими рукавами, обутая в туфли без задков, положила свою табакерку на маленький столик и сказала:

— Право же, как вы можете, господин Ошон, при вашем уме, повторять вздор, из-за которого, к несчастью, моя бедная подруга лишилась покоя, а моя крестница — отцовского наследства! Максанс Жиле вовсе не сын моего брата, которому я очень советовала в свое время не тратить на него попусту денег. Наконец вы знаете так же хорошо, как и я, что госпожа Руже была сама добродетель...

— И дочь достойна своей матери, потому что она, мне кажется, очень глупа. Потеряв все свое состояние, она так хорошо воспитала своих сыновей, что один из них сейчас в тюрьме, под следствием верховного суда за участие в каком-то заговоре в духе Бертона, ну, а с другим дело обстоит еще хуже: он живописец! Если ваши любимцы останутся здесь до тех пор, пока не вырвут этого дурака Руже из когтей Баламутки и Жиле, то мы съедим с ними не один пуд соли.

— Довольно, господин Ошон; я бы на вашем месте пожелала, чтобы они хоть чем-нибудь воспользовались.

Господин Ошон взял свою шляпу, трость с набалдашником из слоновой кости и вышел, изумленный этой страшной фразой, так как не ожидал от жены такой решимости. А г-жа Ошон раскрыла молитвенник, что-

бы по обыкновению прочитать повседневные молитвы литургии, так как преклонный возраст мешал ей бывать каждое утро в церкви — она с трудом ходила туда по воскресным и праздничным дням. С тех пор как она получила ответ от Агаты, она прибавила к своим обычным молитвам еще одну, умоляя господа открыть глаза Жан-Жаку Руже, благословить Агату и помочь успеху дела, на которое она ее подвигла. Тайно от своих двух внуков, которых она с упреком называла нечестивцами, она упросила кюре служить для успеха этого дела обедни в продолжение девяти дней, в присутствии ее внучки Адольфины Борниш, молившейся в церкви по ее полномочию.

Восемнадцатилетняя Адольфина, с семи лет помогавшая бабушке по хозяйству в этом холодном доме с однообразным и размеренным укладом жизни, тем охотнее выполняла девятидневное моление, что надеялась внушить какое-то чувство Жозефу Бридо, этому непризнанному г-ном Ошоном художнику, к которому она относилась с самым живым интересом, наслышавшись от деда о его чудовищном поведении.

Старики, благоразумные люди средних лет, отцы семейства — словом, вся верхушка города одобряла образ действий г-жи Ошон; их благожелательство к ее крестнице и к детям крестницы поддерживалось тем, что в этой среде давно уже тайно презирали Максанса Жиле за его поведение. Таким образом, весть о приезде сестры г-на Руже и его племянника разделила Иссуден на две партии: с одной стороны — партию почтенной старой буржуазии, которая лишь выражала свои взгляды и наблюдала за событиями, не вмешиваясь в них; с другой стороны — партию «рыцарей безделья» и сторонников Макса, которые, к сожалению, были способны причинить много неприятностей парижанам.

В описанный нами день Агата и Жозеф в три часа пополудни высадились из дилижанса на площади Мизер, у транспортной конторы. Г-жа Бридо, хотя и усталая, увидев родные места, где на каждом шагу воскресали воспоминания и впечатления юности, почувствовала себя помолодевшей. В Иссудене были тогда такие нравы, что о приезде парижан стало известно всему городу в течение десяти минут. Г-жа Ошон встретила крестницу

на пороге своего дома и обняла ее, как родную дочь. Семидесятидвухлетняя старуха прошла одиноко свой однообразный жизненный путь, оставив позади могилы троих детей, умерших несчастными, и теперь ощущала материнское чувство к своей воспитаннице, которую она, по ее выражению, пестовала шестнадцать лет. Среди мрака провинциальной жизни она нежно хранила в памяти свою давнюю любимицу, ее детство со всеми маленькими событиями, так что Агата словно была все время с нею, поэтому г-жа Ошон была страстно предана интересам семьи Бридо. Агата сразу же была торжественно введена в залу, где достойный Ошон пребывал холодным, как нетопленная печь.

— Это господин Ошон. Как ты его находишь? — спросила крестная мать крестницу.

— Но он ничуть не изменился!

— Сразу видно, что вы приехали из Парижа, вы очень любезны,— сказал старик.

Состоялось знакомство с Барухом Борнишем, высоким молодым человеком двадцати двух лет, с двадцатичетырехлетним Франсуа Ошоном и с Адольфиной; девушка краснела и не знала, куда девать руки, а особенно глаза, так как она притворялась, будто и не смотрит на Жозефа Бридо, которого с любопытством разглядывали молодые люди и старый Ошон, однако с разных точек зрения. Старый скряга подумал: «Наверно, вышел из больницы и будет уплетать, как выздоравливающий!» Молодые люди решили: «Какой разбойник! Какая голова! С ним основательно придется повозиться».

— Это мой сын художник, мой милый Жозеф! — сказала наконец Агата, указывая на него.

В том, как она произнесла слово *милый*, чувствовалось усилие, обличавшее затаенную душевную скорбь: Агата думала о Люксембургской тюрьме.

— У него болезненный вид, он не похож на тебя...

— Да,— с непосредственным простодушием художника ответил Жозеф,— я похож на отца, но гораздо хуже его.

Госпожа Ошон сжала Агате руку, которую держала в своей, и взглянула на нее. Этот жест и взгляд как бы

говорили: «Ах, я знаю, мое дитя, ты больше любишь этого негодного Филиппа».

— Я никогда не видела вашего отца, дорогое дитя,— ответила г-жа Ошон,— но раз вы сын моей дорогой Агаты, то этого достаточно, чтобы я вас полюбила. Кроме того, у вас дарование, как мне писала покойная госпожа Декуэн; она одна только и сообщала мне о вашей семье в последние годы.

— Дарование! — воскликнул художник.— Нет еще. Но время и терпение, будем надеяться, помогут мне завоевать и славу и состояние.

— Чем? Кистью? — спросил г-н Ошон с глубокой иронией.

— Адольфина,— сказала г-жа Ошон,— поди присмотри за обедом.

— Мама,— сказал Жозеф,— я пойду отнесу наверх наши чемоданы, их уже доставили.

— Ошон, покажи комнату господину Бридо,— обратилась бабушка к своему внуку Франсуа.

Так как обедали в четыре часа, а было только половина четвертого, Барух отправился в город поделиться впечатлениями по поводу семейства Бридо и туалета Агаты, но особенно по поводу Жозефа, чье изможденное, болезненное и столь характерное лицо походило на самый идеальный портрет разбойника, какой только можно себе представить. В этот день во всех домах Жозеф служил темой для разговора.

— Можно подумать, что на сестру папаши Руже во время ее беременности посмотрела какая-нибудь обезьяна, ее сын похож на макаку.— У него разбойничье лицо и глаза василиска.— Говорят, на него любопытно посмотреть — настоящее страшилище! — Все парижские художники таковы.— Они своенравны, как рыжие ослы, и коварны, как обезьяны.— Так им по чину положено.— Я беседовал с господином Босье, он говорит, что не хотел бы встретиться с ним ночью в глухом лесу; он видел его в дилижансе.— У него глазные впадины, как у лошади, а жесты, как у сумасшедшего.— Этот малый, верно, способен на все, быть может, он-то и виноват, что его брат, красивый, видный мужчина, пошел по скверной дорожке.— Бедная госпожа Бридо! Судя по ее лицу, она не очень-то счастлива с таким сынком.—Что, если бы мы

воспользовались его пребыванием здесь, пусть бы он *срисовал* наши портреты!

Следствием этих толков, как бы разнесенных ветром по всему городу, было крайнее любопытство. Все, кто был вхож к Ошонам, решили навестить их в тот же вечер, чтобы как следует посмотреть на парижан. Приезд этих двух лиц произвел в стоячем болоте Иссудена такое же впечатление, как бревно, упавшее среди лягушек.

Разместив свои и материнские вещи в двух комнатах мансарды и оглядевшись там, Жозеф обозрел затем и весь молчаливый дом, где стены, лестница, панели были лишены каких бы то ни было украшений и дышали холодом и где не было ничего, кроме самого необходимого. Он сразу почувствовал всем своим существом, что перенесся из поэтического Парижа в сухую и безмолвную провинцию. Но когда, спускаясь вниз, он увидел г-на Ошона, собственноручно нарезавшего ломтики хлеба для каждого, то в первый раз в своей жизни понял мольеровского Гарпагона.

«Лучше бы мы остановились в гостинице»,— подумал он.

Вид обеденного стола подтвердил его опасения. После супа с жиденьким наваром, свидетельствовавшим о том, что здесь больше заботятся о количестве, чем о качестве, подали вареную говядину, торжественно обложенную петрушкой. Овощи, вынутые из супа, были поданы как отдельное блюдо. Говядина была водружена посреди стола в окружении еще трех блюд: крутых яиц со щавелем, поставленных около блюда с овощами, затем салата, политого ореховым маслом, и маленьких горшочков со сливками, где ваниль была заменена толченым поджаренным овсом, столь же походившим на ваниль, как цикорий на кофе мокко. Масло и редиска, положенные на двух тарелочках, и корнишоны завершали угощение, одобренное г-жой Ошон. Добрая старушка кивнула головой, как женщина, которая счастлива видеть, что муж, по крайней мере на первый раз, устроил все как следует. Старик ответил легким пожатием плеч и выразительным взглядом, смысл которого легко было разгадать: «Вот в какие безумства вы меня вовлекли...»

Говядина была разрезана г-ном Ошоном на ломтики толщиной с подошву бальной туфельки и тотчас же

сменилась тремя голубями. Местное вино было вином 1811 года. По совету бабушки Адольфина поставила два букета по обоим концам стола.

«На войне — как на войне!» — подумал художник, оглядывая стол.

И он принялся есть, как может есть человек, позавтракавший в Вьерзоне в шесть часов утра всего только чашкой отвратительного кофе. Когда Жозеф съел свой хлеб и попросил еще, г-н Ошон встал, не спеша нащупал в кармане сюртука ключ, открыл буфет, стоявший позади него, отрезал горбушку от двенадцатифунтового хлеба, торжественно отделил от нее один ломтик, разделил его пополам, положил на тарелку и передал ее через весь стол молодому художнику, храня молчание и хладнокровие, подобно старому солдату, который думает про себя в начале битвы: «Ну что ж, сегодня меня могут убить». Жозеф взял половинку ломтика и понял, что больше просить хлеба уже не следует. Ни один из членов семьи не удивился этой сцене, столь чудовищной для Жозефа. Разговор продолжался своим чередом. Агата узнала, что дом, где она родилась, принадлежавший ее отцу, пока тот не получил в наследство дом Декуэнов, был куплен Борнишами, и она захотела посмотреть его.

— Вероятно, Борниши придут сегодня вечером,— сказала ей крестная,— потому что у нас будет весь город; ведь все захотят посмотреть на вас,— объяснила она Жозефу.— И Борниши пригласят вас к себе.

На десерт служанка подала знаменитый мягкий сыр Турени и Берри, сделанный из козьего молока и столь отчетливо украшенный, как будто чернью, рисунком виноградных листьев, на которых его подают, что изобретение гравюры следовало бы приписать Турени. Грита с некоторой торжественностью положила вокруг каждого из этих сырков орехи и неизбежные бисквиты.

— А фрукты, Грита? — спросила г-жа Ошон.

— Сударыня, больше нет подгнивших,— ответила Грита.

Жозеф разразился хохотом, словно был в своей мастерской среди товарищей: он сразу понял, что здесь вошло в привычку предусмотрительно выбирать для стола фрукты, начавшие портиться.

— Ничего, как-нибудь съедим и неподгнившие! — с веселой бодростью заметил он, словно человек, готовый ко всем испытаниям.

— Ну сходи же, Ошон! — воскликнула старая дама.

Господин Ошон, весьма возмущенный шуткой художника, принес садовые персики, груши и сливы-катериновки.

— Адольфина, поди нарви нам винограду,— сказала г-жа Ошон внучке.

Жозеф выразительно посмотрел на двух молодых людей, как будто хотел их спросить: «Неужели от такого стола у вас такие цветущие лица?»

Барух понял этот язвительный взгляд и улыбнулся, потому что и он и его кузен Ошон проявляли воздержанность: домашние порядки были довольно безразличны людям, которые три раза в неделю ужинали у Коньеты. Кроме того, перед обедом Барух был извещен, что Великий магистр созывает Орден в полном составе к двенадцати часам ночи и, намереваясь обратиться к нему за поддержкой, устраивает торжественный прием. Обед, который старик Ошон задал по случаю приезда гостей, свидетельствовал, сколь необходимы были ночные пиршества у Коньеты для поддержания сил двух взрослых юнцов с прекрасным аппетитом,— и действительно, кузены не пропускали ни одного из них.

— Ликер будем пить в гостиной,— объявила г-жа Ошон, вставая и подав знак Жозефу предложить ей руку.

Идя впереди других, она улучила минутку и сказала художнику:

— Да, мой бедный мальчик, за таким обедом ты не объешься; но и его я добилась с большим трудом, ради тебя. Здесь ты будешь поститься и есть лишь столько, чтобы не умереть с голода, вот и все. Так что потерпи...

Добродушие этой замечательной старушки, которая винила самоё себя, понравилось художнику.

— Я прожила пятьдесят лет с этим человеком, и в моем кошельке никогда не болталось лишних двадцати экю! О, если бы не нужно было спасать для вас состояние, я бы никогда не зазвала тебя и твою мать в мою тюрьму.

— Но как же вы сами-то еще живы? — спросил Жо-

зеф с той простодушной веселостью, которая никогда не оставляет французских художников.

— Ах, да что там! — ответила она.— Я молюсь.

Жозеф слегка вздрогнул, услышав эти слова, настолько возвысившие в его глазах старую женщину, что он отступил на три шага, чтобы всмотреться в ее лицо. Он увидел его сияющим, запечатленным такой нежной ясностью, что воскликнул:

— Я напишу ваш портрет!

— Нет, нет,— ответила она,— я так соскучилась на земле, что не хочу оставаться здесь даже в виде портрета!

Весело произнеся эти печальные слова, она вынула из шкафа склянку с домашней черносмородинной наливкой, приготовленной ею самой по рецепту тех знаменитых монахинь, которым мы обязаны иссуденским пирогом, одним из великих созданий французского кондитерского искусства,— ни один кухмистер, повар, пирожник, кондитер не могут его подделать. Г-н де Ривьер, наш посланник в Константинополе, в течение всего своего пребывания там выписывал эти пироги в огромном количестве для гарема Махмуда. Адольфина держала лакированный подносик, уставленный старинными маленькими стаканчиками с резными гранями и позолоченным краем; бабушка наливала, а она разносила.

— Всем поднести, никого не обнести! — весело воскликнула Агата, которой эта неизменная церемония напоминала юность.

— Сейчас Ошон отправится к своим друзьям читать газеты, и некоторое время мы побудем одни,— шепнула ей старушка.

Действительно, через десять минут три женщины и Жозеф оказались одни в этой гостиной, где паркет никогда не натирался, а только подметался, где тканые обои, обрамленные резным дубом, и вся простая, почти мрачная обстановка остались незыблемы с тех пор, как уехала г-жа Бридо. Монархия, Революция, Империя, Реставрация, мало что пощадившие, сохранили в неприкосновенности эту залу, где ни их торжество, ни гибель не оставили ни малейшего следа.

— Ах, крестная, моя жизнь была ужасно бурной по сравнению с вашей! — воскликнула г-жа Бридо, пора-

женная тем, что здесь все по-старому, вплоть до канарейки, которую она помнила живой, а теперь узнала в чучеле, водруженном на камине между старыми часами, старыми медными бра и серебряными подсвечниками.

— Дитя мое,— ответила старая женщина,— бури бушуют в нашем сердце. Чем необходимее и труднее самоотречение, тем сильнее мы боремся сами с собой. Не будем говорить обо мне, поговорим о ваших делах. Вы находитесь прямо напротив врага.— сказала она, указывая на зал в доме Руже.

— Они садятся за стол,— сказала Адольфина.

Эта молодая девушка, почти затворница, всегда поглядывала на их окна, в надежде узнать что-нибудь относительно чудовищных поступков, приписываемых Максансу Жиле, Баламутке и Жан-Жаку, о которых ей удавалось поймать иногда несколько слов, хотя ее и высылали из комнаты, если разговор заходил о них. Старая дама попросила внучку оставить ее наедине с г-ном и г-жою Бридо до тех пор, пока кто-нибудь не придет в гости.

— Я знаю слишком хорошо наш Иссуден,— сказала она парижанам.— Сегодня вечером у нас будет десять-двенадцать стаек любопытных иссуденцев.

Госпожа Ошон принялась рассказывать парижанам о ходе событий и подробностях, связанных с удивительной властью, приобретенной Баламуткой и Максансом Жиле над Жан-Жаком Руже,— причем рассказывала она, не прибегая к той обобщающей системе, с какой все это было только что изложено, но добавляла множество толкований, описаний и предположений, какими изукрасили эти события добрые и злые языки города,— и едва она успела закончить свое повествование, как Адольфина уже возвестила о появлении Борнишей, Босье, Лусто-Пранженов, Фише, Годде-Эро,— всего к Ошонам направлялось четырнадцать особ, которых девушка заметила вдали.

— Как видите, моя дорогая,— заключила старая дама,— не так просто вырвать ваше состояние из волчьей пасти...

— Иметь дело с таким негодяем, которого вы нам описали, и с такой кумушкой, как эта лихая бабенка, мне кажется столь трудным, что я не надеюсь на успех,—

ответил Жозеф.— Нужно было бы остаться в Иссудене по крайней мере на год, чтобы побороть их влияние и свергнуть их владычество над моим дядей. Состояние не стоит таких хлопот, не говоря уже о том, что придется позорить себя, прибегая ко множеству низостей. У моей матери только двухнедельный отпуск, место ее верное, она должна держаться за него. А мне в октябре предстоят важные работы, которые Шиннер достал для меня у одного пэра Франции... Видите ли, сударыня, мое состояние заключается в моей кисти!

Такие речи были приняты с глубоким изумлением. Хотя г-жа Ошон и стояла выше других жителей своего города, но в живопись и она не верила. Она взглянула на свою крестницу и снова сжала ей руку.

— Этот Максанс — второе издание Филиппа,— сказал Жозеф на ухо матери,— но более ловок и действует с большей выдержкой, чем Филипп... Итак, сударыня, мы недолго будем досаждать господину Ошону своим пребыванием здесь!

— Ах, вы молоды, вы совсем не знаете жизни! — ответила старая дама.— За две недели, если взяться с умом, можно добиться некоторых результатов. Слушайтесь моих советов и сообразуйтесь с моими суждениями.

— О, с большой охотой,— ответил Жозеф.— Я считаю себя до последней степени бездарным в делах домашней политики; да, правду сказать, не знаю, что мог бы посоветовать и сам Дерош, если завтра дядюшка откажется нас принять.

Вошли господа Борниши, Годде-Эро, Босье, Лусто-Пранжены в блестящем сопровождении своих супруг. После обычных приветствий, лишь только все эти четырнадцать особ уселись, г-жа Ошон представила им свою крестницу Агату и Жозефа. Жозеф весь вечер оставался в своем кресле, исподтишка наблюдая шестьдесят лиц, с пяти до девяти часов бесплатно позировавших ему, как он сказал потом матери. Обращение Жозефа в этот вечер с патрициями Иссудена не содействовало тому, чтобы городок изменил о нем свое мнение: все почувствовали себя задетыми его насмешливым взглядом, были обеспокоены его улыбкой или испуганы выражением его лица, мрачным в глазах людей, не умевших распознать своеобразие, свойственное одаренному человеку.

В десять часов, когда все улеглись спать, г-жа Ошон увела свою крестницу к себе в спальню, и они беседовали до самой полуночи. Хорошо зная, что их никто не слышит, женщины доверили друг другу свои печали и свои горести. Тогда, поняв бесконечное одиночество, в котором погибли все силы неведомой миру прекрасной души, услышав последние отголоски этой жизни, сложившейся столь неудачно, узнав страдания этого глубоко великодушного и милосердного существа, чье великодушие и милосердие не могли никогда проявиться, Агата перестала считать себя самой несчастной женщиной, увидав, сколькими развлечениями и маленькими радостями скрашивает для нее парижская жизнь ниспосланные богом страдания.

— Вы благочестивы, крестная, объясните мне мои прегрешения и скажите, за что бог наказывает меня.

— Он подготовляет нас, мое дитя,— ответила старая дама как раз в ту минуту, когда пробила полночь.

В полночь «рыцари безделья», как тени, один за другим появились на бульваре Барон и, прогуливаясь под деревьями, повели тихий разговор.

— Что будем делать? — был первый вопрос каждого пришедшего.

— Я думаю,— сказал Франсуа,— что Макс просто-напросто хочет нас угостить.

— Нет, положение его и Баламутки серьезно. Наверное, он задумал сыграть какую-нибудь штуку с парижанами.

— Недурно было бы отправить их обратно.

— Мой дедушка,— сказал Барух,— напуган, что ему придется иметь в своем доме два лишних рта; он с удовольствием ухватился бы за какой-нибудь предлог...

— Ну что же, рыцари! — тихонько воскликнул Макс, подходя к ним.— Стоит ли смотреть на звезды? Они не нацедят нам вишневки. Идем к Коньете! К Коньете!

— К Коньете!

Этот призыв, подхваченный всеми, прозвучал ужасающим воплем, пронесшимся над городом подобно боевому кличу войска, идущего на штурм; потом воцарилось глубокое молчание.

На следующий день многие обращались к своим соседям:

— Вы слышали сегодня ночью, около часа, ужасные крики? Я думал, что где-нибудь случился пожар.

Ужин, достойный Коньеты, ласкал взоры двадцати двух сотрапезников, так как Орден был в полном составе. В два часа, когда начали *посасывать* — выражение из словаря Безделья, достаточно хорошо передающее, как пьют вино маленькими глотками, смакуя его,— Макс взял слово:

— Детки мои, сегодня утром, по поводу достопамятной проказы, учиненной нами с тележкой Фарио, честь вашего командора была столь сильно задета гнусным торговцем зерном, и к тому же испанцем (О, плавучая тюрьма!), что я решил обрушить на этого негодяя всю тяжесть моей мести, конечно, соблюдая при этом правила наших развлечений. Поразмыслив за день, я нашел способ привести в исполнение забавнейшую выдумку, которая может свести его с ума. Мстя за Орден, оскорбленный в лице моей особы, мы в то же время напитаем тех животных, которых чтили египтяне, маленьких зверьков, которые, что бы там ни говорили, суть создания господа бога и несправедливо преследуются людьми. Добро есть порождение зла, а зло — порождение добра; таков высший закон! Поэтому я приказываю вам всем, под страхом навлечь неудовольствие вашего смиренного Великого магистра, добыть, с соблюдением строжайшей тайны, по двадцати крыс — желательно беременных крыс, если на это будет соизволение господне. Закончите охоту в продолжение трех дней. Если вы можете наловить больше, излишек будет принят с благоволением. Держите этих занимательных представителей породы грызунов безо всякой пищи, ибо важно, чтобы милые зверьки чувствовали нестерпимый голод. Заметьте, что вместо крыс я принимаю и мышей, домашних и полевых. Если мы умножим двадцать два на двадцать, то получим четыреста с лишним соучастников, которые, как только их выпустят на свободу в старой церкви Капуцинов, где Фарио сложил все зерно, только что купленное им, изрядно опустошат эти запасы. Но медлить нельзя! Фарио должен доставить покупщикам значительную часть зерна через неделю; так вот, я хочу, чтобы испанец, ныне разъезжающий в округе по своим делам, вернувшись, застал ужасающую убыль. Господа, эта выдумка не

является моей заслугой,— сказал он, заметив явные признаки общего одобрения.— «Воздайте кесарево кесарю, а божье — богу!» Это — повторение библейского случая с лисицами Самсона. Но Самсон прибегнул к поджогу и, следовательно, ни в чем не проявил доброты, тогда как мы, подобно браминам, являемся покровителями преследуемых пород. Мадемуазель Флора Бразье уже расставила все свои мышеловки, а Куский, моя правая рука, охотится за полевыми мышами. Я все сказал.

— Я знаю,— сказал Годде,— где достать зверька, который один стоит сорока крыс.

— Какого?

— Белку.

— А я предлагаю обезьянку, которая обожрется зерном,— сказал новичок.

— Не годится! Узнают, где взяли этих животных.

— Можно ночью принести голубей,— сказал Босье,— взяв по одному из каждой голубятни на соседних фермах. Если их впустить в дыру, проделанную на крыше, то вслед за ними сейчас же появятся тысячи голубей.

— Так, значит, на ближайшую неделю склад Фарио становится достоянием ночного Ордена! — вскричал Жиле, улыбаясь рослому Босье-сыну.— Вы знаете, что в монастыре Сен-Патерн встают рано. Когда пойдете туда — всем перевернуть задом наперед свои веревочные туфли! Рыцарь Босье, подавший мысль относительно голубей, будет ими распоряжаться. Что до меня, то я позабочусь написать свое имя на куче зерна. Будьте же квартирмейстерами господ крыс. Если сторож склада ночует в церкви Капуцинов, нужно напоить его с помощью приятелей, и при этом так ловко, чтобы увести его подальше от места пиршества прожорливых животных.

— А ты ничего не скажешь о парижанах? — спросил Годде.

— Нужно к ним присмотреться,— ответил Макс.— Тем не менее я предлагаю свое прекрасное охотничье ружье, принадлежавшее императору, шедевр Версальских мастерских,— оно стоит две тысячи франков,—тому, кто придумает подстроить такую шутку, чтобы парижане рассорились со стариками Ошонами и те отправили бы их восвояси или же чтоб они уехали сами; разу-

меется, при этом нельзя слишком затрагивать предков моих двух друзей, Баруха и Франсуа.

— Идет! Я подумаю об этом,— сказал Годде, страстно любивший охоту.

— Если изобретатель проделки не захочет ружья, то он может получить мою лошадь! — прибавил Макс.

Со времени этого ужина двадцать человек ломали головы, чтобы измыслить какие-нибудь козни против Агаты и ее сына, сообразуясь с программой. Но только сам черт или случай могли тут преуспеть, настолько предложенные условия делали это трудным.

На следующее утро Агата и Жозеф сошли вниз немного раньше второго завтрака, который подавался в десять часов. Первым завтраком называли чашку кофе и ломтик хлеба с маслом. К нему приступали в постели или только что встав. Ожидая г-жу Ошон, которая, несмотря на свои преклонные годы, с точностью выполняла весь церемониал, с каким герцогини времен Людовика XV совершали свой туалет, Жозеф увидел на противоположной стороне улицы неподвижную фигуру Жан-Жака Руже, стоявшего у входа в дом; естественно, что он показал его матери,— и г-жа Бридо не узнала своего брата, настолько он изменился с тех пор, как она с ним рассталась.

— Это ваш брат,— сказала Адольфина, которая вошла в комнату, ведя под руку бабушку.

— Какой кретин! — вскричал Жозеф.

Агата, всплеснув руками, возвела глаза к небу.

— Боже мой, до какого состояния его довели! И это человек пятидесяти семи лет!

Она стала внимательно разглядывать брата и увидела за спиной старика Флору Бразье с непокрытой головой; сквозь легкую газовую косынку, отделанную кружевами, виднелись ее белая, как снег, шея и ослепительная грудь. Флора, затянутая в корсет, разодетая словно богатая куртизанка, была в платье из гренадина — шелковой материи, модной в те времена; рукава топорщились у плеч буфами, на запястьях блестели великолепные браслеты, по корсажу струилась золотая цепь; Баламутка принесла Жан-Жаку его черную шелковую шапочку, чтобы он не простудился,— сцена явно рассчитанная.

— Вот замечательная женщина! — вскричал Жо-

зеф.— Редкостная натура для живописца! Да она просто создана для того, чтобы писать ее красками! Какое тело! О, какие прекрасные тона! Какие очертания, какие округлости, а плечи! Это великолепная кариатида! Вот была бы чудесная модель для «Венеры» Тициана.

Адольфине и г-же Ошон показалось, что перед ними говорят по-гречески, но Агата, стоявшая позади сына, сделала им знак, как бы желая сказать, что она привыкла к такому наречию.

— Вы находите прекрасной девку, которая отнимает у вас состояние? — спросила г-жа Ошон.

— Это не мешает ей быть прекрасной моделью! В меру полная, так что бедра и все формы не испорчены...

— Мой друг, ты не в своей мастерской,— сказала Агата,— и здесь Адольфина...

— Ах, правда, прошу прощения! Но с самого Парижа за всю дорогу я видел только уродин...

— Однако, дорогая крестная,— сказала Агата,— как же мне увидеться с братом?.. Ведь если в доме у него эта тварь...

— Ба! — сказал Жозеф.— Я сам пойду навестить его! Я больше не считаю его таким уж кретином, поскольку у него оказалось достаточно ума, чтобы наслаждаться лицезрением тициановской Венеры.

— Если бы он не был слабоумным,— сказал подошедший г-н Ошон,— то преспокойно женился бы, имел детей, и у вас не было бы шансов получить наследство. Нет худа без добра.

— У вашего сына хорошая мысль,— сказала г-жа Ошон.— Пусть он первый навестит своего дядю и даст ему понять, что если вы сами пойдете к нему, то он должен быть один.

— Чтобы задеть мадемуазель Бразье? — спросил г-н Ошон.— Нет, нет, сударыня, примиритесь с неприятной необходимостью. Если все наследство не про вас, то по крайней мере постарайтесь, чтобы вам досталось хоть кое-что по завещанию...

Ошоны были бессильны бороться с Максансом Жиле. За завтраком Куский принес от своего хозяина, г-на Руже, письмо, адресованное его сестре, г-же Бридо. Вот это письмо, прочесть которое г-жа Ошон попросила своего мужа.

«Дорогая сестра!

Я узнал от посторонних о вашем приезде в Иссуден. Догадываюсь, по каким причинам вы предпочли гостеприимство г-на Ошона моему; но если вы захотите меня видеть, то будете приняты, как подобает. Я сам первый явился бы к вам, если бы состояние здоровья не вынуждало меня в настоящее время оставаться дома. Позвольте по этому случаю выразить мое искреннее сожаление. Я буду в высшей степени рад увидеть моего племянника; приглашаю его сегодня ко мне отобедать, так как молодые люди менее требовательны в смысле общества, чем женщины. В свою очередь, он доставит мне удовольствие, придя ко мне в сопровождении гг. Баруха и Франсуа Ошона.

Ваш любящий брат Ж.-Ж. Руже».

— Скажите, что мы завтракаем. Госпожа Бридо сейчас ответит, а приглашение принято,— передал г-н Ошон через свою служанку.

И старик приложил палец к губам, чтобы все молчали. Когда дверь на улицу закрылась, г-н Ошон, не подозревая о дружбе, связывавшей его двух внуков с Максансом, бросил на свою жену и Агату хитрый-прехитрый взгляд.

— Вы думаете, это он сам написал? Он так же способен на это, как я способен дать кому-нибудь двадцать пять луидоров... Нам придется вступить в переписку с этим солдатом.

— Что это значит? — спросила г-жа Ошон.— Но как бы там ни было, мы ответим. Что касается вас, сударь,— прибавила она, глядя на художника,— то идите к ним обедать, а если...

Старая дама остановилась, заметив взгляд своего мужа. Зная, как сильна дружба его жены к Агате, старый Ошон боялся, как бы она не отказала ей чего-нибудь по завещанию в том случае, если Агата не получит ничего из наследства Руже. Скряга, хотя и был старше своей жены на пятнадцать лет, надеялся получить после ее смерти наследство и когда-нибудь целиком распоряжаться всем имуществом. Эта надежда стала для него навязчивой идеей. Г-жа Ошон отлично

понимала, что может добиться от мужа некоторых уступок, угрожая ему своим завещанием. Вот почему Ошон стал на сторону своих гостей. Кроме того, дело касалось огромного наследства, и, руководясь духом социальной справедливости, он хотел, чтобы оно перешло к законным наследникам, а не было разграблено чужаками, недостойными уважения. Наконец, чем скорее этот вопрос был бы исчерпан, тем скорее уехали бы его гости. С того времени, как борьба между захватчиками и наследниками, прежде лишь обдумываемая его женой, стала осуществляться, деятельный ум г-на Ошона, усыпленный провинциальной жизнью, пробудился. Г-жа Ошон была приятно поражена, когда в то же утро по нескольким теплым словам, сказанным старым Ошоном о ее крестнице, заметила, что у Бридо появился столь сведущий и хитроумный помощник.

К полудню умственные усилия г-на и г-жи Ошон вкупе с Агатой и Жозефом, крайне удивленными той осмотрительностью, с какой оба старика выбирали выражения, породили следующий ответ, имевший в виду исключительно Флору и Максанса.

«Дорогой брат!

Если я в продолжение тридцати лет не приезжала сюда и не поддерживала отношений с кем бы то ни было, даже с вами, то виноваты в этом были не только странные и ложные мысли моего отца обо мне, но и события моей жизни в Париже, счастливые и несчастливые. Господь даровал мне счастье в супружестве и горькие испытания в моей материнской доле. Вам, вероятно, известно, что мой сын, а ваш племянник, Филипп в настоящее время находится под угрозой тяжелого обвинения из-за своей преданности императору. Таким образом, вы не будете удивлены, узнав, что вдова, принужденная ради своего пропитания поступить на скромное место в лотерейном бюро, ищет утешения и помощи у тех, кто знает ее с колыбели. Поприще, избранное другим моим сыном, сопровождающим меня, требует большого дарования, больших жертв, длительного обучения, прежде чем принесет результаты. В данном случае слава предшествует богатству. Иначе говоря, Жозеф, прославив нашу семью, все же будет еще нуж-

даться. Ваша сестра, мой дорогой Жан-Жак, безропотно перенесла бы последствия отцовской несправедливости, но позвольте матери напомнить вам, что у вас есть два племянника; один из них был ординарцем у императора в сражении при Монтєро и дрался в императорской гвардии при Ватерлоо, а теперь заключен в тюрьму; другого же с тринадцати лет призвание влечет по трудному, но славному пути. Поэтому я с живейшей признательностью благодарю вас за ваше письмо и от своего имени и от имени Жозефа, который не преминет воспользоваться вашим приглашением. Болезнь извиняет все, мой дорогой Жан-Жак, и я сама приду навестить вас. Сестре всегда хорошо в доме у брата, какой бы образ жизни он ни избрал. Нежно целую вас.

Агата Руже».

— Вот дело и начато,— сказал Ошон парижанке.— Придя к Руже, вы можете прямо говорить с ним о племянниках...

Письмо было отнесено Гритой, которая вернулась через десять минут и, по провинциальному обыкновению, рассказала своим господам все, что она видела и слышала.

— У них со вчерашнего вечера убирали весь дом,— сказала она,— а то мадам довела его...

— Какая такая мадам? — спросил старый Ошон.

— Да у них в доме так называют Баламутку,— ответила Грита.— Она прямо ужас как запустила гостиную и все, что касается господина Руже. Но нынче дом снова стал таким же, как до приезда Максанса. Все блестит, как стеклышко! Ведия мне сказала, что Куский выехал сегодня верхом в пять часов утра, к девяти он уже вернулся и привез всяких припасов. Словом, обед будет на славу, не хуже, чем у буржского архиепископа. В кухне порядок, все расставлено по местам. «Я хочу как следует угостить племянника»,—говорит дядюшка, и он сам входит во все. Сдается мне, всей семье Руже лестно, что вы им написали. Мадам вышла мне сказать об этом... А уж как она одета, как одета! Я сроду не видала таких нарядов! В серьгах у нее два бриллианта — каждый, говорит Ведия, по тысяче экю. А кружева! А перстни на пальцах, а браслеты — ну, право, вы бы

сказали — настоящая церковная рака. И какое шелковое платье прекрасное — алтарная завеса, да и только! И тут-то она мне говорит: «Господин Руже очень обрадовался, узнав, что его сестрица такая хорошая; хотелось бы, чтобы она позволила нам почествовать ее, как она того стоит. Мы надеемся, она будет хорошего мнения о нас, после того как мы по-хорошему примем ее сына. Господину Руже не терпится увидеть своего племянника». У мадам черные атласные туфельки, но уж чулки... не чулки, а прямо чудо что такое! На шелку как будто сквозные цветочки и дырочки, можно подумать, что кружева, и ноги просвечивают... этакие розовые. Ведь ее хозяину-то уже за пятьдесят! И фартучек такой прелестный... Ведия мне сказала, будто этот фартучек стоит нашего двухлетнего жалованья...

— Э, мне надо, я вижу, тоже прифрантиться,— сказал, улыбаясь, художник.

— Ну, о чем ты думаешь, Ошон? — спросила старая дама, когда Грита ушла.

Госпожа Ошон кивнула своей крестнице на мужа, который сидел, облокотясь на ручку кресла и обхватив голову руками, погруженный в своим размышления.

— Вы имеете дело с господином Гоненом! — сказал старик.— С вашими идеями, молодой человек,— прибавил он, глядя на Жозефа,— вам не под силу бороться против такой продувной бестии, как Максанс. Что бы я вам ни посоветовал, вы все равно наделаете глупостей, но по крайней мере расскажите мне сегодня вечером, что вы там видели, слышали, делали. Идите! С божьей помощью! Постарайтесь остаться наедине с вашим дядей. Если, несмотря на все ваши ухищрения, вы не добьетесь этого, то по крайней мере несколько выяснится, чего они хотят. Но если вы на минутку останетесь с ним и никто вас не услышит — черт возьми! — вам надо выпытать от него все о его положении,— а живется ему несладко,— и выступить на защиту вашей матери...

В четыре часа Жозеф пересек пространство, отделявшее дом Ошона от дома Руже, своего рода аллею шириной с Гранд-Нарет и длиной в двести шагов, усаженную чахлыми липами. Как только племянник по-

явился, Куский, в начищенных сапогах, в черных суконных штанах, в белом жилете и черном фраке, отправился о нем доложить. Стол уже был накрыт в гостиной. Жозеф, легко узнавший своего дядю, направился прямо к нему и расцеловался с ним, а затем раскланялся с Флорой и Максансом.

— Мы ни разу не виделись, дорогой дядя, с тех пор, как я появился на свет,— весело сказал художник,— но лучше поздно, чем никогда.

— Добро пожаловать, мой друг,— ответил старик, тупо глядя на племянника.

— Сударыня,— сказал Жозеф с порывистостью художника, обращаясь к Флоре,— сегодня утром я позавидовал своему дяде, имеющему возможность ежедневно любоваться вами!

— Не правда ли, она очень красива? — сказал старик, и в тусклых глазах его даже появился некоторый блеск.

— Настолько красива, что может служить моделью для художника.

— Мой друг,— сказал Руже, которого Флора толкнула локтем,— это господин Максанс Жиле, человек, служивший, как и твой брат, в императорской гвардии.

Жозеф встал и поклонился.

— Ваш брат, кажется, служил в драгунах, я же месил грязь по дорогам.

— Верхом или пешком,— сказала Флора,— но все одинаково рисковали своей шкурой.

Жозеф рассматривал Макса, а Макс — Жозефа. Макс был одет, как одевались в то время все молодые щеголи,— он заказывал себе платье в Париже. Светло-синие брюки в большую, очень широкую складку надлежащим образом выставляли его ступню, открывая нижнюю часть сапога со шпорами. Стан был стянут белым жилетом с золотыми фигурными пуговицами, зашнурованным на спине, что заменяло пояс. Этот жилет, застегнутый до воротничка, обрисовывал его широкую грудь, а черный атласный галстук заставлял высоко держать голову, как подобает военным. Короткий черный фрак был прекрасного покроя. Из жилетного кармашка, где едва вырисовывались плоские часы, свешивалась красивая золотая цепь. Макс вертел в руках ча-

совой ключик, называемый ключом с *трещоткой*, изобретенный Брегетом.

«Красивый малый,— подумал Жозеф, восхищаясь, как художник, оживленным лицом, крепким сложением и серыми умными глазами, унаследованными Максом от своего отца-дворянина.— Мой дядя, должно быть, очень скучен, эта красотка искала утешения, и у них брак втроем. Дело ясно!»

В эту минуту появились Барух и Франсуа.

— Вы еще не ходили смотреть Иссуденскую башню? — спросила Флора Жозефа.— Если хотите совершить небольшую прогулку в ожидании обеда, который подадут через час, то мы бы вам показали главную достопримечательность города.

— Охотно,— ответил художник, в простоте душевной не усматривая в этом ни малейшего неудобства.

Когда Флора пошла за шляпой, перчатками и кашемировой шалью, Жозеф взглянул на картины и сразу вскочил с места, будто какой-то волшебник прикоснулся к нему своим жезлом.

— Ах, дядя, у вас есть картины! — сказал он, рассматривая одну, поразившую его.

— Да,— ответил старик.— Они перешли к нам от Декуэнов, которые во время революции купили хлам, оставшийся от монастырей и церквей Берри.

Жозеф больше не слушал, он восхищался каждой картиной.

— Великолепно! — восклицал он.— О, вот так колорит!.. Этот художник не изводил даром краски! Чем дальше, тем лучше, как говорил Николе.

— На чердаке есть еще семь или восемь очень больших, их сохранили из-за рам,— сказал Жиле.

— Пойдемте посмотрим! — сказал художник, и Максанс повел его на чердак.

Жозеф вернулся в восторге. Макс шепнул на ухо Баламутке словечко, та отвела Руже к окну, и Жозеф услышал фразу, хотя произнесенную шепотом, но так, чтоб она донеслась до него:

— Ваш племянник — художник, вам эти картины не нужны, будьте же милы с ним, подарите их ему.

Старик, опираясь на руку Флоры, подошел к племяннику, в восторге стоявшему перед Альбани, и сказал:

— Кажется, ты — художник?

— Пока я еще только *мазилка*,— ответил Жозеф.

— Что это значит? — спросила Флора.

— Начинающий,— ответил Жозеф.

— Отлично,— сказал Жан-Жак.— Если эти картины могут тебе, как художнику, на что-нибудь пригодиться, то я дарю их тебе... но без рам. О! Рамы позолочены и, кроме того, они затейливы; я вставлю в них...

— Черт возьми! Вы вставите в них копии, которые я вам пришлю, они будут того же размера...

— Но это у вас отнимет время, и, кроме того, понадобятся холст, краски,— сказала Флора.— Вам придется затратить деньги... Вот что, папаша Руже, предложите вашему племяннику по сто франков с картины; здесь у вас их двадцать семь да на чердаке, я полагаю, одиннадцать, очень больших,— те должны быть оплачены вдвойне... кладите за все четыре тысячи франков... Да, ваш дядя вполне может заплатить вам за копии четыре тысячи франков, потому что он ведь оставляет у себя рамы! Ведь и вам тоже понадобятся рамы, а рамы, говорят, дороже картин — они позолоченные! Отвечайте же, сударь,—продолжала Флора, взяв за руку старика.— Идет? Это недорого, вам придется заплатить вашему племяннику четыре тысячи франков за картины, совсем новенькие, вместо ваших старых. Этак вы на вежливый манер подсунете ему четыре тысячи франков,— шепнула она ему на ухо,— у него, мне кажется, в кармане не густо.

— Хорошо! Племянник, я заплачу тебе четыре тысячи франков за твои копии.

— Нет, нет,— сказал честный Жозеф,— четыре тысячи франков в придачу к картинам — это уже слишком; потому что, видите ли, картины ценные.

— Да соглашайтесь же, простачок! — сказала Флора.— Раз это ваш родной дядюшка...

— Хорошо, соглашаюсь,— сказал Жозеф, ошеломленный совершенною им сделкою, так как он узнал картину Перуджино.

Таким образом, художник вышел из дома с веселым видом, предложив руку Баламутке, что как нельзя более соответствовало замыслам Максанса. Ни Флора, ни Руже, ни Макс, никто в Иссудене не мог судить о ценности

картин, и хитрый Макс думал, что он весьма дешево купил торжество Флоры, которая горделиво выступала под руку с племянником своего хозяина, дружелюбною парой, на виду у всего изумленного города. Обыватели выбегали на порог, чтобы увидеть победу Баламутки над родственниками г-на Руже. Это выходящее из ряда вон событие произвело глубокое впечатление,— на него-то и рассчитывал Макс. Когда племянник и дядя вернулись к пяти часам, во всех домах только и говорили о полном согласии Макса и Флоры с племянником папаши Руже. А история с подаренными картинами и четырьмя тысячами франков уже пошла гулять по городу. Обед, на котором присутствовали Лусто, один из судей трибунала и мэр Иссудена, был великолепен. Это был парадный провинциальный обед, который длится пять часов. Самые тонкие вина одушевляли беседу. За десертом, в девять часов, художник, сидевший между Максом и Флорой, напротив своего дяди, был уже почти на дружеской ноге с офицером, которого он находил самым славным малым на свете. Жозеф вернулся в одиннадцать часов, под хмельком. Что касается Руже, то Куский отнес его на постель мертвецки пьяным. Он ел, как балаганный актер, и поглощал вино, как пески пустыни поглощают воду.

— Ну,— сказал Макс, оставшись около полуночи наедине с Флорой,— разве не лучше было обойтись с ними вот этак, чем дуться на них? Бридо будут хорошо приняты, получат всякие подарочки и, обласканные выше головы, будут только похваливать нас; потом они спокойно уедут, оставив нас в покое. Завтра утром мы с Куским выдерем из рам все эти картины и отправим художнику, чтобы, проснувшись, он увидел их у себя. Рамы мы снесем на чердак, а в гостиной сменим обивку на глянцевитые обои со сценами из «Телемака», как я видел у Муйеронов.

— Ах, это будет гораздо красивее! — воскликнула Флора.

На следующий день Жозеф проснулся не раньше полудня. Лежа в кровати, он вдруг увидел целую горку положенных друг на друга картин, принесенных так, что он ничего и не слышал. В то время как он снова рассматривал картины и признавал в них шедевры, изучал

манеру художников и разыскивал их подписи, его мать отправилась к брату повидаться с ним и поблагодарить его, побуждаемая к тому старым Ошоном, который, узнав о всех глупостях, совершенных накануне художником, отчаялся в успехе семьи Бридо.

— Ваши противники — тонкие бестии. За всю жизнь я не видывал человека такой выдержки, как этот солдат; по-видимому, война образовывает молодых людей. Жозеф попался, как мальчишка! Он гулял под руку с Баламуткой! Без сомнения, ему заткнули рот при помощи вина, скверных картин и четырех тысяч франков. Ваш художник недорого стоил Максансу.

Проницательный старик начертал план поведения для крестницы своей жены, посоветовав ей проникнуть в замысел Макса, ублажить Флору и, достигнув некоторой близости с ней, улучить минутку для разговора с Жан-Жаком. Г-жа Бридо была прекрасно принята братом, получившим на этот счет наставление от Флоры. Старик был в постели, заболев после вчерашних излишеств. Так как в первые минуты Агата не могла приступить к серьезным вопросам, Макс счел приличным и великодушным оставить брата с сестрою наедине. Расчет был правилен. Бедная Агата нашла своего брата в таком плохом состоянии, что не захотела лишить его забот г-жи Бразье.

— Но я хотела бы познакомиться с особой, которой я обязана счастьем моего брата,— сказала она старому холостяку.

Эти слова доставили старику явное удовольствие, и он позвонил, чтобы попросить к себе г-жу Бразье. Как и можно было догадаться, Флора оказалась неподалеку. Две противницы обменялись приветствиями. Баламутка проявила самое раболепное, самое нежное внимание к г-ну Руже; она нашла, что он лежит слишком низко, поправила подушки и вообще вела себя, как молодая жена. Старый холостяк преисполнился умиления.

— Мы очень обязаны вам, мадемуазель,— сказала Агата,— за то внимание, которое вы так долго оказываете моему брату, за ваши заботы о его благополучии.

— И правда, дорогая Агата,— сказал старик,— бла-

годаря ей я узнал счастье, а кроме того, она превосходная женщина.

— В таком случае, братец, не обязаны ли вы вознаградить мадемуазель Бразье за все, что она для вас сделала? Вам следует жениться на ней. Я слишком благочестива, чтобы не пожелать вам от всего сердца выполнить предписания религии. Вы оба почувствуете себя спокойнее, не вступая в разлад с законами и нравственностью. Я приехала, брат, просить у вас помощи в постигшем меня великом несчастье, но не думайте, что мы намерены вмешиваться в то, как вы распорядитесь своим состоянием.

— Сударыня,— сказала Флора,— мы знаем, что ваш отец был неправ по отношению к вам. Ваш брат может вам подтвердить,— сказала она, пристально глядя на свою жертву,— что единственно, из-за чего мы ссорились, так это из-за вас. Я утверждаю, что господин Руже должен вам отдать часть состояния, которой вас несправедливо лишил мой бедный благодетель — потому что ваш папенька был моим благодетелем, об этом я буду помнить всегда,— сказала она со слезами в голосе.— Но ваш брат, сударыня, ссылается на то...

— Да, да,— сказал Руже,— когда я буду составлять завещание, вы не будете забыты...

— Не стоит, брат, говорить обо всем этом; вы еще не знаете меня — это не в моем характере.

Такое начало дает достаточное представление о том, как прошла первая встреча. Руже пригласил сестру на послезавтра к обеду.

За истекшие три дня «рыцари безделья» поймали огромное количество крыс, мышей и полевок; в одну прекрасную ночь изголодавшихся зверьков напустили на зерно в количестве четырехсот тридцати шести штук, причем многие из них должны были вот-вот произвести на свет детенышей. Не довольствуясь этими нахлебниками, подысканными для Фарио, «рыцари» сделали дыру в крыше церкви Капуцинов и пустили туда дюжину голубей, наловив их на десяти фермах. Все эти создания тем спокойнее совершали свое пиршество, что сторож, охранявший склад, был снят со своего поста одним дрянным проказником, с которым он пьянствовал с утра

до вечера, нисколько не заботясь о запасах своего хозяина.

Госпожа Бридо, вопреки мнению старика Ошона, полагала, что брат еще не составил завещания; она рассчитывала спросить брата, каковы его намерения по отношению к мадемуазель Бразье, в первый же раз, как только у нее будет возможность погулять с ним вдвоем, так как Флора и Макс обольщали ее этой надеждой, которой не суждено было осуществиться.

Хотя соратники Макса искали всяческих способов, чтобы заставить парижан бежать, они придумывали только невероятные глупости.

Через неделю — половина того срока, который парижане должны были провести в Иссудене,— «рыцари» продвинулись вперед не дальше, чем в первый день.

— Ваш стряпчий не знает провинции,— сказал г-же Бридо старый Ошон.— То, что вы собираетесь здесь сделать, нельзя выполнить ни в две недели, ни в два года; вам надо не покидать вашего брата и найти возможность внушить ему религиозные мысли. Вы взорвете укрепления Флоры и Максанса только при помощи священника. Вот мой совет, пора взяться за его выполнение.

— У вас странное понятие о духовенстве,— сказала г-жа Ошон мужу.

— О, вы уже тут как тут, богомолки! — воскликнул старик.

— Господь не благословит начинания, которое зиждется на святотатстве,— сказала г-жа Бридо.— Заставить религию служить такому делу! Да мы были бы преступнее Флоры...

Этот разговор происходил за завтраком; Франсуа с Барухом так и навострили уши.

— Святотатство! — вскричал старый Ошон.— Но если бы какой-нибудь хороший, умный аббат — а мне такие известны — знал, в каком затруднительном положении вы находитесь, то он не увидел бы святотатства в том, чтобы вернуть богу заблудшую душу вашего брата, внушить ему истинное раскаяние в его ошибках, принудить его отправить восвояси женщину, которая является источником срама; доказать ему, что он мог бы успокоить совесть, дав несколько тысяч ливров на ма-

ленькую семинарию архиепископа и оставив свое имущество настоящим наследникам...

Покорное повиновение, которого старый скряга добился в своем доме от детей, передалось его внукам, подлежащим к тому же его опеке; для них он сколачивал изрядное состояние, действуя, по его словам, в их интересах так же, как он действовал бы для самого себя. Поэтому Барух и Франсуа не посмели выразить хотя бы малейшее удивление или неодобрение, но они многозначительно переглянулись, обменявшись таким образом мыслью о том, каким вредным и роковым был этот совет для Макса.

— Несомненно, сударыня,— сказал Барух,— что если вы желаете получить наследство от вашего брата, то для этого есть только одно-единственное верное средство: вам необходимо остаться в Иссудене до тех пор, пока...

— Вы бы хорошо сделали, маменька, написав Дерошу обо всем этом,— заметил Жозеф.— Ну, а я не притязаю на большее сверх того, что дядя соизволил мне дать...

Установив огромную ценность тридцати девяти картин, Жозеф заботливо выдернул из них гвозди, подклеил каждую бумагой при помощи обыкновенного клея, положил одну на другую, упаковал все в огромный ящик и отправил через почтовую контору на имя Дероша, которому собирался написать письмо с извещением о посылке. Этот драгоценный груз был отправлен накануне.

— Вы продешевили,— сказал Ошон.

— Но я легко смогу получить за картины сто пятьдесят тысяч франков.

— Мечта художника! — сказал Ошон, насмешливо посмотрев на Жозефа.

— Послушай,— сказал Жозеф, обращаясь к матери,— я напишу Дерошу и объясню ему, каково здесь положение вещей. Если Дерош посоветует тебе оставаться, ты останешься. Что касается твоей должности, то мы всегда найдем такую же...

— Мой дорогой,— сказала Жозефу г-жа Ошон, выходя из-за стола,— я не знаю, каковы картины вашего дяди, но они должны быть хороши, судя по тем местам,

откуда взяты. Если все вместе они стоят хотя бы сорок тысяч франков, по тысяче франков за картину, то не говорите об этом никому. Хотя мои внуки сдержанны и хорошо воспитаны, они все-таки могут без какого-либо злого умысла рассказать о подобной, как вы утверждаете, находке; весь Иссуден узнает о ней, а не следует, чтобы наши противники подозревали это. Вы ведете себя, как ребенок!

В самом деле, к полудню многие в Иссудене,— в частности Максанс Жиле,— были уже осведомлены о мнении Жозефа; все бросились разыскивать старые картины, о которых раньше и не думали, и вытащили на свет божий разную отвратительную мазню. Макс уже раскаивался, что побудил старика подарить картины, а когда он узнал о плане старого Ошона, его ярость против наследников еще увеличилась от сознания своей, как он выражался, дурацкой оплошности. Единственно чего надо было бояться, так это именно возможности религиозного влияния на слабую натуру Руже. Таким образом, сведения, сообщенные двумя приятелями, укрепили Максанса Жиле в его решении превратить в деньги все долговые обязательства, какими располагал Руже, и сделать, кроме того, заем под его земли, чтобы возможно скорее перевести все в ренту; однако он считал еще более неотложным изгнать из города парижан. Но гениальная хитрость всех Маскарилей и Скапенов вкупе и то нелегко разрешила бы эту проблему.

Флора, по наущению Макса, заявила, что г-н Руже очень устает от своих прогулок, что ему в его возрасте нужно ездить в коляске. Этот предлог был вызван необходимостью побывать без ведома округи в Бу́рже, Вьерзоне, Шатору, Ватане — везде, куда понадобилось бы съездить Руже, Флоре и Максу для реализации денежных вложений старика. Таким образом, к концу той же недели весь Иссуден был поражен, узнав, что Руже отправился в Бурж покупать коляску — мероприятие, истолкованное «рыцарями безделья» в благоприятном для Баламутки смысле. Флора и Руже приобрели ужаснейшую берлину с фальшивыми окошечками, с растрескавшимся кожаным фартуком, которая, отслужив двадцать два года и девять походов, была продана после смерти одного полковника, взявшего на себя во

время отсутствия своего друга, знаменитого маршала Бертрана, этого верного сподвижника императора, присмотр за его имениями в Берри. Берлина, выкрашенная в грубый зеленый цвет, могла бы сойти за коляску, но оглобли были переделаны так, чтобы запрягать только одну лошадь. Она принадлежала к тому виду экипажей, которые быстро вошли в моду вследствие оскудения состояний и стали прилично именоваться *одноконками*, тогда как вначале их называли *брызгалками*. Сукно этой одноконки, проданной за коляску, было изъедено молью, позументы походили на нашивки инвалида, железные части дребезжали; но она стоила всего четыреста пятьдесят франков; Макс купил для нее в полку, стоявшем тогда в Бурже, здоровую толстую кобылу, забракованную для военной службы. Он велел перекрасить коляску в густой коричневый цвет, приобрел по случаю довольно хорошую сбрую, и весь город Иссуден переполошился в ожидании экипажа папаши Руже.

Когда в первый раз старик выехал в этой коляске, все обыватели со своими домочадцами, заслышав ее грохот, повыскакивали на пороги домов, и не было ни одного окна, не занятого любопытными. Во второй раз холостяк доехал до самого Буржа и, чтобы освободиться от забот по операции, рекомендованной — или, вернее, предписанной — ему Флорой Бразье, выправил там у нотариуса доверенность на имя Максанса Жиле с полномочием перевести в другие ценности все договорные обязательства, перечисленные в доверенности. Флора оставила за собой и г-ном Руже ликвидацию вложений, сделанных в Иссудене и окрестных кантонах. Руже посетил главного нотариуса города Буржа и просил его устроить ему заем в сто сорок тысяч франков под залог имущества. В Иссудене ничего не знали об этих ловких и осторожных шагах. Максанс был хорошим наездником и с пяти часов утра до пяти часов вечера мог успеть съездить на своей лошади в Бурж и обратно, а Флора ни на минуту не оставляла старика. Руже без труда согласился на операцию, которой от него требовала Флора, но пожелал, чтобы за мадемуазель Бразье был закреплен лишь доход с бумаг в пятьдесят тысяч франков пожизненно, а сами бумаги были положены на его имя, как владельца, не пользующегося про-

центами. Упорство, проявленное стариком в домашней борьбе, которой потребовало это дело, возбудило беспокойство у Макса: он усматривал здесь настроения, вызванные присутствием законных наследников.

Занятый великими деяниями, которые он хотел скрыть от города, Макс забыл о торговце зерном. Фарио после многих ухищрений и разъездов, предпринятых с целью повысить цену на зерно, обязался наконец выполнить свои поставки. На следующий день по приезде он заметил, что у церкви Капуцинов, напротив которой он жил, крыша черна от голубей. Проклиная себя за то, что не осмотрел крыши, он бросился к своему складу и обнаружил, что его запасы уменьшились вдвое. Разбросанный повсюду помет крыс, мышей и полевок открыл ему вторую причину его разорения. Церковь превратилась в Ноев ковчег. Но испанец от бешенства стал бледен, как полотно, когда, стремясь определить размеры своих потерь и убытков, заметил, что все зерно снизу стало прорастать (Максу пришло в голову влить в середину кучи зерна несколько ведер воды, пользуясь для этого жестяною трубой). Присутствие голубей и крыс можно было объяснить действием их животного инстинкта, но в этой последней порче обнаруживалась рука человека. Фарио сел в боковой часовне на скамейку алтаря и сжал голову руками. После получаса размышлений в испанском духе он заметил белку, которую Годде-сын поместил-таки к нему в качестве нахлебницы,— она играла со своим хвостом на поперечной балке, в середину которой упирался столб, поддерживавший крышу. Испанец спокойно встал, явив сторожу зернового склада совершенно невозмутимую физиономию, какие бывают у арабов. Фарио никуда не жаловался, он вернулся домой, а затем отправился нанимать рабочих, чтобы ссыпать в мешки хорошее зерно, высушить на солнце подмокшее и спасти, что только можно; потом он снова занялся поставками, определив потери в три пятых всего запаса. Но собственные его уловки уже успели вызвать повышение цен, и он опять потерпел убыток, покупая недостающие три пятых зерна. Таким образом, его потеря возросла еще в полтора раза.

Испанец, у которого не было врагов, безошибочно

установил, что стал жертвой мести Жиле. Для него было ясно, что именно Макс и некоторые другие — конечно, единственные виновники и всех ночных проделок в городе — взгромоздили его тележку на гору, а затем, себе на потеху, разорили его; он потерял тысячу экю — почти все состояние, с трудом им приобретенное со времени заключения мира. Вдохновленный мыслью о мщении, испанец проявил упорство и хитрость шпиона, которому обещали бы хорошее вознаграждение. Незаметно рыская ночью по Иссудену, он в конце концов совершенно убедился в злокозненности «рыцарей безделья»: он узнал и пересчитал всех, подсмотрел их свидания и пирушки у Коньеты; затем как-то он был свидетелем одной из их проделок, притаившись неподалеку, и собственными глазами увидел, как они себя ведут по ночам.

Несмотря на то, что Максанс был сильно занят и постоянно разъезжал, он все же не желал пренебрегать ночными предприятиями — прежде всего, чтобы отвлечь внимание от грандиозной тайной операции, производимой с имуществом Руже, а кроме того — чтобы всегда держать своих друзей в состоянии готовности. И вот «рыцари» условились выкинуть одну из тех шуток, о которых рассказывалось потом целые годы. Они должны были в течение ночи подбросить шарики с ядом всем сторожевым собакам в городе и в предместьях. Фарио подслушал их, когда они выходили из кабака Коньеты, заранее поздравляя друг друга с успехом своей проказы и со всеобщим трауром по поводу этого нового иродова избиения. Да и каких только страхов не вызвала бы подобная казнь, свидетельствуя о злых умыслах относительно домов, оставшихся без своих стражей?

— Пожалуй, это затмит даже историю с тележкой Фарио! — сказал Годде-сын.

Фарио не нуждался в таких словах, подтверждающих его догадки; да он уже и принял решение.

Пробыв три недели в Иссудене, Агата поняла, так же как и г-жа Ошон, насколько прав был старый скряга: нужны были годы, чтобы уничтожить приобретенное Баламуткой и Максом влияние на ее брата. Агате так и не удалось хоть сколько-нибудь войти в доверие к Жан-Жаку, с которым она никак не могла поговорить

наедине. Наоборот, мадемуазель Бразье торжествовала над наследниками, вывозя Агату на прогулки в коляске и сидя рядом с ней на главном сиденье, меж тем как г-н Руже со своим племянником помещались на скамеечке напротив. Мать и сын с нетерпением ожидали ответа на секретное письмо, отправленное Дерошу. И однажды, накануне того дня, когда «рыцари безделья» собирались отравить собак, Жозеф, до смерти скучавший в Иссудене, получил два письма: первое — от знаменитого художника Шиннера, возраст которого допускал отношения более близкие, более задушевные, чем с Гро, их общим учителем, а второе письмо — от Дероша.

Вот первое письмо, с почтовым штемпелем Бомон-сюр-Уаз:

«Мой дорогой Жозеф, я закончил для графа де Серизи основную роспись замка Прэль. Для тебя я оставил обрамление и орнамент и так рекомендовал тебя и графу и его архитектору Грендо, что тебе остается только захватить кисти и приехать. Платой будешь доволен. Я уезжаю с женой в Италию, ты можешь захватить с собой в помощники Мистигри. Этот плутишка талантлив, и я предоставляю его в твое распоряжение. Он уже резвится, как Пьеро, предвкушая развлечения в замке Прэль. Прощай, дорогой Жозеф. Если я буду в отсутствии и ничего не приготовлю к ближайшей выставке, ты меня вполне заменишь! Да, дорогой Жожо, твоя картина, я уверен,— шедевр, но шедевр, который заставит кричать о романтизме, и ты будешь чувствовать себя, как бес перед заутреней. Но, в конце концов, такова жизнь: как говорит шутник Мистигри, который переворачивает наизнанку или превращает в каламбур все пословицы, закон жизни в том, что *все на одного!* Что ты поделываешь в Иссудене? Прощай.

Твой друг Шиннер».

Вот письмо Дероша:

«Дорогой Жозеф, твой г-н Ошон кажется мне старцем, преисполненным мудрости, и я весьма высоко оценил предложенные им способы — он совершенно прав. Итак, мой совет, поскольку ты о нем спрашиваешь, таков: пусть твоя матушка остается в Иссудене у г-жи

Ошон, уплачивая хозяевам за свое пропитание скромную сумму, франков четыреста в год. Г-жа Бридо, по-моему, должна последовать советам г-жи Ошон. Но такая превосходная женщина, как твоя матушка, будет многого совеститься при столкновении с людьми, действующими без зазрения совести и с величайшей житейской изворотливостью. Максанс опасен: он, как видно, человек отчаянный, но на иной лад, чем Филипп. Этот малый заставил свои пороки служить его благосостоянию и развлекается только с выгодой для себя,— не то, что твой брат, совершающий безумства в ущерб себе. Все, что ты мне сообщаешь, пугает меня, так как я не добьюсь ничего своим приездом в Иссуден. Г-н Ошон, скрываясь за спиной твоей матери, будет вам более полезен, чем я. Что касается тебя, то можешь вернуться в Париж: ты не годишься для такого дела,— оно требует непрерывного внимания, кропотливых наблюдений, рабской предупредительности, сдержанности в словах и скрытности в поведении, чрезвычайно противных художнику. Если вам сказали, что завещание не составлено, то, значит, оно уже давно существует, поверьте мне. Но завещания изменяются, и пока твой идиот-дядюшка жив, его, конечно, можно донять угрызениями совести и религией. Ваше богатство зависит от исхода борьбы между церковью и Баламуткой. Может наступить момент, когда эта женщина окажется бессильной по отношению к старику, а религия — всемогущей. Если твой дядюшка не передал ей ничего при жизни и не проделал никаких операций со своим имуществом, то все будет возможно в тот час, когда религия одержит верх. Поэтому непременно проси г-на Ошона внимательнейшим образом следить за имущественными делами твоего дяди. Нужно знать, заложена ли собственность, как и на чье имя помещен капитал. Нетрудно внушить старику, что завещать свое имущество чужим людям — это значит подвергать свою жизнь опасности,— так что наследник, даже и не больно хитрый, мог бы остановить расхищение в самом его начале. Но сумеет ли твоя мать, при своем незнании людей и бескорыстии, при своих религиозных представлениях, осуществить такую махинацию? Словом, я могу вам только советовать. Все, что вы сделали до сих пор, должно бы-

ло внушить тревогу вашим противникам, и, быть может, они уже приняли кой-какие меры!»

— Вот это действительно настоящий советчик! — воскликнул г-н Ошон, польщенный тем, что его оценил парижский стряпчий.

— О, Дерош — замечательный малый,— подтвердил Жозеф.

— Было бы небесполезно показать это письмо нашим обеим женщинам,— продолжал старый скряга.

— Возьмите его,— сказал художник, вручая письмо старику.— А я намереваюсь завтра уехать и хочу попрощаться с дядей.

— Ах, тут имеется приписка! — сказал старик Ошон.— Господин Дерош просит вас сжечь письмо.

— Вы сожжете его после того, как покажете матушке,— сказал художник.

Жозеф Бридо оделся, пересек маленькую площадь и предстал перед своим дядей, который в эту минуту кончал завтрак. Флора и Макс были за столом.

— Не вставайте, дорогой дядя, я пришел попрощаться с вами.

— Вы уезжаете? — сказал Макс, переглянувшись с Флорой.

— Да, у меня есть работа в замке де Серизи. Я тем более тороплюсь с отъездом, что граф пользуется большим влиянием в палате пэров и мог бы оказать услугу моему бедному брату.

— Отлично, работай,— с глуповатым видом сказал Руже, который показался Жозефу чрезвычайно изменившимся.— Нужно работать... Я огорчен, что вы уезжаете...

— О, мама еще останется на некоторое время,— ответил Жозеф.

Макс сделал движение губами, замеченное хозяйкой и означавшее: «Они хотят осуществить план, о котором мне говорил Барух».

— Я очень рад, что побывал здесь,— сказал Жозеф,— так как имел удовольствие познакомиться с вами и вы обогатили мою мастерскую...

— Да,— сказала Баламутка,— вместо того, чтобы сказать вашему дяде правду о стоимости картин, кото-

рые оцениваются больше чем в сто тысяч франков, вы поспешили отправить их в Париж. Бедный наш старичок, он все равно что ребенок! В Бурже нам сказали, что среди этих картин есть одна маленькая работа Кузена... или как его? — Пуссена, которая до революции висела на хорах собора,— она одна стоит тридцать тысяч франков.

— Это нехорошо, племянник,— сказал старик по знаку Макса, не замеченному Жозефом.

— Скажите-ка откровенно,— смеясь, подхватил солдат,— сколько, говоря по чести, стоят картины? Черт побери! Вы хитростью выманили их у вашего дяди, это ваше право — дяди и созданы для того, чтобы их облапошивали! Судьба отказала мне в дядюшках; но, черт побери, если б они у меня имелись, я не пощадил бы их.

— Знаете ли вы, сударь, сколько стоят *ваши* картины? — сказала Флора, обращаясь к Руже.— Сколько, по-вашему, господин Жозеф?

— Да по-моему...— ответил художник, покраснев, как рак,— картины стоят немало.

— Говорят, вы их оценили Ошону в сто пятьдесят тысяч франков,— сказала Флора.— Это правда?

— Да,— сказал художник, отличавшийся детским прямодушием.

— Вы отдавали себе отчет,— сказала Флора старику,— что дарите вашему племяннику сто пятьдесят тысяч франков?

— О нет! Совсем нет! — ответил старик, на которого пристально смотрела Флора.

— Есть способ все устроить,— сказал художник,— это вернуть вам картины!

— Нет, нет, оставь их у себя,— сказал старик.

— Я пришлю вам их обратно,— ответил Жозеф, задетый оскорбительным молчанием Максанса Жиле и Флоры Бразье.— Для меня достаточно моей кисти, чтобы добыть себе состояние, не обязываясь никому, даже своему родному дяде. Честь имею кланяться, сударыня. Всего хорошего, господа...

И Жозеф перебежал площадь в том состоянии раздражения, которое хорошо могут представить себе художники. Вся семья Ошонов была в гостиной. Увидев Жозефа, размахивавшего руками и разговаривавшего с

самим собой, его спросили, что с ним такое. В присутствии Баруха и Франсуа чистосердечный художник рассказал об устроенной ему сцене, которая стала достоянием всего города, причем каждый по мере сил приукрашал ее смешными подробностями. Некоторые утверждали, что Макс издевался над художником, другие,— что художник скверно вел себя с мадемуазель Бразье и Макс выставил его за двери.

— Какой еще ребенок ваш сын! — сказал Ошон г-же Бридо.— Простофиля стал жертвой сцены, которую ему приберегли на прощание. Уже две недели как Макс и Баламутка знали о стоимости картин, раз вы имели глупость сказать о ней здесь, в присутствии моих внуков, которые не нашли ничего лучшего, как разнести свежую новость по всему городу. Вашему художнику следовало уехать безо всяких прощаний.

— Мой сын прекрасно поступит, вернув картины, если они так дорого стоят,— сказала Агата.

— Если они, как утверждает ваш сын, стоят двести тысяч франков,— ответил старый Ошон,— то было бы неумно их возвращать; так вам хоть что-нибудь досталось бы из наследства, а иначе, судя по тому, как идут дела, вы не получите ничего! К тому же теперь у вашего брата почти есть основание больше не видеться с вами...

Между полночью и часом «рыцари безделья» приступили к бесплатному кормлению городских собак. Памятная экспедиция была закончена только к трем часам утра, и тогда зловредные шутники отправились ужинать к Коньете. В половине пятого, лишь только стало светать, они распрощались, чтобы идти по домам. В ту минуту, как Макс поворачивал с улицы Авенье на Большую улицу, Фарио, скрывавшийся в засаде за каким-то выступом, нанес ему удар ножом в грудь, вытащил лезвие и бросился бежать вилатскими рвами, по дороге обтерев нож платком. Испанец вымыл платок в Отводной реке и спокойно вернулся в Сен-Патерн, где снова улегся в постель, проникнув домой через окно, оставленное полуоткрытым, и был разбужен утром своим новым слугой, который застал его спящим самым глубоким сном.

Падая, Макс издал ужасный крик, в значении ко-

торого нельзя было ошибиться. Лусто-Пранжен, сын следователя, дальний родственник отставного помощника интенданта, и Годде-сын, проживавший в нижней части Большой улицы, бросились к нему, крича на бегу:

— Макса убивают! На помощь!

Но нигде не залаяла ни одна собака, так что никто, по милости самих же ночных шутников, не поднялся с постели. Макс был в обмороке, когда оба «рыцаря» подбежали к нему. Нужно было разбудить Годде-отца. Макс отлично узнал Фарио, но когда в пять часов утра пришел в себя, увидел вокруг людей и почувствовал, что рана не смертельна, он сразу придумал извлечь выгоду из этого нападения и жалобно воскликнул:

— Мне кажется, я узнал глаза и лицо этого проклятого художника!

Тотчас Лусто-Пранжен побежал за своим отцом, судебным следователем. Дядюшка Конье, Годде-младший и двое людей, которых разбудили для этого случая, перенесли Макса к нему домой. Коньета и Годде-отец шли по бокам, сопровождая Макса, лежавшего на матраце, укрепленном на двух палках. Г-н Годде не желал приступать к делу, пока Макс не будет в постели. Ожидая, пока Куский встанет открыть им, люди, переносившие раненого, естественно, могли бросить взгляд в ворота Ошона и заметить там служанку с метлой. У старика, как у большинства жителей провинции, ворота открывались очень рано. Слова, только что произнесенные Максом, возбудили подозрение, и отец Годде крикнул:

— Грита! Что, господин Жозеф Бридо ночевал дома?

— Да нет,— сказала она,— он ушел в половине пятого, а до этого всю ночь расхаживал по комнате; не знаю, что уж его разбирало.

Этот простодушный ответ был встречен гулом возмущения и восклицаниями, заставившими женщину, и без того сгоравшую от любопытства, подойти поближе — узнать, кого это принесли к папаше Руже.

— Нечего сказать, хорош ваш художник,— заметили ей.

И шествие двинулось в дом, оставив служанку в изумлении: она увидела умирающего Макса, лежащего на тюфяке, в окровавленной рубашке.

Художники догадываются, какое чувство овладело Жозефом и не давало ему покоя всю ночь; он уже представлял себе, как судачит о нем иссуденская буржуазия, сочтя его грабителем, полной противоположностью тому, чем он хотел быть,— славному малому, честному художнику! О, он отдал бы свою собственную картину, чтобы ласточкой полететь в Париж, вернуть дядины картины и швырнуть их Максу в лицо! Быть ограбленным— а прослыть грабителем! Какая насмешка! И он с утра бросился в тополевую аллею, ведущую к «Тиволи», чтобы дать выход своему волнению. В то время как этот молодой человек чистейшей души утешал себя мыслью никогда не возвращаться в здешние места, Макс подготовлял ему оскорбление, ужасное для тонких натур. Доктор Годде, осмотрев раненого, установил, что нож, наткнувшись на бумажник, счастливо скользнул в сторону, нанеся все же ужасную рану, и, как делают все доктора, а особенно провинциальные хирурги, Годде, чтобы придать себе вес, заявил, что ручаться за жизнь Макса он еще не может; сделав перевязку коварному рубаке, он ушел. Суждение науки Годде-отец объявил Баламутке, Жан-Жаку Руже, Кускому и Ведии. Баламутка вернулась к своему дорогому Максу вся в слезах, в то время как Куский и Ведия сообщали людям, собравшимся возле дома, что офицер почти приговорен к смерти. Следствием этой новости было то, что на площади Сен-Жан и на обеих улицах Нарет собралось почти двести человек.

— Я и месяца не проведу в постели, и я знаю, кто нанес удар,— сказал Макс Баламутке.— Но воспользуемся случаем, чтобы избавиться от парижан. Я уже заявил, что, кажется, узнал художника; вы в свою очередь держитесь так, как будто я умираю; постарайтесь, чтобы Жозеф Бридо был арестован, и мы заставим его денек-другой понюхать тюремного воздуха. По-моему, я раскусил мамашу, и я уверен, что она улепетнет в Париж со своим художником. Таким образом, нам можно не бояться попов, которых хотели напустить на нашего дурачка.

Спустившись вниз, Флора Бразье застала толпу, весьма расположенную воспринять то, что ей хотели внушить. Флора вышла со слезами на глазах и, разразившись рыданиями, дала понять, что художник — у которого, к слову сказать, и физиономия подозрительная—накануне

крупно поспорил с Максом по поводу картин, *стибренных им у папаши Руже*.

— Этот разбойник — достаточно посмотреть на него, чтобы увидеть, кто он такой,— думает, что дядя оставил бы состояние ему, если бы не уговоры Макса,— сказала она.— Как будто брат не более близкий родственник, чем племянник... Ведь Макс — сын доктора Руже. *Старик сам говорил мне об этом перед смертью...*

— Ага! Он хотел перед отъездом пристукнуть его; он неглупо рассчитал это дельце, сегодня он уезжает,—сказал один из «рыцарей безделья».

— У Макса нет ни одного врага в Иссудене,—добавил другой.

— А кроме того, Макс узнал художника,— сказала Баламутка.

— Да где этот проклятый парижанин? Разыщем его!— закричали кругом.

— Как бы не так!— послышалось в ответ.— Он ушел из дома господина Ошона еще на рассвете.

Один из «рыцарей безделья» тотчас побежал к г-ну Муйерону. Толпа непрерывно росла, и шум голосов становился угрожающим. Группы возбужденных людей занимали всю площадь и улицу Гранд-Нарет. Другие стояли перед церковью Сен-Жан. Еще одно сборище занимало Вилатские ворота, место, где кончается Птит-Нарет. Нельзя было пробраться ни низом, ни верхом через площадь Сен-Жан. Можно было подумать, что идет какая-то процессия. Лусто-Пранжен и Муйерон, полицейский комиссар, жандармский лейтенант и его бригадир в сопровождении двух жандармов с трудом пробились на площадь Сен-Жан, куда они протиснулись сквозь две шпалеры людей, восклицания и крики которых должны были настроить их против парижанина, обвиненного так несправедливо, но на основании стольких улик.

После совещания Макса с чиновниками г-н Муйерон отрядил полицейского комиссара с бригадиром и жандармом исследовать то, что на языке министерства внутренних дел называется *сценой преступных действий*. Потом Муйерон и Лусто-Пранжен в сопровождении жандармского лейтенанта перешли от папаши Руже в дом Ошонов, поставив двух жандармов на страже в конце са-

да и двух других у дверей. Толпа все росла и росла. Весь город в возбуждении заполнял Большую улицу.

Грита, совсем обеспамятев, бросилась к хозяину и крикнула ему:

— Сударь, нас идут громить! Весь город поднялся! Господин Максанс Жиле убит, кончается... и говорят, что его ранил господин Жозеф.

Старик Ошон быстро оделся и спустился вниз; но, увидев разъяренную толпу, вскочил обратно и запер дверь на задвижку. Расспросив Гриту, он узнал, что его гость всю ночь расхаживал по комнате в большом волнении, вышел чем свет из дому и до сих пор не возвращался. Испуганный старик отправился к г-же Ошон, уже проснувшейся от шума, и сообщил ей ужасное известие, которое — было ли оно правдой или ложью — взбунтовало всех иссуденцев, запрудивших площадь Сен-Жан.

— Он не виновен, в этом не может быть сомнений,— сказала г-жа Ошон.

— Но покамест установят его невиновность, сюда могут ворваться и разграбить нас,— сказал Ошон, побледнев (у него в погребе было спрятано золото).

— А Агата?

— Она спит, как сурок!

— А, тем лучше,— сказала г-жа Ошон.— Я бы хотела, чтобы она не просыпалась, пока не выяснится дело. Такой удар убьет мою бедную дочурку!

Но Агата проснулась и полуодетая сошла вниз, так как недомолвки Гриты, которую она стала расспрашивать, привели в смятение ее ум и сердце. Она застала г-жу Ошон вместе с ее мужем у окна гостиной бледную, со слезами на глазах.

— Мужайся, дочурка! Бог ниспослал нам испытание,— сказала старушка.— Жозефа обвиняют...

— В чем?

— В скверном поступке, которого он не мог совершить,— ответила г-жа Ошон.

Услышав эти слова и увидев входившего жандармского лейтенанта, г-на Муйерона и Лусто-Пранжена, Агата упала в обморок.

— Слушайте,— сказал г-н Ошон жене и Грите,— уведите госпожу Бридо. В таких обстоятельствах женщины

только мешают... Идите вместе с нею к себе. Садитесь, господа,— сказал старик.— Недоразумение, которому мы обязаны вашим приходом, не замедлит, надеюсь, выясниться.

— Недоразумение это или нет,— ответил г-н Муйерон,— но толпа так разъярена и головы так возбуждены, что я боюсь за обвиняемого... Я хотел бы препроводить его в здание суда и таким образом успокоить возбужденное население.

— Кто бы предполагал, что Максанс Жиле внушит такую любовь? — сказал Лусто-Пранжен.

— Сейчас, как сообщил мне один из моих людей, тысяча двести человек выходят из Римского предместья,— заметил жандармский лейтенант.— Они орут, угрожают расправой, самосудом.

— Где же ваш гость? — спросил г-н Муйерон г-на Ошона.

— Кажется, он отправился погулять за город...

— Позовите Гриту,— важно сказал судебный следователь.— Я надеялся, что господин Бридо не уходил из дому. Вам, конечно, известно, что преступление совершено в нескольких шагах отсюда, на рассвете?

Пока г-н Ошон разыскивал Гриту, три чиновника обменялись многозначительными взглядами.

— Физиономия этого живописца мне никогда не нравилась,— сказал лейтенант г-ну Муйерону.

— Скажите, милая,— обратился следователь к Грите, лишь только она вошла,— говорят, вы видели, как господин Жозеф Бридо сегодня утром выходил из дому.

— Да, сударь,— ответила она, дрожа как лист.

— В котором часу?

— Как только я встала; ведь он всю ночь расхаживал в своей комнате, и когда я вышла, он уже был одет.

— Уже рассвело?

— Светало.

— У него был возбужденный вид?

— Да, еще бы! Мне показалось, он не в себе.

— Пошлите за моим протоколистом кого-нибудь из ваших людей,— сказал Лусто-Пранжен лейтенанту,— и пусть он придет с ордером на...

— Боже мой, подождите,— сказал г-н Ошон.— Возбуждение молодого человека объясняется совсем иначе,

а вовсе не обдумыванием убийства: сегодня утром он уезжает в Париж вследствие одной истории, из-за которой Жиле и мадемуазель Флора Бразье сомневались в его честности.

— Да, истории с картинами,— сказал г-н Муйерон.— Вчера она была поводом для весьма крупной ссоры, а у художников, как говорится, голова не на месте.

— Кому во всем Иссудене понадобилось бы убить Максанса? — спросил Лусто.— Ни ревнивому мужу, ни кому бы то ни было, потому что этот молодой человек никого ничем не обидел.

— Но что же делал господин Жиле в половине пятого на улицах Иссудена? — спросил г-н Ошон.

— Позвольте, господин Ошон, предоставьте нам заниматься нашим ремеслом,— ответил Муйерон.— Вы еще не знаете всего: Макс узнал вашего художника...

В эту минуту в конце города поднялся крик, который, усиливаясь, несся вдоль улицы Гранд-Нарет, как раскаты грома.

— Вот он! Вот он! Его схватили!

Эти слова явственно выделялись среди грозного гула толпы. Действительно, бедный Жозеф Бридо, который, ничего не подозревая, возвращался к завтраку мимо Ландрольской мельницы, был сразу замечен всеми, как только он появился на площади Мизер. К счастью, два жандарма бегом бросились к нему, чтобы вырвать его у толпы жителей Римского предместья, которые уже грубо хватали его за руки, крича: «Смерть ему!»

— Расступитесь! Расступитесь! — повторяли жандармы, позвавшие еще двух других, чтобы прикрыть Жозефа спереди и сзади.

— Видите ли, сударь,— сказал художнику один из его охраны,— сейчас дело касается не только вашей шкуры, но и нашей. Виновны вы или нет, но мы обязаны защитить вас от толпы, возмущенной убийством Жиле, а этот народ не сомневается в вашей вине, они считают вас убийцей, их ничем не собьешь. Они обожают господина Жиле; вы только посмотрите на них, они готовы расправиться с вами самосудом. Мы же видели в тридцатом году, как они трепали податных чиновников, которым, надо сказать, солоно пришлось!

Жозеф Бридо смертельно побледнел, но, собрав все свои силы, двинулся дальше.

— Как бы там ни было,— сказал он,— я не виновен, идемте!

И художник прошел весь свой крестный путь! Тяжелее всего далась ему дорога от площади Мизер до площади Сен-Жан,— на мнимого преступника сыпались оскорбления, ругательства, угрозы убить его. Жандармы вынуждены были обнажить сабли против бесновавшейся толпы, бросавшей в них камнями. Конвоиров чуть было не поранили, несколько брошенных камней задели ноги, плечи и шляпу Жозефа.

— Вот и мы! — сказал один из жандармов, входя в гостиную Ошонов.— Добрались сюда не легко, господин лейтенант!

— Теперь нужно рассеять это сборище, и я вижу только один способ, господа,— сказал офицер чиновникам.— Нужно отвести господина Бридо в здание суда, прикрыв его со всех сторон. Мы со своими жандармами вас защитим, господин Бридо. Нельзя ни за что поручиться, когда вокруг шесть тысяч бесноватых...

— Вы правы,— сказал г-н Ошон, дрожавший за свое золото.

— Если в Иссудене это лучший способ защитить невинного, то поздравляю вас! — заметил Жозеф.— Меня и так уж чуть не побили камнями...

— Что же, вы хотите, чтоб ворвались в дом, где вас приютили, и чтоб разграбили его?—спросил лейтенант.— Разве мы со своими саблями можем отразить напор людей, на которых нажимает разъяренная толпа, не знающая формальностей правосудия?

— О, идемте, господа, мы объяснимся потом,— ответил Жозеф, вновь обретя хладнокровие.

— Расступитесь, друзья! — крикнул лейтенант.— Он арестован, мы ведем его в суд!

— Уважайте правосудие, друзья! — воскликнул г-н Муйерон.

— Разве вы не предпочитаете, чтобы его гильотинировали? — сказал один из конвоиров кучке остервенев-ших людей.

— Да, да! — закричал один из беснующихся.— Его гильотинируют!

— Его скоро гильотинируют,— повторяли женщины.

В конце улицы Гранд-Нарет говорили друг другу:

— Его взяли, чтобы гильотинировать. При нем нашли нож! А, негодяй! Вот вам парижане! По лицу видно, что преступник!

Хотя Жозеф и был вне себя, он прошел путь от площади Сен-Жан до суда, сохраняя замечательное спокойствие и выдержку. Тем не менее он был очень доволен, очутившись в кабинете г-на Лусто-Пранжена.

— Я думаю, мне нет необходимости, господа, говорить вам, что я не виновен,— обратился он к г-ну Муйерону, г-ну Лусто-Пранжену и протоколисту.— Я могу только просить вашей помощи, чтобы доказать свою невиновность. Я ничего не знаю об этом деле.

Когда судья по порядку рассказал о всех подозрениях, тяготевших над ним, и закончил заявлением Макса, Жозеф был ошеломлен.

— Но я вышел из дому после пяти часов,— сказал он,— я пошел по Большой улице и в половине шестого осматривал фасад церкви Сен-Сир. Там я разговаривал со звонарем, пришедшим прозвонить «Анжелюс», расспрашивал его о здании, которое кажется мне странным и незаконченным. Потом я пересек овощной рынок, где уже были женщины, потом миновал площадь Мизер и через мост Озан дошел до мельницы Ландроль; там я минут пять-шесть преспокойно смотрел на уток, и работники мельника, вероятно, меня заметили. Я видел женщин, которые шли на реку стирать белье, они должны быть еще там; они стали подшучивать надо мной, говоря, что я не больно красив; я им ответил: «Укладка не тем славна, что сама складна, а тем славна, что жемчуга полна». От туда я прошелся по большой аллее до «Тиволи», где разговаривал с садовником... Распорядитесь проверить эти факты и не приказывайте меня арестовывать, а я даю вам слово оставаться в вашем кабинете, пока вы не убедитесь в моей невиновности.

Эта разумная речь, произнесенная без запинки и с той свободой, с какой объясняется человек, уверенный в своей правоте, произвела на чиновников некоторое впечатление.

— Прекрасно, но нужно вызвать всех этих людей, разыскать их,— сказал г-н Муйерон.— Все это дело не одного дня. Итак, согласитесь в собственных ваших интересах подвергнуться заключению в здании суда.

— Лишь бы мне можно было написать матери, чтобы успокоить ее, бедняжку. О, вы можете прочесть письмо!

Эта просьба была слишком справедлива, чтобы не исполнить ее, и Жозеф написал следующую записочку:

«Будь совершенно спокойна, дорогая мама: ошибка, жертвой которой я стал, будет легко установлена — я указал для этого пути. Завтра или, быть может, сегодня вечером я буду свободен. Целую тебя, скажи господину и госпоже Ошон, что я крайне сожалею, что доставил им столько беспокойства, хотя я в том ничуть не виноват, так как это дело какого-то случайного стечения обстоятельств, пока еще не понятного мне».

Письмо было получено, когда г-жа Бридо жестоко мучилась в нервном припадке; микстуры, которые ее заставлял принимать г-н Годде, не помогали. Таким образом, чтение этого письма было для нее целительным бальзамом. После судорожных рыданий Агата впала в угнетенное состояние — обычный конец подобных потрясений. Когда Годде снова навестил больную, она выражала сожаление, что приехала в Иссуден.

— Бог наказал меня,— сказала она со слезами на глазах.— Разве я не должна была довериться господу, моя дорогая крестная, и положиться на его благую волю, чтобы получить наследство брата?

— Сударыня, если ваш сын не виновен, то Максанс — самый закоренелый злодей,— сказал ей на ухо г-н Ошон,— а при таких обстоятельствах перевес никогда не будет на нашей стороне. Так что возвращайтесь-ка вы в Париж.

— Ну как? — спросила г-жа Ошон доктора Годде.— Как себя чувствует господин Жиле?

— Рана хотя и тяжела, но не смертельна. Через месяц Макс будет на ногах. Когда я уходил от него, он писал письмо господину Муйерону с просьбой отпустить на свободу вашего сына, сударыня,— сказал он своей пациентке.— О, Макс—славный малый. Я ему сообщил, в каком вы состоянии, и тут же он припомнил одну особен-

ность в одежде своего убийцы, доказавшую ему, что это не мог быть ваш сын: преступник был в плетеных веревочных туфлях, а ваш сын, наверное, вышел из дому в сапогах.

— Ах, да простит ему бог то зло, которое он мне причинил!

Ночью какой-то человек принес Жиле письмо, написанное печатными буквами и гласившее следующее:

«Капитан Жиле не должен оставлять невинного в руках правосудия. Тот, кто нанес удар, обещает не повторять его, если господин Жиле освободит господина Жозефа Бридо, не указывая настоящего виновника».

Макс, прочитав это письмо, сжег его и написал Муйерону, сообщая ему сведения, переданные доктором Годде г-же Бридо, и прося отпустить Жозефа на свободу, а для выяснения дела прийти поговорить. В то время, когда это письмо было получено г-ном Муйероном, Лусто-Пранжен, допросив звонаря, овощных торговок, прачек, работников с мельницы Ландроль и садовника из Фрапэля, уже удостоверился в правдивости объяснений Жозефа. Письмо Макса окончательно подтвердило невиновность обвиняемого, которого г-н Муйерон сам отвел к Ошонам. Мать встретила Жозефа порывом такой сильной нежности, что этот бедный непризнанный сын, как муж из басни Лафонтена, благодаривший вора, воздал благодарность неприятному случаю, повлекшему за собою такие изъявления любви.

— О, я тотчас понял, по тому, как вы смотрели на раздраженную чернь, что вы не виновны,— с проницательным видом сказал г-н Муйерон.— Но, видите ли, надо знать Иссуден: несмотря на полную уверенность, лучшим средством оказать вам защиту было подвергнуть вас аресту, что мы и сделали. Но какую выдержку вы показали!

— Я думал тогда совсем о другом,— просто ответил художник.— Я знавал одного офицера, который мне рассказывал, что в Далмации, вернувшись утром с прогулки, он, при подобных же обстоятельствах, был задержан возбужденной толпой. Такое сходство положений занимало меня, и я смотрел на все эти лица, замышляя изобразить когда-нибудь волнения тысяча семьсот девяносто третьего года. А кроме того, я мысленно обратился

к себе: «Негодяй, ты получил по заслугам, явившись сюда за наследством, вместо того чтобы писать картины в своей мастерской».

— Если позволите дать вам совет,— сказал Жозефу прокурор,— то сегодня же, в одиннадцать часов вечера, садитесь в карету, которую предоставит вам начальник почты, и из Буржа возвращайтесь дилижансом в Париж.

— Таково же и мое мнение,— сказал г-н Ошон, горевший желанием отделаться от гостя.

— И мое самое горячее желание — это покинуть Иссуден, хотя здесь я и оставляю своего единственного друга,— сказала Агата, целуя руку г-жи Ошон.— Когда-то еще мы снова увидимся?

— О, моя девочка, мы увидимся только на небесах! Мы достаточно страдали здесь, чтобы господь смилостивился над нами,— шепнула старушка Агате на ухо.

Немного спустя после того, как г-н Муйерон поговорил с Максом, Грита весьма изумила чету Ошонов, Агату, Жозефа и Адольфину, доложив о посещении г-на Руже. Жан-Жак пришел попрощаться со своей сестрой и предложить ей свою коляску до Буржа.

— Ах, ваши картины причинили нам столько зла! — сказала ему Агата.

— Оставьте их у себя,— ответил старик, все еще не веривший в ценность картин.

— Соседушка,— обратилась к нему г-жа Ошон,— наши лучшие друзья, наши самые верные защитники — это родные, особенно когда они похожи на вашу сестру Агату и вашего племянника.

— Возможно! — тупо ответил старик.

— Нужно подумать о том, чтобы по-христиански окончить жизнь,— заметила г-жа Ошон.

— Ах, Жан-Жак,— воскликнула Агата,— какой это был день!

— Что же, берете мою коляску? — спросил Руже.

— Нет, братец,— ответила г-жа Бридо,— благодарю вас и желаю вам доброго здоровья!

Руже предоставил сестре и племяннику поцеловать его и ушел, равнодушно промолвив: «Прощайте». По распоряжению дедушки Барух сбегал на почту. В одиннадцать часов вечера двое парижан, притулившись в плетеном кузове кабриолета, запряженного одной лошадью, с

ямщиком на козлах, покинули Иссуден. У Адольфины и г-жи Ошон навернулись на глазах слезы. Они одни сожалели об отъезде Агаты и Жозефа.

— Уехали,— сказал Франсуа Ошон, входя с Баламуткой в комнату Макса.

— Отлично, партия выиграна,— ответил Макс, ослабевший от лихорадки.

— А что ты сказал папаше Муйерону? — спросил Франсуа.

— Я сказал, что сам почти дал повод моему убийце подкараулить меня на углу улицы, а у этого человека такой характер, что если станут его разыскивать, то он убьет меня, как собаку, прежде чем его схватят. Поэтому я просил Муйерона и Пранжена для виду заняться самыми тщательными розысками, но оставить преступника в покое, если они не хотят, чтобы меня убили.

— Надеюсь, Макс,—сказала Флора,—что хоть некоторое время вы будете по ночам вести себя тихо.

— Как бы там ни было, но мы освободились от парижан! — воскликнул Макс.— Тот, кто нанес мне удар, и не подозревал, что оказывает нам такую услугу.

На следующий день, если не считать лиц наиболее спокойных и сдержанных, разделявших мнение супругов Ошонов, отъезд парижан, хотя и вызванный прискорбным недоразумением, праздновался всем городом, как победа провинции над Парижем. Кое-кто из друзей Макса весьма резко выражался по поводу семейства Бридо.

— Так эти парижане воображали, что мы дураки; дескать, подставь только шляпу — и в нее посыплются наследства!

— Они приехали стричь шерсть, а сами возвращаются остриженными: племянник пришелся не по вкусу дядюшке.

— И, видите ли, они советовались с парижским стряпчим.

— Ага! Так у них был особый план?

— Ну да, они задумали стать хозяевами в доме папаши Руже. Но у парижан не хватило силенок, и парижскому стряпчему не удалось посмеяться над беррийцами.

— Ну, разве, по-вашему, это не омерзительно?

— Вот они — парижане!

— Баламутка увидела, что на нее нападают, и защитилась.

— Отлично сделала...

Бридо в глазах всего города были парижанами, чужаками; им предпочитали Макса и Флору.

Можно себе представить, как были довольны Агата и Жозеф, когда, вернувшись из поездки, снова очутились в маленькой квартирке на улице Мазарини. В пути художник опять обрел свою веселость, покинувшую его было во время ареста и двадцатичасового заключения; но он не мог развлечь свою мать. Агате тем более трудно было оправиться от своих волнений, что в верховном суде начиналось дело о военном заговоре. Поведение Филиппа, несмотря на ловкость его защитника, руководившегося советами Дероша, возбуждало неблагоприятные для него подозрения. Поэтому-то Жозеф, сообщив Дерошу обо всем происшедшем в Иссудене, сейчас же поспешил уехать вместе с Мистигри в замок графа де Серизи, чтобы ничего не слышать об этом процессе, который длился двадцать дней.

Не стоит здесь возвращаться к фактам, взятым из современной истории. То ли Филипп разыграл какую-нибудь порученную ему роль, то ли он был одним из осведомителей, но он был приговорен лишь к пребыванию под надзором политической полиции в течение пяти лет с обязательством немедленно выехать в Отен — этот город назначил ему начальник королевской полиции местом жительства на весь пятилетний срок. Такое наказание равносильно лишению свободы, применяемому к пленным, которых отпускают под честное слово на поселение в какой-либо город, служащий им своего рода тюрьмой. Узнав, что граф де Серизи, один из пэров, назначенных палатой для расследования дела, пригласил Жозефа расписывать замок Прэль. Дерош попросил у этого государственного человека аудиенцию и нашел, что граф наилучшим образом расположен к Жозефу, с которым его свел случай. Дерош обрисовал имущественное положение обоих братьев и напомнил о заслугах их отца, забытых при Реставрации.

— Такие несправедливости, ваша светлость,— сказал стряпчий,— являются непрестанным источником раздражения и недовольства! Вы знали отца — так по крайней

мере дайте его детям возможность приобрести себе некоторые средства к жизни.

И, сжато изложив, как обстояли дела семьи в Иссудене, он обратился с просьбой к всемогущему заместителю председателя государственного совета выхлопотать у начальника полиции замену города Отена городом Иссуденом для местожительства Филиппа. Наконец он сообщил об ужасной нужде Филиппа и попросил оказать ему помощь ежемесячной пенсией в шестьдесят франков, которую военный министр должен был хотя бы из чувства приличия назначить отставному подполковнику.

— Я добьюсь всего, о чем вы просите, так как считаю это вполне справедливым,— обещал граф.

Три дня спустя Дерош, снабженный необходимыми бумагами, отправился за Филиппом в тюрьму суда пэров и привез его к себе, на улицу Бетизи. Там молодой стряпчий обратился к отвратительному рубаке с одной из тех проповедей, в которых стряпчие, не допуская никаких возражений, дают вещам их настоящую оценку, в недвусмысленных словах расценивают поступки, анализируют и сводят к основной сути чувства своих подзащитных, если достаточно интересуются ими, чтобы их поучать. Совершенно уничтожив ординарца императора, поставив ему в укор его бессмысленные развлечения, несчастья его матери и смерть старухи Декуэн, он рассказал ему о положении вещей в Иссудене, осветив их по-своему и глубоко проникая в планы и характер Максанса Жиле и Баламутки.

Одаренный способностью весьма быстро понимать дела такого рода, политический преступник гораздо внимательней выслушал последнюю часть обвинительного акта Дероша, чем первую.

— При таких обстоятельствах,— заключил свою речь стряпчий,— вы можете хотя бы несколько возместить ущерб, какой вы причинили вашей прекрасной семье; правда, вы не в состоянии вернуть жизнь той бедной женщине, которой вы нанесли смертельный удар, но вы один можете...

— Но как же это сделать! — прервал его Филипп.

— Я добился того, что вам назначили местожительством Иссуден вместо Отена.

Лицо Филиппа, столь изнуренное, ставшее почти зловещим, изможденное болезнями, страданиями и лишениями, мгновенно осветилось вспышкой радости.

— Один вы, говорю я, можете завладеть наследством вашего дяди, вероятно уже наполовину находящимся в пасти этого волка, именуемого Жиле,— продолжал Дерош.— Вы знаете все досконально; теперь, сообразно с этим, вам предстоит действовать. Я не предначертываю вам плана, я сам еще не знаю, что вам посоветовать; впрочем, на месте будет виднее. Вам предстоит иметь дело с сильными врагами: молодчик коварен, и способ, к какому он прибег, чтобы снова завладеть картинами, подаренными вашим дядей Жозефу, дерзость, с какой он свалил преступление на вашего бедного брата, свидетельствует, что это противник, способный на все. Будьте осторожны! Если благоразумие не свойственно вашей натуре, то по крайней мере постарайтесь соблюдать его хотя бы из расчета. Ничего не говоря Жозефу, чтобы не возмущать в нем гордость художника, картины я отправил господину Ошону, предуведомив его, чтоб он не отдавал их никому, кроме вас. Этот Максанс Жиле храбр...

— Тем лучше,— сказал Филипп.— Я очень рассчитываю, что именно храбрость этого негодника и поможет мне добиться успеха, а будь он трусом, он убежал бы из Иссудена.

— Так вот, подумайте о своей матери, которая относится к вам с поистине восхитительной нежностью, и о брате, которого вы превратили в дойную корову.

— Ага! Он говорил вам об этих пустяках? — воскликнул Филипп.

— Что же, разве я не друг семьи и разве я не знаю о вас даже больше, чем они сами?

— А что вы знаете? — спросил Филипп.

— Вы предали своих товарищей...

— Я! — вскричал Филипп.— Я! Ординарец императора? Враки!.. Мы надули палату пэров, суд, правительство и всю их проклятую лавочку! Королевские лакеи лишь то и увидели, что мы им выставили напоказ.

— Хорошо, если так,— ответил поверенный.— Но, видите ли, Бурбоны не могут быть свергнуты, за них Европа, и вы должны бы подумать, как заключить мир с

военным министерством... О, вы добьетесь этого, когда разбогатеете, а чтобы вам и вашему брату разбогатеть, вы должны прибрать к рукам дядюшку. Если вы хотите достигнуть успеха в деле, которое требует столько ловкости, скрытности и терпения, то у вас будет над чем поработать в продолжение всех этих пяти лет...

— Нет, нет,— сказал Филипп,— надо действовать поскорее; этот Жиле, чего доброго, добьется, что дядя обменяет свое имущество на процентные бумаги или переведет его на имя этой девки, и тогда все пропало!

— А еще имейте в виду, что господин Ошон — хороший советчик и правильно разбирается во всем, советуйтесь с ним. Подорожная у вас на руках, за вами оставлено место в орлеанском дилижансе, отбытие в половине восьмого. Уложите свой чемодан и приходите обедать!

— Все мое имущество на мне,— сказал Филипп, распахивая свой ужасающий синий сюртук.— Но мне не хватает трех вещей: моей сабли, шпаги и пистолетов; попросите моего приятеля Жирудо — он приходится Фино дядей,— пусть он перешлет их мне!

— Вам не хватает еще многого другого,— сказал стряпчий, содрогнувшийся при взгляде на своего клиента.— Вы получите содержание за три месяца, чтобы прилично одеться.

— Ба, это ты, Годешаль! — воскликнул Филипп, узнав брата Мариетты в старшем письмоводителе Дероша.

— Да, я работаю у господина Дероша уже два месяца.

— И надеюсь,— заметил Дерош,— он останется здесь, пока не заведет собственной конторы.

— А Мариетта?—спросил Филипп, взволнованный воспоминаниями.

— Она ожидает открытия нового театрального зала.

— Ей нетрудно было бы устроить, чтобы меня вернули из ссылки. Впрочем, как хочет!

После скудного обеда, предложенного Филиппу Дерошем, у которого столовался его старший письмоводитель, два деловых человека посадили политического преступника в карету и пожелали ему удачи.

Второго ноября, в день поминовения усопших, Филипп

Бридо явился к полицейскому комиссару Иссудена отметить свой приезд на сопроводительной бумаге; потом он, по совету этого чиновника, нашел себе помещение на улице Авенье. Тотчас новость о прибытии высланного офицера, замешанного в последнем заговоре, распространилась по всему Иссудену и произвела тем большее впечатление, что этот офицер оказался братом столь несправедливо обвиненного художника. Максанс Жиле, к тому времени совершенно залечивший свою рану, закончил весьма трудные хлопоты по реализации закладных папаши Руже и по их переводу в государственную ренту. Заем ста сорока тысяч франков, сделанный стариком под свое недвижимое имущество, вызвал в городе много разговоров, так как в провинции знают все. Г-н Ошон, взволнованный этими толками, памятуя об интересах Бридо, расспросил старого Эрона, нотариуса г-на Руже, о цели этих операций.

— Если папаша Руже передумает относительно завещания, его наследники будут обязаны поставить за меня хорошую свечу! — воскликнул г-н Эрон.— Не будь меня, старик согласился бы перевести пятьдесят тысяч франков дохода с ренты на имя Максанса Жиле. Я сказал мадемуазель Бразье, что она должна опираться на завещание, иначе ей угрожает привлечение к суду в качестве злостной расхитительницы ввиду многочисленных доказательств их проделок со всякими переводами имущества. Чтобы выиграть время, я посоветовал Максансу и его любовнице пока ничего больше не предпринимать, чтобы не вызвать подозрений всеми этими хлопотами, столь противоречащими привычкам старика.

— Оставайтесь же защитником и покровителем семьи Бридо, потому что у них ничего нет,— сказал г-ну Эрону старик Ошон, не простивший Максансу тех потрясений, которые недавно испытал, боясь, как бы не разграбили его дом.

Максанс Жиле и Флора Бразье, чувствуя себя недосягаемыми, только усмехнулись, узнав о прибытии второго племянника Руже. Ведь при первом же признаке опасности со стороны Филиппа они могли заставить папашу Руже подписать доверенность, а государственная рента могла быть переведена на имя Макса или Флоры. Если бы даже завещание было изменено, то пятьдесят тысяч

ливров дохода послужили бы недурным утешением, да еще можно было рассчитывать на сто сорок тысяч франков под закладную на земельное имущество.

На следующий день по приезде Филипп Бридо около десяти часов утра явился с визитом к своему дядюшке; он заблагорассудил показаться в своем ужасном одеянии. Таким образом, когда человек, побывавший в Южном госпитале и в Люксембургской тюрьме, вошел в залу, Флора Бразье при виде этого отталкивающего субъекта испытала как бы сердечное содрогание. Жиле, в свою очередь, ощутил то потрясение разума и чувства, которым природа предуведомляет нас о скрытой вражде или приближающейся опасности. В лице у Филиппа после перенесенных им несчастий появилось что-то зловещее, а его одежда еще усугубляла это впечатление. Его жалкий синий сюртук, ввиду печальных обстоятельств, был застегнут по-военному до самого воротничка, но он и так выдавал слишком хорошо то, что ему надлежало скрыть. Штаны, обтрепанные снизу, словно у инвалида, свидетельствовали о глубокой бедности. Сапоги оставляли мокрые следы, подошвы хлюпали и брызгали грязной водой. Серая шляпа, которую полковник держал в руках, являла взорам ужасающе засаленную тулью. Камышовая трость со стершимся лаком, должно быть, побывала в углах всех парижских кофеен и долго утыкалась своим витым концом во всяческую грязь. Над бархатным галстуком с вылезшей наружу картонной прокладкой возвышалась голова, почти подобная той, какую при помощи грима создает Фредерик Лемэтр в последнем акте «Жизни игрока», медно-красный, кое-где зеленоватый цвет лица, выдающий истощенность еще сильного мужчины,—подобные краски часто можно увидеть на лицах кутил, проводящих ночи за карточной игрой; глаза, окаймленные темными кругами, неестественно красные воспаленные веки, наконец лоб, производящий страшное впечатление и свидетельствующий о разрушении организма. У Филиппа, только что начавшего получать свое содержание, щеки были почти втянуты внутрь и изрыты морщинами. На лысом черепе осталось сзади всего несколько прядей волос, постепенно редевших к ушам. Чистая синева его сверкающих глаз приняла холодный оттенок стали.

— Здравствуйте, дядя,— сказал он хриплым голосом.— Я—ваш племянник Филипп Бридо. Вот как Бурбоны обращаются с подполковником, ветераном старой гвардии, передававшим приказания императора в битве при Монтеро! Мне было бы стыдно, если бы мой сюртук распахнулся в присутствии мадемуазель. Что ж, в конце концов — это закон игры. Мы хотели снова начать партию и проиграли! Я живу в вашем городе по приказу полиции, с отличным окладом в шестьдесят франков ежемесячно. Таким образом, горожане могут не опасаться, что я вздую цены на съестные припасы. Я вижу, вы в прекрасной компании.

— Ах! Значит, ты мой племянник...— сказал Жан-Жак.

— Так пригласите же господина полковника позавтракать с нами,— сказала Флора.

— Нет, сударыня, спасибо,— ответил Филипп,— я уже завтракал. Кроме того, я бы скорее отрубил себе руку, чем попросил кусок хлеба или грош у моего дяди после того, что произошло в этом городе с моим братом и матерью... Мне только показалось неприличным оставаться в Иссудене и не свидетельствовать дядюшке время от времени мое почтение. А что касается вас,—сказал он, протянув свою длань дяде и потрясши его руку,—то вы можете поступать как вам угодно: я ничему не буду противиться, лишь бы только честь Бридо осталась неприкосновенной...

Жиле мог свободно разглядывать подполковника, потому что Филипп с явной нарочитостью избегал смотреть на него. Хотя кровь кипела у него в жилах, Макс был слишком заинтересован в том, чтобы вести себя с той осторожностью великих политиков, которая порой походит на трусость, и не вспылить, как юноша; поэтому он оставался спокойным и холодным.

— Вам не подобает, сударь,— сказала Флора,— жить на шестьдесят франков в месяц под самым носом у своего дядюшки, ведь у него сорок тысяч франков ренты и он так хорошо обошелся с господином Жиле, своим внебрачным родственником,— вот познакомьтесь с ним.

— Да, Филипп,—вмешался старик,—мы подумаем об этом...

Представленный Флорой, Филипп почти боязливо обменялся поклоном с Жиле.

— Дядя, я должен вернуть вам картины; они у господина Ошона; вы доставите мне удовольствие, если зайдете как-нибудь на днях принять их.

Сухо произнеся эти последние слова, подполковник Бридо вышел. Разговор с ним потряс Флору и Жиле еще больше, чем первое лицезрение страшного рубаки. Как только Филипп с яростью обобранного наследника порывисто открыл дверь и вышел, Флора и Жиле спрятались за занавесками, чтобы посмотреть на него, когда он пойдет от своего дяди к Ошонам.

— Какой проходимец!—сказала Флора, вопросительно заглядывая в глаза Максансу.

— Да, к несчастью, были и такие в армиях императора; семерых такого сорта я спустил в преисподнюю на понтонах,— ответил Жиле.

— Я очень надеюсь, Макс, что вы не будете искать ссоры с ним,— сказала мадемуазель Бразье.

— О, это шелудивый пес, которому нужна какая-нибудь кость,— заметил Макс, обратившись к г-ну Руже.— Если его дядя послушается меня, то поспешит избавиться от него какой-нибудь подачкой; иначе он не оставит вас в покое, папаша Руже.

— От него сильно тянет табаком,— сказал старик.

— Его самого тянет к вашим экю,— заметила Флора голосом, не допускающим возражений.— По-моему, вам следует поскорей отвадить его.

— Я бы только этого и желал,— ответил Руже.

— Сударь,— сказала Грита, входя в комнату, где после завтрака находилось все семейство Ошонов,— вот господин Бридо, о котором вы говорили.

Филипп учтиво вошел среди глубокого молчания, вызванного общим любопытством. Г-жа Ошон вздрогнула с ног до головы, увидев виновника всех несчастий Агаты и убийцу старушки Декуэн. Адольфина тоже почувствовала какой-то страх, Барух и Франсуа обменялись изумленными взглядами. Старый Ошон сохранил хладнокровие и предложил стул сыну г-жи Бридо.

— Я пришел, сударь,— сказал Филипп,— представиться вам, так как мне нужно принять меры, чтобы про-

жить здесь пять лет на шестьдесят франков в месяц, которые мне дает Франция.

— Бывает,— ответил восьмидесятилетний старец.

Филипп говорил о безразличных вещах и держался безукоризненно. Он изобразил знаменитостью журналиста Лусто, племянника старой дамы,— ее благоволение было ему обеспечено, как только она услыхала от него, что Лусто прославит свое имя. Затем он, не колеблясь, признал ошибки своей жизни. На дружеский упрек, который ему потихоньку сделала г-жа Ошон, он ответил, что, сидя в тюрьме, много размышлял и обещает ей в будущем стать совсем другим человеком.

По просьбе Филиппа г-н Ошон вышел с ним пройтись. Когда скряга и солдат очутились на бульваре Барон, в таком месте, где их никто не мог услышать, полковник сказал старику:

— Сударь, если вы соблаговолите послушаться моего совета, то мы никогда не будем говорить с вами ни о делах, ни о людях, иначе как прогуливаясь за городом или в таких местах, где можно не опасаться чужих ушей. Господин Дерош очень хорошо объяснил мне значение всяческих пересудов в маленьком городке. Я не хочу, чтобы кто-нибудь здесь подозревал, что вы помогаете мне своими советами,— ведь Дерош предложил мне советоваться с вами, и я прошу вас не отказать мне в этом. Нам предстоит столкнуться с очень сильным врагом и не следует пренебрегать ни одной предосторожностью, чтобы отделаться от него. И прежде всего — извините меня — я больше не буду вас навещать. Некоторый холодок в наших отношениях необходим, чтобы вас не заподозрили в каком-либо влиянии на мои поступки. На случай, если мне нужно будет с вами посоветоваться, я буду ежедневно проходить по площади в половине десятого, как раз когда вы кончаете завтрак. Когда вы увидите, что я держу трость на плече, как ружье, это будет означать, что нам нужно встретиться, как бы случайно прогуливаясь, там, где вы заранее укажете мне.

— Все это свидетельствует, что вы человек осторожный и хотите добиться своего,— сказал старик.

— И добьюсь, сударь. Для начала укажите мне, с кем я мог бы связаться из военных, возвратившихся из

старой армии, которые отнюдь не принадлежат к сторонникам Максанса Жиле.

— Во-первых, это капитан гвардейской артиллерии господин Миньоне, окончивший Политехническую школу, человек лет сорока. Он ведет скромный образ жизни, в высшей степени порядочен и осуждает Макса, считая его поведение недостойным настоящего военного.

— Отлично! — сказал подполковник.

— Здесь не много найдется военных подобной закалки,— продолжал Ошон.— А затем могу указать лишь одного отставного кавалерийского капитана.

— Мой род оружия! — сказал Филипп.— Был он в гвардии?

— Да,— ответил Ошон.— Карпантье в тысяча восемьсот десятом году был старшим унтер-офицером в драгунском полку; оттуда он перешел младшим лейтенантом в пехоту и там дослужился до капитана.

«Быть может, Жирудо был знаком с ним»,— подумал Филипп.

— Карпантье занял должность в мэрии, на которой не захотел оставаться Макс; он — друг Миньоне.

— Что я могу делать здесь, чтоб заработать на жизнь?

— Как мне известно, открывается подотдел управления Общества взаимного страхования департамента Шер, и вы можете занять там какое-нибудь местечко; но это будет давать не больше пятидесяти франков в месяц...

— Мне достаточно.

К концу недели Филипп приобрел новый сюртук, панталоны и жилет из хорошего эльбефского сукна, купленные им в рассрочку с уплатою помесячно, а также сапоги, замшевые перчатки и шляпу. Из Парижа от Жирудо он получил белье, свое оружие и письмо к Карпантье, который некогда служил под начальством отставного драгунского капитана. Благодаря этому письму Бридо приобрел расположение Карпантье, который представил Филиппа батальонному командиру Миньоне в качестве прекрасного, весьма заслуженного человека. Филипп завоевал восхищение обоих достойных офицеров некоторыми доверительными беседами по поводу раскрытого заговора, который был, как

известно, последней попыткой выступления старой армии против Бурбонов, так как процесс сержантов Ла-Рошели связан ведь был с другими замыслами.

На исходе 1822 года, умудренные опытом заговора 19 августа 1820 года, делами Бертона и Карона, военные удовлетворялись тем, что выжидали событий. Этот последний заговор, более поздний, чем заговор 19 августа, был таков же, но с лучшими участниками. Как и тот, он остался совершенно неизвестным королевскому правительству. Заговорщики были настолько умны, что после вторичного разоблачения приписали своему широкому предприятию узкие размеры казарменного заговора. Очагом этого заговора, в котором было замешано несколько полков кавалерии, пехоты и артиллерии, была Северная Франция. Предполагалось одним ударом занять укрепления на границе. В случае успеха трактаты 1815 года были бы упразднены внезапным соединением с Бельгией, которая по военному соглашению, заключенному между заговорщиками, должна была отторгнуться от Священного Союза. Два трона в одно мгновение рухнули бы в стремительном урагане. Вместо этого огромного, замышляемого дельными умами плана, к которому были причастны высокопоставленные лица, суду пэров была показана только его незначительная часть. Филипп Бридо согласился прикрыть главарей, исчезавших, как только заговоры, вследствие измены или случайности, бывали раскрыты,— да, впрочем, состоя членами палаты, они обещали свое содействие лишь для успешного завершения дела в самом правительстве. Рассказывать о плане, который после 1830 года признания либералов осветили во всей глубине, и в многочисленных разветвлениях, скрытых от рядовых его участников,— означало бы завладеть областью истории и вдаться в слишком долгое отступление. Кратких сведений, данных нами, достаточно, чтобы понять двойственную роль, принятую на себя Филиппом. Бывшему ординарцу императора поручили руководить движением, подготовляемым в Париже единственно для того, чтобы замаскировать настоящий заговор и отвлечь внимание правительства к центру страны, меж тем как события должны были разразиться на севере. В этот момент Филиппу надле-

жало разорвать нить, связующую оба заговора, выдав только второстепенные тайны. Кроме того, ужасающее обнищание, о котором свидетельствовала его одежда и состояние его здоровья, сильно содействовало тому, чтобы приуменьшить значение и размеры этого замысла в глазах правительства. Такая роль соответствовала скользкому положению этого беспринципного игрока. Почувствовав себя между двух партий на своем коньке, хитрый Филипп сошел за честного малого у королевского правительства и вместе с тем сохранил уважение высокопоставленных лиц своей партии, а на будущее время решил пойти по тому из двух путей, который окажется более выгодным. Своим сообщением относительно огромного размаха настоящего заговора и причастности к нему некоторых судей он достиг того, что в глазах Карпантье и Миньоне стал человеком в высшей степени выдающимся, так как его самопожертвование рисовало его как политика, достойного прекрасных дней Конвента.

Таким образом, хитрый бонапартист в несколько дней стал другом обоих офицеров, лиц весьма уважаемых в Иссудене, что должно было отразиться и на его положении. Тотчас же, по рекомендации Миньоне и Карпантье, он получил указанную старым Ошоном должность в Обществе взаимного страхования департамента Шер. Он был обязан лишь вести такую же регистрацию, как у сборщика налогов, заполнять фамилиями и цифрами печатные бланки и рассылать их да составлять страховые полисы — так что был занят не больше трех часов в день. Миньоне и Карпантье ввели гостя города Иссудена в свой круг, где его обращение и манера держать себя, притом в сочетании с высокой оценкой, какую этот глава заговора получил у Миньоне и Карпантье, заслужили ему уважение, которым жалуют человека, судя по внешности, часто обманчивой.

Филипп действовал весьма обдуманно, так как, сидя в тюрьме, поразмыслил о злоключениях своей распутной жизни. Таким образом, он не нуждался в наставительных речах Дероша, чтобы понять необходимость снискать уважение буржуазии честным, упорядоченным и пристойным образом жизни. Восхищенный возможностью посмеяться над Максом, он хотел своим по-

ведением в духе Миньоне усыпить бдительность противника, обманув его относительно своего характера. Он рассчитывал сойти за простака, показывая себя великодушным и бескорыстным, а в то же время опутать противника и подобраться к дядюшкиному наследству,— тогда как его мать и брат, действительно бескорыстные, великодушные и возвышенные люди, действуя с неподдельной простотой, были обвинены в расчетливости. Жадность Филиппа разгорелась, когда Ошон сообщил ему самые точные сведения о богатстве Руже. В первом же тайном собеседовании Филиппа с восьмидесятилетним старцем они оба единодушно признали необходимым не возбуждать недоверия у Макса, так как все было бы потеряно, если бы Флора и Макс увезли свою жертву хотя бы только в Бурж.

Раз в неделю полковник обедал у капитана Миньоне, раз — у Карпантье, а по четвергам — у г-на Ошона. Скоро его стали приглашать еще два-три дома, и через каких-нибудь три недели ему приходилось тратиться только на завтрак. Нигде он не говорил ни о своем дяде, ни о Баламутке, ни о Жиле, разве только когда хотел что-нибудь узнать относительно пребывания матери или брата в Иссудене. Наконец три офицера — единственные во всем городе офицеры, награжденные орденами, причем среди них Филипп имел преимущество по степени, что придавало ему в глазах всех превосходство, весьма ценимое в провинции,— ежедневно в один и тот же час прогуливались вместе перед обедом, составляя, как говорится, свою компанию. Такая манера держаться, такая сдержанность, такое спокойствие произвели в Иссудене прекрасное впечатление.

Все приверженцы Макса видели в Филиппе «рубаку» — выражение, означающее в военной среде, что за каким-либо командиром признают лишь самую обыкновенную храбрость, отказывая ему в способностях, требуемых для командования.

— Это человек весьма почтенный,— как-то сказал Максу г-н Годде.

— Ба,— ответил Жиле,— его поведение в верховном суде обличает либо простофилю, либо сыщика; он настолько глуп, что, как вы сами говорите, был одурачен крупными игроками.

Добившись нужной ему репутации, Филипп, опасаясь местных *язычков* и желая по возможности скрыть от города некоторые обстоятельства своей жизни, поселился на окраине предместья Сен-Патерн, в доме, к которому примыкал обширный сад. Здесь в полной тайне он мог упражняться в фехтовании с Карпантье, который до своего перехода в гвардию преподавал фехтование в пехоте. Таким образом, Филипп втихомолку не только восстановил свое былое искусство, но и научился от Карпантье еще особым приемам, позволявшим ему не бояться первоклассного противника. После этого он занялся с Миньоне и Карпантье стрельбой из пистолета, как бы для развлечения, а на деле — с целью внушить Максансу Жиле, что в случае дуэли рассчитывает именно на этот род оружия. Встречая Жиле, Филипп ожидал, пока тот поклонится первым, и отвечал, приподнимая край шляпы, с небрежностью полковника, отвечающего на приветствие солдата. Максанс Жиле не подавал и признака раздражения или недовольства; по этому поводу он ни разу не обмолвился ни единым словом у Коньеты, где все еще устраивались только ужины, так как со времени удара ножом, нанесенного Фарио, ночные проделки были временно приостановлены. Немного погодя презрение подполковника Бридо к командиру батальона Жиле считалось уже доказанным фактом, о котором поговаривали между собой некоторые «рыцари безделья», не столь тесно связанные с Максансом, как Барух, Франсуа и трое-четверо других. Вообще все удивлялись, видя, что горячий, неистовый Макс ведет себя с такой сдержанностью. Никто в Иссудене, не исключая даже Потеля или Ренара, не осмеливался заговорить с Жиле по этому щекотливому поводу. Потель, порядком огорченный столь явной неприязнью двух храбрецов императорской гвардии, изображал Макса человеком, способным сплести сеть, в которую попадется-таки подполковник. По мнению Потеля, можно было ожидать кое-каких новых событий после того, что натворил Макс с целью изгнать г-жу Бридо с сыном — дело Фарио не было больше тайной. Г-н Ошон не преминул сообщить некоторым местным старикам о жестокой проделке Жиле. К тому же г-н Муйерон, тоже попав в герои обы-

вательских пересудов, по секрету назвал имя «убийцы», быть может, для того, чтобы разузнать о причинах ненависти Фарио к Максу и быть на страже правосудия в ожидании грядущих событий.

Толкуя об отношениях между подполковником и Максом и пытаясь угадать, к чему их приведет взаимная вражда, город предвидел, что они должны столкнуться. Филипп, тщательно разузнав подробности об аресте своего брата, о предшествующих обстоятельствах жизни Жиле и Баламутки, в конце концов завязал довольно близкие отношения с Фарио, своим соседом. Хорошенько присмотревшись к испанцу, Филипп решил, что можно довериться человеку такого закала. Оба они были столь единодушны в своей ненависти, что Фарио предоставил себя в распоряжение Филиппа, рассказав ему все, что знал о «рыцарях безделья». Филипп обещал Фарио возместить понесенные им убытки, в случае если удастся захватить над своим дядей ту власть, которой пользуется Жиле,— и таким образом сделал испанца своим фанатичным помощником.

Итак, Максанс стоял лицом к лицу со страшным врагом; он, по местному выражению, *нашел с кем поговорить*. Возбужденный пересудами, город Иссуден предчувствовал битву между этими персонажами, которые, как все знают, презирали друг друга.

В конце ноября Филипп, встретившись около полудня с Ошоном в главной аллее Фрапэль, сказал ему:

— Я узнал, что ваши внуки Барух и Франсуа — близкие друзья Максанса Жиле. Негодники участвуют во всех проделках, которые совершаются в городе. От них Максанс и узнавал, что говорилось у вас, когда мой брат и мать были здесь.

— Откуда же у вас такие ужасные сведения?

— Я слышал их разговор ночью, когда они выходили из кабачка. Ваши внуки должны Максансу по тысяче экю. Этот мерзавец велел бедным мальчишкам поразведать о наших намерениях, напомнив им, что именно вы придумали способ обойти моего дядюшку при помощи попов, и объяснив им, что только под вашим руководством я способен действовать, так как, к счастью, он ведь считает меня самого только рубакой.

— Как?! Мои внуки...

— Подкараульте их,— ответил Филипп,— и вы увидите, как они возвращаются в четыре часа утра на площадь Сен-Жан, оба пьяные, как стелька, в обществе Максанса...

— Так вот почему мои проказники отличаются такой воздержанностью! — воскликнул Ошон.

— Фарио рассказал мне об их ночной жизни,— продолжал Филипп.— Без него я бы никогда не догадался. Мой дядя живет под ужасным гнетом, если судить по словам Макса; тот все это рассказал вашим внукам, а испанец подслушал. Я подозреваю, что Макс и Баламутка составили план *свистнуть* государственную ренту дядюшки, дающую пятьдесят тысяч франков ежегодного дохода, а затем, выщипнув это перо у голубка, уехать, уж не знаю куда, и обвенчаться. Как раз самое время разведать, что происходит в доме у дяди; но я не знаю, как это сделать.

— Надо подумать,— ответил старик.

Филипп и г-н Ошон расстались, увидев, что к ним кто-то приближается.

Никогда в своей жизни Жан-Жак Руже не страдал так, как после первого посещения своего племянника Филиппа. Испуганная Флора предчувствовала опасность, угрожавшую Максансу. Руже надоел ей, и, боясь, как бы старик не зажился на свете, она, видя, что он упорно сопротивляется ее преступным действиям, придумала очень простой план: уехать из этих мест и выйти замуж за Максанса в Париже, предварительно заставив Руже перевести на ее имя государственную ренту в пятьдесят тысяч франков ежегодного дохода. Холостяк, руководясь вовсе не интересами своих наследников или собственной скупостью, но своей страстью, отказывался перевести деньги на имя Флоры, возражая ей, что она и так его единственная наследница. Несчастный знал, до какой степени Флора любила Макса, и вполне представлял себе, что она его покинет, как только будет достаточно богата, и тем самым получит возможность выйти замуж.

Флора попробовала воздействовать на Руже нежнейшими ласками и, получив отказ, решила прибегнуть к строгости: она перестала разговаривать со своим хо-

зяином и предоставила его заботам Ведии, которая однажды утром заметила, что у старика совершенно красные глаза, так как он проплакал всю ночь. Целую неделю Руже завтракал один и бог знает как! Таким образом, Филипп, решив на следующий день после разговора с Ошоном вторично посетить своего дядю, нашел его очень изменившимся. Флора осталась возле старика, бросала на него любящие взгляды, нежно разговаривала с ним и так хорошо разыгрывала комедию, что Филипп догадался об опасном положении именно по ее заботливости, проявленной в его присутствии. Жиле не показывался, придерживаясь особой политики — избегать во что бы то ни стало каких-либо столкновений с Филиппом. Взглянув на Руже и Флору проницательным оком, полковник счел необходимым нанести решительный удар.

— Прощайте, дорогой дядя,— сказал он, поднимаясь, как будто хотел уйти.

— О, не уходи! — воскликнул старик, на которого мнимая нежность Флоры действовала благотворно.— Отобедай с нами, Филипп.

— Хорошо, если вы согласитесь часок погулять со мной.

— Он очень слаб,— сказала мадемуазель Бразье.— Только что он отказался выехать в коляске,— прибавила она, повернувшись к старику и глядя на него тем пристальным взглядом, каким укрощают сумасшедших.

Филипп взял Флору за руку, принудил ее взглянуть на него и сам посмотрел на нее так же пристально, как она только что смотрела на свою жертву.

— Скажите-ка мадемуазель,— спросил он ее,— неужели дядя не вправе погулять вдвоем со мною?

— Ну, конечно, сударь, вправе,— ответила Флора, которая не могла сказать ничего другого.

— Так идемте, дядя! Будьте любезны, мадемуазель, дайте ему трость и шляпу.

— Но обычно он не выходит без меня. Не правда ли, сударь?

— Да, Филипп, да, я никак не могу обойтись без нее...

— Он предпочел бы выехать в коляске,— добавила Флора.

— Да, поедем в коляске,— сказал старик, желая примирить двух своих тиранов.

— Дядя, вы пойдете пешком и вдвоем со мною, или я больше к вам не приду, потому что в противном случае город Иссуден прав: вы живете под властью мадемуазель Флоры Бразье. То, что мой дядя вас любит — ладно! — продолжал он, вперив в Флору свинцовый взгляд.— Что вы не любите моего дядю, это в порядке вещей. Но раз вы делаете старика несчастным — здесь стоп! Кто хочет получить наследство, должен его заработать. Дядя, вы идете?

И тогда Филипп увидел мучительное колебание на лице этого бедного дурачка, переводившего взгляд с Флоры на племянника и с племянника на Флору.

— Ах, вот оно как! — сказал подполковник.— Ну что ж, прощайте, дядя. Целую ваши ручки, мадемуазель.

Уже в дверях он быстро обернулся и успел поймать Флору в тот момент, как она грозила старику.

— Дядя,— сказал он,— если вы захотите прогуляться со мной, то я подожду вас у ваших ворот; я зайду только на десять минут к господину Ошону... А если мы с вами так и не погуляем, то я отправлю прогуляться кой-куда изрядное количество людей.

И Филипп пересек площадь Сен-Жан, направляясь к Ошонам.

Нетрудно представить себе сцену в семье Ошона, вызванную разоблачениями Филиппа. В девять часов утра явился старик Эрон со своими бумагами и увидел в зале уже топившийся камин, который старец велел разжечь вопреки своему обыкновению. Г-жа Ошон, уже одетая в этот ранний час, сидела в своем кресле у камина. Два внука, предупрежденные Адольфиной о буре, собиравшейся со вчерашнего дня над их головами, были подвергнуты домашнему аресту. За обоими послали Гриту, и они были потрясены своего рода торжественными приготовлениями деда и бабки, чьи холодность и гнев грозовою тучей висели над ними уже целые сутки.

— Не вставайте им навстречу,— сказал старик Эро-

ну,— перед вами два негодяя, не заслуживающие прощения.

— О дедушка! — воскликнул Франсуа.

— Молчите! — торжественно продолжал старик.— Я знаю все о вашей ночной жизни и ваших связях с Максансом Жиле; но вы не пойдете больше в час ночи к Коньете, чтобы встретиться с ним, потому что оба отправитесь отсюда лишь туда, куда тому и другому буде назначено. Это вы разорили Фарио? Вы уже несколько раз едва избежали уголовного суда?! Молчать! — сказал он, когда Барух раскрыл было рот.— Вы оба задолжали Максансу, который шесть лет давал вам деньги на ваши кутежи. Выслушайте отчет по моей опеке над вами, а потом мы поговорим. Ознакомившись с этими данными, вы увидите, можете ли вы глумиться надо мною, глумиться над нашей семьей и ее правилами, выдавая тайны моего дома, сообщая какому-то Максансу Жиле то, что здесь говорится и делается. За тысячу экю вы стали шпионами, а за десять тысяч вы, вероятно, стали бы убийцами? Да разве вы уже почти не убили госпожу Бридо? Ведь Максанс Жиле отлично знал, что ножом его ударил Фарио, а свалил это злодеяние на моего гостя Жозефа Бридо. Если этот висельник совершил такое преступление, то потому только, что узнал от вас о намерении госпожи Бридо остаться в Иссудене. Вы, мои внуки,— шпионы такого человека! Вы мародеры! Разве вы не знаете, что ваш достойный главарь в начале своего поприща, в тысяча восемьсот шестом году, уже убил несчастное молодое существо? Я не желаю иметь в своей семье ни убийц, ни воров — вы уложите свои вещи и отправитесь прочь из города, чтобы вас вздернули на виселицу где-нибудь в другом месте!

Молодые люди, бледные и недвижимые, похожи были на гипсовые статуи.

— Приступайте, господин Эрон! — сказал скряга нотариусу.

Тот прочел отчет по опеке, из которого следовало, что наличный капитал обоих детей Борниша должен был выражаться в семидесяти тысячах франков — сумма, составлявшая приданое их матери. Но г-н Ошон не раз устраивал для своей дочери займы на значитель-

ные суммы и, располагая обязательствами заимодавцев, оказался владельцем части состояния своих внуков Борнишей. Доля, причитавшаяся Баруху, равнялась двадцати тысячам франков.

— Теперь ты богач,— сказал старик,— бери свои деньги и живи, как знаешь! Мое имущество и имущество госпожи Ошон, которая в данное время разделяет все мои мысли, я волен передать кому хочу — нашей дорогой Адольфине; да, мы выдадим ее замуж хоть за сына пэра Франции, если пожелаем, так как она получит все наше состояние.

— Прекрасное состояние! — сказал г-н Эрон.

— Максанс Жиле вознаградит вас за убытки,— прибавила г-жа Ошон.

— Вот и берегите каждый грош ради таких! — воскликнул г-н Ошон.

— Простите! — дрожащим голосом сказал Барух.

— *Плястите, я больсе не буду!* — передразнил старик, подделываясь под детский лепет.— Да если я вас прощу, вы пойдете и сообщите Максансу о том, что с нами случилось, чтобы он был начеку... Нет, нет, мои сударики. У меня есть способ следить за вашими поступками. Как будете поступать вы, так поступлю и я. Я буду судить о вашем поведении не по одному дню или месяцу, я понаблюдаю за вами несколько лет! Я еще не впал в дряхлость. Я надеюсь прожить еще достаточно, чтобы увидеть, по какой вы пошли дорожке. И, прежде всего, вы оба уедете отсюда. Вы, господин капиталист, отправитесь в Париж изучать банковское дело у господина Монжено. Горе вам, если вы не пойдете правыми путями: за вами будут присматривать. Ваши деньги внесены к «Монжено и сыну»; вот чек на эту сумму. Итак, освободите меня, подписав отчет по опеке, которая этим и завершается,— сказал он, взяв отчет у Эрона и подавая его Баруху.

— Что до вас, Франсуа Ошон, то вам не только не причитается ничего, а вы еще должны мне,— сказал старик, глядя на другого внука.— Господин Эрон, прочтите ему его отчет, он ясен, слишком ясен.

Во время чтения царило глубокое молчание.

— Вы отправитесь в Пуатье изучать юридические науки и будете получать от меня шестьсот франков в

год,— сказал дедушка, когда нотариус кончил.— Я готовил для вас прекрасное существование; теперь вам нужно стать адвокатом, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Да, проказники, вы поддевали меня шесть лет, знайте же, что мне было достаточно одного часа, чтобы поддеть вас: у меня семимильные сапоги.

Когда старый Эрон выходил, унося с собой подписанные бумаги, Грита доложила о полковнике Филиппе Бридо. Г-жа Ошон ушла, уведя к себе обоих внуков, чтобы, по выражению старого Ошона, поисповедовать их и узнать, какое действие произвела на них эта сцена.

Филипп и старик отошли к окну и стали вполголоса разговаривать.

— Я как следует обдумал положение ваших дел,— сказал г-н Ошон, показывая на дом Руже.— А нынче я поговорил о них с господином Эроном. Бумаги государственного казначейства на пятьдесят тысяч дохода не могут быть проданы иначе, как самим владельцем или уполномоченным им лицом; но с тех пор, как вы здесь, ваш дядя не подписывал такой доверенности ни в одной нотариальной конторе города, а так как он не выезжал из Иссудена, то не мог подписать и в другом месте. Если он даст доверенность здесь, то мы узнаем сейчас же; если это произойдет вне Иссудена, мы равным образом узнаем, так как ее нужно будет зарегистрировать, а у почтенного господина Эрона имеется возможность получить об этом сведения. Если же старик выедет из Иссудена, пошлите за ним вслед, узнайте, куда он отправится, мы найдем способ узнать, что он сделает.

— Доверенность не дана,— сказал Филипп,— ее добиваются, но я надеюсь помешать ее выдаче... и о-на не бу-дет да-на! — воскликнул вдруг вояка, увидав дядю на пороге его дома; показав на него г-ну Ошону, он кратко обрисовал события, случившиеся во время его посещения, столь незначительные и в то же время столь важные.— Максанс боится меня, но он от меня не уйдет. Миньоне говорил мне, что все офицеры старой армии каждый год празднуют в Иссудене годовщину коронации императора. Отлично, через два дня мы с Максансом встретимся.

— Если у него будет доверенность утром первого декабря, то он возьмет почтовых лошадей в Париж и прекраснейшим образом не явится на годовщину.

— Отлично! Значит, требуется держать моего дядю взаперти, но у меня взгляд, который приковывает к месту слабоумных,— сказал Филипп, и старик Ошон вздрогнул от его свирепого взгляда.

— Если Руже позволяют погулять с вами, значит, Максанс нашел способ выиграть партию,— заметил старик.

— О, Фарио на страже,— ответил Филипп,— и не только он один. Этот испанец разыскал для меня в окрестностях Ватана одного из моих бывших солдат, которому я некогда оказал услугу. Никому неведомый Бенжамен Бурдэ находится в распоряжении моего испанца, который предоставил ему одну из своих лошадей.

— Если вы убьете это чудовище, которое испортило моих внуков, то, конечно, сделаете доброе дело.

— Теперь благодаря мне весь Иссуден знает, что вытворял Максанс по ночам в течение шести лет,— ответил Филипп.— И *язычки*, по здешнему выражению, судачат о нем. Во мнении Иссудена он погиб.

Как только Филипп ушел от своего дяди, Флора явилась в комнату Максанса, чтобы во всех подробностях рассказать ему о посещении смельчака-племянника.

— Что делать? — спросила она.

— Прежде чем прибегнуть к последнему средству, то есть подраться с этим дохлым верзилой,— ответил Максанс,— нужно подготовить решительный удар и сыграть квит-на-квит или даже на двойную ставку. Отпусти нашего дурачка погулять с племянником!

— Но этот мерзавец без обиняков расскажет ему все, как оно есть.

— Да перестань ты! — крикнул Макс пронзительным голосом.— Неужели ты думаешь, что я не слушал у дверей, что я не размышлял о нашем положении? Попроси лошадь и шарабан у папаши Конье, да немедленно! Все надо обделать в пять минут. Уложи свои вещи, возьми с собой Ведию, поезжай в Ватан и остановись там, будто бы на постоянное жительство. Захвати с собой двадцать тысяч франков, которые лежат у не-

го в письменном столе. Если я привезу старика к тебе в Ватан, не соглашайся возвращаться сюда, пока он не подпишет доверенность. Когда вы будете возвращаться в Иссуден, я улепетну в Париж. Если Жан-Жак, вернувшись с прогулки, не застанет тебя дома, он потеряет голову и бросится за тобой... А тогда уж я берусь поговорить с ним.

Пока составлялся этот заговор, Филипп взял под руку своего дядю и пошел с ним прогуляться по бульвару Барон.

— Вот состязание двух великих политиков,— сказал про себя старый Ошон, провожая глазами полковника, который заполучил своего дядюшку.— Было бы любопытно видеть конец этой партии, где ставка — девяносто тысяч ливров дохода.

— Дорогой дядя, вы любите эту девочку, и вы чертовски правы,— говорил Филипп папаше Руже, прибегая к выражениям, в которых сказывались его парижские знакомства,— она так красива, что прямо пальчики оближешь! Но вместо того чтобы вас *нежить*, она обращается с вами, как с лакеем, и это весьма понятно; она хотела бы загнать вас на шесть футов под землю, чтобы выйти замуж за Максанса, которого обожает...

— Да, я знаю это, Филипп, но все равно я ее люблю.

— Отлично. Клянусь вам чревом моей матери, вашей родной сестры, Баламутка станет шелковой,— продолжал Филипп,— такой, как она была, прежде чем этот повеса, недостойный служить в императорской гвардии, поселился в вашем доме.

— О, если бы ты сделал это!..— воскликнул старик.

— Это очень просто,— ответил Филипп, прерывая его.— Я вам прикончу Максанса, как собаку... Но... при одном условии,— прибавил Филипп.

— Каком? — спросил Руже, растерянно глядя на него.

— Не подписывайте доверенности, которую у вас просят, раньше третьего декабря, протяните до этого числа. Эти мерзавцы хотят получить разрешение на продажу вашей ренты в пятьдесят тысяч франков дохода единственно для того, чтобы поехать обвенчаться в Париж и кутить там, завладев вашим миллионом.

— Вот этого я и боюсь,— сказал Руже.

— Так вот, что бы они с вами ни делали, отложите составление доверенности на ближайшую неделю.

— Да, но когда Флора со мной разговаривает, она так волнует мне душу, что я теряю разум. Знаешь, когда она смотрит на меня ласково, то ее голубые глаза кажутся мне раем, и я больше не владею собой, особенно если она несколько дней строга со мной.

— Хорошо. Если она будет ластиться, ограничьтесь тем, что пообещаете ей доверенность, но предупредите меня накануне. Этого мне достаточно: Максанс не будет вашим уполномоченным, разве что прикончит меня. Если же я его убью, то вы возьмете меня к себе на его место, и тогда я заставлю эту красавицу ходить по струнке. Да, Флора вас будет любить, черт побери! А если вы останетесь недовольны ею, то я ее обработаю хлыстом.

— О, я не вынесу этого. Удар, нанесенный Флоре, поразит меня прямо в сердце.

— Но это единственный способ управлять женщинами и лошадьми. Только так мужчина заставляет бояться себя, любить и уважать. Вот и все, что я хотел сообщить вам на ухо.— Здравствуйте, господа,— сказал он при виде Миньоне и Карпантье.— Как видите, я вывел погулять своего дядю и стараюсь просветить его — мы живем в такое время, когда потомки вынуждены воспитывать своих предков.

Все раскланялись друг с другом.

— В лице моего дорогого дяди вы видите жертву несчастной страсти,— продолжал полковник.— Его хотят обобрать и бросить здесь, как нового Баба́; вы знаете, о ком я говорю. Старик осведомлен обо всем, но, чтобы расстроить заговор, у него нет сил обойтись несколько дней *без сладенького*.

Филипп начистоту разъяснил положение, в котором находился его дядя.

— Господа,— заключил он,— вы видите, что нет двух способов освободить моего дядю: или полковнику Бридо придется убить командира Жиле, или командиру Жиле — полковника Бридо. Послезавтра у нас годовщина коронации императора; я рассчитываю на вас — рассадите на банкете гостей так, чтобы я ока-

зался напротив Жиле. Надеюсь, вы сделаете мне честь быть моими секундантами.

— Мы выберем вас председателем и будем сидеть возле вас. Макс, как вице-председатель, окажется тогда напротив,— сказал Миньоне.

— О, на стороне этого плута будет командир Потель и капитан Ренар,— сказал Карпантье.— Несмотря на то, что в городе говорят о его ночных похождениях, эти славные ребята, уже прежде бывшие его секундантами, останутся ему верны.

— Видите, дядя, как все это хорошо заваривается,— сказал Филипп.— Итак, ничего не подписывайте раньше третьего декабря, а послезавтра вы будете свободны, счастливы, любимы Флорой, без всяких ваших заместителей.

— Ты его не знаешь, племянник,— сказал испуганный старик.— Максанс убил на дуэли девять человек.

— Да, но тогда дело не шло о краже ста тысяч франков дохода,— ответил Филипп.

— Нечистая совесть портит руку,— наставительно сказал Миньоне.

— Через несколько дней,— снова заговорил Филипп,— вы и Баламутка заживете вместе, как два голубка, лишь только кончится ее траур. Конечно, она будет извиваться, как червь, будет скулить, заливаться слезами, но... пусть вода струится, пусть судьба свершится.

Оба военных поддержали доводы Филиппа и постарались придать мужество папаше Руже, прогуливаясь с ним почти два часа. Наконец Филипп отвел дядю домой и на прощанье сказал ему:

— Не принимайте никакого решения без меня. Я знаю женщин, я тоже содержал одну красотку, которая стоила мне дороже, чем вам когда-либо будет стоить Флора! Она-то и научила меня на весь остаток моих дней, как нужно обращаться с прекрасным полом... Женщины — это испорченные дети, существа низшие по сравнению с мужчиной; нужно, чтобы они боялись нас,— самое худшее, если эти животные управляют нами!

Было почти два часа, когда старик вернулся к себе.

Открывая ему двери, Куский плакал или по крайней мере, по приказанию Максанса, притворился плачущим.

— Что случилось? — спросил Жан-Жак.

— Ах, сударь, мадам уехала вместе с Ведией!

— У-е-ха-ла? — переспросил старик сдавленным голосом. Он был так потрясен, что без сил опустился на ступени.

Минуту спустя он встал, осмотрел зал, кухню, поднялся в свои комнаты, обошел все остальные, возвратился в зал, бросился в кресло и залился слезами.

— Где она? — закричал он, рыдая.— Где она? Где Макс?

— Не знаю,— ответил Куский.— Он ушел, ничего не сказав.

Жиле, как ловкий политик, счел необходимым пойти побродить по городу. Он оставил старика одного, чтобы тот, предавшись отчаянию, почувствовал все муки одиночества и стал послушным исполнителем его советов. Но чтобы помешать Филиппу быть при нем в часы этого испытания, Макс поручил Кускому не пускать никого в дом. В отсутствие Флоры старик оставался без руля и без ветрил, и положение могло быть весьма опасным.

Во время прогулки Максанса Жиле по городу многие избегали его, даже те, кто еще накануне поспешил бы подойти к нему и пожать ему руку. Общий отпор нарастал. Дело «рыцарей безделья» занимало все *язычки*. История ареста Жозефа Бридо, теперь выясненная, покрыла Макса позором, и его жизнь, его поступки сразу, в один день, были оценены по достоинству. Жиле встретился с Потелем, который разыскивал его и был вне себя.

— Что с тобой, Потель?

— Мой дорогой, императорская гвардия ошельмована на весь город. Штафирки ополчились на тебя, а мне видеть все это — нож острый!

— На что они жалуются? — спросил Макс.

— На твои ночные проделки.

— Как будто уж и нельзя было немного позабавиться!

— Да это все пустяки...— сказал Потель.

Потель принадлежал к тому разряду офицеров, ко-

торые отвечали какому-нибудь бургомистру: «О, вам заплатят за ваш город, если сожгут его!» Поэтому он был очень мало обеспокоен забавами «рыцарей безделья».

— Ну, а что же еще? — спросил Жиле.

— Гвардия против гвардии — вот что мне разрывает сердце. Бридо напустил всех этих мещан на тебя. Гвардия против гвардии!.. Нет, это нехорошо! Ты не можешь отступить, Макс, нужно помериться силами с Бридо. Знаешь, мне хочется затеять ссору с этим гнусным верзилой и прикончить его,— тогда мещане не видели бы гвардии, выступающей против гвардии. Будь мы на войне — дело другое: два храбрых гвардейца ссорятся, дерутся, но там нет штафирок, чтобы издеваться над ними. Нет, этот плут никогда не служил в гвардии! Гвардеец не должен вести себя так перед мещанами по отношению к другому гвардейцу! Ах, гвардию донимают, да еще в Иссудене! Там, где к ней относились с таким почтением!

— Ладно, Потель, не беспокойся,— ответил Максанс.— Если даже ты не увидишь меня на банкете в гонбщину...

— Ты не будешь у Лакруа послезавтра? — воскликнул Потель, прерывая своего друга.— Неужели ты хочешь прослыть трусом? Ведь могут подумать, что ты бежишь от Бридо! Нет, нет! Гвардейские пешие гренадеры не должны отступать перед гвардейскими драгунами. Устрой свои дела как-нибудь иначе и будь на банкете!

— Значит, еще одного отправить на тот свет! — сказал Макс.— Ладно. Надеюсь, что смогу прийти, а свои дела уж как-нибудь устрою! — «Не следует, чтобы доверенность была выдана на мое имя,— подумал он про себя.— Как сказал старый Эрон, это очень смахивало бы на воровство».

Этот лев, запутавшийся в сетях, сплетенных Филиппом Бридо, внутренне трепетал; он избегал взглядов всех встречных и пошел домой бульваром Вилат, раздумывая по пути:

«Прежде чем драться, я завладею рентой. Если я буду убит, то по крайней мере деньги не попадут Филиппу. Я положу их на имя Флоры. А девочке посове-

тую отправиться в случае чего прямо в Париж; там она сможет, если ей захочется, выйти замуж за сына какого-нибудь разорившегося маршала Империи. Я заставлю дать доверенность на имя Баруха, и он переведет вклад не иначе, как по моему приказу».

Макс, надо отдать ему справедливость, никогда не бывал так спокоен с виду, как в тех случаях, когда кровь и мысли кипели в нем. Вот почему никогда ни у одного военного не встречалось в такой высокой степени соединения качеств, образующих великого полководца. Если бы его карьера не была прервана пленом, то, конечно, император в лице этого юноши нашел бы одного из людей, столь необходимых для крупных предприятий. Войдя в зал, где все еще плакала жертва всех этих сцен, одновременно комических и трагических, Макс спросил о причинах такого отчаяния; притворившись изумленным и ни о чем не ведающим, он с хорошо разыгранным удивлением принял весть об отъезде Флоры и стал расспрашивать Кускаго, якобы добиваясь разъяснений относительно цели этой непонятной поездки.

— Мадам велела мне передать господину Руже,— ответил Куский,— что она взяла в письменном столе двадцать тысяч франков золотом, которые там лежали, полагая, что вы, сударь, не откажете ей в этой сумме вместо жалованья за двадцать два года.

— Жалованья? — спросил Руже.

— Да,— ответил Куский.— «Ах, я больше не вернусь»,— сказала она Ведии, уезжая (потому что бедная Ведия очень привязана к хозяину и уговаривала мадам).— «Нет, нет! — сказала она.— Он совсем не любит меня, он позволил своему племяннику обращаться со мной, как с самой последней женщиной!» — И она плакала, она так плакала,— горькими слезами.

— Э, плевать мне на Филиппа! — воскликнул старик, за которым Макс наблюдал.— Где Флора? Как узнать, где она?

— Ваш советчик Филипп поможет вам,— холодно ответил Максанс.

— Филипп! — сказал старик.— Что он значит для моей дорогой девочки? Только ты, мой славный Макс,

сумеешь найти Флору, она последует за тобой, и ты привезешь мне ее обратно.

— Я считаю неудобным состязаться с господином Бридо,— ответил Макс.

— Черт возьми! — вскричал Руже.— Если это тебя затрудняет, так знай — он сам говорил мне, что убьет тебя.

— Ах, вот оно что! — воскликнул Жиле, смеясь.— Ну, это мы еще посмотрим.

— Мой друг,— сказал старик,— отыщи Флору и скажи ей, что я сделаю все, что она пожелает.

— Наверное, кто-нибудь видел, как она проезжала по городу,— обратился Максанс к Кускому.— Приготовь все к обеду, поставь все на стол и пойди разузнай, по какой дороге поехала мадемуазель Бразье. Вернешься к десерту и скажешь нам.

Это приказание на минуту успокоило беднягу Руже, который жаловался, как ребенок, потерявший свою няньку. В эту минуту Максанс, которого он ненавидел как причину всех своих несчастий, казался ему ангелом. Такая страсть, какая была у Руже к Флоре, способна превращать человека в младенца. В шесть часов поляк, спокойно прогулявшись, вернулся и сообщил, что Флора уехала по дороге в Ватан.

— Мадам возвращается в родные места, это ясно,— сказал Куский.

— Не хотите ли поехать сегодня вечером в Ватан? — спросил Макс старика.— Дорога плохая, но Куский умеет править, и вам лучше помириться с Флорой сегодня в восемь часов вечера, чем завтра утром.

— Едем! — воскликнул Руже.

— Запряги тихонько лошадь и постарайся, ради чести господина Руже, чтобы город не узнал обо всех этих глупостях,— сказал Макс Кускому.— А мою лошадь оседлай, я поеду вперед,—шепнул он ему на ухо.

Об отъезде мадемуазель Бразье г-н Ошон уже дал знать Филиппу Бридо в то время, как он обедал у Миньоне. Вскочив из-за стола, Филипп поспешил на площадь Сен-Жан; он превосходно понял цель этой искусной стратегии. Когда Филипп хотел войти к своему дяде, Куский сообщил ему из окна второго этажа, что г-н Руже никого не может принять.

— Фарио,— сказал Филипп испанцу, разгуливавшему по Гранд-Нарет,— беги, вели Бенжамену выехать верхом; мне крайне необходимо знать, что будут делать дядя и Максанс.

— Закладывают лошадь в берлину,— сообщил Фарио, наблюдавший за домом Руже.

— Если они отправятся в Ватан,— ответил Филипп,— то найди мне вторую лошадь и возвращайся с Бенжаменом к Миньоне.

— Что вы предполагаете делать? — спросил г-н Ошон, который, увидев Филиппа и Фарио на площади, вышел из своего дома.

— Талант полководца, мой дорогой Ошон, заключается в том, чтобы не только следить за передвижениями врага, но и разгадывать по этим передвижениям его замыслы и постоянно видоизменять свой план по мере того, как неприятель расстраивает его неожиданным маршем. Если дядя и Максанс выедут в коляске вместе, значит, они направляются в Ватан. Значит, действительно Максанс обещал ему примирить его с Флорой, которая fugit ad salices[1], применяя маневр такого полководца, как Вергилий. Если это так, то я еще не знаю, что предприму, но в моем распоряжении ночь, потому что дядя не подпишет доверенности в десять часов вечера — нотариусы будут спать. Если, как об этом свидетельствует постукивание копыт второй лошади, Макс поскачет к Флоре дать ей инструкции до приезда дяди,— а это правдоподобно,— в таком случае плут пропал. Вы увидите, как мы, старые солдаты, отыгрываемся в игре на наследство... А так как для этой последней ставки мне нужен помощник, то я возвращаюсь к Миньоне, чтобы сговориться с моим другом Карпантье.

Пожав руку г-ну Ошону, Филипп спустился по Птит-Нарет, направляясь к командиру Миньоне. Десять минут спустя г-н Ошон увидел, как Максанс выехал крупной рысью, и его старческое любопытство было до такой степени возбуждено, что он остался стоять в зале у окна, дожидаясь стука колес старой коляски, который и не замедлил послышаться. Нетерпение за-

---

[1] Бежит под сень ив *(лат.)*.

ставило Жан-Жака последовать за Максансом через двадцать минут. Куский, конечно по приказу своего настоящего господина, пустил лошадь шагом, по крайней мере по городу.

«Если они уедут в Париж, то все пропало»,— подумал г-н Ошон.

В это время какой-то мальчишка из Римского предместья пришел в дом г-на Ошона; он принес письмо Баруху. Оба внука, пристыженные, с утра подвергли сами себя домашнему аресту. Размышляя о своем будущем, они поняли, как осторожно надо им вести себя с родными. Барух не мог не знать, каково влияние Ошона на деда и бабку Борнишей; старик Ошон не преминул бы внушить Борнишам решение отказать все их капиталы Адольфине, если бы поведение внука дало им основание перенести все надежды на блестящее замужество этой девицы, как Ошон угрожал ему сегодня утром. Барух, более богатый, чем Франсуа, больше и терял; ему надлежало проявить полную покорность, не ставя других условий, кроме уплаты долгов Максу. Что же касается Франсуа, то его будущее было в руках деда; он мог надеяться получить состояние только от старика Ошона, так как по счету опекунских расходов оказывался его должником. И вот оба шалопая, побуждаемые к раскаянию страхом перед грозившими им потерями, дали торжественные обещания, а г-жа Ошон успокоила их относительно их долгов Максу.

— Вы наделали глупостей,— сказала она,— исправьте их благоразумным поведением, и дед успокоится.

Поэтому Франсуа, прочитав через плечо Баруха письмо, принесенное мальчишкой, сказал на ухо кузену:

— Попроси совета у дедушки.

— Возьмите,— сказал Барух, подавая письмо старику.

— Прочти сам, при мне нет очков.

«Мой дорогой друг!

Надеюсь, что в серьезных для меня обстоятельствах ты не поколеблешься оказать мне услугу и согласишься стать уполномоченным господина Руже. Итак, будь

в Ватане завтра, к девяти часам. Я, вероятно, пошлю тебя в Париж; но не беспокойся, я дам тебе денег на дорогу и скоро приеду к тебе сам, так как почти уверен, что мне придется покинуть Иссуден третьего декабря. Прощай, я рассчитываю на твою дружбу, рассчитывай также и ты на дружбу твоего

Максанса».

— Хвала господу! — воскликнул г-н Ошон.— Наследство идиота спасено от когтей этих дьяволов!

— Раз вы это говорите — так и будет! — заметила г-жа Ошон.— И я благодарю господа — значит, он внемлет моим молитвам. Торжество злых никогда не бывает долгим!

— Вы поедете в Ватан и возьмете доверенность от господина Руже,— сказал старик Баруху.— Речь идет о том, чтобы перевести пятьдесят тысяч франков дохода на имя мадемуазель Бразье. Затем отправляйтесь якобы в Париж, но остановитесь в Орлеане и ждите там моих указаний. Не давайте знать никому, где вы остановитесь; выберите самую дрянную гостиницу предместья Банье, хотя бы даже постоялый двор для возчиков...

— Смотрите! — воскликнул Франсуа, который, услышав стук коляски на Гранд-Нарет, подбежал к окну.— Вот это новость! Папаша Руже и господин Филипп Бридо возвращаются вместе в коляске, а Бенжамен и Карпантье едут вслед за ними верхом.

— Иду туда! — вскричал г-н Ошон, у которого любопытство взяло верх над всеми другими чувствами.

Господин Ошон застал старого Руже в его комнате — он писал под диктовку племянника следующее письмо:

«Мадемуазель!

Если вы не выедете тотчас по получении этого письма, чтобы вернуться ко мне, то ваше поведение будет свидетельствовать о такой неблагодарности за мою доброту, что я отменю завещание, сделанное в вашу пользу, и завещаю все имущество своему племяннику Филиппу. Прошу вас понять также, что господин Жиле больше не может быть моим сотрапезником, поскольку

он оказался с вами в Ватане. Я поручаю капитану Карпантье вручить вам настоящее письмо и надеюсь, что вы послушаетесь его советов, ибо он будет говорить с вами, как если бы это был сам

любящий вас Ж.-Ж. Руже».

— Мы с капитаном встретили дядю, который готов был совершить глупость, отправившись в Ватан на поиски мадемуазель Бразье и командира Жиле,— с глубокой иронией сказал Филипп г-ну Ошону.— Я дал понять дядюшке, что он очертя голову сам лез в ловушку. Разве эта девка не бросила бы его, как только бы он подписал доверенность, которой она требовала с намерением присвоить себе пятьдесят тысяч ливров дохода от государственной ренты? Разве, написав это письмо, он не увидит сегодня же ночью прекрасную беглянку, которая возвратится под его кровлю? Я обещаю сделать мадемуазель Бразье мягкой, как воск, на весь остаток его дней, если дядя разрешит мне заместить господина Жиле, чье присутствие здесь я нахожу более чем неуместным. Разве я не прав? А дядя еще жалуется!

— Сосед,— сказал г-н Ошон,— вы нашли лучший способ водворить у себя мир. Поверьте мне, уничтожьте завещание, и вы увидите Флору такой же, какой она была для вас в первые дни.

— Нет, она не простит мне горя, которое я ей причиню,— сказал старик, плача,— она больше не будет меня любить.

— Она будет вас любить, и крепко, я берусь это устроить,— сказал Филипп.

— Да откройте же глаза! — заметил г-н Ошон.— Вас хотят обобрать и бросить.

— Ах, если бы я в этом был уверен! — вскричал слабоумный.

— Смотрите, вот письмо, которое Максанс написал моему внуку Борнишу,— сказал Ошон.— Читайте!

— Какая мерзость! — воскликнул Карпантье, выслушав письмо, которое прочитал вслух Руже, заливаясь слезами.

— Не правда ли, дядя, достаточно ясно? — спросил Филипп.— Слушайте, привяжите эту девицу к себе,

играя на ее корыстных расчетах, и вас будут обожать... в той мере, в какой вас можно обожать,— как-никак, все же будет, что называется, серединка на половинку.

— Она очень любит Максанса, она уйдет от меня,— сказал старик, видимо, совсем перепуганный.

— Но, дядя, послезавтра на улицах Иссудена не останется и следов от Максанса — или от меня...

— Хорошо, поезжайте, господин Карпантье,— сказал старик.— Если вы обещаете, что она вернется, то поезжайте. Вы честный человек, скажите ей все, что вы сочтете нужным сказать от моего имени.

— Капитан Карпантье шепнет ей на ушко, что я выпишу из Парижа одну женщину, весьма привлекательную своей молодостью и красотой,— сказал Филипп Бридо,— и бесстыдница вернется, ползком приползет!

Капитан выехал в старой коляске, сам правя лошадью; его сопровождал верхом Бенжамен, так как Куского не нашли. Хотя оба офицера пригрозили ему судом и потерей места, все же поляк нанял лошадь и поспешил в Ватан известить Максанса и Флору о проделке их противника. Не желая возвращаться вместе с Баламуткой, Карпантье собирался, выполнив поручение, пересесть на лошадь Бенжамена.

Узнав о побеге Куского, Филипп сказал Бенжамену:

— С этого вечера ты заменишь здесь поляка, так что постарайся примоститься на запятках коляски незаметно для Флоры, чтобы быть здесь в одно время с ней.

— Дело устраивается, папаша Ошон! — воскликнул подполковник.— Послезавтра будет веселый банкет.

— Вы поселитесь здесь,— сказал старый скряга.

— Я только что велел Фарио доставить сюда все мои вещи. Я буду спать в той комнате, что выходит на площадку лестницы, напротив помещения Жиле, дядя согласен.

— Что после всего этого получится? — сказал в ужасе г-н Руже.

— После всего этого через четыре часа к вам вернется мадемуазель Флора Бразье, кроткая, как пасхальный ягненок,— ответил г-н Ошон.

— Да поможет бог! — воскликнул старик, вытирая слезы.

— Сейчас семь часов,— сказал Филипп,— владычица вашего сердца будет здесь в половине двенадцатого. Вы не увидите больше Жиле — разве вы не будете счастливы, как сам римский папа? Если вы хотите, чтобы я победил,— прибавил Филипп на ухо Ошону,— то останьтесь с нами до приезда этой распутницы; вы поможете мне поддержать старика в его решении; потом мы оба втолкуем мадемуазель Баламутке, в чем ее настоящая выгода.

Господин Ошон остался с Филиппом, уразумев справедливость его просьбы; но им обоим пришлось повозиться, так как Руже пустился в детские жалобы и поддался наконец только доводу, который раз десять повторил Филипп:

— Дядя, если Флора вернется и будет нежна с вами, вы согласитесь, что я был прав. Вас будут лелеять, вы сохраните свои доходы, отныне вы будете руководиться моими советами, и у вас будет не жизнь, а прямо рай.

В половине двенадцатого на Гранд-Нарет послышался стук берлины, но было еще неизвестно, вернулась ли коляска пустой или с пассажиром. Лицо Руже выражало ужасную тоску, сменившуюся изнеможением от чрезмерной радости, когда в коляске, подъехавшей к воротам, он увидел двух женщин.

— Куский,— сказал Филипп, предлагая руку Флоре, чтобы помочь ей сойти,— вы больше не служите у господина Руже и уже нынче не будете здесь ночевать; складывайте свои вещи. Вас заменит вот он, Бенжамен.

— Значит, вы стали здесь хозяином? — насмешливо спросила Флора.

— С вашего позволения,— ответил Филипп, сжимая руку Флоры в своей руке, словно в тисках.— Пойдемте, мы с вами должны *побаламутить* наши сердца наедине.

Филипп отвел ошеломленную женщину на несколько шагов в сторону по площади Сен-Жан.

— Так слушайте, моя красавица: послезавтра Жиле будет отправлен к праотцам вот этой рукой,— сказал рубака, вытягивая правую руку,— или же, наоборот, он заставит меня сдать пост. Если я умру, вы бу-

дете хозяйкой у моего бедного дурачка дяди: да будет сие во благо! Если же я устою на своих ходулях, ведите себя честно и дайте дяде счастье первого сорта. В противном случае имейте в виду: я знаю в Париже баламуток, которые, не в обиду будь вам сказано, покрасивее вас, потому что им только семнадцать лет; они сделают моего дядюшку вполне счастливым, да и к тому же будут действовать в мою пользу. Начинайте вашу службу с нынешнего вечера, и если старик завтра не будет весел, как птичка, то я вам скажу только одно словцо, запомните хорошенько: имеется лишь единственный способ убить мужчину так, чтобы правосудие и не пикнуло,— это подраться с мужчиной на дуэли; но я знаю целых три способа избавиться от женщин. Так-то, моя козочка!

Во время этой речи Флора дрожала, как в лихорадке.

— Вы убьете Макса? — спросила она, глядя на Филиппа при свете луны.

— Идите, вот и дядя...

В самом деле, папаша Руже, несмотря на все уговоры г-на Ошона, появился на улице и схватил Флору за руку, как скупой хватает свое сокровище; войдя в дом, он увел ее в свою комнату и заперся там с нею.

— Вот бог, а вот порог! — сказал Бенжамен поляку.

— Мой хозяин всем вам заткнет глотку,— ответил Куский, отправляясь к Максу, который занял помещение в «Почтовой гостинице».

На следующее утро с девяти до одиннадцати часов женщины судачили у дверей домов. Во всем городе только и было слышно, что о странном перевороте, происшедшем накануне в домашней жизни папаши Руже. Разговоры везде сводились к одному:

— Что-то произойдет завтра между Максом и полковником Бридо на банкете в честь коронации?

Филипп сказал Ведии всего два слова: «Шестьсот франков пожизненной пенсии — или вон!» Это на время сделало ее нейтральной между двумя столь грозными силами, как Филипп и Флора.

Зная, что жизнь Макса в опасности, Флора стала еще приветливей со старым Руже, чем даже в первые

дни их совместной жизни. Увы! В любви обман из расчета всегда берет верх над подлинным чувством — вот почему столько мужчин так дорого платят ловким обманщицам. Баламутка сошла вниз только к завтраку, под руку с Руже.

Слезы выступили у нее на глазах, когда на месте Макса она увидела страшного рубаку, с холодно-зловещим лицом, с сумрачным взглядом синих глаз.

— Что с вами, мадемуазель? — спросил он, пожелав доброго утра дяде.

— Ей невыносима мысль, что ты можешь подраться на дуэли с командиром Жиле...

— Я не имею ни малейшего желания убивать этого Жиле,— ответил Филипп.— Пусть он только уедет из Иссудена, возьмет какой-нибудь ходовой товар и с ним погрузится на корабль, идущий в Америку; я первый посоветую вам дать ему денег на покупку самых лучших товаров и пожелаю ему доброго пути! Он наживет себе состояние, и это будет гораздо почтеннее, чем проказничать напропалую по ночам в Иссудене и бесноваться в вашем доме.

— Ну, как, не правда ли, это мило? — сказал Руже, глядя на Флору.

— В А-ме-ри-ку! — промолвила она, рыдая.

— Лучше пощелкивать каблуками в Нью-Йорке, чем гнить в еловом сюртуке во Франции... Впрочем, в ответ вы скажете, что он ловок: он может убить меня! — заключил полковник.

— Вы мне позволите с ним поговорить? — покорным и смиренным голосом спросила его Флора.

— Конечно, он может прийти за своими вещами, однако на это время я останусь с дядей, так как больше не покину старика,— ответил Филипп.

— Ведия! — крикнула Флора.— Беги в «Почтовую гостиницу» и скажи командиру, что я его прошу...

— ...прийти за своими вещами,— закончил Филипп, прерывая Флору.

— Да, да, Ведия!.. Это будет самый приличный повод увидеться со мной, я хочу с ним поговорить...

Страх настолько подавил ненависть у этой девицы, а испытанное ею потрясение от встречи с сильной и безжалостной натурой было так велико, что она, до сих

пор видевшая только ласку, уже привыкла подчиняться Филиппу, как бедный Руже привык подчиняться ей; с тревогой ждала она возвращения Ведии, но та вернулась с категорическим отказом Макса, просившего мадемуазель Бразье прислать ему его вещи в «Почтовую гостиницу».

— Вы позволите мне самой отнести их? — спросила она Жан-Жака Руже.

— Да, но возвращайся поскорее! — ответил старик.

— Если мадемуазель не вернется к полудню, то в час пополудни вы мне дадите доверенность на продажу ренты,— сказал ему Филипп, глядя на Флору.— Чтобы соблюсти приличия, идите вместе с Ведией, мадемуазель. Отныне нужно заботиться о чести моего дяди.

Флора ничего не могла добиться от Максанса. Офицер, в отчаянии, что позволил выбить себя из позиции — позорной в глазах всего города,— все же был слишком горд, чтобы бежать от Филиппа. Баламутка возражала против его доводов, предлагая своему дружку вместе уехать в Америку, но Максансу Жиле не нужна была Флора без состояния Руже, и он, не открывая ей своих тайных расчетов, настаивал на своем намерении убить Филиппа.

— Мы сделали большую глупость,— сказал он.— Нужно было втроем отправиться в Париж и провести там зиму; но как можно было предположить, увидев этого дохлого верзилу, что дело повернется таким образом? В ходе событий есть какая-то умопомрачительная быстрота. Я принял полковника за одного из тех головорезов, которые не способны пошевелить мозгами; в этом моя ошибка. А так как я сразу не догадался сделать лисью петлю, то теперь я окажусь трусом, отступая хотя бы на шаг перед полковником; он погубил меня во мнении города,— и, чтобы восстановить свою честь, я должен убить его!

— Уезжай в Америку с сорока тысячами франков, я сумею освободиться от этого дикаря и присоединюсь к тебе, так будет гораздо благоразумней...

— Что же подумают обо мне? — воскликнул он, движимый привычным страхом перед *язычками.*— Нет! Кроме того, я ведь уже отправил на тот свет девятерых. Этот малый, сдается мне, не очень-то опасный

противник: прямо из военной школы он поступил в армию, все время воевал — до самого тысяча восемьсот пятнадцатого года, потом отправился в Америку; таким образом, этот наглец никогда и не бывал в фехтовальном зале, а я не знаю себе равных в сабельной рубке. Сабля — его род оружия, я буду казаться великодушным, предлагая драться на саблях, потому что ведь я поведу дело так, чтобы он меня оскорбил, и перехитрю его. Решительно, это будет лучше. Успокойся: послезавтра мы будем господами положения.

Таким образом, дурацкое представление о своей чести оказалось у Макса сильней здравого расчета. Возвратившись в час дня домой, Флора заперлась в своей комнате, чтобы наплакаться вволю. В течение всего этого дня работали *язычки* в Иссудене; дуэль между Филиппом и Максансом считали неизбежной.

— Ах, господин Ошон,— сказал Миньоне, встретивший старика во время своей прогулки с Карпантье по бульвару Барон,— мы очень беспокоимся, так как Жиле великолепно владеет любым оружием.

— Пустяки! — ответил старый провинциальный дипломат.— Филипп хорошо вел это дело. Я не поверил бы, что этот развязный парень так быстро одержит верх. Молодчики столкнулись друг с другом, как две грозовые тучи...

— О,— сказал Карпантье,—Филипп — человек хитроумный, его поведение в верховном суде — образец дипломатии...

— ...Так-то, господин Ренар,— заметил некий горожанин.— Говорят, волки никогда не грызутся между собой, но, кажется, Макс схватится врукопашную с полковником Бридо. Между двумя солдатами старой гвардии дело будет серьезное.

— Вы смеетесь над этим, вы, нынешние! — сказал Потель.— Бедный малый развлекался по ночам, поэтому вы против него. Но Жиле не такой человек, чтобы спокойно сидеть в этой дыре Иссудене без всякого дела!

— В конце концов, господа,— сказал четвертый,— у Макса с полковником особые счеты. Разве полковник не должен был отомстить за своего брата Жозефа? Вспомните, как предательски вел себя Макс по отношению к этому бедному парню.

— Ба! Какой-то художник! — сказал Ренар.

— Но дело касается наследства отца Руже. Говорят, господин Жиле собирался захватить пятьдесят тысяч ливров дохода, как раз когда полковник поселился у своего дяди.

— Жиле собирался украсть ренту?! Вот что, господин Жаниве, не повторяйте этого где-нибудь в другом месте, иначе мы заставим вас проглотить язык, и притом без всякой приправы! — крикнул Потель.

Во всех буржуазных домах высказывались в пользу достойного полковника Бридо.

На следующий день, к четырем часам, офицеры старой армии, проживающие в Иссудене или в окрестностях, поджидали Филиппа Бридо, прогуливаясь по Рыночной площади у входа в ресторан Лакруа. Банкет, который должен был состояться в память коронации Наполеона, назначили на пять часов — воинский час. О деле Максанса и его отъезде из дома Руже говорили в разных группах — в том числе и среди простых солдат, надумавших собраться в винном погребке на площади. Среди офицеров только Потель и Ренар пытались защищать своего друга.

— Зачем нам вмешиваться в то, что происходит между двумя наследниками? — сказал Ренар.

— У Макса слабость к женщинам,— напомнил циничный Потель.

— Скоро сабли будут обнажены,— сказал один отставной прапорщик, возделывавший свои огороды в Верхнем Бальтане.— Если уж Максанс Жиле совершил такую глупость, что поселился у папаши Руже, то позволить выгнать себя, как лакея, не потребовав объяснения, было бы просто трусостью.

— Конечно,— сухо ответил Миньоне.— Глупость, не имеющая успеха, становится преступлением.

Когда Макс подошел к старым наполеоновским воинам, он был встречен многозначительным молчанием. Потель и Ренар, взяв под руки своего друга, отошли на несколько шагов, чтобы поговорить с ним. В эту минуту издалека появился Филипп, который шел в парадном одеянии, волоча по земле свою трость с невозмутимым видом, составлявшим полную противоположность тому глубокому вниманию, какое Макс принуж-

ден был уделить разговорам со своими последними двумя друзьями. Миньоне, Карпантье и некоторые другие пожали Филиппу руку. Такой прием, столь отличный от приема, оказанного Максансу, окончательно уничтожил у этого молодого человека малодушные или, если угодно, благоразумные мысли, внушенные ему уговорами и особенно ласками Флоры и приходившие ему в голову, как только он оставался наедине с собой.

— Мы будем драться,— сказал он капитану Ренару,— и насмерть! Так что не говорите мне больше ни о чем, предоставьте мне играть мою роль.

После этих слов, произнесенных лихорадочным тоном, все трое бонапартистов присоединились к группе офицеров. Макс первый поклонился Филиппу Бридо, и тот ответил ему на поклон, обменявшись с ним самым холодным взглядом.

— Пора, господа! К столу! — провозгласил Потель.

— Выпьем за неувядаемую славу маленького капрала, который теперь пребывает в райских селениях храбрецов! — воскликнул Ренар.

Понимая, что за столом меньше будет чувствоваться неловкость, каждый угадал намерение капитана вольтижеров. Все устремились в длинный низкий зал ресторана Лакруа, выходивший окнами на Рыночную площадь. Сотрапезники быстро уселись за стол, и два противника оказались друг против друга, чего и добивался Филипп. Несколько молодых людей из города и особенно бывшие «рыцари безделья», обеспокоенные тем, что должно было произойти во время банкета, прогуливались, разговаривая об опасном положении, в которое Филипп сумел поставить Максанса Жиле. Они сожалели об этой стычке, но считали дуэль безусловно неизбежной.

Все шло хорошо до десерта, хотя оба борца, несмотря на видимое оживление, царившее за обедом, соблюдали какую-то настороженность, довольно похожую на беспокойство. В ожидании ссоры, повод к которой и тот и другой должны были придумать, Филипп проявлял удивительное хладнокровие, а Макс — легкомысленную веселость, но знатоки понимали, что каждый из них играет роль.

Когда десерт был подан, Филипп сказал:

— Наполните ваши стаканы, друзья мои. Я прошу позволения провозгласить первый тост.

— Он сказал «друзья мои», не наливай своего стакана,— шепнул Ренар на ухо Максу.

Макс налил себе вина.

— За великую армию! — воскликнул Филипп с неподдельным энтузиазмом.

— За великую армию! — повторили в один голос все сотрапезники.

В эту минуту на пороге зала появилось одиннадцать простых солдат — среди которых были Бенжамен и Куский,— повторявшие: «За великую армию!»

— Войдите, ребята, будем пить за *его* здоровье,— сказал Потель.

Старые солдаты вошли и стали позади офицеров.

— Ты видишь отлично, что *он* не умер,— сказал Куский отставному сержанту, безнадежно оплакивавшему смерть императора.

— Я провозглашаю второй тост,— сказал командир Миньоне.

В ожидании собутыльники занялись блюдами со сладким. Миньоне встал.

— За тех, кто стремится восстановить *его* сына! — сказал Миньоне.

Все, за исключением Максанса Жиле, приветствовали Филиппа, подняв стаканы.

— Теперь позвольте мне,— сказал Макс, вставая.

— Макс! Макс! — заговорили бывшие снаружи.

Глубокое молчание воцарилось в зале и на площади, потому что характер Макса давал повод предполагать, что он бросит вызов.

— За то, чтобы мы *все* встретились в этот день в будущем году! — И он с иронией поклонился Филиппу.

— Дело завязывается,— сказал Куский своему соседу.

— В Париже полиция не позволяла вам устраивать такие банкеты,— сказал Потель Филиппу.

— Какого черта ты поминаешь полицию в присутствии полковника Бридо? — заметил Максанс Жиле с явной издевкой.

— Ну, уж ваш друг не хотел вас задеть, успокойтесь,— ответил Филипп, язвительно улыбаясь.

Стало так тихо, что слышно было, как муха пролетит.

— Полиция опасается меня настолько, что выслала в Иссуден, где я имел удовольствие снова встретиться со старыми удальцами; но, надо признаться, здесь не очень-то развлечешься. Я, как человек, который не чуждался любовных делишек, здесь совершенно их лишен. Но в конце концов я накоплю денег на девочек, а то ведь я не принадлежу к числу тех, кому пуховик служит доходной статьей. Мариетта из Большой Оперы стоила мне бешеных денег.

— Это вы намекали на меня, дорогой полковник? — спросил Макс, метнув на Филиппа взгляд, подобный электрическому току.

— Понимайте, как хотите, командир Жиле,— ответил Филипп.

— Полковник, два моих друга, присутствующие здесь Ренар и Потель, условятся завтра...

— ...с Миньоне и Карпантье,— подхватил Филипп, указывая на своих соседей.

— А теперь,— сказал Макс,— вернемся к нашим тостам!

Оба противника не повышали голоса и разговаривали обычным тоном — торжественным было только молчание, с которым их слушали.

— Да, вот еще что,— сказал Филипп, обернувшись к простым солдатам,— помните, что наши дела не касаются горожан. Ни слова о том, что здесь произошло. Это должно остаться в среде старой гвардии.

— Они будут молчать, полковник,— заверил его Ренар,— я отвечаю за них.

— Да здравствует *его* сын! Да взойдет он на французский престол! — воскликнул Потель.

— Смерть англичанам! — крикнул Карпантье.

Этот тост имел исключительный успех.

— Позор Гудсону Лоу! — поддержал капитан Ренар.

Конец обеда прошел прекрасно, возлияния были весьма обильны. Оба противника и их четыре секунданта сочли для себя вопросом чести, чтобы эта дуэль, где дело шло об огромном состоянии и о судьбе двух человек, столь выдающихся своею храбростью, не имела ничего общего с обычными столкновениями. Два *джентльмена* не

могли бы вести себя лучше, чем Макс и Филипп. Таким образом, местные молодые люди и горожане постарше, толпившиеся на площади, были обмануты в своих ожиданиях. Все сотрапезники, как настоящие военные, хранили самое глубокое молчание о всем происшедшем за десертом. В десять часов каждый из противников узнал, что оружием была избрана сабля. Встреча была назначена в восемь часов утра за церковью Капуцинов. Годде, принимавшего участие в банкете в качестве бывшего военного врача, попросили присутствовать на дуэли. Секунданты решили, что при любых обстоятельствах схватка не должна длиться более десяти минут.

В одиннадцать часов вечера, к большому изумлению полковника, г-н Ошон явился к нему со своей женой, когда он уже собирался лечь спать.

— Мы знаем, что произошло,— сказала старая дама со слезами на глазах.— Я пришла к вам с просьбой не выходить завтра не помолившись... Вознеситесь душою к господу.

— Хорошо, сударыня,— ответил Филипп, которому старик Ошон сделал знак из-за женихой спины.

— Это еще не все,— продолжала крестная Агаты.— Я ставлю себя на место вашей бедной матери и отдаю вам самое дорогое, что у меня есть,— возьмите.

Госпожа Ошон протянула Филиппу какой-то зуб, прикрепленный к черному, расшитому золотом бархату, к которому она пришила две зеленые ленты, и, показав его, спрятала в маленький мешочек.

— Это зуб святой Соланж, покровительницы Берри; я его спасла во время революции; завтра утром наденьте ладанку себе на грудь.

— И она может предохранить от удара сабли? — спросил Филипп.

— Да,— ответила старая дама.

— Тогда я не могу надеть это снаряжение, как не мог бы надеть кирасу! — воскликнул сын Агаты.

— Что он сказал? — спросила г-жа Ошон мужа.

— Он сказал, что так не полагается,— ответил старый Ошон.

— Хорошо, не будем больше говорить об этом,— сказала старая дама.— Я помолюсь за вас.

— Да, сударыня, молитва и хороший удар клинком —

это не может повредить,— сказал полковник, сделав движение, будто пронзает сердце г-на Ошона.

Старая дама пожелала запечатлеть на лбу Филиппа поцелуй. Потом, уходя, она дала Бенжамену десять экю, все свои деньги, поручив ему зашить ладанку в часовой кармашек панталон его хозяина. Бенжамен так и сделал, не потому, что верил в силу этого зуба,—он подумал, что у его господина против Жиле и без того есть зуб, и такой, от которого больше толку,— но потому, что чувствовал себя обязанным выполнить столь щедро оплаченное поручение.

Госпожа Ошон удалилась, преисполненная веры в заступничество святой Соланж.

На следующий день, третьего декабря, в восемь часов утра, при пасмурной погоде, Макс в сопровождении двух секундантов и поляка явился на маленький лужок, расстилавшийся позади старинной церкви Капуцинов. Они застали там Филиппа с его секундантами и Бенжамена.

Потель и Миньоне отмерили двадцать четыре шага. У обоих концов этой дистанции два солдата провели лопатой черту. Под страхом обвинения в трусости противники не имели права отступить за свою черту; каждый из них должен был стоять на ней, а когда секунданты крикнут: «Сходись!», мог двигаться вперед на любое расстояние.

— Снимем фраки? — сухо спросил Филипп Жиле.

— Охотно, полковник,— сказал Максанс с бреттерской уверенностью в себе.

Противники сняли фраки; под тонкой тканью рубашек просвечивало розовое тело. Вооруженные саблями казенного образца, одинаково весившими около трех фунтов и одной и той же длины, в три фута, оба стали на места, опустив сабли острием к земле и ожидая сигнала. И тот и другой держались так спокойно, что, несмотря на холод, ни один мускул не шевельнулся у них, словно они были из бронзы. Годде, четыре секунданта и два солдата невольно поддались впечатлению.

— Замечательные ребята!

Это восклицание вырвалось у командира Потеля.

В тот момент, когда был дан сигнал: «Сходись!», Максанс заметил зловещее лицо Фарио, смотревшего на

них из той самой дыры, которую «рыцари» проделали в крыше церкви, чтобы напустить голубей в его склад. Эти два глаза, как бы извергавшие две огненные струи мстительной ненависти, ослепили Макса. Полковник пошел прямо на своего противника, стремясь стать так, чтобы иметь преимущество. Знатокам искусства убивать известно, что более ловкий из двух противников может «занять верхнюю часть площадки», если употребить образное выражение, обозначающее нападение сверху. Это положение, позволяющее в некотором смысле видеть нападение другого, так хорошо свидетельствует о дуэлянте первого ранга, что сознание превосходства своего противника проникло в душу Макса и вызвало расстройство душевных сил, нередко заставляющее игроков в присутствии мастера своего дела или человека, которому везет, смущаться и играть хуже, чем обыкновенно.

«А! Бывалый парень,—подумал Макс,—первоклассный боец, я пропал!»

Макс попробовал прибегнуть к мулинэ, вращая саблей с ловкостью искусного фехтовальщика; он хотел ошеломить Филиппа и задеть его саблю, чтобы выбить ее; но по первому же удару он понял, что у полковника железная кисть руки, при этом гибкая, как стальная пружина. Максансу приходилось избрать другой прием, и — несчастный! — он стал размышлять, в то время как Филипп, у которого глаза сверкали как молнии, отражал все атаки с хладнокровием учителя фехтования, ведущего занятия у себя в зале.

Между людьми такой силы, как эти два бойца, происходит нечто подобное тому, что бывает у простого народа во время страшной схватки, именуемой «сават». Исход борьбы зависит от какого-нибудь неправильного движения или затруднения в расчете, меж тем как он должен быть быстрым, как искра, и ему нужно следовать без раздумья. В течение времени, столь короткого для зрителей и столь долгого для противников, сущность борьбы состоит в напряженном внимании, поглощающем силы души и тела и скрытом обманными ударами — медлительность и очевидная осторожность их как будто дают повод полагать, что ни один из противников не хочет драться. Этот момент, за которым следует быстрая и решающая схватка, ужасен для знатоков. В ответ на

неудачную параду Макса полковник выбил у него из руки саблю.

— Поднимите ее! — сказал он, приостанавливая схватку.— Я не таков, чтобы убивать безоружного врага.

Это была возвышенная жестокость. Подобное великодушие свидетельствовало о таком превосходстве, что зрители восприняли его, как самый ловкий расчет. Действительно, когда Макс снова стал в позицию, он уже потерял хладнокровие и по необходимости оказался под ударом того нападения сверху, которое грозит вам и в то же время безопасно для вашего противника; тогда он, желая искупить отвагой свое постыдное поражение, не думая о защите, взял саблю обеими руками и яростно обрушился на полковника, чтобы ранить его насмерть, отдавая ему свою собственную жизнь. Филипп получил удар саблей, рассекший ему лоб и часть лица, но зато он наискось разрубил голову Максу страшным выпадом из мулинэ, которое он противопоставил, чтобы ослабить смертельный удар, предназначавшийся ему Максом. Эти два бешеных удара закончили схватку на девятой минуте. Фарио спустился вниз и подбежал упиться видом своего врага, который корчился в конвульсиях смерти, ибо у человека такой силы, как Макс, мускулы тела сокращались ужасным образом. Филиппа перенесли к его дяде.

Так погиб один из людей, предназначенный к свершению великих дел, если бы он остался в благоприятной для него среде; человек, с которым природа обошлась как со своим баловнем, наделив его храбростью, хладнокровием и сообразительностью политика в духе Цезаря Борджа. Но воспитание не придало благородства его мыслям и поведению, а без этого успех невозможен ни на каком жизненном поприще. О Максе не пожалели, так как его вероломный противник, менее достойный, чем он, сумел подорвать к нему уважение. Его смерть положила конец подвигам Ордена безделья — к огромному удовлетворению города Иссудена. Поэтому у Филиппа не было неприятностей из-за дуэли, к тому же казавшейся делом божественного возмездия и повсюду вокруг вызвавшей всем своим ходом единодушные похвалы обоим противникам.

— Им бы следовало убить друг друга,— сказал г-н Муйерон.— Правительство сразу отделалось бы от двойной докуки.

Положение Флоры Бразье было бы весьма затруднительно, если бы не острое заболевание, вызванное у нее смертью Макса; у нее начался бред, вызванный опасным воспалением мозга, причиной которого явились потрясения этих трех дней; будь она здорова, она, быть может, бежала бы из дома, где этажом выше, в комнате Макса, в его постели, лежал его убийца. Три месяца она провела между жизнью и смертью, лечил ее Годде, одновременно лечивший и Филиппа.

Как только Филипп был в состоянии держать перо, он написал следующие письма:

«Господину Дерошу, стряпчему.

Я уже прикончил самого ядовитого из двух зверей — правда, получив сабельный удар, оставивший зазубрину на моей голове; но, к счастью, плут действовал недостаточно проворно. Осталась другая гадина, с которой я постараюсь сладить, потому что мой дядя носится с ней, как с писаной торбой. Я боялся, как бы эта Баламутка, дьявольски красивая бабенка, не удрала,— потому что тогда и дядя последовал бы за ней. Но, к счастью, потрясение, испытанное ею, в решительную минуту пригвоздило ее к постели. Если господь будет ко мне милостив, то он призовет к себе эту душу, пока она раскаивается в своих заблуждениях. В ожидании этого я благодаря господину Ошону (старик чувствует себя хорошо!) отдан на попечение доктора по фамилии Годде, малого себе на уме, который понимает, что наследствам дядюшек лучше быть в руках племянников, а не подобных распутниц. Кроме того, господин Ошон пользуется влиянием на некоего Фише, папашу богатой невесты, на которой Годде хотел бы женить своего сына; таким образом, тысячефранковая ассигнация, обещанная ему за излечение моей башки, играет далеко не главную роль в его преданности. К тому же этого Годде, отставного старшего хирурга 3-го пехотного полка, хорошенько настрочили мои друзья, два храбрых офицера Миньоне и Карпантье, чтобы он *обработал* свою больную. «Видите ли, мое дитя,— говорит он ей, щупая

пульс,— как бы то ни было, есть господь бог. Вы были причиной большого несчастья, следует его исправить. Во всем этом — перст божий (непостижимо, чего только не приписывают персту божьему!). Религия есть религия: подчинитесь, смиритесь, это сразу вас успокоит и будет способствовать вашему излечению не в меньшей мере, чем мои лекарства. Главное — оставайтесь здесь, заботьтесь о вашем хозяине. Словом, забудьте обиду, простите — таков христианский закон».

Годде обещал мне продержать Баламутку в постели три месяца. Быть может, эта девица постепенно привыкнет к тому, что мы с нею живем под одной кровлей. Я перетянул кухарку на свою сторону. Эта гнусная старушонка сказала своей хозяйке, что Макс создал бы ей очень тяжелую жизнь. Она, мол, слышала от покойника, что, если после смерти дядюшки Флора вынуждала бы Макса жениться на ней, он не счел бы нужным жертвовать своим честолюбием ради какой-то девки. И кухарка добилась того, что внушила своей хозяйке, будто Макс намеревался отделаться от нее. Таким образом, все идет хорошо. Мой дядя, по совету Ошона, уничтожил свое завещание».

«Господину Жирудо (просьба передать через м-ль Флорентину), улица Вандом, что в Марэ.

Мой старый товарищ!

Узнай, занята ли сейчас эта милая крыса Цезарина, и постарайся, чтобы она была готова к выезду в Иссуден, как только я ее вызову. А тогда пусть разбойница едет сюда немедленно. Необходимо быть с виду весьма благопристойной особой, воздержаться от всего, что пахнет кулисами, потому что здесь нужно появиться в качестве дочери храброго офицера, павшего с честью на поле брани. Следовательно, порядочность, скромное платье воспитанницы пансиона и добродетель первого сорта — таков замысел. Если Цезарина мне понадобится и если она достигнет цели, то после смерти моего дяди она получит пятьдесят тысяч франков; если же она занята, то объясни мое дело Флорентине, и вы вдвоем найдете какую-нибудь фигурантку, способную сыграть нужную роль. Мой охотник за наследством стесал мне

череп на дуэли, но сам закатил глаза. Я тебе расскажу об этом ударе. Ах, старина, мы еще увидим хорошенькие деньки, еще славно потешимся, иначе *Тот* не был бы *Тем*. Если ты можешь прислать мне пятьсот боевых патронов, я найду им применение. Прощай, мой старый воробей. Этим письмом раскури сигару. Само собой понятно, что дочь офицера прибудет из Шатору и прикинется, будто просит поддержки. Однако я все же надеюсь обойтись без такого опасного средства. Передай от меня привет Мариетте и всем нашим старым друзьям».

Агата, уведомленная письмом г-жи Ошон, примчалась в Иссуден и остановилась у брата, предоставившего ей прежнюю комнату Филиппа. Бедная мать, которая в своем сердце вновь обрела для проклятого сына всю материнскую любовь, прожила несколько счастливых дней, слушая, как местные жители не нахвалятся полковником.

— Что там ни говори,— сказала ей г-жа Ошон в день ее приезда,— молодым людям нужно перебеситься. Ветреные выходки у тех, кто воевал во времена императора, не могут быть такими же, как у молодых людей, живущих под крылышком родителей. Ах, если бы вы знали, что́ этот негодяй Макс позволял себе делать здесь по ночам! Теперь благодаря вашему сыну Иссуден вздохнул и спит спокойно. Хотя и поздновато, но Филипп все же образумился. Как он нам говорил, трехмесячное заключение в Люксембургской тюрьме отрезвит хоть кого; а здесь он ведет себя так, что просто восхищает господина Ошона и пользуется всеобщим уважением. Если бы вашему сыну побыть еще некоторое время вдали от парижских соблазнов, он доставил бы много радости вашему материнскому сердцу.

Агата слушала эти утешительные слова и смотрела на свою крестную счастливыми глазами, полными слез.

Филипп разыгрывал честного малого перед своей матерью, так как нуждался в ней. Этот тонкий политик намеревался прибегнуть к помощи Цезарины только в крайнем случае — если будет ненавистен мадемуазель Бразье. Поняв, что Флора представляет собой превосходное орудие, выделанное Максом, и увидев, как привязан к ней дядя, Филипп предпочитал прибегнуть за по-

мощью к ней, а не к какой-нибудь парижанке, способной женить на себе старика. Так же, как Фуше советовал Людовику XVIII «спать в постели» Наполеона вместо того, чтобы издавать хартию, Филипп не прочь был спать в постели Жиле; но вместе с тем ему не хотелось наносить урон репутации, которую он только что составил себе в Берри; заступить место Макса по отношению к Баламутке — значило бы вызвать ненависть и к себе и к ней. Он мог без ущерба для своей чести по-родственному проживать в доме у своего дяди и на его счет, но, чтобы заполучить Флору, он должен был сначала восстановить ее доброе имя. Среди таких затруднений, побуждаемый надеждой завладеть наследством, он составил чудесный план — сделать так, чтобы Баламутка стала его тетушкой. Руководясь тайным замыслом, он попросил свою мать навестить ее и показать ей свое расположение, обращаясь с ней, как со своей невесткой.

— Я согласен, маменька,— сказал он, прикидываясь скромником и поглядывая на чету Ошонов, которые пришли посидеть с дорогой Агатой,— что образ жизни моего дядюшки не особенно приличен, но ему было бы достаточно узаконить его, чтобы добиться для мадемуазель Бразье уважения города. Не лучше ли было бы для нее стать госпожой Руже, чем содержанкой старого холостяка? Разве ей не было бы проще получить известные права по брачному контракту, чем угрожать семейству лишением наследства? Если бы вы, или господин Ошон, или какой-нибудь хороший священник пожелали поговорить с ней в таком духе, то прекратили бы это неприличие, вызывающее негодование у порядочных людей. Кроме того, мадемуазель Бразье была бы счастлива, увидев, что вы ее признали как невестку, а я — как тетушку.

На следующий день у постели Флоры сошлись Агата и г-жа Ошон, рассказавшие больной о благородных чувствах Филиппа. Во всем Иссудене о полковнике говорили как о превосходном человеке с прекрасным характером, особенно ссылаясь на его отношение к Флоре. В продолжение месяца Баламутка выслушивала Годде-отца, своего врача — а ведь врачи пользуются таким влиянием на настроения больных,— почтенную г-жу Ошон, движимую религиозным рвением, Агату, столь кроткую и благочестивую,— и все они рисовали ей преимущества

брака с Руже. Когда же, соблазненная мыслью стать г-жой Руже, почтенной и достойной буржуазкой, она горячо пожелала выздороветь, чтобы отпраздновать эту свадьбу, то нетрудно было внушить ей, что она не может войти в старинную семью Руже, выставив Филиппа за дверь.

— Кроме того,— сказал ей однажды Годде-отец,— разве не ему вы обязаны этим редким счастьем? Макс никогда бы не позволил вам выйти замуж за папашу Руже. К тому же,— шепнул он ей на ухо,— если у вас будут дети, то разве вы не отомстите за Макса? Ведь в таком случае Бридо не получат наследства.

Через два месяца после рокового события, в феврале 1823 года, больная, по совету всех окружающих и по просьбе Руже, приняла Филиппа, и хотя при виде рубца на его голове она заплакала, но его обращение с нею, необычайно мягкое и почти сердечное, успокоило ее. По желанию Филиппа его оставили одного с будущей теткой.

— Милочка,— сказал солдат,— я с самого начала советовал дяде жениться на вас, и если вы согласны, то так и будет, лишь только вы поправитесь...

— Со мной уже говорили об этом,— ответила она.

— Естественно, что если обстоятельства вынудили меня причинить вам зло, то теперь я хотел бы сделать вам возможно больше добра. Состояние, общее уважение и семья стоят дороже того, что вы потеряли. Умри мой дядя, вы недолго пробыли бы замужем за этим малым, так как я знаю от его друзей, что он готовил вам не сладкую долю. Давайте же, моя милая, будем заодно, и все заживем счастливо. Вы будете моей тетушкой, и *только моей тетушкой.* Вы постараетесь, чтобы дядя не забыл меня в своем завещании; а я, со своей стороны, как вы убедитесь, постараюсь для вас при составлении вашего брачного контракта. Успокойтесь, обдумайте все, мы еще с вами поговорим. Вы сами видите, наиболее здравомыслящие люди, весь город советует вам прекратить незаконное сожительство, и никто не возражает против того, чтобы вы меня принимали. Все понимают, что в жизни на первом месте расчет, а потом уже чувства. В день вашей свадьбы вы будете прекрасны, как никогда. Благодаря вашему нездоровью вы побледнели и вы-

играли от этого. Если бы мой дядя не любил вас до безумия,— сказал он, вставая и целуя ей руку,— то, клянусь честью, вы были бы женой полковника Бридо.

Филипп вышел из комнаты, заронив в душу Флоры эти последние слова, чтобы пробудить у нее смутную мысль о мщении, приятную для этой девушки,— она была почти счастлива, что видит столь страшного человека у своих ног. Филипп в небольшом масштабе воспроизвел сцену, которую разыгрывает Ричард III с королевой, только что овдовевшей из-за него. Смысл этой сцены свидетельствует, что расчет успешнее, чем подлинное чувство, помогает глубоко проникнуть в сердце и рассеять там самую реальную скорбь утраты. Вот как в частной жизни природа достигает того, что в произведениях гения является верхом искусства; ее средство — корысть, а корысть — гений денег.

В начале апреля 1823 года никто уже не удивлялся, что гостиная Жан-Жака Руже являла картину парадного обеда, ознаменовавшего подписание брачного контракта мадемуазель Флоры Бразье со старым холостяком. Приглашены были: г-н Эрон, четыре свидетеля — господа Миньоне, Карпантье, Ошон, Годде-отец; мэр и священник; затем Агата Бридо и наконец г-жа Ошон со своей подругой г-жой Борниш, то есть две старые женщины, пользовавшиеся наибольшим авторитетом в Иссудене. Невеста была весьма чувствительна к такой уступке, которой Филипп добился от этих дам, смотревших на это, как на поддержку, необходимую для раскаявшейся грешницы. Флора была ослепительно прекрасна. Священник, наставлявший две недели невежественную Баламутку, назавтра должен был привести ее к первому причастию. Этот брак был темой следующей благочестивой заметки, напечатанной в газетах «Журналь дю Шер» — в Бурже и «Журналь де л'Эндр» — в Шатору.

«И с с у д е н. Религиозное движение делает успехи в Берри. Все друзья церкви и добропорядочные граждане города Иссудена были вчера свидетелями торжества, которым один из крупнейших собственников нашей области положил конец неблаговидному положению, восходящему к той эпохе, когда религия была бессильна в наших краях. Это — следствие просвещенного усердия духовенства нашего города, которое, надеемся, будет

иметь подражателей и прекратит злоупотребление не освященными церковью браками, заключенными в самые разрушительные периоды революционного правления.

В событии, о котором мы говорим, особенно примечательно то, что оно было вызвано настояниями одного полковника, принадлежащего к старой армии и высланного в наш город постановлением верховного суда, причем этот брак может для него повлечь за собой потерю наследства со стороны его дяди. Такое бескорыстие — редкое явление в наши дни и заслуживает быть отмеченным в печати».

По брачному контракту Руже определял за Флорой сто тысяч франков приданого и обеспечивал ей вдовий пожизненный доход в тридцать тысяч франков. После торжественной свадьбы Агата вернулась в Париж, чувствуя себя счастливейшей матерью, и сообщила Жозефу и Дерошу иссуденские новости, или, как она их называла, добрые вести.

— Ваш сын — человек слишком хитроумный, чтобы не наложить руку на это наследство,— заметил стряпчий, выслушав г-жу Бридо.— Поэтому вы и бедный Жозеф никогда не получите ни гроша из наследства вашего дяди.

— Неужели вы, как и Жозеф, вечно будете несправедливы к несчастному мальчику? — воскликнула мать.— Его поведение в верховном суде — это поведение политика, ему удалось спасти много народа. Заблуждения Филиппа объясняются бездействием, на которое были обречены его огромные способности. Но он понял, насколько дурное поведение вредит человеку, желающему пробиться; а он честолюбив, я уверена в этом; поэтому не я одна предвижу для него хорошее будущее. Господин Ошон убежден, что Филиппу предстоит блестящая судьба.

— О, если он захочет применить свой извращенный ум, чтобы составить себе состояние, то преуспеет, так как способен на все, а люди такого сорта продвигаются быстро,— сказал Дерош.

— Почему же он не может преуспеть честными способами? — спросила г-жа Бридо.

— Увидите сами! — ответил Дерош.— Счастливый или несчастный, Филипп всегда останется тем, кем он был на улице Мазарини,— убийцей госпожи Декуэн, до-

машним вором; но будьте спокойны, все будут его считать весьма порядочным человеком.

На следующий день после свадьбы, когда все позавтракали и дядюшка встал из-за стола, чтобы пойти к себе одеться, так как к завтраку новобрачные вышли запросто — Флора в пеньюаре, старик в халате,— Филипп взял мадам Руже за руку и, отойдя с ней к окну, сказал:

— Тетушка, теперь вы вошли в семью. Благодаря мне все нотариусы приложили к этому руку. Ну, шутки в сторону! Надеюсь, мы будем играть в открытую. Мне известно, какие штуки вы можете сыграть со мной, и я буду стеречь вас лучше, чем дуэнья. Таким образом, вы ни разу не выйдете без меня из дому и не расстанетесь со мной. А что касается всяких возможных происков в самом доме, то я буду сидеть здесь, черт побери, как паук в центре своей паутины. А вот вам доказательство, что я мог выставить вас за дверь без единого гроша, пока вы лежали в постели и были не в состоянии пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Читайте! — И он протянул остолбеневшей Флоре письмо:

«Дорогой мальчик, Флорентина, которая наконец только что дебютировала в Опере, в новом зале, исполняя па-де-труа с Марietтой и Туллией, не переставала думать о тебе, как и Флорина, которая окончательно разошлась с Лусто, променяв его на Натана. Эти две шельмы нашли для тебя самое восхитительное создание в мире, семнадцатилетнюю девочку, прекрасную, как англичанка, выдержанную, как проказница-леди, хитрую, как Дерош, верную, как Годешаль, а Мариетта вышколила ее, желая тебе удачи. Ни одна женщина не могла бы состязаться с этим милым ангелом, в котором скрывается демон: она сумеет сыграть любую роль и прибрать к рукам твоего дядю, сведя его с ума от любви. У нее такой же небесный вид, как у бедной Корали; она умеет плакать; один ее голос способен вытащить тысячефранковую ассигнацию из самого гранитного сердца, а шампанское разбойница хлещет почище нас. Это драгоценная девица, она в долгу перед Марietтой и хочет рассчитаться с ней. Поглотив состояние одного римского князя, двух англичан и одного русского, м-ль Эстер сейчас находится в самой ужасной нужде — ты ей дашь де-

сять тысяч франков, и она будет довольна. Она только что сказала мне со смехом: «Отлично, я еще никогда не разоряла буржуа, я набью себе руку». Ее хорошо знают Фино, Бисиу, Люпо, словом — все наши. Ах, если бы во Франции были люди с состоянием, то она стала бы величайшей куртизанкой нашего времени. Натан, Бисиу, Фино, приложившие руку к этому письму, собираются делать глупости с вышеупомянутой Эстер в самых великолепных апартаментах, какие только можно себе представить, только что отделанных для Флорины настоящим отцом де Марсе — старым лордом Дэдлей, которого плутовка поддела с помощью костюма для своей новой роли. Туллия по-прежнему — с герцогом Реторе, Мариетта по-прежнему — с герцогом де Мофриньезом; таким образом, они обе добьются для тебя отмены надзора в день тезоименитства короля. Постарайся похоронить дядюшку к ближайшему дню св. Людовика, возвращайся с наследством и спусти из него малую толику с Эстер и твоими старыми друзьями, которые гуртом подписываются, чтобы напомнить о себе:

Натан, Флорина, Бисиу, Фино, Мариетта, Флорентина, Жирудо, Туллия».

Задрожавшие руки г-жи Руже выдали ужас, охвативший ее душу и тело. Тетка не осмелилась взглянуть на своего племянника, в упор смотревшего на нее страшным взглядом.

— Как видите,— сказал он,— я доверяю вам, но требую и от вас такого же доверия. Я сделал вас моей теткой, чтобы в свое время жениться на вас. При моем дяде вы вполне стоите Эстер. Через год мы должны быть в Париже — только там может процветать красота. Вы там развлечетесь немного лучше, чем здесь,— там вечный праздник. Я снова поступлю в армию, стану генералом — и вы будете знатной дамой. Таково ваше будущее, старайтесь ради него... Но я желаю получить залог нашего союза. Через месяц вы добьетесь составления на мое имя общей доверенности от моего дяди, под предлогом, что хотите освободить и себя и его от забот по управлению имуществом. Потом, еще через месяц, я хочу получить особую доверенность на перевод его ренты. Раз капитал будет на мое имя, наш брак будет одинаково выгоден для нас обоих. Все это, прекрасная тетушка, ясно

и понятно. Между нами не должно быть недомолвок. Я могу жениться на своей тетке, когда минет год ее вдовства, но я не мог жениться на обесчещенной девице.

И он оставил ее, не дожидаясь ответа. Когда через четверть часа Ведия пришла убрать со стола, она застала свою хозяйку бледной, в поту, несмотря на холодную погоду. Флора испытывала такое ощущение, как будто она свалилась в пропасть; в будущем она видела только мрак, и в этом мраке, словно в далекой глубине, вырисовывалось нечто чудовищное, неясное и страшное. На нее веяло сырым холодом подземелья. Бессознательно она боялась этого человека, и, тем не менее, какой-то голос кричал ей, что она должна склониться перед ним, как перед своим господином. Она не могла бороться со своей участью. Прежде, когда она была Флорой Бразье, она, ради внешней благопристойности, занимала отдельное помещение в доме папаши Руже, но в качестве г-жи Руже она должна была находиться при своем муже; таким образом, она лишилась драгоценной свободы, которой пользуется сожительница. В этих ужасных обстоятельствах ей пришла в голову мысль о ребенке, но за последние пять лет она превратила Жан-Жака в совершенно дряхлого старца. Брак должен был для бедняги иметь те же последствия, как второй брак Людовика XII. Кроме того, надзор такого человека, как Филипп, который бросил службу и ничем не занимался, делал всякое мщение невозможным. Бенжамен в простоте души был преданным шпионом. Ведия трепетала перед Филиппом. Флора чувствовала себя одинокой и беспомощной! Наконец она боялась даже за свою жизнь; она не знала, каким способом Филипп убьет ее, но понимала, что подозрение в беременности будет ее смертным приговором: звук этого голоса, какой-то скрытый блеск в этом взгляде игрока, малейшие движения этого солдата, который помыкал ею с изысканной вежливостью,— все заставляло ее трепетать. Что касается доверенности, потребованной свирепым полковником, который стал героем для всего Иссудена, то он получил ее, как только это ему понадобилось, потому что Флора подпала под его власть, как Франция — под владычество Наполеона.

Подобно мотыльку, увязнувшему в растаявшем горячем воске свечи, Руже быстро лишился последних сил.

Видя его агонию, племянник оставался бесстрастным и холодным, как дипломаты 1814 года во время конвульсий императорской Франции. Филипп, не очень веривший в Наполеона II, написал тогда следующее письмо, врученное военному министру герцогом де Мофриньезом при посредстве Мариетты.

«Ваша светлость!

Наполеона больше нет, я хотел остаться ему верным, раз я приносил ему присягу в верности; теперь я свободен и могу предложить свои услуги его величеству. Если ваше превосходительство соблаговолит объяснить мое поведение его величеству, король придет к мысли, что хотя оно и не сообразно с законами королевства, но сообразно с законами чести. Король, который нашел естественным, что его адъютант генерал Рапп оплакивал своего бывшего повелителя, без сомнения, будет снисходителен и ко мне: Наполеон был моим благодетелем.

Я умоляю ваше превосходительство принять во внимание мою просьбу о назначении меня на службу в прежнем чине; свидетельствую при этом свою полную покорность. Это достаточно удостоверяет вашу светлость, что король в моем лице найдет самого верного подданного. Соблаговолите принять свидетельство уважения, с которым имеет честь оставаться

вашего превосходительства
покорный слуга Филипп Бридо, бывший командир эскадрона гвардейских драгун, награжденный офицерским крестом Почетного легиона, состоящий под надзором политической полиции в Иссудене».

К письму было приложено ходатайство о разрешении Филиппу Бридо пребывания в Париже по семейным делам и полученные при помощи г-на Муйерона отзывы мэра, помощника префекта и полицейского комиссара в Иссудене; они все расточали Филиппу величайшие похвалы, опираясь на заметку, напечатанную по поводу женитьбы его дяди.

Две недели спустя, к открытию Выставки, Филипп получил просимое разрешение и письмо, которым военный министр извещал его, что приказом короля, в виде первой милости, он восстановлен, с чином подполковника, в кадровых списках армии.

Филипп прибыл в Париж со своей теткой и старым Руже, которого через три дня после приезда повел в государственное казначейство, чтобы тот подписал перевод своих ценных бумаг на имя племянника, ставшего с этого момента их собственником. Старик, дышавший на ладан, был, равно как и Баламутка, вовлечен племянником в жизнь, полную чрезмерных наслаждений, которой предавалось опасное общество, состоявшее из неутомимых актрис, журналистов, художников и подозрительных женщин; в этой среде Филипп некогда растратил свою молодость, а теперь старый Руже нашел баламуток хоть отбавляй. Стараниями Жирудо папаше Руже был предоставлен приятный способ умереть, впоследствии, как говорят, прославленный одним маршалом Франции. Лолота, одна из самых красивых статисток Оперы, оказалась милой убийцей Жан-Жака Руже. Он умер после блистательного ужина, данного Флорентиной, и было поэтому трудно установить, ужин или мадемуазель Лолота прикончили старого беррийца. Лолота винила в этой смерти ломтик паштета из гусиной печенки, а так как страсбургское изделие не могло нести никакой ответственности, то и решено было, что старичок умер от несварения желудка. Г-жа Руже чувствовала себя в этом необычайно распущенном обществе, как в своей стихии, но Филипп отдал ее под надзор Мариетты, которая не позволяла делать глупости вдове, расцветившей свою вдовью жизнь несколькими любовными похождениями.

В октябре 1823 года Филипп, снабженный доверенностью тетки, вернулся в Иссуден для ликвидации наследства дяди, что и было быстро закончено; в марте 1824 года он оказался уже в Париже с суммой в один миллион шестьсот тысяч франков наличными, образовавшейся от ликвидации имущества покойного дяди, не считая дорогих картин, которые так и оставались все время в доме старого Ошона. Филипп положил свой капитал в банкирский дом «Монжено и сын», где служил молодой Барух Борниш,— о платежеспособности и порядочности этого банкирского дома старый Ошон дал ему удовлетворительные сведения. Контора Монжено приняла миллион шестьсот тысяч франков из шести процентов годовых, с условием предупреждения за три месяца вперед, если капитал будет взят обратно.

В один прекрасный день Филипп попросил свою мать присутствовать на его бракосочетании, причем свидетелями были Жирудо, Фино, Натан и Бисиу. По брачному контракту вдова Руже, приданое которой оценивалось в миллион франков, дарственной записью передавала будущему супругу все свое имущество в случае, если она скончается бездетной. Не было ни пригласительных билетов, ни празднеств, ни блеска, так как у Филиппа был свой замысел: он поселил жену на улице Сен-Жорж, в квартире, которую ему со всей обстановкой продала Лолота, и новобрачная г-жа Бридо нашла ее очаровательной, но супруг показывался туда редко. Без чьего бы то ни было ведома Филипп за двести пятьдесят тысяч франков купил на улице Клиши великолепный особняк, когда еще никто не подозревал, как со временем подымутся в цене домовладения этого квартала; он внес при покупке пятьдесят тысяч франков из своих доходов, с обязательством погасить остальную сумму в течение двух лет. Он израсходовал огромные деньги на внутренние переделки и меблировку, пожертвовав на это своими доходами за два года. Прекрасные картины, реставрированные и оцененные в триста тысяч франков, сияли там всем своим великолепием.

Вступление на престол Карла X создало еще более благоприятное положение для семьи герцога де Шолье, старший сын которого, герцог де Реторе, часто виделся с Филиппом у Туллии. При Карле X старшая ветвь дома Бурбонов считала себя окончательно упрочившейся на престоле и следовала давнему совету маршала Гувьон-Сен-Сира — привлекать военных Империи. Филипп, сделав, вероятно, весьма важные разоблачения относительно заговоров 1820 и 1822 годов, был назначен подполковником в полк герцога де Мофриньеза. Этот очаровательный вельможа считал своей обязанностью покровительствовать человеку, у которого он отнял Мариетту. Не был чужд назначению Филиппа и кордебалет. Кроме того, тайный совет Карла X в своей мудрости решил, что его высочество наследник престола должен проявить легкий оттенок либерализма. И вот г-н Филипп Бридо, ставший как бы пестуном герцога де Мофриньеза, был представлен не только наследнику престола, но и его супруге, которая отнюдь не гнушалась грубых рубак, из-

вестных своим умением хранить верность. Филипп очень хорошо понял роль наследника и воспользовался первым проявлением этого деланного либерализма, чтобы попасть адъютантом к одному маршалу, весьма хорошо принятому при дворе. Перейдя в январе 1827 года подполковником в полк королевской гвардии, которым тогда командовал герцог де Мофриньез, Филипп ходатайствовал о своем возведении в дворянство. При Реставрации зачисление в дворянское сословие лиц недворянского происхождения, служивших в гвардии, было почти установленным правилом. Полковник Бридо, купивший имение Брамбур, просил соизволения превратить его в графский майорат. Он добился этой милости, пустив в ход свои связи в высшем обществе, где появлялся, щеголяя роскошью карет и ливрей,— словом, держал себя знатным господином. Как только Филипп, подполковник самого блестящего полка гвардейской кавалерии, увидел себя в королевском альманахе под именем графа Брамбура, он стал усердно посещать дом генерал-лейтенанта артиллерии графа де Суланжа, ухаживая за его младшей дочерью, мадемуазель Амелией де Суланж. Ненасытный Филипп, поддержанный любовницами всех влиятельных людей, просил о чести быть назначенным одним из адъютантов его высочества наследника престола. Он имел смелость сказать супруге его высочества, что «старый офицер, раненный в нескольких сражениях и знающий толк в большой войне, при случае не будет бесполезен его высочеству». Филипп, искусно владевший всеми оттенками угодничества, стал в этом высшем обществе тем, кем ему требовалось быть, подобно тому как в Иссудене он стал вторым Миньоне. Кроме того, он вел блестящий образ жизни, устраивал празднества, великолепные обеды и не принимал в своем особняке ни одного из старых друзей, чье положение могло бы повредить его будущему. Точно так же он был неумолим к былым соучастникам своих пьяных похождений. Он наотрез отказал Бисиу в его просьбе замолвить словечко за Жирудо, который хотел опять поступить на военную службу, после того как Флорентина бросила его.

— Это безнравственный человек! — сказал Филипп.

— Ах, вот как он отозвался обо мне! — воскликнул Жирудо.— Обо мне, избавившем его от дяди!

— Мы его еще подденем,— сказал Бисиу.

Филипп хотел жениться на Амелии де Суланж, стать генералом и командовать одним из полков королевской гвардии. Так как он требовал для себя самых высоких наград, то, чтобы отвязаться от него, ему дали звание командора ордена Почетного легиона и командора ордена святого Людовика.

Как-то, дождливым вечером, Агата и Жозеф, возвращаясь пешком домой, увидели Филиппа, проезжавшего в мундире, разукрашенном орденскими лентами; он сидел, откинувшись, в своей прекрасной карете, обитой внутри желтым шелком, с гербами, увенчанными графской короной, и ехал на празднество во дворец герцогини Беррийской; обрызгав грязью мать и брата, Филипп приветствовал их покровительственным жестом.

— Он едет, едет, этот плут! — сказал Жозеф матери.— Тем не менее нам следовало бы получить от него кое-что другое, а не грязь в лицо.

— Он занимает такое прекрасное, такое высокое положение, что не надо сердиться на него, если он о нас забыл,— сказала г-жа Бридо.— Выдвигаясь так быстро, он должен выполнять столько обязанностей, приносить столько жертв, что не может приходить к нам, хотя и не перестает думать о нас.

— Мой дорогой,— сказал как-то вечером герцог де Мофриньез новоиспеченному графу де Брамбур,— я уверен, что ваше предложение будет принято благосклонно; но, чтобы жениться на Амелии де Суланж, вам нужно быть свободным. Что вы предприняли в отношении своей жены?

— Моей жены? — ответил Филипп с таким жестом, таким взглядом и такой интонацией в голосе, которые позднее были придуманы Фредериком Лемэтром для одной из его самых страшных ролей.—Увы! У меня печальная уверенность, что мне не удастся ее сберечь. Она не проживет и недели. Ах, дорогой герцог! Вы не знаете, что такое неравный брак! Ведь эта женщина была кухаркой и сохранила вкусы кухарки, она позорит меня; да, я заслуживаю сожаления. Но я уже имел честь объяснить мое положение ее высочеству. Задача была в том,

чтобы спасти миллион, оставленный по завещанию моим дядей этой твари. К счастью, моя жена предалась пьянству; после ее смерти я получу миллион, помещенный у Монжено. Кроме того, пятипроцентные бумаги дают мне тридцать тысяч франков ежегодно, а мой майорат приносит сорок тысяч ливров дохода. Если, как имеются все основания предполагать, господин де Суланж получит маршальский жезл, то соответственно этому я, имея титул графа Брамбура, могу стать генералом и пэром Франции. Тогда адъютант наследника престола выйдет в отставку.

После выставки 1823 года первый художник короля, один из прекраснейших людей нашего времени, добился для матери Жозефа заведывания лотерейным бюро поблизости от Центрального рынка. Позднее Агата весьма удачно, без всякой доплаты, обменялась должностью с заведующим бюро на улице Сены, в доме, где Жозеф снял для себя мастерскую. В свою очередь, вдова наняла управляющего и больше ничего не стоила своему сыну. Однако в 1828 году, хотя г-жа Бридо и заведовала отличным лотерейным бюро, которое ей удалось получить благодаря известности Жозефа, она все еще не верила в его славу, настойчиво оспариваемую, как это и бывает с настоящей славой. У великого художника, всегда боровшегося со своими страстями, были огромные потребности; он зарабатывал недостаточно, чтобы поддерживать ту роскошь, к которой его обязывали светские отношения, так же как и его выдающееся положение в молодой школе. Несмотря на сильную поддержку и своих друзей по кружку и мадемуазель де Туш, он не нравился парижскому буржуа. Это существо, являющееся в наши дни источником денег, никогда не развязывает своей мошны для спорных талантов, а против Жозефа были классики и Академия — следовательно, и критики, зависевшие от этих двух сил. Словом, граф Брамбур находил нужным делать удивленное лицо, когда ему говорили о Жозефе. Мужественный художник, хотя и поддерживаемый Гро и Жераром, добившимися для него ордена за работы, выставленные в Салоне 1827 года, получал мало заказов. Если министерство внутренних дел и двор неохотно принимали его большие полотна, то торговцы и богатые иностранцы уделяли

им еще меньше внимания. Кроме того, как известно, Жозеф, пожалуй, чересчур отдается фантазии, а это обусловливает неровность его творчества, чем и пользуются враги, чтобы отрицать его дарование.

— Большая живопись очень больна,— говорил ему его друг Пьер Грассу, стряпавший картинки во вкусе буржуа, у которых квартиры не вмещали больших полотен.

— Тебе нужно было бы дать целый собор для росписи,— твердил ему Шиннер.— Крупным произведением ты зажал бы рот критике.

Эти разговоры, страшные для доброй Агаты, укрепляли сложившееся у нее издавна мнение о Жозефе и Филиппе. Факты, казалось, подтверждали правоту этой женщины, так и оставшейся провинциалкой: не стал ли в конце концов Филипп, ее любимый сын, великим человеком, гордостью семьи? В ошибках его юности она видела заблуждения гения. Жозеф не производил на нее впечатления своими работами, так как она слишком долго наблюдала их в зачаточном виде, чтобы восхищаться ими по их окончании; в 1828 году, казалось ей, он подвинулся не дальше, чем был в 1816 году. Бедный Жозеф занимал деньги, он сгибался под тяжестью своих долгов, он выбрал неблагодарное занятие, которое ничего не давало. Словом, Агата не понимала, почему наградили Жозефа. Филипп, ставший графом, Филипп, достаточно сильный характером, чтобы больше не предаваться игре, Филипп, приглашаемый на празднества к герцогине Беррийской, этот блестящий полковник, проходивший на смотрах или в торжественных шествиях в великолепном парадном мундире, украшенном двумя красными орденскими лентами, воплощал материнские мечты Агаты. Ужасное воспоминание — любимый сын, некогда представший перед нею нищим бродягой на Школьной набережной,— стерлось в памяти Агаты в день общественного празднества, когда Филипп прошел мимо матери по той же набережной — впереди наследника престола — в каске с султаном, сверкая золотым шитьем отороченного мехом доломана. Став для художника чем-то вроде преданной сестры милосердия, Агата чувствовала себя матерью только по отношению к отважному адъютанту его королевского высочества наследника престола! Гордясь Филиппом, она уже почти готова была

объяснить его заботами и свою обеспеченность, забыв, что лотерейное бюро, которое давало ей средства к существованию, получено ею благодаря Жозефу.

Однажды Агата увидела, что бедный художник терзался из-за итогового счета торговца красками, и, по-прежнему враждебно относясь к искусству, все же захотела освободить сына от долгов. Бедная женщина вела дом на доходы со своего бюро и остерегалась попросить хотя бы грош у Жозефа. Денег у нее не было, но она рассчитывала на доброе сердце и кошелек Филиппа. Три года со дня на день она ожидала своего сына, она мысленно видела, как он приносит ей огромную сумму, предвкушала ту радость; с какой она вручила бы эти деньги Жозефу, который, как и Дерош, не изменил своего мнения о Филиппе.

Без ведома Жозефа Агата написала Филиппу следующее письмо:

«Господину графу де Брамбуру.

Мой дорогой Филипп, за пять лет ты ни разу не вспомнил о своей матери. Это нехорошо. Тебе следовало бы хоть иногда вспомнить прошлое, хотя бы из-за своего превосходного брата. Теперь Жозеф нуждается, тогда как ты живешь в полном довольстве; он работает, а ты порхаешь с праздника на праздник. Ты один владеешь всем состоянием своего дяди. Словом, у тебя, по словам молодого Борниша, двести тысяч ливров дохода. Приходи же повидать Жозефа! А когда будешь у нас, положи в череп двадцать ассигнаций по тысяче франков. Ты нам их должен, Филипп; несмотря на это, твой брат будет считать себя обязанным тебе, не говоря уже о том, как будет рада твоя мать —

Агата Бридо, урожденная Руже».

Два дня спустя служанка подала в мастерскую, где бедная Агата завтракала с Жозефом, следующее ужасное письмо:

«Дорогая маменька, когда женятся на мадемуазель Амелии де Суланж, то ей не преподносят ореховую скорлупу, раз под именем графа Брамбура стоит еще имя вашего сына

Филиппа Бридо».

Дотащившись почти без чувств до дивана в мастерской, Агата уронила письмо. При легком шелесте упавшей бумаги и при восклицании Агаты, подавленном, но полном муки, Жозеф, который в это время с неистовством набрасывал какой-то эскиз и забыл о присутствии своей матери, вздрогнул от неожиданности; он высунул голову из-за подрамника, чтобы посмотреть, что произошло. Увидев распростертую мать, художник, бросив палитру и кисти, подбежал и поднял ее, чуть живую. Взяв Агату на руки, он перенес ее на постель в ее спальню и послал служанку за своим другом Бьяншоном. Как только Жозеф мог расспросить Агату, она призналась, что за письмо написала Филиппу и как он ей ответил. Художник пошел и поднял с пола это ответное письмо, лаконичная грубость которого разбила нежное сердце бедной матери, опрокинув величественное здание, воздвигнутое ее материнским пристрастием.

Жозеф был достаточно умен, чтобы молчать, вернувшись к постели матери. Он ни слова не сказал о своем брате в течение трех недель, пока длилась не то что болезнь, но агония несчастной женщины. В этом не было сомнений, и Бьяншон, приходивший каждый день и пользовавший больную с преданностью настоящего друга, в первые же дни сказал Жозефу правду.

— В ее возрасте,— заявил он,— и при таких обстоятельствах нужно подумать только о том, чтобы по возможности облегчить ей смерть.

Впрочем, сама Агата ясно почувствовала, что бог призывает ее к себе, а поэтому на следующий же день захотела получить религиозное утешение от старого аббата Лоро, ее исповедника на протяжении двадцати двух лет. Оставшись с ним наедине, она поведала ему все свои горести и повторила то, что сказала как-то своей крестной и что повторяла постоянно:

— Чем же я могла не угодить господу богу? Разве я не любила его всей душой? Разве я не шла по стезе спасения? В чем мой грех? И если я виновна в прегрешении, о котором сама не ведаю, то есть ли еще у меня время искупить его?

— Нет,— сказал старик кротким голосом.— Увы! Правда, по всему видно, что жизнь ваша была чиста и душа ваша незапятнана, но око господне, бедная страда-

лица, проникает глубже, чем глаза его служителей! Я несколько поздно все понял, потому что вы меня самого ввели в заблуждение.

Услышав эти слова, произнесенные теми же устами, которые до сих пор источали для нее лишь слова мирные и сладостные, Агата приподнялась на постели, широко открыв глаза, полные ужаса и тревоги.

— Говорите! Говорите! — вскричала она.

— Утешьтесь,— сказал старый священник.— По тому, как вы наказаны, можно предвидеть прощение. Здесь, на земле, господь суров только со своими избранниками. Горе тому, кто преуспевает в грехах своих, пребывая среди людей; когда сбудутся сроки, он, созрев для господней жатвы, понесет суровую кару за какое-нибудь простое заблуждение. Вся ваша жизнь, дочь моя, была длительной ошибкой. Вы упали в яму, которую сами себе вырыли, потому что мы уязвимы только по причине своей слабости. Вы отдали сердце чудовищу, которое считали своей гордостью, и не признали того из ваших детей, кем поистине могли бы гордиться. Вы были так глубоко несправедливы, что не заметили этой резкой противоположности: Жозефу вы обязаны были своим существованием, в то время как другой ваш сын грабил вас постоянно. Бедный сын, любящий вас и не вызывающий в вас ответной нежности, дает вам хлеб насущный, а богатый, никогда не думавший о вас и презирающий вас, желает вашей смерти.

— О, что вы!..— сказала она.

— Да,— ответил священник,— своим скромным существованием вы мешаете его честолюбивым замыслам! Мать, вот твоя вина! Женщина, твои страдания и твои муки служат тебе залогом, что ты вкусишь мир в лоне господа бога. Твой сын Жозеф так великодушен, что его нежность никогда не иссякала из-за твоей материнской несправедливости. Люби же его! Отдай ему все свое сердце в твои последние дни; молись за него, а я пойду молиться за тебя.

Разверстые столь могущественными перстами глаза матери одним взглядом окинули весь пройденный жизненный путь. Просвещенная этим лучом света, она увидела свою невольную вину и залилась слезами. Старый священник был настолько растроган этим раскаянием суще-

ства, грешного лишь по неведению, что поспешно вышел, не желая выдавать охватившее его чувство жалости.

Жозеф вернулся в комнату матери часа через два после ухода священника. Он побывал у одного из своих друзей, чтобы занять денег на уплату самых неотложных долгов, и вошел на цыпочках, думая, что Агата заснула. Он опустился в свое кресло, не замеченный больною.

Услышав рыдание, прерванное словами: «Простит ли он меня?» — Жозеф встал; спина его покрылась испариной: он решил, что мать в предсмертном бреду.

— Что с тобой, маменька?—спросил он, испуганный покрасневшими от слез глазами и удрученным лицом больной.

— Ах, Жозеф, простишь ли ты меня, мое дитя? — вскричала она.

— За что? — спросил художник.

— Я не любила тебя так, как ты этого заслуживал...

— Вот так обвинение! — сказал он.— Это ты меня не любила? Да разве мы не живем вдвоем целых семь лет? Разве ты не была семь лет хозяйкой моего дома? Разве я не вижу тебя каждый день? Не слышу твоего голоса? Разве ты не была нежной и снисходительной соучастницей моей неудачливой жизни? Ты не понимаешь живописи! Что ж, это не каждому дано! Не далее, как вчера, я говорил Грассу: «Единственное, что меня утешает в моей борьбе, так это то, что у меня такая хорошая мать. Вот какой должна быть жена художника: моя мать заботится обо всем, она наблюдает за всеми моими житейскими нуждами, ни капли не стесняя меня...»

— Нет, Жозеф, ты-то любил меня, но я не воздавала тебе нежностью за нежность. Ах, как бы я хотела жить! Дай же мне руку...

Агата взяла руку сына, поцеловала ее, положила себе на сердце и долго смотрела на него, подняв свои голубые глаза, сиявшие нежностью, которую до сих пор она берегла для Филиппа. Художник, умевший разгадывать выражение человеческого лица, был столь потрясен этой переменой и столь ясно видел, как сердце матери раскрылось для него, что обнял ее и, держа несколько минут в своих объятиях, повторял, точно безумный:

— Маменька! Маменька!

— Ах, я чувствую себя прощенной! — сказала она.— Господь должен зачесть матери прощение, полученное ею от ее дитяти.

— Тебе нужен покой, не мучай себя. Вот что верно так верно: я чувствую себя любимым сейчас за все прошлое! — воскликнул Жозеф, опуская мать на подушку.

В продолжение двух недель, пока у этого святого создания длилась борьба между жизнью и смертью, в ее взоре, в движениях ее души и жестах проявлялось столько любви к Жозефу, что, казалось, в каждое излияние чувства вкладывалась вся жизнь... Мать думала только о своем сыне, не ставила себя ни во что и, поддерживаемая своей любовью, не чувствовала больше страданий. У нее нашлись такие же простодушные слова, какие бывают у ребенка. Д'Артез, Мишель Кретьен, Фюльжанс Ридаль, Пьер Грассу, Бьяншон приходили посидеть с Жозефом и часто тихонько вели свои споры в комнате больной.

— О, как бы я хотела знать, что такое цвет! — воскликнула она однажды вечером, услышав спор об одной картине.

Со своей стороны Жозеф обнаруживал высочайшее благородство по отношению к матери; он не покидал ее комнаты, он окружил Агату сердечной лаской, он отвечал на ее нежность равною нежностью. Для друзей великого художника то было прекрасное, незабываемое зрелище. Эти люди, сочетавшие подлинное дарование с большой душою, были для Жозефа и для его матери настоящими друзьями, которые молились и плакали с ним, не читая молитв и не проливая слез, но объединяясь с ним мыслью и делом. Жозеф, художник столь же великий чувством, как и дарованием, разгадал по нескольким взглядам матери желание, скрытое в ее сердце, и как-то сказал д'Артезу:

— Она слишком любила этого разбойника Филиппа, ей хочется увидеть его перед смертью.

Жозеф попросил Бисиу, который вращался в мире богемы, где иногда бывал Филипп, внушить этому бесстыдному выскочке, чтобы он из сострадания разыграл хотя бы комедию нежности и окутал сердце несчастной матери саваном, расшитым иллюзиями. В качестве наблюда-

теля жизни и насмешника-мизантропа Бисиу ухватился за это поручение.

Когда он рассказал о положении Агаты графу Брамбуру, принявшему его в спальне, обитой желтой шелковой тканью, подполковник расхохотался.

— Э, какого черта ты хочешь чтобы я там делал? — вскричал он.— Единственная услуга, которую может мне оказать старушка,— это сдохнуть как можно скорей; в противном случае она выглядела бы нелепейшим образом на моей свадьбе с мадемуазель де Суланж. Чем меньше будет моя семья, тем лучше мое положение. Ты очень хорошо понимаешь, что я хотел бы похоронить имя Бридо под всеми надгробными памятниками Пер-Лашеза! Брат прямо убивает меня, вытаскивая на свет божий мое настоящее имя! Ты слишком умен, чтобы не понимать моего положения. Послушай, если бы ты стал депутатом — язык у тебя хорошо подвешен,— тебя стали бы бояться, как Шовлена, и ты мог бы сделаться графом Бисиу, директором департамента изящных искусств. Дойдя до таких степеней, хотел бы ты, чтобы твоя бабушка Декуэн, будь она еще жива, эта славная женщина, похожая на госпожу Сен-Леон, находилась бы возле тебя? Взял бы ты ее под руку, идя в Тюильри? Представил бы знатному семейству, с которым пытался бы породниться? Да ты захотел бы, черт возьми, видеть ее на шесть футов под землею, законопаченной в свинцовую рубашку! Вот что, позавтракай со мною — и поговорим о другом. Я выскочка, мой дорогой, я это знаю. Я не хочу показывать всем свои пеленки. Мой сын будет счастливее меня, он родится знатным господином. Плутишка тоже будет желать моей смерти, я к этому готов, иначе он не будет моим сыном.

Он позвонил. Явился лакей, которому Филипп сказал:

— Мой друг завтракает у меня. Подай нам, да смотри, чтоб все было как следует.

— Однако большой свет не увидит тебя в комнате твоей матери,— опять заговорил Бисиу.— Что тебе стоит притвориться на несколько часов, будто ты любишь бедную женщину?

— Фью! — свистнул Филипп, прищурив глаз.— Ты подослан ими. Я старый воробей, меня на мякине не про-

ведешь. Мать хочет, умирая, выманить у меня кое-что для Жозефа! Спасибо.

Когда Бисиу рассказал об этой сцене Жозефу, бедный художник весь похолодел.

— Филипп знает, что я больна? — скорбным голосом спросила Агата вечером того же дня, когда Бисиу отдал Жозефу отчет о своем посещении графа Брамбура.

Жозеф вышел, задыхаясь от слез, аббат Лоро, находившийся у изголовья своей духовной дочери, взял ее руку, пожал и ответил:

— Увы, дитя мое, у вас всегда был только один сын.

Услышав эти слова и поняв их смысл, Агата испытала потрясение, после которого началась агония. Она умерла двадцать часов спустя.

Перед смертью в бреду у нее вырвались слова:

— Откуда это у Филиппа?

Жозеф один проводил мать на кладбище. Филипп, якобы по делам службы, выехал в Орлеан, изгнанный из Парижа следующим письмом, которое Жозеф написал ему в ту минуту, когда его мать испускала последний вздох:

«Чудовище, моя бедная мать умерла от потрясения, которое причинило ей твое письмо; надень траур, но скажись больным — я не хочу, чтобы ее убийца шел рядом со мной за ее гробом.

Жозеф Б.»

Художник, не чувствовавший себя в силах заниматься живописью—хотя, быть может, его глубокая скорбь и требовала своего рода механического отвлечения, которое достигается трудом,— был окружен друзьями. Поэтому Бисиу, любивший Жозефа, насколько насмешник может любить кого-нибудь, через две недели после похорон был у него в мастерской среди его друзей. Вдруг вошла служанка и вручила Жозефу следующее письмо, принесенное, по ее словам, каксй-то старухой, ожидавшей ответа у привратника:

«Сударь!

Не осмеливаясь назвать вас своим деверем, я принуждена обратиться к вам хотя бы из-за имени, которое ношу...»

Жозеф перевернул страницу и взглянул на подпись внизу последнего листка. Прочитав слова: «графиня Флора де Брамбур», он задрожал в предчувствии какого-то ужаса, изобретенного его братом.

— Этот разбойник проведет самого черта! — сказал он.— И он еще слывет человеком чести! И на него вешают орден за орденом, когда его самого надо повесить, и он ходит колесом при дворе, хотя заслуживает, чтобы его колесовали. И этот висельник именуется «господин граф».

— Таких немало! — сказал Бисиу.

— Как бы там ни было, Баламутка заслуживает того, чтобы ее тоже побаламутили,— продолжал Жозеф.— Она дрянь: ведь тогда, в Иссудене, она дала бы перерезать мне горло, как цыпленку, но не проронила бы слов: «Он не виновен»...

Бисиу ловко подхватил брошенное Жозефом письмо и прочел вслух:

«Подобает ли графине Бридо де Брамбур, в чем бы она ни была повинна, умереть в госпитале? Но если такова моя судьба, если такова воля господина графа и ваша, пусть она исполнится; однако в таком случае добейтесь покровительства вашего друга — доктора Бьяншона, чтобы меня приняли в госпиталь. Особа, которая передаст вам это письмо, ходила одиннадцать дней подряд в особняк де Брамбур на улице Клиши и не могла добиться помощи от моего мужа. Состояние, в каком я нахожусь, не позволяет мне позвать стряпчего и добиться осуществления моих прав, без чего я не могу умереть спокойно. Ведь ничто не может меня спасти, я это знаю. Итак, если бы вы не пожелали заниматься вашей несчастной невесткой, то дайте мне денег — они мне необходимы для того, чтобы положить конец моей жизни, так как я вижу, что ваш брат хочет моей смерти, да он и всегда ее желал. Хотя он мне и говорил, что знает целых три верных способа убить женщину, у меня не хватило ума предвидеть тот способ, которым он воспользовался.

На случай, если бы вы лично пожелали оказать мне помощь и убедиться в моей нищете, сообщаю, что я живу в доме на углу улицы Уссэ и Шантрен, на шестом этаже. Если завтра я не уплачу задержанную мною квартирную

плату, то придется выехать!.. А куда же мне идти, сударь? Разрешите назваться

вашей невесткой

графиней Флорой де Брамбур».

— Какая гнусная помойная яма! — сказал Жозеф.— Что под этим кроется?

— Прежде всего позовем сюда женщину, которая принесла письмо, это послужит вступлением ко всей истории,— сказал Бисиу.

Минуту спустя появилась женщина, которую Бисиу определил двумя словами: «ходячие лохмотья». Действительно, то была куча какого-то тряпья и старых юбок, надетых одна на другую, забрызганных по подолу грязью из-за мокрой погоды. Вся эта груда отрепьев двигалась на толстых ногах с широкими ступнями, облеченных в плохо натянутые заплатанные чулки и в рваные башмаки, в которых хлюпала вода. Над этой кучей торчала голова, похожая на те, какие Шарле рисует у своих мельщиц, повязанная ужасным фуляровым платком, проношенным на складках до дыр...

— Как ваше имя? — спросил Жозеф, в то время как Бисиу зарисовывал карандашом посетительницу, опираясь на зонтик времен второго года республики.

— Мадам Грюже — к вашим услугам. Я жила на ренту, сударь мой,— сказала она Бисиу, оскорбленная его коварным смехом.— Кабы моя бедная дочь по несчастному случаю не влюбилась без памяти в одного человека, не была бы я такой, как сейчас. Извольте видеть, утопилась моя бедная Ида. А я имела глупость ставить на «кватерн», вот потому-то, сударь, хоть мне уже и семьдесят восьмой год, а я хожу за больными по десяти су в день — тем и сыта...

— Но не одета! — сказал Бисиу.— Моя бабушка все же одевалась по-человечески, хотя и делала ставки на свой милый «терн».

— Но на мои десять су нужно оплачивать комнату с мебелью...

— А какие средства у дамы, за которой вы ухаживаете?

— У нее ничего нет, сударь, в смысле денег, разумеется! Потому что у нее болезнь, от которой даже врачи содрогаются... Она мне должна за шестьдесят дней, вот

почему я и продолжаю за ней ухаживать. Она графиня,— значит, муж у нее граф, и уж он-то, без сомнения, уплатит мне по счету после ее смерти. Ну, а покуда я дала ей взаймы все, что у меня было. Но больше у меня ничего нет, я заложила все свои вещи. Она мне должна сорок семь франков двенадцать су да еще тридцать франков за уход. Она решила умереть от угара, но я ей сказала, что так не годится. Я и велела привратнице присматривать за ней, когда меня нет, потому что она того и гляди из окна бросится.

— Но что с ней? — спросил Жозеф.

— Ах, сударь, приходил доктор из общины сестер милосердия, а болезнь у нее такая...— тут г-жа Грюже приняла застенчивый вид.— Он сказал, нужно отправить в больницу... случай смертельный.

— Мы идем туда,— решил Бисиу.

— Возьмите,— сказал Жозеф,— вот десять франков.

Запустив руку в пресловутый череп и взяв оттуда все свои деньги, художник вышел на улицу Мазарини, сел в фиакр и отправился к Бьяншону, которого, к счастью, застал дома. Тем временем Бисиу сбегал на улицу Бюсси, за их другом Дерошем. Час спустя четверо друзей встретились на улице Уссэ.

— Этот гарцующий на коне Мефистофель, именуемый Филиппом Бридо, придумал забавную штуку, чтобы избавиться от своей жены,— сказал Бисиу трем приятелям, поднимаясь с ними по лестнице.— Вы знаете, что наш друг Лусто, весьма довольный тем, что получал от Филиппа тысячу франков в месяц, вовлек госпожу Бридо в общество Флорины, Мариетты, Туллии, де ла Валь Нобль. Когда Филипп увидел, что его Баламутка привыкла к нарядам и дорогим удовольствиям, он перестал давать ей деньги и предоставил ей добывать их себе... вы понимаете, как? Таким образом, за полтора года Филипп добился того, что его жена падала с каждым месяцем все ниже и ниже; наконец при помощи одного великолепного унтер-офицера он приучил ее пьянствовать. По мере того как Филипп подымался, его жена опускалась, и теперь графиня увязла в грязи. Эта девка, родившаяся в деревне, весьма живуча; не знаю, как уж Филипп взялся за дело, чтобы избавиться от нее. Мне любопытно изучить эту маленькую драму, так как я собираюсь отомстить

приятелю. Увы, друзья мои,—сказал Бисиу таким тоном, что его компаньоны не знали, шутит он или говорит серьезно,—чтобы избавиться от кого-нибудь, достаточно предоставить ему погрязнуть в каком-либо пороке. «От балов без ума, до смерти доплясалась»,— что-то в этом роде сказал однажды Гюго. Вот, например, моя бабушка любила лотерею — и Филипп убил ее при помощи лотереи. Отец Руже любил позабавиться — и Лолота убила его. Госпожа Бридо, бедняга, любила Филиппа — и погибла из-за него. Порок! Порок, друзья мои... Знаете ли вы, что такое порок? Это сводник смерти!

— Значит, ты умрешь от любви к насмешке! — улыбаясь, сказал ему Дерош.

Добравшись до пятого этажа, молодые люди поднялись еще выше по лестнице, похожей на стремянку, какие в некоторых парижских домах ведут на мансарду. Жозеф помнил Флору такой красивой и, хотя уже был подготовлен к ужасающему контрасту, все же не мог даже вообразить, какое отвратительное зрелище предстанет перед ним.

Под наклонной крышей мансарды, у голой стены без обоев, на складной кровати с тощим тюфяком, вероятно, набитым волосом, молодые люди заметили какую-то женщину, зеленоватой бледностью похожую на утопленницу, пробывшую два дня в воде, и тощую, как чахоточная за два часа до смерти. У этого отвратительного трупа голова, на которой совершенно вылезли волосы, была повязана дрянным ситцевым платком в клетку. Вокруг впалых глаз была краснота, а веки стали совершенно прозрачными. Что касается тела, когда-то столь пленительного, то от него остался только мерзкий костяк. Увидя посетителей, Флора натянула на грудь обрывок муслина, который, видимо, служил когда-то оконной занавесочкой, потому что по его краю виднелись пятна ржавчины, как бы от железного прута. Молодые люди окинули взглядом обстановку, состоявшую из двух кресел и скверного комода, на котором горела свеча, воткнутая в картофелину; на полу стояли тарелки и миски, а в углу нетопленного камина — глиняная печурка. Бисиу заметил листки писчей бумаги, купленной в мелочной лавке и послужившей для письма, которое обе женщины, вероятно, сочиняли вдвоем. Слово «чудовищный» не имеет превос-

ходной степени, которою надо было бы передать впечатление от этой нищеты. Когда умирающая увидела Жозефа, две крупные слезы скатились по ее щекам.

— Она еще может плакать!—сказал Бисиу.—Зрелище несколько странное: слезы, выступающие из костяшек домино! Это объясняет нам чудо Моисея.

— Она совершенно иссохла,— заметил Жозеф.

— На огне раскаяния,— сказала Флора.— А я не могу позвать священника, у меня нет ничего, даже распятия, чтобы видеть образ господа! Ах, сударь! — воскликнула она, воздев руки, похожие на два обломка средневековой деревянной скульптуры.— На мне большая вина, но господь еще никого не наказывал так сурово! Филипп убил Макса, который давал мне ужасные советы, и он же убивает меня. Он стал бичом в руках господних. Живите честно, помните — у каждого из нас есть свой Филипп.

— Оставьте меня с ней,— сказал Бьяншон.— Я хочу определить, излечима ли ее болезнь.

— Если Флору вылечат, то Филипп Бридо околеет от бешенства,— сказал Дерош.— И я позабочусь о том, чтобы немедленно было засвидетельствовано, в каком состоянии находится его жена; он не устанавливал в судебном порядке, что она виновата в нарушении супружеского долга, следовательно, за нею остаются все права его супруги; он будет опозорен судебным процессом. Прежде всего мы перевезем госпожу графиню в лечебницу доктора Дюбуа на улице Фобур-Сен-Дени; там ей будет обеспечен прекрасный уход. Потом я добьюсь в судебном порядке, чтобы граф взял ее обратно под супружеский кров.

— Браво, Дерош! — вскричал Бисиу.— Вот это славно — изобрести столь злокозненное доброе дело.

Десять минут спустя Бьяншон вышел и сказал своим двум друзьям:

— Я спешу к Деплену, он может еще спасти эту женщину, сделав ей операцию. Он охотно займется ею, потому что от злоупотребления спиртными напитками у нее развилась великолепная болезнь, которую считали уже исчезнувшей.

— Чудак медик! Так ты видишь здесь только врачебный случай? — спросил его Бисиу.

Но Бьяншон был уже на дворе — он торопился сообщить Деплену эту важную новость. Два часа спустя не-

счастная невестка Жозефа была отправлена в приличную лечебницу, недавно открытую доктором Дюбуа, а впоследствии купленную городом Парижем.

Три недели спустя «Медицинская газета» поместила сообщение об одном из самых смелых опытов современной хирургии, произведенном при лечении больной, обозначенной инициалами Ф. Б. Больная умерла, но скорее от истощения, вызванного нищетою, чем от последствий операции.

Тотчас же полковник граф Брамбур в глубоком трауре посетил графа де Суланжа и осведомил его о горестной утрате, понесенной им. В большом свете шептались о том, что граф де Суланж выдает свою дочь замуж за выскочку, который имеет большие заслуги и вскоре получит звание генерал-майора и командира полка королевской гвардии. Де Марсе передал эту новость Растиньяку, и тот рассказал ее за ужином в «Роше-де-Канкаль», в присутствии Бисиу.

«Не бывать этому!» — решил остроумный художник. Среди друзей Филиппа, которых он перестал узнавать, некоторые, вроде Жирудо, лишены были возможности отомстить за себя. Но Филипп неосторожно обидел Бисиу, вхожего во все дома благодаря своему остроумию и не прощавшего оскорблений. Однажды в переполненном зале «Роше-де-Канкаль», в присутствии ужинавших там солидных людей, Филипп сказал Бисиу, выразившему желание прийти к нему в особняк Брамбур:

— Ты придешь ко мне, когда будешь министром!

— Не требуется ли еще принять протестантство, чтобы прийти к тебе? — насмешливо ответил Бисиу. Но про себя он подумал: «Если ты Голиаф, то у меня есть праща и найдутся камни».

И вот, узнав о планах Филиппа, мистификатор на следующий же день загримировался у одного из своих друзей-актеров, был преображен всемогущим костюмом и зелеными очками в священника, снявшего с себя сан; потом взял наемный экипаж и отправился в особняк де Суланжей. Филипп обращался с Бисиу, как с шутом, Бисиу и задумал над ним подшутить. Принятый г-ном де Суланжем ввиду его настойчивых заявлений, что он хочет поговорить по важному делу, Бисиу разыграл роль почтенного человека, обладающего важными тайнами.

Изменив голос, он рассказал историю болезни умершей графини, чья страшная тайна была ему доверена Бьяншоном, историю смерти Агаты, историю смерти старика Руже, которой похвалялся граф де Брамбур, историю смерти г-жи Декуэн, историю кражи денег из кассы газеты и историю всего поведения Филиппа в те времена, когда он бедствовал.

— Господин граф, не выдавайте за него вашу дочь, не собрав всех сведений; расспросите его старых товарищей — Бисиу, капитана Жирудо и других.

Три месяца спустя полковник граф де Брамбур давал у себя ужин Нусингену, дю Тийе, Растиньяку, Максиму де Трай и де Марсе. Хозяин весьма беззаботно отнесся к полуутешительным словам, с которыми к нему обратились гости по поводу его разрыва с семьей де Суланж.

— Ты можешь найти получше,— сказал ему Максим.

— А какое нужно иметь состояние, чтобы жениться на какой-нибудь из девиц Гранлье? — спросил Филипп у де Марсе.

— Вам?.. Чтоб жениться на самой некрасивой из шестерых, вам необходимо иметь не меньше десяти миллионов,— нагло ответил де Марсе.

— Ба,— сказал Растиньяк,— при двухстах тысячах дохода вы женитесь на мадемуазель де Ланже, дочери маркиза; она некрасива, ей тридцать лет, у нее ни гроша приданого — для вас это подходящий случай.

— Через два года у меня будет десять миллионов,— ответил Филипп Бридо.

— Сегодня шестнадцатое января тысяча восемьсот двадцать девятого года! — с улыбкой воскликнул дю Тийе.— Я работаю уже десять лет, и у меня нет таких денег!

— Мы будем давать советы друг другу, и вы увидите, как я разбираюсь в финансовых делах,— ответил Бридо.

— Сколько же у вас есть? — спросил Нусинген.

— Продав все свои ценные бумаги, но оставив за собой земли и особняк, которыми я не могу и не хочу рисковать, потому что они входят в мой майорат, я получу сумму в три миллиона...

Нусинген и дю Тийе переглянулись, а затем, после этого обмена хитрыми взглядами, дю Тийе сказал Филиппу:

— Дорогой граф, если вы желаете, мы будем работать вместе.

Де Марсе поймал взгляд дю Тийе, брошенный Нусингену и обозначавший: «миллионы наши». В самом деле, эти два крупных банковских дельца были превосходно осведомлены в политических делах, так что они могли наверняка сыграть на бирже против Филиппа в подходящее время, когда, казалось бы, все обстоятельства будут складываться в его пользу, а в действительности будут против него. И такой случай выпал. К июлю 1830 года дю Тийе и Нусинген уже дали возможность графу де Брамбуру выиграть полтора миллиона франков, и тот стал доверять им, находя их честными и опытными советчиками. Филипп, выскочка милостью Реставрации, обманувшийся из-за своего глубокого презрения к «штафиркам», уверовал в ордонансы и хотел играть на повышение, тогда как Нусинген и дю Тийе, уверенные, что произойдет революция, сыграли против него на понижение. Эти двое тонких пройдох поддакивали полковнику графу де Брамбуру и притворялись, что разделяют его взгляды; они внушили ему надежду удвоить свои миллионы, а сами между тем приняли меры, чтобы выиграть их у него.

Филипп сражался с восставшими, как человек, которому победа над ними принесет четыре миллиона. Его преданность была настолько замечена, что он получил приказ прибыть в Сен-Клу вместе с герцогом де Мофриньезом для участия в совете. Эта благосклонность спасла Филиппа, потому что 28 июля он хотел предпринять атаку, чтобы очистить бульвары, и, без сомнения, получил бы пулю от своего друга Жирудо, который командовал отрядом восставших.

Месяц спустя у полковника Бридо от всего огромного состояния остался только особняк, имение, картины и обстановка. По его словам, он сделал тогда еще одну глупость, сохранив веру в восстановление старшей ветви Бурбонов, которой он был предан до 1834 года. Видя, что Жирудо произведен в полковники, он, подстрекаемый вполне понятной завистью, возобновил службу и, на свое несчастье, в 1835 году получил полк в Алжире, где и оставался три года на самом опасном посту, надеясь заслужить генеральские эполеты; но некое недоброжелательное

влияние, а именно влияние генерала Жирудо, дало себя знать, и Филипп не получал повышения. Ожесточившись, он проявлял на службе чрезмерную строгость и вызвал к себе ненависть, несмотря на свою отвагу в духе Мюрата. В начале рокового 1839 года, предприняв налет на арабов во время отступления перед превосходящими силами, он ринулся на неприятеля в сопровождении одного лишь эскадрона и наткнулся на главные силы арабов. Схватка была кровавой, ужасной, перешла в рукопашную; французские кавалеристы едва вырвались из нее, и то лишь в небольшом числе. Заметив, что их полковник окружен, те, кто успел отскочить в сторону, не сочли нужным бесполезно погибнуть, пытаясь ему помочь. Они слышали его крики: «Здесь ваш полковник! Ко мне! Полковник Империи!», заглушенные диким воем нападавших,— но помчались к своему полку. Филипп погиб страшной смертью: его изрубили ятаганами, он свалился на землю, и тут ему отсекли голову.

Жозеф, женившийся к тому времени благодаря покровительству графа де Серизи на дочери одного бывшего откупщика-миллионера, унаследовал особняк и имение Брамбур, которыми его брат, при всем желании лишить его наследства, не мог распоряжаться по своей воле. Самое большое удовольствие доставило художнику прекрасное собрание картин. У Жозефа, для которого его тесть, деревенская разновидность Ошона, все собирает и собирает деньги, уже имеется шестьдесят тысяч ливров дохода. Хотя он пишет великолепные картины и оказывает большие услуги художникам, тем не менее он до сих пор еще не академик. Согласно одному из пунктов постановления о майорате графа де Брамбура, к Жозефу перешел графский титул, по поводу чего он в своей мастерской среди друзей нередко прыскает от смеха.

— Один сеет, другой поживает,—говорит ему в таких случаях его друг Леон Лора, который, став прославленным художником-пейзажистом, все не может отказаться от своей старой привычки переиначивать пословицы. Он же как-то сказал Жозефу по поводу скромности, с которой тот принимал дары судьбы:

— Ба! Худой пир лучше доброй ссоры.

Париж, ноябрь 1842 г.

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА

Графу Фердинанду де Грамон.

Дорогой Фердинанд, если по счастливой случайности, нередкой в литературном мире, этим строкам суждена долгая жизнь (habent sua fata libelli) [1], *это, конечно будет мелочью по сравнению с трудами, которые вы на себя приняли, вы — д'Озье́, Шерен, герольдмейстер из «Очерка нравов»; вы, которому Наваррены, Каниньяны, Ланже, Бламон-Шоври, Шолье, д'Артезы, д'Эгриньоны, Морсофы, Валуа — сотня благородных семей, составляющих аристократию «Человеческой комедии», обязаны своими прекрасными девизами и столь остроумными гербами. А «Гербовник для Очерков нравов», сочиненный Фердинандом де Грамон, дворянином, не представляет ли собой законченную историю французской геральдики, где ничто не забыто, даже имперские гербы? Я буду его хранить, как памятник дружества и истинно монашеского терпения. Какое знание старого феодального языка: в «Pulchre sedens melius agens!»* [2]. *А в девизе Босеанов: «Des partem leonis»* [3]*! А д'Эспаров: «Не продается!», а Ванденесов! Наконец, сколько изящества в тысяче деталей этой галереи превосходных портретов, которая покажет, как верно я следовал образцам в своем предприятии, в коем вы, поэт, помогли*

Вашему старому другу,

де Бальзаку.

---

[1] У книг своя судьба *(лат.)*.

[2] «Семь раз отмерь, один раз отрежь»*(лат.)*.

[3] «Отдай львиную долю» *(лат.)*.

У границы Берри, на берегу Луары, стоит город, своим местоположением неизменно привлекающий взоры путешественника. Сансер занимает высшую точку в цепи небольших гор — последней гряды волнообразной поверхности Ниверна. Луара орошает земли у подошвы этих гор, оставляя удобряющий их желтый ил, если не заносит навсегда песком во время страшных половодий, обычных также и для Вислы, этой Луары севера. Гора, на вершине которой сгрудились дома Сансера, возвышается на порядочном расстоянии от реки, так что маленький порт Сен-Тибо не может участвовать в жизни Сансера. Там грузят вина, выгружают дубовые доски для бочек и вообще все, что производят департаменты Верхней и Нижней Луары.

В то время, к которому относится этот рассказ, висячие мосты Кона и Сен-Тибо уже были построены. Путешественники, которые приезжали из Парижа в Сансер по дороге, ведущей в Италию, уже не переправлялись через Луару из Кона в Сен-Тибо на пароме; не явствует ли из этого, что переворот 1830 года уже совершился, ибо Орлеанский дом повсюду проявлял заботу о материальных интересах,— правда, наподобие тех мужей, которые делают подарки своим женам на деньги из приданого.

В Сансере, за исключением той его части, которая занимает плоскую вершину горы, улицы идут несколько под уклон, и город окружен откосами, именуемыми Большие валы,—название, достаточно ясно указывающее на великое прошлое города. По ту сторону валов простирается пояс виноградников. Виноделие составляет главный промысел и самый значительный предмет торговли края, обладающего многими местными благородными сортами, отличающимися особым букетом и настолько похожими на бургундское, что в Париже люди с неискушенным вкусом нередко бывают введены в заблуждение. Сансерские сорта находят поэтому быстрый сбыт в кабачках Парижа, что, кстати сказать, необходимо для вин, не выдерживающих хранения дольше семи-восьми лет. Пониже города приютилось несколько деревень — Фонтене, Сен-Сатюр, похожих на пригороды и напоминающих своим расположением веселые виноградники Невшателя в Швейцарии. Город сохранил несколько черт

своего старинного облика, улицы его узки и вымощены булыжником, взятым с берегов Луары. Кое-где встречаются еще старые дома. Башня, этот пережиток военной мощи и феодальной эпохи, вызывает в памяти одну из самых страшных осад времени религиозных войн, когда кальвинисты далеко превзошли свирепых камеронцев Вальтера Скотта.

Город Сансер, богатый блистательным прошлым, вдовец своей бранной славы, обречен на более или менее бесплодное будущее, ибо торговое оживление сосредоточено на правом берегу Луары. Беглое описание, которое вы только что прочли, доказывает, что обособленность Сансера будет все возрастать, несмотря на два моста, соединяющие его с Коном. Сансер, гордость левого берега, насчитывает самое большее три с половиной тысячи жителей, тогда как в Коне их ныне больше шести тысяч. За последние полвека роли этих двух городов, расположившихся друг против друга, совершенно переменились. Однако выгода местоположения принадлежит городу историческому, где отовсюду открывается волшебный вид, где воздух удивительно чист, а растительность роскошна и где жители, в согласии с этой улыбающейся природой, приветливы, общительны и свободны от сурового пуританизма, хотя две трети населения и остались кальвинистами.

При таком положении вещей если и приходится терпеть все неудобства жизни маленького города, где чувствуешь себя под гнетом назойливого надзора, из-за которого жизнь каждого как бы открыта для всех любопытных,— местный патриотизм, никогда не заменяющий духа семьи, зато развивается здесь в сильнейшей степени. Вот почему город Сансер так гордится, что был свидетелем рождения Ораса Бьяншона — красы современной медицины, а также второстепенного писателя Этьена Лусто, одного из виднейших фельетонистов. Округ Сансера, задетый за живое тем, что оказался в подчинении у семи-восьми заправлявших выборами крупных землевладельцев, попытался было стряхнуть с себя избирательное иго Доктрины, которая превратила его в свое «гнилое местечко». Этот заговор нескольких оскорбленных самолюбий провалился из-за чувства зависти, вызванного будущим возвышением одного из заговорщиков. Когда

результат обнаружил коренной порок всего предприятия, решили исправить зло, выставив в качестве избранника края на предстоящих выборах одного из двух мужей, с таким блеском представляющих Сансер в Париже.

Эта идея была необыкновенно передовой для нашей провинции, где начиная с 1830 года избрание захолустной знати так распространилось, что государственные люди в палате депутатов встречаются все реже и реже. К тому же проект этот, вряд ли осуществимый, зародился в голове выдающейся женщины округа, dux femina facti [1], но задуман был в целях личных. Замысел этой женщины имел так много корней в ее прошлом и настолько определял ее будущее, что без сжатого, но живого рассказа о ее предшествующей жизни понять его было бы затруднительно. В те времена Сансер кичился выдающейся женщиной, которая долго оставалась непонятой, но к 1836 году уже пользовалась в своем округе довольно завидной известностью. Этот период ее жизни совпал с моментом, когда имена обоих сансерцев, каждое в своей области, достигли в Париже одно — высшей степени славы, другое — популярности. Этьен Лусто, сотрудник журналов, вел фельетон в газете с восемью тысячами подписчиков; а Бьяншон, уже старший врач-клиник, кавалер Почетного легиона и член Академии наук, только что получил кафедру.

Если б слово «сандизм» в понимании многих не содержало некоторого порицания, можно было бы сказать, что Жорж Санд создала «сандизм»; это тем более верно, что с точки зрения морали добру почти всегда сопутствует зло. Эта сентиментальная проказа испортила множество женщин, которые были бы очаровательны, если б не их претензии на гениальность. В «сандизме», однако, есть та хорошая сторона, что зараженная им женщина переносит свое мнимое превосходство в область неведомых ей чувств и становится своеобразным «синим чулком» сердца; тогда она менее докучлива, ибо любовь служит некоторым противоядием ее литературным поползновениям. А главное, благодаря прославлению Жорж Санд выяснилось, что Франция обладает даже излишним количеством выдающихся женщин, настолько, однако, велико-

[1] Женщина — автор этого дела (*лат.*).

душных, что они до сих пор предоставляют все поле деятельности внучке маршала Саксонского.

Выдающаяся женщина Сансера жила в Ла-Бодрэ, городском и вместе с тем загородном доме, находившемся в десяти минутах ходьбы от города, в деревне или, если угодно, предместье Сен-Сатюр. Нынешние ла Бодрэ, как это случилось и со многими другими благородными фамилиями, пришли на смену тем ла Бодрэ, имя которых блистало в эпоху крестовых походов и было связано со многими крупными событиями истории беррийской провинции. Это требует пояснения.

При Людовике XIV некий городской старшина, по имени Мило, предки которого были ярыми кальвинистами, после отмены Нантского эдикта перешел в католичество. Чтобы поощрить это движение в одном из очагов кальвинизма, король назначил упомянутого Мило на высокий пост по ведомству вод и лесов и дал ему титул и герб сира де ла Бодрэ, подарив ему лен подлинных ла Бодрэ. Наследники славного капитана ла Бодрэ попались — увы! — в одну из ловушек, расставленных еретикам королевскими указами, и были повешены — обхождение, недостойное великого короля. При Людовике XV Мило де ла Бодрэ из простого оруженосца сделался шевалье и нашел достаточно покровителей, чтобы определить сына корнетом в мушкетеры. Корнет умер в Фонтенуа, оставив ребенка, которому король Людовик XVI в память его отца, павшего на поле брани, пожаловал впоследствии патент на должность генерального откупщика. Этот финансист, остроумец, увлеченный шарадами, буримэ и мадригалами, вращался в высшем свете, бывал у герцога Нивернейского и счел своим долгом последовать за знатью в изгнание, не позабыв, однако, захватить с собой свои капиталы. Благодаря этому в качестве богатого эмигранта он поддержал тогда не одно благородное семейство. Устав надеяться, а может быть, также и давать в долг, он в 1800 году воротился в Сансер и выкупил Ла-Бодрэ из чувства самолюбия и некоторого аристократического тщеславия, вполне понятного у внука городского старшины; однако при консульстве у него мало оставалось надежд на будущее, тем более, что бывший генеральный откупщик не слишком мог рассчитывать на своего наследника в смысле продолжения рода

новых ла Бодрэ. Жан-Атаназ-Полидор Мило де ла Бодрэ, единственный сын финансиста, родившийся более чем хилым, в полной мере унаследовал кровь, чересчур рано истощенную излишествами в наслаждениях, которым предаются все богачи, вступающие в брак на пороге преждевременной старости и тем способствующие вырождению социальных верхов.

В эмиграции у г-жи де ла Бодрэ, бесприданницы, взятой замуж ради ее знатности, хватило терпения выходить своего хилого и болезненного ребенка, обратив на него ту страстную любовь, какую матери питают к заморышам. Смерть этой женщины, урожденной Катеран ла Тур, много способствовала возвращению во Францию г-на де ла Бодрэ. Этот Лукулл из рода Мило умер, завещав своему сыну родовое поместье, хоть и без права взимания подати с вассалов, но зато с флюгерами, украшенными его гербом, тысячу луидоров — сумму, довольно значительную в 1802 году, и векселя сиятельнейших эмигрантов, хранившиеся вместе со стихами в папке со следующей надписью: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas!» [1].

Если младший ла Бодрэ выжил, то обязан был этим привычке к монастырски правильной жизни, той экономии в движениях, которую Фонтенель проповедовал как религию всех слабосильных, а особенно — воздуху Сансера и влиянию этого чудесного места, откуда на сорок лье открывается панорама долины Луары. За время с 1802 по 1815 год г-н ла Бодрэ расширил свой бывший лен приобретением нескольких земельных участков и весь предался разведению виноградников. Поначалу Реставрация показалась ему настолько шаткой, что он не решился поехать в Париж для предъявления отцовских векселей; однако после смерти Наполеона он попытался обратить в деньги поэтические опыты своего отца, не поняв глубокой философии, которую обличала эта смесь векселей и шарад. Винодел потерял пропасть времени, стараясь добиться признания долгов со стороны герцогов Наварренов и прочих (таково было его собственное выражение), и, не получив ничего, кроме любезного обещания всяческих услуг, возвратился в Сансер, призываемый милым его сердцу сбором винограда. Реставрация вернула

---

[1] «Суета сует и всяческая суета!» *(лат.)*

знати достаточно блеску, а ла Бодрэ пожелал придать смысл своим честолюбивым замыслам, обзаведясь наследником. Это преимущество брачного союза казалось ему весьма проблематичным, а то бы он так не запоздал; но к концу 1823 года, дожив благополучно до сорока лет,— возраст, который ни врач, ни астролог, ни повивальная бабка не решились бы ему предсказать,— он возымел надежду вознаградить себя за вынужденную добродетель. Однако, если принять во внимание его тщедушное сложение, сделанный им выбор обнаружил такой явный недостаток предусмотрительности, что хитрые провинциалы не могли не заподозрить в этом какого-то глубокого расчета.

Как раз в это время его высокопреосвященство, монсиньор архиепископ Буржский, только что обратил в католичество молодую особу, принадлежавшую к одной из тех буржуазных семей, которые были главным оплотом кальвинизма, но, благодаря то ли своей безвестности, то ли покровительству неба, ускользнули от преследований Людовика XIV. Ремесленники в XVI веке, Пьедеферы [1], имя которых напоминает о тех причудливых кличках, какие давали друг другу солдаты Реформации, сделались почтенными суконщиками. В царствование Людовика XVI дела Авраама Пьедефера пошли так плохо, что когда в 1786 году он умер, то двое его сыновей остались в положении, близком к нищете. Один из них, Силас Пьедефер, отправился в Ост-Индию, уступив свою скромную долю наследства старшему брату. Моисей Пьедефер скупал во время революции национальное имущество, разрушал, подобно своим предкам, аббатства и церкви и, как это ни странно, женился на католичке, единственной дочери члена Конвента, погибшего на эшафоте. Этот честолюбивый Пьедефер умер в 1819 году, оставив своей жене состояние, расстроенное земельными спекуляциями, и двенадцатилетнюю девочку поразительной красоты. Воспитанная в кальвинизме, эта девочка, согласно обычаю некатоликов брать имена из библии, чтобы ничего не иметь общего со святыми римской церкви, получила имя Дины.

Мадемуазель Дина Пьедефер, помещенная матерью в

---

[1] Piédefer (pied de fer) — железная нога *(франц.)*.

пансион девиц Шамароль, один из лучших пансионов Буржа, приобрела там известность как своим умом, так и своей красотой; однако над ней первенствовали знатные и богатые девушки, которые и впоследствии должны были играть в обществе гораздо более видную роль, чем какая-то мещаночка, мать которой ждала результатов ликвидации дел Пьедеферов. Быстро сумев обогнать своих подруг в школьных успехах, Дина пожелала также и в жизни быть с ними на равной ноге. И вот она задумала отречься от кальвинизма, надеясь, что кардинал будет покровительствовать своей новообращенной духовной дочери и займется ее будущим. Уже по этому поступку вполне можно судить о преимуществах мадемуазель Дины, которая в возрасте семнадцати лет переменила религию единственно из честолюбия. Архиепископ, проникнутый мыслью, что Дина Пьедефер должна стать украшением общества, попытался выдать ее замуж. Все семейства, куда обращался прелат, испугались барышни с осанкой принцессы, которая прослыла самой одаренной из числа юных особ, воспитанных у девиц Шамароль, и во время торжественных, несколько театральных церемоний раздачи наград играла всегда первую роль. Несомненно, тысяча экю ренты, какие могло приносить имение Ла-Отуа, не разделенное между матерью и дочерью, были пустяком по сравнению с теми расходами, в которые должны были вовлечь мужа личные достоинства такого одаренного создания.

Как только г-н Полидор де ла Бодрэ прослышал об этих подробностях,— а о них толковали во всех гостиных департамента Шер,— он явился в Бурж как раз в тот момент, когда г-жа Пьедефер, отъявленная ханжа, и ее дочь почти уже решились подцепить, как говорят в Берри, первого попавшегося молодца, лишь бы он был при шляпе. Если кардинал был очень счастлив встретиться с г-ном де ла Бодрэ, то еще более счастлив был г-н де ла Бодрэ заполучить жену из рук кардинала. Этот человечек потребовал, чтобы его преосвященство дал формальное обещание ходатайствовать о нем перед председателем совета о реализации векселей герцогов Наварренов и прочих и наложении ареста на получаемые ими суммы за конфискованные поместья. Мера эта показалась несколько смелой ловкому прислужнику павильона Марсан; он

дал знать виноделу, что им займутся в надлежащее время и в надлежащем месте. Можно себе представить, какой шум поднялся среди сансерцев по поводу безрассудной женитьбы г-на де ла Бодрэ.

— Разумеется,— сказал председатель суда Буаруж,— наш карлик, как мне передавали, очень был задет, услыхав на гулянье, что красавец Мило, товарищ прокурора в Невере, показывая на башенки Ла-Бодрэ, говорил господину де Кланьи: «Все это достанется мне!» — «Но,— возразил наш прокурор,— ведь он может жениться и иметь детей».— «Это ему недоступно!» Можете себе представить, какую ненависть затаил заморыш де ла Бодрэ к великану де Мило.

В Невере существовала мещанская ветвь рода Мило, сильно нажившаяся на торговле скобяным товаром, вследствие чего представителю ее удалось сделать себе карьеру по судебному ведомству, где оказывал ему покровительство покойный Маршанжи.

Быть может, приличнее было бы теперь же устранить из этой истории, где мораль играет столь важную роль, все низменные материальные интересы, которым целиком был предан г-н де ла Бодрэ, рассказав вкратце о результатах его домогательств в Париже. Кроме того, это разъяснит кое-какие таинственные стороны современной истории и те скрытые затруднения, какие встречали министры на политической арене во время Реставрации. Министерские обещания были так малонадежны, что г-н ла Бодрэ нашел нужным отправиться в Париж в то самое время, как кардинал был призван туда на сессию палаты депутатов.

Вот каким образом выпутался из положения герцог Наваррен, первый из должников, подвергшийся угрозе со стороны г-на де ла Бодрэ. Однажды утром наш сансерец увидел, что к «Отелю Майнц», где он остановился, на улице Сент-Оноре, возле Вандомской площади, подъехал министерский поверенный, большой дока по делам ликвидаций. Этот элегантный господин, вышедший из элегантного кабриолета и одетый как нельзя более элегантно, должен был подняться в номер 37, то есть на третий этаж, в комнатку, где застал нашего провинциала в то время, как тот варил себе на печурке кофе.

— Не с господином ли Мило де ла Бодрэ имею честь...

— Да,— ответил человечек, запахивая халат.

Оглядев в лорнет этот халат — плод нечестивого союза древнего узорчатого плаща г-жи Пьедефер и платья покойной г-жи де ла Бодрэ,— посредник нашел, что человек, халат и глиняная печурка, где в жестяной кастрюльке кипело молоко, достаточно красноречивы и что все тонкости тут излишни.

— Держу пари, сударь,— начал он развязно,— что вы обедаете за сорок су у Юрбсна, в Пале-Рояле.

— Почему же?..

— О! Мне помнится, я вас там видел,— не сморгнув глазом, ответил парижанин.— Все кредиторы владетельных особ там обедают. Вы ведь знаете, что с первейших вельмож насилу получишь десять процентов долгу... Я не дал бы и пяти за векселя покойного герцога Орлеанского... и даже... (он понизил голос) *его высочества...*

— Вы пришли купить мои документы? — спросил винодел, воображая себя проницательным.

— Купить?..— усмехнулся посредник.— За кого вы меня принимаете?.. Я господин де Люпо, чиновник по принятию прошений, первый секретарь министерства, и я пришел предложить вам полюбовную сделку.

— Какую?

— Вам, сударь, небезызвестна точка зрения вашего должника...

— Моих должников...

— Пусть должников, сударь, но вы знакомы также и с положением их дел: они в большой милости у короля, денег же у них нет, а расходы по представительству громадные... Вам небезызвестны также затруднения политические: нужно восстановить аристократию перед лицом грозного третьего сословия. Мысль короля, которую Франция не умеет ценить, заключается в том, чтобы создать из палаты пэров национальное учреждение, подобное английскому. Для осуществления этой великой мысли нужны годы и миллионы... Положение обязывает, и герцог Наваррен, который является, как вам известно, первым камергером двора его величества, не отрицает своего долга, но он не может... (Будьте рассудительны! Учтите политическую сторону! Мы едва выбираемся из пропасти революций! Ведь вы тоже

принадлежите к аристократии!) Итак, он не может уплатить вам...

— Милостивый государь...

— Не спешите,— сказал де Люпо,— послушайте... Он не может уплатить вам деньгами. Что ж, как умный человек, примите уплату в виде милостей... королевских или министерских.

— Как! Мой отец в тысяча семьсот девяносто третьем году дал сто тысяч...

— Дорогой мой, не отвечайте упреком! Послушайте, вот вам задача из политической арифметики: должность податного инспектора в Сансере свободна; г-н Гравье, бывший главный казначей армии, имеет на нее право, но не имеет шансов; у вас есть шансы, но нет никакого права; вы получите эту должность. Прослужив три месяца, вы подаете в отставку, и господин Гравье вручает вам двадцать тысяч франков. Мало того, вас представляют к королевскому ордену Почетного легиона.

— Это уже кое-что,— промолвил винодел, прельщенный гораздо более суммой, нежели орденской лентой.

— Но,— продолжал де Люпо,— вы убедитесь в расположении его превосходительства, лишь когда возвратите его светлости герцогу де Наваррену все ваши документы...

Винодел вернулся в Сансер в качестве податного инспектора. Шесть месяцев спустя он был замещен г-ном Гравье, который во время Империи прослыл одним из любезнейших чиновников министерства финансов и, разумеется, был представлен г-ном де ла Бодрэ его супруге.

Едва освободившись от должности инспектора, г-н де ла Бодрэ явился в Париж для объяснений с прочими должниками. На этот раз он получил место референдария по министерству юстиции, титул барона и орден Почетного легиона. Продав должность референдария по министерству юстиции, барон де ла Бодрэ нанес несколько визитов последним своим должникам и снова появился в Сансере, уже в качестве чиновника по принятию прошений, а также королевского комиссара при одной анонимной компании, учрежденной в Ниверне, с жалованьем в шесть тысяч франков,— это было уже настоящей синекурой. Таким образом, простак ла Бодрэ, казалось, сделавший с финансовой точки зрения ужасную глупость,

в действительности совершил блестящую операцию, женившись на мадемуазель Пьедефер.

Благодаря мелочной расчетливости и денежному возмещению за национализированные в 1793 году имения отца, этот человек в 1827 году осуществил мечту всей своей жизни! Уплатив четыреста тысяч франков наличными и приняв на себя обязательства, которые, как он выражался, обрекали его в течение шести лет питаться одним воздухом, он мог купить на берегу Луары, двумя милями выше Сансера, поместье Анзи, с великолепным замком, построенным Филибером Делормом и составляющим предмет справедливого восхищения знатоков. Наконец-то он попал в число крупных землевладельцев края! Но вряд ли радость по случаю учреждения майората, состоявшего из поместья Анзи, ленного владения Ла-Бодрэ и имения Ла-Отуа, на основании королевской грамоты от декабря 1829 года, вознаградила гордость Дины, понявшей, что теперь ей придется терпеть тайную нужду вплоть до 1835 года. Благоразумный де ла Бодрэ не позволил жене поселиться в Анзи или производить там малейшие перемены, пока не будет уплачен последний взнос за имение.

В этом беглом обзоре деловых приемов первого барона де ла Бодрэ виден весь человек целиком. Люди, знакомые с причудами провинциалов, узнают здесь *страсть к земле*, страсть всепоглощающую, страсть слепую, особого рода алчность, выставленную напоказ и часто ведущую к разорению вследствие недостатка равновесия между процентами по закладным и доходом с земель. Все, кто с 1802 по 1827 год насмехался над маленьким де ла Бодрэ, наблюдая, как он пешечком плетется в Сен-Тибо и занимается там делами с жадностью буржуа, живущего своими виноградниками,— все, кто не понимал его пренебрежения к милостям, доставлявшим ему должности, которые он бросал, едва успев их получить, разгадали наконец его тайну, увидав, как этот formica leo [1] ринулся на свою добычу, дождавшись минуты, когда мотовство герцогини Мофриньез привело к продаже ее великолепного поместья.

Госпожа Пьедефер переселилась к дочери. Объединен-

---

[1] Муравьиный лев *(лат.)*.

ные состояния г-на де ла Бодрэ и его тещи, которая удовольствовалась пожизненной рентой в двенадцать тысяч франков, предоставив зятю имение Ла-Отуа, давали вместе солидный доход, приблизительно в пятнадцать тысяч франков.

В первые дни замужества Дина добилась перемен, сделавших дом ла Бодрэ очень приятным. Велев снести погреба, давильни и безобразные службы, она превратила громадный двор в английский сад. Позади дома — небольшой, но не лишенной своеобразия постройки с башенками и островерхой крышей — она разбила второй сад с густым кустарником, цветами и газонами, отделив его от виноградников стеной, скрытой под вьющимися растениями. Наконец в домашний быт она внесла весь тот комфорт, который позволила ей скудость средств. Чтобы не дать себя разорить юной особе, хотя бы и столь выдающейся, какой казалась Дина, ловкий г-н де ла Бодрэ догадался умолчать о деньгах, получаемых с парижских должников. Глубокая скрытность, проявляемая им в отношении дел, придавала его характеру какую-то таинственность и возвышала его в глазах жены в первые годы брака,— столько величия заключается в молчании!

Перемены, производившиеся в Ла-Бодрэ, внушили сансерцам пылкое желание увидеть новобрачную, тем более что Дина не хотела показываться в обществе и принимать гостей, пока не почувствует себя во всеоружии, не изучит местных нравов и в особенности самого молчаливого г-на ла Бодрэ. Когда же одним весенним утром 1825 года сансерцы увидели на гулянье прекрасную г-жу ла Бодрэ в синем бархатном платье, а мать ее в бархатном черном, в городе поднялся великий шум. Этот наряд утвердил превосходство молодой женщины, воспитанной в столице Берри. Принимая у себя этого беррийского феникса, сансерцы опасались сказать что-нибудь недостаточно умное и тонкое и, конечно, держали себя натянуто в присутствии г-жи де ла Бодрэ, которая навела нечто вроде паники на всех местных дам. А когда в гостиной Ла-Бодрэ их восхищенным взорам предстал ковер, выделанный под кашмирский, золоченая мебель в стиле Помпадур, штофные занавеси на окнах, а на круглом столе среди нескольких новых книг полная цветов японская

ваза в виде рога изобилия; когда красавица Дина без всяких церемоний уселась за рояль и начала играть с листа, то сложившееся представление о ее превосходстве усилилось в необычайной степени. Чтобы ни в коем случае не опуститься и не поддаться дурному вкусу, Дина решила следить за модами и малейшими новинками в области предметов роскоши, поддерживая для этого деятельную переписку с Анной Гростет, своей закадычной подругой по пансиону Шамароль. Единственная дочь генерального откупщика в Бурже, Анна благодаря своему состоянию вышла замуж за третьего сына графа де Фонтэн. И вот женщины, бывая в Ла-Бодрэ, всегда чувствовали себя уязвленными первенством, которое Дина завоевала по части мод; сколько они ни старались, а всегда оказывались позади, или, как говорят любители скачек, теряли дистанцию. Если все эти мелочи давали сансерским дамам повод к злобной зависти, то умение Дины вести беседу и ее остроумие породили настоящую ненависть. Стремясь держаться на уровне духовной жизни Парижа, г-жа де ла Бодрэ ни в ком не терпела пустословия, устарелых учтивостей и бессодержательных фраз; она наотрез отказалась от участия в пересудах и мелких сплетнях, в том низкопробном злословии, которое составляет основу провинциальных разговоров. Она любила рассуждать об открытиях в науках и искусствах, о новых произведениях, только что появившихся на театральной сцене или в поэзии, и в речах ее всем чудилась игра мысли, тогда как она всего лишь играла модными словами.

Аббат Дюре, старый сансерский священник, принадлежавший к прежнему духовенству Франции, человек светский, который не прочь был и поиграть в карты, не решаясь, однако, дать волю своей склонности в таком «либеральном» городке, как Сансер, был очень счастлив, когда появилась г-жа де ла Бодрэ, и сдружился с нею как нельзя лучше. Супрефект, некий виконт де Шаржбеф, был в восторге, что нашел в салоне г-жи де ла Бодрэ оазис, где можно было передохнуть от провинциальной жизни. Что же касается прокурора г-на де Кланьи, то восхищение красавицей Диной накрепко приковало его к Сансеру. Обуреваемый страстью судейский чиновник отказался от всякого продвижения по службе и весь отдал-

ся благоговейной любви к этому ангелу изящества и красоты. Это был рослый, сухощавый мужчина с разбойничьей физиономией, украшенной парой свирепых глаз в темных орбитах и громадными нависшими бровями; красноречие г-на де Кланьи, вполне отличное от его любви, не лишено было остроты.

Господин Гравье был низенький человечек, плотный и жирный, во времена Империи восхитительно певший романсы и обязанный этому таланту своим назначением на высокий пост главного казначея армии. Принимая участие в крупных предприятиях в Испании вместе с некоторыми видными генералами, принадлежавшими тогда к оппозиции, он сумел извлечь выгоду из их парламентских связей с министром, который, во внимание к потере г-ном Гравье должности, пообещал ему место податного инспектора в Сансере и в конце концов предоставил ему купить это место. Легковесный ум — черта людей эпохи Империи — со временем отяжелел у г-на Гравье; он не понял или не пожелал понять огромной разницы между нравами Реставрации и нравами Империи; но он считал себя много выше г-на де Кланьи, одевался с большим вкусом, следил за модой, появлялся в желтом жилете, серых панталонах и обтянутом сюртуке, шею повязывал модным шелковым галстуком, продетым в бриллиантовое кольцо, тогда как прокурор не вылезал из фрака, черных панталон и жилета, нередко потертых.

Эти четыре особы первые пришли в восторг от образованности, прекрасного вкуса и остроумия Дины и объявили ее женщиной высочайшего ума. Тогда дамы решили между собой: «Госпожа де ла Бодрэ, должно быть, вволю потешается над нами...» Такое мнение, более или менее справедливое, привело к тому, что дамы стали избегать визитов в Ла-Бодрэ. Заподозренная и уличенная в педантизме на том основании, что она говорила правильным языком, Дина получила прозвище «Сафо из Сен-Сатюра». Кончили тем, что стали дерзко издеваться над так называемыми «великими достоинствами» Дины. Тогда она сама сделалась врагом сансерских дам. Дошли даже до того, что вообще стали отрицать ее превосходство, впрочем весьма относительное, ибо оно только подчеркивало чужое невежество и не прощало его. Когда все горбаты,— стройная фигура кажется уродст-

вом; поэтому на Дину стали смотреть как на урода и существо опасное, и вокруг нее образовалась пустота. Удивленная тем, что, несмотря на ее предупредительность, дамы заезжают к ней очень редко и лишь на несколько минут, Дина спросила г-на де Кланьи о причине этого явления.

— Вы слишком выдающаяся женщина, и другие женщины любить вас не могут,— ответил прокурор.

Господин Гравье, к которому бедная покинутая Дина обратилась с тем же вопросом, заставил бесконечно себя просить и наконец сказал:

— Но, моя красавица, вы не довольствуетесь тем, что очаровательны, вы — умница, образованная, вы много читали, вы любите поэзию, вы музыкантша, вы восхитительно владеете разговором. Женщины не прощают стольких преимуществ!..

Мужчины говорили г-ну де ла Бодрэ:

— Ваша жена выдающаяся женщина, вы должны быть очень счастливы.

И в конце концов ла Бодрэ сам стал говорить:

— Моя жена выдающаяся женщина, я очень счастлив,— и т. д.

Госпожа Пьедефер, возгордившись успехами дочери, тоже позволяла себе изрекать фразы вроде следующей:

— Моя дочь выдающаяся женщина! Она написала вчера госпоже де Фонтэн то-то и то-то.

Кто знает свет, Францию, Париж, разве не согласится, что множество знаменитых репутаций создалось подобным образом?

По прошествии двух лет, к концу 1825 года, Дину де ла Бодрэ обвинили в том, что она оказывает гостеприимство только одним мужчинам, и вменили ей в преступление ее отчужденность от женщин. Всякий ее поступок, даже самый невинный, подвергался обсуждению и кривотолкам. Пожертвовав чувством собственного достоинства, насколько это возможно для воспитанной женщины, и пойдя им навстречу, г-жа де ла Бодрэ допустила большую ошибку, ответив одной лжеприятельнице, явившейся оплакивать ее одиночество:

— Лучше пустой стол, чем стол с пустой посудой.

Эта фраза произвела ужасающий эффект в Сансере

и впоследствии была безжалостно обращена против самой Сафо из Сен-Сатюра, когда сансерцы, видя ее бездетной после пяти лет замужества, стали глумиться над маленьким ла Бодрэ.

Чтобы понять эту провинциальную шутку, нужно напомнить тем, кто его знал, герцога д'Эрувиля, о котором говорили, что он самый храбрый человек в Европе, ибо отваживается ходить на жиденьких своих ножках; уверяли также, будто он кладет себе в башмаки свинец, чтобы его не сдуло ветром. Г-н де ла Бодрэ, человечек с желтым и почти прозрачным лицом, годился бы в первые камергеры при герцоге д'Эрувиле, если бы этот обер-шталмейстер Франции был по крайней мере великим герцогом Баденским. Г-н де ла Бодрэ, у которого ноги были так тонки, что он из приличия носил накладные икры, бедра были не толще предплечий нормально сложенного человека, а туловище довольно явственно напоминало майского жука, служил бы постоянным утешением для самолюбия герцога д'Эрувиля. Во время ходьбы маленький винодел частенько водворял на место вертевшиеся на голенях накладные икры, не делая из этого ни малейшей тайны, и благодарил тех, кто указывал ему на сию маленькую неисправность. Он продолжал носить короткие панталоны, черные шелковые чулки и белый жилет вплоть до 1824 года. Но после женитьбы надел длинные синие панталоны и сапоги на каблуках, что всему Сансеру дало повод говорить, будто он прибавил себе два дюйма росту, чтобы дотянуться до подбородка жены. Десять лет подряд на нем видели все тот же сюртучок бутылочного цвета, с большими пуговицами из белого металла, и черный галстук, оттенявший его холодное хитрое личико, на котором блестели серо-голубые глаза, проницательные и спокойные, как глаза кошки. Мягкий, подобно всем людям, следующим раз начертанному плану, он, казалось, составил счастье своей жены, никогда явно ей не противоречил, уступал ей на словах и довольствовался тем, что действовал не спеша, но с цепкостью насекомого.

Вызывая поклонение своей несравненной красотой, восхищая своим умом самых светских мужчин Сансера, Дина поддерживала это восхищение разговорами, к которым, как говорили впоследствии, она заранее готови-

лась. Она видела, что ее слушают с восторгом, мало-помалу сама привыкла себя слушать, а кончила тем, что, войдя во вкус высокопарной речи, стала смотреть на своих друзей как на наперсников в трагедии, которые должны только подавать ей реплики. К тому же она обзавелась великолепной коллекцией фраз и идей — частью путем чтения, частью усваивая мысли своих постоянных собеседников, и превратилась в своего рода шарманку, которая начинала свои песенки, чуть только разговор случайно задевал ее рычажок. Жадная к знаниям — отдадим ей эту справедливость,— Дина читала все, даже книги по медицине, статистике, естественным наукам и юриспруденции, потому что, осмотрев свои цветники и отдав распоряжения садовнику, она не знала, куда девать утренние часы. Одаренная прекрасной памятью и присущим некоторым женщинам умением находить подходящие слова, она могла говорить о чем угодно ясным, затверженным слогом. Зато все — из Кона, Шарите, Невера с правого берега Луары, из Лере, Вальи, Аржана, из Бланкафора и Обиньи с берега левого — спешили представиться г-же де ла Бодрэ, подобно тому как в Швейцарии представлялись г-же де Сталь. Те, кто не более одного раза слышал песенки этой швейцарской музыкальной табакерки, уезжали ошеломленные и рассказывали о Дине такие чудеса, что на десять лье кругом женщины проникались завистью.

В восхищении, внушаемом людям, как и в постоянном разыгрывании взятой на себя роли, таится для кумира нечто опьяняющее, что заглушает в нем критическое чутье. Может быть, состояние непрестанного нервного подъема создает как бы сияние, сквозь которое видишь мир где-то далеко внизу, у своих ног? Чем же иным объяснить то неизменное простодушие, с каким снова и снова повторяются одни и те же представления с теми же эффектами, несмотря на замечания детей, столь беспощадных к своим родителям, или мужей, давно раскусивших невинное плутовство своих жен? Г-н де ла Бодрэ отличался непосредственностью человека, раскрывающего зонтик при первых каплях дождя; когда его жена поднимала вопрос о торговле неграми или о тяжкой доле каторжников, он брал свою голубенькую фуражку и бесшумно скрывался, вполне уверенный, что успеет схо-

дить в Сен-Тибо, чтобы присмотреть там за выгрузкой бочек, и, вернувшись через час, застанет дискуссию в полном разгаре. Если же ему делать было нечего, то он отправлялся на бульвар, откуда открывается восхитительный вид на долину Луары, и прогуливался на свежем воздухе, пока жена его исполняла какую-нибудь словесную сонату или философический дуэт.

Заняв однажды положение выдающейся женщины, Дина захотела дать видимые доказательства своей любви к самым замечательным произведениям искусства, причем, живо восприняв идеи романтической школы, она включала в понятие искусства поэзию и живопись, книги и статуи, мебель и оперу. Поэтому она стала поклонницей Средневековья. Она разведала также, где могут встретиться редкости, относящиеся к эпохе Возрождения, и превратила своих поклонников в самоотверженных комиссионеров. Так, в первые дни замужества она приобрела мебель г-на Руже на распродаже, состоявшейся в Иссудене в начале 1824 года. Она накупила прекрасных вещей в Ниверне и по Верхней Луаре. На новый год или ко дню рождения ее друзья непременно подносили ей какую-нибудь диковинку. Г-н де ла Бодрэ милостиво взирал на фантазии жены и делал вид, что согласен пожертвовать несколько экю на ее прихоти,— в действительности же землевладелец думал только о своем замке Анзи. Эти «антики» стоили тогда гораздо дешевле, чем современная мебель. Через пять или шесть лет передняя, столовая, обе гостиные и будуар, который Дина устроила себе в первом этаже Ла-Бодрэ,— все, вплоть до лестничной клетки, было битком набито шедеврами, собранными в четырех близлежащих департаментах. Эта обстановка, казавшаяся всему городу странной, вполне гармонировала с Диной. Чудеса искусства, которым вскоре предстояло вновь войти в моду, поражали воображение гостей; все ждали чего-то необыкновенного, но эти ожидания бывали далеко превзойдены, когда, сквозь море цветов, взорам гостей открывались целые катакомбы старинных вещей, расставленных, как у покойного Дюсомерара, этого мебельного «кладбищенского старика»! К тому же всякий вопрос об этих достопримечательностях как бы нажимал некую пружинку, вызывавшую целый фонтан тирад о Жане Гужоне, Мишеле Коломбе, Жермене

Пилоне, о Буле, о Ван-Хейсоме, о Буше — этом великом художнике-беррийце; о Клодионе, резчике по дереву, о венецианских инкрустациях, о Брустолоне, итальянском мастере — этом Микеланджело резьбы по дубу; о тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом веках, об эмалях Бернарда Палисси или Петито, о гравюрах Альбрехта Дюрера (Дина говорила «Дюр»), о раскрашенных пергаментах, о готике «цветистой», «пламенеющей», «сложной», «чистой» — фонтан тирад, приводивший в бесчувствие старцев и в восторг юношей.

Одушевленная желанием оживить Сансер, г-жа де ла Бодрэ попыталась учредить так называемое литературное общество. Председатель суда, г-н Буаруж, который в то время не знал, как сбыть с рук дом с садом, доставшийся ему по наследству от Попино-Шандье, одобрил создание этого общества. Хитрый чиновник явился к г-же де ла Бодрэ условиться о его уставе, выразив желание быть одним из основателей, и сдал дом на пятнадцать лет в аренду литературному обществу. На второй год там уже играли в домино, в бильярд, в бульот, запивая игру горячим подслащенным вином, пуншем и ликерами. Несколько раз там устраивались небольшие изысканные ужины, а на масленице — костюмированные балы. Что касается литературы, то там читали газеты, обсуждали политические вопросы и говорили о делах. Г-н де ла Бодрэ прилежно посещал это общество — «ради жены», говаривал он шутя.

Такой результат глубоко огорчил возвышенную женщину; она поставила крест на Сансере и с той поры сосредоточила все лучшие умы города в своем салоне. Но, несмотря на все искренние старания господ де Шаржбеф, Гравье, де Кланьи, аббата Дюре, первого и второго товарищей прокурора, молодого врача, молодого заместителя судьи—слепых обожателей Дины, бывали минуты, когда, выбившись из сил, они позволяли себе экскурсы в область тех приятных пустяков, которые составляют основу всех светских разговоров. Г-н Гравье называл это «переходом от назидательного к утешительному». Спасительным отвлечением от почти сплошных монологов божества служил вист аббата Дюре. Три соперника, утомившись от прений «наивысшего порядка»,

как именовали они свои беседы, но не смея показать и малейшего пресыщения, иногда с ласковым видом обращались к старому священнику:

— А господину кюре до смерти хочется составить партийку,— говорили они.

Сметливый кюре довольно успешно приходил на помощь своим лицемерным сообщникам; он отнекивался, он восклицал:

— Мы слишком много потеряем, перестав внимать нашей прекрасной вдохновительнице!

И пробуждал великодушие в Дине, которой в конце концов становилось жаль своего дорогого кюре.

Этот смелый маневр, изобретенный супрефектом, производился с такой ловкостью, что Дина ни разу не заподозрила своих невольников в бегстве на зеленое поле карточного стола. В таких случаях ей оставляли на растерзание молодого товарища прокурора или врача. Один юный домовладелец, сансерский денди, потерял милость Дины вследствие того, что несколько раз неосторожно проявил свои чувства. Добившись чести быть допущенным в этот храм и лаская себя надеждой похитить из него цветок, охраняемый признанными служителями, он имел несчастье зевнуть во время объяснения философии Канта — правда, четвертого по счету, которым удостоила его Дина. Г-н де ла Томасьер, внук беррийского историка, был объявлен человеком, совершенно лишенным понимания и души.

Трое штатных влюбленных примирились с непомерной затратой ума и внимания в надежде на сладчайшую из всех побед, которая придет, когда Дина станет сговорчивее, ибо никто из них и думать не смел, что она расстанется с супружеской верностью прежде, нежели утратит свои иллюзии. В 1826 году Дина, достигшая тогда двадцатилетнего возраста, была окружена особым поклонением, и аббат Дюре счел нужным поддерживать в ней католический пыл; поэтому ее обожатели довольствовались малым — они не скупились на мелкие заботы, услуги и знаки внимания, счастливые уже тем, что гости, которым доводилось вечера два провести в Ла-Бодрэ, принимали их за церемониймейстеров двора этой королевы.

— Госпожа де ла Бодрэ — это плод, которому надо

дать созреть,— таково было мнение г-на Гравье, готового подождать.

Что до прокурора, то он писал письма на четырех страницах, и Дина отвечала на них успокоительными речами, когда прогуливалась после обеда вокруг лужайки, опершись на руку своего обожателя. Хранимая этой тройной любовью и, сверх того, присмотром богомольной матери, г-жа де ла Бодрэ избегла уколов злословия. Ни один из этих трех мужчин никогда не оставлял соперника наедине с г-жой де ла Бодрэ, это всем бросалось в глаза; и их ревность служила потехой для всего Сансера. От Порт-Сезара до Сен-Тибо существовала в то время дорога много короче той, что ведет через Большие валы; такие дороги в горных странах зовутся «курьерскими», а в Сансере ее называли «костоломкой». Само название указывает, что это была тропинка, проложенная по крутому склону горы, загроможденная камнями и стиснутая между изгородями виноградников. «Костоломка» укорачивает путь от Сансера до Ла-Бодрэ. Женщины, завидовавшие Сафо из Сен-Сатюра, нарочно прогуливались по бульвару, чтобы наблюдать этот Лоншан местных властей, часто останавливая и вовлекая в разговор то супрефекта, то прокурора, проявлявших в таких случаях признаки нетерпения или дерзкой рассеянности. Так как с бульвара открывается вид на башенки Ла-Бодрэ, то не один молодой человек приходил сюда созерцать обиталище Дины, завидуя привилегии десятка или дюжины завсегдатаев проводить вечера возле королевы Сансера. Г-н де ла Бодрэ скоро заметил, что звание мужа возвышает его во мнении поклонников его жены, и, с полнейшей откровенностью воспользовавшись их услугами, добился снижения налога и выиграл два маленьких процесса. Во всех своих распрях — а де ла Бодрэ, как все карлики, был сутяга и мелочно придирчив, хотя и мягок в приемах,— он давал почувствовать, что за ним стоит прокурор, и люди отступались от всех своих притязаний.

Но чем ярче блистала невинность г-жи де ла Бодрэ, тем менее понятным становилось ее положение в глазах любопытствующих женщин. Бывало, дамы известного возраста, собравшись у г-жи Буаруж, жены председателя суда, по целым вечерам сбсуждали между собой семейную жизнь четы де ла Бодрэ. Все чувствовали здесь

какую-то тайну, а разгадка подобных тайн живо интересует женщин, знающих жизнь. Действительно, в Ла-Бодрэ разыгрывалась одна из тех длинных и скучных супружеских трагедий, которые навсегда остались бы неизвестными, если бы проворный скальпель девятнадцатого века, в жадных поисках новизны, не занялся исследованием самых темных уголков сердца или, если хотите, тех его уголков, которые щадила стыдливость прошедших веков. Эта домашняя драма служит достаточным объяснением добродетельной жизни Дины в первые годы ее замужества.

Девушка, успехи которой в пансионе Шамароль имели побудительной причиной гордость, первый расчет которой был вознагражден первой победой, не должна была остановиться на таком славном пути. Как ни был жалок на вид г-н де ла Бодрэ, но для девицы Дины Пьедефер он был поистине неожиданной партией. Какая тайная мысль могла быть у этого винодела, когда он в сорок четыре года женился на семнадцатилетней девушке, и что она могла ожидать от него? Вот был первый предмет размышлений Дины. Этот человечек постоянно обманывал ее ожидания. Так, в самом начале он позволил ей взять два драгоценных гектара земли около Ла-Бодрэ, пропавшей без пользы под ее садовыми затеями, и, можно сказать, щедрой рукой отсыпал семь или восемь тысяч франков на внутреннее устройство дома, производившееся по указаниям Дины, которая могла тогда купить в Иссудене мебель г-на Руже и осуществить свои замыслы декораций — как средневековых, так и в стиле Людовика XIV и Помпадур. В то время молодой новобрачной трудно было поверить, что г-н де ла Бодрэ так скуп, как ей говорили, она даже думала, что приобрела над ним некоторую власть. Это заблуждение продолжалось полтора года. После второго путешествия г-на де ла Бодрэ в Париж Дина почувствовала в нем тот ледяной холод, каким веет от провинциального скряги, когда дело коснется денег. Обратившись к мужу в первый раз с просьбой отдать ей ее капитал, Дина разыграла грациознейшую комедию, секрет которой идет еще от Евы; но маленький человечек напрямик объявил жене, что он дает ей двести франков в месяц на личные расходы, выплачивает г-же Пьедефер тысячу двести франков по-

жизненной ренты за поместье де-Ла-Отуа, и, таким образом, тысяча экю ее приданого ежегодно превышается на двести франков.

— Я уж не говорю о расходах по дому,— сказал он в заключение,— я не запрещаю вам угощать по вечерам чаем с бриошами ваших друзей, потому что вам нужно развлечение, но до женитьбы у меня не уходило и полутора тысяч франков в год, а теперь я трачу шесть тысяч франков, считая налоги и деловые расходы, а это уж чересчур, если принять в соображение самую природу нашего состояния. Винодел может быть уверен только в своем расходе: обработка земли, подати, бочки; тогда как доход зависит от солнечного луча или заморозка. Мелкие землевладельцы вроде нас, прибыли которых далеко не верны, должны исходить из своего минимума, так как им не из чего покрыть лишний расход или убыток. Что с нами станется, если прогорит какой-нибудь виноторговец? Поэтому будущая прибыль для меня все равно, что журавль в небе. Чтобы жить, как мы живем, нам всегда нужно иметь деньги на год вперед и рассчитывать только на две трети нашего дохода.

Стоит женщине встретить сопротивление, как ей захочется сломить его; а Дина столкнулась с железной волей, скрытой под ватой мягчайших манер. Она попробовала было пробудить в этом человечке сомнения и ревность, но увидела, что он защищен самой оскорбительной невозмутимостью. Уезжая в Париж, он расставался с Диной так же спокойно, как спокоен бывал Медор за верность Анжелики. Когда же она приняла холодный и надменный вид, чтобы задеть за живое этого уродца презрением,— прием, применяемый куртизанками против своих покровителей и действующий на них с точностью винта на пресс,— г-н де ла Бодрэ лишь устремил на жену пристальный взгляд кота, который посреди домашнего переполоха не тронется с места, пока ему не пригрозят пинком. Необъяснимая озабоченность, проступавшая сквозь это немое равнодушие, довела двадцатилетнюю женщину почти до ужаса; она не сразу поняла эгоистическое спокойствие этого человека, похожего на треснувший горшок и выверявшего, чтобы существовать на свете, весь ход своей жизни с той же неуклонной точностью, с какой часовщики выверяют маятник. Поэтому

маленький человечек постоянно ускользал от своей жены; сражаясь с ним, она всегда метила на десять футов выше его головы.

Легче понять, чем описать, приступы ярости, которым предалась Дина, когда увидела, что ей не вырваться ни из Бодрэ, ни из Сансера,— ей, мечтавшей управлять состоянием и поведением этого карлика, которому она, великанша, сперва подчинилась, в надежде им повелевать. Рассчитывая когда-нибудь появиться на великой арене Парижа, она мирилась с пошлой лестью своих придворных кавалеров; ей хотелось, чтоб из избирательной урны было вынуто имя г-на де ла Бодрэ, ибо она поверила в его честолюбие, когда, трижды побывав в Париже, он всякий раз поднимался ступенькой выше по социальной лестнице. Но, обратившись однажды к сердцу этого человека, она увидела, что стучит о камень!.. Бывший податной инспектор, бывший референдарий, бывший судейский чиновник по принятию прошений, кавалер Почетного легиона, королевский комиссар был попросту крот, занятый рытьем своих подземных ходов вокруг какого-то виноградника! Элегическими жалобами она тронула тогда сердце прокурора, супрефекта и даже г-на Гравье, и все они еще больше привязались к этой благородной страдалице, потому что она, как, впрочем, и все женщины, старательно избегала говорить о своих расчетах и, опять же, как все женщины, не имея возможности наживаться, порицала всякую наживу.

Дина, истомленная этими внутренними бурями, дожила в неопределенности до поздней осени 1827 года, когда вдруг разнеслась весть о приобретении бароном де ла Бодрэ поместья Анзи. Старичок внезапно оживился в порыве горделивой радости, на несколько месяцев изменившей и настроение его жены; когда он начал хлопотать об учреждении майората, ей даже почудилось в нем какое-то величие. Торжествуя, маленький барон восклицал:

— Дина, в один прекрасный день вы будете графиней!

И между супругами состоялось одно из тех внешних примирений, которые не бывают прочны и столько же утомляют, сколько унижают женщину, видимые достоинства которой ложны, а скрытые — истинны. Такое странное противоречие встречается чаще, нежели думают.

Дина, которую делали смешной заблуждения ее ума, обладала высокими душевными качествами, но обстоятельства не давали повода проявиться этой редкой нравственной силе, а ум ее под влиянием провинциальной жизни все больше разменивался на мелкую монету, и к тому же фальшивую. По закону противоположности, г-н де ла Бодрэ, бессильный, бездушный и неумный, спокойно следуя раз принятой линии поведения, отступить от которой ему не позволяла его хилость, должен был в свое время показать себя человеком большого характера.

Это был первый, длившийся шесть лет, период их супружеской жизни; за это время Дина—увы!— стала провинциалкой. В Париже есть всякого рода женщины: есть герцогини и жены финансистов, посланницы и жены консулов, жены нынешних министров и жены бывших министров, есть светская женщина с правого берега Сены и светская женщина с левого ее берега; но в провинции есть только одна женщина, и эта бедная женщина — провинциалка. Это наблюдение указывает на одну из глубоких язв нашего современного общества. Запомним хорошенько! Франция в девятнадцатом веке разделена на две большие зоны: Париж и провинцию — провинцию, завидующую Парижу, и Париж, вспоминающий о провинции только, когда ему нужны деньги. Некогда Париж был первым из городов провинции, а двор первенствовал над городом, ныне весь Париж — двор, а вся провинция — город. Как бы блистательна, как бы прекрасна и сильна ни была при своем вступлении в жизнь девушка, родившаяся в каком-либо департаменте, но если она, подобно Дине Пьедефер, выходит замуж в провинции и там остается жить,— она вскоре делается провинциалкой. Несмотря на ее твердую решимость не поддаваться пошлости, убожество мысли, равнодушие к одежде, сорняк грубости заглушают священный огонек, теплящийся в этой свежей душе, и все кончено: прекрасное растение гибнет. И как может быть иначе? В провинции молодая девушка с самого раннего возраста видит вокруг себя только провинциалов; других, получше, взять неоткуда, выбирать приходится среди одних посредственностей; провинциальные отцы выдают своих дочерей только за провинциальных холостяков; никому не приходит в голову скрещивать породы, ум неизбежно

вырождается, и во множестве городов способность мыслить уже сделалась настолько же редкой, насколько там дурна кровь. Человек хиреет там душою и телом, так как гибельный имущественный расчет господствует над всеми другими условиями брака. Люди талантливые, артисты, люди выдающиеся — всякая птица с яркими перьями улетает в Париж. Униженная, как женщина вообще, провинциалка унижена еще и в своем муже. Попробуйте-ка быть счастливой с этими двумя гнетущими мыслями! Но униженность в браке и униженность самого положения усугубляется еще третьей и страшной униженностью, которая придает образу провинциалки сухость и мрачность, умаляет, мельчит его, накладывает роковой грим. Разве тщеславию женщины не льстит больше всего уверенность, что она занимает не последнее место в жизни выдающегося мужчины, ею самой сознательно выбранного, как бы в отместку за замужество, где с ее вкусами мало посчитались? Однако, если в провинции среди женатых нет выдающихся людей, то среди холостяков их еще меньше. Таким образом, когда провинциалка совершает грехопадение, предметом ее любви всегда оказывается так называемый красавец или местный денди — молодой человек, который носит перчатки и слывет хорошим наездником; но в глубине сердца она знает, что чувства ее направлены на ничтожество, более или менее хорошо одетое. Дине эта опасность не угрожала благодаря внушенному ей представлению о ее собственном превосходстве. Если бы в первое время замужества она и не была под надежной охраной матери, присутствие которой стало для нее помехой только когда появился интерес избегнуть надзора,— все равно ее охранила бы гордость и та высота, на которую она вознесла свою жизнь. Она была польщена, увидев себя окруженной поклонниками, но возлюбленного среди них она не нашла. Ни один мужчина не соответствовал тому поэтически-идеальному образу, который она когда-то набросала вместе с Анной Гростет. Иной раз, невольно поддаваясь соблазну, пробужденному в ней поклонением мужчин, она говорила себе: «Кого же мне выбрать, если уж все равно придется уступить?» — и в мыслях отдавала предпочтение г-ну де Шаржбефу, дворянину знатного рода, внешность и манеры которого ей нравились; но хо-

лодный ум, эгоизм, честолюбие, ограниченное префектурой и выгодным браком, ее возмущали. По первому слову родных, опасавшихся, что он погубит карьеру из-за любовной связи, виконт, еще молодой супрефект, без всяких угрызений совести бросил обожаемую женщину. Наоборот, личность г-на де Кланьи, единственного, чей ум говорил уму Дины, чье честолюбие имело целью любовь и кто умел любить, в высшей степени не нравилась Дине. Когда выяснилось, что ей суждено еще шесть лет оставаться в Ла-Бодрэ, она решила принять ухаживания г-на виконта де Шаржбефа; но его назначили префектом, и он уехал из города. К большому удовольствию прокурора, новый супрефект оказался человеком женатым, и жена его стала близкой приятельницей Дины. У г-на де Кланьи оставался теперь только один соперник — г-н Гравье. Но г-н Гравье был из тех сорокалетних мужчин, ухаживание которых женщины принимают и над которыми в то же время смеются, искусно и без угрызений совести поддерживая в них надежду и дорожа ими, как мы дорожим вьючным животным. За шесть лет среди всех, кто ей был представлен, на двадцать лье кругом, Дина не нашла человека, при виде которого она ощутила бы то волнение, которое вызывается красотой, верой в счастье, соприкосновением с возвышенной душой или предчувствием любви, пусть даже несчастной.

Итак, ни одно из драгоценных свойств Дины не могло проявить себя, она глотала обиды, нанесенные ее гордости, постоянно оскорбляемой мужем, который таким невозмутимым и безмолвным статистом ходил по ее жизненной сцене. Вынужденная зарывать в землю сокровища своей любви, она отдавала обществу только свои внешние качества. Временами она встряхивалась, она хотела принять мужественное решение; но материальная зависимость держала ее на привязи. Так, постепенно, несмотря на честолюбивые порывы, несмотря на жалобные упреки рассудка, она претерпевала все только что описанные провинциальные превращения. Каждый день уносил клочок ее первоначальных решений. Она составила себе программу забот о туалете, но мало-помалу отступила от нее. Если сначала она одевалась по моде и следила за мелкими новинками в области роскоши, то вскоре вынуждена была ограничить свои расходы суммой, получае-

мой от мужа. Вместо четырех шляп, шести чепчиков, шести платьев она стала довольствоваться одним платьем в сезон. Найдут, бывало, что она особенно хороша в такой-то шляпке,— и Дина носит эту шляпку на следующий год. И так во всем. Нередко она жертвовала нуждами туалета ради приобретения какой-нибудь готической мебели. Наконец на седьмом году замужества она уже считала удобным заказывать свои утренние платья лучшей из местных портних, которая шила под ее наблюдением. Ее мать, муж и друзья находили, что она очаровательна в этих недорогих туалетах, отмеченных присущим ей вкусом. Ей стали подражать!.. У Дины перед глазами не было для сравнения никакого образца, и она попалась в расставленные провинциалкам сети. Если у парижанки недостаточно красиво обрисованы бедра, то изобретательный ум и желание нравиться помогут ей найти какое-нибудь героическое средство против этой беды; если у нее есть какой-либо недостаток, крупица уродства, какой-нибудь изъян, она сумеет и их сделать привлекательными —это часто встречается; провинциалка же — никогда! Если талия у нее чересчур коротка, если полнота у нее развивается не там, где ей надлежит быть,— что ж, она покоряется своей участи, и поклонники, под страхом лишиться ее благосклонности, должны принять ее такой, какова она есть, тогда как парижанка всегда хочет и умеет казаться не тем, что она есть. Отсюда эти нелепые фигуры, эта резкая худоба или смешная пухлость, эти некрасивые линии, наивно выставленные напоказ,— привычные всему городу, но вызывающие удивление, когда провинциалки появляются в Париже или перед парижанами. Дина, у которой была стройная талия, преувеличенно ее подчеркивала и сама не заметила, как, исхудав от тоски, стала смешной, напоминая одетый в платье скелет. Друзья Дины, видя ее ежедневно, не замечали едва ощутимых перемен в ее внешности. Это явление — одно из естественных следствий провинциальной жизни. Молодая девушка, выйдя замуж, еще некоторое время сохраняет красоту, и все ею любуются; но все видят ее ежедневно, а когда видятся ежедневно, наблюдательность притупляется. Если, подобно г-же де ла Бодрэ, женщина несколько поблекнет, это едва замечают. Больше того, появись у нее в лице не-

большая краснота,— это всем понятно, это даже интересно. Легкая небрежность в туалете восторженно приветствуется. К тому же лицо так хорошо изучено, так привычно, что на небольшие изменения почти не обращают внимания и, может быть, в конце концов даже принимают их за родимые пятна. Перестав обновлять к каждому сезону свой туалет, Дина, казалось, сделала уступку местной философии.

То же происходит с языком, оборотами речи, с мыслью и чувствами — духовно опускаются так же, как и физически, если ум не обновляется в атмосфере Парижа. Но особенно сказывается провинциальная жизнь на жестах, походке, движениях, которые теряют ту легкость, какую беспрерывно сообщает им Париж. Провинциалка привыкла ходить, двигаться в спокойной, лишенной случайностей обстановке; ей не нужно сторониться, она шагает, как шагают новобранцы по Парижу, не думая о препятствиях, потому что их и нет для нее в провинции, где все ее знают, где она всегда на месте и где всякий уступит ей дорогу,— и женщина теряет грацию неожиданных движений. Наконец, замечали вы своеобразное действие, какое оказывает на людей постоянное общение друг с другом? По неистребимой склонности к обезьяньему подражанию их тянет брать себе за образец окружающих. Сами того не замечая, они перенимают друг у друга жесты, манеру говорить, позы, ужимки, выражение лица. За шесть лет Дина приноровилась к сансерскому обществу. Усвоив мысли г-на де Кланьи, она усвоила и его интонации; встречаясь только с мужчинами, она незаметно для себя переняла и мужские манеры. Ей казалось, что насмешкой она охранит себя от всего, что было в них смешного; но, как это и случается с иными насмешниками, на ней остался налет того, над чем она сама смеялась. У парижанки же перед глазами слишком много образцов хорошего вкуса, чтобы с ней произошло подобное явление. Так, парижанка дождется часа и минуты, когда может показаться в самом выгодном свете, а г-жа де ла Бодрэ, привыкнув быть объектом постоянного внимания, приобрела какую-то театральную и повелительную манеру, приемы примадонны, выходящей на сцену, от чего в Париже ее живо отучили бы насмешливые улыбки.

Когда Дина стала совсем смешной, но, обманутая

восхищением поклонников, вообразила, будто исполнилась нового очарования, ей пришлось пережить минуту страшного пробуждения, которое было для нее подобно горному обвалу. В один злополучный день она была уничтожена ужасным сравнением.

В 1828 году, после отъезда г-на де Шаржбефа, Дина была радостно взволнована ожиданием маленького события: ей предстояло снова увидеться с баронессой де Фонтэн. После смерти отца муж Анны, ставший главноуправляющим по министерству финансов, воспользовался отпуском по случаю траура, чтобы повезти жену в Италию. Анна пожелала на день остановиться в Сансере у подруги детства. В этом свидании было что-то зловещее. Анна, которую в пансионе Шамароль считали гораздо менее красивой, чем Дину, в роли баронессы де Фонтэн оказалась в тысячу раз красивее баронессы де ла Бодрэ, несмотря на усталость и дорожный костюм. Анна вышла из очаровательной двухместной кареты, наполненной парижскими картонками; с нею была горничная, изящество которой испугало Дину. Все то, что отличает парижанку от провинциалки, сразу бросилось в глаза умной Дине, и она вдруг увидела себя такой, какой показалась своей подруге, а та нашла ее неузнаваемой. Анна на одну себя тратила в год шесть тысяч франков, то есть столько, сколько уходило на содержание всего дома г-на де ла Бодрэ. За сутки подруги обменялись множеством признаний. И парижанка, чувствуя свое превосходство над фениксом пансиона Шамароль, с такой добротой, с таким старанием разъяснила своей провинциальной подруге некоторые вещи, что нанесла этим Дине только новые раны: провинциалка видела, что преимущества парижанки все на виду, тогда как ее собственные навек погребены.

После отъезда Анны г-жа де ла Бодрэ, которой тогда было двадцать два года, впала в безграничное отчаяние.

— Что с вами? — спросил у нее г-н де Кланьи, застав ее в этом угнетенном настроении.

— Анна училась жить, пока я училась страдать,— ответила она.

В самом деле, в доме г-жи де ла Бодрэ, наряду с последовательными превращениями Дины, ее борьбой из-за денег, разыгрывалась трагикомедия, о которой, кроме

аббата Дюре, знал только г-н де Кланьи: как-то Дина от праздности, а может быть, из тщеславия открыла ему тайну своей анонимной славы.

Хотя союз стихов и прозы кажется противоестественным во французской литературе, все же из этого правила есть исключения. Наша повесть как раз будет примером подобного насилия над каноном рассказа, и такое насилие придется дважды совершить в этих очерках, ибо для того, чтобы дать понятие о сердечных страданиях Дины,— пусть не оправдывающих ее, но служащих ей извинением,— необходимо разобрать одну поэму, плод ее глубокого отчаяния.

Когда с отъездом виконта де Шаржбефа пришел конец терпению и покорности Дины, она послушалась совета доброго аббата Дюре, который предложил ей перелагать ее горькие думы в стихи; быть может, с этого и начинают иные поэты.

— Вам будет легче, как легче становится тем, кто складывает эпитафии и элегии в память умерших близких: боль утихнет в сердце, когда в голове закипят александрийские стихи.

Странная поэма привела в волнение департаменты Алье, Ньевр и Шер, осчастливленные тем, что у них есть свой поэт, способный потягаться с парижскими знаменитостями. «Севильянка Пакита» Хуана Диаса была опубликована в «Морванском эхо», журнальчике, который полтора года боролся с провинциальным равнодушием. Кое-кто из умных людей в Невере высказал мысль, что Хуан Диас хотел высмеять новую школу, приверженцы которой писали тогда эксцентрические стихи, полные огня и образов, и достигали ярких эффектов, уродуя музу под предлогом подражания немецким, английским и романским фантазиям.

Поэма начиналась следующей песнью:

Кто был в Испании чудесной?
Кто видел этот край прелестный,
Где ночь в прохладе, день в огне,
Где страсть в сердцах горит такая,
Что детям северного края
И не привидится во сне!

Там все другое — люди, нравы,
Иные радуют забавы,

Иная веселит игра.
Там легкий башмачок атласный
Кружится в пляске сладострастной
От полуночи до утра!

И ты, любуясь этой пляской,
Сам от стыда зальешься краской,
Припомнив карнавальный гром,
Когда по непролазным лужам
Идет с подскоком неуклюжим
Каблук, подкованный гвоздем!

В притоне похоти, средь буйного позора,
Пакита песенки поет,
В Руане сумрачном, где иглами собора
Истыкан серый небосвод,
В том неприветливом, уродливом Руане.
. . . . . .

В великолепном описании Руана, где Дина никогда не бывала, сделанном с той нарочитой грубостью, которая позднее продиктовала столько стихотворений в духе Ювенала, жизнь промышленных городов противополагалась беспечной жизни Испании, небесная любовь и красота человека — культу машин, словом, поэзия — расчету. И Хуан Диас объяснял отвращение Пакиты к Нормандии в таких словах:

Пакита родилась, нетрудно догадаться,
Там, где прозрачен небосклон.
Когда ей от роду исполнилось тринадцать,
Весь город был в нее влюблен.
Ей три прославленных торреро посвятили
Удары лучшие в бою,
Чтобы из алых уст, желанных всей Севилье,
Награду получить свою.
. . . . . .

Портрет юной испанки послужил с тех пор образцом для изображения множества куртизанок во множестве так называемых поэм, и воспроизводить здесь ту сотню стихотворных строк, которые ему посвящены, было бы попросту скучно. Но, чтобы судить о вольностях, на какие пустилась Дина, можно привести заключение этого отрывка. Если верить пылкой г-же де ла Бодрэ, Пакита была так совершенна в любви, что ей трудно было найти достойных ее кавалеров, ибо:

...Любой мечтал о счастье
И перед ней склонял свой лик,

Но все же пиршества утех и сладострастья
Она касалась лишь на миг.
. . . . . .
Но, позабывши все, что дорого и свято,
Отринув родину свою,
Она влюбляется в нормандского солдата
И входит в чуждую семью.
Об Андалузии она уже не плачет
И счастье знает только с ним.
. . . . . .
Но срок настал — и вот солдат в Россию скачет
За императором своим.

Нельзя было чувствительнее описать прощание испанки и нормандца, капитана артиллерии; в бреду страсти, переданной с чувством, достойным Байрона, он требовал от Пакиты клятвы в нерушимой верности в Руанском соборе, пред алтарем девы Марии:

Мария — женщина, она хоть и святая,
Но все ж измены не простит.

Значительная часть поэмы была посвящена картине страданий Пакиты, которая одиноко жила в Руане, ожидая конца войны; она ломала руки за решеткой своего окна, глядя на проходившие мимо веселые пары, она теряла силы, подавляя в своем сердце порывы любви, она жила наркотиками, предавалась соблазнительным снам!

Она не умерла, она осталась честной,
И воротившийся с войны
Солдат нашел ее по-прежнему прелестной
В расцвете радостной весны.
Но сам-то он — увы — в объятьях русской вьюги...
Проникся хладом снеговым
И грустно отвечал на страстный зов супруги...

Поэма и была задумана ради этой ситуации, разработанной с таким огнем, с такой смелостью, что аббат Дюре, пожалуй, был более чем прав. Пакита, убедившись, что и у любви есть свои пределы, не погрузилась, подобно Элоизе и Юлии, в мечты о бесконечности, об идеале,— нет, она пошла,— что, быть может, страшно, но естественно,— по пути порока, однако безо всякого величия, за неимением подходящей среды, ибо где найти в Руане людей настолько пылких, что согласились бы окружить какую-то Пакиту роскошью и блеском? Этот грубый реализм, облагороженный мрачной поэзией, про-

диктовал немало страниц, какими злоупотребляет современная поэзия, и чересчур похожих на то, что художники называют анатомическими этюдами. Описав дом позора, где андалузка кончала свои дни, поэт, после отступления с философским оттенком, возвращался к начальной песне:

И ничего в ней нет от той младой Пакиты,
Что пела песню юных дней.

Кто был в Испании чудесной?
Кто видел этот край прелестный,
. . . . . .

Мрачная сила, пронизывающая эту поэму почти в шестьсот строк, и, если можно позаимствовать это слово у живописи, ее резкий цветовой контраст с двумя сегидильями, в начале и конце произведения, это чувство невыразимой боли, высказанной с мужской смелостью, ужаснули женщину, которая, скрывшись под черной маской анонима, вызвала восхищение трех департаментов. Наслаждаясь пьянящей сладостью успеха, Дина все же опасалась провинциального злословия,— ведь столько женщин, в случае разоблачения, постараются найти сходство между автором и Пакитой. Потом, обдумав все, Дина содрогнулась от стыда при мысли, что описала в поэме собственные страдания.

— Не пишите больше,— сказал ей аббат Дюре,— вы перестанете быть женщиной, вы станете поэтом.

Хуана Диаса искали в Мулене, в Невере, в Бурже, но Дина оставалась неразгаданной. Чтобы не сложилось о ней дурного мнения, если роковая случайность откроет тайну ее имени, она сочинила прелестную поэму в двух песнях «Месса под дубом» — переложение следующего нивернейского предания.

Однажды жители Невера и жители Сен-Сожа, враждовавшие между собой, поднялись на заре, чтобы дать друг другу смертный бой, и сошлись в лесу Фаи. Из-за дуба, стоявшего между двумя отрядами, вдруг вышел священник. Весь его облик в лучах восходящего солнца так был поразителен, что оба отряда, подчинившись его приказу, выслушали мессу, которую он отслужил под дубом, и примирились при чтении евангелия. В лесу Фаи до сих пор еще показывают какой-то дуб.

Эта поэма, которая была несравненно выше «Севиль-

янки Пакиты», имела гораздо меньше успеха. После этого двойного опыта г-жа де ла Бодрэ почувствовала себя поэтом, и в глазах ее стали пробегать внезапные молнии, озаряя ее лицо и делая ее еще прекраснее, чем она была прежде. Она уже устремляла взоры на Париж, она жаждала славы и вновь возвращалась в свою нору Ла-Бодрэ, к своим ежедневным распрям с мужем, к обществу людей, характеры, намерения, разговоры которых были так ей знакомы и давным-давно надоели. Если в литературных трудах она нашла отвлечение от своих несчастий, если в пустоте ее жизни поэзия прозвучала особенно сильно, если она нашла в ней применение своим силам, то литература же заставила ее возненавидеть серую и душную атмосферу провинции.

Когда, после революции 1830 года, лучи славы Жорж Санд озарили Берри, многие города позавидовали удаче Ла-Шатра, видевшего рождение этой соперницы госпожи Сталь и Камилла Мопена, и все почувствовали склонность приветствовать малейшие женские таланты. И сколько же появилось тогда во Франции десятых муз— юных девушек или молодых женщин, уклонившихся от мирной жизни ради призрака славы! Что за странные мнения высказывались в печати по поводу роли женщины в обществе! Нисколько не в ущерб здравому смыслу, составляющему основу французского ума, женщинам прощали высказывание таких мыслей, исповедование таких чувств, в каких они не признались бы несколько лет назад. Г-н де Кланьи воспользовался этим моментом вольности, чтобы собрать в небольшой томик in-18°, изданный Дезорьером в Мулене, все творения Хуана Диаса.

Он сочинил об этом молодом писателе, столь безвременно похищенном у литературы, заметку — остроумную для тех, кому известна была разгадка тайны, но уже не имевшую тогда заслуги литературной новинки. Эти шутки, забавные, пока инкогнито сохраняется, становятся пресноватыми, как только автор себя обнаружит. Но заметка о Хуане Диасе, сыне пленного испанца, родившемся в Бурже в 1807 году, пожалуй, введет когда-нибудь в заблуждение составителей биографических словарей. В ней есть все: и имена профессоров Буржского коллежа, и имена товарищей покойного поэта, таких, как Лусто, Бьяншон, а также и других славных беррийцев,

которые якобы знали его мечтательным, томным юношей, уже в раннем возрасте проявлявшим склонность к поэзии. Элегия, сочиненная еще в коллеже, под названием «Грусть», две поэмы — «Севильянка Пакита» и «Месса под дубом», три сонета, описание Буржского собора и дома Жака Кера, наконец новелла под названием «Карола», за сочинением которого автора будто бы застигла смерть, составляли литературный багаж покойного, чьи последние минуты, отравленные нищетой и отчаянием, должны были наполнить жалостью чувствительные сердца в Ньевре, Бурбонэ, в Шере и Морване, где он умер, возле Шато-Шинона, неведомый никому, даже той, кого любил!..

Этот желтый томик был отпечатан в двухстах экземплярах, из которых распродано было сто пятьдесят,— около пятидесяти на департамент. Такое умеренное количество чувствительных и поэтических душ по трем департаментам Франции могло расхолодить авторов, умилявшихся перед furia francese[1], которая в наши дни направлена гораздо более на материальные интересы, чем на книги. Когда г-н де Кланьи завершил свои благодеяния, подписав заметку, Дина оставила себе семь или восемь экземпляров, а также провинциальные газеты, поместившие отзыв об этом издании. Двадцать экземпляров, посланных в парижские газеты, затерялись в недрах редакций. Натан, одураченный мистификацией, как и многие другие беррийцы, написал статью о великом поэте, найдя в нем все качества, которые приписывают покойникам. Лусто, вовремя предупрежденный товарищами по коллежу, не помнившими никакого Хуана Диаса, дождался известий из Сансера и узнал, что Хуан Диас — это псевдоним женщины. В округе Сансера г-жа де ла Бодрэ, в которой хотели видеть будущую соперницу Жорж Санд, вызвала горячее поклонение. От Сансера до Буржа превозносили и восхваляли поэму, которая в другое время, несомненно, была бы жестоко осмеяна. Провинциальная публика, а может быть, и вообще французская публика, не разделяет пристрастия французского короля к золотой середине: она либо превозносит вас до небес, либо втаптывает в грязь.

---

[1] Французская восторженность *(итал.)*.

К этому времени старый добряк, аббат Дюре, советчик г-жи де ла Бодрэ, уже умер; иначе он помешал бы ей предать свое имя гласности. Но три года труда и безвестности лежали тяжестью на сердце Дины,— и она променяла все свои обманутые надежды на шумиху успеха. Поэзия и мечты о славе, которые со времени встречи с Анной Гростет заглушали ее страдания, после 1830 года уже не могли удовлетворить порывов этой тоскующей души. Аббат Дюре, который заводил речь о мирском, когда голос религии бывал бессилен, аббат Дюре, который понимал Дину и рисовал ей счастливое будущее, говоря, что бог вознаградит ее за все с таким достоинством перенесенные страдания,— этот любезный старик уже не мог предостеречь от ложного шага свою прекрасную доверительницу, которую называл дочерью. Старый и умный священник не раз пытался растолковать Дине характер г-на де ла Бодрэ, предупреждая ее, что этот человек умеет ненавидеть; но женщины не склонны признавать силу воли в существах слабых, между тем ненависть—слишком стойкое чувство, чтобы не быть опасной силой. Видя мужа глубоко равнодушным в любви, Дина отказывала ему и в способности ненавидеть.

— Не смешивайте ненависти со мстительностью,— говорил ей аббат,— это два совсем различных чувства: одно — свойство ограниченных умов, другое — действие закона, которому подчиняются великие души. Бог отмщает, но не ненавидит. Ненависть — порок мелких душ, они питают ее всем своим ничтожеством и делают из нее предлог для низкой тирании. Поэтому берегитесь оскорбить господина де ла Бодрэ; он простит вам вину, потому что найдет это выгодным, но будет действовать с мягкой неумолимостью, если вы коснетесь больного места, которое задел господин Мило из Невера, и жизнь для вас станет невыносимой.

Действительно, в то время как Нивернэ, Сансер, Морван. Берри гордились г-жой де ла Бодрэ и прославляли ее под именем Хуана Диаса, маленькому г-ну де ла Бодрэ эта слава нанесла смертельный удар. Он один знал тайну поэмы «Севильянка Пакита». Обсуждая это ужасное произведение, все говорили о Дине: «Бедняжка! Бедняжка!» Женщины радовались, что могут пожалеть ту, которая так долго их подавляла, и тогда Дина в глазах

всего края явилась в ореоле страдалицы. А ее муж, маленький старичок, сделавшийся еще желтее, еще морщинистее, еще дряхлее, никак себя не проявлял: только Дина не раз ловила на себе его холодно-ядовитый взгляд, обличавший фальшь удвоенной вежливости и мягкости в его обращении с нею. Наконец она разгадала то, что ей казалось обычной семейной ссорой; объясняясь со своим «насекомым», как называл его г-н Гравье, она почувствовала в нем бесстрастность, холод, твердость стали: она вспылила, стала упрекать его за все, что вытерпела за одиннадцать лет жизни; она намеренно устроила ему так называемую «сцену»; а маленький ла Бодрэ сидел себе в кресле, закрыв глаза, и слушал, не теряя спокойствия. И карлик, как всегда, одержал верх над женой. Дина поняла, что сделала ошибку, занявшись сочинительством; она дала себе слово, что не напишет больше ни одной стихотворной строки, и сдержала слово. Но какое это было разочарование для всего Сансера!

— Почему госпожа де ла Бодрэ не сочиняет больше *стишков*? — этот вопрос был на устах у всех.

К этому времени г-жа де ла Бодрэ не имела больше врагов среди женщин, к ней стекались со всех сторон, и не проходило недели, чтобы у нее не появлялись новые лица. Жена председателя суда, именитая горожанка, урожденная Попино-Шандье, велела своему сыну, двадцатидвухлетнему молодому человеку, съездить в Ла-Бодрэ поухаживать за хозяйкой дома и почувствовала себя очень польщенной, что к ее Гатьену благоволит эта выдающаяся женщина. Выражение «выдающаяся женщина» заменило насмешливое прозвище «Сафо из Сен-Сатюра». Жена председателя, которая девять лет стояла во главе партии, враждебной Дине, была счастлива, что ее сын принят благосклонно, и без удержу восхваляла «музу Сансера».

— Что ни говорите,— воскликнула она в ответ на одну тираду г-жи де Кланьи, смертельно ненавидевшей мнимую любовницу своего мужа,— а это самая красивая и самая умная женщина во всем Берри!

После стольких блужданий по глухим чащам, после метаний по тысяче разных путей, после грез о любви во всем ее великолепии и жажды страданий в духе самых раздирательных драм, в которых Дина, томясь одно-

образием жизни, находила дешево покупаемое мрачное удовольствие,— она в один прекрасный день чуть не бросилась в тот омут, от которого дала себе клятву бежать. Видя неиссякаемое самоотвержение г-на де Кланьи, отказавшегося от места товарища прокурора в Париже, куда его звала родня, она подумала: «Он меня любит!» — и, победив свое отвращение, казалось, готова была увенчать столь редкое постоянство. Этому великодушному порыву ее сердца Сансер обязан был коалицией, составившейся на выборах в пользу г-на де Кланьи. Г-жа де ла Бодрэ мечтала последовать в Париж за депутатом от Сансера. Но, несмотря на все торжественные заверения, сто пятьдесят голосов, обещанных поклоннику прекрасной Дины, желавшей облечь этого защитника вдов и сирот в мантию хранителя печати, превратились во «внушительное меньшинство» в пятьдесят голосов. Ревность председателя Буаружа, ненависть г-на Гравье, решившего, что в сердце Дины произошел перевес в сторону кандидата, послужили на пользу одному молодому супрефекту, назначения которого на должность префекта и добились приверженцы Доктрины.

— Никогда не утешусь,— сказал он приятелю, покидая Сансер,— что не сумел понравиться госпоже де ла Бодрэ: торжество мое было бы полным.

Супружеская жизнь г-жи де ла Бодрэ, внутренне такая мучительная, внешне представлялась безмятежной; два существа, хоть и мало подходившие друг к другу, но покорившиеся судьбе, поддерживали какое-то приличие, благопристойность,— всю ложь, необходимую для общества, но казавшуюся Дине непосильным ярмом. Почему захотелось ей сбросить маску, которую она носила в течение двенадцати лет? Откуда взялась эта усталость, если всякий день приближал минуту, когда она наконец останется вдовой? Кто проследит за всеми фазами этой жизни, тот отлично поймет заблуждения, жертвой которых, как, впрочем, и множество других женщин, становилась Дина. От желания главенствовать над г-ном де ла Бодрэ она перешла к надежде когда-нибудь стать матерью. Жизнь ее проходила в домашних ссорах и грустных размышлениях о своей участи. Потом, когда ей захотелось утешиться, утешитель, г-н де Шаржбеф, уехал. Таким образом, увлечения, являющего-

ся причиной измен у большинства женщин, у нее до сих пор не было. Наконец, если и есть женщины, прямо идущие к греху, то разве мало и таких, которые не цепляются за всякую надежду и приходят к нему, проблуждав прежде в лабиринте скрытых несчастий? Так случилось и с Диной. Она была мало расположена пренебречь своим долгом и не любила г-на де Кланьи настолько, чтобы простить ему его неуспех. Переселение в замок Анзи, размещение коллекций и редкостей, которые приобрели новую ценность в великолепном и величественном обрамлении, созданном Филибером де Лорм как будто нарочно для этого музея, заняли ее на несколько месяцев и позволили ей обдумать одно из тех решений, что на первых порах изумляют людей, не знающих его тайной причины, хотя путем обсуждения и догадок они нередко до нее добираются.

Репутация Лусто, слывшего баловнем женщин вследствие его связей с актрисами, поразила воображение г-жи де ла Бодрэ; она пожелала его узнать, прочла его произведения и увлеклась им, восхищенная, быть может, не столько его талантом, сколько успехом у женщин; решив заманить его в свой края, она задумала принудить Сансер избрать на будущих выборах одну из двух местных знаменитостей. Написать прославленному врачу она поручила Гатьену Буаружу, который выдавал себя за родню Бьяншона через семейство Попино; затем упросила одного старого друга покойной г-жи Лусто пробудить честолюбие фельетониста, сообщив ему о намерении некоторых лиц в Сансере выбрать своим депутатом какую-нибудь парижскую знаменитость. Г-же де ла Бодрэ, которой опротивело ее жалкое окружение, предстояло наконец увидеть людей, действительно выдающихся, и свое падение она могла бы теперь облагородить всем блеском славы. Ни Лусто, ни Бьяншон не ответили: может быть, они ждали каникул. Бьяншон, после блестящей победы на конкурсе, получил в прошлом году кафедру и не мог бросить преподавания.

В сентябре месяце 1836 года, в разгар сбора винограда, оба парижанина приехали в родной город и обнаружили, что сансерцы целиком поглощены уборкой урожая, вследствие чего никаких проявлений общественного мнения в их честь не последовало.

— Мы провалились,— сказал Лусто своему земляку на языке кулис.

В 1836 году Лусто, утомленный шестнадцатилетней борьбой в Париже, изнуренный удовольствиями столько же, сколько нуждой, работой и неудачами, казался сорокавосьмилетним, хотя ему было всего тридцать семь лет. Уже облысевший, он напустил на себя байронический вид, гармонировавший с его преждевременной изношенностью и глубокими бороздами на лице — следствием неумеренного потребления шампанского. Эту печать разгула он объяснял условиями жизни литератора, выставляя прессу убийцей; чтобы придать значительность своей усталости, он давал понять, что журналистика губит великие таланты. У себя на родине он счел нужным преувеличить и свое мнимое презрение к жизни и свою притворную мизантропию. Порой, однако, глаза его еще метали пламя, как те вулканы, которые считают погасшими, и все, что в глазах женщин он терял из-за отсутствия молодости, он пытался возместить изяществом одежды.

Орас Бьяншон, украшенный орденом Почетного легиона, плотный и толстый, как и подобает преуспевающему врачу, имел патриархальный вид; у него были длинные светлые волосы, выпуклый лоб, широкие плечи труженика и спокойствие мыслителя. Не слишком поэтическая фигура доктора выгодно оттеняла внешность его ветреного земляка.

Эти две знаменитости целое утро пребывали неузнанными в гостинице, где они остановились, и г-н де Кланьи только случайно узнал об их приезде. Г-жа де ла Бодрэ, в отчаянии, послала Гатьена Буаруж (у него не было виноградников) пригласить обоих парижан на несколько дней в замок Анзи. Дина уже год изображала владетельницу замка и только зимние месяцы проводила в Ла-Бодрэ. Г-н Гравье, прокурор, председатель суда и Гатьен Буаруж устроили в честь славных гостей банкет, на котором присутствовали все наиболее образованные обитатели города. Узнав, что прекрасная г-жа де ла Бодрэ и есть Хуан Диас, парижане изъявили согласие на три дня поехать в замок Анзи, куда и отправились в шарабане, которым правил сам Гатьен. Этот полный приятных заблуждений молодой человек изобразил парижанам

г-жу де ла Бодрэ не только как самую красивую, самую выдающуюся женщину во всем Сансере, способную и самой Жорж Санд внушить беспокойство, но и как женщину, которая даже в Париже произведет сильнейшее впечатление. Поэтому доктор Бьяншон и насмешник-фельетонист необычайно удивились, хотя и не обнаружили этого, увидев на террасе Анзи владетельницу замка в закрытом платье из легкого черного кашемира, похожем на амазонку без шлейфа: в этой чрезвычайной простоте они почувствовали огромную претензию. На Дине был черный бархатный берет а ля Рафаэль, и из-под берета крупными локонами выбивались ее волосы. Наряд ее подчеркивал недурную фигуру, красивые глаза, красивые веки, почти поблекшие от невзгод жизни, которую мы только что описали. В Берри странность этой «артистической» одежды прикрывала романтические наклонности выдающейся женщины.

Заметив жеманство чересчур любезной хозяйки, являвшееся как бы жеманством души и ума, приятели обменялись взглядом и, приняв глубоко серьезный вид, выслушали г-жу де ла Бодрэ, которая обратилась к ним с заученной речью, благодаря их за приезд, нарушающий однообразие ее жизни. Потом Дина повела своих гостей погулять вокруг лужайки, расстилавшейся перед фасадом дома и украшенной клумбами.

— Возможно ли женщине, такой красивой, как вы, и, по-видимому, такой выдающейся, оставаться в провинции? — спросил мистификатор Лусто.— Как удается вам устоять против этой жизни?

— Ах, устоять!—сказала хозяйка дома.—Это невозможно. Глубокое отчаяние или тупая покорность, то либо другое, выбора нет,— вот почва, на которой зиждется наше существование, в ней стынут тысячи мыслей и, не оплодотворяя ее, питают собой лишь блеклые цветы наших опустошенных душ. Не верьте беспечности! Это беспечность отчаяния или покорности судьбе. Поэтому каждая женщина посвящает себя здесь тому делу, в котором, согласно своим склонностям, она находит удовольствие. Одни с головой уходят в варку варений и стирку, в хозяйственные расчеты, в сельские радости сбора винограда или жатвы, сушку плодов, вышивание шарфиков, заботы материнства, интриги маленького городишки.

Другие барабанят на вековечном фортепьяно, которое через семь лет гремит, как кастрюля, и, осипнув, кончает свои дни в каком-нибудь замке. Две-три ханжи обсуждают различные толкования слова божия: аббата Фрито сравнивают с аббатом Гинаром. По вечерам играют в карты, двенадцать лет подряд танцуют с теми же кавалерами, в тех же гостиных, по тем же поводам. Эта прекрасная жизнь перемежается торжественными прогулками по бульвару, визитами, которые по этикету наносят друг дружке женщины, чтобы спросить вас, где вы покупаете материю на платье. С юга духовная жизнь ограничена наблюдением над любовными связями, таящимися на дне стоячих вод провинциальной жизни, с севера—предстоящими свадьбами, с запада—завистью, с востока—колкими словечками. И вот, как видите,—сказала она, рисуясь,— у женщины в двадцать девять лет уже морщины — на десять лет раньше срока, предписанного доктором Бьяншоном; так же рано покрывается лицо ее красными пятнами или желтеет, как лимон, но есть и такие, которые зеленеют. Когда это случилось, нам хочется оправдать это естественное для нас состояние. Тут-то мы и пускаем в ход наши острые, как у полевой мыши, зубы против жестоких парижских страстей. Есть у нас здесь смиренницы поневоле, которые рвут в клочья кружевной наряд кокетства и разрушают очарование ваших поэтических парижских красоток; которые подтачивают чужое счастье, восхваляя свои орехи и прогорклое сало, превознося до небес свою нору расчетливой мыши, серые краски и монастырский душок нашей прекрасной сансерской жизни.

— А мне нравится эта сила духа, сударыня,— сказал Бьяншон.— Подвергаясь подобным испытаниям, не всякий способен обратить несчастье в добродетель.

Ошеломленный блестящим ходом, которым Дина предала провинцию парижанам, предупредив этим их колкие шутки, Гатьен Буаруж подтолкнул локтем Лусто и бросил на него ликующий взгляд, говоривший: «Ну что? Разве я не прав?»

— Но, сударыня,— сказал Лусто,— слушая вас, можно подумать, что мы еще в Париже. Я украду у вас эту тираду, она даст мне лишних десять франков за фельетон.

— О сударь,— ответила она,— не доверяйтесь провинциалкам!

— Почему же? — спросил Лусто.

Госпожа де ла Бодрэ прибегала тут к хитрости, довольно, впрочем, невинной: она считала, что если этим двум парижанам, среди которых ей хотелось сделать выбор, заранее показать ловушку, ожидающую победителя, тот скоро перестанет ее замечать, и тогда она окажется более сильной.

— Сначала, пока не потускнело воспоминание о блеске Парижа, над провинциалкой смеются,— сказала она,— потом, наблюдая ее в естественной ее стихии, за нею начинают ухаживать для препровождения времени. Вы, как человек, составивший себе славу любовными похождениями, будете предметом внимания, которое вам польстит... Берегитесь! — воскликнула Дина, кокетливо грозя пальцем и своими саркастическими замечаниями сразу ставя себя выше и провинциальных прелестниц и самого Лусто.— Когда бедная провинциалочка возгорается неуместной страстью к какой-нибудь выдающейся личности, к парижанину, случайно попавшему в провинцию,— для нее это больше, чем чувство: в этой страсти она находит занятие и посвящает ему всю свою жизнь. Ничего нет опаснее привязанности провинциалки: она сравнивает, она изучает, она размышляет, она мечтает, она никогда не оставляет своей мечты, она продолжает думать о том, кого любит, когда тот, кого она любит, уже не думает о ней. Поэтому одна из неотвратимых бед, тяготеющих над провинциалкой,— это внезапная развязка ее страсти, какую нередко можно наблюдать в Англии. В провинции за жизнью женщины наблюдают с терпением насторожившегося индейца, вынуждая ее идти напрямик по своему пути или сразу же сходить с рельсов, подобно локомотиву, налетевшему на препятствие. Стратегия любовной борьбы, кокетство, составляющие половину существа парижанки,— ничего этого здесь нет и в помине.

— Это верно,— сказал Лусто,— в сердце провинциалки таятся *сюрпризы*, как в некоторых игрушках.

— Ах, боже мой,— продолжала Дина,— женщина за зиму три раза поговорила с вами и, сама того не зная, заключила вас в своем сердце; подвернулась поездка за

город, прогулка — и сказано все, или, если угодно, сделано все. Это поведение, нелепое на взгляд людей ненаблюдательных, в сущности вполне естественно. Вместо того чтобы клеветать на провинциалку, утверждая, будто она развращена, поэт, подобный вам, или же философ, наблюдатель, как доктор Бьяншон, сумели бы угадать никому неведомые поэтические чувства и даже все страницы ее прекрасного романа, развязкой которого пользуется какой-нибудь счастливый лейтенант или какой-нибудь провинциальный лев.

— Провинциалки, которых я видел в Париже,— сказал Лусто,— были, надо сказать, довольно решительны...

— Еще бы! Ведь им любопытно,— проговорила баронесса, сопровождая свои слова легким движением плеч.

— Они похожи на тех театралов, что ходят на вторые представления, уверившись, что пьеса не провалится,— заметил Лусто.

— В чем же причина ваших бед? — спросил Бьяншон.

— Париж — вот чудовище, от него все наши горести,—ответила «выдающаяся женщина».—Это зло имеет семь лье в окружности, а страдает от него вся страна. Провинция сама по себе не существует. Только там, где нация разделена на пятьдесят маленьких государств, каждое из них может иметь свое лицо, и тогда женщина отражает блеск той сферы, где она царит. Это социальное явление, говорили мне, еще можно наблюдать в Италии, в Швейцарии и в Германии; но во Франции, как и в других странах с одной столицей, единообразие нравов будет неизбежным следствием централизации.

— Так что нравы, по-вашему, приобрели бы самобытность и яркость только при условии федерации французских провинций, образующих одно государство? — спросил Лусто.

— Вряд ли следует этого желать, а то гению Франции пришлось бы завоевать слишком много земель,— заметил Бьяншон.

— Англия не знает этого бедствия! — воскликнула Дина.— Лондон не распространяет на нее той тирании, которою подавляет Францию Париж и от которой французский гений когда-нибудь найдет средство избавиться. Зато у Англии есть нечто еще более ужасное — ее чудовищное лицемерие, а это еще худшее зло!

— Английская аристократия,— подхватил журналист, который, предвидя байроническую тираду, поспешил овладеть разговором,— имеет перед нашей то преимущество, что она присваивает себе все, что есть лучшего, она живет в своих поместьях с роскошными парками и является в Лондон *только на два месяца*, ни больше, ни меньше; она живет в провинции, сама там красуется и ее украшает.

— Да,— сказала г-жа де ла Бодрэ,— Лондон — столица лавочников и биржевиков, там осуществляется управление государством. Аристократия общается там между собой только в течение шестидесяти дней, запасается лозунгом дня, бросает мельком взгляд на правительственную кухню, делает смотр девицам на выданье и продающимся экипажам, говорит «прощайте» и скорей уезжает; она так мало занимательна, что может вытерпеть самое себя не дольше нескольких недель, именуемых «сезоном».

— Зато в коварном Альбионе, как называет ее «Конститюсьонель»,— вскричал Лусто, чтобы колкостью остановить этот неудержимый поток слов,— в любом пункте королевства есть надежда встретить прелестных женщин.

— Но английских прелестных женщин! — возразила, улыбаясь, г-жа де ла Бодрэ.— А вот и моя мать... Сейчас я вас представлю,— сказала она, заметив приближавшуюся к ним г-жу Пьедефер.

Познакомив обоих львов с этим скелетом, притязавшим на звание женщины, по имени г-жа Пьедефер — высокой высохшей особой с прыщеватым лицом, подозрительными зубами и крашеными волосами,— Дина на несколько мгновений оставила парижан одних.

— Ну как? — обратился Гатьен к Лусто.— Что вы о ней думаете?

— Я думаю, что самая остроумная женщина Сансера — попросту самая болтливая особа,— ответил журналист.

— Женщина, которая хочет сделать вас депутатом!.. Этот ангел!..— вскричал Гатьен.

— Виноват, я позабыл, что вы в нее влюблены,—сказал Лусто.— Такому старому чудаку, как я, цинизм простителен. Спросите у Бьяншона: у меня больше нет ил-

люзий, я называю вещи своими именами. Понятно, что мать такой женщины высохла, как куропатка, которую поставили на слишком большой огонь...

За обедом, если не изысканным, зато обильным, Гатьен Буаруж улучил минутку пересказать г-же де ла Бодрэ слова фельетониста, и владетельница замка старалась говорить поменьше. Эта вялость разговора выдала нескромность Гатьена. Этьен пытался снова снискать расположение, но все любезности Дины были обращены к Бьяншону. Однако к середине вечера баронесса опять сделалась мила с Лусто. Не приходилось ли вам замечать, сколько больших оплошностей совершается из-за сущих пустяков? Так, эта гордая Дина, не желавшая сдаться глупцам, влачившая в глуши своей провинции ужасную жизнь, полную борьбы, скрытой поэзии и подавленных мятежных порывов, эта Дина, которая сейчас только, чтобы отдалиться от Лусто, взобралась на самую высокую, самую крутую скалу своего пренебрежения и не спустилась бы с нее, даже увидав у своих ног этого Лжебайрона, просящего пощады,— эта самая Дина вдруг кувырком полетела с высоты, вспомнив внезапно о своем альбоме.

Госпожа де ла Бодрэ страдала манией собирать автографы; она была обладательницей целой книги удлиненного формата, которая тем более заслуживала свое латинское название album [1], что две трети ее листов оставались белыми. Баронесса де Фонтэн, которой на три месяца была послана эта книга, с большим трудом добыла строчку Россини, три такта Мейербера, четверостишие, которое Виктор Гюго вписывает во все альбомы, строфу Ламартина, остроту Беранже, слова: «Калипсо не могла утешиться после отъезда Улисса», написанные рукой Жорж Санд, знаменитые стихи Скриба о зонтике, фразу Шарля Нодье, линию горизонта, начертанную Жюлем Дюпре, подпись Давида Анжерского, три ноты Гектора Берлиоза. Г-н де Кланьи, побывав однажды в Париже, собрал следующее: песенку Ласенера (высоко ценимый автограф), две строки Фиески, очень коротенькое письмецо Наполеона,— и все эти три листка были наклеены на веленевую бумагу альбома. Г-н Гравье во

[1] Album — от слова albus — белый (*лат.*).

время одного путешествия упросил написать в этом альбоме госпож Марс, Жорж, Тальони и Гризи, первейших артистов — таких, как Фредерик Леметр, Монроз, Буффе, Рубини, Лаблаш, Нурри и Арналь, ибо он был вхож в общество старых холостяков, «вскормленных», по их выражению, «в серале», которые и доставили ему эти знаки благоволения. Такая основа будущей коллекции была тем драгоценнее для Дины, что она единственная на десять лье кругом обладала альбомом.

За последние два года множество молодых девиц завели альбомы и заставляют своих друзей и знакомых вписывать в них более или менее нелепые фразы.

О, вы проводящие жизнь в собирании автографов, люди столь же счастливые и простодушные, как голландцы со своими тюльпанами, вы, конечно, поймете Дину, которая, опасаясь, что ей не удастся задержать гостей дольше, чем на два дня, принесла свой альбом и попросила Бьяншона обогатить его несколькими строками.

Доктор вызвал у Лусто улыбку, показав ему на первой странице такую мысль:

«Народ оттого так опасен, что отпущение всех его грехов у него в кармане. *Ж.-Б. де Кланьи*».

— Поддержим этого мужчину, так отважно выступающего в защиту монархии,— шепнул на ухо Лусто ученый воспитанник Деплена.

И Бьяншон приписал внизу:

«То, что отличает Наполеона от водоноса, важно только для общества,— перед природой же они равны. Поэтому демократия, отвергающая неравенство состояний, тем самым взывает к природе. *О. Бьяншон*».

— Вот они, богачи! — вскричала пораженная Дина.— Они вынимают из своего кошелька золотую монету так же легко, как бедняк достает медный грош... Я не знаю,— сказала она, обратившись к Лусто,— не будет ли просьба о нескольких строфах злоупотреблением гостеприимством?..

— О сударыня, вы льстите мне! Бьяншон — великий человек, а ведь я безвестен!.. Через двадцать лет мое имя еще труднее поддастся разысканиям, чем имя господина прокурора, мысль которого, вписанная в ваш альбом, несомненно, обличит в нем непризнанного Монтескье. Помимо того, мне понадобятся по крайней мере

сутки, чтобы набросать какое-нибудь горькое размышление, ибо я умею писать лишь о том, что живо чувствую...

— Мне было бы приятно, если б вы у меня попросили две недели,— любезно сказала г-жа де ла Бодрэ, протягивая свой альбом,— тогда вы остались бы у меня подольше.

На другой день в замке Анзи гости в пять часов утра уже были на ногах. Ла Бодрэ устроил для парижан охоту; не столько ради их удовольствия, сколько из тщеславия собственника, ему очень хотелось заставить гостей пошагать по его лесам и проехаться по двенадцати сотням гектаров полей, которые он мечтал возделать,— предприятие это требовало нескольких сотен тысяч франков, зато могло принести с земель Анзи от тридцати до шестидесяти тысяч франков дохода.

— Знаете, почему прокурор не пожелал поехать с нами на охоту? — спросил Гатьен Буаруж у г-на Гравье.

— Да ведь он нам сказал, что сегодня у него присутствие, заседает суд исправительной полиции,— ответил податной инспектор.

— А вы и поверили?—вскричал Гатьен.—Так послушайте, что мне сказал отец: «Господин Леба приедет к вам с опозданием, потому что господин де Кланьи попросил его вести заседание».

— Вот тебе раз! — пробормотал, изменившись в лице, Гравье.— А господин де ла Бодрэ уезжает в Шарите!

— Вам-то что за дело до этого? — спросил Орас Бьяншон Гатьена.

— Орас прав,—сказал Лусто.—Не понимаю, как это вы столько занимаетесь друг другом, вы тратите время на переливание из пустого в порожнее.

Бьяншон взглянул на Этьена Лусто, как бы желая напомнить ему, что фельетонные колкости и остроты мелкой газетки непонятны в Сансере. Между тем все подошли к чаще кустарника, и г-н Гравье предоставил обоим знаменитостям и Гатьену углубиться в нее, спустившись с пригорка под предводительством лесничего.

— Подождем же финансиста,—сказал Бьяншон, когда охотники вышли на поляну.

— Эх вы! Хоть в медицине вы и великий человек, зато в провинциальных делах — невежда. Вы ждете господина Гравье?.. А он, несмотря на свой кругленький

животик, бегает, как заяц, и сейчас уже минутах в двадцати от Анзи (Гатьен вынул часы). Так и есть! Он поспеет как раз вовремя.

— Куда?..

— В замок, к завтраку,— ответил Гатьен.— Вы думаете, я был бы спокоен, если б госпожа де ла Бодрэ осталась наедине с господином де Кланьи? А теперь их двое, они последят друг за другом, и Дина будет под надежной охраной.

— Вот как, значит, госпожа де ла Бодрэ еще не сделала выбора? — спросил Лусто.

— Так думает мама, а я боюсь, что господин де Кланьи уже приворожил госпожу де ла Бодрэ; ведь если ему удалось убедить ее, что звание депутата сулит ему некоторые надежды на мантию хранителя печати, то он, конечно, может выдать и свою землистую физиономию, свирепые глаза, всклоченную гриву, голос осипшего вахтера, худобу нищего поэта за прелести Адониса. Раз уж Дина вообразила господина де Кланьи хранителем печати, то может вообразить его и красавцем мужчиной. Красноречие дает большие преимущества. К тому же госпожа де ла Бодрэ полна честолюбия, Сансер ей не нравится, она мечтает о блеске Парижа.

— Но вам-то что до этого? — заметил Лусто.— Пусть себе любит прокурора... А, понятно! Вам кажется, что долго любить его она не станет, и вы надеетесь занять его место!

— Вы, друзья мои, ежедневно видите в Париже столько красивых женщин, сколько дней в году,— сказал Гатьен.— А в Сансере их не насчитаешь и шести; и то из этих шести пять полны нелепых претензий на добродетель, а самая красивая из них своими презрительными взглядами держит вас на таком громадном расстоянии, точно она принцесса крови; стало быть, двадцатидвухлетнему молодому человеку очень даже простительно стараться разгадать тайны этой женщины, потому что тогда ей придется оказывать ему внимание.

— Это называется здесь «вниманием»,—сказал, улыбаясь, журналист.

— Думаю, что у госпожи де ла Бодрэ достаточно вкуса и она не удостоит благосклонностью эту гадкую обезьяну,— заметил Орас Бьяншон.

— О Орас, мудрый истолкователь человеческой природы! — воскликнул журналист.— Давайте устроим этому прокурору волчью западню,— мы окажем услугу нашему другу Гатьену и сами вволю нахохочемся. Не люблю прокуроров.

— У тебя верное предчувствие твоей судьбы,— сказал Орас.— Но как это сделать?

— А вот как: расскажем после обеда две-три истории о женщинах, застигнутых мужьями, убитых и замученных до смерти при ужасающих обстоятельствах. И посмотрим, какую мину состроят тогда госпожа де ла Бодрэ и господин де Кланьи.

— Недурно придумано,— сказал Бьяншон.— Трудно допустить, чтобы ни один из них не выдал себя каким-нибудь жестом или замечанием.

— Я знаю,— обращаясь к Гатьену, продолжал журналист,— издателя одной газеты, который, с целью избежать печальной участи, допускает только такие рассказы, где любовников сжигают, рубят, колют, крошат, рассекают на куски; где женщин пекут, жарят, варят; он показывает эти ужасные рассказы жене в надежде, что она останется ему верна из страха — на худой конец, сей скромный муж был бы рад и этому! «Вот видишь, душенька, к чему приводит малейший грешок»,— говорит он ей, передавая своими словами речи Арнольфа к Агнессе.

— Госпожа де ла Бодрэ совершенно невинна, молодой человек просто заблуждается,— сказал Бьяншон.— Госпожа Пьедефер кажется мне слишком набожной, чтобы приглашать в замок Анзи любовника дочери. Госпоже де ла Бодрэ пришлось бы обманывать мать, мужа, свою горничную, горничную матери — тут, того и гляди, попадешься впросак.

— К тому же и муж не простак,— рассмеялся Гатьен, радуясь, что вышло складно.

— Мы припомним две-три такие истории, что Дина затрепещет,— сказал Лусто.— Но, молодой человек, и ты, Бьяншон, я требую от вас строгой выдержки: покажите себя дипломатами, будьте естественны и непринужденны, следите, не подавая виду, за лицами обоих преступников... понимаете, искоса или в зеркало, совсем незаметно. Утром мы поохотимся за зайцем, вечером — за прокурором.

Вечер начался победно для Лусто: он передал владетельнице замка ее альбом, в котором она нашла следующую элегию:

ТОСКА

О горькие стихи, которые пишу я,
В то время, как меня, безудержно бушуя,
Влечет людской поток —
В тот мир, в котором нет ни света, ни покоя,
В котором вижу я с обидой и тоскою
Лишь горе и порок!

Наверно, поглядев на этот лист альбомный,
Не заразитесь вы тоскою неуемной.

Для вас нужней всего
Два слова о любви — в ней главная основа,
Два слова о балах, о платьях два-три слова
И два про божество!

Ведь это было бы насмешкой самой злою,
Когда б заставили меня с моей тоскою
О счастье говорить.
Возможно ли слепцу рассказывать о красках
Иль сироте пропеть о материнских ласках
И сердце не разбить?

Ведь если с детских лет тебя студила вьюга,
И прожил ты свой век без преданного друга,
Без ласки, без любви,
И горю твоему ничья слеза не вторит.
Так будущего нет — довольно с жизнью спорить,
Скорее оборви!

Я жалости молю! Хоть каплю, хоть немного!
В своих страданиях я отвергаю бога!
Я промысла не чту!
За что, за что мне слать ему благословенья?
Он мог мне дать и блеск и славу от рожденья —
А дал мне нищету!

Этьен Лусто

Сентябрь 1836 г., замок Анзи.

— И вы сочинили эти стихи в один день?..— спросил с сомнением в голосе прокурор.

— Ну, боже мой, конечно, на охоте, это даже чересчур заметно! Для госпожи де ла Бодрэ я хотел бы написать получше.

— Эти стихи восхитительны,— поднимая глаза к небу, молвила Дина.

— К несчастью, они служат выражением чувства бо-

лее чем истинного,— ответил Лусто, приняв глубоко печальный вид.

Всякий догадается, что журналист хранил в памяти эти стихи по крайней мере лет десять: они внушены были ему еще во время Реставрации трудностью выбиться в люди. Г-жа де ла Бодрэ взглянула на журналиста с состраданием, какое вызывают в людях бедствия гения, и г-н де Кланьи, перехвативший ее взгляд, почувствовал ненависть к этому мнимому больному юноше. Он засел в триктрак с сансерским кюре. Сын председателя суда, проявив чрезвычайную любезность, принес игрокам лампу и поставил ее так, что свет падал прямо на г-жу де ла Бодрэ, подсевшую к ним со своей работой: она обвивала шерстью ивовые прутья корзинки для бумаг. Трое заговорщиков расположились возле г-жи де ла Бодрэ.

— Для кого же вы делаете такую хорошенькую корзиночку, сударыня? — спросил журналист.— Для какой-нибудь благотворительной лотереи?

— Нет,— ответила она,— на мой взгляд, в благотворительности под трубные звуки слишком много притворства.

— Какое нескромное любопытство!—заметил Этьену Лусто г-н Гравье.

— Разве так уж нескромно спросить, кто тот счастливый смертный, у которого окажется корзинка баронессы?

— Такого счастливого смертного нет,— ответила Дина,— корзинка предназначена для моего мужа.

Прокурор исподлобья взглянул на г-жу де ла Бодрэ, как бы говоря: «Вот я и остался без корзинки для бумаг!»

— Как, сударыня, вы не хотите, чтоб господина де ла Бодрэ называли счастливым, когда у него хорошенькая жена, когда эта жена делает такие прелестные украшения на корзинках для его бумаг? И рисунок на них, красный и черный, в духе Волшебного стрелка. Будь я женат, я был бы счастлив, если б после двенадцати лет супружества корзинки, украшенные моей женой, предназначались бы для меня.

— А почему бы им не предназначаться для вас? — сказала г-жа де ла Бодрэ, поднимая на Этьена полный кокетства взгляд своих прекрасных серых глаз.

— Парижане ни во что не верят,— с горечью произнес прокурор.— А особенно дерзко подвергают они сомнению женскую добродетель. Да, господа писатели, с некоторых пор книжки ваши, ваши журналы, театральные пьесы, вся ваша гнусная литература держится на адюльтере...

— Э, господин прокурор,— возразил со смехом Этьен,— я вам не мешал играть. Я на вас не нападал, а вы вдруг обрушиваетесь на меня с обвинительной речью. Честное слово журналиста, я намарал больше сотни статеек против авторов, о которых вы говорите; но признаюсь, если и ругал их, то лишь для того, чтобы это хоть сколько-нибудь походило на критику. Будем справедливы: если вы их осуждаете, то надо осудить и Гомера с его «Илиадой», где идет речь о прекрасной Елене; надо осудить «Потерянный рай» Мильтона, где история Евы и змея представляется мне просто символическим прелюбодейством. Надо зачеркнуть псалмы Давида, вдохновленные в высшей степени предосудительными страстями этого иудейского Людовика XIV. Надо бросить в огонь «Митридата», «Тартюфа» «Школу жен», «Федру», «Андромаху», «Женитьбу Фигаро», «Ад» Данте, сонеты Петрарки, всего Жан-Жака Руссо, средневековые романы, «Историю Франции», «Римскую историю», и так далее, и так далее. Кроме «Истории изменений в протестантской церкви» Боссюэ и «Писем провинциалу» Паскаля, вряд ли найдется много книг для чтения, если вы захотите отбросить те, в которых рассказывается о женщинах, любимых наперекор закону.

— Беда не велика! — сказал г-н де Кланьи.

Этьену, которого задел высокомерный тон г-на де Кланьи, захотелось побесить его одной из тех холодных мистификаций, которые заключаются в отстаивании мнений, нам безразличных, но способных вывести из себя недалекого, простодушного человека,— обычная шутка журналистов.

— Если стать на политическую точку зрения, которой вы вынуждены придерживаться,— продолжал он, оставляя без внимания реплику судейского чиновника,— то, надев мантию прокурора любой эпохи, ибо — увы!— всякое правительство имело свой прокурорский надзор,— мы должны будем признать, что католическая религия в самых своих истоках поражена вопиющим нарушением

супружеской верности. В глазах царя Ирода, в глазах Пилата, который охранял римскую государственность, жена Иосифа могла казаться прелюбодейкой, раз, по собственному его признанию, он не был отцом Христа. Языческий судья не верил в непорочное зачатие точно так же, как и вы не поверили бы подобному чуду, если б сегодня объявилась какая-нибудь религия, опирающаяся на такого рода тайну. Или, по-вашему, суд исправительной полиции признал бы новую проделку святого духа? Между тем, кто дерзнет сказать, что бог не придет еще раз искупить человечество? Разве оно сегодня лучше, чем было при Тиберии?

— Ваше рассуждение — кощунство,— ответил прокурор.

— Согласен,— сказал журналист,— но у меня нет дурного намерения. Вы не можете отрицать исторические факты. По-моему, Пилат, осудивший Христа, и Анитос, который, выражая мнение афинской аристократической партии, требовал смерти Сократа, были представителями установившегося общественного порядка, считавшего себя законным, облеченного признанным правом, обязанного защищаться. Значит, Пилат и Анитос были так же последовательны, как прокуроры, которые требовали казни сержантов Ла-Рошели и сегодня рубят головы республиканцам, восставшим против июльской монархии, а также тем любителям нового, целью которых является выгодное для них ниспровержение общественного строя, под предлогом лучшей его организации. Пред лицом высших классов Афин и Римской империи Сократ и Иисус были преступники; для этих древних аристократий их учения были чем-то вроде призывов Горы: ведь если бы эти фанатики одержали верх, они произвели бы небольшой девяносто третий год в Римской империи или Аттике.

— К чему вы клоните, сударь? — спросил прокурор.

— К прелюбодеянию! Итак, сударь, какой-нибудь буддист, покуривая свою трубку, может с тем же основанием утверждать, что религия христиан основана на прелюбодеянии, как утверждаем мы, что Магомет—обманщик, что его коран — переиздание библии и евангелия и что бог никогда не имел ни малейшего намерения сделать этого погонщика верблюдов своим пророком.

— Если бы во Франции нашлось много людей, подобных вам,— а их, к несчастию, более чем достаточно,— всякое управление ею было бы невозможно.

— И не было бы религии,— сказала г-жа Пьедефер, на лице которой во время этого спора появлялись странные гримасы.

— Ты их ужасно огорчаешь,— шепнул Бьяншон на ухо Этьену.— Не затрагивай религии, ты говоришь им вещи, которые доведут их до обморока.

— Если бы я был писателем или романистом,— заметил г-н Гравье,— я стал бы на сторону несчастных мужей. Мне много чего довелось видеть, и достаточно странного; поэтому я знаю, что среди обманутых мужей немало есть таких, которые в своем положении далеко не бездеятельны и в критическую минуту очень драматичны, если воспользоваться одним из ваших словечек, сударь,— сказал он, глядя на Этьена.

— Вы правы, дорогой господин Гравье,— сказал Лусто,— я никогда не находил, что обманутые мужья смешны! Наоборот, я люблю их...

— Не думаете ли вы, что доверчивый муж может быть даже велик? — вмешался Бьяншон.— Ведь он не сомневается в своей жене, не подозревает ее, вера его слепа. Однако же, если он имел слабость довериться жене, над ним смеются; если он подозрителен и ревнив, его ненавидят. Скажите же, где золотая середина для умного человека?

— Если бы господин прокурор только что не высказался так решительно против безнравственности произведений, в которых нарушена хартия супружеских прав, я рассказал бы вам о мести одного мужа,— ответил Лусто.

Господин де Кланьи резким движением бросил кости и даже не взглянул на журналиста.

— О, ваш собственный рассказ! — воскликнула г-жа де ла Бодрэ.— Я даже не посмела бы просить...

— Он не мой, сударыня, у меня не хватило бы таланта; он был — и как прелестно! — рассказан мне одним из знаменитейших наших писателей, величайшим литературным музыкантом, какого мы знаем,— Шарлем Нодье.

— О, так расскажите! — попросила Дина.— Я никогда не слышала господина Нодье, вам нечего опасаться сравнения.

— Вскоре после восемнадцатого брюмера,— начал Лусто,— в Бретани и Вандее, как вы знаете, было вооруженное восстание. Первый консул, спешивший умиротворить Францию, начал переговоры с главными вожаками мятежников и принял самые энергичные военные меры; но, сочетая планы кампании с обольщениями своей итальянской дипломатии, он привел в действие также и макиавеллевские пружины полиции, вверенной тогда Фуше. И все это пригодилось, чтобы затушить войну, разгоравшуюся на западе Франции. В это время один молодой человек, принадлежавший к фамилии де Майе, был послан шуанами из Бретани в Сомюр с целью установить связь между некоторыми лицами из этого города или его окрестностей и предводителями роялистского мятежа. Узнав об этом путешествии, парижская полиция направила туда агентов, поручив им захватить молодого человека по приезде его в Сомюр. И действительно, посланец был арестован в тот самый день, как сошел на берег, потому что прибыл он на корабле под видом унтер-офицера судовой команды. Но, как человек осторожный, он предусмотрел все вероятные случайности своего предприятия: его охранное свидетельство, его бумаги были в таком безупречном порядке, что люди, посланные захватить его, испугались, не совершили ли они ошибку. Шевалье де Бовуар — припоминаю теперь его имя — хорошо обдумал свою роль: он назвал себя вымышленным именем, сослался на мнимое местожительство и так смело отвечал на допросе, что его отпустили бы на свободу, если б не слепая вера шпионов в непогрешимость данных им инструкций, к несчастью, слишком точных. Находясь в нерешимости, эти альгвазилы предпочли скорей поступить самочинно, чем дать ускользнуть человеку, захвату которого министр, видимо, придавал большое значение. Во времена тогдашней свободы агенты правительства мало беспокоились о том, что мы нынче называем «законностью». Итак, шевалье был временно заключен в тюрьму — до тех пор, пока власти не примут на его счет какого-либо решения. Бюрократический приговор не заставил себя ждать. Полиция приказала крепко стеречь заключенного, невзирая на его запирательства. Тогда шевалье де Бовуар, согласно новому приказу, был переведен

в замок Эскарп [1], одно название которого уже говорит о его местоположении. Эта крепость, стоящая на высокой скале, вместо рвов окружена пропастями; добраться до нее откуда бы то ни было можно только по опасным кручам; как и во всех старинных замках, к главным воротам ведет подъемный мост, перекинутый через широкий ров, наполненный водою. Комендант этой тюрьмы, обрадовавшись, что его охране поручен человек благородный, приятный в обращении, изъясняющийся изысканно и, видимо, образованный — свойства редкие в ту эпоху,— принял шевалье, как дар провидения; связав его лишь честным словом, он в пределах крепости предоставил ему свободу и предложил вместе сражаться со скукой. Пленник не желал ничего лучшего; Бовуар был честный дворянин, но, к несчастью, и очень красивый юноша. Он отличался привлекательным лицом, решительным видом, обворожительной речью, необычайной силой. Ловкий, стройный, предприимчивый, любящий опасность, он был бы прекрасным вождем мятежников,—такими они и должны быть. Комендант отвел своему узнику самое удобное помещение, допустил его к своему столу и первое время не мог нахвалиться вандейцем. Комендант этот был корсиканец, притом женатый; может быть, его жена, хорошенькая и любезная женщина, и правда требовала присмотра, но только он был ревнив — как корсиканец и довольно неотесанный военный. Бовуар понравился даме, она тоже пришлась ему очень по вкусу; быть может, они полюбили друг друга. В тюрьме любовь идет такими быстрыми шагами! Совершили ли они какую-нибудь неосторожность? Перешло ли чувство, какое они испытывали друг к другу, границы той условной предупредительности, которая является почти одной из наших обязанностей по отношению к женщине? Бовуар никогда не говорил достаточно откровенно об этой темной странице своей истории; несомненно только то, что комендант счел себя вправе применить к своему пленнику меры чрезвычайной строгости. Бовуара посадили в башню, стали кормить черным хлебом, поить одною водой и заковали в цепи, согласно неизменной программе развлечений, щедро предоставляемых узникам. Камера, находившаяся под

---

[1] Эскарп (Escarpe) — крутизна *(франц.)*.

самой крышей, была с каменным сводчатым потолком, толщина ее стен могла привести в отчаяние; башня стояла над пропастью. Когда бедный Бовуар убедился в невозможности бегства, на него нашло оцепенение, являющееся одновременно и бедой и утешением для узников. Он занялся пустяками, которые превращаются в важные дела: он считал часы и дни, учился жить в печальном положении узника, замкнулся в себе и понял цену воздуха и солнца; потом, недели через две, он заболел страшной болезнью, той лихорадкой свободы, что толкает узников на настоящие подвиги, изумительные последствия которых кажутся нам необъяснимыми; мой друг доктор (он повернулся к Бьяншону), наверно, приписал бы их неизвестным силам, составляющим камень преткновения его физиологического анализа,— глубоким тайнам человеческой воли, приводящим в ужас науку. (Бьяншон отрицательно покачал головой.) Бовуар истерзал себе сердце, потому что только смерть могла вернуть ему свободу. Однажды утром тюремщик, которому поручено было приносить узнику пищу, передав Бовуару его скудное пропитание, вместо того чтобы уйти, остановился перед ним, скрестив руки, и как-то странно на него поглядел. Обычно разговор между ними ограничивался двумя-тремя словами, и никогда сторож не начинал его сам. Поэтому шевалье очень удивился, когда этот человек сказал ему: «Вы, сударь, верно, неспроста приказываете звать себя то господином Лебреном, то гражданином Лебреном. Мне до этого дела нет, проверять ваше имя—не моя забота. Зовите себя хоть Пьером, хоть Полем, мне все едино. В чужие дела соваться—покоя лишаться. А я-то все-таки знаю,— сказал он, подмигнув,— что вы господин Шарль-Феликс-Теодор, шевалье де Бовуар и родня герцогине де Майе... Не так ли?» — добавил он после недолгого молчания, с победоносным видом глядя на своего пленника. Бовуар, чувствуя, что посажен в тюрьму прочно и надолго, подумал, что признанием настоящего имени он не может ухудшить свое положение. «Допустим, я шевалье де Бовуар, но что ты на этом выиграешь?» — спросил он. «О, все уже выиграно,— ответил шепотом тюремщик.— Слушайте. Я получил деньги, чтобы облегчить вам побег. Но постойте. Если меня заподозрят хоть в чем-нибудь, то расстреляют в два счета. И я сказал, что уж ко-

ли впутаюсь в это дело, так чтоб наверняка заработать денежки. Вот вам, сударь, ключ,—сказал он, вынимая из кармана маленький напильник,— этой штукой вы распилите свою решетку. Да-а! Не очень-то вам будет удобно»,—продолжал он, указывая на узкое отверстие, через которое дневной свет проникал в темницу. Это было нечто вроде бойницы, проделанной между большими каменными выступами, которые служат подпорою зубцам над карнизом, опоясывающим снаружи башню. «Сударь,— сказал тюремщик,— пилить придется пониже, чтоб вы могли пролезть». «О, будь спокоен, пролезу»,— ответил Бовуар. «Но так, однако же, чтобы осталось, к чему привязать веревку»,—продолжал сторож. «Где она?»—спросил Бовуар. «Держите,— ответил сторож, бросив ему веревку с завязанными на ней узлами.— Ее сделали из белья, чтобы можно было подумать, будто вы смастерили ее сами, и длины ее хватит. Как доберетесь до последнего узла, тихонечко соскользните, а там уж ваше дело. Где-нибудь неподалеку вы, наверное, увидите заложенный экипаж и друзей, которые вас ждут. Но я-то ни о чем и знать не знаю! Что по правую руку от башни стоит часовой—вам нет нужды говорить. А вы уж сумеете выбрать ночку почернее и устеречь минуту, когда караульный солдат уснет. Может быть, вы рискуете угодить под пулю. Ну что ж...» — «Отлично! Отлично! По крайней мере не сгнию здесь заживо!» — вскричал шевалье. «Э, оно все же возможно!»—возразил с простоватым видом тюремщик. Бовуар принял эти слова за одно из тех глупых замечаний, которые свойственны этим людям. Надежда вскоре быть на свободе так его радовала, что он даже не задумался над словами этого человека, с виду совершенного мужлана. Он тотчас принялся за дело и к концу дня подпилил прутья решетки. Опасаясь посещения коменданта, он скрыл следы работы, замазав щели мякишем хлеба, вывалянным в ржавчине, чтобы окрасить его под цвет железа. Веревку он спрятал и стал ждать благоприятной ночи с тем жгучим нетерпением и глубокой душевной тревогой, которые придают такую напряженность жизни узников. Наконец пасмурной осенней ночью он перепилил прутья, крепко привязал веревку и присел снаружи на каменный выступ, уцепившись рукой за конец железного прута, оставшийся в бойнице. В таком положе-

нии он стал ждать самого темного часа ночи, когда часовые заснут.

Это бывало почти перед рассветом. Он знал продолжительность караулов, время дозоров — весь распорядок, привлекающий внимание узников даже помимо их воли. Он устерег момент, когда пройдут две трети дежурства одного из часовых и тот укроется от тумана в свою будку. Уверившись наконец, что все благоприятные условия для побега сошлись, он начал спускаться, узел за узлом, повиснув между небом и землей, с геркулесовской силой держась за веревку. Все шло хорошо. На предпоследнем узле, в тот момент, когда надо было соскользнуть на землю, он решил из предосторожности нащупать ногами твердую почву и — не нашел почвы. Случай был довольно затруднительный для человека, обливавшегося потом, усталого, встревоженного и оказавшегося в таком положении, когда самая жизнь его поставлена на карту. Он уже готов был броситься вниз. Ему помешал ничтожный случай: с него слетела шляпа; к счастью, он прислушался к шуму, который должно было произвести ее падение, и не услышал ничего! Смутные подозрения закрались в душу узника; мелькнул вопрос: не устроил ли ему комендант какую-нибудь ловушку? Но с какою целью? Охваченный сомнениями, он уже подумывал отложить предприятие на другую ночь. А пока решил дождаться первых проблесков рассвета; этот час, возможно, еще будет достаточно благоприятен для побега. Его необыкновенная сила позволила ему вскарабкаться обратно на башню; но он был почти в полном изнеможении, когда снова уселся на наружном выступе, как кошка, насторожившаяся у водосточной трубы. Вскоре, при слабом свете зари, раскачав свою веревку, он разглядел «небольшое расстояние», футов в сто, между последним узлом и острыми верхушками скал, поднимающимися из пропасти. «Спасибо, комендант!» — произнес он с присущим ему хладнокровием. Потом, подумав немного об этой ловкой мести, он счел нужным возвратиться в темницу. Свою рваную одежду он позаметнее разложил на кровати, веревку оставил снаружи, чтобы гибель его казалась очевидной, а сам притаился за дверью и стал ждать прихода предателя-тюремщика, держа в руке один из отпиленных им прутьев решетки. Тюремщик не пре-

минул явиться раньше обыкновенного, чтобы забрать себе наследство умершего; насвистывая, он открыл дверь; но когда вошел в комнату, то Бовуар обрушил ему на череп такой яростный удар железным прутом, что негодяй, не вскрикнув, свалился на пол: прут проломил ему голову. Шевалье быстро раздел покойника, натянул на себя его одежду, подделался под его походку и благодаря раннему часу и слабой бдительности часовых вышел из главных ворот и скрылся.

Ни прокурор, ни г-жа де ла Бодрэ, казалось, даже и не подумали, что в рассказе этом может содержаться пророчество, хотя бы в малейшей степени относящееся к ним. Заговорщики обменялись вопросительными взглядами, удивленные полнейшим равнодушием мнимых любовников.

— Ба! У меня есть рассказец получше,— сказал Бьяншон.

— Посмотрим! — ответили слушатели, увидя знак, который сделал Лусто, как бы говоря, что за Бьяншоном водится слава недурного рассказчика.

Среди историй, имевшихся у него в запасе,— ибо у всех умных людей есть наготове некоторое количество анекдотов, как у г-жи де ла Бодрэ ее коллекция фраз,— знаменитый доктор выбрал ту, которая известна под названием «Большая Бретеш» и так прославилась, что театр «Жимназ» переделал ее в пьесу «Валентина». (См. «Второй силуэт женщины».) Вот почему излишне повторять здесь рассказ об этом приключении, хотя для обитателей замка Анзи он и был настоящей новинкой. Впрочем, доктор проявил то же совершенство жеста и интонаций, которое уже доставило ему столько похвал, когда он впервые рассказывал эту повесть у мадемуазель де Туш. Заключительная картина, когда испанский гранд умирает от голода, стоя в нише, где замуровал его муж г-жи де Мерре, и последние слова этого мужа, отвечающего на последнюю мольбу жены: «Вы поклялись на распятии, что там никого нет!»—произвели свой эффект. Последовало небольшое молчание, довольно лестное для Бьяншона.

— А ведь знаете, господа,— сказала тогда г-жа де ла Бодрэ,— любовь, должно быть, громадное чувство, если ради нее женщина ставит себя в подобное положение.

— Мне довелось видеть немало странного на своем веку,— заметил г-н Гравье,— и однажды в Испании я был чуть ли не свидетелем одного приключения в этом роде.

— Вы выступаете после великих актеров,— сказала ему г-жа де ла Бодрэ, подарив парижан кокетливым взглядом,— но не беда, рассказывайте.

— Вскоре после своего вступления в Мадрид,— начал податной инспектор,— великий герцог Бергский пригласил знатнейших жителей города на празднество, которое французская армия устроила только что завоеванной столице. Несмотря на все великолепие торжества, испанцы не слишком-то веселились, жены их танцевали мало, большая часть приглашенных занялась игрой. Дворцовые сады были так ярко иллюминованы, что дамы могли в них прогуливаться с такой же безопасностью, как среди бела дня. Праздник был по-императорски пышен. Французы ничего не пожалели, чтобы дать испанцам высокое представление об императоре, если бы те вздумали судить о нем по его наместникам. В небольшой рощице неподалеку от дворца, между часом и двумя ночи, несколько французских военных беседовали о случайностях войны и о малоутешительном будущем, какое им сулило поведение испанцев, присутствовавших на этом роскошном празднестве. «Представьте,— сказал старший хирург того армейского корпуса, где я был главным казначеем,— вчера я подал принцу Мюрату формальное прошение о переводе. Не то чтоб я так уж боялся сложить свои кости именно на Пиренейском полуострове, но я предпочитаю перевязывать раны, нанесенные нашими добрыми соседями — немцами; их штыки не так глубоко вонзаются в тело, как кастильский кинжал. И потом, страх перед Испанией стал у меня чем-то вроде суеверия. Еще в детстве я начитался испанских книг, где рассказывалась уйма мрачных приключений и тысяча всяких историй об этой стране, вселивших в меня глубокое предубеждение против ее нравов. Вообразите, что со времени нашего вступления в Мадрид мне уже случилось быть если не героем, то участником опаснейшей интриги, столь же темной, столь же таинственной, как роман леди Радклиф. Я охотно повинуюсь своим предчувствиям и завтра же складываю чемоданы. Мюрат, конечно, не откажется от-

пустить меня, потому что благодаря услугам, которые мы, врачи, оказываем, у нас всегда найдутся надежные покровители».— «Коли ты даешь тягу, расскажи-ка нам, что с тобой произошло»,— обратился к нему один полковник, старый республиканец, который нимало не заботился об изящном слоге и тонкостях обращения, принятых при императорском дворе. Старший хирург внимательно огляделся, как бы желая проверить, все ли ему знакомы среди окружавших его лиц, и, убедившись, что поблизости нет ни одного испанца, сказал: «Мы здесь все французы; охотно расскажу, полковник Юло.

Шесть дней назад, часов около одиннадцати вечера, я не спеша шел домой, только что расставшись с генералом Монкорне, особняк которого находится в нескольких шагах от моего. Оба мы возвращались от казначея штаба армии, где у нас шла довольно оживленная игра в бульот. Вдруг на углу какого-то переулка двое неизвестных, или, вернее, двое дьяволов, бросаются на меня и закутывают с головой и руками в большой плащ. Кричал я, можете мне поверить, что было сил, но сукно заглушало мой голос; меня с величайшей поспешностью перенесли в карету. Когда двое моих спутников высвободили меня из плаща, я услышал следующие прискорбные для себя слова, произнесенные женским голосом на дурном французском языке: «Если вы станете кричать или сделаете попытку к бегству, если позволите себе малейшее подозрительное движение, господин, сидящий против вас, не колеблясь, заколет вас кинжалом. Поэтому сидите смирно. Теперь я вам сообщу причину вашего похищения. Если вы потрудитесь протянуть руку в мою сторону, вы нащупаете лежащие между нами ваши хирургические инструменты, за которыми мы посылали к вам от вашего имени; они вам будут необходимы; мы везем вас в один дом для спасения чести дамы: она должна сейчас родить и желает передать ребенка находящемуся здесь дворянину без ведома своего мужа. Хотя мой господин редко расстается с моей госпожой, в которую страстно влюблен, и следит за ней со всем усердием ревнивого испанца, ей удалось скрыть от него свою беременность, и он думает, что она больна. Итак, вы должны помочь при родах. Опасность предприятия вас не касается: только повинуйтесь нам; иначе любовник, который сидит против вас в

карете и не понимает ни слова по-французски, при малейшей вашей неосторожности заколет вас кинжалом».— «А кто же вы?» — спросил я, стараясь найти руку моей собеседницы, скрытую под рукавом военного мундира. «Я камеристка моей госпожи, ее наперсница, и готова вознаградить вас своею любовью, если вы, как благородный человек, покоритесь обстоятельствам».— «Охотно»,— отвечал я, видя себя насильно вовлеченным в опасное приключение. Под покровом темноты я проверил, соответствуют ли стан и лицо этой девушки тому представлению, какое я составил о ней, плененный ее голосом. Доброе создание, по-видимому, заранее смирилось перед всеми случайностями этого удивительного похищения, ибо хранило самое любезное молчание; не успела карета проехать по Мадриду и десяти минут, как эта девушка получила и возвратила мне вполне удовлетворительный поцелуй. Любовник, сидевший напротив, нимало не оскорбился несколькими пинками ногой, которыми я наградил его совершенно невольно; но так как он не понимал по-французски, я полагаю, что он не обратил на это внимания. «Я могу быть вашей любовницей только при одном условии»,— сказала мне камеристка в ответ на все глупости, что я нашептывал ей, охваченный жаром неожиданной страсти, которой все решительно служило препятствием. «При каком?» — «Вы никогда не станете допытываться, у кого я служу. Если я приду к вам, то только ночью, и вы примете меня, не зажигая огня».— «Хорошо»,— ответил я. На этом мы и остановились, когда карета подъехала к стене какого-то сада. «Дайте я завяжу вам глаза,— сказала мне горничная.— Обопритесь на мою руку, и я сама поведу вас». Она закрыла мне глаза платком, туго завязав его на затылке. Я услышал, как повернулся ключ, осторожно вложенный в замочную скважину маленькой калитки молчаливым любовником, сидевшим в карете против меня. Горничная, у которой оказалась стройная талия, а в походке чувствовалось так называемое тепео...»

— Это,— несколько снисходительным тоном пояснил Гравье,—такое особенное испанское словечко, обозначающее колыхание, которое женщины умеют сообщить известной части своего платья, вы догадываетесь, какой...

«Вскоре горничная (я продолжаю рассказ старшего хирурга) уже вела меня по посыпанным песком аллеям

большого сада к какому-то месту, где она остановилась. По отзвуку наших шагов я заключил, что мы находимся перед домом. «Теперь молчите,— сказала она мне на ухо,— и будьте все время настороже! Следите за всяким моим знаком, мне больше нельзя будет говорить с вами без риска для нас обоих, а сейчас дело идет о вашей жизни». Потом она добавила, но уже громче: «Госпожа моя—в одной из комнат нижнего этажа; чтобы туда добраться, нам придется пройти через комнату ее мужа, мимо его кровати; не кашляйте, идите тихонько и прямо следом за мной, чтобы не наткнуться на какое-нибудь кресло или не ступить мимо ковра, который я разложила». Тут любовник глухо заворчал, словно был раздосадован столькими задержками. Камеристка умолкла; я услышал, как открывается какая-то дверь, почувствовал теплый воздух жилого помещения, и мы двинулись крадучись, как воры, отправляющиеся на свой промысел. Наконец нежная рука девушки сняла с меня повязку. Я очутился в большой комнате с высоким потолком, слабо освещенной коптящей лампой. Окно было раскрыто, но ревнивый муж снабдил его толстой железной решеткой. Мне казалось, что меня кинули на дно мешка. На полу, на циновке, лежала женщина с наброшенным на голову муслиновым вуалем, сквозь который, однако, как звезды, сияли полные слез глаза; крепко прижимая ко рту платок, она с такой силой впивалась в него зубами, что прокусывала его насквозь; никогда не видел я такого прекрасного тела, но тело это корчилось от боли, словно струна арфы, брошенная в огонь. Несчастная, согнув ноги, как арки, упиралась ими в нечто вроде комода и обеими руками, на которых страшно вздулись вены, судорожно хваталась за перекладины стула. Она походила на терзаемого пыткой преступника. Но ни крика, никакого звука, кроме глухого треска костей. Мы стояли все трое, безгласные и неподвижные. Храп мужа доносился с успокоительной равномерностью. Мне захотелось рассмотреть камеристку, но она снова надела маску, которую, вероятно, снимала во время пути, и я мог увидеть только пару черных глаз и приятно очерченные формы. Любовник тотчас набросил полотенца на ноги своей возлюбленной и вдвое сложил вуаль на ее лице. Внимательно осмотрев женщину, я заключил по некоторым признакам, замечен-

ным мною некогда, при одном весьма печальном случае в моей практике, что ребенок мертв. Я наклонился к девушке, чтобы сообщить ей об этом обстоятельстве. Подозрительный незнакомец выхватил кинжал; но я успел все сказать горничной, которая приглушенным голосом крикнула ему два слова. Когда любовник услыхал мой приговор, легкая дрожь пробежала по нем с головы до ног, как молния; мне показалось, что лицо его побледнело под черной бархатной маской. Камеристка улучила момент, когда этот человек в отчаянии глядел на умирающую, уже покрывавшуюся синевой, и показала мне на столе стаканы с приготовленным лимонадом, сделав при этом отрицательный знак. Я понял, что мне нужно воздержаться от питья, несмотря на ужасную жару, от которой у меня пересохло в горле. Любовнику захотелось пить; он взял пустой стакан, налил в него лимонаду и выпил. В эту минуту у дамы началась жестокая судорога, возвестившая мне благоприятный момент для операции. Я вооружился мужеством, и после часа работы мне удалось извлечь ребенка по частям. Испанец уже отбросил свое намерение отравить меня, поняв, что я спасаю его возлюбленную. Из глаз его время от времени падали на плащ крупные слезы. Женщина ни разу не вскрикнула, но вся трепетала, как пойманный дикий зверь, и пот выступал на ней крупными каплями. В опаснейшую для ее жизни минуту она жестом указала на комнату мужа,— муж только что повернулся в постели,— но из нас четверых она одна услышала шуршание простынь, скрип кровати или шорох полога. Мы замерли, и, сквозь отверстия своих масок, камеристка и любовник обменялись огненным взглядом, как бы говоря: «Убить его, если он проснется?» Тут я протянул руку к стакану с лимонадом, от которого отпил любовник. Испанцу показалось, что я собираюсь взять один из полных стаканов; он прыгнул, как кошка, накрыл своим длинным кинжалом оба стакана с отравленным лимонадом и оставил мне свой, сделав мне знак, чтобы я допил остаток. Столько мысли, столько чувства выразилось в этом знаке и в этом стремительном движении, что я простил ему ужасный замысел, убив меня, похоронить тем самым всякую память об этом событии. После двух часов забот и тревоги мы с камеристкой уложили его возлюбленную в постель.

Этот человек, бросившись в столь опасное предприятие и предвидя возможность бегства, захватил с собой бриллианты; он положил их мне, без моего ведома, в карман. Замечу мимоходом, что я ничего не знал о роскошном подарке испанца; мой слуга через день украл у меня это сокровище и убежал, овладев целым состоянием. Я сказал на ухо камеристке, какие предосторожности следовало принять, и собрался уходить. Камеристка осталась подле своей госпожи — обстоятельство, не слишком меня успокоившее; но я решил быть начеку. Любовник сложил в узел мертвого ребенка и окровавленные простыни, крепко завязал, спрятал его под плащом, провел мне рукой по глазам, как бы говоря, чтобы я закрыл их, и вышел первый, предложив мне знаком держаться за полу его одежды. Я повиновался, но напоследок бросил прощальный взгляд на мою случайную возлюбленную. Как только испанец оказался за дверью, камеристка сорвала маску и показала мне прелестнейшее в мире личико. Очутившись в саду, на вольном воздухе, признаюсь, я вздохнул так, как если бы с груди у меня сняли огромную тяжесть. Я шел на почтительном расстоянии от моего проводника, следя за малейшим его движением с самым пристальным вниманием. Подойдя к калитке, он, взяв меня за руку, приложил к моим губам печатку, вделанную в перстень. который я видел на его левой руке, и я дал ему понять, что оценил этот красноречивый знак. Мы вышли на улицу, где нас ждали две лошади; каждый сел в седло; испанец схватил уздечку моего коня левой рукой, поводья своего коня взял в зубы, так как в правой руке у него был кровавый сверток, и мы поскакали с быстротой молнии. Я не мог различить ничего, ни малейшей приметы, чтобы узнать потом дорогу, по которой мы мчались. Когда забрезжил рассвет, я оказался у своих дверей, а испанец пустился галопом по направлению Аточских ворот» .

— И вы ровно ничего не запомнили, что помогло бы вам догадаться, кто была эта женщина? — спросил полковник хирурга.

— Одно только,— ответил он.— Когда я укладывал незнакомку, я увидал на ее руке, приблизительно посередине, маленькое родимое пятнышко, размером с чечевицу, окруженное темными волосками.

Внезапно нескромный хирург побледнел; все глаза устремились в направлении его взгляда, и мы увидели испанца, глаза которого сверкали из чащи апельсиновых деревьев. Заметив, что он является предметом нашего внимания, человек этот исчез с легкостью сильфа. Капитан Фалькон живо бросился за ним в погоню.

— Моя карта бита, друзья мои! — воскликнул хирург.— Этот взгляд василиска заледенил мне кровь. В ушах моих звенят погребальные колокола! Примите мое последнее прости, вы похороните меня здесь!

— Ну и дурак! — сказал полковник Юло.— Фалькон выследит испанца, который нас подслушивал, он сумеет с ним справиться.

— Ну что? — воскликнули офицеры, увидав капитана, который возвращался, весь запыхавшись.

— Черта с два! — ответил Фалькон.— Он как сквозь землю провалился. Но не волшебник же он! Нет сомнения, что он свой в этом доме, знает все входы и выходы и, конечно, без труда от меня ускользнул.

— Я погиб,— мрачно сказал хирург.

— Ну, ну, успокойся, Бэга (его звали Бэга),— ответил я ему,— мы по очереди будем дежурить у тебя до твоего отъезда. Сегодня мы проводим тебя домой.

Действительно, трое молодых офицеров, проигравшихся в карты, проводили хирурга до его дома, и один из нас вызвался у него остаться. Через день Бэга получил перевод во Францию, он делал последние приготовления, чтобы выехать с дамой, которой Мюрат давал сильный конвой; он кончал обедать в обществе своих друзей, когда слуга его вошел с докладом, что с ним желает поговорить молодая дама. Хирург и трое офицеров тотчас же сошли вниз, опасаясь какой-нибудь западни. Незнакомка только успела сказать своему любовнику: «Берегитесь!» — и упала замертво. Эта женщина была камеристка; понимая, что ее отравили, она надеялась, поспев вовремя, спасти хирурга.

— Черт возьми! — воскликнул капитан Фалькон.— Вот это называется любить! Испанка — единственная в мире женщина, способная разгуливать с каким-то дьявольским ядом во внутренностях.

Бэга овладела странная задумчивость. Чтобы заглушить терзавшие его мрачные предчувствия, он снова сел

за стол и принялся неумеренно пить, как и его товарищи. Полупьяные, все рано легли спать. Среди ночи несчастный Бэга был разбужен пронзительным звуком, который произвели скользнувшие по железному пруту кольца резко отдернутого полога. Он разом сел на кровати, дрожа той непроизвольной дрожью, которая охватывает нас при подобном пробуждении. И тут он увидел перед собой закутанного в плащ испанца, устремившего на него тот же горящий взор, что сверкнул из кустов во время праздника. Бэга закричал: «На помощь! Ко мне, друзья!» На этот вопль отчаяния испанец ответил язвительным смехом. «Опиум действует на всех»,— отвечал он. Произнеся это своеобразное изречение, незнакомец указал на троих друзей хирурга, спавших глубоким сном, вынул из-под плаща только что отрезанную женскую руку, быстро поднес ее Бэга, чтобы ему был виден знак, подобный тому, который он так неосторожно описал.

«Это точно тот?» — спросил испанец. При свете фонаря, поставленного на кровать, Бэга узнал руку: он оцепенел от ужаса — это был его ответ. Не требуя дальнейших объяснений, муж незнакомки вонзил ему кинжал в сердце.

— Это история для простаков,— сказал журналист,— тут требуется несокрушимое доверие к рассказчику. Объясните-ка мне, пожалуйста, кто из них — испанец или мертвец — разболтал вам все это?

— Сударь,— ответил податной инспектор,— я ухаживал за этим несчастным Бэга, который умер пять дней спустя в ужасных мучениях. Но это не все. Во время военной экспедиции, снаряженной, чтобы вернуть трон Фердинанду Седьмому, я был назначен на один пост в Испании, но, к величайшему моему счастью, доехал только до Тура, ибо у меня появилась надежда на место податного инспектора в Сансере. Накануне отъезда я был на балу у госпожи Листомэр, куда было приглашено несколько знатных испанцев. Вставая из-за карточного стола,— мы играли в экартэ,— я заметил испанского гранда, afrancesado[1] в изгнании, недели две назад появив-

[1] Офранцуженный *(исп.)*. Так назывались испанцы, сотрудничавшие с французами во время захвата Испании наполеоновскими войсками. Впоследствии, при Фердинанде VII, они были изгнаны из Испании.

шегося в Турени. Он очень поздно приехал на этот бал, где в первый раз показывался в свете, и прогуливался по гостиным в сопровождении жены, правая рука которой была совершенно неподвижна. Мы молча расступились, чтобы дать дорогу этой паре, которую нельзя было видеть без волнения. Представляете вы себе ожившую картину Мурильо? Огненные глаза мужчины в темных глубоких впадинах оставались неподвижны; у него было совершенно иссохшее лицо; голый череп отливал бронзой, тело было страшно на вид — так он был худ. А женщина! Представляете ее себе?.. Нет, вообразить ее нельзя. У нее было то изумительное сложение, которое создало в испанском языке слово meneo; она была бледна, но все еще прекрасна; цвет ее лица — беспримерная редкость для испанки — сверкал белизной, но взор, горевший солнцем Испании, падал на вас, как струя расплавленного свинца. «Сударыня,— спросил я у маркизы в конце вечера,— при каких обстоятельствах потеряли вы руку?» — «Во время войны за независимость»,— отвечала она мне.

— Испания — удивительная страна,— сказала г-жа де ла Бодрэ.— В ней сохраняется что-то от арабских нравов.

— О! — смеясь, воскликнул журналист.— Отрезать руки — старинная мания испанцев, она воскресает время от времени, как некоторые наши газетные «утки»: ведь пьесы на этот сюжет писались для испанского театра еще в 1570 году...

— Значит, вы считаете меня способным сочинить сказку? — сказал г-н Гравье, обиженный дерзким тоном Лусто.

— На это вы неспособны,— ответил журналист.

— Ба! — заметил Бьяншон.— Измышления романистов и драматургов так же часто переходят из их книг и пьес в реальную жизнь, как события реальной жизни поднимаются на театральные подмостки и без стеснения проникают в книги. Однажды я сам был свидетелем, как разыгралась в жизни комедия «Тартюф», за исключением развязки: Оргону так и не удалось открыть глаза.

— Как вы думаете, могут еще во Франции случаться истории вроде той, что рассказал нам сейчас господин Гравье? — спросила г-жа де ла Бодрэ.

— О господи! — воскликнул прокурор.— Да во Франции на каждые десять или двенадцать из ряда вон выходящих преступлений ежегодно придется пять или шесть, обстоятельства которых по меньшей мере так же необычайны, как и в ваших историях, а очень часто и превосходят их в романтизме. И разве не подтверждается эта истина изданием «Судебной газеты», что, на мой взгляд, является одним из крупнейших злоупотреблений печати. Эта газета стала выходить только в 1826 или 1827 году и, следовательно, при начале моей карьеры по министерству юстиции не существовала; поэтому подробности преступления, о котором я хочу вам рассказать, не были известны за пределами департамента, где оно было совершено. В турском предместье Сен-Пьер-де-Кор одна женщина, муж которой исчез после роспуска Луарской армии в 1816 году и, разумеется, был должным образом оплакан, обратила на себя внимание редкой набожностью. Когда миссионеры обходили провинциальные города, чтобы вновь водрузить там сброшенные кресты и стереть следы революционного безбожия, эта вдова была одной из самых пламенных их последовательниц; она сама несла в процессии крест, прибила к нему свой дар— серебряное сердце, пронзенное стрелой, и еще долго после отъезда миссионеров всякий вечер ходила молиться у подножия креста, поставленного в соборе позади алтаря. Наконец, замученная угрызениями совести, она призналась на исповеди в ужасном преступлении. Она зарезала своего мужа, как зарезали Фюальдеса, потом, выпустив из него кровь и сложив куски в две старые бочки, засолила его, точно это был свиной окорок. В продолжение очень долгого времени она каждое утро отрезала от него по кусочку и ходила бросать их в Луару. Духовник посоветовался со старшим по сану и объявил своей исповеднице, что должен уведомить прокурора. Женщина стала ждать обыска. Прокурор и судебный следователь, спустившись в погреб, нашли там еще в рассоле, в одной из бочек, голову мужа. «Но, несчастная,— сказал обвиняемой следователь,— раз у тебя хватило зверства выбросить таким способом в реку тело твоего мужа, почему же не уничтожила ты и голову? Тогда не осталось бы никаких доказательств...» — «А я и пробовала, су-

дарь, не раз,— ответила она,— да уж очень она мне казалась тяжелой».

— О! Что же сделали с этой женщиной?.. — воскликнули оба парижанина.

— Она была осуждена и казнена в Туре,— ответил прокурор,— но все-таки ее раскаяние и религиозность вызвали к ней сочувствие, несмотря на всю чудовищность преступления.

— Э, да разве узнаешь обо всех семейных трагедиях, разыгрывающихся за плотным занавесом, который публика никогда не приподнимает? — сказал Бьяншон.— Я считаю человеческий суд неправомочным разбирать преступления, совершаемые мужем и женой друг против друга; как полицейский орган, он имеет на это полное право, но ничего в этом не смыслит при всех своих притязаниях на справедливость.

— Зачастую жертва так долго бывает палачом,— простодушно отозвалась г-жа де ла Бодрэ,— что в иных случаях, если б обвиняемые осмелились сказать все, преступление оказалось бы простительным.

Этот ответ, на который ее подстрекнул Бьяншон, и история, рассказанная прокурором, сильно озадачили парижан, не понимавших положения Дины. Поэтому, как только пришло время разойтись на покой, у них состоялось одно из тех маленьких совещаний, которые устраиваются в коридорах старинных замков, где все холостяки с подсвечниками в руке сходятся для таинственной беседы. Тут-то г-н Гравье и узнал, что целью этого забавного вечера было выяснить, насколько добродетельна г-жа де ла Бодрэ.

— Дело в том,— сказал Лусто,— что невозмутимость баронессы одинаково убедительно может указывать и на глубокую развращенность и на самую детскую чистоту. А у прокурора-то, по-моему, был такой вид, будто он предлагает стереть в порошок малютку ла Бодрэ...

— Он вернется только завтра. Как знать, что произойдет сегодня ночью? — сказал Гатьен.

— Это мы узнаем! — воскликнул г-н Гравье.

Жизнь в замке открывает богатые возможности для злых шуток, причем многие из них таят в себе страшное коварство. Г-н Гравье, видевший на своем веку столько всякой всячины, предложил наложить печати на двери

г-жи де ла Бодрэ и прокурора. Журавли, обличители убийц поэта Ивика,— ничто по сравнению с волоском, концы которого соглядатаи с помощью двух сплющенных шариков воска прикрепляют по обе стороны дверной щели так высоко или же, наоборот, так низко, что никто и не догадается об этой ловушке. Пусть только выйдет из своих дверей влюбленный и откроет другую дверь, внушающую подозрение,— прорванные и тут и там волоски скажут все. Убедившись, что все обитатели замка уснули, доктор, журналист, податной инспектор и Гатьен босиком, как настоящие злоумышленники, явились совершить тайный приговор над двумя дверями и дали друг другу слово снова сойтись в пять часов утра, чтобы проверить, целы ли печати. Вообразите их удивление, а также радость Гатьена, когда все четверо, каждый с подсвечником в руке, полуодетые, явившись обследовать волоски, нашли их в состоянии полнейшей сохранности как на двери прокурора, так и на двери г-жи де ла Бодрэ.

— Воск тот же? — спросил г-н Гравье.

— И те же волоски? — осведомился Лусто.

— Да,— сказал Гатьен.

— Это все меняет! — воскликнул Лусто.— Вы на совесть обшарили кусты, да еще для чужой охоты.

Податной инспектор и сын председателя суда обменялись вопросительным взглядом, который говорил: «Нет ли в этих словах чего-нибудь обидного для нас? Смеяться нам или сердиться?»

— Если Дина добродетельна,— шепнул журналист на ухо Бьяншону,— она вполне заслуживает, чтобы я сорвал цветок ее первой любви.

Теперь Лусто улыбалась мысль в несколько мгновений овладеть крепостью, девять лет сопротивлявшейся сансерцам. Он первым сошел в сад, надеясь встретить там владелицу замка. Случай этот представился тем легче, что г-жа де ла Бодрэ также имела желание побеседовать со своим критически настроенным гостем Добрая половина нечаянных случаев бывает подстроена.

— Вчера, сударь, вы охотились,— сказала г-жа де ла Бодрэ.— Сегодня я и не придумаю, какое бы новое развлечение вам предложить: разве только вы согласитесь съездить в Ла-Бодрэ,— там несколько лучше можно наблюдать провинцию, чем здесь: ведь того, что есть во

мне смешного, вам хватит только на зубок, но, как говорится, чем богаты, тем и рады — я ведь только бедная провинциалка.

— Этот дурачок Гатьен,— ответил Лусто,— несомненно передал вам одну фразу, сказанную мною с целью заставить его признаться в страстной любви к вам. Ваше молчание третьего дня за обедом и в течение всего вечера достаточно ясно обнаружило его нескромность, какую никто себе не позволит в Париже. Но что поделаешь! Я не льщу себя надеждой быть понятым. Это была моя выдумка — рассказывать вчера все эти истории, и единственно для того, чтобы увидеть, не вызовут ли они у вас и у господина де Кланьи каких-либо укоров совести... О, успокойтесь, мы уверились в вашей невинности! Если бы вы обнаружили хотя малейшую склонность к этому добродетельному чиновнику, вы потеряли бы в моих глазах всю свою прелесть... Мне во всем нравится цельность. Вы не любите, вы не можете любить мужа, этого холодного, мелкого, черствого, ненасытного ростовщика, который наживается на бочках с вином и землях и держит вас здесь ради двадцати пяти сантимов прибыли с уже скошенного луга! О, я сразу же уловил сходство господина де ла Бодрэ с нашими парижскими биржевиками: это одного поля ягода. Но вам двадцать восемь лет, вы красавица, умница, у вас нет детей... право, сударыня, я в жизни не встречал лучшего примера необъяснимой добродетели... Автор «Севильянки Пакиты», должно быть, не раз предавался мечтам!.. Обо всем этом я могу говорить с вами без лицемерия, какое непременно вложил бы в подобные слова молодой человек,— я состарился раньше времени. У меня уже нет иллюзий, да и можно ли их сохранить при моем ремесле?

Этим вступлением Лусто зачеркивал всю карту Страны Нежности, где истинные страсти идут таким длинным обходным путем: он шел прямо к цели и как бы разрешал г-же де ла Бодрэ принести ему в дар свою благосклонность, которой женщины заставляют добиваться годами,— свидетелем тому бедный прокурор: для него наивысшая милость состояла в позволении во время прогулки немного крепче прижать руку Дины к своему сердцу — о счастье! И г-жа де ла Бодрэ, чтобы не уронить своей славы выдающейся женщины, попробовала уте-

шить этого газетного Манфреда, предсказав ему такую любовь в будущем, о какой он и не мечтал.

— Вы искали наслаждения, но еще не любили,— сказала она.— Верьте мне, очень часто истинная любовь приходит как бы наперекор всей жизни. Вспомните господина Генца, влюбившегося на старости лет в Фанни Эльслер и пренебрегшего Июльской революцией ради репетиций этой танцовщицы!..

— Вряд ли это для меня осуществимо,— ответил Лусто.— Я верю в любовь, но в женщин уже не верю... Видимо, во мне есть недостатки, которые мешают меня любить, потому что меня часто бросали. А может быть, я слишком глубоко чувствую идеал... как все, кто насмотрелся житейской пошлости...

Наконец-то г-жа де ла Бодрэ слышала человека, который, попав в среду самых блестящих умов Парижа, вынес оттуда смелые аксиомы, почти наивную развращенность, передовые убеждения и если и не был человеком возвышенным, то прекрасно эту возвышенность разыгрывал. Этьен имел у Дины успех театральной премьеры. Сансерская Пакита упивалась бурями Парижа, воздухом Парижа. В обществе Этьена и Бьяншона она провела один из приятнейших дней своей жизни; парижане рассказали ей пропасть любопытных анекдотов о модных знаменитостях, острот, которые войдут когда-нибудь в собрание черт нашего века, словечек и фактов, затасканных в Париже, но совершенно новых для нее. Само собой разумеется, Лусто отозвался очень дурно о великой женщине — беррийской знаменитости, но с явным намерением польстить г-же де ла Бодрэ и навести ее на литературные признания, изобразив эту писательницу ее соперницей. Такая похвала опьянила г-жу де ла Бодрэ, и г-ну де Кланьи, податному инспектору и Гатьену показалось, что она стала с Этьеном ласковее, чем была накануне. Теперь поклонники Дины очень пожалели, что все они уехали в Сансер, где раструбили о вечере в Анзи. Послушать их, так ничего более остроумного никогда и не говорилось; часы летели так незаметно, что не слышно было их легкой поступи. Обоих парижан они расписали, как два чуда.

Этот трезвон похвал разнесся по всему гулянью и привел к тому, что вечером в замок Анзи прикатило шестна-

дцать человек: одни в семейных кабриолетах, другие в шарабанах, холостяки на наемных лошадях. Часов около семи все эти провинциалы более или менее развязно вошли в огромную гостиную Анзи, которую Дина, предупрежденная об этом нашествии, ярко осветила и, сняв с прекрасной мебели серые чехлы, показала во всем блеске, ибо этот вечер она считала своим праздником. Лусто, Бьяншон и Дина лукаво переглядывались, посматривая на позы и слушая речи гостей, которых заманило сюда любопытство. Сколько поблекших лент, наследственных кружев, искусственных, но не искусно сделанных цветов отважно торчало на позапрошлогодних чепцах! Жена председателя суда Буаруж, родня Бьяншону, обменялась с доктором несколькими словами и получила у него бесплатный врачебный совет, пожаловавшись на якобы нервные боли в желудке, которые Бьяншон признал периодическим несварением желудка.

— Пейте попросту чай ежедневно, через час после обеда, как это делают англичане, и вы поправитесь, ибо то, чем вы страдаете,— болезнь английская,— серьезно ответил Бьяншон на ее жалобы.

— Это решительно великий врач,— сказала жена председателя, снова усаживаясь подле г-жи де Кланьи, г-жи Попино-Шандье и г-жи Горжю, супруги мэра.

Прикрывшись веером, г-жа де Кланьи заметила:

— Говорят, Дина вызвала его вовсе не ради выборов, а для того, чтобы узнать причину своего бесплодия...

В первую же благоприятную минуту Лусто представил ученого доктора как единственно возможного кандидата на будущих выборах. Но Бьяншон, к великому удовольствию нового супрефекта, высказался в том смысле, что считает почти невозможным оставить науку ради политики.

— Только врачи без клиентуры,— сказал он,— могут дать согласие баллотироваться. Поэтому выбирайте людей государственных, мыслителей, лиц, чьи знания универсальны, притом умеющих подняться на ту высоту, на которой должен стоять законодатель: вот чего не хватает нашим палатам депутатов и что нужно нашей стране!

Две-три девицы, несколько молодых людей и дамы так разглядывали Лусто, будто он был фокусник.

— Господин Гатьен Буаруж утверждает, что госпо-

дин Лусто зарабатывает своими писаниями двадцать тысяч франков в год,— сказала жена мэра г-же де Кланьи.— Вы этому верите?

— Неужто? А прокурор получает всего тысячу!..

— Господин Гатьен! — обратилась к нему г-жа Шандье.— Попросите же господина Лусто говорить погромче, я его еще не слышала...

— Какие красивые у него ботинки,— сказала мадемуазель Шандье брату,— и как блестят!

— Подумаешь! Просто лакированные.

— Почему у тебя нет таких?

Лусто наконец почувствовал, что слишком уж рисуется; он заметил в поведении сансерцев признаки того нетерпеливого любопытства, которое привело их сюда. «Чем бы их ошарашить?» — подумал он.

В эту минуту так называемый камердинер г-на де ла Бодрэ, одетый в ливрею работник с фермы, принес письма, газеты и подал пакет корректур, который Лусто тут же отдал Бьяншону, так как г-жа де ла Бодрэ, увидав пакет, форма и упаковка которого имели типографский вид, воскликнула:

— Как! Литература преследует вас даже здесь?

— Не литература,— ответил он,— а журнал, который должен выйти через десять дней,— я заканчиваю для него рассказ. Я уехал сюда под дамокловым мечом короткой строчки: «Окончание в следующем номере» — и должен был дать типографщику свой адрес. Ах, дорого обходится хлеб, который продают нам спекулянты печатной бумагой! Я вам опишу потом любопытную породу издателей газет.

— Когда же начнется разговор? — обратилась наконец к Дине г-жа де Кланьи, точно спрашивая: «В котором часу зажгут фейерверк?»

— А я думала,— сказала г-жа Попино-Шандье своей кузине, г-же Буаруж,— что будут рассказывать истории.

В этот момент, когда среди сансерцев, как в нетерпеливом партере, уже начинался ропот, Лусто увидел, что Бьяншон размечтался над оберткой его корректур.

— Что с тобой? — спросил Этьен.

— Представь себе, на листах, в которые обернуты

твои корректуры,— прелестнейший в мире роман. На, читай: «Олимпия, или Римская месть».

— Посмотрим,— сказал Лусто и, взяв обрывок оттиска, который протянул ему доктор, прочел вслух следующее:

пещеру. Ринальдо, возмущенный трусостью своих товарищей, которые были храбрецами только в открытом поле, а войти в Рим не отваживались, бросил на них презрительный взгляд.

— Так я один? — сказал он им.

Казалось, он погрузился в раздумье, затем продолжал:

— Вы негодяи! Пойду один и один захвачу эту богатую добычу!.. Решено!.. Прощайте.

— Атаман!..— сказал Ламберти.— А что, если вас ждет неудача и вы попадетесь?..

— Меня хранит бог! — отвечал Ринальдо, указывая на небо.

С этими словами он вышел и встретил на дороге управителя Браччиано

— Страница кончена,— сказал Лусто, которого все слушали с благоговением.

— Он читает нам свое произведение,— шепнул Гатьен сыну г-жи Попино-Шандье.

— С первых же слов ясно, милостивые государыни,— продолжал журналист, пользуясь случаем подурачить сансерцев,— что разбойники находятся в пещере. Какую небрежность проявляли тогда романисты к деталям, которые теперь так пристально и так долго изучаются якобы для передачи местного колорита! Ведь если воры в пещере, то вместо: «указывая на небо», следовало сказать: «указывая на свод». Однако, несмотря на эту погрешность, Ринальдо кажется мне человеком решительным, и его обращение к богу пахнет Италией. В этом романе есть намек на местный колорит... Черт возьми! Разбойники, пещера, этот предусмотрительный Ламберти... Тут целый водевиль на одной странице! Прибавьте к этим основным элементам любовную интрижку, молоденькую крестьяночку с затейливой прической, в короткой юбочке и сотню мерзких куплетов... и — боже мой! — публика валом повалит! Потом Ринальдо... Как это имя подходит Лафону! Если б ему черные баки, обтянутые панта-

лоны, да плащ, да усы, пистолет и островерхую шляпу; да если б директор «Водевиля» рискнул оплатить несколько газетных статей — вот вам верных пятьдесят представлений для театра и шесть тысяч франков авторских, если я соглашусь похвалить эту пьесу в своем фельетоне. Но продолжим:

ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ. 197

Герцогиня Браччиано нашла наконец свою перчатку. Адольф, который привел ее обратно в апельсиновую рощу, мог предположить, что в этой забывчивости таилось кокетство, ибо роща тогда была пустынна. Издали слабо доносился шум праздника. Объявленное представление fantoccini [1] всех привлекло в галерею. Никогда еще Олимпия не казалась своему любовнику такой прекрасной. Их взоры, загоревшиеся одним огнем, встретились. Наступил момент молчания, упоительного для их душ и невыразимого словами. Они сели на ту же скамью, где сидели в обществе кавалера Палуцци и насмешников

— Вот тебе на! Я не вижу больше нашего Ринальдо!— воскликнул Лусто.— Однако благодаря этой странице искушенный в литературе человек мигом разберется в положении дел. Герцогиня Олимпия — женщина, *которая умышленно забывает свои перчатки в пустынной роще!*

— Если только не быть существом промежуточным между устрицей и помощником письмоводителя,— а это два представителя животного царства, наиболее близкие к окаменелостям,— заметил Бьяншон,— то невозможно не признать в Олимпии...

— Тридцатилетнюю женщину! — подхватила г-жа де ла Бодрэ, опасавшаяся чересчур грубого определения.

— Значит, Адольфу двадцать два,— продолжал доктор,— потому что итальянка в тридцать лет все равно, что парижанка в сорок.

— Исходя из этих двух предположений, можно восстановить весь роман,— сказал Лусто.— И этот кавалер Палуцци! А? Каков мужчина!.. Стиль этих двух страниц слабоват, автор, должно быть, служил в отделе косвенных налогов и сочинил роман, чтобы заплатить своему портному...

— В те времена,— сказал Бьяншон,— существовала цензура, и человек, который попадал под ножницы ты-

[1] Кукольное представление *(итал.)*.

сяча восемьсот пятого года, заслуживает такого же снисхождения, как те, кто в тысяча семьсот девяносто третьем шли на эшафот.

— Вы что-нибудь понимаете? — робко спросила г-жа Горжю, супруга мэра, у г-жи де Кланьи.

Жена прокурора, которая, по словам г-на Гравье, могла обратить в бегство молодого казака в 1814 году, подтянулась, как кавалерист в стременах, и скроила своей соседке гримасу, обозначавшую: «На нас смотрят! Давайте улыбаться, словно мы все понимаем».

— Очаровательно! — сказала супруга мэра Гатьену.— Пожалуйста, господин Лусто, продолжайте.

Лусто взглянул на обеих женщин, похожих на две индийские пагоды, и насилу удержался от смеха. Он счел уместным воскликнуть: «Внимание!» и продолжал:

в тишине зашуршало платье. Вдруг взорам герцогини предстал кардинал Борборигано. Лицо его было мрачно; надо лбом его, казалось, нависли тучи, а в его морщинах рисовалась горькая усмешка.

— Сударыня,— сказал он,— вас подозревают. Если вы виновны — спасайтесь! Если вы невинны — тем более спасайтесь, ибо, добродетельны вы или преступны, издалека вам гораздо легче будет защищаться...

— Благодарю вас, ваше высокопреосвященство, за вашу заботливость,— сказала она,— герцог Браччиано появится вновь, когда я найду нужным доказать, что он существует.

— Кардинал Борборигано! — вскричал Бьяншон.— Клянусь ключами папы! Если вы не согласны со мной, что одно его имя — уже перл создания; если вы не чувствуете в словах «в тишине зашуршало платье» всей поэзии образа Скедони, созданного госпожой Радклиф в «Исповедальне чернецов», вы недостойны читать романы...

— По-моему,— сказала Дина, которой стало жаль восемнадцати сансерцев, уставившихся на Лусто,—действие развивается. Мне ясно все: я в Риме, я вижу труп убитого мужа, я вижу его дерзкую и развратную жену, которая устроила свое ложе в кратере вулкана. Всякую ночь, при каждом объятии она говорит себе: «Все откроется!..»

— Видите вы ее,— вскричал Лусто,— как обнимает

она этого господина Адольфа, как прижимает к себе, как хочет всю свою жизнь вложить в поцелуй?.. Адольф представляется мне великолепно сложенным молодым человеком, но не умным,— из тех молодых людей, какие и нужны итальянкам. Ринальдо парит над интригой нам неизвестной, но которая, должно быть, так же сложна, как в какой-нибудь мелодраме Пиксерекура. Впрочем, мы можем вообразить, что Ринальдо проходит где-то в глубине сцены, как персонаж из драм Виктора Гюго.

— А может быть, он-то и есть муж! — воскликнула г-жа де ла Бодрэ.

— Понимаете вы во всем этом хоть что-нибудь? — спросила г-жа Пьедефер у жены председателя суда.

— Это прелесть! — сказала г-жа де ла Бодрэ матери.

У всех сансерцев глаза стали круглые, как пятифранковая монета.

— Читайте же, прошу вас,— сказала г-жа де ла Бодрэ.

Лусто продолжал:

— Ваш ключ!..
— Вы потеряли его?
— Он в роще...
— Бежим...
— Не захватил ли его кардинал?..
— Нет... Вот он...
— Какой опасности мы избегли!

Олимпия взглянула на ключ, ей показалось, что это ее собственный ключ; но Ринальдо его подменил; хитрость его удалась,— теперь он владел настоящим ключом. Современный Картуш, он столь же был ловок, сколь храбр, и, подозревая, что только громадные сокровища могут заставить герцогиню всегда носить на поясе

— Ну-ка поищем!..— вскричал Лусто.— Следующей нечетной страницы здесь нет.— Рассеять наше недоумение может только страница двести двенадцатая.

— Что, если б ключ потерялся!
— Он бы умер...
— Умер! Вы должны были бы снизойти к последней просьбе, с которой он обратился к вам, и дать ему свободу при условии, что...

— Вы его не знаете...
— Однако...
— Молчи. Я взяла тебя в любовники, а не в духовники.
Адольф умолк.

— Дальше изображен амур на скачущей козочке — виньетка, рисованная Норманом, гравированная Дюпла... О! Вот и имена,— сказал Лусто.

— А что же дальше? — спросили те слушатели, которые понимали.

— Да ведь глава кончена,—ответил Лусто.—Наличие виньетки полностью меняет мое мнение об авторе. Чтобы во времена Империи добиться гравированной на дереве виньетки, автор должен был быть государственным советником или госпожой Бартелем-Адо, покойным Деформжем или Севреном.

— «Адольф умолк»... Ага! — сказал Бьяншон.— Значит, герцогине меньше тридцати лет.

— Если это все, придумайте конец! — сказала г-жа де ла Бодрэ.

— Увы, на этом листе оттиск сделан только с одной стороны,— сказал Лусто.— На обороте «верстки», как говорят типографы, или, чтобы вам было понятнее, на обратной стороне листа, где должно было быть оттиснуто продолжение, оказалось несчетное множество разных отпечатков, поэтому он и принадлежит к разряду так называемых «бракованных листов». Так как было бы ужасно долго объяснять вам, в чем заключается непригодность «бракованного листа», проще будет, если я вам скажу, что он так же мало может сохранить на себе след первоначальных двенадцати страниц, тиснутых на нем печатником, как вы не могли бы сохранить и малейшего воспоминания о первом палочном ударе, если бы какой-нибудь паша приговорил вас к ста пятидесяти таких ударов по пяткам.

— У меня прямо в голове мешается,— сказала г-жа Попино-Шандье г-ну Гравье.— Ума не приложу, какой-такой государственный советник, кардинал, ключ и эти отти...

— У вас нет ключа к этой шутке,— сказал г-н Гравье,— но не огорчайтесь, сударыня, у меня его тоже нет.

— Да ведь вот еще лист,— сказал Бьяншон, взглянув на стол, где лежали корректуры.

— Превосходно,— ответил Лусто,— к тому же он цел и исправен! На нем пометка: «IV; j 2-е издание». Милостивые государыни, римская цифра IV означает четвертый том; j, десятая буква алфавита,— десятый лист. Таким образом, если только это не хитрость издателя, я считаю доказанным, что роман «Римская месть» в четырех томах, в двенадцатую долю листа, имел успех, раз выдержал два издания. Почитаем же и разгадаем эту загадку:

коридор; но, чувствуя, что его настигают люди герцогини, Ринальдо

— Вот так раз!

— О,— воскликнула г-жа де ла Бодрэ,— между тем обрывком и этой страницей произошли немаловажные события!

— Сударыня, скажите лучше — этим драгоценным «чистым листом». Однако к четвертому ли тому относится оттиск, где герцогиня забыла в роще свои перчатки? Ну бог с ним! Продолжаем!

нашел самым надежным убежищем немедленно спуститься в подземелье, где должны были находиться сокровища дома Браччиано. Легкий, как Камилла латинского поэта, он бросился к таинственному входу бань Веспасиана. Уже факелы преследователей освещали за ним стены, когда ловкий Ринальдо благодаря зоркости, которой одарила его природа, обнаружил потайную дверь и быстро скрылся. Ужасная мысль, как молния, когда она рассекает тучи, пронзила душу Ринальдо. Он сам заключил себя в темницу!.. С лихорадочной

— Ах! Этот *чистый лист* оказывается продолжением обрывка оттиска! Последняя страница обрывка была двести двенадцатая, у нас тут двести семнадцатая! И, право, если тот Ринальдо, который в оттиске крадет у герцогини Олимпии ключ от сокровищ, подменив его более или менее схожим, в этом *чистом листе* уже попадает во дворец герцогов Браччиано, то роман, по-моему, подходит к какой-то развязке. Я хотел бы, чтоб и вам все стало так же ясно, как мне... На мой взгляд, праздник кончен, оба

любовника вернулись во дворец Браччиано, ночь, первый час утра. Ринальдо славное готовит дельце!

— А Адольф? — спросил председатель суда Буаруж, за которым водилась слава любителя вольностей.

— Стиль-то каков! — сказал Бьяншон.— *Ринальдо, который нашел убежищем спуститься!..*

— Конечно, роман этот напечатан не у Марадана, не у Трейтеля и Вурца и не у Догеро,— сказал Лусто,— у них на жалованье были правщики, просматривавшие корректурные листы,— роскошь, которую должны были бы себе позволить нынешние издатели: нашим авторам это пошло бы на пользу... Должно быть, его написал какой-нибудь торгаш с набережной...

— С какой набережной? — обратилась одна дама к своей соседке.— Ведь говорилось про бани...

— Продолжайте,— сказала г-жа де ла Бодрэ.

— Во всяком случае, автор — не государственный советник,— заметил Бьяншон.

— А может быть, это написано госпожой Адо?—сказал Лусто.

— При чем еще тут госпожа Адо, наша дама-благотворительница? — спросила жена председателя суда у сына.

— Эта госпожа Адо, любезный друг,— отвечала ей хозяйка дома,— была женщина-писательница, жившая во времена Консульства...

— Как? Разве женщины писали при императоре? — спросила г-жа Попино-Шандье.

— А госпожа де Жанлис, а госпожа де Сталь? — ответил прокурор, обидевшись за Дину.

— О!

— Продолжайте, пожалуйста,— обратилась г-жа де ла Бодрэ к Лусто.

Лусто вновь начал чтение, объявив: «Страница двести восемнадцатая!»

поспешностью он ощупал стену и испустил крик отчаяния, когда поиски следов секретной пружины оказались тщетны. Не признать ужасной истины было невозможно. Дверь, искусно устроенная, чтобы служить мести герцогини, не открывалась внутрь. Ринальдо к разным местам приникал щекой и нигде не почувствовал тяги

теплого воздуха из галереи. Он надеялся наткнуться на щель, которая указала бы, где кончается стена, но — ничего, ничего! Стена казалась высеченной из цельной глыбы мрамора...

Тогда у него вырвался глухой вой гиены...

— Скажите, пожалуйста! А мы-то воображали, будто сами только что выдумали крики гиены! — заметил Лусто.— Оказывается, при Империи литература о них уже знала и даже выводила на сцену, проявляя некоторое знакомство с естественной историей, что доказывается словом «глухой».

— Не отвлекайтесь, сударь,— сказала г-жа де ла Бодрэ.

— Ага, попались! — воскликнул Бьяншон.— *Интерес*, это исчадие романтизма, и вас схватил за шиворот, как давеча меня.

— Читайте же! — воскликнул прокурор.— Я понимаю!

— Какой фат! — шепнул председатель суда на ухо своему соседу, супрефекту.

— Он хочет подольститься к госпоже де ла Бодрэ,— отвечал новый супрефект.

— Итак, я продолжаю,—торжественно провозгласил Лусто.

Все в глубоком молчании стали слушать журналиста.

Отдаленный стон ответил на вопль Ринальдо; но, в своем смятении, он принял его за эхо,— так слаб и беззвучен был этот стон! Он не мог исходить из человеческой груди...

— Santa Maria! [1] — проговорил неизвестный.

«Если я двинусь с этого места, то больше мне его не найти! — подумал Ринальдо, когда к нему вернулось его обычное хладнокровие.— Постучать? Но тогда узнают, что я здесь. Как быть?»

— Кто тут? — спросил голос.

— Эге! — сказал разбойник.— Уж не жабы ли здесь разговаривают?

— Я — герцог Браччиано! Кто бы

вы ни были, если только вы не из людей герцогини, именем всех святых умоляю, подойдите ко мне...

---

[1] Пресвятая дева! *(лат.)*

— Для этого нужно знать, где ты находишься, светлейший герцог,— ответил Ринальдо с дерзостью человека, который понял, что в нем нуждаются.

— Я вижу тебя, друг мой, потому что мои глаза привыкли к темноте. Послушай, иди прямо... Так... Поверни налево... Иди... Здесь!.. Вот мы и встретились.

Ринальдо, из предосторожности протянувший руки вперед, наткнулся на железные прутья.

— Меня обманывают! — вскричал разбойник.

— Нет, ты дотронулся до моей клетки...

Садись вон там, на цоколь порфировой колонны.

— Каким образом герцог Браччиано мог очутиться в клетке? — спросил разбойник.

— Друг мой, я тридцать месяцев стою в ней стоймя, ни разу не присев... Но ты-то кто такой?

— Я — Ринальдо, принц Кампаньи, атаман восьмидесяти храбрецов, которых закон напрасно называет злодеями, тогда как все дамы от них без ума, а судьи — те вешают их по застарелой привычке.

— Хвала создателю!.. Я спасен... Всякий добрый человек испугался бы, а я так уверен, что пре-

красно столкуюсь с тобой! — воскликнул герцог.— О мой дорогой освободитель, ты, должно быть, вооружен до зубов...

— E verissimo! [1]

— Есть у тебя?..

— О да, напильники, клещи... Corpo di Bacco! [2] Я явился сюда позаимствовать на неопределенное время сокровища герцогов Браччиано.

— Ты добрую их долю получишь законно, мой дорогой Ринальдо, и, может быть, я в твоем обществе отправлюсь на охоту за людьми...

— Вы удивляете меня, ваша светлость!..

— Послушай, Ринальдо! Не буду говорить тебе о жажде мести, грызущей мне сердце: я здесь тридцать месяцев — ты ведь итальянец, ты

меня поймешь! Ах, мой друг, моя усталость и этот неслыханный плен — ничто по сравнению с болью, грызущей мое сердце. Герцогиня Браччиано по-прежнему одна из прекраснейших женщин Рима, я любил ее достаточно сильно, чтобы ревновать...

---

[1] Истинная правда! *(итал.)*

[2] Черт возьми! *(итал.)*

— Вы, ее муж!..
— Да, быть может, я был не прав!
— Конечно, так не делается,— сказал Ринальдо.
— Ревность моя была возбуждена поведением герцогини,— продолжал герцог.— Случай показал мне, что я не ошибся. Молодой француз любил Олимпию, был любим ею, я имел доказательства их взаимной склонности...

— Тысяча извинений, милостивые государыни,—сказал Лусто,— но, видите ли, я не могу не обратить ваше внимание на то, что литература эпохи Империи шла прямо к фактам, минуя всякие детали, а это представляется мне особенностью времен первобытных. Литература той эпохи занимала среднее место между перечнем глав «Телемака» и обвинительными актами прокурорского надзора. У нее были идеи, но эта гордячка не развивала их! Она наблюдала, но эта скряга ни с кем не делилась своими наблюдениями! Один только Фуше делился иногда своими наблюдениями. «Литература тогда довольствовалась, по выражению одного из самых глупых критиков «Ревю де Дё Монд», простым наброском с весьма точным, в подражание античности, изображением персонажей; она не жонглировала длинными периодами!» Верю охотно, она не знала периодов и не знала, как заставить слово заиграть всеми красками; она говорила вам: «Любен любил Туанету, Туанета не любила Любена; Любен убил Туанету, жандармы схватили Любена; он был посажен в тюрьму, предстал перед судом присяжных и был гильотинирован». Яркий набросок, четкая обрисовка! Какая прекрасная драма! А нынче — нынче всякий невежда играет словами.

— Случается, и проигрывает,— буркнул г-н де Кланьи.

— Ого! — ответил Лусто.— Вам, значит, приходилось оставаться при пиковом интересе?

— Что он хочет сказать? — спросила г-жа де Кланьи, обеспокоенная этим каламбуром.

— Я точно в темном лесу,— ответила супруга мэра.

— Его шутка потеряла бы при объяснении,— заметил Гатьен.

— Нынче,— продолжал Лусто,— романисты рисуют характеры, и вместо четкого контура они открывают вам

человеческое сердце, они пробуждают в вас интерес к Туанете или Любену.

— А меня так просто ужасает литературная образованность публики,— сказал Бьяншон.— Русские, разбитые Карлом Двенадцатым, кончили тем, что научились воевать; точно так же и читатель в конце концов постиг искусство. Когда-то от романа требовали только интереса; до стиля никому не было дела, даже автору; отношение к идее равнялось нулю; к местному колориту было полнейшее равнодушие. Но мало-помалу читатель пожелал стиля, интереса, патетики, положительных знаний; он потребовал «пяти литературных качеств»: выдумки, стиля, мысли, знания, чувства; потом, вдобавок ко всему, явилась критика. Критик, неспособный придумать ничего, кроме клеветы, объявил, что всякое произведение, не являющееся творением совершенного ума, неизбежно хромает. Тогда явилось несколько плутов, вроде Вальтера Скотта, оказавшихся способными соединить в себе все пять литературных чувств; и те, у кого был только ум, только знание, только стиль или чувство,— эти хромые, безголовые, безрукие, кривые литераторы завопили, что все потеряно, и стали проповедовать крестовые походы против людей, якобы снизивших ремесло, или отрицали их произведения.

— Да это история ваших последних литературных боев,— заметила Дина.

— Бога ради,—взмолился г-н де Кланьи,— вернемся к герцогу Браччиано.

И к великому отчаянию собравшихся, Лусто продолжал чтение «чистого листа».

Тогда я пожелал убедиться в своем несчастье, чтобы иметь возможность отомстить под покровом Провидения и закона. Герцогиня разгадала мои намерения. Мы сражались мыслями, прежде чем сразиться с ядом в руке. Нам хотелось внушить друг другу взаимное доверие, которого мы не имели: я — чтобы заставить ее выпить отраву, она — чтобы завладеть мною. Она была женщина — она победила; ибо всегда у женщин одной ловушкой больше, чем у нас, мужчин, и я в нее попался: я был счастлив; но на следующее же утро проснулся в этой железной клетке. Я весь день рычал во мраке

этого подземелья, расположенного под спальней герцогини. Вечером, поднятый вверх, сквозь отверстие в полу спальни искусно устроенным противовесом, я увидел герцогиню в объятиях любовника; она бросила мне кусок хлеба — мое ежевечернее пропитание. Вот моя жизнь в течение тридцати месяцев! Из этой мраморной тюрьмы мои крики не достигают ничьих ушей. Счастливой случайности ждать было нечего. Я больше ни на что не надеялся! Посуди сам: комната герцогини — в отдаленной части дворца, и мой голос, когда я туда поднимаюсь, не может быть услышан никем. Всякий раз, когда я вижу свою жену, она показывает мне яд, который я приготовил

для нее и ее любовника; я прошу дать его мне, но она мне отказывает в смерти, она дает хлеб — и я ем его! Я хорошо сделал, что ел, что жил,— я как будто рассчитывал на разбойников!..

— Да, ваша светлость, когда эти болваны, честные люди, спят, мы бодрствуем, мы...

— Ах, Ринальдо, все мои сокровища принадлежат тебе, мы разделим их по-братски, я хотел бы отдать тебе все... вплоть до моего герцогства...

— Ваша светлость, лучше добудьте для меня у папы отпущение грехов in articulo mortis [1], это мне важнее при моем ремесле.

— Все, что ты захочешь; но подпили прутья моей клетки и одолжи мне твой кинжал!.. У нас очень мало времени, торопись... Ах, если б зубы мои были напильниками... Я ведь пробовал перегрызть железо...

— Ваша светлость,— сказал Ринальдо, выслушав последние слова герцога,— один прут уже подпилен.

— Ты просто бог!

— Ваша жена была на празднике принцессы Виллавичьоза; она возвратилась со своим французиком, она пьяна от любви, так что время у нас есть.

— Ты кончил?

— Да...

— Твой кинжал? — с живостью обратился герцог к разбойнику.

— Вот он.

---

[1] В смертный час *(лат.)*.

— Прекрасно. Я слышу лязг блока.

— Не забудьте про меня! — сказал разбойник, который хорошо знал, что такое благодарность.

— Буду помнить, как отца родного,— ответил герцог.

— Прощайте! — сказал ему Ринальдо.— Смотри, пожалуйста, как он полетел! — добавил разбойник, проследив глазами исчезновение герцога. «Буду помнить, как отца родного»,— повторил он про себя.— Если он так намерен помнить обо мне!.. Ах! Однако ж я поклялся никогда не вредить женщинам!..

Но оставим на время раз-

бойника, отдавшегося своим размышлениям, и поднимемся вслед за герцогом в покои дворца.

— Опять виньетка — амур на улитке! Потом идет чистая двести тридцатая страница,— сказал журналист.— И вот еще две чистые страницы, с заголовком «Заключение», который так приятно писать тому, кто имеет счастливое несчастье сочинять романы!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Никогда еще герцогиня не была так красива; она вышла из ванны в одежде богини и, увидев Адольфа,

сладострастно раскинувшегося на груде подушек, воскликнула:

— Как ты прекрасен!

— А ты, Олимпия!..

— Ты любишь меня по-прежнему?

— Сильнее с каждым днем! — ответил он.

— Ах, одни французы любить умеют! — вскричала герцогиня...— Ты очень будешь любить меня сегодня?

— Да...

— Иди же!

И движением, полным ненависти и любви,— потому ли, что кардинал Борборигано глубже растравил в ней гнев против мужа, потому ли, что она захотела показать герцогу картину еще большей страсти,— она нажала пружину и протянула руки сво-

— Вот и все! — воскликнул Лусто.— Экспедитор оторвал остальное, заворачивая мои корректуры; но и этого вполне достаточно, чтобы убедить нас в том, что автор подавал надежды.

— Ничего не понимаю,— сказал Гатьен Буаруж, первый нарушая молчание, которое хранили сансерцы.

— И я тоже,— отвечал г-н Гравье.

— Однако же роман этот написан в годы Империи,— заметил ему Лусто.

— Ах,— сказал г-н Гравье,— по тому, как разговаривает этот разбойник, сразу видно, что автор не знал Италии. Разбойники не позволяют себе подобных concetti [1].

Госпожа Горжю, заметив, что Бьяншон сидит задумавшись, подошла к нему и, представляя ему свою дочь Эфеми Горжю, девицу с довольно кругленьким приданым, сказала:

— Что за галиматья! Ваши рецепты куда интереснее этого вздора.

Супруга мэра глубоко обдумала эту фразу, которая, по ее мнению, была верхом остроумия.

— О сударыня, будем снисходительны — ведь здесь всего двадцать страниц из тысячи,— ответил Бьяншон, разглядывая девицу Горжю, талия которой грозила расплыться после первого же ребенка.

— Итак, господин де Кланьи,— сказал Лусто,— вчера мы говорили о мести, придуманной мужьями; что вы скажете о мести, которую придумала женщина?

— Я полагаю,— ответил прокурор,— что этот роман написан не государственным советником, а женщиной. В отношении нелепых выдумок воображение женщин заходит дальше воображения мужчин, доказательством тому служат: «Франкенштейн» миссис Шелли, «Леон Леони», произведения Анны Радклиф и «Новый Прометей» Камилла Мопена.

Дина пристально посмотрела на г-на де Кланьи, и взгляд этот, от которого он похолодел, ясно говорил, что, несмотря на столько блестящих примеров, она относит его замечание на счет «Севильянки Пакиты».

— Ба! — сказал маленький ла Бодрэ.— Ведь герцог Браччиано, которого жена посадила в клетку и каждый вечер заставляет любоваться собой в объятиях любовника, сейчас ее убьет... И это вы называете местью?.. Наши суды и общество несравненно более жестоки...

---

[1] Шуточек *(итал.)*.

— Чем же? — спросил Лусто.

— Эге, вот и малютка ла Бодрэ заговорил,— сказал председатель суда Буаруж своей жене.

— Да тем, что такой жене предоставляют жить на ничтожном содержании, и общество от нее отворачивается; она лишается туалетов и почета — двух вещей, которые, по-моему, составляют всю женщину,— ответил старичок.

— Зато она нашла счастье,— напыщенно произнесла г-жа де ла Бодрэ.

— Нет... раз у нее есть любовник,— возразил уродец, зажигая свечу, чтобы идти спать.

— Для человека, думающего только об отростках и саженцах, он не без остроумия,— сказал Лусто.

— Надо же, чтоб у него хоть что-нибудь было,— заметил Бьяншон.

Госпожа де ла Бодрэ, единственная из всех услышавшая слова Бьяншона, ответила на них такой тонкой, но вместе с тем такой горькой усмешкой, что врач разгадал секрет семейной жизни владелицы замка, преждевременные морщины которой занимали его с утра. Но сама-то Дина не разгадала мрачного пророчества, заключавшегося в последних словах мужа,— пророчества, которое покойный аббат, добряк Дюре, не преминул бы ей объяснить. Маленький ла Бодрэ перехватил во взгляде, который Дина бросила на журналиста, кидая ему обратно этот мяч шутки, ту мимолетную и лучистую нежность, что золотит взгляд женщины в час, когда кончается осторожность и начинается увлечение. Дина так же мало обратила внимания на призыв мужа соблюдать приличия, как Лусто не принял на свой счет лукавых предостережений Дины в день своего приезда.

Всякий бы на месте Бьяншона удивился быстрому успеху Лусто; но его даже не задело предпочтение, какое Дина выказала Фельетону в ущерб Факультету,— настолько был он врач! Действительно, Дина, благородная сама, должна была быть чувствительнее к остроумию, чем к благородству. Любовь обычно предпочитает контрасты сходству. Прямота и добродушие доктора, его профессия — все служило ему во вред. И вот почему: женщины, которым хочется любить,— а Дина столько же хотела любить, сколько быть любимой,— чувствуют бессозна-

тельную неприязнь к мужчинам, всецело поглощенным своим делом; такие женщины, несмотря на свои высокие достоинства, всегда остаются женщинами в смысле желания преобладать. Поэт и фельетонист, ветреник Лусто, щеголявший своей мизантропией, являл собой пример той душевной мишуры и полупраздной жизни, которые так нравятся женщинам. Твердый здравый смысл, проницательный взгляд Бьяншона, действительно выдающегося человека, стесняли Дину, не признававшуюся самой себе в своем легкомыслии; она думала: «Доктор, может быть, и выше журналиста, но нравится он мне меньше». Потом, размышляя об обязанностях его профессии, она спрашивала себя, может ли когда-нибудь женщина быть чем-то иным, кроме «объекта наблюдения», в глазах врача, который в течение дня видит столько «объектов»! Первое из двух изречений, вписанных Бьяншоном в ее альбом, было результатом медицинского наблюдения, слишком явно метившего в женщину, чтобы Дина не почувствовала удара. Наконец Бьяншон, которому практика не позволяла длительного отсутствия, завтра уезжал. А какая женщина, если только ее не поразила в сердце мифологическая стрела купидона, может принять решение в такое короткое время? Бьяншон заметил эти мелочи, производящие великие катастрофы, и в двух словах изложил Лусто своеобразное суждение, вынесенное им о г-же де ла Бодрэ, живейшим образом заинтересовавшее журналиста.

Пока парижане шушукались между собою, на хозяйку дома поднималась гроза со стороны сансерцев, которые ничего не поняли ни в чтении, ни в комментариях Лусто. Не разобравшись, что это роман, суть которого сумели извлечь прокурор, супрефект, председатель суда, первый товарищ прокурора Леба, г-н де ла Бодрэ и Дина, все женщины, собравшиеся вокруг чайного стола, увидели здесь одну лишь мистификацию и обвиняли музу Сансера в соучастии. Все надеялись провести очаровательный вечер и все понапрасну напрягали свои умственные способности. Ничто так не возмущает провинциалов, как мысль, что они послужили забавой для парижан.

Госпожа Пьедефер встала из-за чайного стола и подошла к дочери.

— Поди же поговори с дамами, они очень оскорблены твоим поведением,— сказала она.

Теперь Лусто не мог уже не заметить явного превосходства Дины над избранным женским обществом Сансера: она была лучше всех одета, движения ее были полны изящества, цвет ее лица при свете свечей поражал прелестной белизной, в кружке этих дам с увядшими лицами и дурно одетых девушек с робкими манерами она выделялась точно королева среди своего двора. Парижские образы бледнели, Лусто осваивался с провинциальной жизнью, и если он со своим богатым воображением не мог не поддаться обаянию королевской роскоши этого замка, его великолепных скульптур, красоты старинного убранства комнат, то в то же время он слишком хорошо знал толк в вещах, чтобы не понимать ценности обстановки, украшавшей это сокровище эпохи Ренессанса. Поэтому, когда, провожаемые Диной, одни за другими уехали сансерцы, так как всем им предстоял до города час пути; когда в гостиной остались только прокурор, г-н Леба, Гатьен и г-н Гравье, оставшиеся ночевать в Анзи, журналист уже переменил мнение о Дине. В мыслях его совершалась та эволюция, которую г-жа де ла Бодрэ имела смелость предсказать ему при первой встрече.

— Ах, и позлословят же они в дороге на наш счет! — воскликнула г-жа де ла Бодрэ, возвращаясь в гостиную, после того как проводила до кареты председателя суда с женой и г-жу Попино-Шандье с дочерью.

Остаток вечера прошел довольно приятно. В этом тесном кругу всякий внес в разговор свою долю колких шуток по поводу гримас, которые строили сансерцы во время комментариев Лусто к оберткам его корректур.

— Дорогой друг,— обратился Бьяншон к Лусто, укладываясь спать (их поместили вдвоем в громадной комнате с двумя кроватями),— ты будешь счастливым избранником госпожи де ла Бодрэ, урожденной Пьедефер.

— Ты думаешь?

— О, это так понятно: у тебя здесь слава человека, имевшего в Париже много приключений, а в мужчине, который пользуется успехом, есть для женщин что-то дразнящее, что их притягивает и пленяет; быть может, в них говорит тщеславное желание восторжествовать над

воспоминаниями обо всех прочих. Возможно, они обращаются к его опытности, как больной, который переплачивает знаменитому врачу? Или же им лестно пробудить от сна пресыщенное сердце?

— Чувственность и тщеславие занимают такое большое место в любви, что все эти предположения могут быть справедливы,— ответил Лусто.— Но если я остаюсь, то только потому, что ты выдал Дине удостоверение в просвещенной невинности! Не правда ли, она хороша собой?

— Она станет прелестна, когда полюбит,— сказал врач.— И, кроме того, в один прекрасный день она будет богатой вдовой! А ребенок сделает ее обладательницей состояния сира де ла Бодрэ...

— О! Полюбить эту женщину — просто доброе дело! — воскликнул Лусто.

— Сделавшись матерью, она снова пополнеет, морщинки разгладятся, она будет казаться двадцатилетней...

— Так вот, если хочешь мне помочь,— сказал Лусто, закутываясь в одеяло,— то завтра, да, завтра я... Словом, покойной ночи.

На другой день г-жа де ла Бодрэ, которой муж полгода назад подарил лошадей, служивших ему на полевых работах, и старую дребезжащую карету, решила проводить Бьяншона в Кон, где он должен был сесть на лионский дилижанс. Она взяла с собой мать и Лусто, но намеревалась, оставив мать в усадьбе Ла-Бодрэ, поехать с обоими парижанами в Кон, а оттуда уже возвратиться одной с Лусто. Она придумала себе очаровательный наряд, который журналист оглядел в лорнет: на ней были бронзовые туфельки, серые шелковые чулки, платье из тонкой кисеи, зеленый шарф с длинной, светлеющей к краям бахромой и прелестная шляпка из черного кружева. Что касается Лусто, то плут явился во всеоружии обольщения: в лакированных ботинках, в панталонах английского сукна с заглаженной спереди складкой, в коротеньком и очень легком черном сюртуке, и в очень открытом жилете, позволявшем видеть тончайшую рубашку и черные атласные волны его лучшего вышитого галстука.

Прокурор и г-н Гравье обменялись значительным взглядом, увидав обоих парижан в карете, и как дураки

стояли у крыльца. Г-н де ла Бодрэ, который с нижней ступеньки посылал доктору прощальный привет своею маленькой ручкой, не мог удержаться от улыбки, услыхав, как г-н де Кланьи сказал г-ну Гравье:

— Вам следовало бы проводить их верхом.

В эту минуту из аллеи, которая вела к конюшням, верхом на смирной кобылке г-на де ла Бодрэ выехал Гатьен и догнал коляску.

— Ах, вот это хорошо! — сказал податной инспектор.— Мальчик поступил в вестовые.

— Какая скука! — воскликнула Дина, увидав Гатьена.— За тринадцать лет — ведь скоро тринадцать лет, как я замужем,— я не помню и трех часов свободы.

— Замужем, сударыня? — сказал, улыбаясь, журналист.— Вы напомнили мне словцо покойного Мишо, который так много и тонко острил. Он уезжал в Палестину, и друзья отговаривали его, указывая на его преклонный возраст и опасности подобного путешествия. Один из них сказал: «Ведь вы женаты!» «О,— ответил он,— только слегка!»

Даже суровая г-жа Пьедефер не могла сдержать улыбку.

— Я не удивлюсь, если в дополнение конвоя увижу господина де Кланьи верхом на моем пони,— воскликнула Дина.

— О, лишь бы прокурор нас не догнал! — сказал Лусто.— А от этого юноши вы легко отделаетесь, как только приедем в Сансер. Бьяншон непременно вспомнит, что оставил у себя на столе что-нибудь вроде записи первой лекции своего курса, и вы попросите Гатьена съездить за нею в Анзи.

Эта хитрость, как ни была она проста, привела г-жу де ла Бодрэ в хорошее настроение. По дороге из Анзи в Сансер то и дело открываются великолепные пейзажи, роскошная гладь Луары часто производит впечатление озера; поездка прошла весело: Дина была счастлива, что ее так хорошо поняли. Шел теоретический разговор о любви, дающий возможность влюбленным in petto [1] как бы определить меру своих сердец. Журналист, взяв тон светского распутника, стал доказывать, что любовь не подчиняется никакому закону, что характер любовни-

[1] Тайно, в душе *(итал.)*.

ков бесконечно разнообразит ее проявления, что события общественной жизни вносят в нее еще большее разнообразие, что все возможно и истинно в этом чувстве; что иная женщина, долго сопротивлявшаяся всем соблазнам и подлинной страсти, может пасть в несколько часов под влиянием внезапного увлечения, какого-нибудь внутреннего урагана, тайна которых открыта только богу!

— И не в этом ли ключ ко всем любовным историям, которые мы три дня друг другу рассказывали? — воскликнул Лусто.

Три дня живое воображение Дины было занято самыми рискованными романами, и разговоры обоих парижан подействовали на нее, как самые опасные книги. Лусто украдкой следил за результатами своего ловкого маневра, чтобы не упустить момент, когда эта добыча, задумчивость которой говорила ему о борьбе между желанием уступить и нерешительностью, сама ему дастся в руки. Дине хотелось показать парижанам свою усадьбу Ла-Бодрэ, и там была разыграна условленная комедия с рукописью, якобы забытой Бьяншоном в его комнате в Анзи. Гатьен поскакал во весь опор по приказу своей повелительницы, г-жа Пьедефер отправилась в Сансер за покупками, и Дина одна с двумя друзьями поехала в Кон.

Лусто сел рядом с Диной, а Бьяншон поместился на переднем сиденье кареты. Беседа обоих друзей была полна участия и жалости к этой избранной душе, так мало понятой и, главное, окруженной таким дурным обществом. Бьяншон прекрасно послужил журналисту своими насмешками над прокурором, податным инспектором и Гатьеном; в его замечаниях было что-то до такой степени презрительное, что г-жа де ла Бодрэ не решилась защищать своих поклонников.

— Я отлично понимаю, каким образом вы оказались в этом положении,— сказал врач, когда коляска переезжала мост через Луару.— Вам могла быть доступна только рассудочная любовь, нередко ведущая и к любви сердца, но, конечно, ни один из этих мужчин не сумел скрыть чувственного желания, которое женщине на заре ее жизни представляется отвратительным. Теперь же любовь становится для вас необходимостью.

— Необходимостью? — воскликнула Дина, с любопытством глядя на врача.— Что же, я должна любить по докторскому предписанию?

— Если вы и дальше будете жить так, как вы живете,— через три года вы станете ужасны,— категорически ответил Бьяншон.

— Сударь!..— пролепетала г-жа де ла Бодрэ почти в испуге.

— Простите моего друга,— шутливо обратился Лусто к баронессе,— он неисправимый медик, и любовь для него — только вопрос гигиены. Но он не эгоист и, очевидно, заботится только о вас, коли сам через час уезжает...

В Коне столпилось много народу вокруг старой перекрашенной кареты, на дверцах которой виднелся герб, пожалованный Людовиком XIV новым ла Бодрэ: *на среднем алом поле — золотые весы, на верхнем лазоревом — три рапиры с серебряными рукоятками; на нижнем — две серебряные борзые в лазоревых ошейниках и на золотых цепях.* Иронический девиз «Deo sic patet fides et hominibus» [1] был придуман в назидание новообращенному кальвинисту сатириком д'Озье.

— Пройдемся, нам дадут знать, когда будет пора,— сказала баронесса, оставив своего кучера на страже.

Дина взяла предложенную Бьяншоном руку, и доктор таким быстрым шагом направился к берегу Луары, что журналист должен был остаться позади. Доктор слегка подмигнул Лусто, и тот сразу понял, что Бьяншон хочет ему помочь.

— Этьен вам понравился,— сказал Бьяншон Дине,— он поразил ваше воображение. Мы с ним беседовали о вас вчера вечером, он вас любит... Но это человек легкомысленный, удержать его трудно, бедность обрекает его на жизнь в Париже, тогда как вас все вынуждает жить в Сансере... Станьте выше предрассудков... Сделайте Лусто своим другом, не будьте требовательны, три раза в год он будет приезжать, чтобы провести возле вас несколько прекрасных дней, и вы будете обязаны ему своей красотой, счастьем, состоянием. Господин де ла Бодрэ может прожить сто лет, но может и погибнуть в девять дней, если забудет надеть фланелевую фуфайку, в

---

[1] «Так ясна вера богу и людям» *(лат.)*.

которую он кутается. Не делайте же промахов, будьте благоразумны оба. Не говорите мне ничего... Я прочел в вашем сердце.

Госпожа де ла Бодрэ была беззащитна перед таким количеством неоспоримых доводов и перед человеком, выступавшим одновременно в роли врача, исповедника и друга.

— О, как могло вам прийти в голову, что я стану соперничать с любовницами журналиста... Господин Лусто, по-видимому, человек любезный, остроумный, но он так пресыщен... и т. д. и т. д.

Дина пустилась было развивать свою мысль, но тут же остановила поток слов, под которым ей хотелось скрыть свои намерения, потому что навстречу им шел Этьен, казалось, совершенно поглощенный созерцанием преуспевающего городка.

— Верьте мне,— сказал ей Бьяншон,— он нуждается в настоящей любви; и если он изменит образ жизни, талант его выиграет.

В это время к ним, запыхавшись, подбежал кучер Дины и сообщил о прибытии дилижанса; все ускорили шаг. Г-жа де ла Бодрэ шла между двумя парижанами.

— Прощайте, дети мои,— сказал Бьяншон уже у самого Кона,— благословляю вас...

Он передал руку г-жи де ла Бодрэ Лусто, который с нежностью прижал ее к сердцу. Совсем другое чувство ощутила Дина! Рука Этьена вызвала в ней живое волнение, тогда как рука Бьяншона оставляла ее совершенно равнодушной. И она обменялась с журналистом тем жгучим взглядом, который говорит больше, чем все признания.

«Одни только провинциалки носят еще платья из кисеи — единственной материи, которая не разглаживается, если ее измять,— подумал про себя Лусто.— Эта женщина, избравшая меня своим любовником, станет упрямиться из-за своего платья. Если б она надела фуляровое, я был бы счастлив... От чего только не зависит сопротивление...»

Пока Лусто раздумывал, не нарочно ли г-жа де ла Бодрэ создала для самой себя неодолимую преграду, надев кисейное платье, Бьяншон с помощью кучера укладывал свой багаж на крышу дилижанса. Наконец он

пришел попрощаться, и Дина была с ним чрезвычайно ласкова.

— Возвращайтесь, баронесса, пора... Скоро подоспеет Гатьен,— сказал он ей на ухо.— Уже поздно,— добавил он громко...— Прощайте!

— Прощай, великий человек! — воскликнул Лусто, крепко пожимая руку доктора.

Переезжая обратно через Луару, ни журналист, ни г-жа де ла Бодрэ, поместившиеся рядом на заднем сиденье древней кареты, не решались заговорить. В таких случаях первое слово, нарушающее молчание, приобретает огромное значение.

— Знаете ли вы, как я вас люблю? — спросил вдруг в упор журналист.

Победа могла польстить Лусто, но поражение никогда его не огорчало. Это безразличие было секретом его смелости. Говоря столь недвусмысленные слова, он взял руку г-жи де ла Бодрэ и сжал ее в своих; но Дина тихонько высвободила руку.

— Да, конечно, я стою гризетки или актрисы,— сказала она шутливо, хотя в голосе ее чувствовалось волнение.— И все-таки неужели вы думаете, что женщина, пусть и смешная, но не такая уж глупая, берегла бы самые драгоценные сокровища своего сердца для человека, который может искать в ней только мимолетное наслаждение?.. Меня не удивляет, что я слышу из ваших уст слова, которые уже столько раз мне говорили другие, но...

Тут кучер обернулся.

— Вот и господин Гатьен...— сказал он

— Я вас люблю, я жажду вашей любви, и вы будете моей, потому что никогда, ни к одной женщине я не испытывал чувства, какое вы мне внушаете! — взволнованно прошептал Лусто на ухо Дине.

— Может быть, помимо моей воли? — возразила она, улыбаясь.

— Моя честь требует, чтобы по крайней мере с виду казалось, будто вы выдержали живейшую атаку! — воскликнул парижанин, которому гибельное свойство кисеи подсказало забавную мысль.

Прежде чем Гатьен успел доехать до конца моста, отважный журналист проворно измял кисейное платье и

привел его в такой вид, что г-же де ла Бодрэ немыслимо было показаться кому-либо на глаза.

— О сударь!..— величественно вскричала Дина.

— Вы мне бросили вызов,— ответил парижанин.

Но Гатьен приближался с поспешностью одураченного любовника. Чтобы хоть отчасти вернуть себе уважение г-жи де ла Бодрэ, Лусто попытался заслонить собою ее скомканное платье от взоров Гатьена, быстро высунувшись из кареты со стороны Дины.

— Скачите в нашу гостиницу,— сказал он ему,— у вас есть еще время, дилижанс уходит только через полчаса; рукопись на столе в комнате Бьяншона, она очень ему нужна, он не знает, как ему быть с его лекциями.

— Ступайте же, Гатьен! — сказала г-жа де ла Бодрэ, бросив на своего юного обожателя деспотический взгляд.

Покоряясь ее повелительному тону, юноша сломя голову поскакал обратно.

— Живо в Ла-Бодрэ! — крикнул Лусто кучеру.—Баронессе нездоровится... Только ваша мать будет посвящена в тайну моей хитрости,— сказал он, снова усаживаясь возле Дины.

— Эту низость вы называете хитростью? — спросила г-жа де ла Бодрэ, подавив слезы, высушенные огнем оскорбленного самолюбия.

Она отодвинулась в угол кареты, скрестила руки на груди и стала глядеть на Луару, на поля, на все, за исключением Лусто. Журналист принял тогда успокаивающий тон и говорил до самого Ла-Бодрэ, где Дина, выскочив из коляски, вбежала в дом, стараясь, чтобы ее никто не увидел. В волнении она бросилась на софу и расплакалась.

— Если я вызываю в вас отвращение, ненависть или презрение, хорошо, я уеду,— заявил тогда Лусто, вошедший вслед за нею.

И хитрец опустился перед Диной на колени. В эту решительную минуту в дверях показалась г-жа Пьедефер.

— Что с тобой? Что тут происходит? — обратилась она к дочери.

— Скорей дайте вашей дочери другое платье,— шепнул на ухо ханже развязный парижанин.

Услышав бешеный галоп лошади Гатьена, г-жа де ла Бодрэ мигом скрылась в своей комнате, куда за ней последовала мать.

— В гостинице ничего нет! — обратился Гатьен к Лусто, который вышел к нему навстречу.

— И в замке Анзи вы тоже ничего не нашли! — ответил Лусто.

— Вы насмеялись надо мной,— сухо сказал Гатьен.

— Вволю,— ответил Лусто.— Госпожа де ла Бодрэ сочла очень неприличным, что вы увязались за ней без приглашения. Поверьте мне: надоедать женщине — плохой прием обольщения. Дина вас одурачила, но вы ее насмешили — такого успеха не имел у нее ни один из вас за тринадцать лет, и вы обязаны им Бьяншону, ибо *автор шутки с рукописью* — ваш двоюродный брат!.. Только выдержит ли лошадь? — спросил Лусто, пока Гатьен раздумывал, сердиться ему или нет.

— Лошадь?..— повторил Гатьен.

В эту минуту появилась г-жа де ла Бодрэ, одетая в бархатное платье, и следом за ней ее мать, бросавшая на Лусто гневные взгляды. Для Дины было бы неосторожностью в присутствии Гатьена обращаться с Лусто холодно или сурово, и, пользуясь этим обстоятельством, он предложил этой мнимой Лукреции руку; но она ее отклонила.

— Вы хотите прогнать человека, который посвятил вам свою жизнь? — сказал он, идя рядом с нею.— Я не вернусь с вами в Анзи и завтра уеду.

— Мама, ты идешь? — обратилась г-жа де ла Бодрэ к г-же Пьедефер, чтобы уклониться от ответа на прямой вопрос, которым Лусто хотел заставить ее принять какое-нибудь решение.

Парижанин помог матери сесть в коляску, подсадил г-жу де ла Бодрэ, нежно поддержав ее под руку, а сам устроился на переднем сиденье вместе с Гатьеном, оставившим лошадь в Ла-Бодрэ.

— Вы переменили платье,— некстати заметил Гатьен Дине.

— Баронесса простудилась, на Луаре было свежо,— ответил Лусто.— Бьяншон посоветовал ей одеться теплее.

Дина покраснела, как маков цвет, а г-жа Пьедефер сделала строгое лицо.

— Бедный Бьяншон уже на пути в Париж. Что за благородное сердце! — сказал Лусто.

— О да! — ответила г-жа де ла Бодрэ.— Он великодушен и деликатен, не то что...

— Уезжая, мы так были веселы,— сказал Лусто,—а теперь вы нездоровы и так язвительно говорите со мной, но почему же?.. Разве вы не привыкли слышать, что вы прекрасны и умны? А я перед Гатьеном заявляю, что отказываюсь от Парижа, остаюсь в Сансере и умножаю собой число ваших поклонников. Я почувствовал себя таким молодым на родной стороне, я уж позабыл Париж со всеми его соблазнами, заботами и утомительными удовольствиями... Да, мне кажется, будто моя жизнь стала чище...

Дина, отвернувшись, слушала Лусто; но был момент, когда импровизация этого змея-искусителя, старавшегося изобразить страсть с помощью фраз и мыслей, значение которых было скрыто для Гатьена, но со всей силой отзывалось в сердце Дины, заискрилась вдруг таким блеском, что баронесса подняла на него глаза. Взгляд ее, казалось, привел в восторг Лусто; он постарался особенно блеснуть остроумием и рассмешил наконец г-жу де ла Бодрэ. А если женщина, гордость которой так жестоко оскорблена, рассмеялась, то вся ее неприступность становится неуместной. Когда въезжали в огромный двор, усыпанный песком и украшенный газоном с цветочными клумбами, так выгодно оттенявшими фасад замка, журналист говорил:

— Если женщины нас любят, они нам прощают все, даже наши преступления; если они нас не любят, они нам не прощают ничего, даже наши добродетели! Прощаете вы меня? — добавил он на ухо г-же де ла Бодрэ, нежно прижимая к сердцу ее руку. Дина не могла удержаться от улыбки.

За обедом и до конца вечера Лусто был весел и чарующе увлекателен, но, изображая таким образом свое упоение, он порой принимал мечтательный вид, будто весь был поглощен своим счастьем. После кофе г-жа де ла Бодрэ и ее мать предложили мужчинам прогуляться по саду. Господин Гравье сказал тогда прокурору:

— Вы заметили, что госпожа де ла Бодрэ уехала в кисейном платье, а возвратилась в бархатном?

— Когда она в Коне садилась в экипаж, платье зацепилось за медную кнопку коляски и разорвалось сверху донизу,— ответил Лусто.

— О! — простонал Гатьен, пораженный в самое сердце жестокой разницей между двумя объяснениями журналиста.

Лусто, рассчитывавший на это удивление Гатьена, крепко сжал его локоть, умоляя о молчании. Несколько минут спустя Лусто оставил трех поклонников Дины одних и занялся маленьким ла Бодрэ. Тогда Гатьена стали расспрашивать, как прошло путешествие. Г-н Гравье и г-н де Кланьи остолбенели, узнав, что Дина на обратном пути из Кона осталась одна с Лусто; но еще больше ошеломили их две версии парижанина о перемене платья. Не удивительно поэтому, что три неудачника весь вечер чувствовали себя весьма стесненно. А на другое утро каждого из них дела заставили покинуть Анзи, и Дина осталась одна с матерью, мужем и Лусто.

Разочарование трех сансерцев вызвало в городе большой шум. Падение музы Берри, Ниверне и Морвана сопровождалось настоящим кошачьим концертом злословия, клеветы и всевозможных догадок, в которых первое место отводилось истории с кисейным платьем. Никогда еще наряды Дины не имели такого успеха и не привлекали так сильно внимания юных девиц, не понимавших связи между любовью и кисеей, над которой так потешались замужние женщины. Г-жа Буаруж, жена председателя суда, взбешенная неудачей своего Гатьена, забыла восторженные похвалы, расточавшиеся ею по поводу поэмы «Севильянка Пакита»; она метала громы и молнии против женщины, способной опубликовать подобную гнусность.

— Несчастная совершает то, о чем сама писала! — говорила она.— Наверное, она и кончит так же, как ее героиня!

С Диной случилось в Сансере то же, что с маршалом Сультом: пока он был министром, в оппозиционных газетах писали, что он проиграл битву при Тулузе; чуть только вышел в отставку — он ее выиграл! Добродетельная Дина слыла соперницей Камилла Мопена и самых про-

славленных женщин; счастливая — была объявлена «несчастной».

Господин де Кланьи храбро защищал Дину; он несколько раз наезжал в Анзи, чтобы иметь право опровергнуть слухи, ходившие о женщине, которую он, даже падшую, обожал по-прежнему; он утверждал, что вся близость между нею и Лусто заключается только в сотрудничестве над большим литературным произведением. Над прокурором смеялись.

Октябрь стоял чудесный, осень — лучшее время года в долинах Луары; но в 1836 году она была особенно хороша. Природа была как бы сообщницей счастья Дины, которая, как и предсказал Бьяншон, постепенно отдавалась бурной любви. В какой-нибудь месяц баронесса вся преобразилась. Она с удивлением открыла в себе множество качеств, бездействовавших, дремавших, до сих пор ненужных. Лусто стал ее кумиром, ибо нежная любовь, эта насущная потребность больших душ, превратила ее в совершенно новую женщину. Дина жила! Она нашла применение своим силам, она открыла неожиданные перспективы в своем будущем, она, наконец, была счастлива,— счастлива беззаботно, безмятежно. Этот огромный замок, сады, парк, лес так благоприятствовали любви! Лусто обнаружил в г-же де ла Бодрэ наивную впечатлительность, даже, если угодно, невинность, которая придавала ей своеобразие; манящего и неожиданного в ней оказалось гораздо больше, чем в молодой девушке. Парижанину льстило ее восхищение, которое у большинства женщин является только комедией, но у Дины было искренним: она у Лусто училась любви, он в этом сердце был первый. И он старался быть с нею как можно ласковее. У мужчин, да, впрочем, и у женщин, есть целый репертуар речитативов, кантилен, ноктюрнов, мелодий, рефренов (не сказать ли «рецептов», хотя дело идет о любви?), и всегда им кажется, что они первые их придумали. Люди, достигшие возраста Лусто, стараются поискуснее распределить частицы этого сокровища в опере страсти; но парижанин, рассматривая свое приключение с Диной только как любовную удачу, хотел неизгладимыми чертами запечатлеть воспоминание о себе в ее сердце, и весь этот прекрасный октябрь месяц он изощрялся в самых кокетливых напевах и самых замыслова-

тых баркаролах. Наконец он исчерпал все возможности любовной мизансцены — воспользуемся здесь выражением, взятым из театрального жаргона и превосходно передающим этот ловкий прием.

«Если эта женщина меня забудет,— говорил он себе подчас, возвращаясь с нею в замок после длительной прогулки по лесам,— я не буду на нее в обиде, она найдет и получше меня...»

Когда два существа пропели дуэты из этой восхитительной партитуры и продолжают друг другу нравиться, можно сказать, что они любят друг друга по-настоящему. Но у Лусто не было времени повторять свои арии, он рассчитывал уехать из Анзи в первых числах ноября: обязанности фельетониста призывали его в Париж. Накануне предполагавшегося отъезда, перед завтраком, журналист и Дина увидели г-на ла Бодрэ, вошедшего в сопровождении одного неверского художника, реставратора скульптуры.

— Что вы затеваете? — спросил Лусто.— Что вы хотите сделать со своим замком?

— А вот что,— ответил старичок, приглашая журналиста, жену и провинциального художника выйти на террасу.

Он показал над входною дверью фасада вычурный медальон, поддерживаемый двумя сиренами, довольно схожий с тем, что украшает замурованную теперь аркаду, под которой некогда проходили с набережной Тюильри во двор старого Лувра и над которой еще можно прочесть: «Королевское собрание редкостей». Медальон на фасаде изображал старинный герб дома д'Юкзель: *щит с двумя поперечными полями — алым и золотым, поддерживаемый двумя львами, в правом нижнем углу — алым, в левом нижнем — золотым; над щитом — рыцарский шлем в завитках тех же цветов, увенчанный герцогской короной.* И девиз: «*Cy paroist*» [1] — слова гордые и звучные.

— Я хочу заменить герб дома д'Юкзель своим; а так как он шесть раз повторяется на обоих фасадах и на обоих крылах, то это работа немалая.

— Заменить столь недавним гербом! — воскликнула Дина.— И это после тысяча восемьсот тридцатого года!..

[1] «Здесь пребываю» (*старофранц.*).

— Разве я не учредил майорат?

— Я б еще понял это, если бы у вас были дети,— сказал ему журналист.

— О,— ответил старичок,— госпожа де ла Бодрэ молода, время еще не упущено!

Это самоуверенное заявление вызвало улыбку у Лусто, но он не понял г-на де ла Бодрэ.

— Вот видишь, Дидина? — сказал он на ухо г-же де ла Бодрэ.— К чему твои угрызения совести?

Дина упросила отложить отъезд на один день, и прощание любовников стало похоже на десять раз объявляемое иными театрами последнее представление пьесы, делающей полный сбор. Но сколько взаимных обещаний! Сколько торжественных договоров, заключенных по требованию Дины и без возражений скрепленных бессовестным журналистом!

С выдающейся смелостью выдающейся женщины Дина, на глазах у всей округи, вместе с матерью и мужем, проводила Лусто до Кона.

Когда десять дней спустя в салон городского дома г-жи де ла Бодрэ явились господа де Кланьи, Гатьен и Гравье, она, улучив минутку, отважно заявила каждому из них:

— Благодаря господину Лусто я узнала, что никогда не была любима ради меня самой.

А сколько трескучих речей произнесла она о мужчинах, о природе их чувств, о их низменной любви и проч. !.. Из трех поклонников Дины один только г-н де Кланьи сказал ей: «Я люблю вас, несмотря ни на что!..» За это Дина взяла его в наперсники и излила на него всю нежность дружбы, какой женщины подкупают Гуртов, готовых самоотверженно носить ошейник любовного рабства.

Вернувшись в Париж, Лусто за несколько недель растерял все воспоминания о прекрасных днях, проведенных в замке Анзи. И вот почему. Лусто жил пером. В этом веке, и особенно после победы буржуазии, тщательно избегающей подражания Франциску I и Людовику XIV, жить пером — такой труд, от которого откажутся и каторжники, они предпочтут смерть. Жить пером — не значит ли творить? Творить сегодня, завтра, всегда... или хотя бы делать вид, что творишь; а ведь кажущееся об-

ходится так же дорого, как реальное! Не считая фельетона в ежедневной газете, этого своеобразного сизифова камня, который каждый понедельник обрушивался на кончик его пера, Этьен сотрудничал еще в трех или четырех литературных журналах. Но успокойтесь! Он не проявлял себя взыскательным художником в своих произведениях. В этом отношении он отличался покладистостью, если хотите, беспечностью и принадлежал к той группе писателей, которых называют «дельцами» или «ремесленниками». В Париже в наши дни «ремесло» есть отказ от всяких притязаний на какое-либо место в литературе. Когда писатель больше не может или не хочет представлять собой что-то, он становится «дельцом». И тогда он довольно приятно проводит жизнь. Дебютанты, синие чулки, актрисы начинающие и актрисы, кончающие карьеру, авторы и издатели лелеют и холят готовое на все перо. Лусто, сделавшись прожигателем жизни, избавился от всех расходов, за исключением платы за квартиру. У него были ложи во всех театрах. Счета своего перчаточника он покрывал продажей книг, которые ему приносили на отзыв и о которых он давал или не давал отзыва; поэтому он говорил авторам, печатающимся на свой счет:

— Ваша книга всегда в моих руках.

С авторских самолюбий художников он взимал дань рисунками и картинами. Все дни его заняты были обедами, вечера — театром, утро — друзьями, визитами, фланированием. Его фельетон, статьи и два рассказа, которые он ежегодно поставлял для еженедельных журналов, были налогом, омрачавшим эту счастливую жизнь. Однако, чтобы достичь этого положения, Этьен боролся целых десять лет. Став наконец известным в литературном мире, любимый за добро, равно как и за зло, которое он делал с безупречным добродушием, он пустился плыть по течению, не заботясь о будущем. Он царил в одном кружке новичков, были у него друзья, вернее — привычные приятельские отношения, длившиеся по пятнадцать лет, с людьми, с которыми он ужинал, обедал и давал волю своему острословию. Он зарабатывал от семисот до восьмисот франков в месяц; при расточительности, присущей беднякам-литераторам, этих денег было для него недостаточно. Поэтому Лусто то и дело оказывался

в таком же плачевном положении, как при своем дебюте в Париже, когда он думал: «Если б у меня было пятьсот франков в месяц, какой бы я был богач!»

Вот причина этого явления. Лусто жил на улице Мартир, в хорошенькой квартирке первого этажа, великолепно обставленной и с садом. Поселившись там в 1833 году, он заключил с одним мебельщиком условие, которое на долгое время подорвало его благосостояние. Квартира эта обходилась ему в тысячу двести франков ежегодно. Поэтому январь, апрель, июль и октябрь были, как он говорил, месяцами нужды. Плата за квартиру и счета привратника опустошали его карман. Тем не менее Лусто нанимал кабриолеты, на завтраки тратил не меньше ста франков в месяц, сигар выкуривал на тридцать франков и не умел отказать ни в обеде, ни в платье своим случайным любовницам. В таких случаях он столько забирал вперед из своих всегда неверных доходов за следующие месяцы, что, бывало, не имел наличными и ста франков при заработке в семьсот — восемьсот франков в месяц, точно так же, как в 1822 году, когда он едва зарабатывал двести франков.

Порой, устав от превратностей литературной жизни, пресытившись, как куртизанка, наслаждением, Лусто выбирался из потока и присаживался на покатом бережку; покуривая сигару в своем садике, перед вечно зеленой лужайкой величиною с обеденный стол, он говорил близким приятелям — Натану и Бисиу:

— Как-то мы кончим? Седые волосы нас почтительнейше просят согласиться на вступление в брак!..

— Ба! Жениться всегда поспеем, если захотим заняться женитьбой, как занимаемся какой-нибудь драмой или книгой,— говорил Натан.

— А Флорина? — замечал Бисиу.

— У всякого из нас есть своя Флорина,— отвечал Этьен, бросая кончик сигары в газон и думая о г-же Шонтц.

Госпожа Шонтц была хорошенькая женщина и брала очень дорого за прокат своей красоты, оставляя собственность, как таковую, за Лусто, своим другом сердца. Как и все эти женщины, называемые «лоретками» по наименованию церкви Нотр-дам-де-Лорет, вокруг которой они расселились, она жила на улице Флешье, в

двух шагах от Лусто. Эта лоретка тешила свое самолюбие, поддразнивая подруг рассказами о любви, которую внушила человеку большого ума. Все эти подробности о жизни и финансовом положении Лусто необходимы потому, что и безденежье и это безалаберное существование журналиста, который никак не мог обойтись без парижской роскоши, должны были жестоко отразиться на будущем Дины.

Те, кому знакома парижская богема, теперь поймут, каким образом журналист, снова окунувшийся в привычную литературную среду, мог уже через две недели смеяться над «своей баронессой» в кругу приятелей и даже с госпожой Шонтц. А тем, кто найдет этот поступок бесчестным, пожалуй, бесполезно приводить неєостоятельные в их глазах оправдания.

— Что ты делал в Сансере? — спросил Бисиу у Лусто, когда они встретились.

— Я оказал услугу трем славным провинциалам,— ответил он,— одному податному инспектору, одному юному родственнику и одному прокурору, которые десять лет кружили вокруг сто первой из тех десятых муз, что украшают собой департаменты, но не решались к ней прикоснуться, как не решаются прикоснуться к красиво поданному десерту, пока какой-нибудь человек без предрассудков не разрежет его ножом...

— Бедный мальчик! — сказал Бисиу.— Я так и знал, что цель твоей поездки в Сансер — пустить свой ум на подножный корм.

— Дорогой мой, твоя шутка настолько же противна, насколько моя муза прекрасна,— ответил Лусто.— Спроси у Бьяншона.

— Муза и поэт...— заметил Бисиу.— Значит, твое приключение было вроде гомеопатического лечения?

На десятый день Лусто получил письмо с почтовым штемпелем Сансера.

— Что ж! Прочтем,— вздохнул Лусто.— «Бесценный друг, идол моего сердца и моей души...» Двадцать страниц, исписанных мелким почерком! По одной на день, и все помечены полночью! Она пишет мне, когда остается одна... Бедняжка! Ага! *Постскриптум:* «Я не смею просить тебя писать мне, как я пишу, ежедневно; но я надеюсь получать от моего возлюбленного две стро-

ки в неделю, чтобы душа моя была спокойна...» Как жалко это сжигать! Здорово написано,— подумал Лусто, бросая после прочтения все десять листков в огонь.— Эта женщина рождена, чтобы быть переписчицей.

Лусто не особенно боялся г-жи Шонтц, которая любила его «ради него самого»; но он заместил своего приятеля в сердце одной маркизы. Эта маркиза, женщина, ведущая довольно независимый образ жизни, случалось, неожиданно приезжала к нему вечером, в фиакре, под вуалем и позволяла себе, в качестве читающей дамы, копаться во всех его ящиках. Восемь дней спустя Лусто, уже едва помнивший Дину, был потрясен новым пакетом из Сансера. Восемь листков! Шестнадцать страниц! Он услышал на лестнице женские шаги, подумал, что маркиза приехала с визитом запросто, и бросил эти восхитительные и прелестные доказательства любви в огонь... не читая.

— Письмо от женщины! — воскликнула г-жа Шонтц входя.— Бумага и сургуч очень уж хорошо пахнут...

— Сударь, пожалуйте,— сказал почтовый рассыльный, поставив в передней две громаднейшие корзины.— Все уплачено. Будьте добры расписаться в книге.

— Все уплачено! — воскликнула г-жа Шонтц.— Это может быть только из Сансера.

— Так точно, сударыня,— сказал рассыльный.

— Твоя десятая муза — очень умная женщина,— сказала лоретка, распаковывая одну из корзин, пока Лусто расписывался.— Одобряю музу, знающую хозяйство, умеющую все делать: и жирные кляксы и жирные паштеты. О, какие дивные цветы!..— воскликнула она, открыв вторую корзину.— Во всем Париже нет красивее!.. Что такое? Что такое? Заяц, куропатки, полкозленка! Мы пригласим твоих друзей и устроим чудный обед. У твоей Атали просто талант к приготовлению козлятины!

Лусто ответил Дине, однако ответ его был продиктован не сердцем, а только умом. Но тем пагубнее было письмо — оно стало похоже на письмо Мирабо к Софи. Стиль истинно влюбленных прозрачен. Это чистая вода, сквозь которую видна глубь сердца между двумя берегами, украшенными милым вздором и усыпанными цветами души, рождающимися ежедневно, полными пьяня-

щего очарования — но только для двух существ. Поэтому, если любовное письмо способно доставить удовольствие третьему лицу, прочитавшему его, оно наверняка продиктовано рассудком, а не чувством. Но женщины всегда попадутся на эту удочку: им тогда кажется, что они-то и есть единственный источник этого вдохновения.

К концу декабря Лусто совсем перестал читать письма Дины, которые накапливались в никогда не запиравшемся ящике комода, под его рубашками, пропитывая их запахом духов. Лусто представился один из тех редких случаев, которые богема никогда не должна упускать. В середине этого месяца г-жа Шонтц, принимавшая большое участие в судьбе Лусто, прислала сказать, что просит его зайти к ней как-нибудь утром по делу.

— Мой дорогой, ты можешь жениться,— сказала она ему.

— К счастью, мог не один раз, моя дорогая!

— Когда я говорю «жениться», это значит выгодно жениться. Предрассудков у тебя нет, говорить можно прямо. Дело в следующем. Одна молодая особа согрешила, а мать не подозревает даже о первом поцелуе. Отец, честный, почтенный нотариус, имел благоразумие не дать делу никакой огласки. Он хочет в две недели выдать дочь замуж, приданого дает сто пятьдесят тысяч франков, потому что у него еще трое детей; но... он не дурак! — он дает в придачу еще сто тысяч франков с рук на руки, в возмещение ущерба. Речь идет о семействе, принадлежащем к старинной парижской буржуазии, квартал Ломбар...

— Хорошо, но почему же не женится любовник?

— Умер.

— Ну и роман! Только на улице Ломбар еще могут происходить подобные вещи...

— Уж не вообразил ли ты, что ревнивый брат убил соблазнителя?.. Молодой человек глупейшим образом умер от плеврита, который схватил, выходя из театра. Старший письмоводитель, без гроша за душой, этот молодец вздумал соблазнить девушку, чтобы получить контору отца. Вот она, небесная кара!

— Откуда ты все это знаешь?

— От Малаги, нотариус — ее покровитель.

— А, так это Кардо, сын того старичка с косичкой и в пудре — первого друга Флорентины?..

— Он самый! У Малаги любовник — восемнадцатилетний мозгляк музыкант; по совести говоря, она не может женить его в таком возрасте: у нее еще нет никакого повода желать ему зла. Кроме того, господин Кардо ищет человека по меньшей мере лет тридцати. Этому нотариусу, по-моему, будет очень лестно иметь зятем знаменитость. Итак, пораскинь умом, дружок! Ну, представь себе: долги твои уплачены, ты сразу богатеешь на двенадцать тысяч франков ренты, и ты избавлен от неприятности стать отцом — вот сколько выгод! И кроме того, ты женишься не на безутешной вдове. У них пятьдесят тысяч франков дохода, не считая конторы; значит, придет день, когда ты получишь еще никак не меньше пятнадцати тысяч ренты, вдобавок ты попадаешь в семью, которая в политическом мире занимает не последнее место: Кардо — шурин старика Камюзо, депутата, который так долго жил с Фанни Бопре.

— Да,— сказал Лусто,— Камюзо-отец женился на старшей дочери покойного папаши Кардо, и они вместе повесничали.

— Так вот,— продолжала г-жа Шонтц,— госпожа Кардо, жена нотариуса,— урожденная Шифревиль. Это, знаешь, химические фабриканты, нынешние аристократы, да какие! Господа Поташ! Это дурная сторона: у тебя будет ужасная теща... О, эта женщина убила бы дочь, если б узнала, что она «в таком положении»... Старуха Кардо ханжа, у нее губы, как две выцветшие розовенькие тесемочки. Такого кутилу, как ты, эта женщина ни за что не согласится ввести в семью. Из самых добрых побуждений она разнюхает все о твоем холостяцком житье и узнает твое прошлое. Но Кардо говорит, что пустит в ход отцовскую власть. Бедняге придется несколько дней полюбезничать со своей супругой, с этой деревяшкой, дружочек! Малага с ней встречалась и прозвала ее «церковной шваброй». Кардо сорок лет, он будет мэром своего округа, а может статься, и депутатом. Он предлагает вместо ста тысяч франков прехорошенький домик на улице Сен-Лазар, с двором и садом; особнячок обошелся ему всего в шестьдесят тысяч франков во время июльской кутерьмы; он тебе его

продаст — вот и будет повод разок-другой зайти к нему, поглядеть на дочь, понравиться матери... Госпожа Кардо поверит, что ты со средствами. Слушай, ты в этом особнячке заживешь, как принц! По ходатайству Камюзо тебя назначат библиотекарем в министерство, где нет ни одной книги. Так что, если ты вложишь свои деньги в газету, у тебя будет десять тысяч франков ренты, зарабатываешь ты шесть тысяч, твоя библиотека даст тебе четыре... Найди-ка получше! А женишься на непорочной овечке, так она через два года может превратиться в женщину легкого поведения... Чего тебе бояться? Того, что ты получишь прибыль раньше времени? Но это модно! Если хочешь меня послушаться, завтра же пойди обедать к Малаге. Увидишь там своего будущего тестя, он поймет, что кто-то проболтался, и кто ж, как не Малага? А на нее он не может сердиться, и ты тогда хозяин положения. Что же до твоей жены... Подумаешь!.. Зато ее грешок даст тебе право сохранить холостяцкие привычки...

— Ах! Твои слова бьют прямо в цель, как пушечное ядро.

— Я люблю тебя ради тебя, вот и все, и я рассудительна. Ну что ты сидишь, точно какой-то Абд-эль-Кадер из кабинета восковых фигур? Раздумывать тут нечего. Орел или решка — вот брак. Тебе выпал орел, правда?

— Ответ получишь завтра,— сказал Лусто.

— Лучше бы сейчас, Малага за тебя вечером замолвит словечко.

— Ну, хорошо, согласен!..

Лусто провел вечер за длинным письмом к маркизе, в котором излагал причины, заставляющие его жениться: вечная бедность, леность воображения, седые волосы, усталость моральная и физическая — словом, четыре страницы причин.

«А Дине я пошлю извещение о бракосочетании,— решил он.— Недаром Бисиу говорит, что в умении рвать путы любви мне нет подобного».

Лусто, который сначала ломался сам перед собой, наутро дошел до того, что уже стал бояться, как бы этот брак не расстроился. Поэтому он очень был мил с нотариусом.

— Я встречался,— сказал он ему,— с вашим батюшкой у Флорентины, а с вами, должно быть,— у мадемуазель Тюрке. На ловца и зверь бежит! Папаша Кардо,— простите, но мы так его называли,— был добряк и философ. В те годы Флорина, Флорентина, Туллия, Корали и Мариетта были неразлучны, как пять пальцев одной руки... С тех пор прошло пятнадцать лет. Вы понимаете, что пора безумств для меня миновала... Тогда меня влекло наслаждение, теперь я честолюбив; но мы живем в такое время, когда, чтобы достичь видного положения, надо быть чистым от долгов, иметь состояние, жену и детей. Если я плачу ценз, если я хозяин газеты, а не редактор, я могу стать депутатом, как и всякий другой!

Нотариус Кардо оценил это исповедание веры. Лусто показал товар лицом, он понравился нотариусу, который, как нетрудно догадаться, чувствовал себя непринужденнее с человеком, знавшим тайны его отца, чем с кем бы то ни было другим. На следующий день Лусто был принят в лоно семейства, как покупщик дома на улице Сен-Лазар; через три дня он был приглашен на обед.

Кардо жил поблизости от площади Шатле. Все в его старом доме говорило о богатстве и бережливости. Малейшая позолота была скрыта под зеленым газом. Мебель стояла в чехлах. Если вы не чувствовали никакого беспокойства за благосостояние этого дома, то позыв к зевоте вы чувствовали с первого же получаса. Скука восседала на всех диванах. Драпировки висели уныло. Столовая походила на столовую Гарпагона. Если бы Лусто и не знал о Малаге, то по одному взгляду на это семейство он бы понял, что жизнь нотариуса разворачивается на иных подмостках. Журналист обратил внимание на высокую молодую блондинку с застенчивым и томным взглядом голубых глаз. Он понравился ее старшему брату, четвертому письмоводителю конторы, которого манила в свои сети литературная слава, но ему предстояло стать преемником Кардо. Младшей сестре исполнилось двенадцать лет. Напустив на себя иезуитское смирение, Лусто изобразил перед г-жой Кардо человека религиозного и монархиста, был сдержан, приторно сладок, солиден, учтив.

На двадцатый день знакомства, после четвертого

обеда, Фелиси Кардо, украдкой наблюдавшая Лусто, принесла ему чашку кофе в оконную нишу и сказала тихонько, со слезами на глазах:

— Всю жизнь, сударь, я вам буду благодарна за ваше самоотверженное отношение к бедной девушке...

Лусто был растроган, столько чувства выразилось в ее взгляде, голосе, позе. «Она составила бы счастье честного человека»,— подумал он, пожав ей руку вместо ответа.

Госпожа Кардо считала своего зятя человеком с большим будущим; но среди всех великолепных качеств, которые она в нем предполагала, ее особенно восхищала его нравственность. Подученный беспутным нотариусом, Этьен поклялся, что у него нет ни незаконных детей, ни связи, которая могла бы омрачить будущее ее дорогой Фелиси.

— Вам, быть может, кажется, что я несколько преувеличиваю,— говорила ханжа журналисту,— но когда выдаешь замуж такую жемчужину, как моя Фелиси, надо позаботиться о ее будущем. Я не из тех матерей, которые рады избавиться от своей дочери. Господину Кардо не терпится, он торопит свадьбу дочери, ему хотелось бы, чтобы она уже совершилась. Только в этом мы с ним и расходимся... Хотя и можно быть спокойной за такого человека, как вы, сударь, за писателя, чью юность труд предохранил от современной распущенности, однако вы сами посмеялись бы надо мной, если б я выдала дочь, не узнав человека. Я, конечно, понимаю, что вы не невинное дитя — это только огорчило бы меня за мою Фелиси (последнее было сказано на ухо), но если б у вас были эти связи... Вот, например, сударь, вы, конечно, слышали о госпоже Роген, жене нотариуса, который, к несчастью для всего нашего сословия, приобрел такую печальную известность. Госпожа Роген еще с тысяча восемьсот двадцатого года находится в связи с одним банкиром...

— Да, с дю Тийе,— ответил Этьен и тут же прикусил язык, сообразив, как неосмотрительно он признался в знакомстве с дю Тийе.

— Так вот, сударь, если б вы были матерью, разве вы не дрожали бы от одной мысли, что вашу дочь может постигнуть участь госпожи дю Тийе? В ее возрасте, ей, урожденной Гранвиль, иметь соперницей женщину,

которой за пятьдесят лет!.. Я предпочту, чтобы дочь моя умерла, чем выдать ее за человека, имеющего связь с замужней женщиной!.. Гризетки, актрисы... С такими женщинами сходятся и бросают их. По-моему, эти особы не опасны, любовь для них ремесло, они не дорожат никем — одного потеряла, двух подцепила!.. Но женщина, изменившая супружескому долгу, должна привязаться душой к своему греху, извинить ее может только постоянство, если вообще может быть извинительно подобное преступление! Я по крайней мере так понимаю падение порядочных женщин, и это-то и делает их такими опасными...

Вместо того чтобы призадуматься над смыслом этих слов, Лусто подшучивал над ними у Малаги, куда отправился вместе с будущим тестем: нотариус и журналист сошлись как нельзя лучше.

Перед своими близкими приятелями Лусто уже разыгрывал человека с весом: жизнь его наконец приобретала смысл, ему улыбнулось счастье, через несколько дней он сделается обладателем прелестного особнячка на улице Сен-Лазар; он женится, он соединится брачными узами с прелестной женщиной, у него будет около двадцати тысяч франков годового дохода; он может удовлетворить свое честолюбие; он любим молодой девушкой, он станет родственником нескольких почтенных семейств... Словом, он несся на всех парусах по голубому озеру надежды.

Госпожа Кардо пожелала посмотреть гравюры к роману «Жиль Блаз», одной из богато иллюстрированных книг, выпущенных тогда французскими издателями, к Лусто как-то вечером принес г-же Кардо первые отпечатки гравюр. У супруги нотариуса был свой план: она попросила книгу лишь с целью возвратить ее, она искала предлога для неожиданного посещения своего будущего зятя. Взглянув сама на его холостяцкое житье, которое муж изобразил ей как нечто очаровательное, она узнает о нравах Лусто гораздо больше, чем из любых рассказов. Ее золовка, г-жа Камюзо, от которой была скрыта роковая тайна, страшилась этого брака для племянницы. Сын г-на Камюзо от первого брака, советник суда, сообщил своей мачехе, сестре нотариуса Кардо, вещи, не слишком лестные для журналиста. Лусто, че-

ловек проницательный, не увидел, однако, ничего странного в том, что жена богатого нотариуса желает посмотреть пятнадцатифранковую книгу, прежде чем ее купить. Умный человек никогда не унизится до размышлений о поступках буржуа, цель которых ускользает от него из-за этого невнимания; и пока он над ними насмехается, буржуа успевают связать его по рукам и ногам.

В первых числах января 1837 года г-жа Кардо с дочерью взяли фиакр и отправились на улицу Мартир, чтобы вернуть выпуски «Жиля Блаза» нареченному Фелиси; обе были в восторге, что увидят квартиру Лусто. Такого рода обыск весьма принят в старых буржуазных семьях. Привратник Этьена был в отсутствии; но дочь его, узнав от почтенной буржуазной дамы, что она говорит с будущей тещей и невестой г-на Лусто, охотно дала им ключ от квартиры Лусто, тем более что г-жа Кардо сунула ей в руку золотой.

Было около полудня — время, когда журналист возвращался домой после завтрака в «Английском кафе». Переходя пространство между церковью Лоретской богоматери и улицей Мартир, Лусто случайно взглянул на наемную карету, поднимавшуюся по улице Фобур-Монмартр, и ему показалось, будто перед ним возникло видение в образе Дины! Он застыл на месте, убедившись, что за дверцей фиакра действительно сидит его Дидина!

— Зачем ты приехала? — воскликнул он.

«Вы» было невозможно сказать женщине, которую предстояло отправить обратно.

— О любовь моя! — воскликнула она.— Разве ты не читал моих писем?..

— Читал,— ответил Лусто.

— И что же?

— И что же?

— Ты — отец! — воскликнула провинциалка.

— Вот как! — сказал он, не замечая бесчеловечности этого восклицания. «Так или иначе,— соображал он про себя,— а надо приготовить ее к развязке».

Он сделал знак кучеру остановиться, подал руку г-же де ла Бодрэ и оставил кучера с каретой, полной чемоданов, дав себе твердое обещание «безотлагательно,— как он про себя выразился,— отправить даму со всеми ее пожитками туда, откуда она приехала».

— Сударь! Сударь! — окликнула его маленькая Памела.

Девочка не лишена была сообразительности и поняла, что три женщины вместе не должны встречаться на квартире холостяка.

— Ладно, ладно! — отмахнулся журналист, увлекая Дину.

Тогда Памела подумала, что эта незнакомая дама, наверно, родственница; все же она добавила:

— Ключ в дверях. Там матушка вашей невесты.

Смущенному Этьену сквозь поток фраз, которыми осыпала его г-жа де ла Бодрэ, послышалось: «Там моя матушка» — единственное, вполне возможное для него обстоятельство — и он вошел. Его невеста и теща, находившиеся в это время в спальне, забились в уголок, увидев Этьена с какой-то женщиной.

— Наконец-то, мой Этьен, мой ангел, я твоя на всю жизнь! — вскричала Дина, бросаясь ему на шею и крепко его обнимая, пока он запирал дверь.— В этом замке Анзи моя жизнь была беспрерывной мукой, я больше не могла терпеть, и когда пришло время объявить о том, что составляет мое счастье, у меня на это не хватило сил. И вот я здесь... твоя жена, мать твоего ребенка! О! Не написать мне ни разу! Два месяца держать меня в неизвестности!..

— Но, Дина, ты ставишь меня в затруднительное положение...

— Ты любишь меня?..

— Как тебя не любить?.. Но не лучше ли было остаться в Сансере?.. Я нахожусь в величайшей нужде и боюсь, что тебе придется ее разделить...

— Твоя нужда будет рай для меня. Я хочу жить здесь и никогда не расставаться с тобой...

— Бог мой, это хорошо на словах, но...

Услышав эту фразу, сказанную резким тоном, Дина села и залилась слезами. Лусто не мог устоять перед таким взрывом отчаяния; он сжал ее в объятиях и поцеловал.

— Не плачь, Дидина! — воскликнул он.

Произнося эти слова, фельетонист вдруг увидел в зеркале призрак г-жи Кардо, смотревший на него из глубины комнаты.

— Ну-ну, Дидина, пойди с Памелой, присмотри сама, как там выкладывают твои чемоданы,— сказал он ей на ухо.— Иди, не плачь, мы будем счастливы.

Он проводил ее до дверей и вернулся к супруге нотариуса, чтобы отвратить грозу.

— Сударь,— сказала ему г-жа Кардо,— я поздравляю себя с тем, что пожелала собственными глазами поглядеть, как-то живет тот, кто должен был стать моим зятем. Моя Фелиси не будет женой такого человека, как вы, даже под угрозой смерти. Вы обязаны думать о счастье вашей Дидины, сударь.

И ханжа удалилась, уводя за собой Фелиси, которая тоже плакала, потому что уже успела привыкнуть к Лусто. Ужасная г-жа Кардо уселась в свой экипаж, не сводя дерзкого взгляда с бедной Дины, которую, как нож в сердце, ударила фраза: «Это хорошо на словах», но, как и все любящие женщины, она, тем не менее, верила ласковому: «Не плачь, Дидина!»

Лусто, не лишенный своего рода решимости, выработанной случайностями его тревожной жизни, сказал себе:

«Дидина благородна; узнав о моей женитьбе, она пожертвует собой ради моего будущего, а я-то уж сумею ее подготовить».

И в восторге, что придумал хитрость, успех которой казался ему обеспеченным, он стал приплясывать, напевая на известный мотив: «Тра-ля-ля-ля! Ля!» «А как только спроважу Дидину,— продолжал он разговаривать сам с собой,— пойду с визитом к мамаше Кардо и наговорю ей с три короба: будто я соблазнил ее Фелиси в день святого Евстахия... будто Фелиси, согрешившая из любви ко мне, носит под сердцем залог нашего счастья, и... ля-ля-ля-ля! Отец не сможет уличить меня во лжи... ля, ля... дочь тоже... Тра-ля-ля! Ergo [1], нотариус, жена, дочь — все в моих руках, тра-ля-ля-ля!»

К своему великому удивлению, Дина застала Этьена отплясывавшим какой-то дикий танец.

— Я пьян от радости, что ты приехала, что нас ждет счастье!..—сказал он ей, чтобы как-нибудь объяснить этот порыв безумного веселья.

---

[1] Следовательно *(лат.)*.

— А я-то думала, что ты меня больше не любишь!..— вскричала бедняжка, выронив из рук мешочек с принадлежностями ночного туалета; она опустилась в кресло и заплакала от радости.

— Устраивайся, мой ангел,— сказал Этьен, втайне посмеиваясь.— Мне тут надо черкнуть два слова, я хочу отделаться от одной холостяцкой пирушки, чтобы принадлежать тебе. Приказывай, ты здесь у себя дома.

Этьен написал Бисиу:

«Дорогой друг, ко мне нагрянула моя баронесса: она расстроит мою женитьбу, если мы не пустим в ход всем известную хитрость из тысячи и одного водевиля театра Жимназ. Так вот, рассчитываю на тебя: явись мольеровским старикашкой поругать твоего племянника Леандра за его глупость. Пока десятая муза будет сидеть спрятанная в моей комнате, надо подействовать на ее чувства: бей крепче, будь зол, оскорби ее. А я, как ты сам понимаешь, стану изображать слепую преданность и буду глух к твоим словам, чтобы дать тебе право кричать во весь голос. Приходи, если можешь, в семь часов.

Весь твой *Э. Лусто*».

Отправив это письмо с рассыльным к человеку, который был насквозь парижанин, то есть не знал большего удовольствия, как разыграть комическую сценку, называемую художниками «шаржем», Лусто сделал вид, что он очень озабочен, как бы поудобнее устроить у себя сансерскую музу: он занялся раскладкой привезенных ею вещей, познакомил ее со слугами и квартирным распорядком, выражая такое неподдельное простосердечие и удовольствие и рассыпаясь в таких ласковых словах и нежностях, что Дина могла себя счесть самой любимой женщиной на свете. Эта квартира, где малейшая вещь носила на себе отпечаток моды, нравилась ей гораздо больше, чем ее замок Анзи. Журналист спросил Памелу Мижон, смышленую четырнадцатилетнюю девочку, хочет ли она быть горничной важной баронессы. Восхищенная Памела тотчас приступила к своим обязанностям и побежала на бульвар заказать обед ресторатору. Г-же ла Бодрэ стало ясно, какая бедность скрывалась под чисто показной роскошью холостяцкого хозяйства

журналиста; она обнаружила полное отсутствие самых необходимых предметов домашнего обихода. Вступая во владение шкафами и комодами, Дина строила сладостные планы, как она исправит характер Лусто, как сделает его домоседом, какой уют создаст ему дома. Новизна положения заслоняла от Дины всю глубину ее несчастья, во взаимной любви она видела отпущение своего греха и еще не простирала взоров за пределы этой квартиры. Памела, по смышлености не уступавшая лоретке, направилась прямо к г-же Шонтц за столовым серебром и рассказала ей, что произошло с Лусто. Предоставив все в доме в распоряжение Памелы, г-жа Шонтц побежала к Малаге, своей задушевной подруге, чтобы предупредить Кардо о несчастье, обрушившемся на его будущего зятя.

Нимало не обеспокоенный опасностью, угрожавшей его женитьбе, журналист с каждым часом делался все нежнее со своей провинциалкой. Обед послужил поводом для прелестного ребячества любовников, наконец завоевавших свободу и счастье быть наедине. После кофе, когда Лусто сидел перед горящим камином с Диной на коленях, вбежала встревоженная Памела.

— Господин Бисиу пришел! Что ему сказать? — спросила она.

— Пойди в спальню,— сказал журналист своей возлюбленной,— я скоро от него отделаюсь; но это один из самых близких моих друзей, и мне придется рассказать ему о моем новом образе жизни.

— Ого! Два прибора и голубая бархатная шляпа! — воскликнул весельчак.— Ухожу... вот что значит жениться: всему говоришь прощай. Как богатеют-то, меняя квартиру, а?

— Да разве я женюсь? — сказал Лусто.

— Как! Уж ты теперь не женишься? — воскликнул Бисиу.

— Нет!

— Нет? Вот тебе на! Что такое произошло? Не натворил ли ты глупостей? Как! Тебе, благословением неба, привалило счастье: двадцать тысяч ренты, особняк, жена, связанная родством с лучшими семействами крупной буржуазии,— словом, жена с улицы Ломбар...

— Молчи, молчи, Бисиу, все кончено. Убирайся!

— Чтоб я да убрался! За мною права дружбы, я ими намерен злоупотребить. Что с тобой случилось?

— Случилось то, что ко мне приехала та дама из Сансера, она будет матерью, и мы собираемся жить вместе в любви и дружбе до конца наших дней... Ты бы все равно узнал об этом завтра, так вот — узнай сегодня.

— Все дымовые трубы на мою голову, как говорит Арналь! Однако, дорогой мой, если эта женщина любит тебя ради тебя самого, так она вернется, откуда приехала. Когда же это бывало, чтобы провинциалка освоилась в Париже? Твое самолюбие будет страдать на каждом шагу. Ты забываешь, что такое провинциалка! Ведь у нее и счастье такое же скучное, как несчастье; она с таким же талантом избегает изящества, как парижанка его изобретает. Послушай, Лусто! Я понимаю, что страсть заставила тебя забыть, в какое время мы живем; но у меня, у твоего друга, нет мифологической повязки на глазах... Вникни же в свое положение! Ты пятнадцать лет вращаешься в литературных кругах, ты уже не молод, ты стоптал себе пятки, столько дорог ты исходил!.. Да, мой милый, ты вроде парижских мальчишек, которые подгибают чулок, чтобы спрятать дыру на пятке: скоро ты весь чулок подогнешь!.. Да и вообще твоя затея старовата. Твои фразы всем знакомы, даже больше, чем секретные лекарства...

— Скажу тебе, как регент кардиналу Дюбуа: «Хватит с меня этих пинков!» — приглушенно воскликнул Лусто.

— О дряхлый юноша,— ответил Бисиу,— ты чувствуешь нож хирурга в своей ране... Ты уже выдохся, не так ли? Ну, а чего ты достиг в годы молодого пыла, под гнетом нужды? Ты не в первых рядах, у тебя нет и тысячи франков. Вот твое положение в цифрах. Сможешь ли ты, на склоне своих дней, содержать пером семью, если твоя жена — честная женщина и не умеет, как лоретка, извлекать тысячефранковые билеты из заповедных глубин мужского кармана? Ты опускаешься в «нижний трюм» общественной сцены... Это только денежная сторона. Рассмотрим сторону политическую. Мы маневрируем в эпоху по существу буржуазную, когда честь, добродетель, нежные чувства, талант, знание — словом,

гений,— состоят в том, чтобы платить по векселям, не делать долгов и успешно обделывать свои делишки. Будьте солидны, будьте благопристойны, имейте жену и детей, платите за квартиру, платите налоги, выполняйте свои гражданские обязанности, будьте похожи на всех вам подобных — и вы добьетесь всего, даже станете министром. И у тебя на это есть надежда, ты ведь не какой-нибудь Монморанси! Ты мог бы удовлетворить всем условиям, необходимым, чтобы стать политическим деятелем, ты умел бы творить все пакости, которых требует это ремесло, даже играть в посредственность,— это вышло бы у тебя почти натурально. И ради женщины, которая, истощив твои последние интеллектуальные и физические силы, оставит тебя с носом, как только минует срок ее вечным страстям,— через три, пять или семь лет,— ты вдруг показываешь спину святому семейству с улицы Ломбар, своей политической карьере, тридцати тысячам франков дохода, почетному положению... Так ли должен кончать человек, утративший иллюзии?.. Завел бы шашни с актрисой — я понимаю: дело серьезное и нужное. Но жить с замужней женщиной!.. Это значит явно лезть на рожон! Зачем глотать яд порока, не вкушая его сладости?

— Молчи, говорю тебе! Я люблю госпожу де ла Бодрэ и предпочитаю ее всем сокровищам мира, всякому видному положению... На минуту я мог поддаться честолюбивому порыву... но все это бледнеет перед счастьем быть отцом.

— Ах, тебя соблазняет отцовство? Но, несчастный, ведь мы отцы только детям от наших законных жен! Что такое малыш, не носящий нашего имени? Всего только последняя глава романа! У тебя отнимут твое дитя! Мы за десять лет перевидали двадцать водевилей на этот сюжет... Общество, милый мой, рано или поздно даст себя почувствовать: почитай «Адольфа»! О боже! Я вижу вас в недалеком будущем, когда вы хорошо узнаете друг друга, вижу вас несчастными, жалкими, без положения, без денег, грызущими друг друга, словно члены акционерного общества, которых надул директор. Ваш директор — это счастье.

— Ни слова больше, Бисиу.

— А я только начинаю. Слушай, дорогой. Последнее

время много нападали на брак; но, не говоря уже о том, что брак — это единственный способ обеспечить наследование, он искупает все свои неприятные стороны, предоставляя красивым холостякам без гроша за душой возможность разбогатеть в два месяца! Поэтому нет холостяка, который рано или поздно не раскаялся бы, что по собственной вине прозевал невесту с тридцатью тысячами франков дохода...

— Ты просто не хочешь меня понять! — раздраженно крикнул Лусто.— Пошел вон... Она там...

— Прости! Но зачем ты не сказал этого сразу?.. Ты человек взрослый... она тоже,— добавил он тише, но достаточно громко, чтобы его услышала Дина.— Она заставит тебя здорово поплатиться за свое счастье...

— Пусть это безумие, но я его совершу... Прощай!

— Человек за бортом! Спасайте! — крикнул Бисиу.

— Чтоб черт побрал друзей, считающих себя вправе читать наставления! — сказал Лусто, открывая дверь в комнату, где сидела в кресле подавленная горем г-жа де ла Бодрэ, утирая слезы вышитым платочком.

— Зачем я сюда приехала! — простонала она.— О боже мой! За что?.. Этьен, я не такая провинциалка, как вы думаете... Вы мной играете.

— Ангел мой,— ответил Лусто, подняв Дину с кресла и полумертвую отводя в гостиную,— мы оба заплатили своим будущим — жертва за жертву. Пока любовь удерживала меня в Сансере, мне здесь подыскали невесту; но я сопротивлялся... что говорить, я был очень несчастлив.

— О, я уезжаю! — крикнула Дина, вскочив, как безумная, и подбегая к двери.

— Ты останешься, моя Дидина, все кончено! Подумай! Разве дешево достается мне это богатство? Разве не должен я жениться на белобрысой дылде с красным носом, дочке нотариуса, и получить в придачу тещу, которая по части ханжества даст сто очков вперед госпоже Пьедефер!..

В гостиную влетела Памела и шепнула на ухо Лусто:

— Госпожа Шонтц!..

Лусто поднялся и, оставив Дину на диване, вышел из комнаты.

— Все кончено, котик,— сказала ему лоретка.— Кардо не хочет ссориться с женой из-за тебя. Ханжа закатила ему такую сцену... первый сорт! Словом, нынешний старший письмоводитель, который два года был помощником прежнего, берет девицу и контору.

— Мерзавец! — вскричал Лусто.— Как это он за два часа решился?..

— Господи, да очень просто! Этот шельмец знал секреты покойного и догадался о положении хозяина, поймав несколько слов во время его ссоры с госпожой Кардо. Нотариус надеется на твою порядочность и деликатность, потому что у них все уже улажено. Этот письмоводитель поведения безупречного, да еще взял повадку ходить к обедне. И такой отъявленный лицемер да чтоб не понравился мамаше? Кардо и ты останетесь друзьями. Он скоро будет директором огромного акционерного общества и может быть тебе полезен. Ах! Ты пробуждаешься от прекрасного сна!

— Я теряю деньги, жену и...

— Любовницу,—договорила г-жа Шонтц, улыбаясь,— потому что теперь ты больше, чем женат: ты станешь несносен, тебя будет тянуть домой, и ничего в тебе не будет нараспашку — ни в одежде, ни в поведении... К тому же мой Артур выделывает невесть что, я должна быть ему верна и порву с Малагой. Позволишь мне взглянуть на нее в замочную скважинку? — попросила лоретка.— «Красивей зверя нет в пустыне!» — воскликнула она.— Тебя провели! Надутая, сухая, плаксивая, не хватает только тюрбана, как у леди Дэдлей.

И лоретка умчалась.

— Что там еще?..— спросила г-жа де ла Бодрэ, до слуха которой донеслось шуршание шелкового платья и женский шепот.

— Ангел мой,— воскликнул Лусто,— теперь мы соединены неразрывно! Мне сейчас принесли устный ответ на письмо, которое я при тебе писал и которым расстроил мой брак...

— Ты отказался от этой богатой партии?

— Да!

— О! Я буду тебе больше, чем жена, я отдам тебе жизнь, я хочу быть твоей рабой!..— воскликнула бедная обманутая женщина.— Я не думала, что можно любить

тебя еще сильней!.. Значит, я не случайное приключение в твоей жизни, я буду всей твоей жизнью?

— Да, моя красавица, моя благородная Дидина...

— Поклянись мне,— продолжала она,— что нас разлучит только смерть!..

Лусто захотелось приукрасить свою клятву самой обольстительной, вкрадчивой нежностью. И вот почему.

По пути от входной двери, где он получил прощальный поцелуй лоретки, в гостиную, где пластом лежала Муза, оглушенная таким количеством последовательных ударов, Лусто вспомнил о ненадежном здоровье маленького ла Бодрэ, о его деньгах, а также слова Бьяншона: «Это будет богатая вдова!» — и он сказал сам себе: «Во сто крат лучше иметь женой госпожу де ла Бодрэ, чем Фелиси!»

И сразу же он принял решение. Он с безупречным совершенством вновь разыграл комедию любви. Но его низкий расчет, его притворная бурная страсть имели самые досадные последствия. Дело в том, что по дороге из Сансера в Париж г-жа де ла Бодрэ мысленно пришла к заключению, что ей надо поселиться на отдельной квартире, поблизости от Лусто; но свидетельство любви, которое ей только что дал любовник, отказавшись от такого блестящего будущего, и в особенности безоблачное счастье первых дней этого незаконного супружества помешали ей заговорить о разлуке. Следующий день долженствовал быть да и был праздником, во время которого подобное предложение «ее ангелу» прозвучало бы ужасным диссонансом. Со своей стороны, Лусто, чтобы сильней привязать к себе Дину, держал ее в состоянии непрерывного опьянения, сделав их жизнь сплошным праздником. Эти-то обстоятельства и способствовали тому, что двое умных людей увязли в трясине, куда их привело безрассудное сожительство, которому, к несчастью, есть столько примеров в литературном мире Парижа.

Таким образом, программа провинциальной любви, которую так насмешливо набросала перед Лусто г-жа де ла Бодрэ, была полностью осуществлена; но ни он, ни она об этом не вспомнили. Страсть глуха и слепа от рождения.

Для г-жи де ла Бодрэ эта зима в Париже была тем же, чем был для нее октябрь в Сансере. Чтобы приобщить «свою жену» к парижской жизни, Этьен разнообразил этот новый медовый месяц посещением театров, где Дина соглашалась сидеть только в бенуаре. Первое время г-жа де ла Бодрэ сохраняла еще кое-какие следы провинциальной застенчивости, она опасалась, что ее увидят, она прятала свое счастье. Она говорила: «Ведь господин де Кланьи, господин Гравье способны за мной последовать!» Она боялась Сансера в Париже. Лусто, из самолюбия, развитого в нем до крайности, занялся образованием Дины; он повел ее к лучшим портнихам, он указал ей на нескольких молодых женщин, бывших тогда в моде, рекомендуя их как образцы, которым надо следовать. Поэтому провинциальная внешность г-жи де ла Бодрэ быстро изменилась. Лусто, встречаясь с друзьями, получал поздравления по поводу своей победы. Все это время он писал мало и сильно задолжал, хотя гордая Дина, потратившая на новые наряды все свои сбережения, думала, что не ввела своего возлюбленного ни в малейший расход. Через три месяца Дина совсем освоилась с Парижем, она упивалась Итальянской оперой, знала репертуар всех театров, знала актеров, газеты, модные словечки; она привыкла к постоянной суете парижской жизни, к этому стремительному потоку, в котором тонет всякое воспоминание. Она уже не вытягивала шею и не разевала рот, как статуя Удивления, перед непрерывными неожиданностями, которыми встречает Париж приезжих. Она научилась дышать воздухом этой остроумной, живой, плодотворной среды, где мыслящие люди чувствуют себя в родной стихии, с которой потом уже не могут расстаться.

Лусто получал все газеты, и однажды утром, просматривая их, Дина наткнулась на две строчки, напомнившие ей Сансер и ее прошлое,— две строчки, имевшие к ней отношение. Вот они:

«Господин барон де Кланьи, прокурор сансерского суда, назначен товарищем генерального прокурора судебной палаты в Париже».

— Как он тебя любит, этот добродетельный чиновник! — сказал, улыбаясь, Лусто.

— Бедняга! — ответила она.— Что я тебе говорила? Он всюду последует за мной.

В это время Этьен и Дина находились в самой яркой и самой полной фазе страсти, на той ее ступени, когда люди уже совершенно привыкли друг к другу, но когда любовь все еще сохраняет свою сладость. Друг друга знают, но еще друг друга не поняли, ни один уголок души еще не открывался дважды, еще не изучили один другого настолько, чтобы предугадывать, как впоследствии, мысль, слова, жесты по поводу и самых значительных и самых малых событий. Очарование еще длится, еще нет ни стычек, ни разногласий, ни безучастных взглядов. Душевные движения всегда совпадают. И Дина дарила Лусто исполненными чувства колдовскими словами и еще более колдовскими взорами, какие все женщины находят в эту пору.

— Убей меня, когда разлюбишь. Если бы ты меня разлюбил, мне кажется, я могла бы убить тебя, а потом бы покончила с собой.

На эти прелестные преувеличения Лусто отвечал Дине:

— Я одного прошу у бога: чтобы ты убедилась в моем постоянстве. Не я, а ты меня бросишь!..

— Любовь моя безгранична...

— Безгранична! — повторял Лусто.— А представь себе такой случай. Меня затащили в компанию холостяков, я встречаю какую-нибудь из прежних моих любовниц, она насмехается надо мной; из тщеславия я прикидываюсь независимым и возвращаюсь домой только на другой день утром... Ты все так же будешь меня любить?

— Женщина может быть только тогда уверена, что ее любят, когда ее предпочтут другой, и если ты ко мне вернешься, если... О, ты мне тогда откроешь счастье простить вину обожаемому человеку...

— Значит, я любим впервые в моей жизни! — восклицал Лусто.

— Наконец-то ты это заметил! — отвечала она.

Лусто предложил написать по письму, в котором каждый из них изложил бы причины, вынуждающие его кончить самоубийством; владея таким письмом, каждый из них мог бы безнаказанно убить неверного. Не-

смотря на взаимные обещания, ни тот, ни другой не написали такого письма.

Но даже в эти счастливые дни Лусто давал себе слово непременно обмануть Дину, когда она ему надоест, и всем пожертвовать ради успеха этого обмана. Г-жа де ла Бодрэ была для него настоящей находкой. Тем не менее он чувствовал себя, как под ярмом. Вступая в подобный брак, г-жа де ла Бодрэ обнаружила и благородство мыслей и силу, которую дает женщине сознание собственного достоинства. В этой полной близости, когда оба снимают маску, она сохранила стыдливость, выказала мужественную прямоту и твердость, свойственную честолюбивым людям и лежавшую в основе ее характера. И Лусто почувствовал к ней невольное уважение. К тому же, став парижанкой, Дина превзошла в очаровании самую очаровательную лоретку; она умела быть забавной, острила, как Малага; но ее образование, ум, ее исключительная начитанность позволяли ей делать широкие обобщения, тогда как ум Малаг и Флорин находит применение лишь в очень узкой сфере интересов.

— Дина — это соединение Нинон и Сталь,— говорил Этьен своему другу Бисиу.

— Женщина, сочетавшая в себе библиотеку и гарем, весьма опасна,— отвечал шутник.

Как только беременность ее стала заметна, г-жа де ла Бодрэ решила больше не выходить из дому; но, прежде чем затвориться в нем и довольствоваться только поездками за город, она пожелала присутствовать на первом представлении драмы Натана. Это своего рода литературное торжество занимало умы двух тысяч человек, которые считали, что они-то и есть весь Париж. Дина никогда не бывала на первых представлениях и испытывала вполне естественное любопытство, к тому же ее привязанность к Лусто возросла до такой степени, что она гордилась своим падением; она с какой-то страстной настойчивостью искала столкновений со светом, она хотела смотреть ему в лицо, не потупляя взора. Она заказала себе восхитительное платье, подходившее к ее болезненному, утомленному виду и бледности ее лица, которая придавала ее чертам тонкую выразительность; гладкие черные волосы, причесанные на

прямой пробор, еще сильнее эту бледность подчеркивали. Блестящие серые глаза, окруженные темными тенями, казались еще прекраснее. Но ее ожидала ужасная пытка. По довольно простой случайности ложа, предоставлявшаяся журналисту на премьеры, оказалась рядом с ложей, взятой Анной Гростет. Две близкие подруги не поздоровались и не пожелали узнать друг друга.

После первого акта Лусто вышел из ложи и оставил Дину одну под огнем всех взглядов, под сверканием наведенных на нее лорнетов, в то время как баронесса де Фонтэн и графиня Мари де Ванденес, приехавшие с Анной Гростет, принимали у себя самых элегантных представителей большого света. Одиночество, в котором оказалась Дина, стало нестерпимой пыткой, тем более что она не догадалась прибегнуть к помощи лорнета, чтобы, разглядывая ложи, овладеть собою; напрасно принимала она благородные и задумчивые позы, напрасно устремляла взор в пространство — она мучительно чувствовала себя мишенью для всех взглядов; она не могла скрыть свое замешательство и стала чем-то напоминать провинциалку, развернула свой носовой платок, непроизвольно сделала несколько жестов, которые давно себе запретила. Наконец в антракте между вторым и третьим действием какой-то мужчина открыл дверь ее ложи! Вошел г-н де Кланьи, почтительный, но печальный.

— Я счастлива выразить вам мою радость по поводу вашего повышения в чине,— сказала она.

— О сударыня! Ради кого же приехал я в Париж?..

— Как! Неужели я хоть сколько-нибудь была причиной вашего согласия на это назначение? — сказала она.

— Единственной. Когда вы уехали, Сансер мне стал невыносим, я умирал там...

— Мне так приятна ваша искренняя дружба,— сказала Дина, протягивая руку товарищу прокурора.— В моем положении я должна дорожить истинными друзьями, я им теперь узнала цену... Я думала, что потеряла ваше уважение; но то, что вы пришли ко мне, доказывает обратное, и это трогает меня больше, чем десять лет вашей привязанности.

— Вы предмет любопытства всего зала,— продолжал товарищ прокурора.— Ах, дорогая! Ваша ли это роль? Разве вы не могли быть счастливой и вместе с тем сохранить доброе имя?.. Я только что слышал, что вы любовница господина Лусто и живете с ним вместе, как муж и жена!.. Вы навсегда порвали с обществом, даже на будущее время, когда, быть может, выйдете замуж за вашего возлюбленного и будете нуждаться в почтении, которое презираете сегодня... Не лучше ли вам было жить отдельно, с матерью, которая так любит вас, что возьмет под свою защиту? По крайней мере были бы соблюдены приличия...

— Я совершила ошибку, появившись сегодня в театре,— сказала она,— вот и все. Я безвозвратно распрощалась со всеми преимуществами, которыми свет награждает женщин, умеющих соединить свое счастье с благопристойностью. Мое отречение бесповоротно, я хотела бы разрушить все вокруг, чтобы превратить свою любовь в огромную пустыню, где только бог, да он, да я... Мы слишком много жертв принесли друг другу и связаны навсегда; связаны стыдом, если хотите, но связаны неразрывно... Я счастлива, и особенно счастлива потому, что могу спокойно любить вас, как друга, и доверять вам больше, чем в прошлом,— ведь мне так нужен друг!..

Прокурор проявил истинное благородство и даже величие души. На это признание, в котором трепетала душа Дины, он ответил раздирающим сердце голосом:

— Я хотел бы навестить вас, чтобы убедиться, что вы любимы... Тогда бы я успокоился, ваше будущее не пугало бы меня больше... Понимает ли ваш друг, как велика ваша жертва, дышит ли благородством его любовь?..

— Приходите на улицу Мартир и увидите!

— Да, приду,— сказал он.— Я уже проходил мимо ваших дверей, но не посмел вас навестить. Вы еще не знаете, что такое литературная среда,— продолжал он.— Разумеется, есть и там светлые исключения; но эти журналисты тащат за собой столько неслыханных зол, и первым среди них я считаю гласность, которая позорит все! Если женщина вступает в связь с...

— С прокурором? — сказала, улыбаясь, баронесса.

— И что ж! Даже после разрыва не все еще потеря-

но, свет не узнал ничего; но с человеком более или менее известным — люди узнают все. Да вот... пример у вас тут, перед глазами. Вы сидите спиной к спине с графиней Мари де Ванденес; ради человека более знаменитого, чем Лусто, ради Натана, она чуть не наделала безумств, дальше которых идти некуда! Но вот они разошлись, и настолько, что не узнают друг друга... Подойдя к краю пропасти, графиня спаслась неизвестно как; она не бросила ни мужа, ни дома; но дело касалось знаменитого человека, и о ней говорили целую зиму. Если бы не большое состояние, не громкое имя и не положение мужа, если бы не умное поведение этого государственного человека, который, говорят, был безукоризнен с женой, она бы погибла: на ее месте ни одна женщина не сохранила бы доброго имени...

— Что делалось в Сансере, когда вы оттуда уехали? — спросила г-жа де ла Бодрэ, чтобы переменить разговор.

— Господин де ла Бодрэ сообщил всем, что он сам настоял на вашем переезде сюда, так как ваша поздняя беременность требовала, чтобы роды произошли в Париже, где вы будете под наблюдением светил медицины,— ответил прокурор, догадавшись, о чем хочет знать Дина.— Таким образом, несмотря на шум, который произвел ваш отъезд, ваше положение до сегодняшнего вечера оставалось «легальным».

— О! — вскричала она.— Значит, господин де ла Бодрэ еще сохраняет надежду...

— Ваш муж, сударыня, поступил, как обычно: он все рассчитал.

В это время в ложу вошел Лусто, и прокурор, с достоинством поклонившись, удалился.

— Ты имеешь больший успех, чем пьеса,— сказал Этьен Дине.

Этот краткий миг торжества доставил Дине больше радости, чем ей выпало на долю за всю ее жизнь в провинции; но, выходя из театра, она была задумчива.

— Что с тобой, моя Дидина? — спросил Лусто.

— Я спрашиваю себя, как может женщина покорить свет?

— Есть два способа: быть госпожой де Сталь или иметь двести тысяч франков ренты!

— Общество,— сказала она,— держит нас на поводке нашего тщеславия, нашего желания себя показать... Вздор! Мы будем философами!

Этот вечер был последним проблеском обманчивого достатка, в котором г-жа де ла Бодрэ жила со времени своего приезда в Париж. Три дня спустя она заметила тучи на лбу Лусто, который, куря сигару, нервно шагал в своем садике, вокруг газона. Дине передалась свойственная нраву г-на де ла Бодрэ похвальная привычка никогда не иметь никаких долгов, и вот она узнала, что в доме нет ни гроша, что за квартиру не плачено за два срока и не сегодня-завтра будет предъявлен исполнительный лист. Парижская действительность шипом вонзилась в сердце Дины; она раскаялась, что своей любовью вовлекла Этьена в рассеянную жизнь. Перейти от наслаждения к труду очень нелегко: когда человек счастлив, поэтическое вдохновение в нем иссякает, когда несчастлив — оно брызжет сверкающими фонтанами. Дина была счастлива беззаботностью своего Этьена, радовалась, когда он с блаженной улыбкой курил после завтрака сигару, растянувшись, словно ящерица на солнце, и ни разу она не нашла в себе мужества выступить в роли судебного исполнителя, посланного журналом. Она решила заложить через посредство дядюшки Мижона, отца Памелы, немногие драгоценности, какие у нее были, и за них «тетка» — Дина уже начала говорить на жаргоне своего квартала — ссудила ей девятьсот франков. Триста франков она отложила на пеленки, на предстоящие роды и весело передала нужную сумму Лусто, который обрабатывал борозда за бороздой, или, если угодно, строка за строкой, рассказ для одного журнала.

— Мой милый,— сказала она ему,— кончай свой рассказ, ничем не жертвуя нужде; шлифуй свой слог, глубже обдумывай сюжет. Довольно я изображала даму, буду хозяйкой и займусь домом.

Этьен четыре месяца водил Дину обедать в кафе «Риш», где для них оставляли отдельный кабинет. Провинциалка пришла в ужас, узнав, что за последние две недели Этьен задолжал там пятьсот франков.

— Как! Мы пили вино по шесть франков бутылка! Нормандская камбала стоит сто су!.. Булочка — два-

дцать сантимов!..— восклицала она, просматривая счет, который протянул ей журналист.

— Обворовывает ли нас ресторатор или кухарка — разница невелика,— сказал Лусто.

— Отныне за эти деньги, которые ты тратишь в ресторане, ты дома будешь получать роскошный обед.

Сняв у домовладельца кухню и две комнаты для прислуги, г-жа де ла Бодрэ написала несколько слов матери и попросила у нее белья и тысячу франков в долг. Мать прислала ей честную и набожную кухарку, а с нею два чемодана белья, столовое серебро и две тысячи франков.

Через десять дней после спектакля, на котором они встретились, г-н де Кланьи в четыре часа, прямо из суда, зашел проведать г-жу де ла Бодрэ и застал ее за вышиванием маленького чепчика. Вид этой женщины, такой гордой, такой честолюбивой, такой образованной, так непринужденно царившей в замке Анзи, снизошедшей теперь до хозяйственных забот и занятой шитьем для будущего ребенка, тронул бедного прокурора, только что покинувшего зал присяжных. Заметив, что один из тонких пальцев, которые он поцеловал, исколот иголкой, он понял, что шитье не было для г-жи де ла Бодрэ игрой в материнскую любовь. Во время этого первого посещения прокурор многое прочел в сердце Дины. Подобное прозрение стоило влюбленному прокурору нечеловеческого усилия над собой. Он понял, что Дина хотела стать для журналиста добрым гением, хотела направить его на благородный путь; материальное неустройство Лусто навело ее на мысли о какой-то его моральной распущенности. Два существа, связанные любовью, такой искренней с одной стороны и так хорошо разыгранной с другой, обменялись за четыре месяца не одним признанием. Как ни старательно маскировался Этьен, некоторые его обмолвки пролили свет на прошлое этого холостяка, талант которого был так задавлен нищетой, так развращен дурными примерами, так искалечен непосильными для него испытаниями. «В довольстве он расправит крылья»,— думала Дина. Она хотела дать ему счастье, покой и уют, внести в его дом бережливость и порядок, привычные людям, родившимся в провинции. Дина сделалась домовитой хозяйкой так же, как сделалась поэтом — через душевный порыв ввысь.

«Его счастье будет моим оправданием». Эти слова, вырванные прокурором у Дины, объясняли настоящее положение вещей. Огласка, которой в вечер премьеры предал Этьен свою победу над Диной, открыла глазам прокурора намерения журналиста. Для Этьена г-жа де ла Бодрэ была, как говорят англичане, довольно красивым пером на шляпе. Он всего меньше склонен был наслаждаться прелестью таинственной и робкой любви, прятать от всех на свете свое счастье; он испытывал чванливую радость проходимца, которого впервые почтила своею любовью порядочная женщина. Тем не менее товарищ прокурора был на некоторое время введен в обман заботами, какими всякий мужчина окружает женщину в положении г-жи де ла Бодрэ,— а Лусто умел придать им особое обаяние благодаря ласковости, отличающей людей с приятными от природы манерами. Ведь в самом деле есть мужчины, рождающиеся немного обезьянами, и они так естественно подражают самым пленительным проявлениям чувства, что в них совсем не заметно актерство, природные же задатки Лусто особенно развились на той арене, где до сих пор протекала его жизнь.

За время между апрелем и июлем, когда Дине предстояло родить, она поняла, почему Лусто не победил нужды: он был ленив и слабоволен. Правда, мозг повинуется только своим собственным законам; он не признает ни требований жизни, ни велений чести; прекрасное произведение не создается потому, что умирает жена, что надо заплатить позорные долги или накормить детей; тем не менее не существует больших талантов без большой воли. Эти две силы-близнецы необходимы для сооружения громадного здания славы. Люди избранные всегда поддерживают свой мозг в деятельном состоянии, как рыцари былых времен держали наготове свое оружие. Они укрощают лень, отказываются от волнующих наслаждений; если же уступают потребности в них, то только в меру своих сил. Таковы были Скриб, Россини, Вальтер Скотт, Кювье, Вольтер, Ньютон, Бюффон, Бейль, Боссюэ, Лейбниц, Лопе де Вега, Кальдерон, Боккаччо, Аретино, Аристотель — словом, все люди, развлекающие, поучающие или ведущие за собой свою эпоху. Воля может и должна быть предметом

гордости гораздо больше, нежели талант. Если талант — это развитая природная склонность, то твердая воля — это ежеминутно одерживаемая победа над инстинктами, над влечениями, которые воля обуздывает и подавляет, над прихотями и преградами, которые она осиливает, над всяческими трудностями, которые она героически преодолевает.

Злоупотребление сигарами поддерживало леность Лусто. Табак усыпляет горе, но и неизбежно ослабляет энергию. Если сигара разрушала физические силы этого человека, падкого на удовольствия, то ремесло критика было для него пагубно в моральном отношении. Критика так же губительна для критика, как «за» и «против» для адвоката. При этом ремесле ум развращается, рассудок теряет свою прямолинейную ясность. Писатель существует тогда только, когда тверды его убеждения. Поэтому нужно различать два вида критики, как в живописи признается искусство и ремесло. Критиковать по способу большинства нынешних фельетонистов — это значит выражать более или менее остроумно какие попало суждения, подобно тому как адвокат защищает в суде самые противоречивые дела. Журналисты-дельцы всегда найдут в разбираемом ими произведении тему для разглагольствования Такого рода критика под стать ленивым умам, людям, лишенным высокого дара воображения, или тем, кто, обладая им, не имеет мужества его развивать. Всякая театральная пьеса, всякая книга превращается под их пером в сюжет, не требующий от их воображения ни малейшего усилия, и отчет о ней, шутливый или серьезный, пишется в угоду увлечениям дня. Что же до суждения, какого бы то ни было, то французский ум, удивительно легко поддающийся как доводам «за», так и доводам «против», всегда найдет оправдание. К голосу совести эти bravi[1] так мало прислушиваются и так мало дорожат своим мнением, что восхваляют в фойе театра то самое произведение, которое поносят в своих статьях. Сколько их, в случае нужды, переходит из одной газеты в другую, нимало не смущаясь тем, что новый фельетон потребует от них взглядов, диаметрально противоположных прежних.

[1] Наемные убийцы *(итал.)*.

ним. Более того, г-жа де ла Бодрэ улыбалась, когда Лусто по поводу одного и того же события писал одну статью в легитимистском духе, другую в династическом. Она аплодировала его изречению: «Мы — адвокаты общественного мнения!..»

Подлинная критика — это целая наука, она требует полного понимания произведений, ясного взгляда на стремления эпохи, устойчивых политических воззрений, веры в определенные принципы; иными словами — беспристрастного разбора, точного отчета, приговора. И критик становится тогда властителем дум, судьей своего времени, он несет священное служение, между тем как другой — это акробат, проделывающий свои фокусы ради заработка, пока целы его ноги. Между Клодом Виньоном и Лусто лежала пропасть, отделяющая искусство от ремесла.

Дина, ум которой быстро освободился от ржавчины и отличался широким кругозором, очень скоро составила себе суждение о своем кумире как литераторе. Она видела, что Лусто садится за работу только в последнюю минуту, под давлением самой унизительной необходимости, и выходит у него «пачкотня», как говорят художники о произведении, которое не «выстрадано»; но она оправдывала Лусто, говоря себе: «Он поэт!» — настолько необходимо было ей оправдаться в собственных глазах. Разгадав этот секрет жизни многих литераторов, она поняла также, что перо Лусто никогда не будет надежным источником средств. И тогда любовь заставила ее предпринять шаги, до которых она никогда бы не унизилась ради себя самой. Через посредство матери она вошла в переговоры со своим мужем, чтобы получить от него пенсион, но скрыла это от Лусто, щепетильность которого, как ей казалось, нужно было щадить.

Незадолго до конца июля Дина гневно скомкала письмо, в котором мать сообщала ей решительный ответ де ла Бодрэ.

«Госпожа де ла Бодрэ не нуждается в пенсионе в Париже, когда к ее услугам роскошнейшая жизнь в ее замке Анзи: пусть она туда вернется!»

Лусто подобрал письмо и прочел.

— Я ему отомщу,— сказал он г-же де ла Бодрэ тем

зловещим тоном, который так нравится женщинам, когда потакают их неприязни.

Пять дней спустя Бьяншон и знаменитый акушер Дюрио водворились у Лусто, который, после ответа г-на де ла Бодрэ, везде распространялся о своем счастье и делал из родов Дины чуть ли не торжество. Г-н де Кланьи и спешно приехавшая г-жа Пьедефер были крестным отцом и крестной матерью новорожденного, ибо предусмотрительный прокурор опасался, что Лусто сделает какой-нибудь серьезный промах. Г-жа де ла Бодрэ родила мальчика, которому позавидовали бы и королевы, жаждущие наследника престола. Бьяншон в сопровождении г-на де Кланьи отправился в мэрию записать ребенка как сына г-на и г-жи де ла Бодрэ, без ведома Этьена, который, со своей стороны, побежал в типографию заказать следующее извещение:

Баронесса де ла Бодрэ благополучно разрешилась сыном. Господин Этьен Лусто с удовлетворением вас об этом извещает. Мать и дитя здоровы.

Лусто уже разослал первые шестьдесят извещений, когда г-н де Кланьи, зайдя справиться о здоровье роженицы, случайно увидел список обитателей Сансера, которым Лусто собирался послать это любопытное извещение, причем выше были переименованы шестьдесят парижан, уже получивших его. Товарищ прокурора забрал список и еще не посланные извещения, показал их г-же Пьедефер, внушив ей ни в коем случае не допускать, чтобы Лусто повторил свою гнусную шутку, и бросился в кабриолет. Преданный прокурор заказал у того же типографа другое извещение, которое гласило:

Баронесса де ла Бодрэ благополучно разрешилась сыном. Барон Мельхиор де ла Бодрэ имеет честь вас об этом уведомить. Мать и дитя здоровы.

Распорядившись уничтожить пробные экземпляры, набор и все, что могло свидетельствовать о существовании первого извещения, г-н де Кланьи пустился в разъезды, чтобы перехватить отправленные извещения; многие удалось ему заменить у швейцаров, и так он добыл их штук тридцать; наконец после трехдневных розысков, незамененным осталось только одно извещение,

посланное Натану. Товарищ прокурора пять раз заезжал к этой знаменитости и все не мог застать его дома. Когда же г-н де Кланьи потребовал свиданья и был наконец принят, то анекдот об извещении уже ходил по Парижу. Одни видели в нем остроумную фальшивку, своего рода язву, от которой не защищена ни одна репутация, даже дутая; другие утверждали, будто сами читали извещение и передали его какому-то другу семейства ла Бодрэ; многие бранили безнравственность журналистов. Таким образом, последнее существующее извещение сделалось чем-то вроде редкости. Флорина, с которой жил Натан, показывала его с почтовой маркой, проштемпелеванное почтой и с адресом, написанным рукой Лусто. Поэтому, когда товарищ прокурора заговорил об извещении, Натан усмехнулся.

— Отдать вам этот памятник легкомыслия и ребячества? — воскликнул он.— Этот автограф — такое оружие, от которого не откажется и цирковой атлет. Извещение это доказывает, что у Лусто нет ни сердца, ни хорошего вкуса, ни достоинства; что он не знает ни света, ни общественной морали; что он оскорбляет самого себя, когда уже не знает, кого ему еще оскорбить... Только сын мещанина, явившийся из Сансера, чтобы стать поэтом, и сделавшийся каким-то bravo первого попавшегося журнала, может послать подобное извещение! Вы согласны? Такой документ, сударь, пригодится для архивов нашей эпохи... Сегодня Лусто мне льстит, а завтра может потребовать моей головы... Ах, простите мне эту шутку, я забыл, что вы товарищ прокурора! Я питал страсть к одной даме света, стоящей настолько же выше госпожи де ла Бодрэ, насколько ваша порядочность выше мальчишества Лусто; но я скорей умру, чем произнесу ее имя... Несколько месяцев ее любезного жеманства стоили мне ста тысяч франков и моего будущего; но я не нахожу, что слишком дорого за них заплатил!.. И я никогда не жаловался!.. Если женщины открывают обществу тайну своей страсти,— это их последний дар любви; но мы... для этого нужно быть только Лусто! Нет, и за тысячу экю я не отдам этой бумажки.

— Сударь,— сказал наконец прокурор после длившегося полчаса словесного сражения,— я объяснялся

по этому поводу с пятнадцатью или шестнадцатью литераторами, и вы единственный, которому оказалось недоступно чувство чести!.. Дело идет не об Этьене Лусто, а о женщине и ребенке, и не подозревающих того ущерба, который наносят их состоянию, их будущему, их чести. Кто знает, сударь, может быть, когда-нибудь вам придется просить правосудие о снисхождении к какому-нибудь другу, к человеку, честь которого вам дороже вашей собственной? Ведь правосудие может припомнить, что вы были неумолимы... Как может колебаться такой человек, как вы? — сказал прокурор.

— Я хотел только дать вам почувствовать всю цену моей жертвы,— ответил тогда Натан и отдал извещение; он согласился на такого рода сделку, учтя положение прокурора.

Когда глупая выходка журналиста была заглажена, г-н де Кланьи отчитал Лусто в присутствии г-жи Пьедефер; но оказалось, что Лусто крайне раздражен его хлопотами.

— То, что я сделал, сударь,— ответил Этьен,— было сделано намеренно. У господина де ла Бодрэ шестьдесят тысяч франков ренты, а он отказывает в пенсионе своей жене. Я хотел дать ему почувствовать, что хозяин ребенка — я.

— Э, сударь, я давно вас разгадал,— ответил г-н де Кланьи.— Потому-то я и поспешил взять на себя обязанности восприемника маленького Полидора; он записан в акте гражданского состояния как сын барона и баронессы де ла Бодрэ, и если в вас говорит отцовское чувство, вы должны радоваться сознанию, что этот ребенок — наследник одного из лучших майоратов Франции.

— А мать, по-вашему, должна умереть с голоду?

— Будьте спокойны, сударь,— с горечью ответил г-н де Кланьи, которому удалось наконец вырвать у Лусто признание о его подлинных чувствах, подтверждения которым он так давно ожидал,— я беру на себя переговоры об этом с господином де ла Бодрэ.

Господин де Кланьи вышел со смертью в душе: Дина, его божество, любима из расчета! Не слишком ли поздно откроются у нее глаза? «Бедная женщина!» — думал он, уходя.

Воздадим же ему справедливость, ибо кому же ее и воздать, как не товарищу прокурора? Он слишком искренне любил Дину, чтобы видеть в ее унижении средство добиться победы в будущем, он весь был — сострадание, весь — преданность; он любил.

Заботы о кормлении ребенка, плач ребенка, необходимость покоя для матери в первые дни, присутствие г-жи Пьедефер — все это составило такой дружный заговор против литературной работы, что Лусто переселился в три комнаты, снятые во втором этаже для старой ханжи. Журналист, ходивший теперь на первые представления без Дины и большую часть дня разлученный с нею, с каким-то особенным увлечением пользовался своею свободой. Не раз позволял он своим собутыльникам подхватить себя под руки и затащить в веселую компанию. Не раз он оказывался у лоретки, подруги своего приятеля, в среде литературной богемы. Он снова встречался с женщинами, блистающими молодостью, великолепно одетыми, которым бережливость представлялась как бы отрицанием их молодости и их власти. Дина, несмотря на чудесную красоту, вернувшуюся к ней на третий месяц после родов, не могла выдержать сравнения с этими цветами, так рано увядающими, но такими прекрасными, пока они купаются в роскоши. Однако в домашней жизни для Этьена появилось много привлекательного. За три месяца мать и дочь, с помощью приехавшей из Сансера кухарки и маленькой Памелы, придали квартире совершенно новый вид. Журналист получал там завтрак и обед, сервированные с известной роскошью. Дина, красивая, изящно одетая, старалась предупреждать желания своего дорогого Этьена; он чувствовал себя царьком в доме, где все, вплоть до ребенка, было подчинено его эгоизму. Нежная заботливость Дины проявлялась даже в самых ничтожных мелочах, и Этьен не решался лишить ее обманчивых радостей своей притворной страсти. Однако Дина предвидела, что жизнь вне дома, в которую дал себя вовлечь Лусто, будет причиной гибели и ее любви и семьи. После десяти месяцев кормления она отняла сына от груди, переселила мать в комнаты Этьена и восстановила ту близость, которая неразрывно связывает мужчину с женщиной, когда женщина любит и притом

умна. Один из поразительнейших штрихов в повести, которой мы обязаны Бенжамену Констану, и одно из объяснений, почему была покинута Элеонора,— это недостаток ежедневной или, если угодно, еженощной близости между нею и Адольфом. В романе у каждого из любовников был свой дом, оба подчинялись свету и соблюдали приличия. Элеонора, так часто оставляемая в одиночестве, всей силой своей огромной любви вынуждена бороться с мыслями о свободе, охватывающими Адольфа вдали от нее. В совместной жизни постоянный обмен взглядов и мыслей дает женщинам такое оружие, что мужчина может их покинуть, лишь имея особенно важный повод, которого они никогда не дают, пока любят.

Начался совсем новый период жизни и для Этьена и для Дины. Дина хотела стать необходимой для него, хотела пробудить энергию в этом человеке, слабоволие которого ей благоприятствовало,— она видела в нем залог успеха; она находила для журналиста сюжеты, набрасывала для него основу произведения и в случае надобности писала за него целые главы. Она влила в жилы этого умирающего таланта свежую кровь, она подарила ему свои мысли, свои суждения — словом, она создала две книги, которые имели успех. Не раз спасала она самолюбие Этьена, приходившего в отчаяние, когда он чувствовал, что у него нет ни единой мысли: она диктовала ему, исправляла или заканчивала его фельетоны. Она хранила в строжайшей тайне это соавторство, даже г-жа Пьедефер ничего не знала. Это искусственное оживление творческого духа Этьена было вознаграждено увеличением доходов, позволившим семье жить в достатке до конца 1838 года. Лусто привыкал к мысли, что его работа выполняется Диной, и платил ей, как энергично выражается народ, медным грошом, прося полтора сдачи. Дина щедро расточала на него сокровища своего самоотвержения, и оттого еще больше росла ее привязанность к нему. Вскоре настало время, когда она потратила на Лусто столько душевных сил, что отказаться от него ей стало невозможно. А тут еще ей вновь предстояло стать матерью. Год был невыносимо тяжелый. Несмотря на старания обеих женщин, Лусто наделал долгов; он напряг все силы, чтобы по-

крыть их, усердно работал, пока не оправилась от родов Дина, которая нашла, что он совершил подвиг, настолько хорошо она знала Этьена. После этого усилия, растерявшись при мысли, что отныне на его шее две женщины, двое детей и две служанки, он счел себя неспособным содержать семью пером, когда и одного себя едва мог прокормить. И он предоставил событиям идти своим чередом. Этот расчетливый обманщик старательно разыгрывал дома комедию любви, чтобы иметь больше свободы за дверью. Гордая Дина одна несла бремя этого существования. Мысль: «Он меня любит» — давала ей нечеловеческие силы. Она трудилась, как трудились самые могучие таланты этой эпохи. Рискуя потерять свежесть и здоровье, Дидина стала для Лусто тем, чем была мадемуазель де Ла-Шо для Гардана в великолепном, правдивом рассказе Дидро. Но, жертвуя собой, она совершила благородную ошибку, пожертвовав и своими туалетами; она отдала перекрасить свои платья и стала носить только черное.

«Вырядилась, как на похороны»,— говорила про нее Малага, издевавшаяся над Лусто.

К концу 1839 года Лусто, путем нечувствительных сделок с совестью, пришел мало-помалу к разграничению своего кошелька и кошелька семьи, подобно Людовику XV, который отделял свою тайную сокровищницу от «королевской казны». Он стал обманывать Дину относительно суммы своих доходов. Заметив эту низость, г-жа де ла Бодрэ испытала жестокие муки ревности. Она решила наряду с жизнью литератора вести жизнь светской женщины, но, сопровождая журналиста на все первые представления, она заметила у него неожиданные вспышки оскорбленного самолюбия. Черный цвет ее платья отбрасывал на него тень, придавая мрачность его лицу, а подчас и грубость его обращению. Играя в своей семье роль избалованной женщины, он проявлял и ее безжалостную требовательность; он укорял Дину за сомнительную свежесть ее платьев, извлекая в то же время выгоды из этой жертвы, которая так дорого стоит любовнице; так же точно женщина, приказав вам погрузиться в клоаку, чтобы спасти ее честь, говорит: «Не люблю грязи!», когда вы из нее выходите.

И Дина вынуждена была натянуть отпущенные до той поры вожжи, восстановить власть, которой все умные женщины умеют подчинять безвольных мужчин. Но, сделав этот ход, она утратила значительную часть своего морального блеска. Высказанные женщиною подозрения вызывают ссоры, что влечет за собою потерю уважения к ней, ибо она сама спускается с высоты, на которую первоначально себя поставила. Потом Дина пошла на уступки. Так, Лусто уже мог принимать у себя многих своих друзей — Натана, Бисиу, Блонде, Фино, чьи манеры и речи и самое присутствие оказывали на женщин разлагающее влияние. Была сделана попытка убедить г-жу де ла Бодрэ, что ее принципы, ее моральная брезгливость были остатками провинциального жеманства. Наконец, ей стали проповедовать правила поведения для выдающейся женщины.

Вскоре ее ревность дала против нее оружие. На масленице 1840 года Дина маскировалась, ездила на балы в Оперу, устраивала ужины, желая разделять с Этьеном все его развлечения.

В праздник на третьей неделе поста, вернее, на другой день в восемь часов утра, Дина, в маскарадном костюме, возвращалась с бала домой, чтобы лечь спать. Она ездила подсматривать за Лусто, который, считая ее больной, решил воспользоваться праздником, чтобы поухаживать за Фанни Бопре. Предупрежденный приятелем, журналист своим скромным поведением обманул бедную женщину, которая и не желала ничего лучшего, как быть обманутой в своих подозрениях. Выходя из фиакра, Дина встретила г-на де ла Бодрэ, которому указал на нее швейцар. Старичок холодно спросил жену, взяв ее за руку:

— Вы ли это, сударыня?

Этот внезапно появившийся призрак супружеской власти, перед которой она чувствовала себя такой маленькой, и особенно эти слова едва не оледенили сердце несчастного создания, застигнутого в маскарадном костюме грузчика: чтобы не привлечь внимания Этьена, она выбрала костюм, под которым он не стал бы ее искать. Воспользовавшись тем, что она еще под маской, Дина убежала, не ответив, переоделась и поднялась к матери, где ее ждал г-н де ла Бодрэ. Несмотря на ис-

поленный достоинства вид, она залилась краской, встретившись со стариком лицом к лицу.

— Что вам от меня нужно, сударь? — спросила она.— Разве мы не навсегда расстались?..

— Фактически — да,— ответил г-н де ла Бодрэ,— но юридически — нет...

Госпожа Пьедефер делала дочери знаки, которые Дина наконец заметила и поняла.

— Только ваши интересы могли привести вас сюда,— сказала она с горечью.

— Наши интересы,— холодно поправил ее человечек,— ибо у нас есть дети... Ваш дядюшка Силас Пьедефер умер в Нью-Йорке; он наживал в разных странах состояние, разорялся, снова богател и в конце концов оставил после себя что-то вроде семисот или восьмисот тысяч франков,— говорят, даже миллион двести тысяч франков; но чтобы получить эти деньги, нужно реализовать товары... Я — распорядитель нашего общего имущества, я осуществляю ваши права.

— О! — воскликнула Дина.— Во всем, что касается дел, я доверяю только господину де Кланьи; он знает законы, посоветуйтесь с ним; все, что он сделает, будет сделано хорошо.

— Я не нуждаюсь в господине де Кланьи,— сказал г-н де ла Бодрэ,— чтобы отнять у вас моих детей.

— Ваших детей! — вскричала Дина.— Ваших детей, которым вы не послали ни гроша! Ваших детей!..

К этим словам она могла добавить только громкий, раскатистый смех; но невозмутимость тщедушного ла Бодрэ заморозила этот взрыв веселья.

— Ваша матушка,—сказал г-н де ла Бодрэ,—мне сейчас их показывала, они очаровательны, я не хочу с ними разлучаться и увожу их в наш замок Анзи, хотя бы для того, чтобы они не видели матери, замаскированной, как маскируются какие-то...

— Довольно! — повелительно сказала г-жа де ла Бодрэ.— Что вам нужно от меня? Зачем вы сюда явились?

— За доверенностью на получение наследства вашего дядюшки Силаса...

Дина взяла перо и написала несколько слов г-ну де Кланьи, сказав мужу, чтобы он пришел вечером. В пять

часов прокурор судебной палаты (г-н де Кланьи был повышен в чине) разъяснил г-же де ла Бодрэ ее положение; но он взял на себя труд упорядочить его, предложив мировую старичку, которого привело в Париж одно лишь корыстолюбие. Г-н де ла Бодрэ, которому доверенность жены требовалась для свободы действий, купил ее на следующих условиях: прежде всего он обязался ежегодно выплачивать жене по десять тысяч франков до тех пор, пока ей угодно будет — так говорилось в акте — жить в Париже; но по достижении детьми шестилетнего возраста они должны быть переданы г-ну де ла Бодрэ. Кроме того, прокурор добился выплаты годового содержания вперед. Г-н ла Бодрэ любезно пришел проститься с женой и детьми, для чего нарядился в коротенькое белое прорезиненное пальтецо. Он так крепко держался на ногах и так мало изменился с 1836 года, что Дина отчаялась похоронить когда-нибудь этого страшного карлика.

Из сада, где журналист курил сигару, он видел г-на де ла Бодрэ только то краткое время, какое потребовалось этому насекомому, чтобы пересечь двор; но этого было достаточно для Лусто: он ясно понял, что этот щуплый старичок собирался разрушить все надежды, какие его жена могла возлагать на его смерть. Эта мимолетная сцена сильно изменила тайные планы журналиста. За второй сигарой он стал обдумывать свое положение. Совместная жизнь с баронессой де ла Бодрэ до сих пор стоила ему деньгами ровно столько же, сколько и ей. Говоря коммерческим языком, счета их в точности балансировались. Но, учитывая свои малые средства и тяжкий труд, каким достаются ему деньги, Лусто в душе считал себя ее кредитором. Положительно настала подходящая минута, чтобы бросить эту женщину. Почти три года он играл комедию, которая никогда не становится привычкой, устал от нее, но поневоле скрывал свое раздражение. Холостяк, которому никогда не приходилось притворяться, напускал на себя дома улыбку, похожую на улыбку должника перед кредитором. Это принуждение становилось для него с каждым днем все тягостнее. До сих пор громадная выгода, какую сулило будущее, давала ему силы; но когда он увидел маленького ла Бодрэ, так же беззаботно отправлявшегося в Соединенные Шта-

ты, как если бы дело шло о поездке на пароходе в Руан, он потерял всякую веру в будущее. Он вернулся из сада в уютную гостиную, где Дина только что приняла прощальный привет своего мужа.

— Этьен,— сказала г-жа де ла Бодрэ,— знаешь, что мне сейчас предложил мой супруг и повелитель? Он уже отдал распоряжения на случай, если мне вздумается пожить в Анзи, пока его там не будет, и надеется, что я уступлю совету матери вернуться туда с детьми...

— Совет превосходный,— сухо ответил Лусто, хотя он достаточно знал Дину, чтобы понимать, о каком ответе страстно молили ее глаза.

От его тона, выражения, равнодушного взгляда больно сжалось сердце женщины, жившей одною своею любовью, она не нашла ответа, только две крупные слезы выкатились из ее глаз и потекли по щекам; но Лусто заметил их, лишь когда она взяла платок, чтобы смахнуть эти две жемчужины горя.

— Что ты, Дидина? — воскликнул он, пораженный в сердце живостью ее чувства.

— В ту минуту,— сказала она,—когда я радовалась, что навсегда отвоевала нашу свободу ценой своего состояния... и когда я отдала даже то, что для матери всего дороже, своих детей... потому что он отберет их, как только им будет шесть лет... и, чтобы их видеть, придется вернуться в Сансер! Какая пытка! Боже мой, что я наделала!

Лусто опустился перед Диной на колени и стал целовать ей руки с самой вкрадчивой нежностью.

— Милый мой ангел, ты меня не понимаешь,— сказал он.— Я трезво сужу о себе и знаю, что не стою всех этих жертв. В литературном отношении я — человек второго разряда. В тот день, когда мне не удастся блеснуть в фельетоне, хозяева бульварных листков прогонят меня, вышвырнут, как старый башмак. Подумай об этом! Нашей братии, канатным плясунам, пенсии не полагается! Слишком много нашлось бы талантливых людей, заслуживших пенсию, если бы государство пошло по пути подобной благотворительности! Мне сорок два года, я стал ленив, как байбак. Я это чувствую: моя любовь (он с нежностью поцеловал ей руку) может быть для тебя только гибельна. Когда мне было двадцать два года, я жил, как ты знаешь, с Флориной; но что простительно в молодые

годы, что тогда кажется красивым, очаровательным, то в сорок лет — позорно. До сих пор мы делили бремя нашего существования,— нельзя сказать, чтобы последние полтора года оно было прекрасным. Из самоотверженной любви ко мне ты ходишь во всем черном, это не делает мне чести...

Дина пожала плечами с великолепным безмолвным презрением, которое стоит всех излияний в мире...

— Да,— продолжал Этьен,— я знаю, ты жертвуешь всем ради моих прихотей, даже своей красотой. А мое сердце изношено в битвах с жизнью, душа полна предчувствий злого будущего, я не могу вознаградить твою нежную любовь равной любовью. Мы долго были безоблачно счастливы... И я не хочу видеть дурного конца этой прекрасной поэмы. Разве я не прав?..

Госпожа де ла Бодрэ так любила Этьена, что это благоразумие, достойное г-на де Кланьи, доставило ей удовольствие и осушило ее слезы.

«Значит, он любит меня ради меня самой!» — подумала она, глядя на него улыбающимися глазами.

После четырех лет близости в любви этой женщины соединились все оттенки чувства, открытые нашим аналитическим умом и порожденные современным обществом; Бейль (Стендаль), один из замечательнейших людей нашего времени, о недавней потере которого еще скорбит литература, первый прекрасно их обрисовал. Лусто производил во всем существе Дины какое-то магнетическое глубокое потрясение, которое приводит в расстройство душевные, умственные и физические силы женщины и разрушает в ней всякую способность сопротивления. Стоило Лусто взглянуть на нее, положить ей руку на руку, и вот уже Дина — вся покорность. От нежного слова, от улыбки этого человека расцветала душа бедной женщины, обрадованной или опечаленной каждым ласковым или холодным его взглядом. Когда она шла с ним под руку по улице или по бульвару, приноравливаясь к его шагу, то растворялась в нем настолько, что теряла сознание своего «я». Завороженная умом, зачарованная манерами этого человека, она в его пороках видела лишь легкие недостатки. Она любила дым сигары, который ветер заносил к ней в комнату из сада, и, вдыхая его, не только не морщилась, но наслаждалась им. Она ненавидела кни-

гопродавца или издателя газеты, когда тот отказывал Лусто в деньгах, ссылаясь на огромную сумму уже взятых авансов. Более того, она оправдывала этого цыгана, когда он, написав повесть, рассчитывал на новый гонорар, тогда как ею следовало погасить деньги, полученные вперед. Такова, вероятно, настоящая любовь, включающая в себя все виды любви: любовь сердечную, любовь рассудочную, любовь-страсть, любовь-каприз, любовь-склонность, согласно определениям Бейля. Дидина любила настолько, что в иные минуты, когда ее критическое чувство, такое верное и неустанно упражнявшееся со времени ее приезда в Париж, позволяло ей ясно читать в душе Лусто, страсть все же брала верх над рассудком и подсказывала ей оправдания.

— А я,— ответила она ему,— кто же я? Женщина, поставившая себя вне общества. Если я лишилась женской чести, почему бы и тебе ради меня немного не поступиться мужской честью? Разве мы не живем вне общественных приличий? Почему не принять от меня того, что Натан принимает от Флорины? Мы сочтемся, когда будем расставаться, а... ты ведь знаешь... нас разлучит только смерть. Твоя честь, Этьен,— в моем блаженстве; как моя — в моей верности и твоем счастье. Если я не даю тебе счастья, всему конец. Если же я тебя огорчаю, накажи меня. Долги наши уплачены, у нас десять тысяч франков ренты, а вдвоем мы в год, конечно, заработаем восемь тысяч франков. *Я буду писать пьесы!* С полутора тысячами франков в месяц разве мы не станем богаты, как Ротшильды? Будь спокоен. Теперь у меня появятся чудесные платья, я всякий день буду дарить тебе радость удовлетворенного тщеславия, как в день премьеры Натана...

— А твоя мать? Ведь она ежедневно ходит к обедне и хочет привести священника, чтобы он уговорил тебя отказаться от этого образа жизни.

— У всякого свои слабости. Ты куришь; она, бедняжка, читает мне наставления! Но она заботится о детях, водит их гулять, предана мне безгранично, боготворит меня; не можешь же ты запретить ей плакать!..

— Что скажут обо мне?..

— Но мы живем не для света! — воскликнула она, поднимая Этьена и усаживая его рядом с собой.— И во-

обще когда-нибудь мы поженимся... на нашей стороне случайности морского путешествия...

— Об этом я не подумал! — наивно вскричал Лусто, сказав про себя: «Успею порвать и после возвращения этого карлика ла Бодрэ».

Начиная с этого дня Лусто зажил роскошно; на первых представлениях Дина могла поспорить с самыми изящными женщинами Парижа. Избалованный домашним благополучием, Лусто из фатовства разыгрывал перед своими друзьями роль человека пресыщенного, замученного, разоренного г-жой де ла Бодрэ.

— О, как одолжил бы меня друг, который избавил бы меня от Дины! Но это никому не удастся! — говорил он.— Она так меня любит, что выбросится в окошко по первому моему слову.

Журналист старался вызвать к себе сочувствие и, отправляясь развлекаться, принимал меры предосторожности против ревности Дины. Словом, он изменял ей без зазрения совести. Г-н де Кланьи был искренне огорчен унизительным положением Дины, которая могла быть так богата, так высоко вознесена и уже находилась на пороге осуществления своих давнишних честолюбивых мечтаний. Когда он явился к ней и сказал: «Вас обманывают!» — она ответила:

— Я знаю.

Прокурор опешил. Оправившись, он хотел сделать какое-то замечание, но г-жа де ла Бодрэ перебила его на первом слове:

— Любите вы меня еще? — спросила она.

— Я готов умереть за вас! — воскликнул он, выпрямляясь во весь рост.

Глаза бедняги загорелись, как факелы, он задрожал, как лист, у него захватило дыхание, зашевелились волосы,— он поверил в счастье стать мстителем за своего кумира, и эта скудная награда наполнила его таким ликованием, что он едва не лишился рассудка.

— Чему же вы удивляетесь? — спросила она, заставив его снова сесть.— Такова и моя любовь.

Прокурор понял тогда этот аргумент ad hominem! [1].

---

[1] К человеку *(лат.)*. Доказательство применительно к данному лицу.

И не мог сдержать слезы,— он, только что подписавший человеку смертный приговор!

Пресыщенность Лусто — эта ужасная развязка незаконного сожительства — проявлялась в тысяче мелочей, подобных песчинкам, ударяющимся в цветные стекла беседки, где мы предаемся волшебным грезам любви. Эти песчинки, обращающиеся в камешки, Дина заметила только, когда они приняли размеры булыжника. Г-жа де ла Бодрэ наконец вполне поняла Лусто.

— Это поэт,— говорила она матери,— поэт, совершенно беззащитный против несчастья, малодушный из лени, а не от недостатка любви, и чересчур падкий на чувственные наслаждения; он как кошка, но можно ли ненавидеть кошку? Что станется с ним без меня? Я помешала его браку, у него нет будущего. В нищете талант его погибнет.

— О моя Дина! — воскликнула г-жа Пьедефер.— В каком аду ты живешь!.. Какое чувство даст тебе силу устоять?..

— Я буду ему матерью! — сказала она.

Бывают ужасные положения, когда человек на что-нибудь решается лишь после того, как друзья заметят его позор. Он идет на сделку с самим собой, пока ему удается ускользнуть от критика нравов, являющегося в роли обвинителя. Г-н де Кланьи, с неловкостью patito [1], только что сделался палачом Дины!

«Я хочу сохранить мою любовь и буду тем же, чем была госпожа Помпадур, которая хотела сохранить свою власть»,— сказала она себе, когда уехал г-н де Кланьи.

Слова эти ясно говорят о том, что ей тяжко становилось нести бремя любви и что любовь эта превращалась в труд вместо отрады.

Новая роль, взятая на себя Диной, была страшно мучительна, но Лусто не облегчал ее исполнения. Когда ему хотелось уйти после обеда, он разыгрывал очаровательные сценки дружбы, говорил Дине слова, полные нежности; он водил свою подругу на цепи ее рабского чувства, а когда эта цепь натирала наболевшее место, неблагодарный спрашивал: «Разве тебе больно?»

Эти лживые ласки, это притворство подчас приводи-

---

[1] Влюбленного *(итал.)*.

ли к оскорбительным последствиям для Дины, которая еще верила возвратам его нежности. Увы! Мать с постыдной легкостью уступала в ней место возлюбленной. Она чувствовала себя игрушкой в руках этого человека и наконец сказала себе: «Ну что ж, пусть я буду его игрушкой!», находя в этом острое наслаждение, отраду приговоренного к смерти.

Эта сильная духом женщина при одной мысли об одиночестве чувствовала, что мужество покидает ее. Она предпочла терпеть заведомую, неизбежную пытку жестокой близости, только бы не лишиться радостей любви, тем более восхитительных, что рождались они посреди колебаний, в ужасной борьбе с самой собой, из «нет», обращавшегося в «да»! Каждое мгновение становилось найденной в пустыне каплей солоноватой воды, которую путешественник пьет с бо́льшим наслаждением, чем если бы это было лучшее вино за княжеским столом.

Гадая в полночь, вернется он или не вернется, Дина оживала, только заслышав знакомый звук шагов Этьена или узнав его звонок. Нередко она прибегала к сладострастью, как к узде, и находила удовольствие в борьбе со своими соперницами, стараясь ничего не оставить им в этом пресыщенном сердце. Сколько раз переживала она трагедию «Последнего дня приговоренного», говоря себе: «Завтра мы расстанемся!» И сколько раз одно слово, один взгляд, одна нечаянная ласка вновь возвращали ее к любви! Временами это бывало ужасно. Не раз, кружа в своем садике около газона с тянувшимися вверх чахлыми цветами, думала она о самоубийстве!.. Она не истощила еще сокровищницы самоотвержения и любви, таящейся в сердцах любящих женщин. «Адольф» был ее библией, она его изучала; ибо ничего она так не боялась, как быть Элеонорой. Она избегала слез, не давала воли горьким чувствам, так искусно описанным критиком, которому мы обязаны анализом этого хватающего за душу произведения; его толкование казалось Дине чуть ли не выше самой книги. Поэтому она часто перечитывала великолепную статью единственного настоящего критика «Ревю де Дё Монд», предпосланную ныне новому изданию «Адольфа».

«Нет,— повторяла она про себя вычитанные ею роковые слова,— нет, я не придам моим просьбам формы по-

веления, не буду прибегать ни к слезам, ни к мести, не буду осуждать поступки, которые когда-то слепо одобряла, не буду любопытными глазами следить за каждым его шагом; если он ускользнет, то, вернувшись, не встретит властных уст, чей поцелуй — приказ, не терпящий возражений. Нет! Мое молчание не будет жалобой, мое слово не будет ссорой!.. Я не опущусь до пошлости,— думала она, кладя на стол желтую книжечку, которая уже стоила ей замечания Лусто: «Вот как! Ты читаешь «Адольфа»... Пришел бы только день, когда он оценит меня и скажет себе: «Ни разу жертва не крикнула!» Этого будет довольно! К тому же другим достанутся только минуты, а мне — вся его жизнь!»

Считая, что поведение жены дает ему право наказать ее домашним судом, г-н де ла Бодрэ деликатно обокрал ее, чтобы осуществить свое великое предприятие, заключавшееся в обработке тысячи двухсот гектаров пустоши, ради которого он с 1836 года откладывал все свои доходы, живя сам, как скряга. Он так ловко распорядился ценностями, оставленными г-ном Силасом Пьедефером, что получил миллион двести тысяч франков, но сумел действительную выручку от ликвидации свести на счетах к восьмистам тысячам. Он не известил жену о своем возвращении, и пока она терпела неслыханную муку, он строил фермы, рыл канавы, сажал деревья, смело поднимал целину, так что прослыл одним из замечательнейших сельских хозяев Берри. За три года на эту операцию ушли все четыреста тысяч франков, отнятых у Дины, и теперь земля Анзи через положенное время должна была приносить семьдесят две тысячи франков дохода, свободного от налогов. Что же до восьмисот тысяч франков, то он поместил их в государственные ценные бумаги, приносившие четыре с половиной процента, и купил их по курсу в восемьдесят франков благодаря финансовому кризису, вызванному так называемым министерством первого марта. Обеспечив таким образом жене сорок восемь тысяч франков ренты, он счел, что сквитался с нею. Разве не выложит он ей миллион двести тысяч франков, как только курс купленных им процентных бумаг перевалит за сотню? Значительнее его в Сансере был теперь только богатейший землевладелец Франции, с которым он соперничал. Г-н де ла Бодрэ имел сто сорок тысяч франков ренты, из

которых восемьдесят приносили земельные владения, составлявшие его майорат Подсчитав, что если откинуть доходы, он тратит десять тысяч франков на налоги, три тысячи франков на содержание поместья, десять тысяч франков на жену и тысячу двести на тещу, он во всеуслышание говорил на собраниях Литературного общества:

— Все думают, что я скуп, что я ничего не расходую, однако же расход мой достигает двадцати шести тысяч пятисот франков в год. А мне еще предстоит платить за образование моих двух детей! Может быть, это не доставляет удовольствия господам Мило из Невера, но вторая ветвь рода де ла Бодрэ, пожалуй, добьется еще более блестящего положения, чем первая. Весьма вероятно, что я поеду в Париж просить короля французов о титуле графа (г-н Руа, его соперник, был граф) — моей жене будет приятно называться графиней.

Это было сказано с таким великолепным хладнокровием, что никто не решился посмеяться над этим человечком. Один только председатель суда Буаруж заметил ему:

— На вашем месте я тогда только счел бы себя счастливым, если бы у меня родилась дочь...

— Но,— ответил барон,— я ведь скоро еду в Париж...

В начале 1842 года г-жа де ла Бодрэ, чувствуя, что ее по-прежнему только терпят, снова решила пожертвовать собой ради благополучия Лусто: она опять оделась в черное; но на этот раз она уже носила траур, ибо радости ее обращались в горькие сожаления. Ей слишком часто бывало стыдно самой себя, чтобы порой не ощущать всей тяжести своих цепей, и мать не раз, в эти минуты глубокого раздумья, заставала ее погруженной в оцепенение, которое находит на несчастных, когда их очам предстает картина будущего. По совету своего духовника, г-жа Пьедефер старалась подстеречь этот момент усталости, предсказанный ей священником, и поднимала тогда голос в защиту детей. Она довольствовалась просьбой разъехаться домами, не требуя разрыва сердечной близости.

В жизни такого рода безвыходные положения не кончаются, как в книгах, смертью или искусно подстроенными катастрофами; они кончаются гораздо менее поэтич-

но — отвращением, увяданием всех цветов души, привычкой к пошлости, а очень часто — и новой страстью, лишающей женщину того уважения, которым ее обычно окружают. И вот, когда к здравому смыслу, законам общественного приличия, семейным интересам, всем элементам того, что в эпоху Реставрации называлось общественной моралью (из нетерпимости к слову «католическая религия»), прибавляется еще боль слишком острых обид; когда усталость от беззаветной преданности превращается в изнеможение; когда чересчур жесткий удар — одна из тех низостей, что разрешает себе мужчина только по отношению к женщине, господином которой он привык себя чувствовать, положит предел разочарованию и отвращению,— тут-то и наступает пора явиться настоящему другу, приносящему исцеление. Поэтому г-же Пьедефер не пришлось употребить слишком много стараний, чтобы сорвать повязку с глаз дочери. Она послала за г-ном де Кланьи. Он довершил дело, убедив г-жу де ла Бодрэ, что, если она откажется от совместной жизни с Этьеном, муж оставит ей детей, позволит жить в Париже и вернет ей право распоряжаться ее «личным» имуществом.

— Какая жизнь вас ждет! — воскликнул он.— Действуя осторожно, с помощью людей набожных и добрых, вы будете иметь салон и снова завоюете себе положение. Париж — не Сансер!

Дина поручила г-ну де Кланьи завязать с ее мужем переговоры о примирении. Г-н де ла Бодрэ удачно продал вина, продал шерсть, реализовал запасы и, ничего не говоря жене, явился в Париж, чтобы употребить двести тысяч франков на покупку прелестного особняка на улице Аркад, дешево доставшегося ему при ликвидации пошатнувшегося крупного состояния одной аристократической семьи. Он состоял с 1826 года членом генерального совета своего департамента, к тому же платил десять тысяч франков налогов и вдвойне удовлетворял требованиям нового закона о пэрстве. Незадолго до всеобщих выборов 1842 года он выставил свою кандидатуру в депутаты на случай, если не будет сделан пэром Франции. Он хлопотал также о получении титула графа и о пожаловании его в командоры ордена Почетного легиона. В отношении выборов у него были все основания рассчитывать на поддержку сторонников династии Орлеанов. Таким образом,

в случае, если бы г-н де ла Бодрэ был введен в состав правительства, Сансер более чем когда-либо сделался бы «гнилым местечком» партии доктринеров. Г-н де Кланьи, таланты и такт которого получали все большее признание, поддержал г-на де ла Бодрэ, он указал, что возведение в пэрское достоинство предприимчивого землевладельца будет служить порукой материальным интересам. Г-н де ла Бодрэ, сделавшись графом, пэром Франции и командором ордена Почетного легиона, поддался тщеславному желанию иметь в Париже представительство, то есть жену и хорошо поставленный дом; ему хотелось, говорил он, насладиться жизнью. И он попросил жену письмом, которое продиктовал ему прокурор, поселиться в его особняке, обставив его с тем тонким вкусом, бесчисленные доказательства которого,— писал он,— восхищали его в замке Анзи. Новый граф разъяснил жене, что образование их сыновей требует ее присутствия в Париже, тогда как их земельные интересы не позволяют ему покинуть Сансер. Поэтому услужливый муж поручал г-ну де Кланьи передать графине де ла Бодрэ шестьдесят тысяч франков на внутреннее устройство особняка де ла Бодрэ, рекомендуя ей вставить над воротами мраморную доску с надписью: «Особняк де ла Бодрэ». Далее, давая своей жене отчет о результатах ликвидации имущества Силаса Пьедефера, г-н де ла Бодрэ заодно уведомлял ее, что полученные в Нью-Йорке восемьсот тысяч франков помещены им по четыре с половиной процента и что он предназначает доход с этих денег на ее нужды, включая сюда и расходы по воспитанию детей. Так как ему, вероятно, придется приезжать в Париж на сессии палаты пэров, он просил жену оставить ему небольшое помещение на антресолях над службами.

— Что с ним! Он стал молод, он стал благороден, он стал великолепен, каким-то еще он станет? Меня прямо дрожь пробирает! — сказала г-жа де ла Бодрэ.

— Он осуществляет все мечты, каким вы предавались в двадцать лет! — ответил прокурор.

Нынешнее положение Дины не выдерживало в ее глазах сравнения с тем, что ожидало ее в будущем. Еще накануне Анна де Фонтэн при встрече с ней отвернулась, не желая видеть своей задушевной подруги по пансиону Шамароль. И Дина подумала: «Я графиня, на моей карете

будет синий герб пэра, в моем салоне—политические и литературные светила... Посмотрю я, как-то ты тогда!..»

Как некогда презрение к свету толкнуло ее на путь личного счастья, так теперь предвкушение этой маленькой радости послужило решительным толчком для нового переворота.

В один прекрасный день, в мае 1842 года, г-жа де ла Бодрэ заплатила все свои хозяйственные долги и положила тысячу экю на пачку погашенных счетов. Отправив мать и детей в особняк ла Бодрэ, она, одетая, как на прогулку, стала ждать Лусто. Когда бывший повелитель ее сердца возвратился к обеду, она сказала ему:

— Мой друг, домашним обедам конец. Госпожа де ла Бодрэ приглашает вас обедать в «Роше де Канкаль». Пойдете?

Она увлекла Лусто, озадаченного ее лукавым и независимым видом: ведь еще утром эта женщина рабски угождала малейшим его прихотям; но она тоже два месяца играла комедию!

— Госпожа де ла Бодрэ расфрантилась, как для «премьеры»,— сказал он, употребляя сокращение, обозначающее на газетном жаргоне первое представление.

— Не забывайте об уважении, которое вы обязаны оказывать госпоже де ла Бодрэ,— сказала внушительно Дина.— Я больше не знаю, что значит слово «расфрантилась»...

— Дидина бунтует? — удивился он, взяв ее за талию.

— Дидины больше нет, вы убили ее, друг мой,— ответила она, высвобождаясь.— Я даю вам первое представление: на сцене — графиня де ла Бодрэ...

— Так это верно? Наше насекомое — пэр Франции?

— Указ о назначении будет сегодня вечером в «Мониторе»; так сказал мне господин де Кланьи, который сам переходит в кассационный суд...

— Действительно,— сказал журналист,— социальная энтомология должна была иметь своего представителя в палате...

— Мой друг, мы расстаемся навсегда,— сказала г-жа де ла Бодрэ, подавляя дрожь в голосе.— Я рассчитала обеих служанок. Вернувшись, вы найдете свое хозяйство в порядке и чистым от долгов. Я всегда, но тайно, буду питать к вам чувства матери. Расстанемся же спокойно,

без шума, как порядочные люди. Можете вы в чем-нибудь упрекнуть меня за эти шесть лет?

— Нет, разве только в том, что вы разбили мою жизнь и погубили мое будущее,— сказал он сухо.— Вы столько раз читали книгу Бенжамена Констана, вы даже знакомы с последней статьей, которая о ней написана, но читали вы ее только глазами женщины. Хотя у вас блестящий ум, который был бы кладом для поэта, вы все же не решились стать на мужскую точку зрения. Эта книга, любезная Дина,— двуполая. Помните?.. Мы установили, что есть книги мужского пола и книги женского пола, блондинки или брюнетки... В «Адольфе» женщины видят одну Элеонору, молодые люди — Адольфа, пожилые — Элеонору и Адольфа, политики — жизнь общества! Вы избавили себя от труда проникнуть в душу Адольфа, как, впрочем, и ваш критик, который заметил одну Элеонору. Этого молодчика, любезная Дина, убивает то, что он погубил свое будущее из-за женщины; что он мог быть посланником, министром, камергером, поэтом, богачом и уже не может быть никем. В ту пору жизни, когда человек только и способен взять на себя труд научиться чему-либо, он шесть лет жизни, всю свою энергию отдал женщине и опередил ее на поприще неблагодарности, потому что женщина, которая могла бросить своего первого любовника, рано или поздно бросит и второго. Наконец Адольф — белобрысый немчик, чувствующий, что не в силах обманывать Элеонору. Есть Адольфы, избавляющие своих Элеонор от унизительных пререканий и от жалоб; они рассуждают так: «Не буду говорить о том, что я потерял! Не буду, подобно Раморни из «Пертской красавицы», показывать эгоистке, которую я сделал своим кумиром, свою изувеченную руку», а ведь именно таких и бросают, любезная Дина... Но Адольф из хорошей семьи, у него гордая душа, он хочет вернуться на путь чести и вновь завоевать свое место в обществе, свое утраченное значение. Вы играете сбе роли одновременно. Вы скорбите о потерянном положении и в то же время считаете себя вправе бросить бедного любовника, который имел несчастье вообразить, будто вы выше мелочей и можете простить мужчине капризы чувственности, лишь бы сердце его оставалось постоянным...

— Неужели вы думаете, что я не позабочусь вернуть

вам то, что вы из-за меня потеряли? Будьте спокойны,— ответила г-жа де ла Бодрэ, ошеломленная этим выпадом,—ваша Элеонора еще не умирает и, если господь продлит ее жизнь, если вы измените поведение, откажетесь от лореток и актрис, мы найдем вам партию получше, чем какая-то Фелиси Кардо.

Любовники нахмурились; Лусто изображал печаль, ему хотелось держать себя сухо и холодно; а Дина, действительно опечаленная, прислушивалась к упрекам своего сердца.

— Почему бы нам не кончить, как мы должны были начать? Почему бы не спрятать от всех взоров нашу любовь и не видеться тайно? — сказал Лусто.

— Никогда! — ответила ледяным тоном новая графиня.— Неужели вы не понимаете, что после всего, что было, мы умерли друг для друга? Чувства наши кажутся нам беспредельными благодаря предчувствию вечной жизни в небесах; но здесь, на земле, им положен предел нашей природой. Есть характеры мягкие и слабые, которые могут перенести бесчисленное множество огорчений и устоять; а есть — сильнейшим образом закаленные, которые в конце концов надламываются под ударами. Вы меня...

— О, довольно! — сказал он.— Вы же не для газеты сочиняете! К чему тут целая статья, когда вы можете оправдаться одной фразой: «Я не люблю больше».

— О! Это я не люблю?..— вскричала она, растерявшись.

— Конечно! Вы рассчитали, что я причиняю вам больше огорчений, больше неприятностей, чем удовольствий, и вы покидаете своего товарища...

— Я покидаю?..— воскликнула она, всплеснув руками.

— Не вы ли сказали только что: «Никогда!»...

— Никогда! — повторила она с силой.

С той минуты, как Лусто увидел, что Дина остается нечувствительной к его язвительным насмешкам, это последнее «никогда», продиктованное страхом снова попасть в рабство, было понято им как конец его власти. Журналист не мог не проронить слезинку: он терял привязанность искреннюю, безграничную. Он нашел в Дине самую нежную Лавальер, самую любезную Помпадур, какую

только эгоист, если он не король, может пожелать; и, как ребенок, увидавший, что, мучая жука, он его убил, Лусто заплакал.

Госпожа де ла Бодрэ бросилась вон из маленькой залы, где они обедали, заплатила за обед и уехала на улицу Аркад, браня себя за свою жестокость.

Целых три месяца г-жа де ла Бодрэ хлопотала, стараясь сделать свой особняк образцом комфорта. Она и сама преобразилась. Это двойное преображение обошлось на тридцать тысяч франков дороже, чем предполагал новый пэр Франции.

Роковое событие, отнявшее у Орлеанского дома его наследного принца, вызвало необходимость созыва палат в августе 1842 года, и маленький ла Бодрэ, явившись для представления своих грамот высокому собранию раньше, чем предполагал, увидел плоды трудов своей жены. Он так был восхищен, что дал эти тридцать тысяч франков без малейшего возражения, как некогда дал восемь тысяч на убранство Ла-Бодрэ. Возвращаясь из Люксембургского дворца, где, согласно обычаю, он был представлен двумя пэрами, бароном де Нусингеном и маркизом де Монриво, новоиспеченный граф встретил старого герцога де Шолье, одного из прежних своих должников, шедшего пешком, с зонтиком в руке, тогда как сам он сидел, развалясь в маленькой открытой коляске, на дверцах которой блистал его герб и можно было прочесть: «Deo sic patet fides et hominibus». Это сравнение пролило в его сердце каплю того бальзама, который с 1830 года опьяняет буржуазию. Г-жа де ла Бодрэ испугалась, увидев, что ее муж здоровее, чем он был в день свадьбы. Охваченный безмерной радостью, уродец в шестьдесят четыре года трубил победу над жизнью, победу над красавцем Мило из Невера, который отрицал за ним право иметь семью; над женой, у которой за обеденным столом сидели г-н Кланьи с супругой, кюре из церкви Успенья и два пэра, представившие его в палату. Он приласкал своих детей с умилительным самодовольством. Красота сервировки получила его одобрение.

— Вот оно, беррийское руно,— сказал он, показывая г-ну де Нусингену на крышки от мисок, украшенные новой короной,— оно серебряное.

Глубокая меланхолия терзала Дину, но она сдержи-

вала ее с самообладанием женщины, ставшей действительно выдающейся, была очаровательна, остроумна, и, казалось, траур ее сердца даже молодил ее.

— Можно подумать,— вскричал маленький ла Бодрэ, указывая г-ну де Нусингену на жену,— что графине меньше тридцати лет!

— *О, матам тридцатилетняя шеншина?* — спросил барон, который любил пользоваться ходячими шутками, считая их своего рода разменной монетой разговора.

— В полном смысле слова,—ответила графиня,—потому что мне тридцать пять, и я ведь могу уже потешить свое сердце каким-нибудь невинным увлечением...

— Да, моя жена разорила меня на японские вазы, на разные китайские безделушки...

— Вкус к ним графиня обнаруживала с давних пор,— сказал маркиз де Монриво, улыбаясь.

— Да,— продолжал маленький ла Бодрэ, холодно глядя на маркиза Монриво, с которым познакомился в Бурже,— вы знаете, в двадцать пятом, двадцать шестом и двадцать седьмом годах она собрала на миллион с лишним редкостей и превратила Анзи в настоящий музей.

«Что за самоуверенность!»—подумал г-н де Кланьи, удивляясь, как быстро маленький провинциальный скряга освоился со своим высоким положением.

Скряги во всем проявляют бережливость. На другой день после принятия палатой закона о регентстве новоиспеченный пэр Франции отправился собирать свой виноград в Сансере и возвратился к прежним привычкам.

Зимой 1842 года графиня де ла Бодрэ, при содействии прокурора кассационного суда, пыталась собрать вокруг себя общество. Были, разумеется, назначены приемные дни; она сделала отбор среди знаменитостей, желая видеть у себя только людей серьезных и зрелого возраста. Она пыталась развлекаться, посещая Итальянцев и Оперу. Два раза в неделю она возила туда мать и г-жу де Кланьи, которую прокурор заставил навещать г-жу де ла Бодрэ. Но, несмотря на свой ум, любезное обращение, несмотря на внешность модной женщины, она была счастлива только детьми, на которых перенесла всю свою обманутую любовь. Достойный г-н де Кланьи вербовал жен-

щин для салона графини, и не без успеха! Но это удавалось ему гораздо лучше в отношении женщин набожных, чем женщин светских.

«Они на нее наводят скуку!»— думал он с ужасом, созерцая свою богиню, созревшую в несчастье, побледневшую от угрызений совести, но вдруг заблиставшую красотой, которая вернулась к ней с роскошной жизнью и материнством.

Преданный ей прокурор, поддерживаемый в своем предприятии г-жой Пьедефер и приходским священником, проявил необыкновенную расторопность. Каждую среду он приводил в салон своей дорогой графини какую-нибудь немецкую, английскую, итальянскую или прусскую знаменитость; он выставлял графиню как женщину «из ряда вон выходящую» людям, с которыми она не говорила и двух слов, но которых слушала зато с таким глубоким вниманием, что они уходили, убежденные в ее выдающемся уме. Дина победила в Париже молчанием, как в Сансере побеждала говорливостью. Время от времени колкая острота по поводу событий или шутливое замечание обнаруживали в ней женщину, которая привыкла свободно обращаться с идеями и четыре года назад оживляла фельетоны Лусто. Этот период был для страсти бедного прокурора, как бабье лето в бессолнечный год. Он принимал как можно более старческий вид, чтобы иметь право быть другом Дины, не нанося ей этим вреда; он держался в отдалении, как человек, который должен скрывать свое счастье, словно он был молод, красив и способен набросить тень на доброе имя женщины. Свои мелкие услуги, пустяковые подарки, которые Дина выставляла всем напоказ, он старался окружить самой глубокой тайной. Малейшему проявлению своей покорности он хотел придать опасный смысл.

— Он играет в страстную любовь,— говорила, смеясь, графиня.

Она подтрунивала над г-ном Кланьи в его же присутствии, а прокурор говорил про себя:

«Она интересуется мною!»

— Я произвожу такое сильное впечатление на беднягу,— смеясь, говорила она матери,— что если я скажу ему «да», он, вероятно, скажет «нет».

Однажды вечером г-н де Кланьи вместе с женой провожали домой свою дорогую графиню, чем-то глубоко озабоченную. Все трое только что присутствовали на первом представлении первой драмы Леона Гозлана «Правая и левая рука».

— О чем вы думаете? — спросил прокурор, испуганный печальным видом своего кумира.

Скрытая, но глубокая грусть, снедавшая графиню, была опасным злом, с которым прокурор не знал, как бороться, ибо истинная любовь часто неловка, особенно если она остается неразделенной. Истинная любовь заимствует свою форму от характера любящего. Почтенный прокурор любил на манер Альцеста, тогда как г-жа де ла Бодрэ хотела бы видеть в нем Филинта. Слабости любви очень плохо согласуются с прямодушием Мизантропа. Поэтому Дина всячески остерегалась открыть сердце перед своим patito. Как дерзнуть сознаться, что временами ей жаль своего прежнего позора? Живя светской жизнью, она чувствовала огромную пустоту вокруг себя, ей не перед кем было похвалиться своими успехами, триумфом, нарядами. Иногда воспоминания о пережитых горестях смешивались с воспоминаниями о жгучей страсти. Она сердилась порой на Лусто за то, что он совсем не интересуется ею, ей так хотелось получать от него письма, нежные ли, гневные ли,— все равно.

Дина не ответила, и прокурор повторил свой вопрос, взяв руку графини и благоговейно сжимая ее в своих.

— Какую руку вы хотите: правую или левую? — спросила она, улыбаясь.

— Левую,— сказал он,— ибо я полагаю, что вы под этим подразумеваете — ложь или правду.

— Так вот: я видела *его*,— ответила она тихо, чтобы ее услышал только прокурор.— Я заметила, что он грустен, глубоко подавлен, и подумала: «Есть ли у него сигары? Есть ли деньги?»

— О, коли вы хотите правды, я вам скажу ее! — воскликнул г-н де Кланьи.— Он живет с Фанни Бопре, как муж с женой. Вы вырвали у меня это признание; я никогда бы вам этого не сказал: вы, быть может, заподозрили бы меня в каком-нибудь не слишком великодушном чувстве...

Госпожа де ла Бодрэ крепко пожала ему руку.

— Такого человека, как ваш муж, редко найдешь,— сказала она своей спутнице.— Ах! Почему...

Она откинулась в угол кареты и стала глядеть в окно; конца фразы она не договорила, но прокурор угадал его: «Почему у Лусто нет хоть капли сердечного благородства вашего мужа!..»

Тем не менее эта новость рассеяла грусть г-жи де ла Бодрэ, и она предалась развлечениям светской женщины, имеющей успех; ей хотелось признания, и она его добилась; но среди женщин она достигла немногого: доступ в их общество ей был затруднен. В марте месяце священники, благоволившие к г-же Пьедефер, и прокурор одержали крупную победу, заставив избрать графиню де ла Бодрэ сборщицей пожертвований на благотворительное дело, основанное г-жой Каркадо. Наконец-то она была допущена ко двору для сбора пожертвований в пользу пострадавших от землетрясения в Гваделупе.

Маркиза д'Эспар, которой г-н де Каналис читал в Опере имена этих дам-благотворительниц, сказала, услыхав имя графини:

— Я очень давно живу в свете, но не припомню ничего красивее стараний, предпринятых во спасение чести госпожи де ла Бодрэ.

В первые дни весны 1843 года, которая, по капризу нашей планеты, засияла над Парижем с самого начала марта, лаская взор зеленой листвой Елисейских полей и Лоншана, любовник Фанни Бопре не раз встречал во время своих прогулок г-жу де ла Бодрэ, оставаясь сам незамеченным. И не раз чувствовал он уколы пробудившейся ревности и зависти, довольно обычных для людей, родившихся и воспитанных в провинции, когда видел свою прежнюю любовницу хорошо одетой, мечтательно и непринужденно сидевшей в красивой коляске с двумя детьми по сторонам. Тем сильней бранил он себя в душе, что находился тогда в тисках самой мучительной нужды—нужды скрываемой. Как и всем тщеславным и легкомысленным натурам, ему было свойственно особое понимание чести, которое состоит в боязни пасть в глазах общества, которое толкает биржевых дельцов идти на узаконенные преступления, чтобы не быть изгнанными из

храма спекуляции, которое дает иным преступникам мужество совершать доблестные поступки. Лусто бросал деньги на тонкие обеды, завтраки и сигары, как будто он был богат. Ни за что на свете он не упустил бы случая купить самые дорогие сигары для себя и для того драматурга или романиста, с которым входил в табачную лавку. Журналист разгуливал в лакированных сапогах, но боялся описи своего имущества, что было бы, по выражению приставов, самым святым делом. У Фанни Бопре нечего было больше закладывать, на его заработок наложили запрещение. Набрав авансов по журналам, газетам и у книгопродавцев на максимально возможную сумму, Этьен уже не знал, какие еще чернила превращать в золото. Азартные игры, так некстати запрещенные, уже не могли, как некогда, оплатить векселя, брошенные на зеленое поле безысходной нищетой. Словом, журналист дошел до такой крайности, что занял сто франков у самого бедного из своих друзей — у Бисиу, у которого никогда еще ничего не просил.

Больше всего удручал Лусто не долг в пять тысяч франков, а то, что он потеряет свой щегольской вид и обстановку, приобретенную ценой стольких лишений и приумноженную г-жой де ла Бодрэ. Наконец третьего апреля желтая афишка, сорванная швейцаром со стены, которую она некоторое время украшала, возвестила о продаже с молотка прекрасной обстановки в следующую субботу — день судебных аукционов.

Покуривая сигару, Лусто прогуливался в поисках идей; ибо идеи в Париже носятся в воздухе, улыбаются вам из-за угла улицы, вылетают из-под колес кабриолета вместе с брызгами грязи! Этот гуляка уже целый месяц искал идей для статьи и сюжета для рассказа, но встречал только приятелей, которые увлекали его за собой на обед или в театр и топили его горе в вине, приговаривая, что шампанское вдохновит его.

— Берегись,— сказал ему однажды вечером безжалостный Бисиу, который мог дать товарищу последние сто франков и в то же время пронзить ему сердце словом.— Пить — пей, да ума не пропей.

Накануне, в пятницу, несчастный Лусто, несмотря на привычку к нищете, был взволнован, как приговоренный к смерти. В былые времена он сказал бы себе: «Пустяки!

Мебель у меня старая, куплю новую». Но теперь он чувствовал себя неспособным возобновить литературные подвиги. Издательство, разоряемое перепечатками их изданий, платило мало. Газеты скаредничали с опустившимися талантами, как директора театров с тенорами, спавшими с голоса. И вот Лусто брел куда глаза глядят, смотря на толпу и не видя ее, с сигарой во рту, заложив руки в карманы, с бурей в душе, но с деланной улыбкой на губах. Вдруг он увидел проезжавшую мимо г-жу де ла Бодрэ; свернув с улицы Шоссе-д'Антен на бульвар, ее коляска покатила к Булонскому лесу.

— Это одно, что мне осталось,— пробормотал он.

Он вернулся к себе принарядиться. Вечером, в семь часов, он подъехал в фиакре к особняку г-жи де ла Бодрэ и попросил швейцара передать графине записку такого содержания:

«Не будет ли графиня так добра принять господина Лусто на минуту и сию минуту?»

Записка эта была запечатана печаткой настоящего восточного сердолика, служившей когда-то обоим любовникам; на ней г-жа де ла Бодрэ велела выгравировать «Потому что!» — великие слова, слова женщины, слова, которые могут объяснить все, даже сотворение мира.

Графиня только что кончила одеваться, собираясь в Оперу,— пятница был день ее абонемента. Она побледнела, увидав печать.

— Пусть подождут! — сказала она, пряча записку за корсаж.

У нее хватило сил скрыть свое волнение, и она попросила мать уложить детей. Потом велела просить Лусто и приняла его в будуаре, смежном с большой гостиной, при открытых дверях. После спектакля она должна была ехать на бал, и на ней было прелестное платье золотистого шелка, в гладкую и сплошь затканную цветами полосу. Вышитые короткие перчатки с кисточками оттеняли белизну ее прекрасных рук. Она блистала кружевами и всеми украшениями, которых требовала мода. Прическа в стиле Севинье придавала изысканность ее внешности. Жемчужное ожерелье на ее груди походило на пузырьки воздуха в снегу.

— Что вам угодно, сударь? — сказала графиня, протягивая ножку из-под платья и нащупывая ею бархатную

подушку.— Я думала, я надеялась, что вы меня совершенно забыли...

— Сказал бы вам *никогда*, но вы мне не поверите,— ответил Лусто; он разгуливал по комнате, покусывая цветы, которые срывал на ходу с жардиньерок, наполнявших будуар благоуханием.

На минуту воцарилось молчание. Г-жа де ла Бодрэ, оглядев Лусто, нашла, что он одет как самый требовательный к себе денди.

— Вы одна в целом мире можете меня спасти и протянуть мне руку помощи, потому что я тону и не раз уже захлебывался!.. — проговорил он, останавливаясь перед Диной и как бы делая над собой сверхъестественное усилие.— Если вы видите меня здесь, то только потому, что дела мои из рук вон плохи.

— Довольно! — сказала она.— Я вас понимаю.

Последовала новая пауза, во время которой Лусто отвернулся, вынул платок и, казалось, вытер слезу.

— Что вам нужно, Этьен? — спросила она с материнской нежностью в голосе.— Сейчас мы с вами старые товарищи, говорите со мной, как вы говорили бы... с Бисиу...

— Чтобы не дать моей обстановке перекочевать завтра в аукционный зал,— тысячу восемьсот франков! Чтобы вернуть долги друзьям,— столько же! Домовладельцу, которого вы знаете,— за три срока... «Тетка» требует пятьсот франков...

— А вам, на жизнь?

— О, на это у меня есть перо!..

— Оно так тяжело ворочается, хоть это и не заметно, когда вас читаешь...— сказала она, тонко улыбнувшись.— У меня нет нужной вам суммы... Приходите завтра в восемь часов, пристав подождет и до девяти, особенно, если вы приведете его сюда за деньгами.

Она понимала необходимость выпроводить Лусто, который делал вид, будто он не в силах на нее смотреть; но в то же время чувствовала такое сострадание, что готова была рассечь все гордиевы узлы, завязанные обществом.

— Спасибо! — сказала она, поднимаясь и протягивая руку Лусто.— Ваше доверие мне так дорого... О! Давно уже у меня не было так отрадно на сердце.

Лусто взял ее руку и нежно прижал к груди.

— Капля воды в пустыне и... от руки ангела!.. Господь все устраивает на благо!

Сказано это было полушутливым, полурастроганным тоном; но, можете поверить,— это было так же прекрасно, как игра на театре, как игра Тальма́ в его великолепной роли Лейстера, где все держится на нюансах такого рода. Сквозь плотное сукно рука Дины чувствовала, как бьется сердце Лусто; оно билось от радости, ибо журналист ускользал от ястребиных когтей правосудия, но оно билось также и от весьма понятного волнения, вызванного в нем Диной, которой богатство, казалось, возвратило молодость и свежесть. Г-жа де ла Бодрэ, украдкой разглядывая Этьена, заметила вдруг в его лице отсвет всех радостей любви, воскресших для нее в этом трепещущем сердце; она попыталась, один только раз, глубоко заглянуть в глаза того, кого так любила, но жаркая кровь хлынула по ее жилам и бросилась ей в голову. И снова, как на набережной Кона, двое любовников обменялись тем жгучим взглядом, который когда-то дал смелость Лусто измять кисейное платье. Журналист привлек к себе Дину за талию, она подалась, и две щеки соприкоснулись.

— Спрячься, мать идет! — вскричала испуганная Дина и побежала навстречу г-же Пьедефер.

— Мамочка,— сказала она (это слово было для суровой г-жи Пьедефер лаской, перед которой она никогда не могла устоять),— хотите сделать мне большое удовольствие? Велите заложить коляску, поезжайте к нашему банкиру, господину Монжено, с записочкой, которую я вам дам, и возьмите у него шесть тысяч франков. Идемте, идемте, речь идет об одном добром деле, идемте в мою комнату!

И она увлекла за собой мать, которой, видимо, очень хотелось узнать, кого ее дочь принимала в будуаре.

Два дня спустя у г-жи Пьедефер было важное совещание с приходским кюре.

Выслушав сетования старой матери, пришедшей в отчаяние, кюре сказал поучительно:

— Всякое нравственное возрождение, не подкрепленное глубоким религиозным чувством и достигнутое не в

лоне церкви, построено на песке... Все обряды, предписываемые католической верой, требующие усердия и столь мало понятые, служат необходимыми препонами, укрощающими бури дурных страстей. Добейтесь же от вашей дочери выполнения всех религиозных обязанностей, и мы спасем ее...

Через десять дней после этого совещания особняк де ла Бодрэ опустел. Графиня и ее дети, ее мать и домочадцы, к числу которых она присоединила наставника,— все уехали в Сансер, где Дина пожелала провести лучшее время года.

Говорят, она была очень мила с графом.

Париж, июнь 1843 г.— август 1844 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

ПЬЕРЕТТА

Повесть впервые была опубликована Бальзаком в газете «Сьекль» 14—27 января 1840 года под заглавием «Посылка» («Envoi»), в том же году она вышла отдельным изданием. В 1843 году повесть вошла в состав «Человеческой комедии», где была включена в «Сцены провинциальной жизни».

В пределах, казалось бы, небольшой «семейной» истории Бальзак приоткрывает уголок политической жизни Франции во время Реставрации. Богач Рогрон, разбогатевший на галантерейной торговле и спокойно пользующийся наследственной долей Пьеретты, ловкий интриган-стряпчий Вине и охотник за богатым приданым полковник Гуро образуют гнусный триумвират политиканов, стремящихся во что бы то ни стало к власти. С особым отвращением рисует Бальзак образ полковника Гуро, ставшего палачом республиканцев.

Этим преуспевающим буржуа и их соспешникам противопоставлены в повести два юных существа — сироты Пьеретта Лоррен и Жак Бриго, связанные друг с другом чистой, полудетской любовью. В предисловии к «Человеческой комедии» Бальзак упоминает Пьеретту на первом месте в списке своих положительных героев.

Стр. 5. *Анна Ганская* — единственная дочь польской помещицы, русской подданной графини Эвелины Ганской, ставшей в 1850 году женой Бальзака.

Стр. 13. *События 1814 года.*— Имеется в виду первое отречение Наполеона I от престола (6 апреля 1814 года), реставрация Бурбонов. Во время Империи была полностью запрещена торговля

с Англией и ее колониями (политика континентальной блокады). Англия в ответ на это установила контроль над французской морской торговлей, что привело к резкому подорожанию колониальных товаров во Франции. После отречения Наполеона торговля с Англией возобновилась.

Де Шаретт (1763—1796) — один из главарей контрреволюционного восстания вандейцев; расстрелян в Нанте.

Стр. 31. *Амадис* — герой многотомного рыцарского романа «Амадис Галльский» (XV в.), авторство которого приписывается различным португальским, испанским и французским писателям, воплощение рыцарской доблести и верной, преданной любви.— *Эгерия* — по древнеримским сказаниям, вещая нимфа, супруга и советчица легендарного римского царя Нумы Помпилия.

Стр. 37. *Понятовский, прыгающий в Эльстер.*— Князь Юзеф Понятовский (1762—1813) — польский политический и военный деятель. В 1809 году командовал польскими войсками, сражавшимися на стороне Франции, против Австрии. Прикрывая отступление французской армии от Лейпцига (1813), не желая сдаться в плен, бросился в реку Эльстер и утонул.— *Оборона заставы Клиши.*— 25 февраля 1814 года у парижской заставы Клиши войска Наполеона выдержали кровопролитный бой с войсками союзников.— *Двое Мазеп.*— Имеются в виду две картины французского художника Ораса Верне по мотивам поэмы Байрона «Мазепа», выставленные в парижском салоне 1827 года.

Стр. 42. *Алкивиад* (ок. 451—404 до н. э.) — афинский политический деятель и полководец. Отличался крайней политической неустойчивостью и беспринципностью. Славился своей любовью к роскоши и изящной одежде, стремлением постоянно обращать на себя внимание.

Стр. 47. *Сержант Мерсье*, по прозвищу Вандея (1778—1800)— участник контрреволюционного восстания вандейцев.

Стр. 56. *Павел и Виргиния* — связанные друг с другом идиллической любовью на лоне природы юные герои одноименного романа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814).

Стр. 62. *Тартюф* — персонаж одноименной комедии Мольера, ханжа и лицемер.

Стр. 69. *Лаффит, Жак* (1767—1844) — французский банкир и политический деятель, один из руководителей буржуазной оппозиции во время Реставрации, министр Июльской монархии, представлял интересы крупной буржуазии.

Стр. 72. *Конгрегации* — объединения католических монастырей, принадлежавших к одному и тому же ордену; во времена Реставрации, особенно при Карле X, были важнейшими проводниками политической реакции в стране.

Стр. 76. *Де Виллель, Жозеф* (1773—1854), граф — лидер ультрароялистов, при Реставрации глава министерства (1821—1827). В 1827 году, а не в 1826 году, как у Бальзака, министерство Виллеля пало.

Стр. 79. *Виттория Колонна* (1490—1547) — итальянская лирическая поэтесса, оплакивавшая в ряде сонетов смерть своего мужа — маркиза Пескара, известного полководца.

Мартиньяк, Жан-Батист (1776—1832) — возглавлял кабинет

министров в 1828—1829 годах. Министерство Мартиньяка, отличавшееся умеренным роялизмом, было сменено 8 августа 1829 года ультрареакционным министерством Полиньяка.

Стр. 86. *Дюпен*, Андре-Мари-Жан-Жак (1783—1855) — французский адвокат и политический деятель. Отличался исключительной политической беспринципностью.— *Перье*, Казимир-Пьер (1777—1832) — французский банкир и политический деятель. При Реставрации — член палаты депутатов, один из вождей либеральной оппозиции.

Стр. 102. *...остроумный оратор в духе Бенжамена Констана.*— Бенжамен Констан (1767—1830) — французский писатель, автор психологического романа «Адольф», политический деятель. При Реставрации считался одним из виднейших ораторов либеральной оппозиции в палате депутатов.

Стр. 106. *«Дом разыгрывается в лотерею»* — комедия французского драматурга Луи-Франсуа Пикара (1769—1828), написанная им совместно с Жаном-Батистом Раде (1751—1830) в 1817 году.

Стр. 121. *Рыцарь-тамплиер.*— Орден тамплиеров в XIII веке обладал огромными богатствами; среди его должников был французский король Филипп IV. Желая избавиться от долга, Филипп IV приказал начать против ордена судебный процесс; часть тамплиеров была сожжена, часть заключена в тюрьму. Филипп IV добился от папы постановления о роспуске ордена.

Стр. 147. *...восстаний, происходивших во время министерства Казимира Перье.*— Речь идет о восстании лионских ткачей в ноябре 1831 года, проходившем под лозунгом «Жить, работая, или умереть в бою!». Восстание было жестоко подавлено.

Монастырь Сен-Мерри — баррикады, примыкавшие к монастырю Сен-Мерри, были центром героического сопротивления республиканцев во время республиканского восстания в Париже 5—6 июня 1832 года.

Стр. 149. *Беатриче Ченчи.*— Имеется в виду дочь римского патриция, ставшая жертвой гнусного преследования со стороны отца. Доведенная до отчаяния, Беатриче наняла убийц, которые убили ее отца; Беатриче была приговорена к смертной казни. Огромные богатства семьи Ченчи попали в руки церкви (XVI в.). Беатриче Ченчи — героиня одноименной трагедии английского поэта Шелли и новеллы французского писателя Стендаля.

ЖИЗНЬ ХОЛОСТЯКА

Первая часть романа «Жизнь холостяка» («Un ménage de garçon en province») была первоначально опубликована под заглавием «Два брата» в газете «Ла пресс» в феврале — марте 1841 года; вторая часть под заглавием «Жизнь холостяка» — там же в октябре — ноябре 1842 года. Затем эти две части были объединены и вышли в 1843 году отдельным изданием под общим заглавием «Два брата»; в том же году роман был включен в «Сцены провинциальной жизни» «Человеческой комедии», но уже под заглавием «Жизнь холостяка». В указаниях для второго издания «Человеческой комедии», так и не осуществившегося при его жизни, Бальзак

дал своему роману новое заглавие — «Баламутка» («La rabouilleuse»).

Вся первая часть «Жизни холостяка» воспринимается как предыстория «героя», бонапартиста Филиппа Бридо, имеющая главной своей целью показать, как складывался характер этого наполеоновского «вояки», его отношение к жизни, основанное лишь на честолюбии и эгоизме, как после падения Империи он опускался все ниже и ниже.

Местом действия главного эпизода романа является город Иссуден. Жизнь Иссудена изображена в романе с чрезвычайной — редкой даже для Бальзака — обстоятельностью. Показывая этот городок, говоря о его недавнем прошлом, писатель подчеркивает политические настроения иссуденской буржуазии, изображает Иссуден как своего рода цитадель бонапартизма. Бальзак нередко сочетал со своими легитимистскими предрассудками симпатии к Наполеону и к людям, созданным наполеоновской Францией. В связи с этим «Жизнь холостяка» приобретает особенный интерес. Филипп Бридо, бессердечный и наглый хищник,— наиболее законченный образ наполеоновского офицера, созданный Бальзаком. Реализм Бальзака в этом романе до конца побеждает его симпатии к людям наполеоновской Франции.

В годы, когда складывался роман «Жизнь холостяка», его тематика была весьма актуальной. Бонапартистские настроения были довольно широко распространены среди французской буржуазии. Сам король Луи-Филипп, стремясь к популярности, заигрывал с бонапартистами. В 1833 году на Вандомской колонне в Париже была опять водружена статуя Наполеона, сброшениая оттуда в 1814 году; в 1840 году прах Наполеона с острова св. Елены торжественно перевозится в Париж. К 1836 и 1840 годам относятся две попытки принца Луи-Бонапарта, племянника Наполеона I, произвести бонапартистский переворот.

Стр. 150. *Шарль Нодье* (1780—1844) — французский писатель, автор романов (среди которых наибольшей известностью пользуется «Жан Сбогар», 1818) и фантастических новелл. Бальзак издавна был с ним дружен.

Стр. 153. *Фукье-Тенвиль*, Антуан-Кантен (1746—1795) — общественный обвинитель чрезвычайного трибунала во времена якобинской диктатуры.

Стр. 154. *Максимилиан I* — так Бальзак иронически называет здесь Робеспьера.— *Вязальщица якобинского клуба*....— Женщины из народа, посещавшие якобинский клуб, нередко во время заседания занимались вязанием.

Стр. 155. *Шенье*, Андрэ (1762—1794) — французский поэт. Сочувственно встретив начало французской буржуазной революции конца XVIII века, он вскоре перешел на контрреволюционные позиции, в 1794 году был казнен якобинцами.

Стр. 163. «*Терн*» — три лотерейных номера, приносящие выигрыш тому, кто на них поставил, только в том случае, если все они выпадут во время розыгрыша. Ставки на «терн» сопряжены были

поэтому с большим риском, но в случае удачи приносили крупный выигрыш.

Стр. 178. *Сен-Сир* — до революции 1789 года пансион для благородных девиц, с 1802 года — специальная высшая военная школа.

...прощание Наполеона в Фонтенебло... — 6 апреля 1814 года Наполеон отрекся от престола, а 20 апреля простился со своей гвардией в Фонтенебло и отправился в изгнание на остров Эльба.

Стр. 179. *Гро*, Антуан-Жан (1771—1835) — французский живописец-баталист и портретист; ряд его картин посвящен наполеоновским походам. 20 марта 1815 года Наполеон, вернувшись с Эльбы, во главе перешедших на его сторону французских войск вступил в Париж; начался так называемый период Ста дней — вторичное правление Наполеона I (20 марта — 22 июня 1815 года). После поражения при Ватерлоо Наполеон вторично и окоичательно отрекся от престола.

Луарская армия. — В 1815 году, после разгрома наполеоновской армии при Ватерлоо, ее остатки, по военному соглашению между союзниками, отошли под начальством маршала Даву на Луару, где были интернированы, а затем распущены.

...«Кофейни Ламблен», этой настоящей конституционалистской Беотии. — Существовало мнение, что жители Беотии, области Древней Греции, отличались грубыми нравами. Кафе Ламблен в Париже было обычным местом сборищ бонапартистов.

Стр. 180. *Майское собрание* — торжество в период Ста дней на Марсовом поле в Париже (состоялось 1 июня 1815 года), на котором Наполеон принес клятву в верности конституции и напутствовал армию, отправлявшуюся на защиту границ Франции.

Стр. 181. «*Монитер*» — во время Реставрации официальный орган правительства.

Стр. 182. *Вандомская колонна.* — Вандомская колонна с бронзовой статуей Наполеона I наверху была воздвигнута по его приказу на одной из площадей Парижа в 1806 году в честь одержанных им побед; в 1871 году по постановлению Парижской коммуны была низвергнута как символ милитаризма, в 1875 году восстановлена.

Стр. 183. *...присоединиться к генералу Лалеману в Соединенных Штатах и участвовать в основании Полей убежища...* — Лалеман, Анри-Доминик (1777—1823), барон — наполеоновский генерал, участник бонапартистского заговора при первой реставрации Бурбонов; заочно приговоренный к смертной казни, бежал в Америку, где вместе с другими бонапартистами, покинувшими Францию, пытался основать французскую колонию «Поля убежища» на берегу Мексиканского залива, однако колония вскоре распалась.

Стр. 184. *Жерар*, Франсуа (1770—1837) — французский исторический живописец и портретист. Во время Реставрации — придворный художник Людовика XVIII и один из столпов академической живописи.

Стр. 186. *Гонен* — фамилия семьи известных фокусников в XVI веке во Франции.

Стр. 193. *Вестрис*, Мари-Огюст (1760—1842) — знаменитый танцор Парижской оперы.

Стр. 196. *Фуа*, Максимилиан-Себастьян (1775—1825), *Манюэль*, Жак-Антуан (1775—1827) — политические деятели времен Ре-

ставрации. Оба, как и *Лаффит* (см. примечание к стр. 69), принадлежали при Реставрации к буржуазной либеральной оппозиции.

Стр. 197. *Герцог Беррийский* — племянник Людовика XVIII, сын Карла X, был убит 13 февраля 1820 года при выходе из Парижской оперы рабочим-седельщиком Пьером Лувелем, который рассчитывал таким путем положить конец династии Бурбонов.

Стр. 212. *Робер-Макэр* — персонаж из нашумевшей мелодрамы «Адретская гостиница» (1823) Сент-Амана, Бенжамена Антье и Полианта и пьесы «Робер-Макэр» Сент-Амана и Ф. Леметра (1835), ловкий мошенник и проходимец.

Стр. 214. *Баярд* — Пьер дю Террайль (ок. 1473—1524) — французский полководец; славился своей храбростью, получил прозвище «рыцаря без страха и упрека», или «рыцаря Баярда».

Стр. 234. *...как Поншар в «Белой даме»*... — Поншар, Жан-Фредерик-Огюст (1789—1866) — известный французский оперный певец; «Белая дама» (1825) — опера Буальдье (либретто Скриба).

Стр. 245. *...изображают императора Проба как галльского Ноя*... — Римскому императору Марку Аврелию Пробу (III век н. э.) приписывался ряд мер по улучшению сельского хозяйства, в частности разведение винограда. Ной, согласно библейской легенде, первый ввел виноградарство.

Стр. 247. *Восстание 1830 года* — то есть буржуазная Июльская революция 1830 года, свергнувшая режим Реставрации. Воспользовавшись плодами народной победы, крупная финансовая буржуазия посадила на трон своего ставленника короля Луи-Филиппа Орлеанского.

Стр. 248. *Барон*, Мишель (1653—1729) — комический актер из труппы Мольера. Родился в Париже (а не в Иссудене, как указано у Бальзака; в Иссудене родился его отец).— *Бурдалу*, Луи (1632—1704) — французский церковный оратор, иезуит, родился в Бурже.

Стр. 250. *Жакерия* — восстание, поднятое в мае 1358 года французскими крестьянами («жаками») против феодальной аристократии; было жестоко подавлено.

Стр. 253. *Фронда* — движение против абсолютизма, происходившее во Франции в 1648—1653 годах и сопровождавшееся массовыми вооруженными восстаниями.

Стр. 254. *«Скверные ребята»* — средневековое название деклассированных городских элементов.

Стр. 256. *Кожаный Чулок* — прозвище охотника Бумпо, героя серии романов американского писателя Фенимора Купера (1789—1851): «Кожаный чулок», «Последний из могикан», «Следопыт» и др.

Стр. 257. *...весть о высадке Наполеона в Канне*... — Наполеон, покинув остров Эльба в марте 1815 года, высадился в бухте Жуан, близ города Канн.

Стр. 258. *...отправился на Луару* — см. примечание к стр. 179.

Стр. 260. *«Пертская красавица»* — роман английского писателя Вальтера Скотта (1771—1832).— *Мезон-руж* — королевская гвардия, носившая красную форму, отсюда ее название Мезон-руж (Красный дом).— *Сто дней* — см. примечание к стр. 179.

Стр. 261 *«Котидьен»*, *«Драпо блан»* — газеты ультрароялистского направления.

Стр. 263. *Аморос*, Франсуа (1769—1848) — организовал во Франции преподавание воинской гимнастики.

Стр. 266. *Двор Чудес* — трущобы средневекового Парижа, где находили себе приют нищие и воры; романтическое изображение Двора Чудес дано в романе В. Гюго «Собор Парижской богоматери».

Стр. 267. *Делакруа*, Эжен (1799—1863) — знаменитый французский живописец-романтик, его картины отличались яркими, сочными красками.

Рокселана (1505—1561) — жена турецкого султана Сулеймана II, отличалась необычайно большим носом.—*Леонарда* — хозяйка разбойничьего притона в романе «Жиль Блаз из Сантильяны» французского писателя Алена-Рене Лесажа (1668—1747).

Стр. 268. *Луксорский обелиск* — древнейший египетский памятник, находившийся на месте древних Фив; установлен в Париже на площади Согласия на четырехметровом пьедестале. Высота обелиска — 22,83 метра.

Стр. 269. *Сганарель* — градиционный персонаж французского народного театра, отличающийся здравым смыслом и, нередко, изворотливостью; действует в комедиях Мольера («Лекарь поневоле» и др.).— *Маскариль* — тип плута во французской комедии XVII—XVIII веков.— *Скапен* — ловкий плут и обманщик, выведенный Мольером в комедии-фарсе «Проделки Скапена» (1671).

Стр. 283. *Сатурналии* — в Древнем Риме народный праздник по окончании полевых работ. В переносном смысле — дикий разгул. Здесь имеются в виду события революции конца XVIII века.

Стр. 292. *Карем*, Мари-Антуан (1784—1833) — французский кулинар, автор ряда книг по кулинарии.

Стр. 295. *Жорж* — псевдоним французской трагической актрисы Маргариты-Жозефины Веймер (1787—1867).

Стр. 296. *Агриппина* — мать Нерона, изображеиа Расином в трагедии «Британник», одна из лучших ролей актрисы Жорж.

...и любовь Гюльнары и любовь Медоры.— Гюльнара и Медора — героини поэмы Байрона «Корсар»; Гюльнара — страстная и решительная, Медора — нежная и кроткая.

Стр. 311. *Г-жа Эврар* — персонаж из комедии французского драматурга Колэна д'Арлевиля «Старый холостяк» (1792), домоправительница холостяка, задумавшая женить его на себе.

...завоюют Испанию, освободят Фердинанда Седьмого...— В 1823 году французский король Людовик XVIII послал войска в Испанию для подавления испанской революции и восстановления абсолютистской власти Фердинанда VII.

Стр. 315. *Бертон*, Жан-Батист (1769—1822), барон — наполеоновский генерал. Казнен за участие в заговоре против Бурбонов.

Стр. 319. *Гарпагон* — персонаж комедии Мольера «Скупой», нарицательное имя скупого, скряги.

Стр. 327. *Самсон* — герой библейской легенды; выпустил на поля своих врагов филистимлян триста лисиц с привязанными к хвостам горящими факелами и таким образом сжег посевы.

Стр. 332. *Сражение при Монтеро.*— В 1814 году в битве при

селении Монтеро во Франции Наполеон одержал победу над войсками союзников.

Стр. 333. *Гонен* — см. примечание к стр. 186.

Стр. 335. *Чем дальше, тем лучше, как говорил Николе.*— Николе, Жан-Батист — содержатель ярмарочного балагана (XVIII в.). Николе был известен тем, что постоянно обновлял и улучшал свои спектакли, повторяя: «Чем дальше, тем лучше»,— что вошло в поговорку.

Альбани, Франческо (1578—1660) — итальянский художник, создатель множества картин на аллегорические и мифологические сюжеты.

Стр. 336. *Перуджино* — Пьетро Вануччи, прозванный Перуджино (1446—1523) — крупный итальянский художник, учитель Рафаэля.

Стр. 337. *«Телемак»* — дидактический роман французского писателя Фенелона (1651—1715) «Приключения Телемака, сына Улисса» (1699).

Стр. 345. *Иродово избиение.*— С именем иудейского царя Ирода Великого (I век до н. э.) связана евангельская легенда об избиении по его повелению младенцев мужского пола, чтобы уничтожить родившегося Иисуса Христа.

Стр. 349. *Пуссен,* Никола (1594—1665) — один из крупнейших художников французского классицизма.

Стр. 356. *Мы же видели в тридцатом году...* — Анахронизм, допущенный Бальзаком: изображаемые здесь сцены происходят задолго до революции 1830 года.

Стр. 368. *«Жизнь игрока»* — мелодрама Дюканжа и Дино «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827).— *Фредерик Лемэтр* — известный актер, друг Бальзака.

Стр. 373. *...процесс сержантов Ла-Рошели...*— Сержанты 45-го линейного полка Бори, Рау, Губен и Помье организовали в 1822 году в Ла-Рошели заговор с целью низложения династии Бурбонов, но были арестованы и казнены в Париже, на Гревской площади.

...умудренные... делами Бертона и Карона.— В 1820 году Огюст-Жозеф Карон (1774—1822), бывший полковник наполеоновской армии, принял участие в бонапартистском заговоре. В 1822 году пытался освободить из тюрьмы участников так называемого Бельфорского заговора, во главе которого стоял Бертон (см. примечание к стр. 315), потерпел неудачу, был предан военному суду и расстрелян.

...трактаты 1815 года были бы упразднены...— Речь идет о трактатах (договорах), принятых на Венском конгрессе 1814—1815 годов, согласно которым Франция была возвращена к границам 1790 года.

Стр. 386. *...обобрать... как нового Баба...*— Баба — турецкое слово, означающее «отец» и прибавляемое в знак почтения к собственным именам. Здесь имеет иронический смысл.

Стр. 403. *Маленький капрал* — так в целях конспирации бонапартисты называли Наполеона I.

Стр. 404. *...восстановить его сына* — то есть сына Наполеона I, герцога Рейхштадтского (1811—1832), известного также под именем Наполеона II, хотя он никогда не царствовал.

Стр. 405. *Гудсон Лоу* — английский уполномоченный, надзиравший за Наполеоном на острове св. Елены.

Стр. 415. *...сцену, которую разыгрывают Ричард III с королевой...* — Ричард III, король Англии (с 1483 по 1485 год),— действующее лицо исторической хроники Шекспира «Король Ричард III».

Стр. 420. *Рапп*, Жан (1772—1821), граф — наполеоновский генерал. После Ватерлоо уехал в Швейцарию, а в 1819 году вернулся во Францию и был возведен в звание пэра.

Стр. 432. *Шовлен*, Франсуа-Бернар (1766—1832), маркиз — был префектом во времена Империи, при Реставрации — членом палаты депутатов, принадлежал к правому крылу так называемых «независимых», стремившихся к конституционным ограничениям королевской власти.

Стр. 435. *«Кватерн»* — четыре лотерейных номера, приносящие выигрыш тому, кто на них поставил, только в том случае, если все они выпадут во время розыгрыша.

Стр. 438. *Чудо Моисея.*— Здесь имеется в виду библейская легенда, рассказывающая о том, как от удара жезла Моисея из скалы забил источник.

Стр. 439 *Голиаф* — библейский персонаж, вождь филистимлян, великан, побежденный в схватке юным пастухом Давидом, будущим царем Израиля.

Стр. 441. *Уверовал в ордонансы* — то есть был верен Бурбонам. 26 июля 1830 года правительство Карла X, борясь с нарастающим революционным движением во Франции, опубликовало ордонансы— чрезвычайные королевские указы,— коими объявлялась распущенной палата депутатов, вводились новые ограничения в избирательную систему, устанавливались еще более строгие цензурные меры против печати и т. п. Ордонансы вызвали возмущение в народных массах и послужили последним толчком к революционному восстанию.

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА

«Провинциальная муза» впервые была опубликована под названием «Дина Пьедефер» в газете «Мессаже» в марте — апреле 1843 года. Вскоре после этого повесть была напечатана под названием «Провинциальная муза» в сборнике «Провинциальные тайны», в котором, кроме Бальзака, принимали участие и другие авторы. В том же 1843 году «Провинциальная муза» вошла в первое издание «Человеческой комедии», во второй том «Сцен провинциальной жизни».

Рисуя затхлую атмосферу бессодержательной жизни провинциальной буржуазной Франции 30—40-х годов, Бальзак создал образ женщины, стремящейся подняться выше узких, обывательских интересов своей среды. Широко начитанная, одаренная незаурядными способностями, Диана де ла Бодрэ, однако, мелочно тщеславна и претенциозна: провинция, в которой, по словам Бальзака, «человек хиреет и душевно и телесно», и на нее наложила свою печать.

В ярком образе лишенного совести и чести продажного журналиста Лусто (он играет видную роль в романе «Утраченные иллю-

зии») писатель раскрывает моральную и интеллектуальную растленность представителей буржуазной печати.

«Провинциальная муза» представляет большой интерес также как документ, относящийся к формированию реалистического направления во французской литературе XIX века. Об антиромантической направленности повести Бальзак писал: «Я надеюсь, что читатели увидят в конце «Музы» сюжет Адольфа, трактованный реально». Адольф, герой одноименного романа французского писателя Бенжамена Констана (1816), наделен чертами романтической исключительности. Бальзак же, рисуя своего героя Лусто в аналогичной ситуации, разоблачает реальные, меркантильные и низменные стимулы его поведения.

В сцене, в которой Лусто мистифицирует провинциальное общество, читая отрывки из романа «Олимпия, или Римская месть», Бальзак высмеивает и пародирует образцы «неистовой» романтической литературы, процветавшей в эпоху Империи.

Стр. 443. *Фердинанд де Грамон* (1815—1897) — французский историк.

Стр. 445. *...превзошли свирепых камеронцев Вальтер Скотта.*— Камеронцы — фанатики-пуритане, описанные в романе Вальтера Скотта «Пуритане».

Доктрина — политическая группа так называемых доктринеров — конституционалистов-роялистов, представлявших в период Реставрации интересы крупной буржуазии. После Июльской революции 1830 года доктринеры примкнули к правому крылу орлеанистов, сторонников монархии Луи-Филиппа.

«Гнилые местечки» — так назывались в Англии до парламентской реформы 1832 года малонаселенные сельские избирательные округа, посылавшие, тем не менее, депутатов в парламент. Исход выборов в «гнилых местечках» зависел от воли местного лендлорда.

Стр. 447. *Внучка маршала Саксонского.*— Имеется в виду французская писательница Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван), которая по отцу была правнучкой французского полководца XVIII века маршала Саксонского.

Нантский эдикт — эдикт, изданный в 1598 году французским королем Генрихом IV и предоставлявший протестантам (гугенотам) свободу вероисповедания; был отменен в 1685 году Людовиком XIV.

Стр. 448. *Лукулл*, Люций (106—56 до н. э.) — римский полководец, получивший известность своими роскошными пирами, вошедшими в поговорку («Лукуллов пир»).

Стр. 449. *...скупал во время революции национальное имущество...*— то есть земельные владения монастырей, а также конфискованные поместья контрреволюционных дворян-эмигрантов, перешедшие в период французской буржуазной революции XVIII века в собственность государства. Эти земли продавались с торгов.

Стр. 450. *...прислужнику павильона Марсан* — то есть сторонник Бурбонов. В павильоне Марсан при дворце Тюильри жил во

время Реставрации герцог Ангулемский, старший сын Карла X, наследник престола.

Стр. 454. *Учреждение майората.*— Майорат — право нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в семье или в роде. Уничтоженные революцией 1789 года майораты были восстановлены во время Реставрации с целью сохранения состояний старой знати.

Стр. 457. *Сафо* (или Сапфо) — древнегреческая поэтесса (конец VII в.— первая половина VI в. до н. э.). Большинство ее произведений относится к жанру любовной лирики.

Стр. 459. *...годился бы в первые камергеры при герцоге д'Эрувиле.*—Герцог д'Эрувиль — персонаж романа «Модеста Миньон»— отличался очень маленьким ростом.

Стр. 460. *Г-жа де Сталь,* Жермена (1766—1817) — французская писательница, автор романтических романов «Коринна» и «Дельфина».

Стр. 461. *...приобрела мебель г-на Руже...*— см. роман Бальзака «Жизнь холостяка».

Дюсомерар, Александр (1779—1842) — французский археолог, собравший ценную коллекцию мебели и утвари эпохи Средних веков и Возрождения.

Стр. 464. *Лоншан* — название старинного аббатства, некогда находившегося в районе Булонского леса, любимое место прогулок парижан, большой ипподром.

Стр. 466. *...как спокоен бывал Медор за верность Анжелики.*— Медор и влюбленная в него Анжелика — действующие лица поэмы «Неистовый Роланд» итальянского поэта Ариосто (1474—1533).

Стр. 475. *Ювенал* (род. в 60-х годах — ум. после 127 года н. э.) — древнеримский писатель-сатирик, обличавший в своих произведениях нравы современного ему императорского Рима.

Стр. 476. *...подобно Элоизе и Юлии...*— Элоиза — возлюбленная средневекового французского философа, богослова и поэта Пьера Абеляра (1079—1142). Юлия — героиня романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Стр. 478. *Камилл Мопен* — псевдоним писательницы м-ль де ла Туш — персонажа романа Бальзака «Беатриса».

Стр. 479. *Золотая середина.*— Во время Июльской монархии (1830—1848) принцип «золотой середины» был провозглашен королем Луи-Филиппом и стал политическим идеалом французской буржуазии.

Стр. 482. *Приверженцы Доктрины* — см. примечание к стр. 445.

Стр. 491. *Деплен* — хирург, вымышленное действующее лицо ряда произведений Бальзака («Обедня безбожника», «Провинциальная муза», «Модеста Миньон» и др.).

Стр. 494. *Речи Арнольфа к Агнессе.*— Арнольф — пожилой человек, влюбленный в свою воспитанницу Агнессу,— действующие лица комедии Мольера «Школа жен».

Стр. 498. *...сержантов Ла-Рошели...*— см. примечание к стр. 373.

Гора — название якобинской группы депутатов Конвента, которые обычно занимали верхние скамьи.

Девяносто третий год — год наивысшего подъема французской буржуазной революции конца XVIII века, время якобинской диктатуры.

Стр. 500. *Восемнадцатое брюмера.*— 18—19 брюмера VIII года (9—10 ноября 1799 г.) произошел государственный переворот, власть была передана трем консулам. Первым консулом и фактическим правителем Франции стал Наполеон I.

Фуше, Жозеф (1759—1820) — французский политический деятель, карьерист. В период французской буржуазной революции XVIII века примыкал к якобинцам. Во времена Директории, Консульства, Наполеоновской империи и в первые годы Реставрации — министр полиции; хитрый, вероломный и беспринципный человек.

Стр. 506. *Радклиф*, Анна (1764—1823) — английская писательница, представительница жанра так называемого «готического» романа.

Стр. 513. *...экспедиции, снаряженной, чтобы вернуть трон Фердинанду Седьмому* — см. примечание к стр. 311.

Стр. 514. *Оргон* — упрямый и ограниченный буржуа, действующее лицо комедии Мольера «Тартюф», обманутый лицемером Тартюфом.

Стр. 515. *Луарская армия* — см. примечание к стр. 179.

Фюальдес — судейский чиновник, был убит своими друзьями-преступниками, боявшимися доноса с его стороны, в 1817 году в притоне.

Стр. 517. *Журавли, обличители убийц поэта Ивика...*— Ивик (или Ибик) — древнегреческий лирический поэт (VI век до н. э.). Согласно поэтическому сказанию, Ивик, подвергшийся нападению разбойников, умирая, призвал в свидетели преступления стаю пролетавших журавлей, которые помогли обнаружить убийц.

Стр. 518. *Карта Страны Нежности* — своеобразный путеводитель по аллегорической «Стране Любви и Галантности»; была приложена к галантно-героическому роману французской писательницы XVII века м-ль де Скюдери «Клелия».

Стр. 519. *...утешить этого газетного Манфреда...*— Манфред — герой одноименной драматической поэмы Байрона, разочарованный в жизни и в людях, одинокий человек.

...великой женщине — беррийской знаменитости...— Речь идет о писательнице Жорж Санд, уроженке провинции Берри.

Стр. 522. *Лафон*, Пьер-Шери (1797—1873) — французский комический актер, выступавший на сцене театра «Водевиль».

Стр. 524. *Образ Скедони* — персонаж романа Анны Радклиф «Исповедальня чернецов» — монах, жестокий, коварный человек, совершающий несколько преступлений.

Стр. 525. *Картуш* — прозвище Луи Бургиньона, главаря шайки преступников, казненного в Париже в 1721 году.

Стр. 527. *Камилла латинского поэта.*— Царица амазонок Камилла описана древнеримским поэтом Вергилием в поэме «Энеида».

Стр. 528. *Г-жа де Жанлис*, Стефания-Фелисите (1746—1830) — второстепенная французская писательница, автор мало-

значительных произведений, проникнутых сентиментальностью и ханжеским благочестием.

Стр. 535 *«Франкенштейн» миссис Шелли, «Леон Леони», произведения Анны Радклиф и «Новый Прометей» Камилла Мопена.*— Миссис Шелли (жена известного английского поэта) и Анна Радклиф — английские писательницы; «Леон Леони» — произведение французской писательницы Жорж Санд; Камилл Мопен — см. примечание к стр. 478.

Стр. 546. *Лукреция* — знатная римлянка, которая, по преданию, покончила жизнь самоубийством после того, как ее обесчестил сын римского царя Тарквиния Гордого (VI век до н. э.); в переносном смысле: неприступная женщина.

Стр. 551. *...подкупают Гуртов, готовых самоотверженно носить ошейник любовного рабства.*— Гурт — свинопас, верный и преданный слуга, действующее лицо романа Вальтера Скотта «Айвенго».

Стр. 559. *...плачу ценз...*— то есть налог, дающий право участвовать в выборах в парламент.

Гарпагон — см. примечание к стр. 319.

Стр. 565. *Леандр* — легкомысленный юноша, действующее лицо комедии Мольера «Плутни Скапена».

Стр. 567. *...как регент кардиналу Дюбуа: «Хватит с меня этих пинков!»* — Кардинал Дюбуа — воспитатель герцога Орлеанского, ставшего регентом во время малолетства Людовика XV (начало XVIII в.). Имеется в виду рассказ о том, что однажды в одном доме переодетый регент выдал себя за лакея кардинала Дюбуа; последний слишком вошел в роль сурового хозяина, что и вызвало приведенные слова регента.

Стр. 578. *«Тетка»* — ростовщик на парижском уличном жаргоне.

Стр. 588. *М-ль де Ла Шо* — персонаж рассказа французского писателя-просветителя XVIII века Дидро «Это не сказка», самоотверженная, преданная возлюбленная.

Стр. 597. *«Последний день приговоренного»* — повесть крупнейшего французского писателя-романтика Виктора Гюго, в которой он выступил против смертной казни.

Стр. 598. *Министерство первого марта.*— 1 марта 1840 года кабинет министров во Франции возглавил Тьер, который пошел на обострение отношений с Англией из-за Египта, однако вскоре Тьер был вынужден уйти в отставку.

Стр. 601. *Доктринеры* — см. примечание к стр. 445.

Стр. 605. *Роковое событие, отнявшее у Орлеанского дома его наследного принца.*— Речь идет о гибели герцога Орлеанского Фердинанда-Филиппа, наследника короля Луи-Филиппа, во время дорожной катастрофы в 1842 году.

Стр. 608. *Альцест* и *Филинт* — главные действующие лица комедии Мольера «Мизантроп», противоположные по характеру. Альцест — прямой и непримиримый в своих суждениях человек; Филинт — покладистый и снисходительный человек.

Стр. 613. *...игра Тальма в его великолепной роли Лейстера.*— Тальма, Франсуа-Жозеф (1763—1826) — знаменитый французский трагический актер. Лейстер — действующее лицо трагедии драматурга Лебрена «Мария Стюарт».

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены провинциальной жизни

Пьеретта. *Перевод Р. А. Гурович* 5
Жизнь холостяка. *Перевод К. Локса* 150
Провинциальная муза. *Перевод Л. Л. Слонимской* 443

Примечания 615

БАЛЬЗАК.

Собрание сочинений
в 24 томах. Том VII.

Редактор тома
И. А. Лилеева.

Иллюстрации художника
Е. А. Мешкова.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 28/III 1960 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 452. Зак. 263.
Бум. л. 9,81. Печ. л. 32,18+2 вкл. (0,2 п. л.). Уч.-изд. л. 34,80.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.